



АРЧИБАЛЬД
КРОНИН

Юные годы
Путь Шеннона

АЗБУКА-КЛАССИКА

Archibald Joseph
CRONIN
1896–1981

Арчибальд
КРОНИН

Юные годы
•
Путь Шеннона

Романы



Санкт-Петербург

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44
К 83

A. J. Cronin
THE GREEN YEARS
Copyright © A. J. Cronin, 1944
SHANNON'S WAY
Copyright © A. J. Cronin, 1948
All rights reserved

Перевод с английского Татьяны Кудрявцевой

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Вадима Пожидаева-мл.

- © Т. А. Кудрявцева (наследники), перевод, 2020
- © Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-18686-6

Юные годы

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

Крепко держась за мамину руку, я вышел из-под мрачных сводов железнодорожного вокзала на залитую солнцем улицу незнакомого городка. Я с готовностью доверился своей новой маме, хотя до сих пор ни разу не видел ее, а ее изнуренное, озабоченное лицо, с выцветшими голубыми глазами, совсем не было похоже на лицо моей покойной мамочки. Никакой особой любви к маме я не почувствовал: даже шоколадка, которую она купила мне у автомата, не расположила меня к ней. Всю дорогу из Уинтона, пока мы медленно тащились в вагоне третьего класса, мама сидела напротив меня; на ней было поношенное серое платье, заколотое большой брошью из дымчатого кварца, тоненькая меховая горжетка и черная шляпа, широкие поля которой ниспадали ей на уши; склонив голову набок, она смотрела в окно, и губы ее шевелились, словно она беззвучно, но весьма оживленно беседовала сама с собой; время от времени она прикладывала к уголку глаз платок, точно хотела смахнуть назойливую муху.

Но как только мы вышли из вагона, она постаралась стряхнуть с себя мрачное настроение, улыбнулась и крепче сжала мою руку.

— Вот умница: перестал плакать. Ну как, дойдешь пешком до дома? Это не очень далеко.

Мне хотелось угодить ей, и я ответил, что, конечно, дойду; поэтому мы не сели в кеб, одиноко поджидавший пассажиров у выхода из вокзала, а направились

по главной улице, и мама, пытаясь развлечь меня, показывала мне все достопримечательности, мимо которых мы проходили.

Мостовая у меня под ногами то вздымалась, то опускалась, в голове все еще отдавался грохот валов Ирландского моря, а в ушах стоял гул от стука машин на «Вайпере». И все-таки, когда мы подошли к красивому зданию с колоннами из полированного мрамора, стоявшему чуть в стороне от тротуара, позади двух чугунных пушек и флагштока, я услышал, как мама сказала с затаенной гордостью:

— Это ливенфордский муниципалитет, Роберт. Мистер Лекки... наш папа... служит тут: он заведует отделом здравоохранения.

«Папа, — попытался осмыслить я. — Муж этой мамы... отец моей покойной мамочки».

Я устал и еле волочил ноги; мама озабоченно поглядывала на меня.

— Какая жалость, что трамваи сегодня не ходят, — сказала она.

А я и не предполагал, что так устану; да и напуган я был изрядно. Серый свет сентябрьского дня безжалостно озарял городок, мощный булыжником и полный всяких незнакомых звуков, совсем не похожих на привычное шуршание машин, пролетающих мимо раскрытых окон нашего домика в Феникс-Кресцент. Из доков доносился громкий перестук молотков, а из труб Котельного завода, на который мама указала мне пальцем в лопнувшей перчатке, вырывались такие страшные языки пламени и пара! На улице перекладывали трамвайные пути. На углах ветер завихрял пыль, она засоряла мои распухшие от слез глаза и забиралась в горло.

Вскоре, однако, весь этот шум и грохот остались позади: мы пересекли городской сад, посредине которого поблескивал пруд и возвышалась круглая эстрада

для оркестра, и вышли на тихую окраину, казавшуюся маленькой деревушкой, уютно притулившейся у лесистого пригорка. Тут были и деревья, и зеленые поля, несколько допотопных лавчонок и домиков, кузница и возле нее колода, из которой поили лошадей, а совсем неподалеку выстроились новенькие виллы со свежавыкрашенными железными оградами и аккуратными клумбами, и у каждой виллы — высокопарное название вроде «Обитель Эллен» или «Гленэльг», выведенное золотом по цветному стеклу круглого оконца над входом.

Дойдя до середины Драмбакской дороги, мы наконец остановились у серого двухэтажного домика из песчаника, примыкающего к другому, точно такому же; в окнах его виднелись кремовые тюлевые занавески, а надпись над дверью гласила: «Ломонд Вью». Это был самый невзрачный дом на всей тихой улочке — только двери и окна были облицованы камнем, стены же так и остались неотделанными, что явно свидетельствовало о скудости средств владельца; неприглядность постройки скрашивал палисадник, в котором пышно цвели желтые хризантемы.

— Ну вот мы и пришли, Роберт, — заявила миссис Лекки все тем же прочувствованно-радушным тоном, потеплевшим от сознания, что мы наконец прибыли домой. — В ясную погоду отсюда открывается прелестный вид на гору Бен. Хорошо тут у нас: до деревни Драмбак рукой подать. Ливенфорд — старый, прокопченный город, но вокруг чудесные места. Вытри глазки — вот так, миленький, и пойдем в дом.

Носовой платок я вытряхнул вместе с печеньем, когда кормил чаек, но глаза я все-таки вытер и послушно вслед за мамой завернул за угол дома; сердце у меня снова заколотилось от страха перед тем неведомым, что ждало меня. В ушах моих еще звучали слова нашей дублинской соседки, миссис Чэпмен; движимая

самыми лучшими материнскими чувствами, она неосторожно сказала, целуя меня в то памятное утро на уинтонской пристани, прежде чем навсегда отдать маме: «Что-то будет с тобой дальше, бедненький мой!»

Подойдя к двери, мама остановилась: молодой человек лет девятнадцати, стоя на коленях, рыхлил цветочную клумбу; завидев нас, он поднялся, но лопаты из рук не выпустил. Вид у него был сосредоточенный и флегматичный; одутловатые бледные щеки, черные лохматые волосы и большие очки с сильными стеклами, за которыми его близорукие глаза казались совсем крошечными, лишь подчеркивали это впечатление.

— Опять ты за свое, Мэрдок! — не удержавшись, с мягкой укоризной воскликнула мама. И, слегка подтолкнув меня вперед, добавила: — Это Роберт.

Мэрдок тупо уставился на меня. Позади дома был дворик с аккуратно подстриженным газоном, по одну его сторону — грядка ревеня, по другую — куча ноздреватого серого шлака и золы, спасительного средства от слизняков, а по углам — железные столбики, к которым прикреплялись веревки для сушки белья. Наконец Мэрдок весьма торжественно изрек:

— Так, так... Вот он, значит, и прибыл.

Мама кивнула — в глазах ее снова появились тревога и печаль; а Мэрдок чуть ли не театральным жестом уже протягивал мне свою широкую мозолистую, заскорузлую от общения с кормилицей-землей руку.

— Рад с тобой познакомиться, Роберт. Можешь рассчитывать на меня. — И, поспешно глянув сквозь свои большие очки в сторону мамы, добавил: — Эти астры мне дали в питомнике, мама. Они не стоили мне ни пенса.

— Хорошо, мой дорогой, — сказала мама, поворачиваясь и направляясь в дом, — только смотри успеешь вымыться до папиного прихода. Ты же знаешь, как он сердится, когда застает тебя здесь.

— Я уже заканчиваю. Сейчас приду. — И прежде чем снова опуститься на колени, Мэрдок добавил, чтобы умиротворить мать, уже входившую со мной в дом: — Я там поставил для тебя картошку на огонь.

Мы прошли через маленький чуланчик и очутились на кухне, которая, судя по обстановке, служила также столовой: в ней стояла неудобная резная мебель из красного дерева, стены были оклеены тисненными обоями в кубиках, на одной из них неистово и гулко тикали часы. Велев мне сесть, мама вынула из шляпы длинные булавки и, держа их во рту, принялась складывать вуаль. Потом приколола вуаль к шляпе, повесила ее вместе с пальто в нишу, задернутую занавеской, сняла с гвоздика за дверью синий халат, надела его и принялась уверенно снова по вытершемуся коричневому линолеуму, время от времени ободряя меня ласковым взглядом, а я сидел не шевелясь на краешке мягкого стула у плиты и еле осмеливался дышать в этом чужом для меня доме.

— Сегодня будем обедать вечером, дружок: раньше я ничего не успею приготовить. И постарайся не плакать, когда придет папа. Для него ведь это тоже большое горе. А у папы и так уйма забот — шутка ли, занимать такое положение в городе! Кейт — это моя вторая дочка — тоже сейчас придет. Она учительница... Твоя мама, наверно, говорила тебе о ней. — Увидев, что у меня задрожала губа, она поспешно добавила: — О, я прекрасно понимаю, что даже для такого большого мальчика страшновато впервые очутиться среди маминой родни. Но обожди, это еще не все, — пошутила она, стараясь вызвать на моем лице улыбку. — У меня есть старший сын, Адам, он замечательно устроился в Уинтоне в одной страховой компании; он живет отдельно, но навещает нас, как только у него выдается свободная минутка. Потом есть еще папина мама... Сейчас она гостит у своих друзей... но почти по полгода живет

с нами. И наконец, мой папа; он всегда живет с нами — это твой прадедушка по линии Гау. — У меня уже голова шла кругом от этого перечисления незнакомых мне родственников, но мама, слегка улыбнувшись, продолжала: — Знаешь, что я тебе скажу: не у всякого мальчика есть прадедушка. И тот, у кого он есть, может гордиться этим. Для краткости ты, конечно, можешь звать его просто «дедушка». Вот я сейчас приготовлю ему поесть, а ты отнесешь поднос наверх. Поздороваешься с ним, а заодно и мне поможешь.

Руки у мамы были проворные, и за это время она не только успела накрыть стол на пять человек, но и достала облупившийся черный японский поднос овальной формы с нарисованной посередине розой, поставила на него занятную чашку из ребристого белого фарфора, полную чая, блюдечко с джемом, сыр и три кусочка хлеба.

Эти приготовления удивили меня, и слегка охрипшим голосом я спросил:

— А разве дедушка не спускается к столу?

Мама явно смутилась.

— Нет, дружок, он ест у себя в комнате. — Она взяла со стола поднос и протянула мне. — Донесешь? Вот тут лестница — прямо на второй этаж. Только смотри будь осторожен, не упади.

Держа перед собой поднос, я стал неуверенно взбираться по шатким крутым ступеням незнакомой мне лестницы; посередине ее лежала блестящая дорожка из линолеума. Угасающий свет дня еле проникал сюда через высокое оконце в потолке. На площадке второго этажа, напротив вделанного в стену титана, я увидел две двери. Подергал одну из них — заперта. До другой едва дотронулся — она сразу поддалась.

Я вошел в незнакомую, чудную и страшно захлавленную комнату. В углу стояла высокая медная кровать с покосившимися шишками; она была еще не при-

брана, и пестрое лоскутное одеяло небрежно валялось на ней; ковер из медвежьей шкуры у камина был сбит в кучу; полотенце до полу свешивалось с забрызганного умывальника из красного дерева. Внимание мое привлекли черные мраморные часы, какие можно получить только в подарок, а сам себе никогда не купишь, — они лежали на боку среди всякой всячины, загромождавшей каминную доску, а рядом валялся их разобранный на части механизм. В нос мне ударил тошнотворный запах табачного дыма и пищи — смесь весьма разнородных и трудноопределимых ароматов, которые, так сказать, создавали букет этой давно обжитой комнаты.

Мой прадедушка, в дешевеньком грубошерстном костюме и рваных зеленых ковровых туфлях, сидел у заржавевшего камина, весь уйдя в массивное мягкое кресло — не кресло, а развалину, — и уверенно водил пером по большому листу плотной бумаги, лежавшему вместе с переписываемым документом на низеньком столике, покрытом некогда зеленым сукном. По одну руку от старика выстроилась внушительная коллекция палок для гулянья, по другую — длинный ряд глиняных трубок с металлическими чубуками, набитых табаком и готовых к употреблению, возле них — коробочка с полосками газетной бумаги для раскуривания.

Прадедушка был широкоплечий старик лет семидесяти, выше среднего роста, румяный, с копной все еще рыжеватых волос, красиво рассыпавшихся по плечам. Когда-то волосы у него были просто рыжие, но с годами они утратили свою пламенеющую яркость и, еще не успев поседеть, приобрели удивительный, при определенном освещении положительно золотой оттенок. Того же оттенка были буйно курчавившиеся усы и борода деда. Белки его глаз были, правда, все в желтых прожилках, зато зрачки — ясные, а сами глаза — голубые, пронизывающие, не выцветшие, как у мамы; но

живые, ярко-голубые (настоящие незабудки!), чудесные, выразительные глаза. Однако самым примечательным в его лице был нос. Это был крупный нос — крупный, красный и шишковатый; я взирал на него с благоговением, и мне пришло на ум, что он больше всего похож на огромную перезревшую клубнику: и цвет такой же, и даже весь в крошечных дырочках, совсем как эта сочная ягода. Казалось, на лице только и есть что этот примечательный нос — никогда еще я не видел ничего подобного, никогда.

Тут дедушка кончил писать, заложил перо за ухо и медленно повернулся ко мне. При этом сломанные пружины кресла, хотя под них и была подоткнута оберточная бумага, мелодично звякнули, как бы подчеркивая драматизм нашей встречи. Мы молча разглядывали друг друга; я вышел из оцепенения, в которое поверг меня на какой-то миг нос деда, и, представив себе, какую жалкую картину являет собой моя особа: какой я бледный, заплаканный, неопишимо рыжий, в черном костюмчике, купленном в магазине готового платья, один носок спустился, шнурки на ботинках развязаны, — покраснел.

Все еще молча дед отодвинул в сторону свои бумаги и немного нервным, но энергичным жестом указал на свободную теперь часть стола, куда я и поставил поднос. Дед начал есть. Торопливо, с величайшим безразличием ел он сыр вперемежку с джемом и все смотрел на меня, опуская взгляд лишь затем, чтобы размочить корку в чае. Потом залпом выпил чай, рукавом обтер бакенбарды, не глядя протянул руку, точно еда была лишь вступлением к курению или чему-то еще более приятному, и закурил трубку.

— Значит, ты и есть Роберт Шеннон? — Тон у него был сдержанный, но дружелюбный.

— Да, дедушка, — как бы извиняясь, еле выдавил я из себя, не забыв, однако, мамин наказ называть его просто «дедушкой».

— Хорошо доехал?

— Да, дедушка.

— Отличные корабли «Эддер» и «Вайпер»! Мне довелось видеть их у причала, когда я служил в армии. Только у «Эддера» по борту проходит белая полоса — этим они и отличаются друг от друга. А ты умеешь играть в шашки?

— Нет, дедушка.

Он ободряюще и в то же время слегка снисходительно кивнул.

— Ничего, мальчик, со временем научишься, если будешь здесь жить. А насколько я понимаю, ты будешь здесь жить.

— Да, дедушка. Миссис Чэпмен сказала, что больше мне некуда деваться. — Жгучее чувство одиночества, волна жалости к самому себе захлестнули меня.

Вдруг мне ужасно захотелось, чтобы дедушка почувствовал мне, нестерпимо захотелось раскрыть ему свою душу, поведать о грозящей мне участи. Знает ли он, что мой отец умер от туберкулеза, ужасной наследственной болезни, уже унесшей в могилу двух его сестер, — болезни, с невероятной быстротой сгубившей мою мамочку, болезни, которая, как уверяли, наложила свою печать и на меня?..

Но дедушка, задумчиво попыхивая трубкой, продолжал оглядывать меня с легкой иронической усмешкой, и когда заговорил, то совсем о другом.

— Тебе восемь лет, да?

— Почти восемь, дедушка.

Мне очень хотелось, чтобы он считал меня совсем маленьким, но дедушка был неумолим.

— Ты уже в таком возрасте, когда мальчик должен уметь постоять за себя... Впрочем, надо признаться, ростом ты не вышел... Ну а гулять любишь?

— Мне не приходилось много гулять, дедушка. Когда мы летом ездили отдыхать в Портраш, я гулял по Дороге гигантов. Но только в одну сторону, а об-

ратно мы возвращались по железной дороге в маленьких вагончиках.

— Так я и знал. Ну ничего, мы с тобой совершим несколько прогулок и тогда посмотрим, как на нас подействует добрый шотландский воздух. — Он помолчал немного, как бы впервые обсуждая что-то сам с собой. — Рад, что у тебя мои волосы. Рыжие — в Гау пошел. У твоей бедной мамочки тоже были такие.

Больше я уже не мог сдерживать нахлынувшие на меня чувства и почти по привычке дал волю слезам. Прошла всего неделя, как похоронили мамочку, и одно упоминание ее имени вызывало во мне этот рефлекс, а сочувствие, которое все начинали тотчас проявлять, лишь распаяло меня. Однако сейчас ни полногрудая миссис Чэпмен не погладила меня успокаивающе по спине, ни отец Шенли из церкви Святого Доминика не стал изливать на меня свои пропахшие нюхательным табаком соблезнования. Я быстро смекнул, что прадедушка не одобряет моих слез, и мне стало ужасно стыдно; я попытался успокоиться, неловко вздохнул и закашлялся. Я все кашлял и кашлял, пока у меня не закололо в боку, так что я вынужден был схватиться за него. Такого кашля у меня еще никогда не было — у отца моего и то редко бывали такие сильные приступы. По правде говоря, я даже преисполнился гордости и, когда кашель прекратился, выжидательно посмотрел на деда.

Но он не стал успокаивать меня и вообще не сказал ни слова. Просто достал из кармана пиджака жестяную коробочку, нажал на крышку — она отскочила, и он вынул большую плоскую мятную лепешку, которую в народе называют «дружком». Я думал, что дедушка даст ее мне, а он, к моему изумлению и огорчению, преспокойно положил ее себе в рот. Затем сурово изрек:

— Не выношу плакс. А твой слезоточивый механизм, Роберт, видно, расположен у самых глаз. Надо

держат себя в руках, мальчик. — Он вынул из-за уха перо и выкатил грудь колесом. — Мне в жизни пришлось преодолеть немало трудностей. И ты думаешь, я сумел бы их осилить, если б согнулся под их бременем?

Дедушка уже собрался с глубокомысленным и весьма напыщенным видом произнести на эту тему целую речь, но в эту минуту на первом этаже зазвонил колокольчик. Он запнулся — как мне показалось, с явным разочарованием — и махнул трубкой, чтобы я шел вниз, а сам снова взялся за перо. Я же, забрав пустой поднос, пристыженный, на цыпочках направился к двери.

ГЛАВА 2

Внизу, на кухне, меня поджидали мистер Лекки, Кейт и Мэрдок, только что вернувшиеся домой, а также мама; молчание, внезапно воцарившееся в комнате, указывало на то, что я был предметом разговора. Подобно большинству детей, выросших без сестер и братьев, я страдал болезненной застенчивостью, которую теперешнее мое положение лишь усугубило; к тому же я смутно догадывался, какая глубокая пропасть разделяла покойную мамочку и мистера Лекки, которого отныне я должен был звать папой, а потому я весь сжался и застыл, не зная, что делать дальше; но тут папа, прихрамывая, подошел ко мне, взял меня за руку, поддержал ее в своей и вдруг, нагнувшись, поцеловал меня в лоб.

— Рад с тобой познакомиться, Роберт. Очень сожалею, что мы раньше не встречались.

Тон у него был не злой, как я почему-то опасался, а грустный и подавленный. Не надо плакать, твердил я себе, но очень уж трудно было удержаться, особенно когда Кейт тоже нагнулась и поцеловала меня — неуклюже, но от всей души.

— Ну а теперь давайте садиться за стол! — с напускной веселостью воскликнула мама и показала мне мое место. — Скоро половина седьмого. Ты, наверно, умираешь с голоду, сынок.

Папа, восседавший во главе стола, склонил голову и прочел молитву — длинную чудную молитву, какой я никогда до сих пор не слышал. Чудным показалось мне и то, что он не перекрестился, а сразу стал нарезать дымящееся вареное мясо, лежавшее на овальном блюде перед ним, тогда как мама на другом конце стола накладывала на тарелки картофель и капусту.

— Это тебе! — сказал папа, скупым, размеренным жестом протягивая мне тарелку с таким видом, точно давал самый лучший кусок. Папа был маленький, весьма невзрачный человечек лет сорока семи, с узким бледным лицом, на котором поблескивали маленькие глазки. Его черные усы были нафабрены и стояли торчком, а волосы тщательно зачесаны, чтобы скрыть лысину. На лице его читалось еле уловимое выражение покорности судьбе — такие лица бывают у людей добросовестных и трудолюбивых, но либо не получивших признания, либо, по их мнению, недостаточно вознагражденных за это жизнью. На папе был низкий крахмальный воротничок, черный галстук и весьма неожиданная для человека его склада занятный двубортный костюм из синей саржи с медными пуговицами. Форменная фуражка с лакированным козырьком, почти такая же, как у морских офицеров, лежала на комодѣ позади него.

— Ешь мясо с капустой, Роберт. — Папа перегнулся ко мне и потрепал меня по плечу. — Очень питательно.

Под всеми этими взглядами мне нелегко было справиться со странными ножом и вилкой, куда более длинными, чем те, к каким я привык, да и ручки у них были костяные и очень скользкие. К тому же капусту я не люблю, а говядина, маленький ломтик которой лежал

у меня на тарелке, была ужасно соленой и волокнистой. Отец мой имел обыкновение весело утверждать, что «только самое лучшее» должно подаваться у нас к столу в Феникс-Кресцент; он и сам нередко приносил домой после работы что-нибудь вкусное, вроде желе из гуайявы или уитстейблских устриц, а потому я был балованным ребенком и таким капризным и разборчивым в еде, что матери последние полгода нередко приходилось обещать мне шесть пенсов и поцелуй за то, чтобы я съел кусочек цыпленка. Однако сейчас я чувствовал, что не должен вызывать недовольство папы, и давился, но ел водянистые овощи.

Решив, что внимание мое занято едой, папа посмотрел на дальний конец стола, где сидела мама, и, возобновляя прерванный разговор, осторожно и явно не без тревоги спросил:

— Миссис Чэпмен ничего у тебя не просила?

— Нет, ничего, — отвечала мама, понизив голос. — Хотя она, наверно, порядком поистратилась: ведь такие были расходы. По-моему, она хорошая, сердечная женщина.

Папа перевел дух.

— Какое счастье, что в мире еще есть приличные люди! Тебе пришлось взять кеб?

— Нет... везти-то было почти нечего. Он из всего вырос. А вещи, очевидно, забрали те молодчики.

Казалось, папа сейчас задохнется: уставив взгляд в пространство, он с мучительно перекошенным лицом пробормотал:

— Одни сплошные сумасбродства. Чего ж тут удивительного, если после них ничего не осталось.

— Ох, папа, но ведь они столько болели!

— Болели-то много, а вот здравого смысла у них было немного. Ну почему они не застраховали свою жизнь? Застраховались бы — и все было бы в порядке. — Он посмотрел на меня своими глубоко запав-

шими глазами, а я изо всех сил старался поскорее доесть то, что было у меня на тарелке. — Молодчина, Роберт. Учти: в этом доме ни одна крошка не пропадает зря.

Кейт, сидевшая напротив меня и с мрачным видом глядевшая в окно, за которым сгущались сумерки, точно разговор не представлял для нее никакого интереса, улыбнулась мне неловкой ободряющей улыбкой. Ей минул двадцать один год — значит, она всего на три года моложе моей мамочки, а как не похожа на нее. То, что у мамочки было красиво, у нее было безобразно: глаза бесцветные, скулы широкие, а кожа сухая, потрескавшаяся, прыщеватая. Волосы у нее были какого-то неопределенного цвета — нечто среднее между рыжими Гау и черными Лекки.

— Ты, конечно, уже школьник?

— Да. — Я покраснел от одного того, что ко мне обратились: мне было очень трудно говорить. — Я ходил в школу мисс Барти в Кресченсте.

Кейт понимающе кивнула.

— Тебе там нравилось?

— Очень. Если правильно ответишь из катехизиса или по общеобразовательным предметам, мисс Барти давала конфетку — драже из коробочки, которую она прятала в шкафу.

— У нас в Ливенфорде есть отличная школа. Я думаю, тебе там понравится.

Папа откашлялся.

— Я полагаю, что начальная школа на Джон-стрит... принимая во внимание, что и ты там, Кейт... была бы наиболее подходящей.

Кейт перестала смотреть в окно и перевела взгляд на папу — она была возмущена, чуть ли не разгневана.

— Ты же знаешь, что школа на Джон-стрит — пре-паршивая. Он должен учиться в Академической, где мы все учились. Для человека с твоим положением ни о какой другой школе и речи быть не может.

— М-да... — Папа опустил глаза. — Возможно... но только со второй половины семестра... Сегодня у нас четырнадцатое октября, не так ли? Порасспроси-ка его и выясни, в какой класс его надо определять.

Кейт решительно мотнула головой.

— Он сейчас просто умирает от усталости, его надо немедленно уложить в постель. С кем он будет спать?

Этот вопрос вывел меня из дремоты, в которую я все больше погружался, и, усиленно моргая, я уставился на маму, а она медлила с ответом, — очевидно, другие заботы не дали ей возможности обдумать это раньше.

— Он слишком большой, чтобы спать с тобой, Кейт... А у тебя чересчур узкая постель, Мэрдок... да к тому же ты часто засиживаешься допоздна за книгами. А почему бы нам, папа, не положить его в бабушкиной комнате? На время, конечно, пока ее нет дома.

Но папа отклонил это предложение, отрицательно покачав головой.

— Она платит нам хорошие деньги за свою комнату. Мы не можем вторгаться к ней без ее согласия. Да и потом, она скоро вернется.

До сих пор Мэрдок молча ел, флегматично пережевывая пищу, он низко пригибался и внимательно, точно сыщик, оглядывал каждый кусочек хлеба; время от времени он брал учебник, лежавший рядом с тарелкой, и подносил его к самому лицу, точно хотел понюхать. Сейчас он поднял голову и с деловым видом посмотрел на всех.

— Пусть идет к дедушке. Ничего другого тут не придумаешь.

Папа кивнул в знак согласия, хотя лицо его при упоминании о дедушке омрачилось.

Итак, вопрос был решен. Хоть я наполовину спал, сердце у меня замерло от страха — еще одно звено в цепи моих бед, звено, которому суждено связать меня

с этой странной грозной личностью, живущей наверху. Но возражать я побоялся, да и слишком устал — веки у меня так и слипались. Тут Кейт отодвинула свой стул и поднялась.

— Ну, пойдём, дружок. Мама, у нас есть горячая вода?

— По-моему, есть. Но только оставь и для посуды. Не трать много.

В тесной ванной Кейт помогла мне снять одежду и почему-то покраснела, когда я разделся донага. На самом дне вделанной в пол ванны, до половины желтой и облупившейся, было налито немного теплой воды. Кейт нагнулась и стала мыть меня тряпкой, которую она намыливала большим куском шершавого желтого мыла. Голова у меня так и клонилась на грудь, а веки настолько распухли, что я уже не мог плакать. Я всецело подчинился Кейт: она вытерла меня и помогла мне надеть дневную рубашку. Звякнул крючок на двери ванной. Мы стали подниматься наверх. А там, на площадке, из тумана, где плясали волны, покачивался корабль, ревел паровоз в тоннелях, вдруг выплыл дедушка — он стоял, протянув мне навстречу руки.

ГЛАВА 3

С дедушкой нелегко было спать: он громко храпел, непрерывно ворочался на свалявшемся тюфяке и прижимал меня к стенке. И все же спал я как убитый, только на заре мне приснился нехороший сон. Я увидел отца в длинной белой ночной рубашке; он дышал зеленым чаем, который кипел в небольшом медном чайнике с красными резиновыми трубками, — средство, к которому один из его товарищей по службе посоветовал прибегнуть, когда другие лекарства уже не помогали. Время от времени отец прерывал лечение и, задорно

блестя карими глазами, смеялся и шутил с моей мамочкой, которая наблюдала за ним, судорожно сжав руки. Потом вошел доктор — пожилой человек с серым, сумрачным лицом. Не успел он войти, как раздался удар грома, в комнату ворвалась большая черная лошадь с развевающимися черными перьями на голове; в горе и ужасе я спрятал лицо в ладони, а мои мама и папа вскочили на лошадь и умчались.

Я был весь в поту, и сердце у меня подступило куда-то к горлу, когда я открыл глаза и увидел, что комната залита солнцем. У окна стоял дедушка, почти одетый, и скатывал скрипучую деревянную штору.

— Это я разбудил тебя? — Он обернулся ко мне. — День сегодня великолепный, и тебе давно пора вставать.

Я спустил ноги с постели и стал одеваться, а дедушка тем временем сообщил мне, что Кейт уже отправилась в школу и Мэрдок тоже ушел — ему ведь надо ехать на поезде в Уинтон: он занимается в колледже Скерри, чтобы потом поступить на государственную службу в почтовое ведомство. Теперь дело только за папой — как только он уйдет на работу, мы можем спуститься вниз. Я был немало удивлен, когда дедушка сообщил мне, что папа хоть и носит такую красивую форму, а работает всего лишь районным санитарным инспектором. Папе очень хочется стать управляющим водопроводным хозяйством, но пока — и тут дедушка еле заметно усмехнулся — ему приходится следить за тем, чтобы помойные ведра и уборные содержались в порядке.

В эту минуту мы услышали, как хлопнула входная дверь и мама позвала нас снизу.

— Ну как вы там ужились вдвоем? — При виде нас на ее озабоченном лице появилась слабая, все понимающая улыбка, точно перед ней были два школьника, от которых только и жди всяких шалостей.

— Отлично, Ханна, спасибо, — вежливо ответил дедушка, усаживаясь в папино кресло с деревянными ручками, стоявшее в конце стола.

Как я вскоре узнал, дедушка только к завтраку выходил из своей комнаты и потому придавал этому ритуалу особое значение. В плите потрескивал огонь, и на кухне было тепло и уютно; возле того места, где сидел Мэрдок, скатерть была вся в пятнах и усеяна крошками. Нам хорошо было втроем; мама взяла жестяную коробку с вангутеновским какао, положила по ложечке в каждую из трех чашек и долила кипятку из большого чайника с черной крышкой.

— Скажите, папа, — начала она, — вы не взяли бы Роберта с собой на утреннюю прогулку?

— Конечно возьму, Ханна. — Дедушка отвечал вежливо, но сдержанно.

— Я знаю, вы всегда стараетесь помочь. — Она говорила так, точно меня тут и не было. — Нелегко это, наверно, будет на первых порах.

— Глупости! — Дедушка обеими руками поднял чашку и поднес ее ко рту. — К чему заранее тревожиться, моя ласточка?

Мама продолжала смотреть на него с грустной, еле уловимой улыбкой; по этой улыбке да по чуть заметному наклону головы я понял, как она его любит. Когда мы заканчивали завтрак, она на минутку вышла и вскоре вернулась с его палкой и шляпой, а также бумагами, которые он переписывал при мне накануне. Она старательно почистила квадратную шляпу, старую и выцветшую, потом затянула потуже тонкую красную тесемку, которой были связаны бумаги.

— Не вам бы заниматься этим, отец. Но вы знаете, какое это для нас подспорье.

Дедушка неопределенно улыбнулся, встал из-за стола и с важным видом надел шляпу. Мама проводила нас до двери. У порога она подошла совсем близко

к дедушке и долгим многозначительным взглядом, в котором читалась затаенная тревога, впилась в его голубые глаза. Затем тихо сказала:

— Обещайте мне, папа.

— Тсс, Ханна! До чего же ты беспокойная женщина! — Он снисходительно улыбнулся ей, взял меня за руку, и мы двинулись в путь.

Вскоре мы добрались до конечной остановки трамвая, где стоял красный вагон — еще совсем диковинка в ту пору; кондуктор переставлял дугу, и, когда она соприкасалась с проводами, в воздухе тучей рассыпались голубые искры. Дедушка провел меня на открытую верхнюю площадку и усадил на переднее место. Я крепче сжал его руку, а он искоса бросил мне ободряющий взгляд; в этот момент мы тронулись и с возрастающей скоростью — так, что воздух засвистел в ушах, — покатились, слегка подпрыгивая, под уклон от Толла к Ливенфорду.

— Билеты, пожалуйста. Прошу всех предъявить билеты.

Я услышал щелканье компостера, которым кондуктор на ходу прокалывал билеты, и позвякивание монет в его сумке, но дедушка продолжал глядеть прямо перед собой, опершись подбородком на рукоятку палки; волосы его разлетались по ветру, и ни мой молящий взгляд, ни требование кондуктора не могли вывести его из этого транса. Всецело занятый своими мыслями, он точно окаменел, так что кондуктор в нерешительности остановился возле нас; тогда дедушка, не меняя позы, всем своим видом изобразил такое возмущение: просто, мол, непонятно, как это старинный приятель может так себя вести, а потом с таким заговорщическим и многообещающим видом подмигнул кондуктору, что тот расплылся в смущенной улыбке.

— Ах, это вы, Дэнди, — сказал он и, помедлив еще немного, прошел наконец мимо нас.

Я был потрясен этим доказательством уважения к моему дедушке. Но тут мы увидели, что прибыли на Главную улицу и находимся как раз напротив муниципалитета. Дедушка с достоинством сошел на нижнюю площадку и, выйдя из трамвая, направился к низкому зданию; несколько ступенек вели к двери с большой медной дощечкой, на которой едва можно было прочесть: «Дункан Мак-Келлар, поверенный». Окна по обе стороны двери были до половины затянуты тонкой белой материей; на одном из них выцветшими золотыми буквами было написано: «Ливенфордское строительное общество», на другом — «Страховая компания Рока». Как только мы подошли к конторе, вся важность дедушки исчезла, он явно присмирел; однако это не помешало ему состроить забавную гримасу, когда весьма неприглядная женщина, в платье с засаленными манжетами, высунулась из окошечка и сурово заявила нам, что мистер Мак-Келлар занят — у него мэр — и нам придется подождать. Я скоро убедился, что дедушка вообще терпеть не может уродливых женщин — на лице его при виде их неизменно появлялась такая забавная гримаса.

Минут через пять дверь, ведущая в комнаты, открылась, и дородный мужчина с темной бородой вышел в приемную, на ходу надевая шляпу. Его внимательный взгляд смутил меня; внезапно, хмуро и неодобрительно взглянув на дедушку, он остановился перед нами.

— Так это и есть тот самый мальчик?

— Да, мэр, — ответил дедушка.

Мэр пристально оглядел меня еще и еще раз, точно знал мою жизнь лучше меня самого; он явно припомнил какие-то события, связанные со мной, и были они такими страшными и возмутительными, что я весь задрожал от стыда и ноги у меня подкосились.

— Ты, конечно, еще не успел завести приятелей среди мальчиков твоего возраста?

Мягкость его тона сразу успокоила меня.

— Нет, сэр.

— Можешь играть с моим сыном Гэвином. Он не намного старше тебя. Приходи к нам как-нибудь на днях. Мы живем совсем рядом — на Драмбакской дороге.

Я опустил голову. Не мог же я сказать ему, что у меня нет ни малейшего желания играть с этим незнакомым мне Гэвином. А мэр с минуту постоял, нерешительно потирая подбородок, потом кивнул еще раз и вышел.

Теперь мистер Мак-Келлар освободился и мог принять нас. Его кабинет был обставлен хотя и старомодно, но красиво — большой стол красного дерева, красный узорчатый ковер, в котором так и утопали ноги, на каминной доске — несколько серебряных чаш, а на стенах мутно-зеленого цвета — фотографии каких-то важных мужчин в рамках. Мистер Мак-Келлар сидел во вращающемся кресле; не глядя на нас, он заговорил:

— Пришлось вам подождать немного, Дэнди. Вы что, принесли работу? Или, может быть, какая-нибудь девчонка подала на вас в суд...

Тут он поднял голову и, заметив меня, умолк с таким видом, точно я испортил лучшую его шутку. Это был плотный краснолицый мужчина лет пятидесяти, гладко выбритый, коротко остриженный, строго одетый. Глаза его под бурыми мохнатыми бровями смотрели бесстрастно и проницательно, и все-таки что-то добродушное было в них. Принимая от дедушки бумаги, он глубокомысленно выпятил пухлую красную нижнюю губу и бегло просмотрел их.

— Ну и пишете же вы, Дэнди, дай бог всем так писать. Настоящая каллиграфия. Вот только почему вы

жизнь свою не смогли так ладно построить, как переписали этот документ?

Дедушка несколько принужденно рассмеялся:

— Человек предполагает, а Бог располагает, стряпчий. Я вполне доволен работой, которую вы мне даете.

— В таком случае держитесь подальше от соблазнов Сатаны. — Мистер Мак-Келлар сделал какую-то пометку в лежавшей перед ним книге. — Гонорар за эту работу я припишу к счету за прошлую. Наш друг Лекки, — он оттопырил щеку языком, — получит чек в конце месяца. А у вас, я вижу, новый член семьи.

Он выпрямился и стал меня рассматривать, пожалуй, еще более пронизывающим взглядом, чем мэр. Затем, словно признавая что-то, никак не вяжущееся со здравым смыслом, — более того, всем своим видом как бы говоря, что после той жуткой цепи событий, какая промелькнула перед его мысленным взором, он ожидал увидеть поистине страшное, омерзительное существо, — мистер Мак-Келлар пробормотал: — А он довольно славный малый. Едва ли с ним будет много хлопот — так мне, во всяком случае, кажется.

Вытащив из кармана пригоршню мелких монет, он не торопясь выбрал шиллинг и протянул его через стол дедушке.

— Купите этому внуку Белиала¹ стаканчик лимонада, Дэнди. А теперь идите. Мисс Гленни даст вам новый документ для переписки. Я же чертовски тороплюсь.

Дедушка вышел из конторы в отличнейшем расположении духа, выпятив грудь, точно он с наслаждением вдыхал свежий воздух. Когда мы спускались со ступенек, дедушка обратил мое внимание на двух женщин, шедших по противоположной стороне улицы. Это были бедные труженицы: с корзинами и плетенками

¹ *Белиал* (Велиал) — в Библии один из падших ангелов.

своего изделия они обходили дома. Одна из них — та, что помоложе, — рослая, с загорелым лицом и огненно-рыжими волосами, какие можно так часто видеть у бродячих шотландских цыган, несла свою ношу на голове, придерживая ее руками; при ходьбе она слегка покачивалась всем своим сильным телом, а поднятые над головой руки подчеркивали упругость ее груди.

— Посмотри-ка, мальчик! — чуть ли не с благоговейным восторгом воскликнул дедушка. — А ведь приятно увидеть такое, да еще в погожий, свежий осенний денек!

Я лично не видел в этом ничего особенно приятного: подумаешь, две цыганки, укутанные в шали, да и кто на таких внимание обращает! Но я был слишком удручен мрачными намеками, таившимися в словах мэра и юриста, и, чувствуя, как вокруг меня сгущается атмосфера тайны, не стал оспаривать мнение дедушки, а лишь, нахмурившись, последовал за ним. Почему я вызываю такое любопытство у всех этих людей? Что заставляет их покачивать головой при виде меня?

А дело объяснялось очень просто, хотя, конечно, знать я этого не мог. В Ливенфорде — маленьком, пропитанном предрассудками шотландском городке — считалось, что моя мать, которая была очень красивой, пользовалась большим успехом и «могла увлечь кого угодно», опозорила себя, выйдя замуж за моего отца, Оуэна Шеннона, чужеземца, с которым она познакомилась на каникулах, дублинца, человека без всяких родственных связей, занимавшего весьма незначительную должность в фирме, импортирующей чай, человека, у которого не было иных заслуг, кроме ума и красоты, если вообще эти качества можно считать заслугами. То, что за этим браком последовали многие годы безмятежного счастья, не принималось никем в расчет. Смерть отца, за которой вскоре последовала и смерть моей матери, рассматривалась как справедливое воз-

мездие. А мое прибытие к Лекки без всяких средств к существованию — как очевидное доказательство приговора, вынесенного Провидением.

Дедушка избрал для нашего возвращения домой дорогу, пролежавшую мимо городского пруда; не прошло и получаса, как перед нами из-за поворота вынырнула деревушка Драмбак, по окраине которой мы с мамой проходили накануне, и в ту же минуту, отмечая полдень, пронзительно завывла сирена Котельного завода, оставшегося теперь далеко позади.

Живописная деревушка раскинулась у подножия пологого холма, поросшего лесом; ее пересекал ручей, через который было перекинута два каменных мостика. Мы прошли мимо лавчонки, где торговали сладостями; в окне были выставлены «сюрпризные» мешочки с конфетами, фигурки из марципана, палочки из лакрицы, над входом висела вывеска: «Тибби Минз. Разрешено торговать табаком»; у открытой двери соседнего домика сидел старик и пряд шерсть. Через дорогу в кузнице кузнец подковывал белую лошадь; он склонился над зажатым в кожаный передник копытом, позади него в темной глубине ярко пылал горн, из раскрытых дверей вырывался приятный запах паленого рога.

Дедушка, казалось, знал здесь всех, даже уличного торговца, продававшего копченую пикшу с лотка, и женщину, выкрикивавшую: «Ревень, кому желе из ревеня! Два медяка за квартиру!»

Пока мы шли по деревне, дедушка без конца встречал знакомых, с которыми сердечно раскланивался или которые сердечно раскланивались с ним, — я чувствовал, что со мной идет поистине великий человек.

— Как поживаешь, Сэдлер?

— А вы как, Дэнди?

Тучный краснолицый мужчина, стоявший в одной рубашке без пиджака на пороге «Драмбакского гер-

ба», так дружелюбно приветствовал дедушку, что тот в предвкушении удовольствия остановился, сдвинул на ухо шляпу и даже вытер сразу вспотевший лоб.

— Мы чуть не забыли про твой лимонад, мальчик.

И он вошел в «Драмбакский герб», а я присел на теплые от солнца каменные ступени у раскрытой боковой двери и стал наблюдать за белыми цыплятами, которые с жадностью и поспешностью непрошенных гостей клевали на пыльном дворе рассыпанное зерно; вокруг стояла сонная тишь, какая наступает в деревнях после полудня; за зеленым стеклом лавчонки со сладостями, что была напротив, я увидел ее владелицу, мисс Минз, которая с любопытством глядела на меня; стекло было неровное, и она казалась мутной изогнутой тенью, точно маленькое морское чудовище, помещенное в аквариум.

Вскоре появился дедушка: он принес мне стакан с лимонадом, от которого у меня защипало язык и приятно защекотало во рту, вызывая слюну. А сам вернулся в кабачок к дневным завсегдатаям этого прохладного сумеречного уголка, одним глотком опорожнил маленькую пузатую рюмку и принялся напыщенно и высокопарно разглагольствовать, потягивая пиво из большой пенящейся кружки и как бы закрепляя действие выпитой ранее более крепкой золотистой влаги.

Тут внимание мое было отвлечено появлением двух девочек, которые, громко перекликаясь, катили обручи по лужайке напротив гостиницы. Я был совсем один; дедушка, как видно, надолго засел в «Гербе», а потому я встал и не спеша, кружным путем подошел к краю лужайки. Будь это мальчики, я бы и внимания на них не обратил, — у мисс Барти большинство учеников составляли девочки, я привык к ним и не робел в их обществе.

Одна из девочек продолжала яростно погонять свой обруч, а другая, та, что была помладше, решила отдохнуть и присела на скамейку. Эта девочка в клетчатой

юбочке на лямках была примерно одних со мною лет; она тихо напевала что-то вполголоса. Чтобы не мешать ей, я тихонько опустился на самый край скамейки и принялся рассматривать царапину у себя на колене. Вот она кончила песенку, и наступило молчание; потом, как я и рассчитывал, она с дружелюбным интересом повернулась ко мне.

— А ты умеешь петь?

Я грустно покачал головой. Ведь я не мог правильно и ноты взять; и знал я всего-навсего одну песню, которой пытался научить меня отец: песню о прекрасной даме, умершей в изгнании. Эта девочка с карими глазками и черными кудрями, которым полукруглая гребенка не давала падать на белый лобик, понравилась мне. И мне очень захотелось продолжить с ней разговор.

— Это колесо у тебя железное?

— Ну конечно. Только почему ты говоришь «колесо»? Мы называем это «обручем», а палочку — «погонялочкой».

Мне стало очень стыдно за свою неосведомленность, которая ясно указывала, что я приезжий, и я посмотрел вдаль на подружку моей соседки, которая катила теперь свой обруч прямо на нас.

— Это твоя сестра?

Она улыбнулась кроткой, доброй улыбкой.

— Луиза — моя кузина, она приехала к нам из Ардфиллана. А меня зовут Алисон Кэйс. Мы живем с мамой вон там. — И она указала на крышу большого дома, видневшуюся среди деревьев в дальнем конце деревни.

Еще больше смутившись от допущенной мною новой ошибки и оттого, что она живет в таком хорошем доме, я встретил подбежавшую к нам Луизу вызывающей улыбкой.

— Хелло! — Луиза, слегка запыхавшись, с большим мастерством остановила прямо подле нас свой

обруч и вопросительно посмотрела на меня. — Откуда ты взялся такой?

Ей было лет двенадцать; у нее были длинные льяные волосы, которые она то и дело отбрасывала назад с таким высокомерно важным видом, что мне сразу захотелось чем-то блеснуть перед ней, показать, что и мы с Алисон чего-нибудь стоим.

— Я приехал вчера из Дублина.

— Дублина? Господи боже мой! — И она добавила своим певучим голоском: — Ведь Дублин — это столица Ирландии. — Потом, помолчав немного, спросила: — Ты там и родился?

Я кивнул, с удовольствием подметив, как загорелись ее глаза.

— Ты, значит, ирландец?

— Я и ирландец, и шотландец, — не без хвастовства ответил я.

Но на Луизу это не произвело никакого впечатления, и она со снисходительным видом посмотрела на меня.

— Нет, так не бывает — нельзя быть и тем и другим сразу. Странно все-таки, очень странно. — Тут ей в голову, видимо, пришла какая-то мысль, потому что она вдруг сурово поджала губы и с видом инквизитора подозрительно вскинула на меня глаза. — А в какую церковь ты ходишь?

Я высокомерно усмехнулся: ну и вопрос! «Святого Доминика», — хотел было я ответить, но какой-то блеск, внезапно появившийся в ее загоревшихся глазах, пробудил во мне первобытный инстинкт самозащиты.

— В самую обыкновенную. С таким большим шпилем. Она была рядом с нами в Феникс-Кресцент. — Разговор этот взволновал меня, и, решив положить ему конец, я вскочил и принялся «вертеть колесо» — единственное, в чем я мог показать свою сноровку, — трижды перекувырнувшись через голову.

Когда я выпрямился, весь красный от натуги, я встретил обезоруживающий взгляд Луизы, и она сказала так просто, что лучше бы обругала:

— А я было испугалась, что ты католик. — И улыбнулась.

Покраснев до корней волос, я пролепетал:

— С чего ты это взяла?

— Право, не знаю. Но хорошо, что я ошиблась.

Потрясенный этим признанием, я молча уставился на свои ботинки, но особенно озадачило меня то, что в глазах Алисон я прочел что-то похожее на мое собственное смятение. Все еще улыбаясь, Луиза отбросила назад свои длинные волосы.

— И ты приехал сюда насовсем?

— Да, насовсем. — Я говорил, с трудом разжимая непослушные губы. — Если хочешь знать, я через три недели поступаю в Академическую школу.

— В Академическую?! Да ведь это твоя школа, Алисон! О господи, какое счастье, что я ошиблась и ты не католик. В Академической школе ведь нет ни одного такого. Правда, Алисон?

Алисон утвердительно кивнула, не отрывая глаз от земли. Я почувствовал, что у меня защипало веки, а Луиза, присев, весело рассмеялась.

— Нам пора завтракать. — Она решительно взялась за обруч и сказала, вконец уничтожив меня своим веселым состраданием. — Не горюй! Все будет в порядке, если то, что ты сказал, правда. Пойдем, Алисон.

Сделав несколько шагов, Алисон обернулась и через плечо бросила на меня взгляд, исполненный грустного сочувствия. Но я даже не обрадовался — так я был сражен этой страшной и непредвиденной катастрофой. Терзаясь раскаянием, я оцепенело смотрел вслед их удаляющимся фигуркам и очнулся, лишь услышав голос дедушки, окликнувшего меня с противоположной стороны улицы.

Когда я подошел к нему, он улыбнулся мне широкой улыбкой, глаза его блестели, а шляпа была сдвинута набекрень. Мы зашагали в направлении «Ломонд Вью», и он, одобрительно похлопав меня по спине, заметил:

— Я смотрю, ты преуспеваешь с дамами, Роби. Ты ведь разговаривал сейчас с маленькой Кэйс, не так ли?

— Да, дедушка, — пробормотал я.

— Милые люди. — Дедушка говорил самодовольным и почему-то снисходительным тоном. — Отец ее был капитаном «Равальпинди»... до самой смерти. Мать у нее прекрасная женщина, правда немножко болезненная. Она замечательно играет на рояле... А девочка поет, как жаворонок. Что это с тобой?

— Ничего, дедушка. В самом деле ничего.

Он сокрушенно покачал головой и, к моему величайшему смущению, вдруг принялся насвистывать. Свистел он хорошо, звонко и мелодично, нимало не тревожась тем, что свист его разносится по всей улице. А когда мы подходили к дому, он принялся напевать себе под нос:

О любовь моя, красная, красная роза
Расцвела пышным цветом в июне¹.

Он положил в рот дольку чеснока и доверительно шепнул мне:

— Только смотри не рассказывай маме, что мы с тобой выпили немножко. Она ужасная придира.

ГЛАВА 4

Мне кажется, в первую пору моего пребывания в этом доме мама прилагала все усилия к тому, чтобы я пореже встречался с остальными членами семей-

¹ Стихи в романе даются в переводе А. Мироновой.

ства. Частенько я не видел папу по целым дням: когда он производил «проверку дымоходов» или определял «цельность молока», он не приходил домой завтракать. Его служебное рвение было поистине достойно подражания — даже вечерами он редко отдыхал: садился в кресло, стоявшее в углу, и изучал какой-нибудь отчет о состоянии водопроводного хозяйства или о недоброкачественных продуктах. Он не бывал дома по вечерам только в четверг, когда отправлялся на еженедельные заседания Ливенфордского строительного общества.

Мэрдок большую часть дня проводил в колледже. За ужином он старался как можно дольше задержаться за столом, и, хотя мне иногда казалось, что после еды ему хочется поговорить со мной, он сразу раскладывал по всему столу книги и с мрачной решимостью садился за них.

Кейт приходила с уроков к обеду, но она была очень неразговорчива и по вечерам редко сидела вместе со всеми. Если она не отправлялась в гости к своей подруге Бесси Юинг, то закрывалась у себя в комнате и проверяла тетрадки или читала; уходя, она громко хлопала дверью, а смешные шишки у нее на лбу при этом особенно выпирали, как бы свидетельствуя о душевном смятении.

Неудивительно поэтому, что в ожидании, пока я начну посещать Академическую школу, мы все больше и больше сближались с дедушкой. Если не считать работы по переписке, он почти ничем больше не был занят, и хотя внешне относился ко мне, как к докучной помехе, однако не гнушался проводить время со мной — ведь я питал такое благоговение к его особе. В хорошую погоду после обеда мы обычно отправлялись на Драмбакский луг, где он величественно играл в «марлиз» — фарфоровые шары — со своими двумя приятелями: Сэдлером Боагом, крепышом необычай-

но вспыльчивого нрава, который вот уже тридцать лет держал в деревне шорную лавку, и Питером Дикки, маленьким, вертлявым, точно воробей, человечком, бывшим почтальоном; в свое время, сказал он мне, он отмерил по улицам и дорогам столько миль, что можно было бы чуть не весь земной шар обойти, а сейчас его больше всего на свете интересует комета Галлея: он очень боится, как бы она не свалилась на Землю. Шары, которыми играл дедушка, были розовые в коричневую шашку. Смотреть, как он бросает их, было просто удовольствие: вот он поднял последний шар на уровень глаз и, слегка усмехнувшись, «разгромил белых», и у мистера Боага, который до смерти не любит проигрывать, «трех шаров как не бывало»!

В иные дни дедушка отправлялся со мной в общественную читальню или поглазеть на то, как трудится ливенфордская пожарная команда — к которой он относился весьма критически, — а однажды, когда мистер Паркин, дававший лодки напрокат, куда-то отлучился, мы устроили чудесную прогулку по городскому пруду.

Воскресенье было совсем не похоже на всю остальную неделю, и всегда в этот день у меня почему-то появлялось неприятное щемящее чувство под ложечкой. Мама вставала раньше обычного и, подав папе в постель чашку чаю, ставила жаркое в духовку, а затем вынимала из шкафа папины брюки в полоску и фрак. Через некоторое время дом просыпался и начиналась всеобщая сумятица, сопутствующая одеванию: Кейт в одной нижней юбке бегала вверх и вниз по лестнице, мама старалась натянуть перчатки, севшие после стирки; в последнюю минуту появлялся Мэрдок, лохматый, в рубашке и подтяжках, и, перегнувшись через перила, кричал: «Мама, куда ты положила мои чистые носки?», а папа в тугом крахмальном воротничке, натиравшем ему шею, вышагивал с часами в руках

по гостиной и все твердил: «Вот сейчас колокола зазвонят».

В этот день я острее, чем когда-либо, понимал, что только мешаю этим славным людям, и не выходил из дедушкиной комнаты, пока далекий колокольный звон не разливался мягкой лаской в утренней тиши, — эти нежные переливы неотступно преследовали меня, усиливая чувство одиночества. Дедушка никогда не ходил в церковь. У него, видимо, не было к этому ни малейшего желания, да и одеться так, как требовали приличия, он не мог. Лишь только семейство отбывало в протестантскую церковь на Ноксхилле, где на богослужении присутствовали мэр и старейшины города, дедушка заговорщически подмигивал мне: давай, мол, «удерем» в гости, а это значило — к его приятельнице миссис Босомли, владелице соседнего дома.

Миссис Босомли, вдова мясника, была когда-то примадонной в странствующей драматической труппе — ее самой выдающейся ролью была Жозефина в «Невесте императора». Сейчас ей было лет под пятьдесят, она располнела, широкое лицо ее с маленькими добрыми глазками, совсем исчезавшими, когда она смеялась, и крошечными красными жилками на щеках обрамляли кудельки каштановых волос, завитых щипцами. Нередко, заглянув через забор, я видел, как она ходит по маленькому садику в сопровождении своей желтой кошки Микадо, потом вдруг станет в позу и начнет декламировать. Однажды я отчетливо слышал, как она говорила: «Грудью защищайте могилы ваших господ! Грудью защищайте родину!»

Но Ливенфорд не был ее родиной; где она родилась и как росла, никто не знал; позднее, когда я уже стал ходить в школу, мальчишки говорили, что она никогда и не была на сцене, а ездила с цирком и что у нее татуировка на животе. Я еще вернусь к разговору о миссис Босомли, а сейчас достаточно будет сказать, что ее гос-

теприимство являло собой разительный контраст со спарганской экономией, царившей в нашем доме. Мы усаживались в гостиной, миссис Босомли давала мне молоко и сэндвичи, а сама с дедушкой пила кофе; ее обыкновение курить после этого сигарету настолько поразило меня — я впервые видел, чтобы дама курила, — что я по сей день помню название марки на плоском зеленом пакете: «Дикая герань».

В воскресенье после обеда, когда папа, не снимая воротничка и не развязывая галстука, укладывался вздремнуть на диване в прохладе гостиной, а Мэрдок и Кейт отправлялись преподавать в воскресную школу, дедушка снова подавал мне знак, и мы отбывали в деревню, погруженную в сонное оцепенение, какое наступает после обильной еды. Свернув на дорожку, начинающуюся за городским садом, дедушка с самым независимым и деловым видом останавливался возле изгороди из боярышника, окружавшей огород и питомник Далримпла.

И какой же это был чудесный огород; над воротами висела потрескавшаяся от солнца вывеска: «Далримпл. Питомник», — а за ними виднелись грядки простой и цветной капусты и моркови, во фруктовом саду на деревьях еще полно было яблок и груш. Дедушка, обозрев сначала пустынную дорожку, осторожно заглядывал через изгородь и даже прищелкивал языком от огорчения:

— Вот обида! Старичка опять нет на месте. — Дедушка поворачивался, снимал шляпу и с милейшей улыбкой вручал ее мне. — А ну-ка, махни через изгородь, Роберт, к чему идти до калитки. И набери медовых груш, это самые лучшие. Да смотри пригни голову.

Следуя его указаниям, отданным шепотом, я пролезал сквозь изгородь и наполнял шляпу спелыми желтыми грушами, а дедушка стоял на дорожке, тщательно озирая окрестность и что-то напевая себе под нос.

Через некоторое время я возвращался, и мы принимались есть груши; они были такие спелые, что сок тек по подбородку, а дедушка глубокомысленно изрекал:

— Милый старикан этот Далримпл. Он меня так любит, что готов отдать мне свой последний крыжовник.

Хоть я и не был разговорчивым ребенком, не скрою: общение с дедушкой было для меня пусть кратковременным, но все же большим утешением. К несчастью, одно неприятное обстоятельство портило удовольствие от наших вылазок, оно огорчало и удивляло меня. Дедушку, которого всюду сердечно приветствовали, радуясь его приходу, определенная часть молодого поколения почему-то встречала и провожала смехом и неописуемыми издевками.

Наши мучители были не из числа учеников Академической школы — одного из них, сына мэра Гэвина Блейра, дедушка как-то раз показал мне, когда тот шел по другой стороне улицы, и я тогда отчаянно покраснел, — нет, нас донимали деревенские мальчишки, собиравшиеся у моста ловить шапками мелкую рыбешку. Когда мы проходили мимо, они тарасили на нас глаза и начинали глумиться:

Эй, Гау-попрошайка! Поскорее отвечай-ка
На вопрос: «Где достал ты страшный нос?»

Я белел от стыда, а дедушка, не обращая внимания на ужасную песенку, горделиво шествовал дальше, высоко подняв голову. Сначала я делал вид, будто ничего не слышал. Но под конец любопытство взяло верх, и я, преодолев огорчение, открыто посмотрел на дедушку:

— А правда, почему у тебя такой нос, дедушка?

Молчание. Дедушка холодно, с большим достоинством искоса взглянул на меня.

— Он у меня стал таким после войны с зулусами, мой мальчик.

— Ох, дедушка! — Весь мой стыд тотчас растворился в потоке гордости и возмущения против этих невежественных мальчишек. — Расскажи мне об этом, дедушка, ну пожалуйста.

Он настороженно посмотрел на меня. Ему не очень хотелось рассказывать, но мое желание послушать, видимо, показалось ему лестным.

— Видишь ли, дружок, — начал он, — я ведь не люблю хвастаться...

И вот я, словно зачарованный, семеню с ним рядом, а передо мной возникает огромный военный корабль — он скользит по водной глади и выходит в открытое море, а вслед ему несутся стенания прелестных женщин; вот он незаметно пристал к пустынному берегу и с него сошел отряд шотландских Белых конников под предводительством полковника Дугала Макдугала — все чистокровные аристократы. Дедушка быстро получил повышение: после смелой вылазки в крепость Матабеле он стал правой рукой полковника и был назначен связным, доставлявшим депеши из осажденного гарнизона, — это когда отряд Белых конников был окружен и отрезан. Затаив дыхание, слушал я рассказ дедушки о том, как он под покровом ночи, держа по револьверу в каждой руке и зажав в зубах нож, полз по каменистому вельду. Он уже почти миновал позиции неприятеля, когда луна — ох эта предательница луна! — вдруг выплыла из-за туч. Не успел он оглянуться, как стая дикарей набросилась на него. Пим! Пам! Пим! В дымящихся револьверах не осталось ни одного заряда. Тогда, вскочив на большой камень, он стал наотмашь сплеча разить врага ножом. Вокруг, извиваясь, валялись чернокожие. Тут он мелодично свистнул, и из тьмы вылетел его любимец — белый конь. Ох, сколько же ему пришлось вынести за

этот полный томительной неизвестности ночной переезд. Следом гнались быстроногие зулусы. В воздухе темно было от их дротиков. Свишь! Свишь! Наконец, истекая кровью и почти теряя сознание, ухватившись за гриву лошади, чтобы не упасть, он добрался до своих. Флаг был спасен.

Я перевел дух. От волнения и восторга глаза у меня горели.

— И вы были серьезно ранены, дедушка?

— Да, мой мальчик, боюсь, что да.

— Это тогда вы... у вас стал такой нос, дедушка?

Он торжественно кивнул и с нежностью погладил эту достопримечательность своего лица.

— Да, мой мальчик... это дротиком... отравленным... ударом наотмашь. — И, надвинув шляпу на глаза, чтобы защитить их от солнца, мечтательно добавил: — Сама королева выразила мне по этому поводу сожаление, когда награждала меня в Бальморале.

Я смотрел на него совсем иными глазами, чем прежде: с новым чувством благоговения и нежности. Какой удивительный герой наш дедушка! И по пути назад, из «Драмбакского герба» в «Ломонд Вью», я крепко держал его за руку.

Когда мы вошли в дом, мама стояла в прихожей, держа в руках почтовую открытку, которую только что принесли с сегодняшней дневной почтой, а было это первого октября.

— Завтра бабушка возвращается. — И она повернулась ко мне. — Ей очень хочется поскорее увидеть тебя, Роберт.

Дедушка как-то странно отнесся к этому известию. Он ничего не сказал, но состроил маме такую гримасу, точно съел что-то кислое, и стал подниматься к себе.

Мама запрокинула голову и крикнула ему вслед, словно желая его утешить:

— Подать вам к чаю яичко, папа?

— Нет, Ханна, не надо, — понуро молвил бесстрашный воин, сражавшийся с зулусами. — Теперь мне кусок в горло не пойдет.

И он продолжал восхождение. Я слышал, как печально звякнули пружины, когда он с размаху бросился в свое кресло.

Как бы ни относился к предстоящему событию дедушка, я лично ждал его с нетерпением. На следующий день — это была суббота — исполненный драматизма звук подъезжающего кеба заставил меня опрометью броситься к окну.

Волнуясь, я наблюдал, как бабушка, нагнув голову и бережно прижимая одной рукой сумочку к расширенному черным стеклярусом плащу с капюшоном, а другой приподняв юбку так, что видны были ботинки со вставленными сбоку резинками, осторожно вылезала из кеба. Возница, видимо, был чем-то недоволен. Когда бабушка расплатилась с ним, он воздел руки к небу, но потом, как бы признав свое поражение, все-таки согласился внести в дом ее саквояжи. Дедушка, не сказав никому ни слова, неожиданно отправился на прогулку, зато Кейт и Мэрдок почтительно вышли навстречу бабушке. Из передней донесся голос мамы:

— Роби! Куда это ты запропастился? Поди сюда, помоги твоей прабабушке донести вещи.

Я примчался и среди всеобщей сумятицы принялся перетаскивать пакеты полегче на второй этаж, не без робости, но и не без интереса поглядывая при этом на бабушку. Она была крупная — крупнее дедушки, с плоскими ступнями, с узким суровым морщинистым лицом, желтизну которого приятно подчеркивала белоснежная оборка, окаймлявшая ее черный чепец. Волосы бабушки, все еще темные, разделял посредине прямой пробор, а в уголке большого сморщенного рта, возле верхней губы, притаилась коричневая родинка, из которой торчал кустик волос. Она рассказывала маме

о том, как доехала, обнажая при этом крепкие пожелтевшие зубы, с которыми не без труда справлялась, ибо они то и дело щелкали.

Таинственная дверь наверху была распахнута, и, пока бабушка пила внизу чай, я уселся на один из саквояжей возле порога ее комнаты, решив удовлетворить свое долго сдерживаемое любопытство. Комната была чистенькая, тщательно прибранная, в ней пахло камфарой и воском; два коврика, казавшиеся двумя овальными островками, висели на крашенных дощатых стенах по обе стороны массивной кровати из красного дерева с резными ножками и толстым красным пуховым одеялом. Под кроватью застенчиво поблескивал ночной горшок. В углу стояла швейная машина, у окна — гостеприимная качалка с обитой плюшем спинкой, прикрытой вышитой салфеточкой. На стенах висели три цветные литографии — роскошные и устрашающие: «Самсон разрушает храм», «Евреи переходят Красное море», «Страшный суд». А возле двери, так что я мог прочесть, в мрачной рамке черного дерева, напоминавшей могильный камень, висело стихотворение, обведенное черной каймой, под названием «Благой день»; в нем воздавалась хвала Аврааму за то, что он принял Сэмюела Лекки в свое лоно, хоть и причинил этой утратой тяжкое горе его возлюбленной супруге.

На лестнице слышались медленные, но тяжелые шаги бабушки — ступеньки так и скрипели у нее под ногами; я же точно загипнотизированный не мог сдвинуться с места — вот так же маленькие рыбки, подчиняясь скорее инстинкту, чем желанию, покорно следуют за владыками морских глубин. Бабушка внимательно оглядела свою комнату, проверяя, не переставлено ли что-нибудь, на какой-то дюйм передвинула стулья, попробовала ногой педаль швейной машины, и все время ее ясные проницательные глаза изучали меня.

Наконец она покачала головой, как бы показывая, что не вполне довольна осмотром, раскрыла свой кожаный саквояж, вынула футляр с очками, Библию и несколько бутылочек с лекарствами и с величайшей тщательностью разложила все это на маленьком столике возле кровати, покрытом кружевной салфеточкой. Затем она обернулась ко мне и, произнося слова на деревенский лад, спросила:

— Ты хорошо себя вел, пока меня не было?

— Да, бабушка.

— Рада это слышать, мой милый. — В ее бесстрастном тоне послышались теплые нотки. — Ну а теперь помоги-ка мне распаковаться. Ни на один день нельзя уехать: непременно кто-нибудь нахозяйничает и переставит все.

Я помог ей распаковать багаж, а она принялась убирать в комод с глубокими ящиками тщательно сложенные и наглаженные вещи. Затем она дала мне кусок фланели и, заметив, что чистота — залог благочестия, велела протереть медную решетку камина, а сама вынула из того же комода метелочку из перьев и стала обметать стоявших на камине фарфоровых собачек.

Довольная моим прилежанием, бабушка еще прибавила строгости и с сочувствием многозначительно посмотрела на меня.

— А ты все-таки славный мальчик. И бабушка сейчас даст тебе что-то вкусненькое.

Она извлекла из верхнего левого ящика комода пригоршню жестких мятных лепешек, известных под названием «имперские», взяла себе штуку, а остальные сунула мне.

— Ты только не грызи их, а соси, — посоветовала она. — Так дольше хватит. — И она покровительственно погладила меня по голове. — Ты теперь будешь бабушкин сынок. И все время, мой ягненок, будешь с бабушкой. Мы с тобой станем в гости ходить — чай пить.

И, верная своему обещанию, бабушка бóльшую часть дня проводила со мной; нередко мы с ней беседовали, и она даже рассказывала кое-что о себе. Была она крепкой крестьянской породы; племянник, у которого она раньше жила, имел ферму в Эршире и занимался разведением картофеля. Муж бабушки работал старшим табельщиком на ливенфордском Котельном заводе; это был «святой человек», который помог ей приобщиться к Господней благодати. Однажды (этот день она никогда не забудет!) он проходил по двору завода и сверху, с подвесного крана, на него упала стальная болванка весом в целую тонну. Бедный Сэмюел! Он, конечно, отправился прямо к престолу Господню, а братья Маршалл, надо сказать, поступили весьма благородно: бабушка теперь каждый квартал получает от завода пожизненную пенсию. Так что она, слава богу, ни от кого не зависит и может прилично платить за свой стол и кров.

В четыре часа дня бабушка велела мне вымыть лицо и руки. А через полчаса мы с ней отправились в деревню Драмбак.

К этому времени я уже успел проникнуться суровой религиозностью бабушки и, желая заслужить ее одобрение, стал серьезным, старомодным — даже в подражание ей чопорно кивал. Преисполненный благого сознания собственной значимости, я шагал рядом с бабушкой, облаченной во все свои «доспехи»: несмотря на теплую погоду, на ней было длинное парадное платье, в котором она прибыла из своих странствий, а в руке, точно скипетр, она несла длинный, туго скатанный зонтик с ручкой, инкрустированной золотом и перламутром. Да, ей вслед никто уж не осмелится кричать всякие глупости.

— Помни, душенька, — предупредила она меня, когда мы подошли к маленькой лавчонке со сладостями, приютившейся между колодой для лошадей и кузни-

цей, — веди себя как следует. Мисс Минз — моя лучшая подруга, мы с ней вместе ходим молиться. Не сопи, когда будешь пить чай, и говори, только если тебя спросят.

Еще совсем недавно я точно зачарованный стоял у низенькой витрины мисс Минз, прижавшись лицом к зеленоватым стеклам, и понятия не имел о том, что так скоро удостоюсь чести быть ее гостем. Дверь со звоном растворилась от толчка бабушкиной руки, и я вступил вслед за ней в чудесный сумрак маленького погребка, где пахло мятными лепешками, анисовыми подушечками, душистым мылом и сальными свечами. Мисс Минз, маленькая сгорбленная старушка в черном бумазейном платье и в очках со стальной оправой, поднятых на лоб, сидела за конторкой и вязала; наш приход был для нее такой неожиданностью, что она испуганно и в то же время радостно вскрикнула:

— Господи боже мой, да никак вы вернулись!

— Ну конечно, конечно, Тибби, это я собственной персоной.

В восторге оттого, что она устроила своей приятельнице такой сюрприз, бабушка с неожиданной игривостью расцеловала мисс Минз, не перестававшую что-то радостно щебетать.

Затем мисс Минз, страдавшая от ревматизма, прихрамывая, провела нас в комнатку за лавкой; на круглом столе мигом появились чашки и блюдца, а на огне закипел чайник, однако все эти хозяйственные хлопоты не мешали мисс Минз внимательно слушать рассказ бабушки о том, как она гостила в Килмарноке, причем главное место в этом рассказе было отведено посещению церкви.

— Да, милая моя, — желая польстить бабушке, смиренно вздохнула по окончании рассказа мисс Минз. — Вы с пользой провели время. Мне бы тоже очень хотелось послушать мистера Далгетти. Но конечно, лучше, что слушали его вы.

И, разливая чай, она стала рассказывать бабушке о том, что произошло в ее отсутствие: обо всех рождениях и похоронах, а также, хоть я в ту пору не понимал этого, обо всех беременностях. Но вот обсуждение мирских сует закончено, воцарилось многозначительное молчание: подруги посмотрели на меня с видом двух лакомок, которые, отведав деликатесов и разжегши аппетит, готовы приняться за самые основательные блюда.

— А он славный мальчик, — чистосердечно заметила мисс Минз. — Возьми еще кусочек пирога, молодой человек. Это полезно.

Мне, конечно, было чрезвычайно приятно такое внимание. Мисс Минз уже дала мне в полное пользование тарелку с эбернетским печеньем и положила на стул подушку, чтобы я мог достать до стола. Затем, заметив, что я не пью чай, она принесла из лавки бутылку чудесной золотистой газированной воды под названием «Богатырский пунш» — на этикетке был изображен силач в леопардовой шкуре, поднимающий тяжеленные гири.

— Ну а теперь, мой хороший, — ласково сказала она, — расскажи нам с бабушкой, как ты тут жил. Ты много бывал с дедушкой?

— О да, конечно. Почти все время.

Женщины обменялись многозначительным скорбным взглядом, и бабушка тоном, каким говорят, желая скрыть дурные предчувствия, спросила:

— И чем же вы все это время занимались?

— О, уймой всяких вещей, — важно изрек я и потянулся еще за печеньем, хотя меня никто не угощал. — Играли в шары с мистером Боагом. Охотились на зулусов. Ходили в питомник мистера Далримпла за грушами... Дедушка, конечно, договорился с ним, что я буду лазать через изгородь. — Польщенный их вниманием, я сполна воздал должное дедушке: не забыл и про

наше посещение «Драмбакского герба» и даже рассказал про двух цыганок, которых мы с дедушкой видели на Главной улице и которые так понравились ему.

Я умолк, а бабушка с искренним состраданием продолжала смотреть на меня. Затем чрезвычайно осторожно, но настойчиво, как бы решив узнать все — пусть даже самое худшее, — она стала расспрашивать меня о поре более отдаленной, о том, как я жил в Дублине. Подвела она меня к этому так незаметно, что, не успев опомниться, я уже давал ей полный отчет о моих детских годах.

Когда я кончил, обе женщины почему-то молча переглянулись.

— Итак, — приглушенным голосом изрекла наконец мисс Минз, — теперь вам все известно, душенька.

Бабушка торжественно наклонила голову и взглянула на меня.

— Роберт, миленький, пойдй поиграй минутку на улице. Нам с мисс Минз надо кое о чем потолковать.

Я попрощался с мисс Минз и стал ждать бабушку возле колоды для лошадей; по мере того как шло время, мне становилось все больше не по себе. Но вот наконец появилась и бабушка. Всю дорогу она молчала, и хотя в том, как она вела меня за руку, чувствовалась жалость ко мне, эта жалость шла от рассудка. Она сразу провела меня к себе и, сняв плащ с капюшоном, закрыла дверь.

— Роберт, — сказала она, — давай вместе прочтем молитву, хорошо?

— Конечно, бабушка, — волнуясь, с жаром заверил я.

И хотя сердце ее обливалось кровью, она взяла меня за руку и заставила встать на колени, потом сама тяжело опустилась рядом со мной. В комнате темно. С горячей и искренней верой молилась она о моем благополучии. От страха и волнения физиономия

у меня вытянулась, но эта горячая молитва обо мне не могла меня не тронуть, и глаза мои наполнились слезами, когда бабушка, испросив прощения для грешника и долготерпения для себя самой, нежно поручила меня заботам небесных сил. Помолившись, она, весело улыбаясь, встала с колен, закрыла ставни и зажгла газ.

— Этот костюмчик, который на тебе, Роберт... просто позор. И что подумают о тебе в этой твоей Академической школе! — Она подозвала меня к себе и пощупала износившуюся реденькую материя. — Завтра же стажаю тебе что-нибудь на машинке. Достань-ка мне сантиметр из комода.

Я стоял не шевелясь, пока бабушка обмеряла меня со всех сторон и, слюнявя кончик карандаша, записывала цифры на выкройке из оберточной бумаги, которую она вынула из журнала «Уэлдонский домашний портной». Затем она открыла шкаф и, размышляя вслух, заметила:

— Где-то у меня тут должна быть саржевая нижняя юбка — еще совсем хорошая. Как раз то, что надо!

В самый разгар поисков в дверь постучали.

— Роби, — донесся снаружи голос дедушки. — Пора спать.

Бабушка повернулась в сторону двери.

— Я сама уложу Роберта.

— Но он спит со мной.

— Нет, он будет спать со мной.

Последовало молчание. Затем из-за двери опять донесся голос дедушки:

— Его ночная рубашка у меня в комнате.

— Я дам ему ночную рубашку.

Опять молчание, молчание побежденного, и через секунду я услышал шаркающие шаги — дедушка отступил. Тут я уж вконец переполошился, и, должно быть, это отразилось на моем побледневшем лице, так как бабушка стала еще заботливее и елейнее.

Она раздела меня, налила из кувшина воды в таз и заставила меня вымыться; потом закутала в длинный фланелевый лиф и помогла взобраться на высокую постель. А сама присела рядом и принялась гладить меня по голове, точно собираясь с силами, прежде чем приступить к неприятной обязанности.

— Бедный мой мальчик, — с искренней жалостью вздохнула она. — Приготовься выслушать то, что я тебе скажу. Твой дедушка никогда не воевал. Он ни разу в жизни не выезжал дальше чем за пятьдесят миль от графства Уинтон.

Что это она говорит? Я вытаращил глаза от удивления — нет, быть не может!

— Не в моем характере говорить о ком-нибудь плохо, — продолжала она. — Но тут уж моя святая обязанность позаботиться о твоём будущем... — И пошла, и пошла, и хотя я из чувства внутреннего протеста старался не слушать ее, отдельные слова все-таки доходили до моего сознания:

— ...За что бы он ни брался, все кончалось провалом... отовсюду его выгоняли... был акцизным чиновником на складе при таможене... многие годы еле сводил концы с концами... это-то и доконало его несчастную жену... А потом, ведь он еще и пьяница... по лицу видно... нос-то какой... А с кем он водит компанию... с Богом, который уже трижды разорялся, а Дикки — тот того и гляди угодит в богадельню для бедняков... И ни гроша за душой... если бы не щедрость моего сына...

— Нет, нет! — закричал я, зажимая уши руками и зарываясь головой в подушку.

— Ты должен об этом знать, Роберт. — Она поправила одеяло. — Он неподходящая компания для мальчика твоего возраста. Да не плачь же, мой ягненочек. Я буду заботиться о тебе.

Терпеливо дождавшись, пока я успокоюсь, она поднялась, заметив, что тоже устала.

— Кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и ум наживет, — изрекла она и принялась раздеваться.

Процедура эта так заинтересовала меня, что, несмотря на все свои горести, я стал наблюдать за бабушкой. Прежде всего она сняла свой черный чепец — маленький черный чепчик, красовавшийся на ее зачесанных кверху еще каштановых волосах. Затем бабушка сняла плоские золотые часики, приколотые к лифу, старательно завела их и повесила на крючок над каминной доской. После чего настала очередь белой шали, которой бабушка для тепла прикрывала плечи. Маленькая заминка — пока расстегивается узкий черный лиф с длинными рукавами, но вот и он снят и уложен на качалку. За ним следуют лифчики из белой материи с длинными завязками — штуки четыре, если не больше, — и наконец бабушка предстает передо мной упакованная в черный корсет, опоясывавший ее всю вплоть до темных углублений под мышками.

На этом раздевание было прервано; быстрым движением левой руки, совсем как маг-волшебник, бабушка вынула зубы, и щеки ее как-то сразу провалились, а суровое лицо приняло выражение приятной мягкости. Но как только зубы были положены в стакан с водой, стоящий у изголовья, бабушка поспешно надела белый ночной чепец и крепко завязала ленты под подбородком, отчего лицо ее сразу стало суровым, как всегда.

Затем она продолжала раздеваться: вот упала юбка, и бабушка переступила через нее, так же переступила она и через несколько нижних юбок. В те далекие годы меня чрезвычайно занимал вопрос о том, сколько нижних юбок у бабушки: во-первых, юбка из черного альпага, за нею три белые бумажные юбки, потом две кремовые фланелевые... но мне так и не удалось проникнуть до конца в эту неуловимую тайну, ибо

тут обычно бабушка сурово, но не без хитринки взглядывала на меня и говорила:

— Роберт! Повернись к стенке.

Я повиновался; после этого я слышал, как бабушка еще перешагивала через что-то, потом раздавался треск корсетных костей, еще какие-то звуки, потом бабушка прикручивала газ и ложилась рядом со мной. Спала она тихо, покойно, только вот ноги у нее — а она сразу придвигала их к моим — были уж очень холодные. Я лежал на боку и со страхом взирал на двойной ряд оскаленных зубов, поблескивавших в темноте на ночном столике, — это были массивные зеленоватые зубы, изготовленные по старинке, но необычайно крепкие и вделанные в мощную пластинку. У дедушки не было таких зубов, но мне так хотелось — да, несмотря на то что он плохой, вдруг от всего сердца захотелось — снова быть с ним.

ГЛАВА 5

Старинное серое каменное здание Академической школы с часами на высокой квадратной башне, со стертыми каменными ступенями, длинными сырыми коридорами и душными классами, где пахло мелом, детьми и осветительным газом, свыше ста лет стояло на Главной улице, куда выходила глубокая темная арка, казавшаяся моему разгоряченному воображению похожей на провал в горе близ Гамельна, когда она разверзлась от звуков волшебной флейты¹.

В то утро, когда я должен был ступить под своды этой арки, я проснулся возбужденный и взволнованный, и бабушка, сообщив мне, что мой костюм готов,

¹ Аллюзия на эпизод из народной сказки о гамельнском крысолове, который звуками волшебной флейты спас город от нашествия крыс.

с довольным видом подвела меня к подоконнику, где он был разложен на папиросной бумаге, дабы сразу поразить мое воображение.

Вид моего нового одеяния, которого я с таким нетерпением ждал, настолько изумил меня, что я не мог слова вымолвить. Костюм был зеленый — не мягкого темно-зеленого тона, а веселого, ярко-оливкового. Правда, я видел эту материю, когда бабушка строчила ее на машинке, но по наивности решил, что это подкладка.

— Ну надевай же его скорей, — с гордостью сказала бабушка.

Костюм был мне велик: я потонул в курточке, а широкие штаны висели так, точно я надел длинные брюки и мне обрезали их ниже колен.

— Прекрасно, прекрасно, — приговаривала бабушка, поглаживая и одергивая на мне костюм. — Не узок и не короток. Я шила его на вырост.

— Но цвет, бабушка! — слабо запротестовал я.

— Цвет?! — Она вытянула белую наметку и продолжала говорить, не разжимая губ, в которых держала булавки. — А чем плох цвет? Материя замечательная — сразу видно. Ведь ей износу не будет.

Я побелел. Приглядевшись повнимательнее к рукаву, я только сейчас заметил на материале легкую полосу из маленьких выпуклых завитков: о боже, розочки — они были бы очень красивы на бабушкиной нижней юбке, но едва ли подходят мне.

— Разрешите мне сегодня надеть старый костюм, бабушка.

— Вот еще чепуха какая! Да я вчера разрешила его на тряпки.

Бабушка так превозносила свое творение, что я почти успокоился. Однако не успел я выйти из ее комнаты, как Мэрдок сразил меня наповал. Повстречав

меня на лестнице, он с наигранным ужасом прикрыл глаза рукой и застыл на месте, а потом откинулся на перила и ну хохотать.

— Наконец-то! Наконец-то она себя показала!

Несколько странное молчание, каким встретила мое появление на кухне мама, равно как и подчеркнутая заботливость, с какой она протянула мне тарелку, полную каши, отнюдь не могли способствовать моему успокоению.

Сам не свой вышел я на улицу, где серело холодное утро, с таким чувством, что на всем окружающем меня бесцветном зимнем шотландском пейзаже единственное яркое весеннее пятнышко — это я. Люди оборачивались и смотрели мне вслед. Врожденная робость и стыд побудили меня держаться подальше от Главной улицы, и я избрал дорогу через городской сад — более спокойную, но и более длинную, так что я опоздал в школу.

Поплутав по коридорам, я не без труда нашел наконец второй класс, куда я был зачислен по рекомендации Кейт. Когда я вошел, стеклянная перегородка, разделявшая комнату, была раздвинута, и я предстал сразу перед двумя классами; мистер Далглейш, восседавший на кафедре, уже закончил первый урок. Я хотел незаметно проскользнуть на свободное место, но не успел дойти и до середины класса, как учитель остановил меня. Он не был прирожденным тираном, как я это установил впоследствии, — даже бывал иногда на редкость приветлив и одарял нас сокровищами интереснейших познаний, но порой на него находили приступы мрачной ярости, когда в него словно вселялся злой дух. Вот и сейчас я с ужасом заметил — по тому, как он покусывал кончик своего уса, — что настроен он далеко не благоприятно. Я ожидал, что он сделает мне выговор за опоздание. Но он и не подумал на меня

кричать. Вместо этого он спустился с кафедры и, слегка склонив голову набок, неторопливо обошел вокруг меня. Класс замер от испуга и волнения.

— Так! — произнес он наконец. — Мы, значит, и есть новый ученик. И у нас, как видно, новый костюм. Нет, век чудес еще не кончился.

Вокруг захихикали, предвкушая интересное развитие событий. Я молчал.

— Да ну же, сэр, не дуйтесь на нас, пожалуйста. Где это вы купили такое чудо? У Миллера на Главной улице или в Кооперативном магазине?

Побелевшими губами я прошептал:

— Мне его моя прабабушка сшила, сэр.

По классу прокатился громовой хохот. Мистер Далглейш без малейшей улыбки в холодных, с красными прожилками глазах продолжал расхаживать вокруг меня.

— Замечательный цвет. И самый подходящий. Насколько мы понимаем, вы из ирландцев?

Класс снова захохотал. Во всем этом полукружье смеющихся лиц — от смущения и робости мне казалось, что их несметное множество, хотя я отчетливо видел каждое в отдельности — не смеялись лишь двое. Гэвин Блейр, сидевший на первой парте и с холодным презрением смотревший на учителя, и Алисон Кэйс, которая не отрываясь, взволнованно глядела на меня поверх учебника своими карими глазами.

— Отвечайте на мой вопрос, сэр! Вы принадлежите к числу последователей святого Патрика — да или нет?

— Я не знаю.

— Он не знает! — Произнесено это было с нарочитой медлительностью и наигранным удивлением; ученики катались по партам от хохота. — Он явился к нам в гирлянде из трилистника, живое олицетворение душещипательной баллады «В венке из зелени»,

и ему, видите ли, стыдно признаться, что на его челе еще не высохли следы святой воды...

И он продолжал в том же духе, потом вдруг повернулся и, ледяным взглядом утихомирив развеселившихся учеников, обратился ко мне своим обычным тоном:

— Тебе, возможно, интересно будет услышать, что я учил твою мать. А сейчас вот смотрю на тебя, и похоже, что я даром потратил тогда время. Садись сюда.

Дрожащий, вконец оробевший, я, спотыкаясь, прошел к своему месту.

Я надеялся, что на этом и кончатся мои страдания. Увы, это было только начало. В перерыве меня окружила глумящаяся насмешливая толпа. Меня и так уже выделили из общей массы учеников, а теперь я и вовсе доказал, что я в самом деле выродок.

Злейшими моими мучителями оказались Берти Джемисон и Хэмиш Боаг.

— Эй, ирлашка — зеленая рубашка! А голубые все равно главней!¹ — издевались они надо мной, следуя тону, заданному мистером Далглейшем, только гораздо резче. Какую, оказывается, расовую и религиозную ненависть могла вызвать к жизни злосчастная нижняя юбка старой женщины. Когда настал час завтрака, я заперся в уборной; на коленях у меня в бумажке лежал кусок хлеба, намазанный вареньем из ревеня, но я не притрагивался к нему. Вскоре меня, однако, обнаружили и вытащили на улицу.

В тот день у нас были занятия по гимнастике, которые проводил в школьном зале привратник, бывший сержант из добровольцев. Не успел я, по примеру остальных, снять с себя курточку, как Берти Джемисон и Хэмиш Боаг с угрожающим видом подошли ко мне.

¹ Зеленый цвет — национальный цвет Ирландии, голубой — приверженцев Англии.

Берти был грубый мальчишка с шишковатым лбом; он вечно куролесил и дрался с девочками. Он сказал:

- Мы тебе еще зададим.
- Но за что? — заикаясь, спросил я.
- За то, что ты грязный папист.

Весь последующий час, дрожа от страха перед грядущим, я делал упражнения на «поднимание рук» и «сгибание колен». Как только урок кончился и привратник ушел, меня окружили и вытолкали в раздевалку. Там уже собрались почти все старшие мальчики; пинками и ударами меня загнали в угол, а Джемисон схватил мою руку и стал заламывать ее мне за спину. Я попытался вырваться, но поскользнулся и упал. В одно мгновение Хэмиш Боаг завладел моими ногами, а Джемисон уселся мне на грудь и принялся колотить меня головой об пол.

— Дай ему как следует, Берти! — закричало несколько голосов. — Вытряси из него душу.

Тут Джемисону пришла в голову новая мысль. Он выпустил меня из рук и оглядел стоявших вокруг мальчишек.

— У кого-нибудь есть нож? Давайте-ка посмотрим, такой ли он зеленый внутри, как снаружи?

— Не надо, Берти, не надо! — взмолился я. Сердце у меня так колотилось от испуга, что я едва это выговорил. Тут зазвонил колокол, и мои мучители вынуждены были отступить. Когда я добрался до коридора, где мы строились, чтобы войти в класс, мой растерзанный вид и пыльная одежда привлекли внимание мистера Далглейша, который стоял у колокола, все еще держась за веревку.

— Что это значит? — спросил он.

За меня ответил хор льстивых голосов:

— Ничего, сэр.

Затем маленький Хови, шустрый, как белка, крикнул откуда-то сзади:

— Мы просто отдали дань восхищения новому зеленому костюму Шеннона, сэп!

Мистер Далглейш кисло усмехнулся.

Всю эту неделю на меня сыпались беды. Всяким издевательствам не было конца. Напротив церкви Святых ангелов, находившейся рядом со школой, после занятий обычно собиралась разбойничья банда. Никогда прежде я не входил под своды этого храма, а теперь меня грубо вталкивали туда и заставляли молиться об отпущении грехов, выуживать монеты из кружки для бедных, целовать большой палец на ноге Христа и прочие части Его тела. Мои мучители были безжалостны, и, если, доведенный до отчаяния, я пытался противостоять им, они неизменно брали надо мной верх, хотя бы уже потому, что их всегда была целая орава.

Чтобы избежать встреч с ними, я все время был начеку, готовый в любую минуту пуститься наутек, ходил кружным путем, где было меньше народу; чаще всего я выбирал дорогу через городской сад, а затем мимо Котельного завода, но даже и здесь не был в безопасности: на плечах моих ведь по-прежнему был этот ужасный костюм, и молодые инженеры и слесари с завода частенько кричали мне вслед: «Эй! Зеленые Штаны! А мать твоя знает, что ты разгуливаешь по улице?» Шутки их были добродушными, но я был слишком запуган и уже не мог отличить юмора от оскорбления. Все глубже и глубже погружался я в бездну отчаяния: домашнюю работу выполнял из рук вон плохо, в классе все заливал чернилами и вообще вел себя как слабоумный ребенок. Как-то раз мистер Далглейш велел мне встать и прочесть стихи, которые нам задали выучить наизусть; я так долго молчал, что он крикнул:

— Да чего же ты ждешь?

И я ответил рассеянно, с отсутствующим видом:

— Моего зеленого костюма, сэп.

Гробовое молчание. Потом — взрыв хохота.

Больше терпеть я не мог. В тот вечер я бросился в комнату к дедушке. И как только спертый воздух, такой знакомый и родной, ударил мне в лицо, из глаз моих брызнули слезы. С тех пор как бабушка занялась моим воспитанием, мы с дедушкой стали совсем чужими, и хотя я пытался как-то раз перед ним извиниться, он прошел мимо меня, высоко держа голову, а выслушав с холодной, отчужденной, презрительной улыбкой объяснения, которые я, заикаясь, пролепетал, небрежно бросил:

— Можешь спать с кем хочешь, мальчик.

Теперь же он сидел с задумчивым и несколько апатичным видом и смотрел куда-то в пространство.

— Дедушка! — воскликнул я.

Он медленно обернулся. Показалось мне это или глаза его в самом деле загорелись при виде меня? Молчание.

— Я знал, что ты вернешься, — просто сказал он. И, не в силах подавить свою ужасную любовь к назиданиям, добавил: — Старые-то друзья ведь лучше новых.

ГЛАВА 6

Наконец я успокоился и, усевшись на коленях у дедушки — радостное обстоятельство, подтверждавшее наше примирение, — излил ему душу. Он молча выслушал меня. Затем твердой рукой взял с подставки набитую трубку.

— Выход только один, — сказал он своим самым спокойным тоном (и каким же благом была для меня спокойная логика его суждений после стольких смутных дней!). — Весь вопрос в том, можешь ли ты это сделать.

— Могу! — с жаром выкрикнул я. — И сделаю, сделаю, сделаю!

Он раскурил трубку и несколько раз неторопливо затянулся.

— Кто у вас в классе самый сильный... самый крепкий... самый упорный?

Длительных раздумий для этого не требовалось: ответ мог быть только один. И я без заминки сказал:

— Гэвин Блейр.

— Сын мэра?

Я кивнул.

— В таком случае... — Дедушка вынул трубку изо рта. — Тебе придется драться с Гэвином Блейром.

Потрясенный, я молча уставился на него. Гэвин во все не принадлежал к числу моих мучителей. Он презирал всю эту омерзительную возню и держался в стороне. Вообще в школе он лишь два раза обратился ко мне. Этот мальчик был во всех отношениях на голову выше остальных: умный и в то же время очень собранный, он был первым учеником в классе и любимцем даже Далглейша. В любой игре он был самым искусным, и все знали, что он одной рукой может уложить Берти Джемисона. Я попытался объяснить все это дедушке.

— Ты что, боишься? — спросил он.

Я потупился: перед моим мысленным взором возникло крепкое, мускулистое тело Гэвина, его небольшой, но упрямый подбородок, ясные серые глаза. Я во все не принадлежал к числу героев-мальчишек, о которых пишут в книжках, и порядком струхнул.

— Я не умею драться.

— А я научу тебя. Научу за неделю. Главное ведь не в росте противника, а в состоянии его духа. — Он повел плечами. — Мы, конечно, можем, если хочешь, написать письмо Далглейшу и попросить его поговорить с мальчишками. Но потом они будут еще больше

насмехаться над тобой. Тут дело принципа: надо вздуть самого сильного из них. Так как же, берешься ты это сделать или нет?

Я весь дрожал и все-таки, как ни странно, сумел прийти к определенному решению, — должно быть, вот так же самоубийцы приходят к решению выброситься из окна высокого здания. И я буркнул еле слышно:

— Да.

Обучение началось в тот же вечер, после того как я помог маме вытереть посуду. Бабушку решено было не посвящать в наши планы. Дедушка заставил меня принять ряд положений, настолько неудобных, что у меня все тело сводило от напряжения: я стоял, выставив вперед кулаки и так низко нагнув голову, что видел лишь носки своих сапог. А дедушка в точно такой же позе стал напротив меня; не успел он скомандовать «левой начинай», как я с такой стремительностью саданул его в живот, что он, согнувшись и задыхаясь, полетел в кресло.

— Ой, дедушка! — в ужасе воскликнул я. — Я не хотел тебе сделать больно.

Дедушка ужасно рассердился. И не потому, что я сделал ему больно, а просто потому, что поступил не как джентльмен, ударив его «ниже пояса». Переводя дух, он сурово отчитал меня, рассказал о недопустимых в боксе приемах, а затем велел пробежаться до конца улицы и обратно, чтобы размять ноги.

Все последующие дни он упорно трудился, наставляя меня в благородном искусстве самозащиты. Он рассказал мне о кровавых и вдохновляющих подвигах Джема Кувалды, Джима Джентльмена и Билли Мясника, который дрался восемьдесят два раунда подряд с перебитой челюстью и оторванным ухом. Он велел мне не пить воды или пить как можно меньше, чтобы кожа моя приобрела большую упругость. Он даже

жертвовал в мою пользу сыр, который ему давали к обеду, — единственное его лакомство — и заставлял меня медленно съесть кусочек за кусочком у него на глазах, а у самого слюнки так и текли по усам.

— Ничто так не укрепляет мышцы, как данлопский сыр, мой мальчик.

Я не сомневался, что это так, но уж больно я страдал от изжоги. *

В субботу к вечеру дедушка отправился со мной на кладбище и там показал мои достижения своим друзьям. Я принимал различные позиции бокса, а он тем временем с весьма таинственным видом объяснял зрителям причину предстоящей драки. Я услышал, как ехидно рассмеялся Сэдлер.

— А как же твои великие идеи, Гау? Ты тут все толковал, что надо так жить, чтоб другим не мешать, и вдруг нате — затеваешь драку.

— Видишь ли, Сэдлер, — сухо отвечал ему дедушка, — иной раз приходится драться, чтоб *можно* было жить.

Мистер Боаг после этого уже не посмел раскрыть рта, но мне ясно было, что он весьма невысокого мнения о моих шансах на успех.

Наконец наступил роковой день. Когда я вышел на площадку лестницы, дедушка позвал меня к себе в комнату и торжественно пожал мне руку.

— Помни, — сказал он, глядя мне в глаза, — все, что угодно, но только не бойся.

Я чуть не разревелся — дедушкиному сыру, видно, не удалось уничтожить влияние тех полных мягкой нежности лет, которые я провел под крылышком моей бедной мамочки. Самым скверным было то, что, хотя гонение против меня и продолжалось с неослабевающим рвением, Гэвин последнее время стал склоняться на мою сторону: он смазал разок Берти Джемисона за то, что тот грубо сбросил меня во время игры в че-

харду, а потом как-то раз, в классе, увидев, что мне нужна резинка, молча передал мне свою. Но я дал слово дедушке, и теперь ничто не должно меня остановить. Наставник мой решил, что битва должна произойти в четыре часа, сразу после занятий. Весь этот день я дрожал как в лихорадке и не спускал глаз со спокойного, умного, сосредоточенного лица Гэвина, сидевшего на противоположном конце класса. Он был красивый мальчик: глубоко посаженные глаза с темными ресницами, короткая, горделиво вздернутая верхняя губа, типичное лицо уроженца Северной Шотландии — отец его ведь был родом из Перта, а покойная мать принадлежала к инверэрийским Кэмпбелам. Сегодня, возможно, потому, что он собирался вечером в гости со своей старшей сестрой, на нем была шотландская юбочка, темный плед цветов, какие носили Блейры, простая кожаная сумка и черные башмаки. Раза два глаза его встретились с моими глазами, в которых, наверно, отражалась непонятная ему мольба. На сердце у меня было тяжело. Я почти любил Гэвина. И все-таки я должен с ним драться.

На высокой серой башне школы старинные часы пробили четыре... Последняя надежда на то, что мистер Далглейш задержит меня, испарилась. Я был отпущен вместе со всеми. И вот я уже иду по площадке для игр, а Гэвин шествует впереди меня, небрежно перекинув на спину ранец. Скорее, скорее надо что-то предпринять, если я не хочу предстать перед дедушкой жалким трусом. Я потерял голову и, ринувшись вперед, изо всех сил толкнул Гэвина. Он круто обернулся и увидел меня: я шагнул к нему, сжав кулаки и поставив их один на другой, точно держал свечку во время крестного хода.

— А ну-ка, сбей! — выдавил из себя я; угроза эта, если не повсюду, то уж в Ливенфорде во всяком случае означает призыв к драке.

И тотчас удивленные мальчишки с вожделием закричали вокруг: «Драка! Шеннон против Гэвина. Драка! Драка!»

Гэвин вспыхнул — он был блондин и потому легко краснел — и с досадой посмотрел на мальчишек, уже окруживших нас. Что поделаешь, придется принять вызов, даже такой жалкий. И он ударом ладони сбил мои кулаки. В одно мгновение я снова поставил кулак на кулак, только на этот раз так, чтоб они не приходились против моей груди.

— А ну, плюнь!

Гэвин плюнул со знанием дела.

Но на этом ритуал не кончался. Носком ботинка, который, казалось, существовал отдельно от моих дрожащих ног, я провел волнистую черту по гравию площадки.

— А ну, посмей переступить!

Гэвин, как я не без ужаса заметил, начал злиться. Он быстро шагнул за черту.

У меня душа ушла в пятки. Оставалось сделать последнее. Мальчишки вокруг замерли. Еле шевеля пересохшими губами, я прошептал:

— А ну, ударь меня, трус!

Он без промедления саданул меня в грудь. Как глухо отозвался этот удар, точно кости у меня были из картона! А как я побелел! Но отступления быть не могло. Я сжал стучавшие зубы и ринулся на моего любимого Гэвина.

Я забыл все, чему учил меня дедушка, абсолютно все. Тощие руки мои отчаянно замелькали в воздухе. Я не раз попадал в Гэвина, но неизменно в самые твердые и наименее уязвимые места, вроде локтей, челюсти и особенно квадратных металлических пуговиц на его юбочке. И до чего же вредные эти ужасные пуговицы, просто обидно! От каждого удара, нанесенного Гэвину, я сам страдал куда больше, чем он. Зато он,

наоборот, попадал в самые мои уязвимые и болезненные места.

Дважды он валил меня на землю под дружный одобрителный рев зрителей. До сих пор я считал, что не способен прийти в ярость. Но этот гнусный одобрителный рев пробудил ее во мне. Да, все-таки нет ничего низменнее человеческих существ, которые, отойдя подальше, черпают наслаждение в кулачной драке и в муках своих товарищей! Откуда-то из самой глубины души во мне поднялась ярость против моих подлинных врагов, их расплывавшиеся перед моими глазами ухмыляющиеся лица понуждали меня показать им, каков я есть на самом деле. И, поднявшись с гравия, я снова ринулся на Гэвина.

Он рухнул у моих ног. Воцарилась мертвая тишина. Но вот Гэвин приподнялся, и маленький Хови, по прозвищу Белка, крикнул:

— Ты же только поскользнулся, Гэвин! Дай ему как следует! Дай ему!

Теперь Гэвин действовал осторожнее. Он долго кружил возле меня — наскоки мои были ему явно не по душе. Мы оба порядком устали — дыхание со свистом вырывалось у нас из груди, точно пар из котла. Мне было жарко, я раскраснелся — холодного липкого пота как не бывало. С немалым изумлением я вдруг заметил, что один глаз у Гэвина побагровел и почти закрылся. Неужели это я так разукрасил его, такого героя? И тут до слуха моего сквозь шум, гам и смятение донесся чей-то голос, — я возликовал. Голос этот принадлежал одному из «старших»: группа старшеклассников остановилась возле нас по дороге в гимназию.

— Да вы только посмотрите, ребята, как лихо дерутся Зеленые Штаны!

О радость, о восторг! Я не опозорил дедушку. А ведь я так боялся, что окажусь трусом. И я снова ринулся на моего обожаемого Гэвина, словно хотел заключить

его в объятия. Мы сцепились, и тут он вдруг поднял голову — без всякого злого умысла.

Я получил такой удар по носу, что искры посыпались у меня из глаз.

Хлынула кровь. Я почувствовал, как что-то теплое и соленое потекло мне в рот, заструилось ручьем из ноздрей, закапало на рубашку. Вот уж никогда бы не подумал, что в моем тщедушном теле столько крови. Но мой боевой дух от этого ничуть не пострадал. Больше того, голова у меня даже лучше стала соображать, только вот ноги почему-то снова не слушались. Преодолевая головокружение, я ударил Гэвина и снова угодил костяшками прямо по его пуговицам. Завертелись слепящие огни... Крики, фейерверк... Может, это комета Галлея промелькнула в небе? Я продолжал размахивать руками, но тут кто-то сзади схватил меня. А другой из «старших» точно так же схватил за шиворот Гэвина.

— Будет, сопляки, на сегодня будет. Пожмите друг другу руки. Молодцы, хорошо дрались. Ну-ка, пусть кто-нибудь сбегает за ключом от вестибюля. Из этого недоноска кровь хлещет, как из недорезанной свиньи.

Я лежал на спине на школьной площадке, к затылку мне приложили огромный холодный ключ, а подле меня с перепачканным, озабоченным лицом стоял на коленях Гэвин. Одежда моя промокла насквозь, и старшие мальчишки уже начали тревожиться, что никак не удастся остановить кровь. Наконец они заткнули мне ноздри обрывками платка, смоченного в соленой воде, и добились желаемого результата.

— Полежи спокойно минут двадцать, малыш, и все будет в полном порядке.

И они ушли. Мало-помалу разошлись и все мои одноклассники — все, кроме Гэвина. Мы остались одни на непривычно пустой площадке, которая еще совсем недавно служила для нас ареной боя и была зака-

пана кровью, истоптана и взрыхлена нашими ногами. С трудом соображая, я сделал слабую попытку улыбнуться Гэвину, но пробки в носу и кровавая корка, образовавшаяся на лице, помешали мне.

— Не шевелись, — участливо сказал он. — Я не хотел ударить тебя головой. Как-то нечестно это получилось.

Я так решительно дернулся в знак протеста, что у меня чуть снова кровь не пошла из носа. С большим трудом мне все-таки удалось улыбнуться.

— А мне очень жаль, что я подбил тебе глаз.

Гэвин осторожно обследовал закрывшийся глаз и улыбнулся; его теплая, дружеская улыбка, словно солнечный луч, согрела меня.

Когда с кончиков носового платка, хвостиками торчавших из моих ноздрей, перестало капать, Гэвин осторожно вытащил их. Затем он помог мне встать, и мы вместе молча двинулись в путь по Драмбакской дороге.

Комета Галлея по-прежнему сияла на небе. У дома Гэвина мы остановились.

— Тебе нельзя в таком виде показываться своим. Зайди ко мне и вымойся.

Я неуверенно прошел вслед за Гэвином в ворота, украшенные по бокам двумя фонарями, указывавшими на то, что это резиденция мэра — недаром на стекле их был изображен городской герб, — а затем по тщательно подметенной дорожке, обсаженной кустами, направились к дому. Сад был большой и содержался в образцовом порядке — в отдалении у тачки возился садовник. Мы обогнули виллу и подошли к большой конюшне, возле которой была водопроводная колонка. Только мы начали смывать следы нашей потасовки, как из окна нас заметила взволнованная горничная в черной форме с аккуратным белым передничком, а через минуту из дома к нам уже спешила дама в коричневом платье.

— Дорогие мои мальчишки, да что же с вами такое случилось? — Это была Джулия Блейр, старшая сестра Гэвина, которая после смерти матери вела у них хозяйство. Достаточно ей было окинуть нас испытующим взглядом, чтобы понять все. Она повела меня наверх, в комнату Гэвина — чудесную комнату, где он жил один и где была уйма фотографий, удочек, рыболовных снастей и глиняных и деревянных фигурок, которые он сам мастерил. Тут она велела мне снять перепачканную одежду и отдала ее горничной, которая не без брезгливости взяла мои вещи, чтобы завернуть их в плотную бумагу; сама же мисс Блейр заставила меня надеть чудесный серый шерстяной костюм Гэвина.

— Я хорошо знала твою маму, Роберт, — с материнским участием сказала она. — Почему бы тебе не зайти к Гэвину, когда... — и она оглянулась, ища брата, но он задержался на кухне, где ему врачевали глаз, — когда вы оба поправитесь. — Внизу, у входной двери, вручая мне пакет с моими вещами, она вдруг смутилась, и краска залила спокойное лицо этой уже вполне зрелой молодой женщины. — Только, пожалуйста, не вздумай возвращать нам костюм Гэвина, Роберт. Он уже вырос из него. — Она долго еще стояла на ступеньках и смотрела мне вслед, пока сгущающиеся сумерки не поглотили меня.

Я медленно побрел по дороге к «Ломонд Вью». Только сейчас я почувствовал, как безумно устал. Все тело у меня болело, голова кружилась, и я с трудом передвигал ноги. Сник я не только физически, но и духовно. Огромный дом Гэвина гнетуще подействовал на меня. Своеобразное уныние, в которое впоследствии суждено мне было надолго впасть и которое не позволило мне в полной мере насладиться даже теми бесспорными удачами, что выпадали мне в жизни, овладело сейчас мной. Вспоминая о том, что произо-

шло, я испытывал все возрастающее недовольство собой. В конце концов, если бы старшие мальчики не остановили нас...

Так я добрался до калитки своего дома и тут увидел дедушку, поджидавшего меня в полном одиночестве.

Мы долго молчали. Он сразу охватил взглядом мое бледное вытянутое лицо.

— Ты победил? — тихо спросил он.

— Нет, дедушка, — запинаясь, пробормотал я. — По-моему, проиграл.

Без единого слова он повел меня к себе в комнату и усадил в свое кресло. И я сказал:

— Я не боялся... когда мы сцепились, я уже больше не боялся...

Постепенно он вытянул из меня подробный рассказ о драке. Его возбуждение было мне непонятно. Когда я кончил свой рассказ, он в волнении схватил мою руку и принялся ее трясти. Потом встал и, взяв пакет из толстой бумаги, в котором заключалась причина всех моих несчастий, бросил его в огонь. Мой зеленый костюм горел страшно долго и надымил до ужаса. Наконец его не стало.

— Вот как мы с ним разделились, — сказал дедушка.

ГЛАВА 7

В последовавшие за этим событием недели, когда бесконечно тянулись темные вечера, на улице бушевал ветер и злился мороз, закоренелая вражда между двумя моими предками, в основе которой лежало различие взглядов и неравенство положения, продолжала проявляться в молчаливой борьбе за овладение моей особой.

Бабушка страшно рассердилась, увидев меня в другом костюме: она дала мне хорошего шлепка, а ночью,

когда мы лежали рядом в постели, весьма резонно корила меня за черную неблагодарность; я должен вести себя совсем иначе, сказала она, если хочу по-прежнему быть ее «сыночком». Она стала еще больше печься о моем здоровье, которое и раньше внушало ей серьезные опасения, а теперь стоило мне чихнуть, как она заявляла, что у меня воспаление легких, и щедро потчевала какой-то темной жидкостью собственного приготовления. Я же, несмотря на все это, чувствовал себя счастливее, чем прежде.

В школе положение мое после драки резко изменилось, и способствовала этому, быть может, не столько сама драка, сколько поистине баснословное количество потерянной мною крови. Событие это грозило стать чуть ли не исторической вехой, ибо мальчишки, рассказывая о чем-нибудь, уже говорили, что это было до или после «того дня, когда у Шеннона шла кровь носом». Как бы то ни было, я выглядел теперь вполне прилично в сером костюме, за который благословлял мисс Джулию Блейр, и никто больше не издевался надо мной. Больше того, Берти Джемисон и его приспешники из кожи лезли вон, выказывая мне знаки внимания. Теперь все знали, что Гэвин мой друг.

Гэвин, как я уже говорил, держался в стороне от остальных мальчиков — не то чтобы он зазнавался, потому что жил лучше, чем они (у его отца была стародавняя розничная торговля хлебом и фуражом), а просто такой уж у него был характер и склонности, словом, его внутренний мир был иным. Во все обычные игры он играл умело, но без увлечения, так как вкусы и желания его были далеко не обыденными. На книжных полках его уютной комнаты стояла многотомная «История естественного мира», в которой полно было цветных рисунков на глянцевой бумаге, изображающих птиц, насекомых и растения, с напечатанными внизу названиями. У него была великолепная коллек-

ция птичьих яиц. На одной из стенок висела под стеклом фотография самого Гэвина, в широких штанах до колен, в руках у него была большущая рыба; его отец, известный рыболов, частенько брал с собой сына на озеро Лох-Ломонд, и прошлой осенью Гэвин, которому не было тогда еще и девяти лет, поймал острой двенадцатифунтового молодого лосося.

Однако все эти замечательные качества Гэвина не могли идти ни в какое сравнение с его внутренней сущностью, с той духовной его сущностью, определить которую словами нельзя. Мальчик он был молчаливый — очень молчаливый, поистине спартанского склада. Крепко сжатый рот, маленький решительный подбородок, казалось, спокойно говорили жизни: «Я никогда не сдамся».

В пятницу, на следующей неделе после нашей драки, он подждал меня у выхода из школы и, не говоря ни слова, лишь улыбнувшись застенчивой улыбкой, зашагал рядом со мной по Главной улице. И до чего же мне это было приятно после стольких недель вынужденных скитаний по обходным путям и задворкам! По дороге мы заглянули на склад к его отцу и с полчаса провели на заднем дворе, в конюшне, наблюдая, как Том Дрин, старший возчик, давал лекарство лошади, только что перенесшей круп. Когда на обратном пути мы проходили через огромные амбары, набитые сеном и зерном, где среди груд мешков с мукой крупного помола, с бобами и овсом сновали рабочие в белых передниках, нас поздравил к себе мэр.

— Я рад, что вы поладили, — сказал он, улыбнувшись нам своей загадочной улыбкой — улыбкой олимпийского божества, и дал каждому по пригоршне сладких бобов, которые мы называли «липучими».

Возвращались мы домой уже в сумерках, грызли бобы, и я пытался объяснить Гэвину, какой он счаст-

ливый и как здорово, что у него такой папа, а он слушал, зардевшись от гордости, — ничего более приятного я, конечно, не мог бы ему сказать. Мы остановились у калитки «Ломонд Вью», и он, глядя вниз, на носок своего ботинка, которым он тихонько постукивал по краю тротуара, заметил:

— Весной я пойду искать птичьи гнезда... на Уинтонские холмы... яйца золотистой ржанки... так что, если хочешь...

Какая радость: он выбрал меня, Гэвин избрал меня, чтобы вместе бродить по Уинтонским холмам! Искать яйца золотистой ржанки! В ту ночь я почти не спал — все думал об этом. Какие волнующие, чудесные приключения ждали меня...

Но стоп... Прежде чем перейти к описанию этих восхитительных странствий, я должен поведать об одном визите и о моем знакомстве с последним представителем семейства Лекки.

Однажды вечером в начале января, когда мама вернулась из своего очередного паломничества к почтовому ящику, мы услышали, как она радостно вскрикнула, точно получила послание от архангелов.

— Это от Адама. — Она принесла письмо на кухню, где мы пили чай. — Он приезжает в субботу в час дня. Ненадолго. По делам.

И она нехотя отдала письмо папе, который уже ревниво тянулся к нему. Письмо обошло всех домашних. Только дедушка, которого, видимо, мало интересовало это известие, да Кейт, сидевшая с мрачным видом, остались к нему равнодушны.

Мама принялась рассказывать про Адама, и я слушал ее затаив дыхание: как Адам всегда выигрывал, когда мальчиком играл в камушки, и какая трезвая была у него голова; как он тринадцатилетним подростком

купил велосипед и продал его на целых десять шиллингов дороже; как год спустя он поступил на службу к мистеру Мак-Келлару без всяких видов на будущее; как, отсидев положенные часы, он вечерами собирал взносы для «Страховой компании Рока» и все свое жалованье откладывал; как, не достигнув еще двадцати семи лет, он уже создал себе положение в страховом деле и представляет сейчас в Уинтоне, где у него контора в здании общества, под девизом «Всегда верный», сразу две компании — «Каледонскую» и «Рока», — ну и зарабатывает, конечно, не меньше четырехсот фунтов в год, то есть больше — у мамы даже дух занялся, — чем сам папа.

После этого мама с гордостью показала мне его подарок: невероятно желтую золотую брошку, которая — сам Адам сказал ей это — стоит кучу денег.

В субботу, около часу дня, к двери подкатил автомобиль. Да не создается у читателя неверных представлений и ложных надежд — автомобиль этот не принадлежал Адаму. И все-таки это был *автомобиль!* Одна из первых моделей «Аргайл» — ярко-красная машина с маленьким, отделанным медью радиатором, на котором красовался аргайлский голубой лев, с широким кузовом, красивыми боковыми сиденьями и дверцей позади...

Вошел Адам — самодовольный, улыбающийся, в пальто с воротником из коричневого меха. Он поцеловал маму, которая с рассвета была на ногах, готовясь к встрече, энергично потряс руку папы и соответственно поздоровался с каждым из нас. Был он брюнет, среднего роста, уже начинавший полнеть, на его гладко выбритых щеках играл сейчас яркий румянец от быстрой езды по морозу. Садясь за стол, на который мама с любовной расточительностью поставила прямо из печки бифштекс, цветную капусту и картофель,

он пояснил, что мистер Кэй, один из компаньонов новой автомобильной фирмы «Аргайл», ехал из Уинтона в Александрию и подвез его. Они проделали пятьдесят миль меньше чем за два часа.

Мы все сидели вокруг и смотрели, как он пирует в одиночестве: мы уже пообедали картофельной запеканкой с мясом за час до этого; он рассказывал, что, приехав в город всего полчаса тому назад, уже успел переговорить с мистером Мак-Келларом по поводу нескольких страховых дел. И он чуть ли не игриво подмигнул мне своими маленькими, как у папы, но только светло-кариими глазками. А я так и вспыхнул от удовольствия.

Мама, успевшая за это время потихоньку сбегать в переднюю и осмотреть чудесное новое пальто сына с меховым воротником, вернулась и теперь подобострастно прислуживала ему.

— Нам надо кое-что обсудить, — прерывая свой рассказ, заметил Адам и улыбнулся ей. — Страховку старика.

— Да, Адам. — Папа, который ради такого случая не пошел сегодня на работу, придвинул свой стул поближе к Адаму. Говорил он доверительно, с уважением.

— Ей почти вышел срок, — озабоченно проговорил Адам. — Семнадцатого февраля... Четыреста пятьдесят фунтов чистоганом могут быть выплачены, как договорено, маме.

— Кругленькая сумма, — сдавленно произнес папа.

— Очень даже, — согласился Адам. — Но мы могли бы получить гораздо больше.

Глядя на озадаченное лицо папы, он слегка улыбнулся и пояснил:

— Если бы мы продлили существующую страховку, а это я легко мог бы устроить, то сумма, которая была бы выплачена по достижении семидесяти пяти

лет или в случае смерти, исчислялась бы вместе с процентами примерно в шестьсот фунтов.

— Шестьсот фунтов! — повторил, словно эхо, папа. — Но это значит, что сейчас мы ничего не получим!

Адам пожал плечами.

— Таковы условия. «Страховая компания Рока» — предприятие не менее надежное, чем государственный банк. Такая возможность не каждый день представляется. Что ты на это скажешь, мама?

У мамы был на редкость несчастный вид, пальцы ее нервно перебирали фартук.

— Я ведь уже говорила... неприятно мне наживать-ся на собственном отце... во всяком случае, таким способом...

— Ну что ты, мама. — Адам снисходительно улыбался. — Мы ведь давно уже все это обговорили. Он должен тебе за стол и за кров. К тому же давай вспомним историю страховки. Когда дедушка застраховался много лет назад, это была жалкая страховка старой компании «Кэсл» на пять шиллингов в месяц. И ты помнишь, что она была прекращена и похоронена вместе с компанией «Кэсл». Тем бы все и кончилось, если б я не вступил в «Компанию Рока» и не раскопал этого дела, а потом не уговорил мистера Мак-Келлара в порядке личной услуги засчитать ту старую сумму при новой страховке дедушки.

Мама вздохнула, но не сказала ни слова.

— А за продление страховки ты тоже потребуешь проценты? — настороженно спросил папа.

— Ну конечно, — нимало не обидевшись, рассмеялся Адам. — Бизнес во всем мире одинаков.

Наступила пауза — папа думал, затем нерешительно проговорил:

— Ну хорошо... хорошо, Адам. Мы, пожалуй, продлим страховку.

Адам одобрительно кивнул.

— Очень разумно. — Он открыл саквояж, стоявший у его ног, и вынул оттуда сложенный документ. — Здесь написаны условия страховки. Я оставлю это тебе, мама. Пусть дедушка подпишет бумагу до семнадцатого.

— Да, Адам. — В голосе мамы по-прежнему чувствовался легкий упрек.

Хотя деловая сметка Адама и произвела на меня сильнейшее впечатление, суть разговора осталась для меня непонятной. Немного позже, когда папа ушел на работу и мы с Адамом остались наедине, у него нашлось время, хотя он и спешил на поезд, отбывавший в половине третьего, перекинуться словечком и со мной.

— Я надеюсь, ты проводишь меня на станцию, Роберт. — И он встал, ковыряя в зубах перышком; маленькие глазки его дружелюбно поблескивали. — Мне хотелось бы сделать тебе небольшой подарок. Так сказать, в память нашей первой встречи. Видишь это? — Из кошелечка, прикрепленного к часовой цепочке, он вынул полсоверена и, зажав монету между большим и указательным пальцами, поднес к самым моим глазам. — Денежка... совсем новенькая, прямо с монетного двора... и штука, надо сказать, весьма полезная, что бы ни плели те, у кого этого презренного металла нет. Так вот, Роберт, неплохо еще с детства знать цену деньгам. Ты пойми меня правильно. Я не из скупердяев. Я люблю блага, которые могут дать деньги: есть самое вкусное, носить самое лучшее, останавливаться в наилучших гостиницах, пользоваться услугами других людей. Так я смотрю на жизнь. Можно смотреть на нее иначе... Взять хотя бы дедушку — ни фартинга за душой, живет где-то под крышей на хлебе с сыром, даже паршивый табак и тот получает из милости... — Внезапно оборвав сам себя, он взглянул на часы и так под-

купающе улыбнулся, что я не мог не улыбнуться ему в ответ.

Дождаясь его в передней, я обнаружил, что горячо одобряю его точку зрения на тяготы жизни и на роль, которую играют в ней деньги. И мне захотелось поскорее дожить до той минуты, когда я, набив карманы звонкой монетой, тоже войду в ресторан и высокомерно закажу подбежавшему официанту бифштекс. Я даже вздрогнул в радостном предвкушении подарка, который мне купит Адам на свои чудесные полсоверена.

— Ты не откажешься поднести мой саквояж? — небрежным тоном спросил меня Адам, пока мама помогала ему надевать пальто.

Горячо заверив его в своей готовности служить ему, я поднял саквояж, из которого выпирали какие-то предметы, вовсе не похожие ни на книги, ни на бумаги; он оказался тяжелее, чем я предполагал. Мама снова поцеловала Адама, и мы отправились на вокзал. Адам шел быстрым пружинистым шагом, а я, перебрасывая саквояж из одной руки в другую, чуть ли не бежал, чтобы не отстать от него.

— Ну так какой же подарок ты хочешь, чтобы я тебе купил?

— Мне все равно, Адам, — задыхаясь, вежливо ответил я.

— Нет, нет, — настаивал Адам. — Это должно быть что-то такое, что тебе бы хотелось иметь, мой юный дружок.

Какая щедрость! Какое понимание! Я осмелел и сказал, чего бы мне хотелось. Городской пруд «порядком застыл»: он покрылся четырехдюймовым слоем крепкого льда, и по пути в школу и обратно я не раз останавливался поглазеть на конькобежцев — мне-то ведь не дано было вкусить такого счастья.

— Мне бы очень хотелось коньки, Адам. Они есть в витрине у Ленгленда на Главной улице.

— Ах, коньки! Ну, не знаю. Ты же не можешь кататься на коньках летом?

Хоть его слова и огорчили меня, я не мог не признать логичности его довода.

— Футбольный мяч был бы, пожалуй, лучше, — продолжал он. — Беда только, что тебе придется играть им с другими мальчиками. А они не станут его беречь: пропорют ногой, и он лопнет, или потеряют где-нибудь. Так что мячик фактически и принадлежать-то тебе не будет. Ну а что ты скажешь насчет перочинного ножа? — предложил Адам, раскланиваясь со знакомым, шедшим по противоположной стороне улицы. — Впрочем, нет, ты можешь порезаться. Это опасно. Давай подумаем о чем-нибудь еще.

Тяжелый саквояж оттянул мне все руки; я еле поспевал за Адамом, обливаясь потом и чуть не пригибаясь к самой земле.

— Я... я, право, ничего не могу придумать, Адам.

— Тогда вот что! — поразмыслив, воскликнул он. — И маме будет приятно, если я подарю тебе что-нибудь полезное. Да, пожалуй... — И он докончил радостной скороговоркой: — Нет, конечно, это как раз то, что нужно!

— Спасибо, Адам, большое спасибо. — Я думал только о том, как бы не умереть, пока дотащу его саквояж до станции.

Адам взглянул на часы.

— Осталось ровно две минуты. Живо, малыш! Да смотри не тряси саквояж.

И он помчался вперед, а я потащился за ним по лестнице. Поезд уже стоял у платформы. Адам вскочил в вагон первого класса для курящих, схватил у меня саквояж, так что я даже всхлипнул от облегчения, и принялся рыться в нем. Затем он высунулся из окошка и вложил в мои маленькие влажные ладони массивный литой календарь, блестящий, как мамина

брошка; названия дней недели и числа перемещались в нем при помощи винтиков, а посредине было выгравировано:

«Страховая компания Рока „Semper Fidelis“»¹.

— Вот, — сказал Адам с таким видом, точно вручал мне все сокровища короны. — Разве не красиво?

— Очень. Спасибо, Адам! — запинаясь от удивления, ответил я.

Кондуктор дал свисток, и Адам уехал.

Я возвращался с вокзала, преисполненный благодарности к Адаму и в то же время слегка раздосадованный и ошарашенный своим приобретением, а также быстрой сменой событий за этот день. Придя домой, я сразу поднялся наверх и показал свой трофей дедушке, который молча, чудно приподняв брови, осмотрел его.

— Это ведь не золото, дедушка?

— Нет, — сказал он. — От Адама золота не дождешься, это может быть только медь.

Короткая пауза; я перечел надпись на календаре.

— Дедушка, а это имеет какое-нибудь отношение к твоей страховке?

Дедушка побагровел — он страшно рассердился и был явно возмущен и обижен. Он в ярости гаркнул:

— Никогда не смей говорить при мне об этом мошеннике, а не то я сверну тебе шею!

Воцарилось молчание. Дедушка встал, чрезвычайно расстроенный, и принялся ходить по комнате из угла в угол. Он был величествен в своем возмущении.

— Самое страшное в этом подарке... самое непростительное проявление высокомерия... это мелкая скарденность!

И сначала с горечью, потом с иронией, потом уже смягчаясь, он все снова и снова повторял это мудрое изречение. Наконец, словно желая сгладить впечатле-

¹ Всегда верный (лат.).

ние от своей резкости, он повернулся ко мне; я сидел весь скрючившись.

— Ты хочешь кататься на коньках?

Сердце мое заняло.

— Но у меня же нет коньков, дедушка.

— Ну, ну, разве можно так легко сдаваться. Посмотрим, может быть, что-нибудь и придумаем.

Улучив минуту, когда путь был свободен, он спустился в погреб, помещавшийся за чуланчиком, и принес деревянный ящик, полный старых гвоздей и болтов; там же валялись дверные ручки и заржавевшие коньки; все это — поскольку ничто, повторяю, ничто никогда не выбрасывалось в «Ломонд Вью» — скопилось тут за многие годы. Дедушка уселся в свое кресло (тогда как я сидел в одних носках на полу) и, попыхивая трубкой, принялся с помощью ключа прилаживать самую маленькую пару коньков «Акме» к моим ботинкам. Огорчению моему не было границ: я видел, что у него ничего не получается. Но когда, казалось, всякая надежда была потеряна, дедушка вдруг обнаружил на самом дне ящика пару деревянных коньков, на которых каталась в детстве Кейт. Вот радость-то! Мы привинтили их к каблукам моих ботинок; выяснилось, что они мне в самую пору. Правда, у нас не нашлось ремней, чтобы прикрутить их, но у дедушки было сколько угодно крепких веревок, которые вполне могли заменить ремни. Он отвинтил коньки, я надел ботинки, и, радостные и оживленные, мы направились к пруду.

Какая приятная, веселая картина: на ледяном поле в полмили длиной и в четверть мили шириной весело носились, то сгибаясь, то разгибаясь, конькобежцы — они выполняли замысловатые фигуры, сталкивались, падали и снова вставали; под ясным голубым небом хрустел разрезаемый коньками лед и звенели голоса катающихся.

Дедушка приладил мне коньки и принялся терпеливо, чрезвычайно учено наставлять меня, как надо

сохранять равновесие. Он скользил рядом со мной, направляя и поддерживая меня, пока я не выучился держаться сам. Тогда он вернулся на берег, раскурил трубку и вместе с мистером Боагом и Питером Дикки принялся наблюдать за мной.

В восторге от этого нового способа передвижения, я тем не менее с трудом ковылял по льду. В одном из уголков пруда, где было потише, какие-то искусные конькобежцы положили на лед апельсин — яркое пятно на сером, однообразном фоне — и выделяли разные фигуры вокруг него. Среди них была мисс Джулия Блейр, а также, к моему удивлению, Алисон Кэйс и ее мать — обе они катались очень прилично. Но вот Алисон заметила меня и, подъехав ко мне, взяла меня крест-накрест за руки. Подражая ей и стараясь соразмерить свои движения с ее движениями, я заскользил по кругу, и даже совсем неплохо. Я стал благодарить Алисон, но она лишь улыбнулась в ответ, слегка пожалала плечами и помчалась назад к своей маме и апельсину. За все время, пока мы делали круг по пруду, она не произнесла ни слова.

Через некоторое время дедушка поманил меня к берегу и со своей таинственной улыбкой спросил:

— Ну как, нравится?

— Ох, дедушка, замечательно, просто замечательно!

А поздно вечером, уже засыпая, я подумал... Ну зачем мне, в конце концов, чтоб вокруг меня суетились официанты! Вот дедушка взял старые коньки и привязал их к моим ботинкам обрывками веревки — а сколько удовольствия я от этого получил! Жаль только, что я не встретил на пруду Гэвина. Да, бабушка, завтра я буду умницей. Не сердитесь на меня за то, что я такой неблагодарный, обещаю вам, что буду теперь помнить все ваши благодеяния. А сейчас... сейчас я хочу спать.

ГЛАВА 8

В тот год весна была ранняя, и три каштана, росшие перед домом, закивали своими белыми султанами мальчику, ошалевшему от чувства свободы, опьяненному предвкушением доселе неведомых радостей.

Пятнадцатого апреля бабушка, по своему обыкновению, уехала на несколько месяцев в Эршир к своей родне — я уже говорил, что год она делила поровну: осень и зиму проводила в Ливенфорде, а весну и лето — «пору цветения и произрастания» — в Килмарноке.

За это время мы с ней весьма продвинулись в выполнении религиозных обрядов. Никто — повторяю, никто — не мог бы с большей деликатностью, чем бабушка, вести себя по отношению ко мне. Она была ревностным членом маленькой, но весьма деятельной секты, в которую ее ввел покойный супруг, была глубоко убеждена, что следует истинной вере, и тем не менее ни разу не пыталась навязать мне свои взгляды. И ни разу не перешла она границ терпеливого ожидания. Самые решительные действия она предпринимала по воскресеньям после обеда: вводила меня к себе в комнату, и там, примостившись у ее ног, я читал вслух избранные места из Библии. Одобрительно кивая и слегка покачиваясь в качалке, стоявшей у окна, на стеклах которого сонно жужжали мухи, она слушала рассказ о войне между Саулом и Давидом и, глядя вниз на дорогу, где по воскресеньям местные жители прогуливались до Драмбакского кладбища, посасывала не мягкую мятную лепешку, какие предпочитал безрассудный дедушка, а жесткую кругляшку — «имперскую», которая долго, точно погремушка, позвякивала о ее зубы. (У меня было такое ощущение, что разница в выборе любимых сладостей соответствует разнице в характерах моих предков.) Время от времени бабушка прерывала мое чтение и давала мне краткие

наставления, как должно жить и каким злом является скрытность, а главное — как твердо надо противостоять Сатане.

Сатана, Нечистый, Люцифер или, как бабушка еще называла его, Чудище был ее личным врагом, который только и делает, что скалит зубы, стараясь укусить за локоть Праведника, и поскольку ее суровая вера незаметно подкрепляла те познания в этой области, которые я почерпнул в детстве, дьявол приобрел в моих глазах пугающую реальность.

Зимними вечерами, когда бабушка отправлялась к своим единоверцам, я обязан был принести в постель глиняный кувшин-грелку с горячей водой, который она называла «гушинчиком», и если она не возвращалась к восьми часам, то я раздевался и ложился спать один. Надо сказать, что на верхнем этаже вообще было мало света, да и дедушка частенько уходил из дому — только не в церковь, конечно. И вот, лежа в темной, полной шорохов спальне, окруженный со всех сторон призрачными, угрожающе надвинувшимися стенами с потрескивающими деревянными панелями, я чувствовал каждым нервом, напряженным до предела, что, кроме меня, в комнате еще кто-то есть. Нечистый был тут — он прятался под бабушкиной вешалкой, — и стоит мне немножко ослабить внимание, как он прыгнет на меня.

Долго я лежал неподвижно, весь напрягшись и затаив дыхание, и наконец не выдерживал. Под природной застенчивостью у меня все-таки таилось немножко храбрости — я выскакивал из постели и подбегал к страшному шкафу. Я останавливался перед ним — маленькая белая фигурка с подгибающимися коленями, освещенная слабым блеском уличного фонаря, — и дрожащим голосом взывал:

— Вылезай, Сатана! Я знаю против тебя слово — ты со мной ничего не сделаешь.

И, трижды перекрестившись, как положено, я распахивал дверцу. На секунду сердце у меня переставало биться... Но нет, в шкафу ничего не было видно — ничего, кроме смутных очертаний бабушкиных платьев. Облегченно всхлипнув, я поворачивался и с размаху бросался на кровать.

Бабушка понятия не имела об этих моих ночных страхах и, мне кажется, была вполне довольна своим умелым обращением с моим слабым и несознательным духом. Собираясь в Килмарнок, она надела новый чепец, сунула мне в руку шестипенсовик и, выудив у меня обещание принимать лекарство, многократно повторив, что надо «быть стойким», пробормотала:

— Когда я вернусь, мой ягненок, мы решим, как нам с тобой быть.

Сердце мое было полно теплых чувств к бабушке. И все-таки, как ни странно, после ее отъезда я вздохнул свободнее, особенно когда мама перевела меня на койку, отгороженную занавеской от кухни. О, сладостное ощущение своего отдельного уголка — ведь у меня теперь была все равно что собственная комната!

Дедушка, казалось, тоже почувствовал себя свободнее. Первым делом он взял большую бутылку с лекарством, которую оставила мне бабушка, и, как всегда загадочно улыбаясь, выбросил ее из окна. Папоротник, который рос на лужайке внизу, сразу пожелтел и завял; увидев это, Мэрдок буркнул с мрачным видом — совершенно, впрочем, ошибочно — что-то насчет дедушкиных привычек.

Но все это мелочи, мелочи жизни — главное, что семейство, жившее в «Ломонд Вью», временно обрело спокойствие, наслаждаясь чудесным возрождением к жизни бурой оттаявшей земли. Умиротворяющая тишина наступила на верхнем этаже: дедушка теперь каждый день преспокойно отправлялся на луг поиграть с Сэдлером Боагом в шары. А папа как-то в вос-

кресный день надел красивый белый чехол на свою форменную фуражку и повел меня на водохранилище. Там, перегнувшись через красную остроконечную ограду, я любовался огромным резервуаром и красивым казенным зданием, в котором папа надеялся со временем поселиться, когда мистер Клегхорн, нынешний инспектор, уйдет в отставку. Мама стала меньше волноваться и реже подсчитывать, сколько ей надо пенсов и фартингов, чтобы свести концы с концами. По утрам слышно было, как Мэрдок, выскабливая свой подбородок, на котором едва пробивался пушок, звонким голосом распевал: «Люблю я крошку, прелестную крошку, душку-шотландочку». И только Кейт находилась в состоянии душевного разлада: все раздражало ее — и то, что растения быстро набирают соки, и что малиновки стремительно носятся в воздухе, таская соломинки для гнезд, и далекое призывное ржание жеребца на ферме Снодди.

Прежде чем поведать о моих собственных радостях, я попытаюсь со всею нежностью и осторожностью проникнуть в душу этой непонятной Кейт.

Мы сидим за сладким вокруг обеденного стола в атмосфере полнейшего дружелюбия, окно распахнуто настежь, и в комнату вливается аромат сирени, цветущей за домом. Мама, которая не любит, когда на тарелках что-нибудь остается, подбирает ложкой три консервированные сливы, одиноко лежащие на блюде.

— Кто хочет? — спрашивает она. — Очень полезно весной для кровообращения. — И протягивает ложку к тарелке насупившейся Кейт, но, не получив ответа, кладет сливы на тарелку Мэрдока.

Кейт тотчас вскакивает, шишки у нее на лбу становятся красными, точно от внезапного прилива крови. Она истерически кричит:

— Да, конечно, я в этом доме ничто! А я ведь тоже зарабатываю... и приношу немало денег... целый день

учу этих вонючих выроdkов. Никогда, никогда больше не буду ни с кем из вас разговаривать!

И она выскакивает из комнаты; за ней следом выбегает расстроенная мама, но, отвергнутая, почти тут же возвращается и вздыхает, покачивая головой:

— Странная девушка наша Кейт.

Мэрдок великодушно готов отдать сестре сливы, но мама спешно наливает чай — целитель от всех бед — и просит меня отнести Кейт чашку этого бальзама. Выбор падает на меня только потому, что уж я-то, конечно, ничем не мог ее обидеть. Войдя в комнату Кейт, я застаю ее в слезах на постели, она больше не злится и только жалеет себя.

— Они все ненавидят меня, все до единого. — Она вдруг садится на постели и поворачивает ко мне залитое слезами лицо. — Ну скажи, мой хороший, неужели я в самом деле такая уродина?

— Нет, Кейт, конечно нет, ничего подобного. — Вопрос оказался настолько неожиданным, что я вру без зазрения совести.

— Твоя мама была куда красивее меня. Она была просто прелесть. — Кейт горестно покачала головой. — А у меня еще такое ужасное имя. Ну ты только подумай — Кейт. Кому-то захочется поехать с Кейт кататься при луне... или пойти послушать негритянский хор в «Пойнт»? Если ты когда-нибудь увидишь меня в обществе незнакомого тебе молодого человека, зови меня Айрин. Обещай, слышишь?

Я обещаю — покорно, но не без удивления. Ведь во всем остальном Кейт такая разумная, у нее репутация добросовестнейшего педагога и хорошие отзывы из педагогического колледжа, она хорошо играет в хоккей, отлично вяжет, посещает высшую женскую школу. «Непреклонность воли» — замечательное качество шотландцев — развита в ней до предела. Борясь с гнидами у своих злополучных учеников, она, такая

чистюля, нередко находит насекомых у себя на одежде; придя домой, она прежде всего направляется в ванную и там, бледнея от отвращения, но не жалуясь, мрачно снимает с себя все и стряхивает. Посторонние всегда одобрительно отзываются о Кейт: «Такая достойная девушка». Это Кейт я обязан тем, что у меня теперь зубы в порядке: когда месяц тому назад они начали портиться, она молча взяла меня за руку и отвела к ливенфордскому зубному врачу мистеру Стрэнгу. Это она дает мне из своей маленькой библиотечки такие книги, как «Айвенго» и «Хирворд, проснись!». Но я знаю, что в одном ящике с ними — я его, затаив дыхание, втайне обследовал — лежат книжки, в последней главе которых рассказывается, как темнокудрый красавец-герой, бессвязно бормоча что-то, падает на колени перед своей возлюбленной, прелестной дамой в белом шелковом платье, которую он до сих пор не замечал...

— Ну вот что, Роби, — со вздохом говорит мне Кейт в заключение нашего разговора. — Я думаю, все равно, где прозябать — здесь или в другом месте.

Спустившись вниз, я говорю маме, что Кейт гораздо лучше. Но это отнюдь не так. Целых две недели все переговоры с семьей ведутся при помощи записочек. Она устраивает бурную сцену и ссорится со своей лучшей подругой Бесси Юинг, и Бесси, преданная очкастая Бесси, поздно вечером прибегает к нам и подолгу взволнованно совещается с мамой в чуланчике за кухней. Бесси, которая еще со школьных времен стойчески переносила характер Кейт, — умная девушка из интеллигентной семьи, живущей на Ноксхилле. Всю неделю она работает на местной телефонной станции, а по субботам вечером надевает голубую с малиновым форму Армии спасения. Анемичная коротышка, но с красивыми пушистыми волосами, она похожа на ангелочка и любит интригуяще поглядывать на Мэрдока, когда они встречаются в кухне.

А сейчас я услышал, как она с жаром сказала маме:

— Право же, миссис Лекки, я очень обеспокоена. Ведь она ничем не интересуется. Вот если бы нам удалось заставить ее взяться, скажем, за мандолину... или хотя бы за банджо...

Хоть новость и не такая уж важная, но я все-таки бегу к дедушке поделиться ею:

— Дедушка, дедушка! Кейт будет учиться на банджо.

Он смотрит на меня, и легкая ироническая улыбка кривит его губы под рыжеватыми усами.

— Боюсь, мой мальчик, что этот инструмент мало ей поможет.

Ничего не понимая, я тарашу на него глаза: наверно, он считает, что Кейт надо учиться играть на пианино, которое стоит в гостиной, — концертный инструмент фирмы братьев Мак-Киллоп, с прямой, оправленной в металл декой. Как бы то ни было, я тряхнул головой и стремглав выскочил из комнаты — просто чтобы побегать. Я бегаю с поручениями, которые мне дают все кому не лень, — даже миссис Босомли; когда, выполнив поручение, я возвращаюсь к ней, она награждает меня улыбкой перезрелой красавицы и бутербродом с консервами, при одном виде которого у меня буквально слюнки текут. Забыв о том, что положение мое шаткое, что я пасынок, которого едва замечают, и что я стою на краю неведомого, я счастлив... счастлив оттого, что люблю Гэвина и он любит меня.

Наконец настало время, когда мы с Гэвином стали прочесывать нагорье; это были настоящие экспедиции, по сравнению с которыми мои прежние вылазки с дедушкой казались детской забавой. Гэвин без усталости, со всею страстностью своей природы, искал то единственное, чего недоставало его коллекции, — яйцо золотистой ржанки, самой редкой из водящихся в Уинтоне птиц. И все-таки, пока мы шли по лесистому предгорью в поисках желанной добычи, у него хватало

терпения еще и учить меня: он показывал, как находить в самых потаенных и неожиданных местах гнезда обычных птиц, — раздвинет ветки боярышника и с самым спокойным видом тихонько скажет: «Гнездо желтоносого дрозда. Целых пять штук». Я нагибался и загоревшимися глазами рассматривал аккуратную чашечку из грязи вперемешку с соломой, где лежали еще теплые, хрупкие, в голубую крапинку яйца. Научил он меня и деликатному искусству «выдувания» содержимого из яиц. И заставил поклясться клятвой лесничих никогда не брать из гнезд больше одного яйца; побледнев от гнева, рассказывал он мне о мальчиках, которые «опустошают» гнезда — ведь птица-мать после этого вынуждена «перекочевывать» в другое место.

Так добрались мы до Драмбакских гор. Казалось, мы вступили в новую страну, где лицо обдувал прохладный и приятный, как родниковая вода, ветерок. Под нами раскинулась широкая панорама привольного края, перетянутого тесемочками белых дорог и перерезанного устьем Клайда, — река казалась отсюда широкой блестящей серебряной полосой с крошечными судами на ней. Ливенфорд, благодарение богу, был скрыт от нас дымкой, из которой выступал лишь круглый купол замка Рока. Далеко-далеко, у самых наших ног, прилепились игрушечные домики Драмбакской деревушки. Зеленые холмы уходили волнами на запад — окидывая их взглядом, я вдруг испуганно вздрогнул: высоко в небе над быстро бегущими белыми облаками торчал огромный острый синий пик.

— Смотри, Гэвин, смотри! — пронзительно закричал я, подбежав к нему и указывая на гору.

Он важно кивнул.

— Это Бен!

Я мог бы всю жизнь стоять так и смотреть на нее, но Гэвин потянул меня дальше. Мы миновали беленькую ферму, приютившуюся у поросшего вереском холма;

она стояла в окружении надворных построек и хлева. Во дворе пахло навозом, у заднего крыльца росла высокая, уже багряно-желтая ракита. Мы пошли по угольям фермы; над самой нашей головой кружили вальдшнепы, в огненно-красных дроках жужжали пчелы, на полях в тени лежали коровы, повернув головы в одном направлении, и, еле двигая челюстями, лениво пережевывали свою жвачку; они искоса поглядывали на нас своими огромными влажными глазами и только слегка поводили ушами, отгоняя мух.

Но вот кончились поля, и мы начали карабкаться вверх, забираясь все выше и выше.

Поросшее вереском болото, куда привел меня Гэвин, было чуть ли не на небе — романтическое, дикое место, где прямо из топи торчали островерхие глыбы известняка. Мы продвигались вперед нагнувшись, внимательно вглядываясь в заросли багряного ятрышника и влажного болотного мирта, и нам казалось, что мы играем в прятки с мохнатыми облаками, проносившимися по синему небу над самой нашей головой. Гэвин то и дело останавливался и молча указывал мне на какую-нибудь диковинку: росянку — растение, которое опутывает и поглощает насекомых; белоснежную медвяную орхидею с необыкновенно сильным запахом. Раз перед нами переползла тропинку гадюка, но, прежде чем я успел вскрикнуть, Гэвин размозжил ей голову каблуком. После необычайно крутого подъема мы достигли Кряжа ветров, на вершине которого была площадка, и тут расположились перекусить.

Целый месяц Гэвин упорно, с присущим ему умением, искал яйца золотистой ржанки, но — безуспешно. Как-то раз, вконец обескураженные, возвращались мы из самой дальней нашей экспедиции. По пути нам попало заросшее тростником болото, и я задержался возле него. Меня почему-то влекло к этим топям в горах, где в мутной воде кипела суетливая жизнь.

Я нагнулся, чтобы набрать в пригоршню головастиков. И тут — такое бывает только во сне — взгляд мой упал прямо на солому, небрежно разбросанную по мху у самой воды. А на соломе этой лежало три яйца, больших, зеленовато-золотистых, с багряными пятнами.

Я так закричал, что Гэвин, казавшийся отсюда крошечной фигуркой на фоне неба, сразу остановился. Хоть он и очень устал, однако, увидев, что я отчаянно машу руками, приплелся ко мне. Ни слова не говоря, я указал ему на мох. Мне не было видно его лица, но по тому, как он вдруг оцепенел, я понял, что мы наконец нашли гнездо.

— Оно самое. — Проваливаясь по колению, Гэвин добрался до гнезда и вернулся с яйцом. Мы присели у края болота, и Гэвин тихонько, с величайшей осторожностью опустил яйцо в воду, чтобы убедиться, что это болтун; затем выдул из яйца содержимое и положил скорлупку мне на руку. — Ну вот. Красивое, правда?

— Изумительное. — Я был вне себя от радости. — Я так рад, что мы наконец его нашли. — Вдоволь налюбовавшись на свою находку, я протянул ее Гэвину. — Держи, Гэвин.

— Нет. — Он посмотрел на оставшиеся в гнезде яйца, которые, я знал, он ни за что не возьмет. — Оно твое, а не мое.

— Не надо, Гэвин! Ведь оно же твое.

— Нет, твое, — самоотверженно настаивал он. — Ты нашел его, ты и храни.

— Да я никогда бы не нашел его, если б не ты, — уговаривал я его. — Оно твое — твое, и только.

— Твое, — слабо возразил он.

— Твое! — крикнул я.

— Твое, — пробормотал он.

— Твое, — чуть не плача, сказал я.

Мы отчаянно препирались до тех пор, пока наконец, уже сдаваясь, я не выпалил всю правду:

— Слушай, Гэвин, поверь мне. Яйцо это чудесное. Но мне оно не нужно. У меня ведь нет коллекции, а у тебя есть. По-настоящему меня интересуют только лягушки, головастики, стрекозы и тому подобное. И если ты не возьмешь сейчас это яйцо, клянусь, я... я... я выброшу его.

Эта страшная угроза наконец убедила Гэвина. Он повернулся и посмотрел на меня — серые глаза его светились восторгом, а голос, когда он заговорил, дрожал:

— Тогда я возьму его, Роби. Но только в обмен на что-нибудь, а иначе это будет несправедливо. Я тебе дам что-нибудь вместо него... дам такое, что, я знаю, тебе нравится.

Он обернул драгоценное яйцо в шерстяную вату и положил в коробочку, куда складывал то, что находил для своей коллекции, а сам улыбнулся мне из-под припущенных ресниц застенчивой, несколько печальной улыбкой, которая наполнила счастьем мое сердце.

В тот же вечер я вышел из его комнаты с единственным предметом, на который с вожделием взирал, после того как Гэвин научил меня им пользоваться. Это был старинный медный составной микроскоп, некогда принадлежавший его сестре Джулии, которая в юности занималась естественными науками в Уинтонском колледже. Микроскоп был простого устройства, но все-таки в нем имелось два окуляра и два объектива, да и линзы, хоть и закрепленные неподвижно, были сделаны первоклассной фирмой — мэр любил, чтобы все, вплоть до мелочей, было у него самое лучшее. Вместе с инструментом мне было вручено несколько простейших предметных стекол и заплесневелая книга с пожелтевшими страницами, первая глава которой называлась «Что можно увидеть в капле воды», а вторая — «Строение крыла мухи».

Я установил прибор на столе в дедушкиной комнате и принялся не торопясь рассматривать предметные стекла одно за другим, а дедушка украдкой наблю-

дал за мной. С тех пор как мы подружились с Гэвином, он слегка охладел ко мне. Надо сказать, никто не обладал такой способностью «дуться», как дедушка. Мне кажется, что в душе он одобрял мои вылазки в горы, но поскольку он не принимал в них участия, то делал вид, что относится к ним с презрительным неодобрением. Однако на этот раз любопытство взяло в нем верх.

— Что это еще за новомодная ерундовина у тебя, Роберт?

То, что он назвал меня полным именем, указывало на далеко не милостивое ко мне отношение. Я с увлечением принялся объяснять, и вскоре он уже сидел рядом со мной, приложив глаз к таинственной трубке и путая винты, однако делал вид, будто прекрасно знаком с прибором. Занятие это явно увлекло его, и, когда я заглянул к нему после ужина, он по-прежнему сидел, не отрываясь от объектива, всецело поглощенный своими наблюдениями.

— Силы небесные! — воскликнул он. — Ты видишь эту мерзость в сыре?

Так началась для дедушки и меня эра удивительных открытий, когда мы на крыльях воображения устремлялись в неведомое. Вскоре мы исчерпали все содержимое потрепанного учебника мисс Джулии Блейр, и тогда дедушка, словно новоявленный Гексли, отправился в общественную читальню и принес более солидные труды: «Элементарную биологию» Брука, «Живые водяные растения» Стида и самую замечательную из всех книгу Гранта «Жизнь в прудах» с тридцатью красочными рисунками. Днем, пока я был в школе, дедушка рыскал по окрестным лужам со стоячей водой, а вечером, окончив уроки, я садился с ним рядом, и мы сравнивали существа, копошившиеся под нашими магическими линзами, с рисунками в книжке. Можете представить себе, в какое мы пришли волне-

ние, когда опознали медлительную амебу или когда, словно зачарованные, смотрели на вертящегося, точно волчок, микроба. Учтите, что мне не было и девяти лет и я еще не знал толком таблицы умножения. О, как пьянили меня чудеса этой незнакомой мне жизни: птенцы, вытягивающие в гнездах шейки и требующие пищи; жеребенок, стоящий в поле за орешником; ягнята, блеющие возле овец на пастбищах фермы Снодди. В моих книжках есть слово, о смысле которого я мог лишь догадываться; слово это — «размножение»: одни крошечные существа размножаются путем простого деления, другие — в результате более сложного процесса слияния. Я смутно чувствую, что стою на пороге большого открытия. Кто же сорвет для меня завесу с этой тайны? Пожалуй, из всех известных мне людей это, скорее всего, может сделать Берти Джемисон. Гэвин на неделю уехал в Ласс; его всемогущий папаша спокойно забрал его из школы, чтобы вместе половить лососей, поднимающихся весной вверх по Лоху. Каждый вечер я возвращаюсь домой с Джемисоном и его дружками, но неподалеку от его дома, близ Драмбак-Толла, они прощаются со мной: говорят, что я «еще слишком маленький», чтобы идти с ними, и исчезают в прачечной, дверь которой тотчас запирают на ключ, а окно закрывают ставнем. Опечаленный, стою я на улице; в темном доме слышна какая-то возня, хихиканье. А однажды, когда вся компания вышла наконец оттуда со смущенным видом, Берти сказал мне, что в порядке величайшего одолжения мне разрешено будет сопутствовать им завтра вечером.

Я в восторге. Когда мы с дедушкой усаживаемся за микроскоп, я сообщаю ему об этом.

— Что?! — Он вскакивает, опрокидывая драгоценный прибор, и со всей силой хватает кулаком по столу. — Ты не пойдешь в эту прачечную. Только через мой труп. Никогда, никогда!

На следующий вечер, выйдя из школы, я вижу поджидающего меня дедушку. Он берет меня за руку и, когда Джемисон пробегает мимо, дает несчастному малому такую затрещину, что тот еле удерживается на ногах. Дедушка в ярости тащит меня за собой, а я невольно думаю о том, как странны и невероятны проявления весны.

ГЛАВА 9

А весна тем временем все больше и больше вступает в свои права.

От Драмбакской дороги ответвлялась коротенькая неприметная улочка с маленькими домишками, заканчивавшаяся тупиком; именовалась она малопривлекательно — Свалочная — и была не слишком желанным соседством для чистенькой аристократической улицы, где жили именитые люди и чины города, начиная от мэра, станционного смотрителя и начальника пожарной команды и кончая районным санитарным инспектором Лекки. На Свалочной ютились мастера и механики, которые выполняли «грязную работу» на Котельном заводе и тем самым набрасывали известную тень на своих благородных соседей. К счастью, никто не видел их в пять часов утра, когда заводской гудок поднимал их с постели, но в обеденное время и вечером их кованые ботинки нарушали своим стуком тишину чистеньких улиц, а их грязные куртки и перепачканные маслом руки и лица выглядели на редкость неуместно рядом, скажем, с белой форменной фуражкой и блестящими медными пуговицами мистера Лекки.

Это были смирные люди, ибо труд их был тяжел, и развлечения, которые они себе позволяли, быть может, потому, что получали за свою работу сравнительно большое вознаграждение, были самые безобидные.

Каждую субботу, надев пестрые клетчатые кепки, они вливались в толпу, радостно направлявшуюся к парку Богхед, прибежищу местной футбольной команды. А иной раз, нарядившись в лучшее свое платье, они ехали на поезде в Уинтон выпить чаю с пирожками или провести вечер во «Дворце варьете». Погожими воскресными вечерами они чинно гуляли небольшими группами по проселочным дорогам, и кто-нибудь из них искусно наигрывал на концертину или губной гармошке. В первые дни моего пребывания в «Ломонд Вью», когда я лежал в постели, не в силах заснуть из-за темноты и хриплого дыхания бабушки, до меня нередко вдруг доносился запах дыма от сигареты, обрывок веселой шуточной песенки, и на душе у меня становилось легко, я улыбался, хоть этого никто и не видел: теперь я был уверен, что в мире все по-прежнему благополучно.

Так вот, среди этих рабочих был один по имени Джейми Нигт, который с некоторых пор стал явно выказывать мне знаки внимания. Это был приземистый широкоплечий парень лет тридцати, с нескладными длинными руками и огромными печальными глазами. С необычайной прозорливостью я догадался, что печалится он из-за своих ног, на редкость кривых — они образовывали идеальный овал, сквозь который виден был божий мир, и хотя Джейми всячески старался ходить так, чтобы по возможности скрыть это, недостаток его был столь очевиден, что мог разжалобить самое твердокаменное сердце. После обеда, когда я бежал обратно в школу, кривоногий слесарь частенько меня останавливал и, поглядывая на меня испытующим взглядом доброй собаки, медленно потирал подбородок мозолистой рукой — хотя брился он каждый день, щеки и подбородок его так быстро зарастали, что были всегда с синеватым отливом.

— Ну, как живем?

- Отлично, благодарю вас, Джейми.
- Дома все в порядке?
- Да, благодарю вас, Джейми.
- Мистер Лекки и все домашние здоровы?
- Да, Джейми.
- У Мэрдока скоро экзамен?
- Совершенно верно, Джейми.
- А бабушка еще не приехала?
- Нет еще, Джейми.
- Я видел твоего дедушку на лугу в прошлое воскресенье.

- Правда, Джейми?
- Он хорошо выглядит.
- Да, Джейми.
- Ну и денек сегодня — замечательный.
- Очень даже, Джейми.

На этом разговор прерывался. Пауза. Затем Джейми лез в карман, извлекал из него пенни и все с тем же серьезным видом вручал мне монету, сопровождая свой дар старой ливенфордской шуткой: «Смотри не оставь все в одной лавке». Я подпрыгивал и, зажав в руке монету, мчался дальше, а кривоножка кричал мне вслед:

- Мое почтение всем домашним!

Сколь ни было это маловероятно, я приписывал великодушие Джейми тому, что он, подобно мэру и мисс Джулии Блейр, а также многим другим горожанам, проявлявшим особую доброту ко мне, знал мою мать. Фраза: «Я знал твою маму» — точно рефрен в музыке, нередко звучала в мои детские годы этаким грустным и в то же время согревающим душу повтором, неизменно успокаивая меня и придавая веру в неизбежную доброту людей и жизни.

Но обычно я слишком торопился в лавочку Тибби Минз, к ее зеленым стеклянным банкам со сладостями в розовую полоску, и у меня не было времени размыш-

лять над причиной такого интереса Джейми ко мне. Урок, который преподавал мне Адам, пообещав полсоверена, породил во мне какое-то смутное недоверие: если я сразу не истрачу свой пенни, кто-нибудь непременно обнаружит монету или она выпадет у меня из брюк, когда я буду снимать их вечером, и покатится по блестящему линолеуму прямо к папе, а он нагнется и поднимет ее с самым благим намерением «прибереечь» для меня. А кроме того, мое тело — тело молодого недоедающего зверька — требовало сахара. Обитатели полей и лесов могут умереть с голоду среди кажущегося изобилия, если они лишены каких-то веществ — пусть самых простых и незначительных на первый взгляд. И сейчас, вспоминая, как сосало у меня в детстве под ложечкой даже после обеда и как мне все время приходилось подавлять муки голода, мне кажется, что я тоже мог бы помереть, если бы сласти мисс Минз не поддерживали меня.

В последнюю субботу мая мы с Джейми встретились уже не случайно: он подждал меня на углу Свалочной, «разряженный в пух и прах» — в синем костюме, желтых ботинках и красной с черным клетчатой кепке.

— Хочешь пойти со мной на футбол?

Сердце у меня так и подпрыгнуло, и сразу весь день, казавшийся мне дотоле пустым и безразличным — ведь Гэвин со своим отцом по-прежнему был в Лассе, — озарился радостью. Пойти на футбол! Увидеть, как играют взрослые, — я никогда этого не видел и не надеялся увидеть!

— Ну, так, значит, пошли, — сказал Джейми Нигг и зашагал, загребая желтыми ботинками.

Прижавшись животом к канату, ограждавшему площадку в парке Богхед, я стоял рядом с Джейми и группой его друзей и кричал до хрипоты, глядя, как люди в разноцветных футболках, сталкиваясь, бегают по зе-

леному полю. Ливенфорд играл сегодня против своего самого ненавистного соперника — клуба соседнего городка Ардфиллана. Мир не видывал таких хитрецов, грубиянов и убийц, как эти парни из Ардфиллана, которых в насмешку называли «джемоглолоты»: надо же быть такими подонками, чтобы разрешать мальчишкам посещать их игры за банки из-под джема, которые клуб затем продавал местному складу утиля! Но, благодарение богу, справедливость восторжествовала! Ливенфорд победил!

После состязания мы с Джейми направились домой, как два добрых приятеля; когда, все еще разгоряченные и взволнованные, мы дошли до развилки, где пути наши расходились, Джейми вдруг извлек из-за пазухи пакет, немало обременявший его весь день.

— Передай это вашей Кейт, — почему-то хрипло сказал он, краснея до корней волос. — От меня.

Ничего не понимая, я уставился на него. Кейт?! «Нашей» Кейт! Но какое же она имеет отношение к чудесной дружбе, которая установилась между мной и Джейми?

— Да, да, Кейт. — Джейми еще больше покраснел. — Отнеси это к ней в комнату.

Он повернулся и зашагал прочь, а я так и остался стоять с пакетом в руках.

Когда я пришел в «Ломонд Вью», Кейт нигде не было видно, один только Мэрдок сидел над книгами в кухне и, вздыхая, бубнил что-то; тогда, послушный приказаниям Джейми, я отнес большой продолговатый пакет в спальню Кейт и положил его к ней на комод. До сих пор я бывал в комнате Кейт, только когда она меня звала, и сейчас любопытство, а также сознание, что, как посланец, я нахожусь в особом положении, побудили меня задержаться. У зеркала я увидел две-три бутылочки с притираниями и баночку с кремом. Тут же лежало несколько книжек в бумажных пере-

плетах. Я взял их и посмотрел названия: «Как поддерживать красоту лица без обезображивающих вмешательств»; «Метод госпожи Болсовер, или Как за двенадцать приемов развить бюст». Затем шла книжка с таинственным, но интригующим названием: «Девушки! Не будьте синим чулком!» Я уже собрался заняться более углубленным ее исследованием, как вдруг дверь распахнулась и в комнату вошла Кейт.

Ее прыщавое лицо вспыхнуло от гнева. На лбу сразу отчетливо обозначились шишки. Меня спасла лишь собственная смекалка.

— Знаешь, Кейт, — воскликнул я, — а у меня кое-что для тебя есть! Сюрприз.

Она остановилась — уши ее горели, глаза зло поблескивали.

— Что это еще за сюрприз? — подозрительно спросила она.

— Подарок, Кейт! — И я указал на пакет, лежавший на комод.

Она недоверчиво взглянула и, ворчливо буркнув: «Запомни, Роберт, никогда, никогда не смей без стука входить в спальню к даме», подошла к комоду, взяла пакет, села с ним на постель и принялась разворачивать. Я жадно наблюдал за ней. Вот снята последняя бумажка и показалась красивая коробка, перевязанная лентами, а в ней целых три фунта дорогого шоколада. Могу ручаться, что Кейт никогда в жизни не получала такого чудесного подарка. Я поздравил ее и с видом сообщника склонился над коробкой.

— Посмотри, какие замечательные конфеты, Кейт! Это тебе от Джейми. Он сегодня водил меня на футбол. Ты ведь знаешь Джейми Нигга.

На лицо Кейт стоило посмотреть — такая на нем была странная смесь удовольствия, изумления и разочарования. И довольно высокомерно она сказала:

— Ах вот это от кого! Придется вернуть.

— Ну что ты, Кейт. Это обидит Джейми. К тому же... — И я проглотил слюну.

Кейт невольно улыбнулась, а когда она улыбалась, то даже такая мимолетная сдержанная улыбка делала ее удивительно приятной.

— Ну хорошо. Можешь взять себе конфетку. Но я до них не дотронусь.

Я не стал ждать и, воспользовавшись разрешением, надкусил шоколадку, из которой потек сладкий апельсиновый крем, и во рту у меня чудесно запахло.

— Вкусно? — спросила Кейт и в свою очередь как-то странно глотнула.

Я пробормотал нечто нечленораздельное.

— Если бы их прислал кто угодно, только не Джейми Нигг! — воскликнула Кейт.

— Почему? — спросил я, как и подобало преданному другу. — Джейми самый замечательный парень на свете. Ты бы посмотрела на него, когда он был со своими приятелями на футболе. Он ведь знаком с центром нападения ливенфордской команды.

— Но он простой рабочий, всего лишь слесарь. И работа у него такая грязная. К тому же, говорят, он прикладывается.

Поняв, что речь идет о виски, я, как верный друг, привел слова дедушки:

— Это не такой уж большой недостаток, Кейт.

— И потом еще... — Кейт смутилась и снова покраснела. — Его ноги.

— А ты не обращай внимания на его ноги, Кейт, — уговаривал я ее.

— Ноги слишком важная часть тела, чтобы не обращать на них внимания. Особенно когда прогуливаешься на людях.

Я в ужасе умолк.

— Ты любишь кого-нибудь другого, Кейт?

— Мм... да... — Кейт мечтательно устремила взор в романтическую даль поверх брошюрки «Не будьте

синим чулком!»), а я не замедлил воспользоваться этим и взял еще одну шоколадку.

— Конечно, у меня была уйма предложений, во всяком случае несколько, ну, скажем, два-три — не буду хвастаться. Но ведь речь идет об идеале. Вот если б за меня посватался человек солидный, воспитанный, разговорчивый и к тому же брюнет... вроде пастора Спрула, например.

Я в изумлении уставился на Кейт: пастор-то был ведь пожилой, с животиком, поэтической шевелюрой, громовым басом и четырьмя детьми.

— Ох, Кейт, а я бы не задумываясь предпочел Джейми... — вырвалось у меня, и я сразу вспыхнул, понимая, что из всей семьи я меньше всех могу критиковать ее исповедника.

— Ничего, ничего, — заверила меня Кейт, поняв причину моего смущения. — Возьми еще шоколадку. Ешь, ешь, не смотри на меня, я ни за что не прикаснусь к этим конфетам. И вообще, знаешь ли, любовь внушает мне отвращение. Да, отвращение. Женщине всегда приходится за нее расплачиваться. Эта шоколадка с твердой или с мягкой начинкой?

— С твердой, Кейт, — поспешил ответить я. — Чудесная нуга — ты такой никогда в жизни не пробовала. Посмотри, вон тут еще такая лежит. Ну ради меня, возьми ее, пожалуйста.

— Нет, нет, я и думать об этом не хочу. — Продолжая протестовать, Кейт как бы нечаянно взяла нугу, которую я усиленно совал ей, и, словно передумав, положила в рот.

— Ну скажи, Кейт, разве конфеты не замечательные? — допытывался я.

— Ни одному мужчине не купить меня, Роберт. А конфеты, надо сказать, действительно вкусные.

— Возьми еще, Кейт.

— Я, конечно, знаю, что мне от них потом будет плохо. Но если ты так настаиваешь... Найди-ка мне

такую же, какую ты ел в самом начале, — с апельсиновым кремом.

И так, сидя у нее на кровати, мы за последующие полчаса умяли весь верхний ряд коробки.

— Ну так что же мне сказать Джейми? — спросил я наконец.

Кейт аккуратно перевязала коробку розовой ленточкой и вдруг расхохоталась. Как дико звучит самый обыкновенный смех, если он исходит от такой странной, мрачной, раздражительной девушки.

— Какие мы с тобой оба притворы, Роби. Во всяком случае, я. Едим сласти, которые стоили бедному малому кучу денег, и еще критикуем его. Так что ты скажи ему правду. Скажи, что нам очень понравился шоколад. Поблагодари его как следует. И чтобы больше этого не было.

Я кинулся вниз, перепрыгивая через три ступеньки, преисполненный решимости передать Джейми по крайней мере первую часть того, что сказала Кейт.

ГЛАВА 10

Настал июль, а с ним летние каникулы и дни, овеваемые жарким ветром, колыхавшим зреющую кукурузу. Мы с Гэвином бегали босиком за поливочной машиной по дорогам драмбакской деревушки, покрытым еще теплой, только что прибитой водой пылью. Мы взбирались с ним на самую высокую вершину Гаршейк-хилла и собирали там чернику, которую мама с благодарностью принимала, а потом делала из нее джем, куда более вкусный, чем наше обычное варенье из ревеня. Мы купались у мельничной запруды; там, разрезая руками прохладную воду, я сделал свой первый заплыв через самое глубокое место, а потом подставил голову под маленький водопадик, и вода попа-

дала мне в рот, в нос, а вокруг моих ног, взвиваясь с песчаного дна, стайками кружились пескари. От восторга я звонко, возбужденно рассмеялся. До чего же хороша холодная вода! Она словно смывала последние следы печали с моей души. Мы вылезли на берег и принялись прыгать, плясать, потом бросились на траву и, замирая от наслаждения, залюбовались ярко-синим небом. Какая радость! Чистый, мягкий, теплый воздух, яркий свет, зелень деревьев, и силы пробуждаются во мне — радость жизни, величайшая радость бытия!

Я был счастлив, безмерно счастлив этой языческой жизнью. Ветер, напоенный ароматом вереска, выветрил Бога из моей головы: открытки, которые присылала мне бабушка, я едва достаивал внимания; я больше не бросал вызов нечистому выйти из какого-нибудь темного угла, а сразу засыпал, едва успев пробормотать самую короткую молитву. Да, я отвернулся от Бога. И небо готовило мне новые испытания.

Прежде всего пришло известие о том, что мне предстоит вновь расстаться с Гэвином. Каждое лето его отец снимал в Пертшире домик с небольшим заболоченным участком, где можно было поудить рыбу и поохотиться, — еще одна роскошь, за которую впоследствии обрушат хулу на голову этого олимпийского божества! — и Гэвин, конечно, проводил там летние каникулы среди багряно-красного вереска и синих далеких гор.

Мисс Джулия Блейр не раз более чем прозрачно намекала на то, что я мог бы поехать с ним, но мой жалкий гардероб, стоимость железнодорожного билета и другие соображения, напоминающие о суровой действительности, заставили эту добрую душу умолкнуть. Мы с Гэвином попрощались на вокзале; глаза наши при этом подозрительно блестели, а руки сплелись в пожатии, крепком как сталь, которым мы, по-особому перекрестив большие пальцы, как бы скрепляли нашу дружбу на веки вечные.

Затем, когда я возвращался домой по Главной улице, на меня свалилась другая неожиданность — точно гром ударил среди ясного неба, и на пути моем внезапно выросло препятствие. Я посмотрел вверх и, содрогнувшись от несказанного ужаса, увидел перед собой высокую черную фигуру каноника Роша, который, опираясь на огромный зонтик, пронзал меня темным немигающим взглядом василиска, — в такой же ужас повергаю я, наверно, крошечную мошку, попавшую под мой микроскоп.

Каноник был одним из самых примечательных людей в городе, однако до сих пор мне ловко удавалось избегать встреч с ним. Он был молодой — самый молодой каноник в епархии. Лицо у него было тонкое, с горбатым носом и высоким лбом, говорившим об уме, наличие которого более чем достаточно подтверждало успешное окончание особого колледжа в Риме. Он получил весьма запущенный приход церкви Святых Ангелов с паствой, которую трудно было держать в узде, поскольку состояла она из нескольких национальностей: тут были и поляки, и литовцы, и словаки, и ирландцы, которые в разное время переселились в город, привлеченные возможностью получить работу и хорошими заработками на Котельном заводе. Каноник быстро смекнул, что существует только одно оружие, с помощью которого можно держать в повиновении этих непокорных, темных прихожан. И он, не раздумывая, решил им воспользоваться. С суровостью, отнюдь не свойственной его натуре, он метал громы и молнии с высоты своей кафедры, допекал свою паству насмешкой на паперти, останавливал прихожан на улице и отчитывал при всех. За год он привел к повиновению своих прихожан, заслужил расположение братьев Маршалл, владельцев завода, и завоевал уважение, которое выражала ему, правда сквозь зубы, наиболее либеральная часть городских властей, — дело весьма нелегкое в маленьком шотландском городке,

где католиков ненавидели и презирали. Как ни удивительно, он сумел внушить своим прихожанам не только трепет, но и восхищение. Ужас, ей-богу, священный ужас вселял в вас этот каноник, да благословит и да изничтожит его Господь!

Ничего нет поэтому удивительного, что, хотя тон его на сей раз и был мягок, я задрожал от одного сознания, что такой человек подошел именно ко мне.

— Ты Роберт Шеннон, не так ли?

— Да, отец.

И как у меня вырвалось это «отец» — ведь я выдал себя. Он слегка улыбнулся.

— И ты, конечно, католик?

— Да, отец.

Он принялся складывать свой широкий зонт.

— Я получил письмо насчет тебя от одного коллеги из Дублина... отца Шенли... Он просил разыскать тебя. — Каноник кинул на меня быстрый взгляд. — Ты, конечно, ходишь к мессе по воскресеньям?

Я потупился. Я ведь уже немало выстрадал от своей приверженности Римско-католической церкви: на моем челе была ее мета, но здесь, в Ливенфорде, я был одинок и слишком застенчив, чтобы отважиться посетить ее храм.

— Ага! — Сколько хлопот доставляет ему этот зонтик! — Ты, конечно, уже принял первое причастие?

— Нет, отец.

— Но уж первая-то исповедь у тебя, во всяком случае, была.

Болезнь моих родителей помешала мне в свое время выполнить это величайшее из обязательств, и сейчас мне было так стыдно, что я был бы рад сквозь землю провалиться.

— Нет, отец.

— Вот как. Печальное упущение для молодого человека, носящего фамилию Шеннон. Надо это исправить, Роберт. Мигом исправить, надеюсь, ты простишь

мне это выражение, которое ты, конечно, тоже никогда не назовешь остроумным, и уж скорее оно пристало пастырю Епископальной церкви, чем мне, недостойному!

Почему он улыбается? Почему не мечет громы и молнии? А у меня глаза были на мокром месте: надо же, Гэвин уехал и теперь еще это стряслось! К тому же я сознавал, что прохожие, особенно многочисленные в это обеденное время, с любопытством поглядывают на нас. Скоро молва о нашей встрече распространится по всему городу, товарищи по школе снова отвернутся от меня, да и в «Ломонд Вью» все пойдет кувырком.

— С будущего месяца у нас в монастыре начнутся беседы с теми, кто готовится к первому причастию. По вторникам и четвергам после четырех часов дня. Это, право, очень удобно. Вести занятия будет мать Элизабет-Джозефина... Я думаю, она тебе понравится, если ты придешь. — Он с улыбкой посмотрел на меня своими строгими черными глазами. — Ну так как же, Роберт, придешь?

— Да, отец, — пробормотал я, с трудом шевеля непослушными губами.

— Вот умница. — Наконец он оставил свой зонтик в покое, хотя так и не сумел толком свернуть его. Во всяком случае, теперь каноник благосклонно поглядывал на меня и, поучая, вертел зонтиком то в одну сторону, то в другую. Завершил он свое краткое поучение следующим советом: — Еще одно, Роберт, и очень важное, хотя тебе это и нелегко будет выполнить, поскольку ты живешь с родными, не принадлежащими к нашей Католической церкви. Не ешь мясо по пятницам. Это строжайше запрещено Церковью. Так что запомни... ни кусочка мяса по пятницам. — Он в последний раз посмотрел на меня своими суровыми и в то же время добрыми глазами и ушел.

А я поплелся в противоположном направлении, все еще потрясенный этой злополучной встречей. Я был уничтожен, пойман и осужден за мои преступления. Яркий сверкающий день словно померк. Но ни секунды я не думал о том, что могу послушаться каноника. Нет, нет, теперь он будет следить за мной; слишком уж он близко — он может возникнуть предо мной в любую минуту во всем величии своей духовной и мирской власти — и слишком он страшен, чтобы можно было ему не повиноваться. В один миг точно ураганом смело все то, что так тщательно возделывала бабушка в винограднике моей души. Проклятье, тяготеющее надо мной с рождения, наконец обрушилось на меня. Мне оставалось лишь страдать и покоряться.

Я как раз подходил к черному ходу «Ломонд Вью», когда неожиданная мысль поразила меня и на лбу выступил холодный пот. Ведь сегодня — именно сегодня — пятница. А в воздухе пахло моим любимым блюдом — тушеным мясом. Я застонал. Великий Боже и каноник Рош! Что же мне делать?

Я нерешительно вошел в кухню и занял свое место у стола, за которым уже сидели Кейт и Мэрдок. Ну конечно, как я и опасался, мама поставила передо мной тарелку с тушеной говядиной; порция была почему-то куда больше обычной, да и мясо, судя по запаху, было куда вкуснее. Я смотрел на него обезумевшим взором.

— Мама, — еле слышно сказал я наконец. — Мне сегодня что-то не хочется жаркого.

Все тотчас в изумлении уставились на меня, а мама окинула недоверчивым взглядом.

— Ты что, болен?

— Право, не знаю. Немножко голова болит.

— Тогда съешь картофеля с подливкой.

Мясная подливка... но ведь она тоже запрещена. Я кисло улыбнулся и покачал головой.

— Я, пожалуй, лучше вообще ничего не буду есть.

Мама сокрушенно причмокнула — она всегда так делала, когда в чем-то не была уверена. Прежде чем отпустить меня в школу, где последние дни еще шли занятия, она дала мне ложку микстуры Грегори. А я, когда проходил мимо чуланчика за кухней, умудрился сунуть в карман брюк кусочек хлеба, который с жадностью и съел по дороге в школу. И все-таки весь день в животе у меня были рези от голода.

Вечером, когда семейство собралось за столом, мама, желая полакомить меня, из самых благих побуждений любезно положила передо мной кусочек студня, лежавшего на тарелке мистера Лекки, — в то время ему к ужину всегда подавали какое-нибудь «чудо кулинарии», как он это называл. Мама, словно извиняясь, посмотрела на остальных и сказала:

— Роберту ведь нездоровилось сегодня.

Душа у меня так и перевернулась. Остекленелым взглядом смотрел я на нежные кусочки мяса, проглядывавшие сквозь прозрачное желе. Почему же я не сказал правды? Ох, нет, нет, тысячу раз нет. Я просто не мог этого сделать. Непонятная и трагическая история моей принадлежности к Римско-католической церкви была слишком мучительна, чтобы напоминать о ней в этой семье. Она была забыта, похоронена. И заговорить о ней значило бы навлечь на свою голову всеобщий гнев и беду, равную разве что опустошению, произведенному Самсоном на картине в бабушкиной комнате. Да при одной мысли о том, какое лицо будет у папы...

И все-таки именно он спас меня тогда.

— Малый наелся зеленого крыжовника, — буркнул он вдруг. — Пусть пораньше ляжет в постель. — И он переложил студень с моей тарелки обратно на свою.

А я и близко не подходил к его незрелому крыжовнику. Но я обрадовался этому несправедливому приговору и без ужина отправился в свой маленький закуток за занавеской.

В воскресенье, когда все семейство еще спало, я пробрался потихоньку через погруженную в сумрак переднюю и выскользнул на улицу, торопясь к семи-часовой мессе: в церкви я сел позади всех и, когда мимо меня проходили с кружкой для пожертвований, закрыл лицо руками. Церковь была красивая — строил ее, как я впоследствии узнал, Пьюджин, — в простом готическом стиле; все в ней склоняло к молитве: и витражи, выполненные с большим вкусом, и белый высокий алтарь в глубине, и ряд воздушных арок, придававших величие нефу. Но в то утро, повторяя про себя псалмы, я не находил в них утешения. Когда каноник Рош взошел на кафедру, у меня от страха затряслись колени. А что, если он станет обличать меня, нечестивого отщепенца, у которого недостает храбрости постоять за свою веру. Какое счастье... он заговорил не обо мне! Однако то, о чем он объявил, не менее сильно смутило мой душевный покой. Со следующей недели начинался пост: среда, пятница и суббота объявлялись днями воздержания, в которые запрещалось есть скоромное; Господь будет безжалостен к тем слабым нечестивцам, которые посмеют в эти дни прикоснуться к мясу. Глубоко удрученный, ничего не видя, шел я домой и точно одержимый твердил про себя: «Среда, пятница и суббота». Оскорбить Бога, конечно, очень худо. И все-таки страх не перед Ним, а перед страшным каноником побуждал меня взяться за непосильное дело.

В среду мне повезло. Мама, озабоченная предстоящей стиркой, ничего не заподозрила, когда я еле слышно пробормотал, что не приду в обеденный перерыв домой — мне придется задержаться в школе, чтобы привести в порядок учебники; склонившись над баком, она рассеянно велела мне взять с собой несколько кусочков хлеба с джемом. Но в пятницу, когда я попытался прибегнуть к той же уловке, она приняла это иначе: нет, надо прийти домой и съесть горячий обед,

безоговорочным тоном приказала она. На сей раз передо мной была поставлена тарелка с котлетой, после чего мама вышла из кухни с таким видом, который не предвещал ничего хорошего, в случае если по ее возвращении тарелка не будет пуста.

О боже, как я страдал! Ни один длиннородый еврей, перед которым инквизиция ставила жирный кусок свинины, не испытывал таких мучений, как я. В отчаянии посмотрел я на Мэрдока, сидевшего напротив, — он молча жевал, с любопытством наблюдая за мной. Теперь он занимался дома, и, поскольку Кейт задерживалась из-за большого перерыва на обед в младших классах, только мы с ним и сидели за столом.

— Мэрдок! — шепотом произнес я. — У меня от этого мяса страшная изжога. — Я быстро схватил тарелку и переложил ему свою котлету.

Он вытаращил на меня глаза. Но аппетит у него был отменный, а потому он не стал возражать и лишь подозрительно заметил:

— Ты что-то последнее время настоящим вегетарианцем заделался.

Неужели он догадался? Трудно сказать. Дрожа всем телом, пригнувшись к самой тарелке, я съел картофель, тщательно избегая класть в рот тот, на который попали капельки жира.

На следующий день изобретательность моя иссякла. Голодный, упавший духом, я буквально ничего не мог придумать и, когда настал час обеда, просто не пошел в «Ломонд Вью» — не пошел, и все, а вместо этого отправился к порту и тупо бродил там, принюхиваясь, точно собака, к терпким запахам вара и нефти. Вечером я еле плелся домой — так я ослаб от голода. В животе у меня были такие рези, что я уже не думал о том, как я буду объяснять свое отсутствие маме. Я хотел есть, есть.

Проходя мимо дома миссис Босомли, я увидел ее у калитки; в руках у нее было несколько писем. Она

попросила меня сбегать и опустить их в почтовый ящик, висевший на столбе. Какое там сбегать! Но как ты ни слаб, нельзя же отказать в услуге доброму другу. Я опустил ее письма в круглый красный ящик на углу Свалочной. На обратном пути она подозвала меня к раскрытому окошку. Глаза мои загорелись. Ну конечно, она протягивала мне обычную награду — огромный бутерброд с консервами на еще теплом поджаренном хлебе.

Спотыкаясь, я завернул за угол — к тому месту, где была колода для лошадей; в руках я держал толстый золотистый бутерброд, от одного запаха которого чуть не терял сознание. Присев на землю, я сплюнул слюну, так и струившуюся по моим крепким молодым зубам. И тут вдруг — о безжалостное небо! — вспомнил, что это консервы «Боврил». Мясо, настоящее мясо! На железнодорожном мосту висит рекламный плакат этой фирмы, на котором намалеван огромный бык, — значит, в каждой консервной банке есть какая-то частица этого быка.

Целую минуту, парализованный ужасом, смотрел я, не мигая, на быка — на это олицетворение всего мясного, этот повод к грехопадению, который я держал в своих детских руках. И вдруг с криком жадно набросился на мясо. Я вгрызался в него зубами, раздирал и уничтожал. До чего же было вкусно! Я забыл и про карающего ангела, и про каноника Роша. Нечестивыми губами всасывал я соленый мясной сок. От восторга я облизал даже пальцы. И когда все до последней крошки было съедено, я вздохнул глубоко, удовлетворенно, торжествуя.

И тотчас с ужасом осознал, что я наделал. Грех. Смертельный грех. Минута страшного оцепенения. Потом начались приступы раскаяния — один за другим. Темные глаза каноника сверкали передо мной. Я не мог больше этого выдержать. Разрыдался и побежал вверх к дедушке.

ГЛАВА 11

Когда я влетел к дедушке, он сидел, сощурившись, с ученым видом у микроскопа. В этой позе он и выслушал меня молча до конца. Я был только доволен, что он на меня не смотрит. Я вытер глаза и стал ждать, что будет дальше, а дедушка поднялся и принялся в своих рваных зеленых шлепанцах ходить из угла в угол. Возле него я почувствовал себя спокойнее. Как бы я хотел, чтобы он, а не каноник наставлял меня в моей вере.

— Ну вот что, мальчик, уладить дело с пятницами просто. Достаточно мне сказать два слова маме, и все будет в порядке. Но... — и радость моя сразу померкла, когда я увидел, как он покачал головой, — это только начало. Вопрос о твоём вероисповедании все равно должен был так или иначе возникнуть. Трудное у тебя здесь положение, ничего не скажешь... совсем один... Пренеприятное наследство оставила тебе твоя бедная мамочка... — Он помолчал, погладил бороду и как-то странно посмотрел на меня. — А может быть, проще всего присоединиться тебе к остальному семейству? То есть ходить с ними в церковь на Ноксхилле?

Сам не знаю почему, но из глаз моих брызнули горячие слезы.

— Ох нет, что ты, дедушка. Не могу я так. Человеку положено быть тем, чем он родился, даже если это и трудно...

Дедушка настаивал, доказывая, что зато я обрету все блага на свете.

— А как будет любить тебя бабушка, если ты будешь ходить в церковь на Ноксхилле. Ручаюсь, она для тебя тогда все, что хочешь, сделает.

— Нет, дедушка. Не могу я.

Непонятное молчание. Потом он улыбнулся мне — не безразлично, а так, как изредка улыбался, — нето-

ропливой, согревающей душу улыбкой. Подошел и пожал мне руку.

— Молодец, Роби, умница!

Он старательно выбрал две мятные лепешки из того небольшого запаса, что хранился у него в жестяной коробочке, и сунул мне в руку. Мне непонятно было, чем я заслужил столь высокое одобрение. Он говорил мне «молодец, Роби» лишь в самых редких случаях, когда хотел выказать свою особую симпатию.

— Могу сказать тебе, что я на этот счет думаю. — Он тоже взял мятную лепешку и величественно расположился в кресле. — Я за свободу вероисповедания. Пусть человек верит во что хочет, лишь бы он не мешал мне верить, во что я хочу. Тебе, конечно, не понять этого, мой мальчик. Поэтому я скажу тебе лишь одно: если бы ты пошел в церковь на Ноксхилле, я бы в ту же минуту отрекся от тебя.

Глубокомысленное молчание, пока он раскуривал трубку.

— Я ничего не имею против католиков, мне вот только не нравятся, пожалуй, их папы. Да, мальчик, не могу сказать, что я одобряю ваших пап... Все эти Борджиа с их ядом в кольцах и прочими мерзостями были более чем подозрительной публикой. Ну да ладно, хватит об этом, ты-то ведь тут ни при чем. Ты веришь в того же Всевышнего, что и твоя бабушка, но она не хочет, чтобы ты поклонялся Ему со свечами и фимиамом. А по мне так поклоняйся. Пожалуйста. Я буду защищать твое право на это. И вот что я тебе скажу: у тебя столько же оснований пройти через золотые врата или какие там ни есть, хоть ты и слушаешь мессу, а священники твои ходят в пышных облачениях, как и у твоей бабушки, хотя она поет псалмы и бубнит библейские тексты.

Никогда не видел я дедушку таким взволнованным. Он, презиравший велеречивых людей и беспо-

воротно клеймивший любого оратора за многословие, сам, как ни странно, отличался порой удивительной словоохотливостью. Целых полчаса разглагольствовал он с жаром хорошего трагика; с языка его слетали страстные бессмертные слова — «свобода», «либерализм», «терпимость», «свободомыслие», «вечно живое наследие», «человеческое достоинство». Он выражал такие чудесные, такие возвышенные чувства, что я, конечно, ослышался или мне показалось, будто он иногда противоречил сам себе; ну, например, распространяясь о том, что все должны любить друг друга, он внезапно с силой ударил кулаком по столу и заявил, что «мы», подразумевая себя и меня, «уж зададим перцу этой старой ведьме» — подразумевалась бабушка.

И тем не менее беседа с ним успокоила меня. В последующие пятницы мама, ни о чем не спрашивая, давала мне немного овощей, а когда папы не было дома, крутое яйцо. С первого июня, не сказав, по совету бабушки, никому ни слова, я стал посещать маленький монастырь Святых Ангелов и готовиться к своему первому причастию.

Нас было совсем немного под крылышком матери Элизабет-Джозефины — всего шесть или семь смешливых девочек и еще один мальчик, Анджело Антонелли, сын итальянца, торговавшего мороженым в городе. Это был очень хорошенький мальчик: кожа у него была как персик, шелковистые каштановые волосы вились кольцами, большие черные блестящие глаза, казалось, молили о чем-то. Настоящий младенец с полотен Мурильо, хотя я тогда понятия об этом не имел; я понимал только, что он мне нравится, и, поскольку он был маленький — больше чем на год моложе меня, — я сразу стал опекать его.

Занятия проходили иногда в тишине полутемной церкви, у бокового придела, под витражом, изображавшим «Спасителя, несущего свой крест»; порой —

в строгой монастырской приемной, а чаще всего, поскольку дни стояли теплые, — на лужайке в монастырском саду. Тут мы, дети, рассаживались на поросшем травой склоне, в тени цветущего душистого чубушника, а добрая монахиня, положив книгу на колени и вложив руки в широкие рукава своей одежды, усаживалась на раскладном стуле перед нами. В саду за высокой стеной было удивительно тихо, — казалось, он находится в тысяче миль от шумного города. Время от времени появлялась какая-нибудь из сестер в белом чепце с широкими крыльями, почти совсем скрывавшем ее лицо, и прохаживалась по дорожке, перебирая четки. Длинная одежда красиво колыхалась в такт ее плавным движениям. Откормленные голуби прогуливались по саду и доверчиво подходили совсем близко к нам. В воздухе стоял звенящий гул от мошкары, вившейся столбом над белыми цветами чубушника; нежный запах этих цветов, напоминающий аромат апельсинового дерева, удивительно гармонировал с этим тихим уголком и с этими благочестивыми монахинями, которые мнят себя Христовыми невестами, — недаром у каждой на четвертом пальце правой руки толстое золотое кольцо. Сквозь покачивающиеся ветви деревьев на фоне неба виден каменный крест церкви, как бы вписанный в круг, — крест Святого Андрея. Наша сестра прикладывает палец к губам, требуя молчания, и начинает рассказывать нам о младенце Христе, а мы покорно смотрим на нее, округлив глаза. Памятные часы невинного детства: никогда ни до, ни после не пришлось мне изведать такого покоя, такого безмятежного счастья.

Мать Элизабет-Джозефина была женщина уже немолодая, с морщинистым, довольно суровым лицом. Она была хорошим педагогом. В ее изложении перед нами оживали те далекие дни в Палестине. Затаив дыхание, слушали мы ее и видели бедные ясли и ребенка

в них. Мы видели, как Святое семейство на осле — нет, вы только подумайте: бедный осел! — спасается от злодея Ирода. Должно быть, из-за моего сомнительного прошлого мать Элизабет-Джозефина уделяла мне больше внимания, чем всем остальным, и я очень гордился этим, особенно когда она хвалила меня за быстрые ответы. Каноник Рош, случалось, заходил к нам и, глядя на нас с поистине удивительной добротой, о чем-то шепотом совещался с досточтимой матерью монахиней; при этом оба неизменно смотрели на меня. После таких совещаний мать Элизабет-Джозефина удваивала свою доброту ко мне. Она давала мне ладанки и маленькие святые образки, которые я носил под рубашкой. Я от всего сердца полюбил Иисуса, который в моем представлении был похож на маленького Анджемо, доверчиво сидевшего рядом со мной. Я не мог дождаться того дня, когда, по словам матери Элизабет-Джозефины, Иисус придет ко мне в виде блестящей облатки-гостии, которую положат мне на язык.

Потом мать Элизабет-Джозефина начала рассказывать нам всякие ужасные истории, которые приключаются с теми, кто плохо причастится. Она привела много печальных примеров. Был такой случай с одним мальчиком, который по беспечности «нарушил пост», съев по пути к алтарю несколько крошек, завалявшихся у него в кармане; а другой неосторожный негодник проглотил несколько капель воды со своей зубной щетки. Уже это было скверно, ну а третья история положительно вызвала у нас дрожь. Одна девочка из дурного любопытства сняла святую облатку с языка и положила в носовой платок... И платок потом оказался весь в крови!

Никто не следил за моим обучением более пристально, чем дедушка. Для начала он спросил меня, как выглядит мать Элизабет-Джозефина, хорошенькая она или нет, на что я вынужден был ответить, что нет.

Когда я рассказал ему о чуде, происшедшем с платком, который окрасился кровью, дедушка и глазом не моргнул.

— Удивительно! — задумчиво произнес он. — Надо мне, пожалуй, причаститься вместе с тобой. Очень уж это интересно.

— Ах нет, что ты, что ты, дедушка! — в ужасе воскликнул я. — Это был бы грех, страшный грех. И к тому же тебе сначала пришлось бы пойти на исповедь... и рассказать канонику Рошу про все скверные дела, которые ты натворил в своей жизни.

— В таком случае, Роберт, — мягко заметил он, — это была бы очень длинная беседа.

В конце июля мать монахиня занемогла, и ее место на складном стуле у куста чубушника заняла молодая, розовощекая монахиня — сестра Цецилия. Это было милое ласковое существо, и ее занятия с нами проходили гораздо интереснее; ее синие глаза при упоминании о нашем Спасителе затуманивались и становились задумчивыми, и она не пугала нас всякими мрачными историями. Я пришел от нее в восторг и поспешил домой поведать эту новость дедушке.

— Дедушка, у нас новая учительница. Молодая монашка. А какая хорошенькая, просто ужас!

Дедушка откликнулся не сразу. Знакомым мне жестом он подкрутил ус. Потом сказал:

— Мне кажется, Роберт, я до сих пор пренебрегал своими обязанностями. Завтра я сам отведу тебя на занятия. Я хочу повидать сестру Цецилию.

— Но, дедушка, — с сомнением сказал я, — мужчин, по-моему, не пускают в монастырь.

Он улыбнулся своей спокойной самоуверенной улыбкой и, продолжая подкручивать ус, сказал:

— Ну, это мы еще увидим.

Верный своему слову, дедушка на следующий день старательно почистил платье, навел глянец на баш-

маки, со степенным видом надел шляпу и, взяв свою лучшую палку с костяным набалдашником, пошел со мной в монастырь, где после некоторых колебаний со стороны молоденькой прислужницы, которую, однако, дедушка очень быстро сумел очаровать своей величественной осанкой, нас провели в приемную. Здесь дедушка присел на стул, положил шляпу у ног и выпрямился — столп Церкви, да и только. Затем кивнул мне, как бы говоря, что ему нравится эта комната и царящая в ней атмосфера. И устремил целомудренный и в то же время любопытный взгляд на белую статую Мадонны в голубых одеждах, стоявшую под стеклянным колпаком на каминной доске.

Когда сестра Цецилия вошла в комнату, он поднялся и отвесил ей свой самый церемонный поклон.

— Извините за вторжение, сударыня. Дело в том, что я глубоко заинтересован в благополучии, — и он положил руку мне на голову, — моего юного внука. Меня зовут Александр Гау.

— Да, мистер Гау, — несколько неуверенно пробормотала сестра Цецилия: хоть это было учебное заведение, а не закрытый монастырь, ей едва ли приходилось иметь дело с посетителями типа дедушки. — Садитесь, пожалуйста.

— Благодарю вас, сударыня. — Дедушка снова поклонился и, подождав, пока сядет сестра Цецилия, уселся на свое место. — Сначала я должен открыто и честно признаться, что я не принадлежу к вашей вере. Вы, очевидно, в курсе тех исключительных обстоятельств, которые осложняют жизнь моего маленького внука. — Снова его рука легла мне на голову. — Но вам, конечно, неизвестно, что это я направил его к вам.

— Это делает вам честь, мистер Гау.

Дедушка с каким-то грустным видом протестующе махнул рукой.

— Хотел бы я быть достойным ваших похвал. Но, увы, мои побуждения, во всяком случае вначале, были продиктованы рассудком — холодным рассудком гражданина мира. Однако, сударыня... или, может быть, я могу называть вас «сестра»? — Он помолчал и, дождавшись, когда сестра Цецилия смущенно наклонила голову в знак согласия, продолжал: — Однако, сестра, с тех пор, как мой внучек начал ходить к вам, особенно с тех пор, как вы, сестра, взяли на себя попечительство о занятиях, я почувствовал глубокое умиление... меня все больше и больше стали привлекать прекрасные и простые истины, слетающие с ваших уст.

Сестра Цецилия вспыхнула от удовольствия.

— Конечно, — продолжал дедушка более грустным, но самым своим чарующим тоном, — жизнь моя не была безупречной. Я немало порыскал по свету. В моих скитаниях... — (Разинув от удивления рот, я взглянул на него: неужели он снова станет рассказывать про зулусов? Но нет, он не стал.) — В моих скитаниях, сестра Цецилия, мне не раз приходилось сталкиваться с большим соблазном, которому тем более трудно противостоять, когда у такого чертовски несчастного человека — ах, простите, пожалуйста! — когда у бедного малого нет никого, кто мог бы позаботиться о нем. Любому человеку жизнь покажется бесконечно тягостной, если возле него нет славной любящей женщины. — Он вздохнул. — Чего же удивительного, если сейчас... у такого человека может появиться желание прийти сюда... в поисках душевного покоя?

Сестру Цецилию явно взволновала эта речь. Ее румяные щеки так и пылали, а затуманившиеся слезою глаза с состраданием смотрели на дедушку, жалея его погибшую душу. Сжав руки, она пробормотала:

— Это очень поучительно. Я убеждена, что, если вы действительно хотите покаяться, каноник Рош будет счастлив помочь вам.

Дедушка высморкался, потом с улыбкой сожаления покачал головой.

— Каноник хороший человек, на редкость хороший... но что-то не очень симпатичный. Нет, вот если б мне разрешили приходить с Робертом на занятия, сесть где-нибудь в уголке и слушать, то, мне кажется...

Тень сомнения пробежала по лицу сестры Цецилии, словно тучка по прозрачной воде пруда. Но как видно, она больше всего опасалась расхолодить дедушку или обидеть.

— Боюсь, мистер Гау, что ваше присутствие будет отвлекать детей. Но что-нибудь, конечно, можно придумать. Я непременно поговорю с нашей настоятельницей.

Дедушка одарил ее своей самой чарующей улыбкой — да, повторяю, несмотря на его уродливый нос, улыбка у него была неотразимо чарующая. Он встал и пожал руку сестре Цецилии, вернее, не пожал, а подержал ее пальцы в своих, точно хотел нагнуться и почтительно поцеловать их. И хотя он не сделал этого, щечки сестры Цецилии еще долго горели после его ухода, а когда она рассказывала нам историю блудного сына, ее серьезные глаза увлажнились слезой.

Выйдя из монастыря, я увидел дедушку, он прогуливался у ворот, поджидая меня; дедушка был в наилучшем расположении духа, помахивал палкой и что-то напевал. По пути домой он читал мне лекцию насчет облагораживающего влияния хороших женщин, потом вдруг прерывал сам себя и начинал петь или приговаривал: «Прелесть. Просто прелесть!» Я слушал его не без волнения, ибо последние недели сам переживал большие трудности — о чем речь будет ниже, — и все из-за женщин. Тем не менее я был рад, что сестра Цецилия и строгая тишина опрятной монастырской приемной произвели такое прекрасное впечатление на дедушку.

Он тактично пропустил неделю и затем решил нанести следующий визит, избрав для этого солнечный день, когда, по его словам, «в саду будет особенно хорошо». Он уже представлял себя сидящим рядом со мной на лужайке. Он тщательнее обычного приводил себя в порядок и долго возился перед зеркалом, подстригая бороду, что он иногда делал, когда собирался к миссис Босомли. Всегда неравнодушный к чистому белью, он надел свою лучшую белую рубашку, которую сам выстирал и выгладил. Он даже продел в петлицу пучок незабудок, яркая голубизна которых так подходила к цвету его глаз. Затем он взял меня за руку, приосанился, и мы быстрым шагом направились в монастырь.

Увы! В маленькую приемную к нам вышла не сестра Цецилия, а мать Элизабет-Джозефина, еще более суровая, чем обычно, и не вполне оправившаяся после воспаления желчного пузыря. У дедушки сразу вытянулось лицо, а его приветственная улыбка застыла, словно прихваченная морозом; достопочтенная же настоятельница резким тоном приказала мне идти на лужайку, где мы занимались.

Минуту спустя, уже сидя на поросшем травой склоне, я услышал, как хлопнула входная дверь от толчка сильной руки. А затем сквозь деревья я увидел, как дедушка спустился по ступенькам и пошел по аллее к выходу. Хотя на таком расстоянии я едва ли мог рассмотреть толком, он, по-моему, был смущен и ужасно пришиблен. Когда после краткого, отрывистого представления достопочтенная мать Элизабет-Джозефина отпустила нас и я вышел к воротам, дедушки там не было. А вечером я заметил, что он вынул из петлицы голубые незабудки.

Бедный дедушка! Меня очень тревожило, что его покаянное настроение так скоро прошло, но праздник Тела Господня, приходящийся на последний четверг

месяца, был не за горами, и я пребывал в том состоянии возбуждения, когда то и дело переходишь от отчаяния к блаженству. Прежде чем я вкушу сладостную благодать причастия, мне придется пройти сквозь пытку первой исповеди. Несколько раз уже каноник Рош беседовал с нами на эту тему, и хотя говорил он в сдержанных тонах, я начал смутно понимать, какие страшные ловушки готовит природа ничего не подозревающим детям. Начал я кое-что понимать и в разнице полов. Слово «непорочность» было произнесено нашим пастырем хоть и мягко, но достаточно веско. И тут из тумана передо мной вдруг возникло сознание моего греха. О боже, как я грешен: я совершил самый страшный, непростительный грех. Никогда, никогда не смогу я рассказать об этом канонику.

А придется рассказать. Проклятие, тяготеющее над теми, кто «плохо» исповедался, даже страшнее того, что тяготеет над теми, кто «плохо» причастился. Сердце у меня екнуло: я понял, что мне придется открыться в моем позоре... Ох, какая мука сознавать, что нет избавления!

Наконец роковой день и роковой час настали. Весь потный от страха и стыда, я, спотыкаясь, прошел в темную исповедальню под витражом, изображающим «Спасителя, несущего свой крест», где каноник Рош ждал меня. Ноги у меня подкосились, и я гулко ударился голыми коленями о голые доски. И заплакал.

— Отец, отец, простите меня. Я такой скверный, мне так ужасно стыдно.

— В чем дело, дорогое дитя? — Мягкое поощрение, звучавшее в сдержанно суровом тоне, лишь усилило мое горе. — Ты сказал какое-нибудь дурное слово?

— Нет, отец, хуже, гораздо хуже.

— Что же это, дитя?

И я выпалил:

— Ох, отец, я спал со своей бабушкой.

Почудилось мне это или за таинственной решеткой в самом деле раздался веселый смех? А быть может, это просто был отзвук моих рыданий?

ГЛАВА 12

Праздник Тела Господня наступил; проснувшись утром, я увидел серое небо — такое же серое, как тело мертвого Иисуса, когда Его сняли с креста. Всю ночь я проворочался на соломенном матрасе в своем уголке на кухне; лишь временами мне удавалось вздремнуть, и тогда мне снилось, что живой младенец Иисус спит со мной рядом — его хорошенькая головка лежала у меня на подушке, а мягкая щечка прижималась к моей. Я просыпался, от души надеясь, что не согрешил во сне. Потом меня стали мучить сомнения: не повинен ли я в «бесстыдстве», когда раздеваюсь? Не смотрел ли я «нечистым» взглядом на распятие, или на статую Мадонны, или еще на что-нибудь? Наложив печать на глаза и уста, бреду я, спотыкаясь, по земле, боясь, как бы не впасть в грех. Мне так хочется не просто «хорошо», а «отлично» причаститься, что в подтверждение этого я стал отыскивать знамения и прочие знаки небесного благоволения. Посмотрю, например, на небо и скажу себе: «Если я увижу облако, похожее на лицо святого Иосифа, я замечательно причащусь». И вот я запрокидываю голову и, прищурившись, изо всех сил пытаюсь найти в воздушных туманностях профиль святого, хотя бы его бороду. Или подниму с дороги три камушка — по числу Святой Троицы — и скажу себе, что если одним из них попаду в угловой фонарь, значит отлично причащусь. Но я тут же отказываюсь от своих попыток из боязни совершить святотатство.

В это утро, однако, на меня нисходит удивительное спокойствие, душа моя полна любви, и втайне я сам дивлюсь тому, что именно мне из всех, кто окружает меня в этом доме и думает сейчас о всяких повседневных мелочах, требуя: один — завтрак, другой — горячей воды, третий — вычищенные сапоги, — только мне одному уготована сладостная и приятная честь вкушать от тела Сына Господня.

Накануне вечером я тщательно вычистил рот; теперь мне уже не надо ломать голову над тем, как отказаться от завтрака. Неужели дедушка рассказал маме? Она больше не заставляет меня есть. Босиком я поднимаюсь наверх и вижу, что дедушка готовится сопровождать меня в церковь; он очень возбужден — разве может он пропустить такую, как он выражается, «церемонию». Хотя дедушка донельзя обидчив, он не злопамятен и уже простил мать Элизабет-Джозефину за то, что она изгнала его. В монастыре было решено, что я чересчур «большой» для белого костюма, — благое решение, ибо даже белые туфли и носки были для меня проблемой, их достал мне мой чудесный дедушка, а как — я и сам не знаю, ибо денег у него, конечно, нет; когда же я спрашиваю его об этом, он лишь пожимает плечами, намекая, что пошел ради меня на большую жертву. Позже был обнаружен залоговый билет... на синюю вазу, стоявшую в гостиной.

А пока я не без гордости надел новые туфли и носки. Мы выходим с дедушкой и очень скоро добираемся до церкви. Высокий алтарь украшен белыми лилиями; они кажутся мне дивно прекрасными; я смотрю на них из первого ряда, где сижу возле Анджело, одетого в белый морской костюмчик, а через проход от нас сидят шесть девочек: одна из них — ну просто противно! — хихикает от волнения под белой вуалью, прикрепленной к венку из искусственных белых цветов. Сразу за нами сидят родственники тех, кто сегодня впервые

причащается. Там же и дедушка — он сидит возле мистера и миссис Антонелли, а рядом с ними — дядя и сестра Анджело; всё живо интересуется его, и, я надеюсь, он не слишком презрительно относится к тому, что должно произойти, хоть он уже и допустил уйму промахов: забыл преклонить колена и окропить себя святой водой. А все-таки я рад, что он здесь, и я знаю, что ему хочется быть мне полезным; вот я слышу, он нагнулся и поднял перчатку миссис Антонелли... или ее молитвенник.

В ризнице зазвонили в колокольчик, и месса началась. С благоговением слежу я за всем, что происходит, читаю молитвы перед причастием и жду, жду лишь того момента, который сделает эту мессу отличной от всех других, какие были до или будут после нее. Как мало времени осталось до этой минуты! Все внутри у меня дрожит. Но вот и «*Domine non sum dignus*»¹. Наконец-то, наконец! Я трижды ударяю себя в грудь, потом встаю и вместе с Анджело и остальными, еле передвигая подгибающиеся ноги, подхожу к перилам алтаря. Я чувствую на себе взгляды всего прихода, голова у меня кружится; я вижу каноника Роша в пышных одеяниях, он идет нам навстречу, неся чашу с причастием; я тщетно пытаюсь припомнить, как я должен совершить поклонение кресту, и в надежде, что не осрамлюсь, закрываю глаза, поднимаю голову и, раскрыв дрожащие губы, как учила нас мать настоятельница, шепчу в душе последнюю молитву, одно только слово «Иисусе».

Вот мне кладут на язык гостию — никак не думал, что она такая большая и жесткая; я ведь ждал чего-то воздушного, необыкновенного. Рот у меня пересох, и мне трудно не только проглотить ее, но даже повернуть; я возвращаюсь на свое место, красный как рак,

¹ «Господи, я недостойн» (лат.).

в висках у меня стучит, я сжимаю их руками и наконец проглатываю облатку. И ничего не происходит — я не почувствовал никакой особой благодати, никаких перемен в душе. Разочарование захлестнуло меня. Неужели я «плохо»... Нет, нет, я глушу в себе это страшное предположение, с жаром берусь за молитвенник, читаю благодарственную молитву и немного успокаиваюсь.

Поднимаю голову и вижу Анджело, который мягко улыбается мне, слышу, как позади меня кашляет дедушка, и преисполняюсь уверенностью в себе. Я горжусь тем, что совершил такой важный обряд. И вместе со всем приходом читаю молитвы после мессы.

Когда мы вышли из церкви, на улице светило солнце, монастырские сестры улыбались мне, а потом меня окружили дедушка и Антонелли, стали поздравлять меня, трясти за руку, обнимать. Мой замечательный родственник стал уже ближайшим другом итальянского семейства, которое было от него прямо в восторге, больше того, он их положительно очаровал. Дедушка представил меня мистеру и миссис Антонелли, их взрослой дочери Кларе, а также дяде Анджело — Виталиано, смуглому человеку лет пятидесяти, тихому и скромному, с отрешенным, как у очень глухих людей, лицом. Все улыбались мне, а миссис Антонелли, дебелая черноглазая дама с челкой и крошечными золотыми кольцами в ушах, одетая в зеленое бархатное платье, по-матерински ласково посмотрела на меня и сказала:

— Какой милый приятель у нашего маленького Анджело.

Тут мистер Антонелли, такой же темноволосый, как и его жена, но, правда, с намечающейся лысиной и ниже ее ростом, вдруг ударил кулаком по своей ладони и, обратив на дедушку большие печальные глаза, совсем такие же, как у Анджело, только с мешками под ними, порывисто и в то же время робко изрек:

— Мистер Гау, я хочу просить вас об одолжении. Наши мальчишки уже стали добрыми друзьями... Если вы не побрезгуете... пойдете к нам завтракать.

Дедушка сразу согласился. Мистер и миссис Антонелли очень обрадовались. И мы пошли: Анджело и я впереди, а дедушка и остальные сзади.

Антонелли жили над своим заведением, выкрашенным в розовые и малиновые тона; над входом висела горделивая вывеска, на которой блестящими золотыми буквами было выведено: «Ливенфордский первоклассный салон мороженого. Антонио Антонелли, единственный владелец». Такое же поистине экзотическое великолепие было и наверху. Пестрые ковры, яркие — желтые с зеленым — занавеси. Повсюду висели цветные картинки из Священного Писания: Антонелли были очень верующие; по обеим сторонам каминной доски, прикрытой вязаными салфеточками, — две мирские картины: виды Капри и Неаполя, поражающие глаз голубизной мерцающих далей. А рядом — боже правый! — извержение Везувия. С позолоченной консоли на стене мне улыбалась маленькая статуя, разодетая в белое и розовое, точно кукла. Никогда еще не бывал я в доме, где все было бы так не по-нашему и где бы в воздухе носились таинственные запахи. Ноздри мои щекотали ароматы незнакомой мне кухни — пахло фруктами, чем-то острым, кислым, едким, запахом лука и пота, кипящего сала и сырых опилок, а из погреба снизу подымался сладкий запах ванили, которую кладут в мороженое.

Пока миссис Антонелли и Клара, взволнованно переговариваясь, хлопотали, накрывая на стол, Анджело застенчиво взял меня за руку и повел в конец коридора на первом этаже. Здесь он остановился с многообещающим видом у полураскрытой двери, ведущей в комнату, которая, как выяснилось позже, принадлежала его дяде. Сердце мое заколотилось при виде шар-

манки, прислоненной к стене, настоящей старинной шарманки, на которой перламутром было выведено: «Орган Орфея». Но увидеть то, что за этим последовало, я никак не предполагал.

— Николо, Николо! — тихонько позвал Анджело.

Обезьянка в красном кафтанчике спрыгнула с постели, переваливаясь прошла по полу и вскочила на руки Анджело. Это была маленькая чистенькая обезьянка с грустными глазами и крошечным сморщенным встревоженным личиком. У нее было точно такое выражение, какое много лет спустя я видел на лицах новорожденных: пришибленное, удивленное, взволнованное и в то же время раздраженное. Анджело нежно поглаживал обезьянку и предложил воспользоваться этой чудесной привилегией и мне.

— Погладь его, Роби. Он тебя не укусит. Он ведь знает, что ты мой самый лучший друг. Правда знаешь, Николо? У него нет блох, ни одной нет. Он принадлежит моему дяде Вите. Вита любит его больше всего на свете. Он говорит, что Николо приносит нам счастье. Когда мы только приехали в Ливенфорд и были очень бедные, мой дядя ходил по улицам с шарманкой и Николо. И много же денег ему давали! Но теперь, когда мы стали богатые — ну почти богатые, — мама не разрешает ему ходить с шарманкой, хоть ему и очень хочется. Мама говорит, что это некрасиво, что нам не пристало заниматься такими делами. И теперь Николо живет у нас — он наш любимец, самый большой любимец. Ему было три года, когда дядя привез его. А сейчас ему всего десять — он еще молодой, это совсем немного для обезьяны.

Тут миссис Антонелли позвала нас. В полном восторге последовал я за Анджело, который, не спуская обезьянки с рук, провел меня в гостиную, где уже все собрались.

— Ах нет, не надо Николо! — запротестовала миссис Антонелли, когда мы вошли. — Только не сегодня, Анджело, когда у нас такие милые гости.

— Но, мама, — возразил Анджело, — ведь сегодня же день моего первого причастия.

— Ну ладно, ладно. — Миссис Антонелли косо посмотрела на дядю Виту и, повернувшись к бабушке, сверкнула ослепительной улыбкой. — Это любимец нашего Анджело!

Анджело прочитал молитву, мы все сели за стол, накрытый вышитой скатертью и уставленный множеством блюд, какие никогда не появлялись во время завтрака на столе в «Ломонд Вью». Тут стояли большие тарелки с мясом и рисом, с макаронами под томатным соусом, куриный паштет, заливное из языка, маслины, сардины, анчоусы, ваза с фруктами, огромный мороженный торт, на котором было написано: «Благослови Боже нашего Анджело», а вокруг него несколько высоких бутылок вина.

Бабушка, которого посадили между Кларой и миссис Антонелли, был в необычайно приподнятом настроении. Во главе стола сидел сияющий мистер Антонелли. Вид у него был на редкость довольный: очень уж ему льстило наше присутствие.

— Немножко вина, мистер Гау, самую капельку. Вино особое. Из Неаполя. Фраскати.

Были наполнены бокалы, даже бокал смуглого, молчаливого, улыбающегося дяди Виталиано, который, видимо, занимал несколько подчиненное положение в семье. Тут из-за стола поднялся бабушка и предложил тост:

— За наших малышей. За этот счастливый и святой день в их жизни.

Все выпили, даже мы, дети, — у нас с Анджело было тоже по крошечной рюмочке. Вино было сладкое и приятно согревало.

— Вам нравится фраскати, мистер Гау? — заискивающе спросил, подавшись вперед, мистер Антонелли.

— Очень освежающее вино, — любезно ответил дедушка. И добавил: — Легкое.

— Да, да, очень легкое. Приятное и легкое. Еще бокал, мистер Гау.

— Благодарю вас, мистер Антонелли.

Обезьянка, которой, видно, скучно было сидеть на коленях у Анджело, вдруг потянулась и взяла банан. Я молча уставился на нее, а она очистила плод и принялась есть — совсем как маленький человечек. Анджело с гордостью кивнул и прошептал:

— Обожди, ты еще не такое увидишь.

— Разрешите мне наполнить ваш бокал, миссис Антонелли, — предложил дедушка. — И ваш также, дорогая мисс Клара.

Хотя обе дамы отказались, со смехом прикрыв бокалы рукой, дедушка явно пользовался у них огромным успехом. Тогда он наполнил свой бокал и, шепнув что-то на ухо Кларе, весело рассмеявшейся в ответ, с самым серьезным видом принялся рассказывать нашей хозяйке о том, как он блистал на собраниях у мэра и в других высокопоставленных домах, что на дороге к Драмбакскому кладбищу. Миссис Антонелли была явно в восторге оттого, что она хотя бы в разговоре может приобщиться к такой знати.

Смех становился все более громким: дедушка стал вышучивать кавалера Клары.

— Ну разве молодое поколение может сравниться со старым, — высокомерно заявил он.

Когда дедушка и мистер Антонелли начали обмениваться тостами: «За Италию!», «За Шотландию!», нам с Анджело разрешили встать из-за стола. Мы взяли Николо и пробрались в комнату дяди Виталиано, а там, нажав на кнопку «тихо», принялись крутить

шарманку. Она играла четыре мелодии: «Шотландские колокольчики», «Вперед, Христовы воины!», «Боже, спаси короля» и «О Мария, цветами тебя венчая».

Николо не меньше нас наслаждался музыкой. «Шотландские колокольчики» были его любимой мелодией, и, когда раздались знакомые дребезжащие звуки шарманки, он стал танцевать и дурачиться. Почувствовав, что он в центре внимания, чего ему так недоставало в гостиной, Николо старался вовсю; потом вдруг побежал по коридору и вернулся со шляпой — это была дедушкина шляпа. Он принялся расхаживать в ней, словно заправский щеголь, время от времени снимал шляпу и раскланивался. Наш смех поощрял его. Он залопотал, надел шляпу себе на хвост, потом подкинул вверх и поймал прямо на голову. Потом сделал вид, что разозлился, с визгом пнул шляпу ногой, перекувырнулся через нее и, свернувшись клубочком, притворился, будто заснул.

Мы с Анджело катались от хохота, как вдруг дверь открылась и в комнату вошел дядя Вита; на его серьезном спокойном лице было написано неудовольствие. Он взял на руки Николо, погладил его, утихомирил и посадил в корзину, стоявшую в углу. Потом поднял дедушкину шляпу и, обшлагом стирая с нее пыль, сказал что-то по-итальянски. Анджело повернулся ко мне:

— Он говорит, мы так шумели, что даже ему, глухому, слышно было. А ведь сегодня для нас святой день... Он хочет, чтобы мы сели и спели гимн. — И Анджело добавил уже от себя: — Дядя Вита у нас очень верующий.

— А что он еще сказал?

— Видишь ли... Он сказал, что твой дедушка выпил уже три бутылки вина... и все один. И что он пожимает Кларину руку под столом.

Я притих и сел на пол рядом с Анджемо, а дядя Вита с артистическим вдохновением принялся крутить ручку шарманки. Мы запели:

О Мария, цветами тебя венчая,
Царицу ангелов, царицу мая...

Когда мы кончили, дядя Вита улыбнулся и что-то сказал. Анджело перевел:

— Он говорит, что мы никогда, никогда не должны забывать, как чудесно чувствовать на себе благодать Божью. Если в такую минуту мы умрем, или нас убьют, или разрежут на мелкие кусочки, мы попадем прямо на небо.

Тут меня позвали снизу: пора было уходить. Дедушка прощался в передней; он многократно пожал руки мистеру и миссис Антонелли и, отеческим жестом обняв Клару за талию, сказал:

— Право же, дорогая моя, вы должны позволить эту маленькую вольность человеку, достаточно старому, чтобы быть вашим отцом.

— До свидания, до свидания. — Все улыбались и были веселы, кроме кавалера Клары Таддеуса Герритти, который только что вошел и очень покраснел, увидев, как дедушка целует Клару.

Мы с дедушкой вышли на улицу. Голова моя шла кругом от всех приятных событий этого богатого событиями дня. Да и на дедушку они явно произвели впечатление: глаза у него блестели, на щеках играл румянец, и время от времени он слегка, ну совсем слегка покачивался, чтобы удержать равновесие...

Благодать! Я вспомнил слова дяди Виты — их словно птица принесла на крыльях, птица-вестник. Или это фраскати, все еще бродящее внутри, вдруг преисполнило меня такого неизъяснимого восторга? Я знаю. Я твердо знаю, что хорошо причастился, да, хорошо, а быть может, даже и отлично. Я чувствую, что с языка

дедушки вот-вот посыплются банальные шуточки — они накапливаются и растут точно снежный ком. Но на сей раз, не в силах удержаться, я опережаю его. Порывисто схватив его за руку, я говорю:

— Ох, дедушка, как я люблю нашего Спасителя... но тебя я, конечно, тоже люблю.

ГЛАВА 13

Весь август мы провели среди опаленных зноем и пропыленных живых изгородей; ветерок, налетавший порывами, лишь слегка шевелил поникшие ветви деревьев, и они устало вздыхали — то был протест земли, истощенной чрезмерным плодородием. Большинство добропорядочных ливенфордских горожан отправилось вместе с семьями к морю. Опустевший городок кажется чужим, и гулкий звук моих шагов по булыжнику Рыночной площади, вид пустынных улиц и крыш, вздымающихся одна над другой на фоне зубчатых стен замка, создают впечатление, что ты находишься в осажденном городе.

Гэвин еще не вернулся, и его задушевные письма вызывают во мне все большее желание видеть его. Никаких драматических происшествий, во всем застой; однако под крышей нашего дома хоть и вяло, но разворачиваются события — так порой рыба, уже уставшая биться, вдруг встрепенется и подпрыгнет.

Каждый вечер, когда я выходил подышать свежим воздухом, прежде чем приняться за домашнюю работу, заданную мне на каникулы, — длинное сочинение на тему «Мария, королева Шотландская», — я видел Джейми Нигга, который сидел на низенькой каменной ограде нашего садика, с нарочитой небрежностью повернувшись спиной к дому. При нем всегда была губная гармошка, на которой он тихонько и беззаботно

наигрывал премилую мелодию; поскольку он не мог сказать мне, как она называется или что это такое, я назвал ее «Песенка Джейми». И до чего же это была заразительная мелодия! Джейми играл, я молча садился рядом с ним, радуясь холодным капелькам росы, оседавшим на пожелтевшей траве, и низким туманам, тянувшимся, точно долгожданное подкрепление, с иссушенных зноем полей.

После семи часов с парадного крыльца спускалась Кейт — в это время она обычно навещала свою подругу Бесси Юинг; она выходила без шляпы, подняв воротник легкого серого макинтоша и засунув руки в карманы. Больше недели она не обращала на нас внимания, если не считать легкого, холодного, еле приметного кивка мне. Джейми тоже не замечал ее; он сидел совсем неподвижно, только гармошка скользила у него по губам да песенка звучала громче, когда Кейт исчезала из виду, и как бы следовала за ней по улицам. Я смутно понимал, хотя здесь не было ни любовных вздохов, ни балкона, ни гитары, что это — серенада, серенада на шотландский манер, медлительная, упорная, неотступная.

Но вот однажды вечером Кейт как-то нехотя, словно против воли, остановилась. Она сурово посмотрела на меня и сказала:

— Тебе бы следовало заниматься сочинением, а не сидеть здесь.

Но, прежде чем я успел ответить, Джейми отнял гармошку от губ, энергичным движением руки стряхнул накопившуюся влагу и сказал:

— Мальчик ведь не делает ничего дурного.

Тут уж Кейт вынуждена была взглянуть на него, что она со злостью и сделала. А злило ее многое: злило его упорство, злило то, что он продолжает сидеть, тогда как она стоит перед ним, а больше всего злило то, что она злится. И все-таки она первая опустила глаза. Молчание.

— Какой прекрасный вечер, — сказал Джейми.

— Наверное, дождь пойдет. — В тоне Кейт звучала досада.

— Может быть, может быть. Хороший дождичек не помешает.

Пауза.

— Вы меня затем и задерживаете, чтобы говорить о погоде? — Однако с места Кейт не трогалась.

Только сейчас я впервые заметил — когда она стояла передо мной в полутьме, храбро выставив вперед ногу, засунув в карманы крепко сжатые руки, нахмурив некрасивое лицо, словно собиралась драться, — какая она вся ладная, сильная, какие у нее красивые ноги, какие тонкие лодыжки. Возможно, что и Джейми заметил это. Он задумчиво сыграл несколько тактов и снова встряхнул гармошку.

— Я как раз подумал, что в такой замечательный вечер неплохо бы прогуляться.

— В самом деле?! А куда же вы хотели бы пойти, разрешите спросить?

— Да куда угодно, мне все равно.

— Спасибо, вот спасибо за приглашение. — Кейт сухо мотнула головой. — Приятно, нечего сказать. Ну а я иду сейчас в гости к моей подруге мисс Юинг. — И она шагнула, собираясь уйти.

— Это мне по дороге, — заметил Джейми, поднимаясь со своего места и отряхиваясь. — Я пройду с вами до ее калитки.

Растерявшись, Кейт не нашла, что возразить. Щеки ее по-прежнему пылали, по всему было видно, что она возмущена. И все-таки, как ни странно, я чувствовал, что ей не так уж неприятно идти с ним, правда шли они на некотором расстоянии друг от друга. Сгущавшаяся темнота милосердно скрывала ноги Джейми.

Я постоял, наслаждаясь тишиной и чудесным прохладным воздухом, глотнул его в последний раз и, точно за мной кто гнался, со всех ног кинулся в дом и принялся вынимать на кухне книги из своего залатанного ранца.

Мэрдок уже сидел, озабоченно склонившись над книгами; страницы он переворачивал редко, зато обильно посыпал их перхотью. Я частенько сомневался, действительно ли Мэрдок занимается: его познания как-то ни в чем не проявлялись, а раз или два я заметил, что он прячет среди учебников каталог семян — доказательство его тайной страсти ко всему, что связано с садоводством. Он то и дело отрывается от учебников, вскакивает, начинает громко рыгать (хотя желудок у него работает, как у страуса, все почему-то уверены, что он героически переносит «воспаление желчного пузыря») либо подойдет к зеркалу и выдавит несколько угрей из подбородка или выйдет в садик и бродит там, словно неприкаянная душа. Иногда он, сам того не сознавая, приоткрывает мне свои мысли:

— А ты знаешь, что в Голландии тюльпаны разводят не на грядках, а в полях? Подумать только! Целые мили тюльпанов!

А сейчас в углу позади него молча сидит в кресле его отец, выпрямившись, точно в седле. Скоро начнутся экзамены на замещение вакансии в почтовом ведомстве, и он натянул поводья; больше того, появился и кнут для острастки злополучного малого. Не только для будущего самого Мэрдока, но и для престижа инспектора необходимо, чтобы сын его преуспел. До чего же хочется этому неудачнику, которого все кругом терпеть не могут, объявить мэру, мистеру Мак-Келлару, своему начальнику доктору Лейрду, медицинскому инспектору округа, вызывающему у него такую зависть, — словом, объявить всему городу: «Мой сын, мой второй сын... поступил на государственную службу...»

Тихонько, чтобы не потревожить Мэрдока, я кладу свои учебники на стол напротив него. Учебники мои, надписанные красивой вязью дедушки, обернуты в коричневую бумагу, которую мама прошила, дабы сберечь их, «чтоб подольше служили»; надо все сохранять; ведь ничто, ничто никогда не пропадает в этом хозяйстве. Вот уже три месяца, как я перешел в старший класс. Мой новый учитель, мистер Синджер, лысый, медлительный и методичный человек, ласков и внимателен ко мне. Освободившись из-под тирании мистера Далглейша, я больше не заливаю чернилами тетрадки и не стою как идиот, когда он меня спрашивает у доски. Наоборот, я стал проявлять удивительные способности. В эту минуту из моего учебника по истории вылетела карточка — некая карточка, которую я хранил, ибо она доставляла мне тайное удовлетворение, и упала на пол; я виновато покраснел, почувствовав на себе папин взгляд. Он заметил, что я покраснел, заметил карточку и сразу насторожился. Он жестом велел подать ему карточку-обличительницу.

Долгая пауза, во время которой папа изучает карточку — мои отметки за четверть, вписанные рукой мистера Синджера:

Р. ШЕННОН

География	5
Арифметика	5
История	5
Английский язык	5
Французский язык	5
Рисование	4
Поведение	5

Подпись: Дж. Синджер, магистр искусств.

Я вижу, что папа ошеломлен. Сначала он пронзил меня взглядом, уверенный, что это трюк, дешевый обман. Но нет, на карточке стоит название учебного за-

ведения, а в конце — размашистая подпись... Я читаю его мысли: «Должно быть, это правда». Нельзя сказать, чтобы он был доволен. С обиженным видом, буркнув что-то, он возвращает мне карточку, и я, по-прежнему чувствуя себя виноватым, усаживаюсь за свои учебники.

В кухне воцаряется тишина, если не считать тиканья часов, шелеста переворачиваемой страницы, поскрипывания кресла, в котором нетерпеливо ворочается папа... и, конечно — чуть не забыл, — постукивания маминых спиц: она уже кончила возиться в чуланчике и вяжет сейчас шарф Адаму. Что бы она ни вязала, это всегда для Адама.

В девять часов вечера возвращается Кейт; она не заходит на кухню, а прямо поднимается к себе в комнату. Господи боже мой! Нет, я, наверно, ошибся. И все-таки она сейчас напевала — напевала отрывок из песенки Джейми.

Через полчаса мама многозначительно смотрит на меня. Я откладываю в сторону книги и очень осторожно, чтобы не наткнуться на что-нибудь и не потревожить папу, пробираюсь в свой уголок за занавеской и начинаю раздеваться. Я ужасно голоден; мне кажется, прошли столетия с тех пор, как я пил чай, во мне вдруг просыпается волчий аппетит; страх как хочется съесть кусочек хлеба с джемом из ревеня. Маленькую корочку белого хлеба, такую чудесную белую корочку! Мама бы, конечно, дала мне ее, но это неслыханно — просить есть в такой поздний час. Я опускаюсь на колени, читаю молитвы, и вот я уже в постели. Сквозь тонкую занавеску я слышу, как тихо бьется пульс этого дома, приютившего меня: вот папа с мамой обмениваются каким-нибудь словцом, шуршит переворачиваемая страница, урчит водопровод в ванной, кто-то ходит над моей головой.

Порой я долго не могу заснуть и лежу, глядя на белеющий в полутьме потолок; сквозь дрему я слышу, как Мэрдок уходит к себе наверх, и тогда между папой и мамой начинается одна из тех долгих бесед, которые они ведут вполголоса на кухне, прежде чем лечь спать; отдельные слова долетают до меня. Ардфилланское общество здравоохранения... предложило папе выступить с докладом на тему «Уборка мусора»... Сколько она заплатила сегодня за говядину? Ну и цены!.. Нет, в этом году отдохнуть они никуда не поедут... куда лучше вложить деньги в Строительное общество. А когда мама начинает робко упрасивать, он говорит: ну ладно, быть может, в будущем году, если Адама «повысят»... Или если сам папа продвинется по службе... А пока надо экономить... экономить... экономить.

Я уже больше не удивляюсь, я привык к папиной бережливости, этой всепоглощающей страсти, которая с каждым днем, видно, все больше одолевает его, заставляя мозг его выдумывать новые и новые способы экономии; он уже стал настоящим аскетом: вечно отказывает себе во всем, а маму заставляет всячески изощряться, чтобы сэкономить на хозяйстве. Маме очень хотелось бы покупать продукты в «хороших» магазинах, например у Дональдсона или у Брюса, чьи огромные зеркальные витрины так и манили ее к себе. Она прекрасно готовит — было бы только из чего; ее пирожные (в тех редких случаях, когда есть лишние яйца) просто великолепны. Она с радостью готовила бы нам всякие лакомые блюда. Однако, взглянув на свою черную сумку, она обычно решает ограничиться ячменными хлебцами и посылает меня к Дургану за костями на пенни («Да попроси, чтобы он оставил немножко мяса на них, дружок»), затем к Логану — тоже в бедный квартал — за кореньями на полпенни, а если выражаться точнее, то купить морковки и брюквы на фар-

тинг. Бедная мама!.. В прошлый понедельник, когда ты разбила новый колпачок, прилаживая его к газовой «люстре» в передней (дело, требующее большой осторожности), ты даже расплакалась от огорчения.

Сегодня я устал и хочу спать. Уже забываясь сном, я подумал, что завтра мы с дедушкой, наверно, пойдем к Антонелли.

В течение тех недель, пока Гэвин был в отсутствии, я много времени проводил с маленьким Анджело Антонелли. Приятно было иметь хоть какое-то развлечение в эту изнуряющую жару, да и Анджело всегда так трогательно радовался мне. Он был похож на девочку, живую и нежную, с чудесными влажными глазами и приятными манерами. Когда мы с Анджело бегали по двору, он не выпускал моей руки из своей и всегда плакал, когда мне пора было идти домой.

Он был, конечно, очень балованным ребенком — ведь между ним и Кларой разница в целых двенадцать лет. Он вечно требовал от своего толстого, добросердечного и обожающего отца — и вечно получал — игрушки, сладости, фрукты — все, что угодно. Он был полным хозяином в салоне мороженого: ему, например, ничего не стоило совершить налет на вазу с шоколадными бисквитами или вскрыть банку с консервированными грушами, тогда как я совестился в «Ломонд Вью» выпить стакан воды. Целый день в доме звенел его детский голосок: «Мама, я хочу дыни»; «Папа, я хочу лимонаду». Как-то раз Анджело с довольной улыбкой рассказал мне, что заставил свою мать среди ночи встать с постели и поджарить ему яичницу с ветчиной. Однако он никогда не съедал того, что ему клали на тарелку, и вечно был нездоров.

Иногда я вспоминал сурового Гэвина, его холодную ярость, периоды упорного молчания, презрение к коротким и ничтожным людям, и мне становилось не

по себе. Но хотя Анджело и был мальчик избалованный, дружить с ним было приятно: уж очень привлекала обезьянка, с которой мы без конца играли. Да и мать Анджело рада была, когда я приходил.

Теперь, когда ее муж, которым она командовала как хотела, сколотил капиталец, миссис Антонелли стала гордиться своей семьей, которую сначала в Ливенфорде презирали за бедность. Дебелая Клара нашла себе выгодную партию в лице Таддеуса Геррити, отец которого управлял крупной фирмой по доставке мебели. Я уверен, что миссис Антонелли улыбалась мне — милому мальчику, ученику Академической школы, да к тому же еще и католику, — и угощала дедушку вином и пирогами (а он регулярно навещал ее днем), потому что мы были представителями аристократии с Драмбакской дороги и городского чиновничества — обстоятельство немаловажное в глазах иностранца.

Должен признаться, что я с немалой тревогой слушал, как дедушка «распинается» за стаканчиком фраскати перед своими внимательными слушательницами — Кларой и миссис Антонелли. У миссис Антонелли, когда она не следила за собой, было жесткое выражение лица, и уж очень она была черная — по своей наивности я решил, что она, наверно, каждый день бреется. Но дедушку, казалось, ничто не смущало: он говорил и говорил, гладко и плавно, без запинок — так величавый парусник скользит, подгоняемый легким ветерком.

Успокоившись, я выбегал с Анджело на улицу, и мы отправлялись слушать оркестр, игравший в городском саду, катались по пруду на лодке или шли в монастырь Святых Ангелов вместе с дядей Витой, этим чудаковатым, смиренным, простодушным дядей Витой, которого остальное семейство еле терпело и который проводил полдня со своей любимой обезьянкой, а другую половину — в молениях.

Так прошел месяц. Однажды вечером, когда по маминой просьбе я прикручивал газ в передней до положенного «уровня», вошла Кейт, а было уже довольно поздно.

— Это ты, Роби? — Ее, казалось, смутил даже тот полусвет, который царил в передней, но голос звучал тепло, дружелюбно.

— Да, Кейт.

Когда я спустился со стула, на котором стоял, чтобы достать до газовой «люстры», она взяла меня под руку.

— Мальчик ты мой хороший.

Я покраснел от удовольствия: уже давно Кейт была как-то особенно ласкова со мной.

— Послушай, Роби... — Кейт запнулась и рассмеялась. — Это просто смешно... Джейми Нигт хочет, чтобы я поехала с ним на ярмарку в Ардфиллан. — Она снова рассмеялась при одной мысли о столь нелепом предложении. — Но я, конечно, не могу поехать с ним одна — дамам это не положено. Он и сам это понимает. Поэтому... он... то есть мы... с удовольствием возьмем тебя с собой, если ты захочешь с нами поехать.

Захочу ли я с ними поехать?! Да разве я не слышал, разве не мечтал о райских удовольствиях, ожидающих посетителя Ардфилланской ярмарки, где к услугам всей округи раз в год устраиваются всевозможные аттракционы, увеселения и забавы?

— Ох, Кейт! — вздохнул я.

— Значит, решено. — Она снова пожала мне руку и уже стала подниматься по лестнице, как вдруг, что-то вспомнив, с доброй улыбкой обернулась. — Твой приятель Гэвин приехал. Я только что видела, как он выходил с вокзала.

Гэвин приехал! Наконец-то. На два дня раньше, чем предполагал. Значит, завтра я непременно его увижу. Мысль об этом наполнила меня радостью, да

еще предстоящая поездка на ярмарку в Ардфиллан! Я быстро перевел дух. Сгорая от нетерпения, я приоткрыл входную дверь и выглянул в темноту. Звезд не видно, небо обложено тучами, но мягкий прохладный ветерок полон обещаний. Какой же чудесной может быть жизнь, просто чудесной!

ГЛАВА 14

На следующее утро я рано вышел из дому. Я обещал Анджело вернуть журналы, которые взял у него, и мне хотелось как можно раньше освободиться. Я побежал по дороге к кладбищу и вдруг увидел Гэвина, который шел мне навстречу в направлении «Ломонд Вью».

— Гэвин!

Он не сказал ни слова, только изо всей силы сжал мне руку, стараясь подавить радостную улыбку, за которую, должно быть, презирал себя как за проявление слабости. Он мало вырос, но очень загорел и окреп. Достаточно мне было его увидеть, почувствовать, как его серые глаза ищут моего взгляда, и на душе у меня потеплело. Я порывался сказать ему, как мне его недоставало. Но это не полагалось. Нужно быть спокойным и суровым и говорить только самое необходимое.

— А я шел за тобой, — глядя куда-то вдаль, в сторону наших Уинтонских холмов, пояснил он свое появление здесь в столь ранний час. — Я думал, не сходить ли нам на Кряж ветров. Там есть орел. Лесничий говорил отцу. Мы доберемся до скал, пока солнце еще низко, и понаблюдаем за орлом. Завтрак я с собой прихватил.

Я заметил, что за спиной у него висит рюкзак. Орел! И Гэвин! И весь день на холмах... Сердце мое подпрыгнуло.

— Вот это здорово! Но сначала мне надо отнести эти журналы Анджело.

— Анджело? — не понимая, переспросил он.

— Анджело Антонелли, — поспешил пояснить я. — Знаешь, этому маленькому итальянцу. Мы часто бывали вместе, пока ты отсутствовал. Конечно, он еще совсем малыш...

Я запнулся, смущенный выражением недоверия и обиды, появившимся в его глазах.

— Единственные итальянцы, каких я знаю в Ливенфорде, — это торговцы мороженым. Один из них даже ходил с шарманкой и обезьяной по городу и собирал гроши.

У меня запылали уши: да как он смеет так презрительно говорить о дяде Вите, Николо и моих друзьях! А Гэвин продолжал:

— Надеюсь, ты не хочешь сказать, что подружился с их отродьем?

— Анджело очень хорошо ко мне относится, — сказал я дрогнувшим голосом.

— Анджело?! — Еще более задетый тем, что у моего маленького приятеля такое имя, Гэвин презрительно улыбнулся. — Ну, пошли. Полезем на Кряж. А о том, что мы это время делали, можно рассказать друг другу и наверху.

Я понурил голову и, не поднимая глаз от земли, проговорил:

— Я обещал вернуть журналы. Здесь «Сфир», «График» и «Иллюстрейтед Лондон ньюс». — Губы у меня пересохли, я еле выговаривал названия журналов, надеясь, что хоть это поможет мне обелить Антонелли. — На этой неделе в них были замечательные фотографии: как из кокона вылупляется бабочка адамова голова. Каждую субботу миссис Антонелли посылает эти журналы своим родственникам в Италию.

Надо их вернуть ей до отправки почты. Видишь, какой Анджело добрый: он сначала дает их посмотреть мне.

Гэвин побледнел. Натянутым тоном, в котором чувствовалась ревность, он заметил:

— Ну конечно, если ты предпочитаешь мне всяких там новоиспеченных дружков... это твое дело. А я сейчас отправляюсь на Кряж. Хочешь — пойдем со мной. Не хочешь — оставайся со своим Анджело.

С минуту он подождал, не глядя на меня, замкнувшись в своей гордыне, только губы у него дрожали. А у меня сердце разрывалось от горя; мне хотелось крикнуть ему, что он ошибается, должен же он понять... Но ведь он несправедлив ко мне; я побледнел и, решив не отступить, не сдвинулся с места. А он повернулся и зашагал к Кряжу.

Глубоко огорченный и ошеломленный этой неожиданной ссорой, я продолжал свой путь в город. Я решил, что просто оставлю журналы и уйду. Но, добравшись до ливенфордского «Салона», я узнал, что у Анджело стряслась беда куда серьезнее моей.

— Николо болен. Очень болен.

Всхлипывая, он рассказал мне, как все произошло. Виновата Клара, злополучная Клара. Дядя Вита, ходивший по вечерам молиться в монастырь Святых Ангелов и пропадавший там иной раз часами, имел обыкновение оставлять Николо во дворе, чтобы обезьянка в его отсутствие могла наслаждаться свежим воздухом, а не сидеть в душной комнате. Но он всегда оставлял открытым окно, чтобы Николо, если погода испортится, мог по водосточной трубе, все равно как по лестнице, немедленно вернуться в комнату. Два дня тому назад к вечеру разразилась сильнейшая гроза, и Клара, чтобы не намочили занавески, поспешила закрыть все окна в доме. Дядя Вита находился в церкви, «Салон» был закрыт; бедный Николо целый час пробыл под

проливным дождем; когда Вита вернулся в половине одиннадцатого, насквозь промокшая обезьянка сидела, забившись в уголке двора.

Я последовал за Анджело наверх. В сраженном горем доме царила суматоха. На кухне расстроенная миссис Антонелли смачивала холст в горячей воде. Клара лежала на диване в гостиной, уткнувшись лицом в подушку. В спальне дяди Виты стоял мистер Антонелли, горестно наблюдая своими большими глазами за тем, как дядя Вита, засучив рукава, неутомимо хлопотал возле Николо.

Обезьянка лежала в постели — не в своей корзине, а посредине большой белой постели дяди Виты, обложенная подушками. На ней была лучшая шерстяная куртка дяди Виты и шапочка из неаполитанской мягкой шерсти с кисточкой. Ее маленькое сморщенное личико, выделявшееся на фоне огромной постели, казалось еще более сморщенным. Время от времени зубы Николо принимались стучать, его колотил озноб, и он с тревогой поглядывал на нас. Дядя Вита каким-то остро пахнущим маслом растирал обезьянке грудь. Хлопоча возле больного Николо, Вита все время говорил: сам с собой, с обезьянкой, но главным образом — и явно укоризненным тоном — с мистером Антонелли. Я взглянул на Анджело, он тоже был настолько потрясен этой сценой, что даже перестал плакать. Шепотом он перевел мне:

— Дядя Вита говорит, что это Бог нас наказывает за то, что мы Его забыли... Отец слишком много думает о делах, мама — о гостях да знакомствах, а Клара — о мужчинах. Дядя говорит, что это они с Николо положили начало нашему богатству, собирали по грошику, когда мы сидели без хлеба. Он говорит, что, если Николо умрет... это он говорил вот сейчас, когда плакал... никому из нас никогда, никогда не видать больше счастья.

В комнату вошла запыхавшаяся миссис Антонелли с холстом в тазу, от которого шел пар, и покорно остановилась у кровати. Клара, словно призрак, проскользнула в дверь и стала у притолоки, следя покрасневшими от слез глазами за дядей Витой, который прикладывал холст к телу обезьянки.

Но очевидно, это мало помогало. И вдруг Вита — этот благочестивый, тихий Вита — воздел руки к потолку и разразился потоком слов. Анджело прошептал мне на ухо:

— Он говорит, надо вызвать доктора к Николо, самого лучшего, какой есть в городе. И что Клара, грешница и преступница Клара, из-за которой случилась эта беда, должна немедленно сходить за ним.

Клара начала было возражать.

— Она говорит, что никакой доктор не пойдет к обезьяне. Она попытается найти ветеринара.

По тому, как бешено исказилось лицо Виты, я сразу понял, что с ветеринаром дело не выйдет.

— Нет, — как бы подтверждая мою мысль, кивнул Анджело. — Надо доктора, и только доктора. Надо заплатить столько, сколько он запросит, пусть даже он возьмет все золото, какое у нас есть. И доктор должен быть лучший в городе.

Клара хоть и заплакала, но покорилась, надела шляпу и вышла, прихватив с собой большую пачку денег, которую дал ей мистер Антонелли. А мы сели вокруг кровати и, не спуская глаз с обезьяны, стали ждать доктора — все, кроме Виты, который, перебирая четки и шевеля губами, стоял у постели на коленях.

Через полчаса Клара вернулась одна. Вита сразу вскочил, допросил Клару, которая снова разразилась слезами, закричал не своим голосом и, схватив шляпу, выскочил вон.

— Клара побывала у четырех врачей, и ни один не захотел прийти. Теперь дядя Вита пошел сам.

Добрый час просидели мы у изголовья Николо; наконец послышался звук открываемой входной двери — все вздрогнули. Это был дядя Вита, и мы с облегчением вздохнули, услышав, что он не один.

Вошел врач. Это был доктор Галбрейт, сухопарый старик с маленькой козлиной бородкой; его считали в городе опытным врачом, но не очень любили из-за резкости. Как глухой, не знающий языка Вита сумел убедить этого желчного эскулапа, так и осталось тайной, но самое любопытное, что он пришел не из-за денег.

С минуту он постоял посреди комнаты с таким видом, точно хотел выставить всех нас отсюда. Но потом, видно, передумал и занялся обезьяной. Он измерил Николо температуру, пощупал пульс, простучал всего, заглянул к нему в горло, затем долго с помощью коротенького деревянного стетоскопа прослушивал ему грудь. Обезьянка вела себя великолепно: большими испуганными глазами она доверчиво смотрела на доктора и даже без ложки дала ему посмотреть горло.

Пощипывая бородку, доктор Галбрейт с живейшим интересом и одобрением смотрел на своего пациента, забыв о том, что в комнате полно народу и все пристально следят за каждым его движением. Анджело шепнул мне:

— Дядя Вита считает его очень хорошим доктором.

А доктор, очнувшись от своей задумчивости, написал два рецепта и, скривив с легкой иронией губы, начертал на них: «Мистеру Нику Антонелли». Затем он уложил инструменты в свой черный саквояж и сказал:

— Лекарство давать каждые четыре часа. Держать в постели, согревающее тепло, утром и вечером припарки из льняного семени, кормить только жидким и питательным. Отличный экземпляр североафриканской макаки. К сожалению, у всех у них слабая грудь. У него двустороннее воспаление легких. Доброй ночи.

Он ушел. Хотя дядя Вита бежал за ним до самого конца улицы, он так и не принял ни пенни. Тогда я понял, что его привел сюда чисто научный интерес — странное, чудесное и совершенно бескорыстное чувство, которое уже охватывало меня, когда я сидел у микроскопа, а в более поздние годы должно было служить источником тех немногих радостей, что выпадали мне в жизни. В ту минуту я невольно ощутил гордость за этого угрюмого шотландского доктора, с которым меня роднила национальная общность и общность интересов. Насколько лучше быть таким, чем суетливым и экспансивным, как эти южане!

После его посещения все немного повеселели: теперь хоть известно было, что надо делать. Меня послали в аптеку за лекарством; миссис Антонелли и Клара принялись готовить припарки, а Вита самолично стал варить бульон из цыпленка. Обезьянка согласилась проглотить лишь немного молока. После лекарства ей, видно, захотелось спать, и мы на цыпочках вышли из комнаты.

К сожалению, я был слишком хорошо знаком с легочными заболеваниями и понимал, что Антонелли не вполне представляют себе, как протекает двустороннее воспаление легких. И в самом деле, на следующее утро Николо стало хуже. Обезьянка вся горела и жалобно повизгивала, мечась на большой постели, возле которой стоял на коленях дядя Вита. За весь день она выпила лишь несколько глотков куриного бульона, и к вечеру дыхание у нее стало прерывистым и хриплым.

К концу недели Николо стало еще хуже, и в доме воцарилась горестная тишина, лишь время от времени нарушавшаяся истерическим плачем женщин да дикими криками обезумевшего дяди Виты. Делать мне было нечего, Гэвин не показывался, в школе все еще были каникулы, и я все свое время отдавал Антонелли.

Я стал своего рода пажом при больной обезьянке. Каждый день в три часа приходил дедушка, преисполненный серьезности и сознания своего достоинства, чтобы выразить соболезнования. Он ждал в гостиной, надеясь, очевидно, сказать несколько слов сочувствия Кларе или в крайнем случае миссис Антонелли, — а может, его еще и угостят бокальчиком фраскати для поддержания духа. Но в воздухе уже чувствовалось первое — пусть слабое — дуновение мистралья. Витиеватые изъявления сочувствия дедушки выслушивал с кислым видом сам мистер Антонелли. И конечно, никакого фраскати.

А больному становилось все хуже и хуже. Бедный Николо теперь едва дышал и так похудел, что стал похож на маленький скелетик. Снова был вызван доктор, который решительно заявил, что обезьяна обречена. Мистер Антонелли побелел и сказал, что надо бы закрыть «Салон», а на улице перед домом разбросать солому.

В субботу дядя Вита свирепо посмотрел в упор на мистера Антонелли. Анджело перевел:

— Он говорит, что только Бог может спасти Николо. Поэтому мы должны молиться, отчаянно молиться о чуде. Отец должен пойти к канонику Рошу, чтобы тот помолился и отслужил мессу за обезьянку. Монастырские сестры пусть девять дней кладут поклоны, а потом пусть придут сюда и молятся за Николо. О господи, дядя Вита говорит такие страшные вещи папе.

Мистеру Антонелли явно не нравилась возложенная на него миссия. Но сейчас Вита командовал в доме: обезьянка каким-то непонятным образом превратилась в фетиш, во всемогущего божка, от жизни или смерти которого зависело крушение или процветание Антонелли. Итак, мистер Антонелли взял шляпу и медленно вышел.

На следующее утро, в воскресенье, каноник Рош объявил с кафедры церкви Святых Ангелов, что сейчас начнется служба по просьбе мистера Виты Антонелли. Несколько разочарованный тем, что он не назвал Николо по имени, я, однако, скоро успокоился, ибо в тот же день к Антонелли в дом прибыли мать Элизабет-Джозефина и одна из монастырских послушниц. Антонелли щедро жертвовали на монастырские нужды, и обе монахини были крайне любезны и исполнены готовности помочь. Мы все стали на колени в гостиной и тихо, чтобы не тревожить умирающую обезьянку, принялись читать тридцатидневную молитву и «Мемораре».

Назавтра, в сырой и ненастный понедельник, Николо был при последнем издыхании; с начала его болезни прошло ровно девять дней. Теперь дядя Вита уже никого не впускал в комнату больного, он сам сидел у постели обезьянки и ни на минуту не покидал ее. Но в то утро, в девять часов, вскоре после моего прихода, он вышел из комнаты и, войдя в гостиную, где все мы сидели, точно помешанный, ткнул пальцем в Клару.

— О святой Иосиф! — жалобно пропищал Анджело. — Он говорит, что Клара одна во всем виновата и что она сейчас же, немедленно, должна подняться на триста шестьдесят пять ступеней. В этом вся наша надежда!

Пока все волновались, тщетно пытаюсь урезонить дядю Виту, позвольте мне дать небольшое пояснение. Эта добрая простая душа — уроженец солнечной Италии и хранитель всех предрассудков Средневековья, который мог вдруг остановиться посередине мостовой на шумной Главной улице и, запрокинув голову в черной шляпе с широкими полями, падающими на глаза, уставиться на дивное небо, населенное святыми и мадоннами, — придумал себе здесь, на этой чужой для

него земле, удивительнейший обряд, я бы даже сказал, испытание. В Замке на Скале, историческом монументе, о котором я уже упоминал, бывшей крепости со старинными пушками, охранявшей вход в дельту (когда-то ее защищали Брюс и Уоллес, а теперь это была всеми забытая святыня, просто памятник старины), снаружи шла крутая винтовая лестница, которая вела от спускной решетки внизу к разрушенному крепостному валу наверху и состояла ровно из трехсот шестидесяти пяти ступеней — по ступеньке на каждый день года. И вот какое испытание придумал для себя дядя Вита: он подымался по этой лестнице на коленях, на каждой ступеньке останавливался и читал «Ave Maria»¹.

Через десять минут мы с Кларой отправились под дождем в замок. Эта грешница и гордячка Клара чуть не теряла сознание при одной мысли о предстоящей ей пытке и позоре. Но дядю Виту нельзя было ослушаться. На улице было слишком сыро, чтобы Анджело мог сопровождать ее, а потому попросили меня составить ей компанию и «последить» за тем, как эта красавица будет приносить покаяние. А если откуда-нибудь вдруг вынырнет гид или появятся экскурсанты, я должен был немедленно предупредить ее, она быстро поднялась бы с колен и, облокотившись на крепостной вал, сделала бы вид, будто любит окрестностями.

Однако в замке было пусто — всех прогнал дождь, ни одного любопытного не было поблизости. Мы решили, что я тоже должен пройти через испытание. И вот рядом, останавливаясь на каждой ступеньке, чтобы сказать «хвала тебе, Богородица», и отмахиваясь от любопытных галок, мы, точно крабы, поползли вверх по лестнице под неприветливым мокрым небом.

¹ «Радуйся, Мария» (лат.).

Клара, хоть и была немало всем этим огорчена, предусмотрительно захватила с собой подушечку и маленький зонтик. Я же не подумал об этом, а поскольку прикрыться мне было нечем, вскоре промок насквозь и содрал кожу на голых коленках, но мы лезли все выше и выше под проливным дождем, лезли через силу, горячо молясь, отмахиваясь от круживших над нами галок и тревожа тени Уоллеса и Брюса, а также всемогущего Господа Бога.

Наконец испытание окончено, мы добрались до верха. Я едва стоял и почти ничего не видел, так как Клара в последнюю минуту — чисто случайно, но от этого ничуть не менее больно — ткнула мне зонтом в глаз. И все-таки мы достигли цели, взобрались на триста шестьдесят пять ступеней. И с сознанием, что достойно выполнили свой долг, вернулись в «Салон».

По тому, какой мученический вид напустила на себя Клара, я понял, что она ждет признания своего подвига. Но, уж конечно, она никак не ожидала той ликующей радости и тех похвал, какие обрушились на нее у порога. Дверь распахнулась — и все семейство ринулось ей навстречу. Как ее благодарили! Как все радовались! За это время у обезьяны произошел кризис. Позже я сам наблюдал и дивился, какая поразительная перемена наступает в больном по окончании легочного заболевания. Внезапная и магическая... Немудрено, что дядя Вита, с просиявшими глазами, вскричал, что добрый Бог вступился за маленького Николо. В двадцать минут двенадцатого — по подсчетам, это как раз совпадало с завершением нашего испытания, я же некоторое время спустя решил, что, скорее всего, это было в тот момент, когда Клара ткнула зонтиком мне в глаз, — Николо вдруг перестал задыхаться. От слабости у него выступил пот, он слегка улыбнулся своему хозяину и заснул глубоким сном; дышал он глубоко, ровно.

Здоровье обезьянки быстро пошло на поправку; помню, как дядя Вита, расплывшись в улыбке, объявил:

— Николо только что съел первый банан.

Вита снова занял прежнее подчиненное положение в доме, жизнь семейства быстро входила в норму. Кларе сшили несколько новых, невероятно ярких платьев. Добрые сестры монахини получили богатый дар, а каноник Рош — пожертвование на новый алтарь в боковом приделе. Доктору среди ночи прислали три ящика самых лучших консервированных абрикосов — его домоправительница сказала как-то миссис Антонелли, что он питает слабость к этим плодам, к тому же предлагали, что он откажется от обыденного подношения.

И только ко мне, Роберту Шеннону, помощнику незаметному, но такому полезному, была проявлена какая-то странная и непонятная холодность, которую можно было назвать по меньшей мере полным отсутствием внимания. Разве я на голых коленях не взобрался на триста шестьдесят пять ступеней и не помог хотя бы наполовину свершиться чуду? Разве не рыскал я по драмбакским лесам в поисках нежных зеленых гусениц, к которым капризный больной проявлял особую страсть? И за все это ни слова, ни капли благодарности! Наоборот, я стал замечать косые взгляды, а когда я поднимался вместе с Анджело из «Салона» в квартиру, разговор между Кларой, миссис Антонелли и Клариним кавалером тотчас обрывался. Подул уж совсем холодный мистраль. Мне предстояло довольно рано узнать одну из горьких жизненных истин.

Несколько дней спустя, когда мы с Анджело прогуливали по двору почти совсем поправившегося Николо, меня кто-то так толкнул, что я отлетел к стенке.

— Убирайся прочь, слышишь! — Из-под нахмуренных бровей на меня злобно глядели глаза Кларинового кавалера Таддеуса. — Чтоб духу твоего здесь не было! Пошел вон, убирайся!

Я положительно оцепенел от страха и даже не нашелся, что ему ответить. Но кровь у меня все-таки вскипела. Я сказал, что никуда не уйду. Подождав, пока мы с Анджело остались вдвоем на залитом солнцем дворике, я спокойно, но настойчиво спросил его:

— Послушай, Анджело. Что-то случилось. Чем я провинился? Ну скажи же, Анджело!

Он избегал смотреть на меня. Потом вдруг поднял голову. Его румяное, как персик, лицо пожелтело и стало точно лапы у утки. В мечтательных глазах появилась злость.

— Мы больше не любим тебя! — взвизгнул он. — Мама говорит, что я не должен играть с тобой. Она говорит, что твой дедушка пьяница, он клянчит вино и у него нет денег, ни единой лиры. И он все врет насчет того, что бывает в знатных домах; никогда он там не был, просто он самый большой врун на свете...

Я в изумлении уставился на него. Неужели это тот самый мальчик, рядом с которым я стоял во время первого причастия, прелестное дитя, которое я так любил и которому так много прощал, которого не захотел предать и ради которого пожертвовал дружбой с Гэвином, дорогим Гэвином, хорошим, верным товарищем?

— Да! — продолжал он кричать. — Тад разузнал все это. Твой дедушка обманщик, он нищий, бродяга. Его весь Ливенфорд знает. Он гоняется за женщинами — это в его-то годы! И он скверный, гадкий! Он обнимал нашу милую Клару, чтобы позлить Таddeуса...

Дольше я уже терпеть не мог. Я смутно сознавал, что между Анджело и мной все кончено. Я повернулся было, чтобы уйти, но прежде изо всей силы ухватил его за маленький, как у ангелочка, носик. Наверно, это смертельный грех — причинить боль такому ангелу. Но воспоминание о том, с каким ревом он бросился к матери, озаряло радостью многие горькие недели моей жизни. Да, я до сих пор слышу его.

ГЛАВА 15

Настала неделя, когда Мэрдоку предстояло держать экзамен, и вот сей рьяный поклонник ботаники стоит посреди передней в своих лучших ботинках и праздничном костюме, а мама чистит его щеткой и даже опускается на колени, чтобы удалить пятнышко с обшлага брюк, — щетка так и летает в ее красной от работы руке, на усталом, озабоченном лице написана гордость. Мама, точно раба, обслуживает нас: стряпает и чинит, моет, натирает и скребет, из каждого гроша выколачивает тройную пользу, раньше всех встает и позже всех ложится, и никто ей за это спасибо не скажет; мама из сил выбивается, чтобы побольше сэкономить, как того требует папа, и даже находит время проявить сердечную доброту к старику, жившему в мансарде, и к несчастному мальчику, очутившемуся у нее на руках... Но на этой неделе — все для Мэрдока, и сейчас не до славословий. С наступлением роковых дней у него появилась какая-то приятная уверенность в себе. Накануне вечером у него состоялась серьезная беседа с отцом, которая никак на него не подействовала. Он сказал всем нам:

— Большого я сделать не могу.

И этому можно было поверить: уж конечно, немало наскреб он знаний, когда часами скреб свою усыпанную перхотью голову. В кармане у него лежат деньги на завтрак; две пары очков — на случай, если одна поломается; перо, резинка, угольники — словом, все, что нужно. И вот он торжественно отбывает на станцию; он должен поспеть на поезд, отправляющийся в 9:20 в Уинтон, где ему предстоит держать экзамен. Мы с мамой стоим на пороге, машем ему вслед и от всего сердца желаем успеха...

Вечерами Мэрдок возвращался домой с четырехчасовым местным поездом; папа, приходивший в эти

дни со службы пораньше домой, уже нетерпеливо поджидал его.

— Ну, как ты сегодня выдержал?

— Замечательно, папа, просто замечательно.

С каждым днем уверенность Мэрдока в себе все возрастала. Флегматично поглощая все, что ему подкладывала мама, он неторопливо и весьма кратко делился с нами впечатлениями дня, а ведь мы так ждали его рассказов!

— Право, я даже удивился... сегодняшнее задание было чертовски легким. Я исписал целую гору бумаги... пришлось попросить вторую тетрадку. А другие не исписали даже и половины первой...

— Молодец... молодец. — Отец как бы нехотя изрекал столь редкую в его устах похвалу, но глаза его блестели.

Мама же без лишних слов наклонялась и оделяла Мэрдока такой же большой порцией студня, как и папу. Я был уверен, да и все мы были уверены, что успех его обеспечен. Мне было и приятно, и грустно; я невольно сопоставил себя с ним, думая о том, какими жалкими были бы мои успехи, если б мне пришлось держать такие экзамены. Были у меня и другие поводы для уныния. Разрыв с Антонелли, этими неблагодарными людьми, не умеющими ценить дружбу, по-прежнему мучил меня; у меня даже не хватило духу рассказать об этом дедушке. Но хуже всего было то, что я целых две недели не видел Гэвина; только раз мы встретились — прошли друг мимо друга по Главной улице, бледные как смерть, глядя прямо перед собой. А мне так хотелось вернуть расположение этого мальчика, которого я предал, хотелось всей душой.

Лишь один-единственный слабый просвет оставался на моем горизонте. В следующую среду открывалась ярмарка в Ардфиллане, на которую мне предстояло сопровождать Кейт и Джейми. Бывало, дедушка ис-

правно посещал ярмарочные аттракционы, и теперь он с жаром описывал те удовольствия, которые ждали меня там. Когда я кисло заметил, что, надеюсь, мне будет там весело, он восторженно воскликнул:

— Конечно нам будет весело, дружок! Конечно будет весело!

Джейми обещал заехать за нами около двух часов в шарабане. Он прибыл точно в срок, но только в другом экипаже. Мы с Кейт поджидали его, стоя у окна гостиной, и так и ахнули от изумления, когда к дому подкатил желтый автомобиль.

— Если ваш брат Адам может раскатывать в таких машинах, то я тоже могу.

Джейми, в новой клетчатой кепке, был настроен куда веселее обычного и тотчас объяснил нам, как ему удалось раздобыть такой экипаж. У него есть приятель Сэм Лайтбоди — механик на аргайлском заводе. Сэм взял у себя на заводе машину и согласился отвезти нас в Ардфиллан.

Мы поздоровались с Сэмом; он сидел на месте шофера в больших очках, вцепившись в два вертикальных рычага с ручками, точно работа мотора зависела от пульсации его крови. Он посоветовал Кейт надеть вуаль, чтобы не слетела шляпа, и она сбегала за ней в дом. Мы восторженно оглядели машину, прежде чем занять свои места, как вдруг в калитку неторопливо вошел тщательно прилизанный дедушка со своей лучшей палкой в руках.

— Замечательно... замечательно, — сказал он, оглядывая машину; затем сурово произнес, обращаясь к Джейми: — Неужели вы думаете, что я соглашусь отпустить с вами мою внучку в Ардфиллан... допоздна... и с ребенком в качестве провожатого?

— Ох, дедушка, — раздраженно заметила Кейт. — Вас-то ведь не приглашали.

Но Джейми вдруг расхохотался во все горло. Он отлично знал дедушку: я не раз видел, как они выходили

вдвоем из «Драмбакского герба», вытирая рот тыльной стороной ладони.

— Пусть едет с нами, — сказал он. — Чем больше нас будет, тем веселее. Влезайте.

Машина сначала несколько раз вздрогнула, потом рванулась с места и плавно помчалась по Драмбакской дороге. Кейт и Джейми сидели на высоком переднем сиденье возле шофера, ветерок слегка трепал горжетку из перьев на шее Кейт; а мы с дедушкой блаженствовали во вместительном багажнике. Не успели мы тронуться в путь, как к нам протянулась рука — рука Джейми — с большой сигарой. Дедушка взял ее, раскурил и, положив ногу на подушку сиденья, величественно развалился.

— Замечательно, Роберт, — произнес он тоном благовоспитанного человека. — Надеюсь, он провезет нас по городу. Тогда нас все увидят.

В это время мы как раз проезжали под железнодорожным мостом, направляясь к Главной улице. Вдруг кто-то так пронзительно закричал, что я подскочил от неожиданности. Я увидел Мэрдока; он стоял у выхода из вокзала и махал нам руками, прося остановиться. Но мы промчались мимо; тогда он сорвал с себя котелок и, продолжая махать рукой, тяжело переваливаясь, побежал за нами.

— Ой, Сэм, остановитесь, остановитесь! — воскликнул я. — Там наш Мэрдок!

Машина резко затормозила и, остановившись, начала так содрогаться, что мы подпрыгивали, точно горошины на барабане. Сэм, тоже подпрыгивая, со страдальческим видом обернулся к нам, — очевидно, он считал, что лишние остановки в пути не предусмотрены правилами нормальной эксплуатации автомобиля. Но вот и Мэрдок! Он подбежал, пыхтя и отдуваясь, в своем добротном праздничном костюме. Он залез к нам в багажник и, упав в изнеможении на откидное сиденье, воскликнул: «Я еду с вами!»

Молчание. Неужели конца не будет нашим непрошеным спутникам? Особенно дедушка был возмущен этим вторжением, но Сэм быстро вывел нас из затруднения, дернув за рычаг так, что мы все попадали вперед. Нас несколько раз тряхнуло, и мы покатили по городу.

— Ну как дела, Мэрдок? — крикнул я, перекрывая свист ветра, приятно гудевшего в ушах.

— Великолепно, — сказал Мэрдок. — Просто великолепно. — Он все еще отдувался, полулежа на сиденье; рот у него был приоткрыт, воротник пиджака поднят, чтобы не дуло в уши, которые как-то особенно торчали сегодня. Он был бледен — я решил, что это от чересчур быстрого бега, — и обмахивался шляпой, хотя в этом не было никакой необходимости. Потом он широко раскрыл рот, словно хотел что-то сказать, и тут же закрыл его.

Разговаривать было просто невозможно. Мы выехали за город и мчались по берегу реки Ли. Перед нами, простираясь к морю, лежала широкая дельта, вся в золотых солнечных бликах; вдоль берега через ровные зеленые пастбища и песчаные холмы вилась белая лента — дорога, по которой нам предстояло ехать; на западе, над голубоватым маревом, вздымался синий силуэт вечно бодрствующего стража — горы Бен. Какая красота, какая тишь и светлая благодать! Почему же, когда я гляжу на все это, щемящая боль закрадывается в мое сердце? Несчастный юнец, в котором красота всегда будет рождать это неясное тягостное чувство. Я вздохнул, предаваясь сладостной грусти, которую вызывала во мне быстрая езда.

Машина работала на славу: под уклон мы мчались со скоростью двадцать миль в час. Когда мы проносились через деревни, жители выбегали на порог и смотрели нам вслед. Мужчины, работавшие в поле, разгибали спину и салютовали мотыгами новой технике.

Только животные, казалось, взирали на нас с негодованием. Сэму пришлось призвать на помощь все свое умение, чтобы объехать упрямую корову; собаки с лаем яростно гнались за нами; возмущенные куры взлетали прямо из-под наших колес; а однажды в воздухе даже замелькали перья, но облака белой пыли, вздымавшиеся позади автомобиля, благополучно скрыли следы убийства, если таковое и произошло. Только один-единственный раз нам пришлось краснеть за нашу машину: когда доблестное сердце ее сдало при въезде на пригорок; мимо проходили какие-то деревенские грубияны, направлявшиеся, как и мы, на ярмарку; эти невежды захихикали:

— Эй! Вылезайте да подтолкните сзади!..

Мы прибыли в Ардфиллан около четырех часов — слишком рано для того, чтобы наслаждаться аттракционами, ибо они открывались по-настоящему только вечером. Кейт перешла через улицу и направилась в магазин дамских шляп, славившийся на этом восхитительном морском курорте, купить кое-какие мелочи для мамы. Сэм выключил мотор, и мы принялись глазеть на балаганы, палатки и карусели, раскинувшиеся по зеленой лужайке возле эспланады, за которой виднелся пляж и плескались волны.

Внезапно Мэрдок, который сидел съездившись, бледный, несчастный, глубоко вздохнул. Так глубоко, что вся наша машина содрогнулась, — я уже было подумал, что мы снова поехали. Но оказывается, это в душе Мэрдока произошел взрыв.

— Я покончу с собой.

Мэрдок так громко произнес, почти выкрикнул эту угрозу, что сразу привлек наше внимание. Выпучив глаза и молотя кулаками подушки, он продолжал:

— Говорю вам, я покончу с собой. Не хочу я служить в почтовом ведомстве. Все это папины выдумки. Я убью себя. И во всем будет он виноват. Убийца.

— Ради бога, дружище! — воскликнул встревоженный дедушка. — Что с тобой?

Мэрдок тупо посмотрел на него, потом на всех нас своими глупыми близорукими глазами. Внезапно его прорвало, и он громко разрыдался.

— Я провалился. Экзаменаторы отослали меня домой. Сегодня утром меня отвели в сторону и сказали, чтобы я больше не приходил. Вот так и сказали, чтобы я больше не приходил. Не приходил. Тут, конечно, какая-то ошибка. Ведь я же великолепно, великолепно все сдавал.

Не выдержал! Мэрдок не выдержал! Мы оцепенело молчали. От его неумных рыданий сотрясалась машина, а вместе с нею и мы. Вокруг стал собираться народ.

— Послушай! — Дедушка схватил Мэрдока за ворот пиджака. — Возьми себя в руки.

— Ему надо дать чего-нибудь подкрепляющего, — угрюмо посоветовал Сэм.

— Ей-богу, правильно. Надо ему что-то дать, чтоб он стал человеком.

Дедушка и Джейми выволокли безжизненного Мэрдока из машины, а Сэм распахнул двустворчатую дверь погребка на эспланаде, находившегося как раз напротив. Прежде чем исчезнуть в прохладном помещении, Джейми крикнул через плечо:

— Побудь тут, малыш! Мы скоро вернемся.

Я постоял немного, думая: «Бедный Мэрдок!», а затем понуро пересек дорогу. Ярмарочная площадь стала уже заполняться народом; со всех окрестных селений стекались сюда жители. Я узнал в толпе нескольких ливенфордцев. И вдруг увидел знакомое лицо — загорелое и решительное. Это был Гэвин.

Он стоял совсем один возле небольшой группы и с присущим ему презрением наблюдал, как торговец безделушками пытается продать настоящие золо-

тые часы какому-то оторопевшему фермеру. Вдруг он обернулся, и взгляды наши встретились поверх всей этой безликой толпы. Он вспыхнул, потом побелел, отвел глаза, но с места не сдвинулся. Затем он сделал несколько шагов в мою сторону и, остановившись возле плаката, рекламирующего паровые качели Уилмота, сосредоточенно, в полном одиночестве принялся изучать его.

Я тоже почувствовал интерес к этому плакату. И хотя рисунок был примитивный, а текст я знал наизусть, через минуту я уже стоял рядом с Гэвином и тоже глядел на плакат; я был очень бледен, и щека у меня дергалась — ужасная напасть, которая всегда приключалась со мной, стоило мне поволноваться или устать. Трудно сказать, кто из нас заговорил первым. Мы оба тяжело дышали и не отрываясь смотрели на изодранный, размытый дождем плакат, на котором едва можно было различить очертания качелей, взлетающих в поднебесье.

— Это я во всем виноват.

— Нет, я.

— Нет, я.

— Нет, Роби, право же, я. Я приревновал тебя к твоему новому другу. Я не хочу, чтобы у тебя был еще какой-то друг, кроме меня.

— Но ты же мой единственный друг, Гэвин. И всегда будешь единственным. Клянусь тебе. И клянусь, это я во всем виноват. Надо же было такого дурака свалить.

— Нет, я.

— Нет, я.

Он оставил последнее слово за мной — величайшая жертва: я ведь слабее его. Плакат уже больше не интересовал нас. Мы осмелели и посмотрели друг на друга. Я прочел по его глазам, что наша ссора огорчала его не меньше, чем меня. В тот долгожданный момент

возрождения нашей дружбы рухнул сковывающий нас барьер сдержанности, мы не ограничились крепким рукопожатием и пошли на большее проявление чувств. Я взял Гэвина под руку крепко-крепко, и так, блаженно улыбаясь, ничего не видя перед собой и не говоря ни слова, мы двинулись вперед и, слившись с толпой, затерялись в ней.

Заиграл оркестр возле каруселей, пронзительно зашвистели паровые свистки на качелях. Забили литавры, сзывая на веселый кекуок; зазвучали фанфары, оповещающая о появлении Клео — самой толстой женщины в мире. На подмостках перед балаганами появились, размахивая тросточками, зазывалы в высоких крахмальных воротничках и галстуках бабочкой: «Сюда, сюда, леди и джентльмены! Заходите посмотреть на Лео — человека-леопарда! Заходите посмотреть на перуанских пигмеев! Единственная в мире говорящая лошадь! Сюда! Сюда!» Атракционы ожили. У нас голова пошла кругом, и мы стали протискиваться вперед. Джейми дал мне флорин на расходы. У Гэвина было примерно столько же. Он приехал из Ливенфорда поездом, но обратно может поехать с нами. И не надо будет расставаться. От этой мысли нам стало еще радостнее.

Мы попытались удачи в метании кокосовых орехов и вскоре получили каждый по три чудесных сочных плода; Гэвин просверлил один из них перочинным ножом, и мы по очереди приложились к нему; его сладкий сок стекал нам прямо в горло. Мы поглазели на лотерею, побывали на водном аттракционе и в «Галерее эхо». И унесли с собой немало трофеев: булавки, пуговицы, шпильки, перья. Спустилась темнота, и зажглись керосиновые лампы. Толпа все прибывала, музыка гремела, убыстряя темп. Ух! Ух! Ух! — доносились с качелей. На мгновение я заметил в толпе Кейт и Джейми; прильнув друг к другу, они со смехом осваи-

вали кекуок. Потом мимо промелькнули дедушка, Сэм и Мэрдок на трех деревянных скакунах; выстроившись в ряд, они то попадали в полосу света, то ныряли в темноту под грохот оркестра. Котелок у Мэрдока съехал, в зубах была зажата сигара, в остекленелых глазах застыло восторженное выражение. Время от времени он приподнимался на стременах и издавал нечеловеческий вопль.

Уже поздно, очень поздно. Наконец, усталые и счастливые, мы собираемся у машины. Особенно счастливой кажется Кейт. Она то и дело поглядывает на Джейми, и глаза ее сияют нежностью. Мэрдок осоловело смотрит на Гэвина и вдруг изрекает:

— Плевать я хотел, говорю вам, просто плевал я на все это; какое это может иметь значение для такого образованного человека, как я. — И дружески трясет его руку.

Тем временем Сэм, незаменимый Сэм, лезет под капот и пытается завести машину под мелодичный дуэт Мэрдока и дедушки, которые, стоя рядом, поют: «Дженевьева... Джен... е... вьева». На полслове Мэрдок обрывает пение и спешно отбывает куда-то в темноту, откуда доносятся звуки мучительной и долгой рвоты.

Но вот мы пускаемся в обратный путь и мчимся, разрезая прохладный ночной воздух, оставляя огни и гул ярмарки позади. В багажнике спит дедушка, на плече у него бледной тенью покоится Мэрдок. Рядом с ними, прижавшись друг к другу, Кейт и Джейми. Он обнимает ее за талию, и оба смотрят на молодой месяц.

На переднем сиденье устроились мы с Гэвином. Дружба наша возобновилась, и теперь мы никогда не расстанемся... Уж во всяком случае, будем вместе до...

Но, слава богу, мы ничего не знаем о том, что нам предстоит. Мы счастливы и верим в будущее. Все тихо, лишь стучит мотор да бодро шипят наши ацетилено-

вые лампы. Сэм, наш непроницаемый шофер, молча сидит один. Все дальше и дальше уносит нас машина в ночь. Двух мальчиков, покоряющих вместе тьму, неведомое, под непокоренными звездами.

— Вот что я люблю, — шепчет мне Гэвин.

И я знаю, что именно.

ГЛАВА 16

Дедушкина философия, основанная, несомненно, на собственном печальном опыте, заключалась в том, что человек должен расплачиваться за удовольствия; и когда я чересчур разойдусь, бывало, он частенько напоминал мне: «А ведь ты, дружок, заплатишься за это утром». И наутро после нашего путешествия на ярмарку мы действительно ужасно заплатились. В доме царила роковая тишина, когда я проснулся позднее, чем всегда. Мэрдок все еще был в постели, папа ушел на работу, мама хлопотала в чуланчике за кухней. Дедушка раздраженно курил; нос у него был краснее обычного, и он явно не жаждал видеть меня. Я спустился вниз; входная дверь вдруг отворилась, и вошла бабушка. Она вернулась еще накануне днем (а я и не знал об этом) и, облачившись в свой лучший чепец и расшитую бисером накидку, уже успела сходить в канцелярию Котельного завода за пенсией.

— Ох, бабушка! — воскликнул я. — А я и не знал, что вы вернулись.

Она ни слова не ответила на мое радостное, взволнованное приветствие и с каким-то странным, напряженным лицом продолжала свой путь. Вдруг она остановилась и посмотрела на меня с таким глубоким огорчением, что я сразу встревожился.

— Ах, Роберт, Роберт, — сказала она ровным, но каким-то неестественным голосом, — никогда бы не подумала, что ты так поступишь.

Я попятился к стенке. Ясно: она узнала — должно быть, от мисс Минз — о том, что я презрел бабушкины благие наставления и отрекся от ее веры. Я смутно понимал, что она неодобрительно отнесется ко мне. Но ее мертвенно-бледное лицо, стиснутые зубы, скорбно сжатый рот и глубокое горе в глазах удивили и напугали меня.

— Когда-нибудь тебе очень захочется снова вернуться к твоей бабушке, — только и промолвила она, но таким огорченным и грустным тоном, что я затрепетал. Раскрыв рот, смотрел я ей вслед, пока она поднималась наверх. А там она постучала в дверь к дедушке и решительно вошла в его комнату.

Я бросился в гостиную. И почему религия, к которой я принадлежу от рождения, вызывает в бабушке такую дикую и мрачную ярость? Ответ был уничтожающим. Эта достойная, почтенная женщина за всю свою жизнь разговаривала никак не больше чем с тремя представителями моей веры, а потому, естественно, заблуждалась и представления у нее на этот счет были совершенно нелепые. И все-таки она питала отвращение к моей вере. Едва ли она так легко простит дедушке ту роль, которую он сыграл в моем первом причастии.

Как раз в эту минуту до меня сверху донеслись громкие голоса; колени у меня все еще тряслись, когда я услышал дедушкины шаги в передней. Я выглянул: он поспешно, со смущенным видом надевал шляпу.

— Пойдем, дружок, — вдруг сказал он мне. — Давно нам с тобой пора избавить их от нашего присутствия.

Когда мы вышли, я увидел, что он взволнован. Наверно, бабушка крепко отругала его за мое отступничество, но причина его волнения оказалась более серьезной. Накануне бабушка допоздна засиделась у окна спальни и отчетливо видела, в каком состоянии прибыл Мэрдок, а за завтраком сочла своим долгом сообщить об этом папе.

Дедушка же взял себе за правило: что бы ни случилось, держаться подальше от папы, ибо он знал, что зять ненавидит его. Только раз на моей памяти они были какое-то время вместе — это когда папа в порыве великодушия, подогретого мамой, показывал дедушке и мне новые поля орошения в Ливенфорде, но и тогда кончилось это весьма печально. Преисполненный гордости, папа рассказывал нам о различных окисляющих и фильтрационных установках и с жаром истинного ревнителя гигиены объяснял, как при этой системе в конечном счете получается чистая питьевая вода. Он наполнил стакан и протянул его мне.

— Попробуй, сам убедишься.

Я медлил, глядя на мутную жидкость.

— Мне сегодня не хочется пить, — запинаясь, пролепетал я.

Тогда папа протянул стакан дедушке, с лица которого весь этот день не сходила так хорошо знакомая мне ухмылка.

— Вот уж никогда не питал пристрастия к воде, — мягко заметил дедушка. — А к этому напитку тем меньше.

— Вы что, не верите мне? — выкрикнул папа.

— Почему же, поверю, — с улыбкой заметил дедушка, — если вы выпьете.

Папа в сердцах выплеснул воду и пошел дальше.

Как правило, дедушка с папой редко встречались, их пути никогда не скрещивались: стоило только дедушке завидеть в городе инспектора, он тут же делал стратегический крюк. Но сейчас столкновение было неизбежно. При холодном утреннем свете увеселительная прогулка Мэрдока, казавшаяся еще вчера вполне допустимой, приобретала весьма мрачный характер. Папа был ярый трезвенник: «пьянство» он предавал анафеме, к тому же это такая безнравственная трата денег! Разъяренный провалом Мэрдока на

экзаменах, он мог дойти до любых крайностей в наказании распутника, столкнувшего его сына с правильного пути.

Когда мы отошли достаточно далеко от дома, дедушка умерил свой быстрый шаг и с весьма напыщенным видом повернулся ко мне.

— К счастью, у нас есть собственные ресурсы, Роби. И друзья, которые дадут нам кусок хлеба, если мы попросим. Пойдем навестим Антонелли.

Я остановился в превеликом смущении.

— Ох нет, дедушка, не надо.

— А почему это?

— Потому что... — Я медлил. И все-таки мне пришлось сказать. Не мог я допустить такого унижения, чтобы перед его носом захлопнули дверь.

Он ничего не сказал, ни слова; при всей своей страсти к разглагольствованиям дедушка умел молча пережить оскорбление. Но удар был тяжкий: лицо его покрылось какими-то странными пятнами. Я думал, что он сейчас повернет обратно в Драмбак, к своим друзьям Сэдлеру и Питеру Дикки. Но нет, он продолжал идти; мы прошли по Главной улице, мимо Ноксхилла и попали в незнакомую мне южную часть города.

— Куда мы идем, дедушка?

— Омыться в водах горечи, — кратко ответил он.

Действительно ли он так думал, или соленый ардфилланский ветер пробудил в нем желание увидеть водную гладь, или ему просто хотелось подальше уйти от всего, что так его огорчало, не знаю. Только вскоре, пройдя через Ноксхиллский луг, мы вышли на берег широкого устья, чуть пониже гавани. Место это было отнюдь не идиллическое — пологий илистый берег, на котором лишь кое-где торчали кустики зеленых морских водорослей да плоские камни с серыми пятнами прилипших ракушек. Был отлив, и свинцово-серая

вода стояла низко; высокие трубы Котельного завода, видневшиеся и отсюда, перестук молотков в доках, плеск струй, выливающихся из сточных канав, — все эти звуки промышленной жизни городка не уменьшали, а подчеркивали запустение этих мест.

И тем не менее в ветерке ощущался определенный привкус — резкий и солоноватый. Вокруг не было ни души; тут дедушка и обрел то уединение, которого так жаждал. Он сел, снял ботинки и носки, закатал до колен брюки и, прошлепав по сырому песку, принялся бродить по мелководью. Поглядев, как крохотные волны ласкают его худые щиколотки, я в свою очередь стащил ботинки и носки и, пройдя по влажным следам дедушки, стал бродить по воде вместе с ним.

Вдруг он снял шляпу, свою замечательную шляпу, без которой я не мыслю дедушку, — большую, выцветшую, с тремя металлическими пистонами по бокам квадратной тульи, ставшую за долгие годы носки твердой как железо, шляпу, в которой побывало столько уникальных ценностей, начиная с дедушкиной головы и кончая фунтом краденой клубники, шляпу, которая служила и еще будет служить для многих разнообразных целей и в которую сейчас он, нагнувшись, собирал ракушки и двустворчатые раковины, найденные на этом печальном берегу...

Ракушки были совсем белые и рифленые; только легкий бугорок, величиной в шестипенсовик, выдавал их местонахождение под зыбучим песком. А двустворчатые раковины, отливающие розоватым перламутром, лепились гроздьями в расселинах скал. Когда мы набрали целую шляпу самых разных, дедушка выпрямился.

— Знаешь, дружок, — сказал он мне, хотя и обращался к унылым водам, — я, может быть, и очень плох... но уж не *настолько*...

Добравшись до более или менее сухого места на берегу, усеянного разлагающимися водорослями, щеп-

ками, выброшенными морем, разбитыми бочками (тут же валялся соломенный матрац с какого-то судна), мы развели огромный костер. Дедушка положил на огонь раковины покрупнее, чтобы они поджаривались, и показал мне, как доставать улиток из ракушек. Надо подержать ракушку над огнем, чтобы она открылась, а затем быстро проглотить заключенную в ней соленую студенистую массу. Эти моллюски казались ему восхитительными. «Куда лучше устриц», — заявил он и меланхолично глотал и глотал их, точно острая и соленая пища была просто необходима ему при таком душевном состоянии. Мне они не понравились, зато содержимое двустворчатых раковин пришлось вполне по вкусу. Створки раскрывались совсем широко, и на перламутровых пластинках появлялась поджаренная масса — волокнистая, как мясо, и сладкая, как орех.

— И тарелок не надо мыть, — с мрачной улыбкой заметил дедушка, когда мы покончили с едой. Он раскурил трубку и лег, опершись на локоть, — взгляд его мечтательно блуждал по окрестности. Потом дедушка, как бы разговаривая сам с собой, заметил: — Не плохо бы пропустить стаканчик! — Видно, соленая закуска вызвала у него жажду.

Сейчас, прежде чем перейти к тому, что будет дальше, я попытаюсь обрисовать важнейшую черту дедушкиной натуры. У него была одна слабость — пристрастие к выпивке; нередко вечером я слышал, как он ощупью, неуверенно взбирается по лестнице и весело бормочет что-то себе под нос, без смущения натываясь на разные предметы в темноте; и все-таки пропойцей он не был. Считать его «старым пьянчугой», как жестоко прозвал дедушку Адам, было бы величайшей несправедливостью; правда, он иногда здорово бражничал, но эти возлияния чередовались с длительными периодами полной трезвости, и он никогда не принимал участия в субботних кутежах, когда на ливен-

фордских улицах было полным-полно выписывающих кренделя гуляк. Всю жизнь он мечтал совершить чудеса храбрости и в конце концов сам поверил, будто так это и есть, хотя на самом деле ничего путного он не совершил. Родители его когда-то были людьми очень состоятельными: его отец вместе с двумя дядями одно время владел известным винокуренным заводом в Глен-Невисе. В семейном альбоме мне попалась пожелтевшая фотография молодого человека, стоящего с ружьем и двумя сеттерами на ступеньках внушительного загородного дома. Каково же было мое изумление, когда мама сказала мне, что это дедушка и что стоит он на пороге дома, где прошло его детство; слегка улыбнувшись, она добавила со вздохом: «Гау были жизнерадостными и всеми уважаемыми людьми в свое время, Роби». Налог на солод разорил семью; теперь я узнал, что после «краха» дедушка, тогда еще совсем молодой человек, вынужден был начать в Ливенфорде скромную жизнь учеником у механика. Однако ремесла своего он так и не «освоил». Слишком уж он был нетерпелив; а вынужденная женитьба, о чем он никогда, впрочем, потом не сожалел, на простолоудинке, обожавшей его, побудила дедушку взяться за торговлю скобяным товаром. Потерпев и здесь неудачу, дедушка не стал унывать: он работал по очереди клерком, чернорабочим на ферме, столяром, драпировщиком, казначеем на пароходе, курсировавшем по Клайду, и, наконец, с помощью знакомых, знавших его семью по Глен-Невису, стал, как и любимый его поэт, акцизным чиновником на таможне¹.

Разочарование в себе, умение заводить друзей, а также то обстоятельство, что на работе у него всегда было «под рукой» спиртное, превратили его в пьяни-

¹ Имеется в виду шотландский поэт Роберт Бёрнс (1759–1796).

цу; однако он никогда не напивался до омерзения; желание приложиться к бутылке находило на него время от времени, оно не было постоянным и объяснялось особенностями его характера, странным переплетением прямо противоположных качеств, побуждавших его то как лев бросаться на защиту моей невинности, то... но мы услышим об этом позже.

Сейчас он был удручен предательством бабушки, и у него, конечно, вполне могло появиться желание выпить.

— Некая *особа*, — вдруг заявил он, — жить мне не дает с той минуты, как вступила в дом. Ну и я, конечно, в долгу перед ней не останусь за то, что она натворила. «Ведет Мэрдока к гибели!..» — Он вдруг перебил сам себя, раздраженно ткнув вдаль влажным кончиком трубки: — Вон идет «Король островов»... Он курсирует вокруг Шотландии... Отменное судно.

Мимо проплыл переполненный прогулочный пароход, направлявшийся вниз по реке; мокрые лопасти его сверкали, развевались флаги, а из двух красных накрененных труб тянулись султаны дыма; нежная приятная музыка «немецкого оркестра» донеслась до нас и еще некоторое время грустно звучала, хотя пароход уже прошел и до берега докатились поднятые им волны. Несчастные бродяги, всеми отринутые, без копейки денег, как бы мы хотели очутиться сейчас на борту этого парохода!

— Сначала, — с горечью возобновил свой рассказ дедушка, — когда я после смерти жены переехал в «Ломонд Вью», эта особа даже строила из себя моего друга. Она штопала мне носки и ставила мои ночные туфли к огню. Потом она попросила, чтобы я перестал курить, — ее раздражал запах табака. Я отказался; тут все и началось. С тех пор она только и делает, что строит против меня всякие козни. Конечно, она в более выгодном положении. Она ведь ни от кого не зависит.

Она обедает внизу вместе со всеми, и «Ливенфордский вестник» сначала дают читать ей, а уж потом мне. В субботу вечером для нее всегда есть горячая вода, а по утрам она первая пользуется ванной. Говорю тебе, дружок, от всего этого можно совсем закиснуть.

Еще несколько пароходов проплыло мимо: две-три груженные шаланды, паршивенькое грузовое суденышко каботажного плавания, речной паром, курсирующий на якорной цепи между гаванью и песчаной косой, ветхий пароходик с белыми трубами из Инверэри и, наконец, «Королева Александра». Затем прошел океанский пароход, невероятно большой, «пароход-бойня», построенный братьями Маршалл для торговли с Аргентиной. Он прошел медленно, торжественно вслед за пыхтящим буксиром; на капитанском мостике, как пояснил мне дедушка, стоял лоцман; я провожал пароход полными слез глазами, пока он не превратился в темную точку на дальнем краю все расширяющегося устья, за которым в багровом тумане садилось солнце.

Дедушка угрюмо размышлял вслух:

— Ну где найдешь такое судно, как у братьев Маршалл; а Клайд — самая благородная река в мире, и Роберт Бёрнс — величайший поэт... да один шотландец трех англичан вздует... даже одной рукой, если другую ему назад скрутить... а вот сладить с женщиной любому мужчине трудно. — Долгое молчание. Вдруг дедушка встрепенулся и, насупившись, изо всей силы хватил по ладони кулаком. — Ей-богу, я это сделаю.

Я вздрогнул от неожиданности — перед моим умственным взором развертывалась трогательная картина: корабль медленно и величаво отчаливает в дальний путь — и повернулся к дедушке, полагая, что все виденное настроило и его на тот же лад. Однако уныние и задумчивость с него как рукой сняло. Лицо его озаряла мрачная решимость, которую излучал даже его нос. Он поднялся.

— Пойдем, дружок, — очень тихо несколько раз повторил он, словно сам удивлялся собственному намерению. — Ей-богу, ну и устрою же я ей бал — попляшет она у меня!

Пока он чуть не бегом тащил меня за собой по городу — мы остановились лишь на минутку, чтобы сверить время с часами на церковной башне, — я позволю себе дать читателю еще одно объяснение. Под выражением «устроить бал» на местном наречии, к которому, по весьма понятной причине, я здесь почти не прибегаю, подразумевается особый вид мести — мести, направленной дьявольской хитростью. Только не думайте, что это нечто заурядное, обычная грубая шутка. Правда, такой «бал» приносит удовлетворение устроителю и повергает в смятение жертву. Но на этом слабое сходство с обычной шуткой и кончается. Такой «бал» — традиционное проявление праведного гнева. Если на Корсике в подобных обстоятельствах берут ружье и отправляются в маки, в Ливенфорде отправляются на пустынный берег, обдумывают все как следует и затем устраивают «бал».

— Куда вы хотите идти, дедушка?

— Во-первых, к этим прекрасным Антонелли. — И чтобы эта затея не показалась мне такой уж дикой, добавил для ясности тоном, не поддающимся описанию: — С черного хода.

Дрожа от страха, я остался ждать его на перекрестке, а он завернул за угол и направился к заднему двору Антонелли. Отсутствовал он всего несколько минут, и все же у меня на душе стало легче, когда он вновь появился без всяких видимых следов увечья и даже с мрачной улыбкой на устах. Мы зашагали прочь в сгущающихся сумерках, и на сей раз дедушка избрал безлюдную дорогу через городской сад.

Время от времени я искоса вопрошающе поглядывал на него: что-то уж больно прямо и напряженно он держался; такая же странная неподвижная подвиж-

ность наблюдается у носильщиков, которые носят целые башни из корзин на голове. Внезапно его шляпа сама собой приподнялась и преспокойно снова опустилась на прежнее место. И все-таки я не догадался. Только когда из-под края шляпы высунулся тоненький, загнутый кверху хвостик — он казался вплетенным в дедушкины волосы на манер хвоста от парика, — я понял, что у него в шляпе сидит Николо.

Я так удивился, что не мог слова вымолвить. Однако дедушка понял, что я заметил обезьянку, и лукаво подмигнул мне.

— Очень уж ему понравилась моя шляпа. Зама- нить его туда ничего не стоило.

Было около восьми часов и почти совсем темно, когда мы добрались до «Ломонд Вью». Только тут я уразумел всю тонкость дедушкиных расчетов: по четвергам в половине восьмого папа обычно посещал собрание Строительного общества. Таким образом, никто не видел, как мы прошли к дедушке в комнату.

Николо был уже совсем здоров. Он хорошо знал нас — счастливое обстоятельство, поскольку при виде незнакомых он всегда приходил в волнение. А тут еще и новая обстановка ему, как видно, понравилась. Он кружил по комнате и не без приятного удивления обследовал все, что в ней находилось. Должно быть, его только что покормили — этим, видимо, и объяснялось его хорошее настроение. Дедушка протянул было ему мятную лепешку, но он отказался от нее.

Дедушка равнодушно смотрел на обезьянку. Он сохранял чувство собственного достоинства и сдержанно относился к животным, никогда не снисходил до того, чтобы возиться с ними, хотя проявлял превеликую любовь к Микадо в присутствии миссис Босомли; я видел, как он с омерзением пнул кошку, когда она попалась нам как-то одна в темноте.

Девять часов... На площадке лестницы скрипнула половица — значит бабушка прошла в ванную. Дедуш-

ка, мрачно стоявший наготове, не стал терять ни минуты. С проворством, поистине примечательным для человека его лет, он схватил Николо и исчез за дверью. Прошло несколько секунд — и он вернулся, но уже без обезьяны.

Я побелел. Только тут я понял, какой он задумал устроить «бал». Меня затрясло, но в то же время я сознавал, что с жгучим нетерпением жду развития событий. Я присел возле дедушки, который грыз ногти, и стал напряженно прислушиваться. Вот на площадке снова раздались тяжелые шаги бабушки. Мы услышали, как она вошла к себе в комнату, стала не торопясь раздеваться, вот под нею закрипела кровать. Тишина, страшная тишина. И вдруг воздух прорезал крик... за ним еще... и еще.

О том, что было дальше, бабушка должна сама рассказать — и на своем особом шотландском диалекте, который до сих пор я для ясности переводил, ибо, если выпустить все ее «словечки», повествование потеряет свой аромат. В последующие годы бабушка не раз пересказывала эту историю, главным образом своей приятельнице мисс Тибби Минз, и всегда с невероятно серьезным видом. Неудивительно, что у меня в памяти этот эпизод запечатлелся как «Встреча бабушки с чертом».

Вот как это было:

«Ну и вот, значит, Тибби, в ту страшную ночь, когда Нечистый явился ко мне, я была в самом что ни на есть здравом уме и доброй памяти. Я сняла платье, аккуратно повесила его на спинку качалки, надела чепец и ночную сорочку. Потом прочитала главу из Библии, как подобает доброй христианке, вынула изо рта свои зубы и зажгла свечу — я ведь глаз не сомкну, если у меня всю ночь свеча не горит. Ну и вот, значит, легла я на подушку и приготовилась отойти ко сну, как всегда в объятиях Спасителя, — вдруг эта самая Нечисть возьми да и прыгни мне на грудь. Открыла

я глаза. Смотрю: пламя свечи колыхается — ей-богу, даже на Страшном суде могу повторить, — а у свечки той сидит сам Сатана и пялит на меня глазищи.

Да нет же, Тибби, нет, это мне вовсе не привиделось. Я и не думала спать. И привидеться мне такое не могло. Прямо передо мной сидел Нечистый, хвостатый такой, рожи корчит, ухмыляется, а сам зубы выставил и щелкает ими, точно хочет меня зацапать и утащить в преисподнюю. Ты меня знаешь, Тибби, я не из робкого десятка, но тут у меня вся кровь в жилах застыла. Ни вздохнуть, ни охнуть, ни крикнуть не могу, где уж тут прошептать молитву. Я просто лежала, как мертвец, и смотрела на Проклятого, а он глазел на меня.

Потом он как подпрыгнет и ну скакать у меня на груди, точно я не человек, а пони. Прямо скажу тебе, Тибби: если раньше я дохнуть не могла, так тут из меня и вовсе последний дух вышел. Нечистый схватил меня обеими лапищами за косы и ну трясти мою голову, точно бидон с молоком. И уж так-то он выплясывал, такие фортели выделявал, что из меня и дух вон. А от самого искры во все стороны так и сыплется. Ну и испугалась же я, моя хорошая, у меня вся кожа гусем пошла. А Нечистому, видно, только того и надо было: уж он и прыгал, и рожи-то корчил, и хвостом перед моим носом махал, и парик с меня стянул, и — стыдно сказать — сорочку на спине изодрал.

О господи, если б у меня хоть хватило разума сказать против него заклинание, но куда там — совсем ума решилась. Я только и прохрипела, точно у меня кляп во рту был: „Изыди, Сатана, изыди вон!“

Хоть и очень тихо я это сказала, а все-таки, должно быть, слова мои остановили Нечистого. Он вдруг перестал прядать, ослабил и выхватил мои зубы из стакана с водой, что стоит у меня в изголовье. Потом — вот ей-богу, не вру, как перед лицом Создателя, — поднялся он во весь рост на кровати и ну выде-

лывать всякие штуки с моими зубами: то сунет их в рот, то вытащит оттуда.

Говорю тебе, Тибби, это, наверно, меня и спасло. Как увидела я, что эта Мразь проделывает с моей двойной золотой челюстью, кровь у меня вскипела, стряхнула я с себя всю эту муть, села на постели и погрозила ему кулаком. „Ах ты, Мразь ты эдакая! — крикнула я. — Господь упрячет тебя назад в преисподнюю!“

Только он услышал имя Всевышнего — ну не мог же он испугаться моего кулака, — он как завизжит: вы бы, дорогая моя, от этого визга тут же окочурились. Да как бросится с криком и воем с постели. К счастью, я оставила дверь приоткрытой на цепочке: ночь была теплая и мне хотелось немножко подышать свежим воздухом. Он в эту дверь-то и вышел, а за ним адский пламень взвился; а я лежала, вся тряслась и только благодарила Провидение, что оно так милосердно спасло меня. Целую минуту я ни рукой, ни ногой не могла пошевелинуть. А когда я наконец встала, зажгла газ и принялась благодарить небо за то, что осталась цела и невредима, я увидела — Господи, спаси и помилуй! — я увидела — Господи, помоги мне пережить это! — я увидела знаете что? То, что наделал этот Окаянный.

Не думайте, что он украл мои челюсти, нет, слава богу, нет, и не сломал их. Но из черного умысла и мести кинул их под кровать да прямо в ночной сосуд».

ГЛАВА 17

На следующей неделе в четверг летние каникулы кончились. Кейт возобновила свои уроки в начальной школе, а я снова пошел в Академическую. Я живо помню этот день: дедушка ходил унылый, мрачнее тучи. Это свойство ни с того ни с сего впадать в такое

уныние, когда жизнь кажется серой и беспросветной, я унаследовал от него, и чем старше становился, тем чаще находила на меня тоска.

Жара стояла удручающая. Бабушка по-прежнему сидела запершись у себя в комнате; Мэрдок старался никому не попадаться на глаза; он потихоньку начал работать у мистера Далримпла в питомнике.

Дедушка не проявлял ни малейшего желания встретиться с приятелями; работы по переписке не было, — словом, оставалось только терпеть жару и папино дурное настроение. Старика изводили, к нему придирались. Только самый мелочный ум мог изобрести такое: не давать старику денег на табак. Я думаю, именно это и породило у дедушки мысль, которую он как-то высказал, уныло поглаживая пустую трубку:

— Ну к чему все это, мальчик... к чему?

Утром, одеваясь в своем уголке, я слышал, как папа ворчал за завтраком и всячески поносил старика; вдруг сверху спустилась мама.

— Дедушки нет у себя! — воскликнула она, и в голосе звучали изумление и беспокойство. — Куда он мог деваться?

Пауза. Сначала папа удивленно молчал, потом вскипел от возмущения:

— Ну, это уже последняя капля. Чтоб он был здесь к обеду, а не то я с ним разделаюсь!

Огорченный, но еще не очень тревожась, я отправился вместе с Гэвином в школу; тут мы узнали, что будем не только учиться в одном классе, но и сидеть рядом. Это обстоятельство, а также новые учебники, которые я бережно принес домой, чтобы мама обернула их, занимали меня весь день. Но когда вечером мы собрались к чаю, я понял, что произошло что-то серьезное: у мамы были красные глаза, а папа сидел подавленный.

— Он до сих пор так и не появлялся?

Мама горестно покачала головой.

Папа забарабанил пальцами по столу и принялся грызть поджаренный кусочек хлеба с такой яростью, точно это был не хлеб, а дедушкина голова.

Молчание. Тут в комнату вошел Мэрдок и робко заметил:

— А не случилось ли с ним что-нибудь?

Папа метнул на злополучного юношу гневный взгляд.

— Замолчи, болван. Все умничаешь не там, где надо.

Мэрдок скис; молчание стало просто мучительным; наконец папа не выдержал:

— М-да, и так-то это нелегкая обуза. А когда еще он, извольте ли видеть, не является домой и пьянствует где-то...

Замечание это вывело маму из себя, от возмущения на щеках ее вспыхнули яркие пятна.

— Ну откуда тебе известно, что он пьянствует?

Несколько растерявшись, папа уставился на нее.

— У несчастного старика нет ни гроша за душой, — продолжала мама. — Все над ним измываются, пьяницей называют. Как же, пьяница! Да с ним последнее время так обращались, что я нисколько не удивлюсь, если он наложил на себя руки... — И она заплакала.

Мэрдок поглядел на нас со скромным видом человека, который оказался прав, а Кейт подошла к маме, чтобы успокоить ее.

— Право же, папа, — заметила она с укоризной, — ты должен принять какие-то меры; ведь у него нет денег, так что он никак не мог закутить.

Лицо у папы было самое несчастное.

— И чтобы потом все соседи стали языком чесать... Только этого нам не доставало! — Он встал из-за стола. — Я велел своему штату смотреть в оба. Больше я ничего не могу сделать.

Папин «штат» состоял из долговязого помощника по имени Арчибальд Юпп, который с необычайным рвением и готовностью выполнял все, что ему приказывали, ибо надеялся со временем стать преемником папы, и тучного юноши, передвигавшегося с такой медлительностью, что рабочие Котельного завода и разные насмешливые юнцы прозвали его Скороходом. Я не очень-то верил, что их соединенные усилия могут принести какую-то пользу. Впрочем, вскоре мне пришлось убедиться, что я был не прав. Вспомнив, в каком отчаянии пребывал последнее время дедушка, я не на шутку забеспокоился.

Настало следующее утро — ни самого дедушки, ни следов его. Дом окутала гнетущая атмосфера напряженного ожидания. В полдень о дедушке по-прежнему ничего не было слышно, и тогда папа, ударив, но не слишком сильно, по столу ладонью, заявил тоном человека, оповещающего о своем решении:

— Надо телеграфировать Адаму!

Да, да, пусть приедет Адам, это самое правильное, самое разумное, что можно предпринять. Но телеграмма... Ох этот страшный вестник, к помощи которого почти не прибегали в этом доме, — здесь телеграмма представлялась носителем всяких дурных, чуть ли не роковых вестей. Отказавшись от услуг Мэрдока, мама надела шляпу и, слегка склонив, по обыкновению, голову набок, отправилась сама в Драмбакское почтовое отделение. Через час пришел ответ: «Буду завтра четверг три часа дня Адам».

Как это ни глупо, но мы сразу воспрянули духом — такой быстрый отклик, такое деловое отношение были весьма многообещающими. Мама положила телеграмму в ящик, специально отведенный для Адама, где она хранила его письма, школьные табели, старые конверты от жалованья и даже перевязанный ленточкой локон, и заметила:

— На Адама можно положиться.

На другой день перед приездом Адама мы узнали страшную весть. Я бродил по дому как неприкаянный, когда папа вдруг среди дня вернулся с работы. С ним пришел Арчи Юпп; он остался в передней, а папа пошел к маме и, помедлив немного, понуро, даже с сокрушенным видом сказал:

— Возьми себя в руки, мама. Нашли дедушкину шляпу... она плавала в пруду.

Юпп, до сих пор прятавший шляпу за спиной, показал нам свою находку; мы испуганно уставились на нее: жалкую, сплюсненную, насквозь мокрую.

— Она плавала в самом глубоком месте, миссис Лекки. Напротив лодочной станции. — Он говорил с льстивым соблезнованием. — Меня почему-то так и тянуло туда, казалось, что он там.

Я со страхом и с тоской смотрел на мокрую реликвию, а у мамы слезы потекли по щекам, когда она поняла, что означает эта находка.

— Да успокойтесь же, миссис Лекки, — старался утешить ее Арчи Юпп. — Ведь, может, ничего и не случилось... ровным счетом ничего.

Папа сходил в чуланчик за чаем для мамы. Он заботливо уговорил ее выпить чашку; ласково поглаживая по плечу, дождался, пока она выпьет, и ушел вместе с Арчи Юппом.

Днем приехал Адам — в полосатых брюках и черном сюртуке с серым галстуком, заколотым жемчужной булавкой, — и тотчас взялся за дело. Решительный и спокойный, он сел за стол и выслушал показания всех, даже мой невнятный рассказ о том, какой дедушка ходил мрачный, печальный и какие роковые слова он произнес. Адам сказал:

— Надо сообщить в полицию.

При этом зловещем слове в комнате воцарилось молчание.

— Но Адам... — запротестовал папа. — Мое положение...

— Дорогой отец, — холодно возразил Адам, — если старику взбрело в голову утопиться, не можешь же ты скрыть это. Я, конечно, ничего не предпрещаю. Но они, безусловно, будут спускать пруд.

Мама дрожала как осиновый лист.

— Но Адам! Неужели ты полагаешь, ты думаешь?..

Адам пожал плечами.

— Я не думаю, что он бросил шляпу в пруд шуток ради.

— Ох, Адам!..

— Сожалею, что вынужден говорить откровенно, мама. Я понимаю, каково тебе. Но в конце-то концов, кому нужна была такая жизнь? Я сейчас пойду повидаюсь с начальником полиции Мьюиром. К счастью, он мой приятель.

Адам последнее время курил бирманские сигары и теперь достал такую сигару из футляра крокодиловой кожи. Я смотрел на него, а у самого сердце разрывалось от горя; он же аккуратно сорвал желтую соломинку, которой была перевязана сигара, и закурил. Потом, взглянув на папу, с внушительным видом повернулся к маме.

— Хорошо, мама, очень хорошо, что я уговорил вас продлить страховку. Вот видите, что теперь получает-ся... кругленькая сумма, да еще прибыль. — Лево́й рукой он вытащил серебряный карандашик и принялся высчитывать что-то на скатерти. — Пять лет по три... да еще двадцать пять... ого, сто шестнадцать фунтов чистоганом.

— Не нужны мне эти деньги, — плача, сказала мама.

— Они будут очень кстати, — тихо заметил папа.

Я все острее ощущал свою утрату, горе душило меня; Адам же спрятал карандашик и поднялся.

— Я загляну и к Мак-Келлару в Строительное общество. Если возникнут какие-нибудь затруднения и нельзя будет немедленно получить деньги, он все уладит. Впрочем, я, пожалуй, приведу его сюда. Ты бы

приготовила нам чаек с чем-нибудь вкусеньким, мама. Что-нибудь основательное, вроде яиц всмятку и рубленого мяса. Надо угостить Мак-Келлара. Но только не накрывай стол в гостиной... подожди немного. — И он вышел.

Мама послушно принялась выполнять указания Адама; она сновала между кухней и чуланчиком, словно стараясь в хлопотах забыть о беде. Она напекла целую гору ячменных лепешек. Папа, который не терпел даже самых пустячных трат, сейчас уговаривал ее сделать еще и кекс, хотя для этого пришлось бы пожертвовать полудюжиной яиц. В воздухе стоял непривычный запах вкусных кушаний. Стол был накрыт лучшей скатертью, и на нем был расставлен парадный сервиз.

В пять часов Адам вернулся, потирая с довольным видом руки.

— Прежде всего они в понедельник начнут осушать пруд. Если, конечно, тело не всплывет к концу недели. И платить за это будет Общество гуманистов. Мьюир говорит, что этот пруд стал каким-то проклятым местом. За последние десять лет три утопленника и одно серьезное увечье на льду. Мак-Келлар придет только после семи. Ох и твердый же он орешек. Давай пить чай, мама.

Мы сели за стол, уставленный самыми вкусными кушаньями, какие я когда-либо ел в «Ломонд Вью»: тут было и мясо, и яйца, и ячменные лепешки, и кекс, и крепкий горячий чай.

— В такую минуту, — сказал папа, щедрым оком оглядывая стол, — мне ничего не жаль.

— Ты думаешь, он всплывет, Адам? — спросил Мэрдок, и в голосе его звучало болезненное любопытство.

— Мм, это еще неизвестно, — со знанием дела отвечал Адам. — По словам Мьюира, тело иногда само всплывает в течение сорока восьми часов. В нем ведь есть воздух. — (Мама содрогнулась и закрыла глаза.) — Тихо так всплывает, и всегда лицом книзу — вот лю-

бопытная штука. Но бывают и упрямые покойники: не хотят подниматься со дна, и все тут. Или их засосет песок, опутают водоросли — в пруду ведь полно водорослей, — и, хоть воздух выталкивает их наверх, всплыть они не могут. Мне говорили, что в таких случаях надо бросить в воду хлеб, начиненный ртутью; он пойдет ко дну как раз в том месте, где лежит покойник.

Я не мог больше этого вынести, передо мной вставало страшное видение — несчастный дедушка, опутанный зелеными водорослями, разбухший от долгого пребывания в воде. Внезапно кто-то позвонил у входной двери. Все насторожились: вошла Кейт, за нею Арчи Юпп.

— Извините за беспокойство... — Арчи скромно умолк, увидев, что семейство сидит за столом. — Но я решил, что вам не мешало бы знать... тут нашли еще одно доказательство.

Арчи вытер лоб; он, видимо, бежал со всех ног и был явно возбужден, хотя всем своим видом и стремился выразить глубокое сочувствие.

— Мистер Паркин, который дает лодки напрокат, припомнил, что поздно вечером в среду он ясно слышал всплеск как раз напротив причала, а сегодня днем он отправился на то место с багром. И выловил какую-то одежду; оказалось, мужской пиджак. Он отнес его в полицейский участок. Я только что видел его. Это пиджак мистера Гау.

Слезы снова хлынули из моих и так уже распухших глаз, мама, конечно, тоже заплакала — тихо, беззвучно.

Папа сделал благородный жест, приглашая гостя к столу.

— Присядь с нами и перекуси, Арчи.

Арчи с подобострастным видом придвинул себе стул. Принимая чашку из рук мамы, он шепнул папе:

— Слишком он на этот раз перебрал, мистер Лекки. К моему удивлению, папа нахмурился.

— Нет, Юпп, я не могу допустить, чтобы при мне так отзывались о нем. А сейчас это и вовсе неуместно. Все мы не без греха. И не такой уж он был плохой старик. Умел держаться с достоинством, ничего не скажешь. А с каким видом он шел по улице, размахивая палкой. — Он нагнулся, потрепал меня по плечу — не осуждая за то, что я шмыгал носом, нет, скорее одобряя, — и ласково проговорил: — Бедный мальчик... ты тоже очень любил его.

В эту минуту, как бы подтверждая наши опасения, у входной двери снова раздался звонок; все вздрогнули от неожиданности, хотя и ждали его. Наступила жуткая тишина — тишина уверенности; Кейт встала и снова пошла открывать. Вернулась она очень бледная, я еще никогда не видел ее такой.

— Ох, папа, — прошептала она, — это из полиции. Прсят тебя.

В приоткрытую дверь передней я заметил страшную фигуру краснорожего полисмена, торжественно стоявшего позади Кейт и вертевшего в руках фуражку.

Папа тотчас поднялся — бледный, но внушительный, и жестом пригласил Адама сопутствовать ему. Они вышли в переднюю и, желая оградить нас от переживаний, прикрыли за собой дверь в кухню, точно опустили занавес между зрителями и сценой. До нас доносилось лишь неясное бормотание; мы сидели в полном молчании, как если бы нас самих коснулся перст посланца смерти.

Прошло немало времени, прежде чем папа вернулся в комнату. Пауза. Затем Кейт, самая храбрая из нас, собралась с духом и спросила:

— Нашли они его?

— Да. — Папа говорил тихо и был еще бледнее прежнего. — Он у них.

— В мертвецкой? — еле выдохнул Мэрдок.

— Нет, — сказал папа, — в Ардфилланской тюрьме.

Он обвел нас остекленелым взглядом, нащупал стул и бессильно опустил на него.

— Он пьянствовал с бродячими ремесленниками в лесу... у причала завязалась драка, тут он потерял шляпу и пиджак... одному Богу известно, что он делал эти два дня... а кончил он в Ардфилланской тюрьме: его обвиняют в пьянстве, бесчинствах и нарушении закона. Адам пошел брать его на поруки.

Ночь уже спускалась на землю, когда Адам с дедушкой показались на дороге. Дедушка был без шляпы, в распахнутой на груди старой полицейской тужурке (вместо потерянного пиджака); шел он с гордым и в то же время смиренным видом; только глаза горели — единственная щель в броне, сквозь которую видно было, как он волнуется. Стоя у окна гостиной, я с тревогой поджидал дедушку и, как только взглянул на него, сразу бросился наверх в свое убежище — комнату старика.

Там я стал напряженно прислушиваться: вот отворилась входная дверь, затем последовала целая какофония звуков: тут был и голос Адама, громко отчитывавшего дедушку, и плач и причитания мамы, и папины горькие попреки, но ни слова, ни единого звука не было произнесено самим дедушкой.

Наконец он медленно поднялся наверх и вошел в свою комнату. Вид у него был весьма плачевный; он сильно оброс, и пахло от него как-то необычно и противно.

Метнув на меня быстрый взгляд, он заходил из угла в угол, безуспешно пытаясь что-то напевать и притворяясь, будто совсем спокоен. Потом он взял с постели свою потрепанную и все еще мокрую шляпу, которую мама задолго до его возвращения почтительно положила на подушку. Минуту он смотрел на нее, затем простодушно повернулся ко мне.

— Надо будет ее починить. Уж больно хороша шляпа.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 1

Густо разросшийся каштан был снова в цвету, а заходящее за горой солнце окрашивало небо в нежные тона, когда апрельским вечером 1910 года я вышел из здания Академической школы и, гордый и взволнованный, побежал домой. Во всяком случае, придется допустить, что это был я, хотя порой я сам себя не узнавал — какой-то незнакомец, неуклюжий незнакомец, да и только. Недавно утром, после моего самого раннего «объезда», выйдя от Бекстера, я бросил взгляд в зеркало у входа в парикмахерскую и увидел... что же я увидел? — передо мной был бледный нескладный подросток лет пятнадцати, непомерно высокий, сутуловатый, с тонкими запястьями и немного косолапыми ногами, мрачный и задумчивый, с незнакомым профилем юноши и носом взрослого человека, — я даже вздрогнул от удивления и болезненного неверия.

Но сейчас я думал не об этом, а только о своих поразительных способностях и был в полном упоении от слов, которые сказал мне мистер Рейд, прежде чем отпустить на короткие пасхальные каникулы. Джейсон, или «Язон», Рейд велел мне задержаться и сделал знак подойти к кафедре. Мой классный руководитель был человек молодой — ему было всего тридцать два года; от его коренастой фигуры веяло еле сдерживаемой энергией, верхнюю губу пересекал белый шрам, по обе стороны которого симметрично шли крошечные белые точки — следы швов. Этот шрам — оче-

видно, след операции по удалению «заячьей губы» — словно бы пригибал его нос книзу, отчего он казался приплюснутым, точно без хрящей, а ноздри — невероятно широкими; должно быть, поэтому и большие голубые глаза были выпучены — чуть не вылезали из орбит. Волосы у Рейда были мягкие, светлые, а кожа хоть и белая, но нечистая, потливая; он всегда был гладко выбрит, так как не хотел скрывать под усами изуродованную верхнюю губу, как бы поощряя и в то же время презирая жестокое любопытство обывателя. Недостаток этот становился еще более заметен, стоило ему только заговорить: звуки получались такие, как если бы он плашмя прикладывал язык к небу, и твердое «с» становилось похоже на «з»; от этого, собственно, и пошло его прозвище; родилось оно в тот день, когда мы начали изучать историю аргонавтов по третьей оде Пиндара и он взволнованно рассказывал нам о «Язоне».

— Шеннон! — Он барабанил пальцами, а я с обожанием смотрел на него. — Нельзя сказать, чтобы ты был уж совсем олух. — Так он обычно отзывался о своих учениках. — Я хочу сделать тебе одно предложение...

Когда я добрался до «Ломонд Вью», у меня все еще голова шла кругом от того нежданно-негаданного, что он мне сказал.

Мне хотелось побыть одному, сохранить от всех свою тайну, но дедушка подждал меня наверху; он сидел возле открытого окна перед доской с шашками, на которой уже были расставлены фигуры.

— Что это ты так задержался? — нетерпеливо спросил он.

— Да ничего. — Я стал невероятно скрытным. К тому же дедушка уже не был для меня героем гомеровских времен, а то, что мне сказал мистер Рейд, было слишком драгоценной тайной, чтобы «выболтать» ему.

Вообще говоря, дедушка изменился за это время куда меньше, чем я; он был по-прежнему крепким и энергичным, хотя в бороде его поубавилось меди, а на пиджаке появилось еще несколько пятен, посаженных по небрежности. Он еще не вступил в ту полосу своей жизни, о которой я буду с такою болью говорить потом, когда его выходки стали для меня просто проклятием. Недавно его закадычный друг Питер Дикки, страшась участи всеми брошенного старика, поселился в приюте для престарелых в Гленвуди. Это отрезвило дедушку; его всегда пугала старость, а уж слово «смерть» он и вовсе воспринимал как личное оскорбление. Сейчас же он выглядел еще на редкость бодро; он наслаждался ежегодной передышкой, которая наступала, когда бабушка отправлялась в Килмарнок. Словом, он переживал ту пору, которая называется «бабьим летом». Однако в данную минуту настроение у него было плохое: ему показалось, что я пытаюсь «увильнуть» от его любимой игры.

— Что это с тобой? Разомлел, точно кот на горячей печке!

Я махнул рукой и сел напротив него, а он, нахмурившись, сосредоточенно склонился над доской, мучительно обдумывая дальнейший ход и подготавливая мне западню, которую я без труда мог предвидеть; вот он с самым невинным видом передвинул пешку и, чтобы прикрыть эту явную хитрость, принялся вытряхивать табак из трубки, потом осмотрел мундштук и замурлыкал что-то себе под нос.

Я же, естественно, вовсе не думал об игре: все мои мысли сосредоточились на том чудесном предложении, которое сделал мне Джейсон и которое вселяло в меня новые надежды на будущее. Накануне окончания школы я, подобно большинству мальчиков, немало поломал голову над тем, что делать дальше. Я был честолюбив и хотя знал, кем хочу быть, однако обстоя-

тельства моей жизни складывались так, что, не препятствуя прямо моим стремлениям, они все же не давали особых надежд на то, что мне это удастся.

В классе я уже давно стал первым учеником и за это время прошел через руки многих учителей, которые, правда весьма неопределенно, предсказывали мне большие успехи. Был такой, например, мистер Ирвин, высокий, тощий, болезненный, у него всегда отчаянно болела голова от насморка; он уверил меня, что мне удаются сочинения на английском языке и в знак высокого мнения о них читал классу своим гнусавым голосом мои цветистые, высокопарные опусы на такие темы, как «Битва на море» или «Весенний день». Затем был мистер Колдуэлл, которого мальчики прозвали Култышкой из-за деревянной подпорки, поддерживавшей его высохшую ногу. Это был кроткий пожилой человек с плавными жестами и маленькой седой эспаньолкой; одевался он всегда в серое, точно священник, и жил в мире классиков; как-то раз он отвел меня в сторону и сказал, что из меня может выйти латинист, если я буду усердно заниматься. И другие педагоги, тоже из самых лучших побуждений, давали мне советы, притом самые противоречивые.

Но, лишь попав в руки Джейсона, я почувствовал к себе настоящий теплый интерес. Он первый обратил внимание на то, что я не на шутку увлечен естественными науками. Как хорошо я помню, с чего все началось: однажды летним днем в открытое окно классной комнаты влетели две бабочки — две обычные синие бабочки; мы все бросили заниматься и стали наблюдать за ними.

— А почему их две? — лениво спросил Джейсон Рейд, обращаясь в такой же мере к себе, как и к классу.

Молчание. Затем раздался мой скромный голос:

— Потому что они женихаются, сэр.

Джейсон устремил на меня иронический взгляд своих больших, навывкате глаз.

— Ты что же, олух этакий, считаешь, что у бабочек есть любовь?

— Конечно, сэр. Они за милую чуют своего суженого по особому запаху. Его выделяют подкожные железы, и похож он на запах вербены.

— Так, пошли дальше. — Джейсон говорил раздумчиво: он еще не был уверен в моих познаниях. — А скажите на милость, как же они чуют этот дивный аромат?

— На кончиках усиков у них имеются специальные узелки. — Я улыбнулся и, увлеченный своим любимым предметом, добавил: — Это еще что, сэр. Вот красный адмирал — у того вкусовые ощущения в лапках.

Класс грохнул от хохота. Но Джейсон мигом успокоил учеников:

— Тише, дурни! Этот олух кое-что знает, чего о многих из вас не скажешь. Продолжай, Шеннон. Ну а эти наши синенькие друзья, которые тут летают, могут они видеть друг друга или им непременно нужно почувствовать запах вербены?

— Как вам сказать, сэр, — краснея, начал я, — глаз бабочки устроен весьма любопытно. Он состоит примерно из трех тысяч глазков, и каждый имеет свою роговую оболочку, свой хрусталик и свою сетчатку. И хотя бабочки прекрасно различают цвета, они чрезвычайно близоруки: видят не дальше четырех футов...

Я запнулся, и Рейд не стал требовать от меня дальнейших пояснений, но по окончании урока, когда мы друг за дружкой выходили из класса, он еле заметно многозначительно улыбнулся мне — это была первая улыбка, которой он меня одарил, — и чуть слышно пробормотал:

— И как ни странно... никакого самодовольства.

С тех пор, поощряя мои успехи в биологии, он стал давать мне задания сверх программы по физике. А через несколько месяцев поручил мне лабораторную работу по исследованию взаимопроникновения

коллоидных растворов. Ничего удивительного, что я был предан ему собачьей преданностью одинокого мальчика и буквально глотал каждое слово, которое он произносил в классе; в подражание ему я даже задумчиво хмурился и слегка заикался, разговаривая с Гэвином.

За год до описываемого мною момента отец Гэвина перевел его из Академической школы в Ларчфилдский колледж. Это было для меня тяжким ударом. Хотя колледж находился в соседнем городке Ардфиллане, о том, чтобы попасть туда, обычные мальчишки и мечтать не могли: это было дорогое закрытое учебное заведение для избранных с интернатом; директор училища окончил Баллиол и был капитаном знаменитого клуба крикетистов в Лордсе! Несмотря на то что Гэвин очень скоро стал там всеобщим любимцем, мы по-прежнему были большими друзьями. Летними вечерами я брал велосипед мистера Рейда и мчался за пятнадцать миль посмотреть, как Гэвин защищает честь школы, а он, выбравшись из толпы восхвалявших его у финиша зрителей, без всякого стеснения уходил в дальний конец чудесной спортивной площадки, где, притаившись, поджидал его я, скромный чужак; он бросался подле меня на траву как был, в спортивной куртке и белых фланелевых брюках, и, покупывая травинку, спрашивал, почти не разжимая губ:

— Ну как у нас дома?

Хотя теперь дружба наша была горячее, чем прежде, и мы не расставались с Гэвином, когда он приезжал домой, тем не менее встречи наши перемежались долгими разлуками, а поскольку какого-нибудь второсортного приятеля я заводить не хотел, то я был всецело предоставлен сам себе и в полную меру проявлял свою болезненную склонность к уединению.

Я один бродил по окрестностям, уходя от дома за много миль. Я знал каждое гнездо, каждый кряж, каж-

дую тропку, проложенную овцами в Уинтонских горах. Я удил рыбу в разлившихся реках, ловил камбалу и сайду в лиманах возле устья. Я наносил на карту неразведанные болота за Кряжем ветров, покрытые торфяником и вереском. Все лесничие знали теперь меня и предоставляли мне редкую привилегию — право беспрепятственно бродить где угодно. Коллекции мои разрастались. У меня появились чрезвычайно редкие экземпляры. Например, отлично препарированная почкующаяся гидра — очень любопытная: наполовину растение, наполовину живое существо, от тела которого в определенное время отделяется яйцо; было у меня и несколько нигде не зарегистрированных видов пресноводных медуз, а также великолепная стрекоза, именуемая *Pantala flavescens*, которая, насколько я мог выяснить, до сих пор не была обнаружена в Северной Британии. Благодаря этим скитаниям я никогда не жалел, что не мог провести каникулы «у моря», куда многие мальчики так стремились летом; воображение уносило меня далеко от этих скучных курортов, и вересковые заросли высоко в горах превращались для меня в дикие пампасы или в равнины Татарии, по которым я осторожно продвигался, вглядываясь в далекий горизонт — а вдруг там появится... лама... или — увы! — какой-нибудь попавший в беду миссионер.

Да, приходится признаться в одном весьма печальном обстоятельстве: к этому времени я стал горячо верующим. Возможно, долгие часы одиночества укрепили во мне религиозный пыл. А скорее всего, объяснялось это особенностями моей натуры: встретив препятствие, я, точно лошадь, везущая воз, напрягался изо всех сил и тянул. Через день, хотя это было мне очень нелегко, я прислуживал канонику Рошу во время мессы. Я был в наилучших отношениях с монахинями и шествовал с кадилом за процессией, которая при свете мерцающих свечей тянулась вокруг монас-

тыря. В Великий пост я совершал чудеса самоистязания. Я горячо благодарил Всевышнего за то, что Он включил меня в число своей верной паствы, и испытывал величайшую жалость к тем несчастным мальчикам, которые исповедуют не одну со мной религию и, уж конечно, обречены на погибель. Меня охватывала дрожь при одной мысли о том, что, если бы Господь не был ко мне столь благостен, я мог бы родиться на свет пресвитерианцем или магометанином, и тогда у меня почти не было бы надежды на вечное спасение!

Хоть я и не намерен долго на этом останавливаться, должен все же сказать, что мои жертвы на алтарь религии отнюдь не кончились и в календаре были дни, которых я, право, боялся — не столько из чувства физического страха, сколько из страха перед исступлением, овладевавшим моим духом. Скажу честно: Ливенфорд, как большинство шотландских городков, являл собой подобие маленького Везувия нетерпимости. Протестанты ненавидели католиков, католики не выносили протестантов, и обе секты недолюбливали евреев (которые в большинстве своем были выходцами из Польши и жили небольшой безобидной общиной в Веннеле). В День святого Патрика, когда все гордо щеголяли в трилистниках, а древний орден гибернийцев шествовал, распустив знамена, по Главной улице позади трубачей с зелеными сумками через плечо, вражда между «голубыми» и «зелеными» разгоралась вовсю, выливаясь в неопишуемые издевательства и бесчисленные драки¹. Еще большее возбуждение царило двенадцатого июля, когда улицы заполняла про-

¹ 17 марта ирландское население празднует День святого Патрика — покровителя ирландцев, обращенных им в христианство в V в.; трилистник — национальная эмблема Ирландии; орден гибернийцев назван так в честь Гибернии — древней Ирландии, которую не смогли покорить даже могущественные римские завоеватели.

цессия членов Оранжевской ложи — ордена приверженцев великого и славного короля Вильгельма; они тоже шли с оркестром и знаменами, а впереди на белой лошади ехал человек в цилиндре и оранжевом переднике, отороченном золотом, и возглашал: «Конец папству, рабству, мошенничеству!», а толпа пела:

Эй, псы! Эй, псы, водой освященные!
Эй, псы, святой водой окропленные!..
Король Вильгельм весь папистский сброд
Сбросил в Бойне в водоворот¹.

Достаточно мне было приподнять шляпу, проходя мимо церкви Святых Ангелов, как кто-нибудь тотчас принимался меня высмеивать или издеваться надо мной; в дни же, когда на улицах кипела распря — особенно двенадцатого июля, — я бывал счастлив, если меня не избивали.

Но не подумайте, что я все время слонялся без дела, то отстаивая свою веру, то гоняясь за бабочками и умиленно преклоняясь перед святыми. Папа следил за тем, чтобы часы, свободные от школьных занятий, не пропадали у меня даром. С тех пор как я достиг того возраста, когда уже мог зарабатывать, он заставлял меня заниматься полезным трудом: в ту пору, о которой идет речь, я обязан был вставать каждое утро в шесть часов и на трехколесном велосипеде с фургончиком объезжать пустынные улицы, развозя свежие пирожки Бекстера еще не успевшему проснуться городку. Получая мое скромное жалованье, папа неизменно говорил, что теперь ему легче будет справиться с расходами: ведь кормить и содержать меня чего-то стоит, а потом, побледнев, взволнованно советовал маме еще

¹ 12 июля 1690 г. произошла знаменитая битва на реке Бойн между сторонниками короля-католика Якова II и протестантского короля Вильгельма Оранского, в результате которой победу одержали протестанты.

урезать траты, хотя они и так были сведены до минимума. В последнее же время папа и вовсе взял в свои руки оплату месячных счетов и приводил в отчаяние торговцев, выклянчивая у них скидку или уговаривая хоть немного сбавить цену, если он делал покупки сам. Когда речь заходила о приобретении чего-то «полезного», он всегда рад был это купить, особенно если сделка представлялась ему выгодной; однако обычно в самую последнюю минуту некий инстинкт удерживал его от покупки, и он приходил домой с пустыми руками, зато, как он торжествующе объявлял, с деньгами в кармане...

Но тут победоносный клич моего противника заставил меня спуститься с облаков на землю. Пока я грезил, дедушка успел снять с доски две мои последние пешки.

— Я знал, что обыграю тебя, — прокудахтал он. — А ведь тебя считают самым умным парнем в городе!

Я быстро поднялся, чтобы он не мог заметить и, следовательно, неправильно истолковать радостный блеск, загоревшийся в моих глазах.

ГЛАВА 2

Все еще взволнованный и возбужденный, я помчался вниз. Я был свободен до восьми часов вечера — на это время у меня была назначена особая встреча, которую я ни за что не согласился бы пропустить. Я хотел было пойти на дневную лекцию с диапозитивами, чтобы немного успокоиться, но в моем кармане, вернее, в кармане Мэрдока не было ни гроша: я настолько вырос, что уже мог носить старые костюмы Мэрдока, которые он давно выбросил, а мама их благоговейно хранила, пересыпанные нафталином, в ящике на чердаке.

Я направился в чуланчик, где мама, сбрызнув водой пересохшее белье, гладила его на доске; волосы и глаза у нее еще больше потускнели, лицо еще больше вытянулось, и по нему пролегли усталые морщины, но выражение его по-прежнему было мягким и терпеливым. Я стоял и смотрел на нее многозначительным взглядом, от волнения у меня перехватывало дух.

— Подожди, мама, — нежно сказал я. — Подожди, ну еще совсем немножко.

Она как-то хмуро и недоверчиво улыбнулась мне.

— Это чего же подождать? — спросила она и поднесла к щеке горячий утюг.

— Мм, видишь ли... — запинаясь, но с горячей убежденностью начал я. — Когда-нибудь я кое-что для тебя сделаю... И что-то очень большое.

— А сейчас сделаешь для меня кое-что? Что-то очень маленькое. Отнесешь Кейт записку?

— Конечно, мама.

Я часто носил записки от мамы (помогая ей сэкономить на почтовых марках) на другой конец города Кейт, которая жила теперь возле Барлон-Толла, или Мэрдоку, прочно устроившемуся в питомнике у мистера Далримпла; дела у него шли отлично, и он был явно доволен, что вырвался из «Ломонд Вью». В этих письмах была заключена частица мамы, они дышали ею: тут были и новости, и поручения, и увещевания, и даже просьбы; с терпеливым упорством она посылала их в неустанном желании сохранить единство семьи.

Я подождал, пока у нее остынет утюг. Затем она вышла на кухню и принесла запечатанный конверт.

— Ну вот. Хотелось бы мне послать ей несколько пирожков, да... — Она приподняла крышку с глиняного горшка и озабоченно заглянула внутрь. — Да только я, кажется, извела всю муку. Ну, передай им всем привет от меня.

Я вышел из дому. Путь мой лежал по Драмбакской дороге через городской сад, затем я свернул налево

и пошел вдоль ограды, за которой чернел массив Котельного завода; жизнь в нем частично уже замерла ввиду наступающего праздника, однако в глубине все еще мерцал свет, все еще угрожающе бился пульс.

Домик Кейт был одним из тех небольших новых коттеджей, которые начали строить по склонам зеленого холма на западной окраине города, близ старинных ворот, где раньше взимали въездную пошлину. Только я стал подниматься на холм, как еще издали увидел в горбатом переулке Кейт, катившую перед собой детскую коляску. Коляска была красивая, небесно-голубая, и Кейт любила возить в ней младенца на прогулку. Я убежден, что за неделю она отмеривала с этой коляской немало миль, возила ее по всему городу, заглядывала и в магазины, гуляла по Ноксхиллскому парку; по временам она останавливалась и, нагнувшись, с горделивым видом поправляла небесно-голубое одеяльце, в одном из уголков которого белым шелком было вышито «Н».

Я остановился и с умильной улыбкой принялся наблюдать за ней, а Кейт, не замечая меня, продолжала свой путь; она немного располнела и шла слегка наклонившись, улыбаясь и прищелкивая языком, не сводя глаз с младенца.

— Здравствуй, Кейт, — застенчиво пробормотал я, когда она уже почти прошла мимо.

— Боже мой, да никак это Роби! — дружелюбно приветствовала она меня. — Ах ты бедненький. А я иду и даже на дорогу не смотрю. И все из-за крошки. Знаешь, Роби, ты просто не поверишь: у малыша уже прорезается второй зубок и никаких капризов, прямо золото, а не ребенок... — Она снова нагнулась над коляской. — Крошечка ты моя дорогая, ненаглядная моя, мамин ягненок...

Ах, Кейт, милая Кейт, как ты счастлива со своим несравненным малышом. И подумать только, что когда-то тебе прописывали мандолину!

Домик Кейт, нарядный и чистенький, был оснащен современными удобствами — в нем постоянно была горячая и холодная вода; в воздухе носился острый запах краски и лака, указывавший на то, какой Кейт стала исправной хозяйкой. Брак ее оказался очень удачным, вопреки предсказаниям папы, который заявил, что она губит себя и свое будущее, только потому, что не хотел лишиться ее жалованья. Положив младенца в колыбельку, она поставила сковородку на «большую» газовую плиту, и вскоре воздух наполнил восхитительный аромат жарившегося с луком мяса.

— Ты останешься с нами закусить, — безоговорочно заявила она, ловко переворачивая ножом мясо и слегка откидывая назад голову, чтобы на нее не брызнул кипящий жир. — Джейми наверху принимает ванну. В последнее время он очень поздно возвращается домой, а то он, конечно, пошел бы с тобой на футбол. — (Подумать только, какой тактичной стала наша Кейт! Ведь такая была грубиянка!) — Он не заставит нас долго ждать. А ты, наверно, проголодался. — Говоря это, она метнула на меня быстрый взгляд и так же быстро отвела глаза.

Джейми спустился вниз, чистенький, благодушно настроенный; его мокрые волосы были тщательно расчесаны, на груди красовался ярко-красный клетчатый галстук.

— А-а, это ты, мальй. — Чувствительному сердцу эти несколько слов и еле заметный кивок казались куда теплее и задушевнее самых пылких заверений.

Мы сразу сели за стол. Бифштекс, большой кусок которого дала мне Кейт, был нежный и сочный; сытная еда сразу придала мне силы. А Джейми все подкладывал и подкладывал мне хрустящий лучок. На столе стояла тарелка с толстыми кусками горячего поджаренного хлеба и крепкий дымящийся чай.

Я думаю, Кейт и Джейми отлично знали, как экономно и скудно мы теперь жили. Особенно Джейми

уговаривал меня есть как следует, а когда я уже больше не мог проглотить ни куска, с укором посмотрел на меня.

— Как знаешь, малый, — просто сказал он.

Все мое детство в «Ломонд Вью» прошло под знаком чудовищного закона: надо беречь деньги, даже если для этого приходится жертвовать самым необходимым в жизни. Ах, если б можно было прожить без денег, без этого скопидомства, свойственного северянам, которые предпочитают сбережения в банке хорошему обеду в желудке и ставят аристократизм выше щедрости, — прожить без этой гнусной алчности, которая ослепляет нас!

Когда проблема денег особенно угнетала и мучила меня, я вспоминал о Джейми Нигге. Джейми никогда не жил в достатке, но свои заработанные тяжелым трудом деньги всегда тратил с толком — будь то на добрый бифштекс или на то, чтобы сводить одинокого ребенка на футбольный матч, а главное — в его руках деньги не казались чем-то грязным.

Когда мы допили чай, Джейми стал надо мной подшучивать; я убежден, что он не только с сочувствием, но и с тревогой смотрел на мою застенчивую грустную физиономию. Видя, что я чем-то взволнован, но не хочу этого показывать, он с самым серьезным видом заметил, обращаясь к Кейт:

— У профессора что-то на уме. Ох уж эти тихони и умники... никого хуже их нет.

Кейт кивнула и исподтишка улыбнулась мне, как бы советуя не обращать на него внимания.

— В тихом омуте черти водятся, — сказал Джейми. — От таких только и жди всяких чудес. Особенно если они хорошие прыгуны.

От этого тонкого намека на мой успех в последних спортивных состязаниях, которые проводились в школе, когда я прыгнул выше всех и получил приз, я так

и запылал, и хотя застенчиво опустил глаза, все же мне было радостно сознавать, что я поставил школьный рекорд на дюйм с четвертью выше, чем прежние. Но разве можно сравнить эту радость с тем пламенем, что вспыхнул во мне, когда Джейми намеренно небрежным тоном заметил:

— А вообще, если хочешь знать мое мнение, он влюблен.

Ах, это чистое, яркое пламя гордости, глубокое внутреннее сознание, что прав он! Все еще не поднимая глаз, я наслаждался теплой волной счастья, прихлынувшей к моему сердцу.

— Ну а как дела дома? — спросила Кейт, чтобы положить конец шуточкам Джейми.

Я быстро вытащил и вручил ей письмо мамы.

— Извините, пожалуйста, я и забыл о нем.

Кейт вскрыла письмо и дважды прочла его; к моему удивлению, лицо ее потемнело, а на лбу от гнева снова взбухли шишки, которые я считал навеки исчезнувшими. Она передала письмо Джейми, и тот в свою очередь молча прочел его.

— Да, плохи дела. У папы это стало настоящей болезнью.

Кейт попыталась отбросить, видимо, очень неприятную мысль. Джейми как-то странно посматривал на меня. Наступило неловкое молчание.

В эту минуту проснулся малыш, и Кейт, явно обрадовавшись возможности прервать тягостное молчание, положила его к себе на колени и стала кормить из бутылочки. На минуту — в знак особого благоволения — мне дали подержать это бесценное сокровище.

— А он тебя любит, — ободряюще сказала Кейт. — Подожди, у тебя самого скоро будет такой.

Я неуверенно улыбнулся. Страшный парадокс: я был влюблен, но не мог же я сказать ей о своем глубоко убеждении, что я обречен на бездетность; убеж-

дение это сложилось на основании некоторых явлений: ночью со мной случилось кое-что, не подлежащее оглашению.

Когда младенца снова положили в колыбельку, я сказал, что мне пора идти.

Кейт проводила меня до дверей. Теперь, когда мы были одни, она снова внимательно оглядела меня.

— Мама не сказала тебе, о чем она мне пишет?

— Нет, Кейт. — Я поднял голову и улыбнулся. — А вообще, должен тебе признаться, у меня сейчас голова занята кое-какими собственными делами.

— Плохими или хорошими? — спросила она, склонив набок голову.

— Конечно хорошими, Кейт... очень, по-моему, хорошими... Понимаешь, Кейт... — Я не договорил и густо покраснел, пристально вглядываясь в таинственный мрак ночи, испещренный туманными огнями; вдали засвистел паровоз, ему, словно эхо, вторил переливчатый гудок парохода на реке.

— Ну ладно, Роби. — Кейт покачала головой и натянуто улыбнулась. — Ты держи свои новости при себе, а я свои — при себе.

Я пожал ей руку и, не в силах сдержаться, опрометью кинулся бежать. Хоть я очень любил Кейт, но не ей первой сообщу я свою новость. С невидимой реки снова донесся протяжный гудок уходящего парохода, и я вздрогнул от неизъяснимого восторга.

ГЛАВА 3

Сердце мое пело, пока я шел домой по Драмбакской дороге; когда же я свернул на Синклер-драйв, узкую улочку, затененную молодыми липами, с которых опали цветы и, кружась, устилали желтым ковром тротуар, кровь застучала у меня в висках. Хотя в этих

знакомых местах не было ничего нового и они никогда в детстве не вызывали во мне волнения, а ветхие, старые домишки хранили все ту же безмятежность, что и в лучшие дни, теперь... ах, теперь таинственное и прелестное название улицы навеки врезалось мне в душу. Было почти восемь часов, когда мои недостойные ноги вновь ступили на эту дорогую моему сердцу улочку, сплошь устланную липовым цветом, и кровь быстрее побежала по жилам; я увидел свет сквозь ставни гостиной самого крайнего дома. Подойдя к нему поближе, я услышал голос Алисон: она пела.

В этот час она занималась пением; с некоторых пор она стала серьезно работать; о ее таланте говорил весь город. Сегодня она уже покончила с гаммами и упражнениями, — хоть мелодии в них и не было, эти чистые, точные звуки зачаровывали, как трели птиц. Сейчас она пела под аккомпанемент матери «Плач о Флодден» — простую шотландскую песню, подобную которой, казалось мне, трудно сыскать.

О милые девушки, слышал я песенки ваши простые,
Доили овец вы и пели всю ночь до рассвета.
Теперь вы вздыхаете тяжело — травы поникли густые,
Лесные цветы отцвели, увяли до нового лета.

Кристалльный колокольчик звенел в ночи такой чистый, такой нежный, что у меня захватило дух. Я закрыл глаза и увидел певицу; это была уже не девочка, с которой я так часто играл и которая бегала как угорелая, а высокая взрослая девушка; походка у нее стала неторопливая, и вела она себя сдержанно, с достоинством — чувством, которое еще только пробуждалось в ней. Я увидел ее такой, какой она предстала мне полгода тому назад, в тот удивительный день, когда вместе с другими девочками шла из раздевалки по школьному коридору; на ней был короткий синий тренировочный костюм, поверх белой блузки перекрещи-

вались ляжки, длинные крепкие ноги обтягивали черные чулки, а на ногах были черные гимнастические туфли. Как часто я проходил мимо нее, лишь наспех кивнув в знак приветствия! Но в этот раз, когда я вежливо отошел к стенке, чтобы пропустить группу девочек, Алисон, продолжая болтать с подружками, вдруг подняла руку к каштановым кудрям, ниспадавшим на ее тонкую шейку: бессознательный этот жест внезапно открыл мне скульптурную красоту ее молодой груди, а ее темные карие глаза, когда она проходила мимо, разгоряченная после упражнений, дружески-весело улыбнулись мне. Великий боже, что сделало со мной в одну минуту это небесное создание, на которое я до сих пор и внимания-то почти не обращал? Пьянящая теплота волнами разливалась по моему телу; потрясенный и очарованный, стоял я у стенки в пустом коридоре еще долго после того, как она ушла. Ах, Алисон, Алисон, твои спокойные карие глаза и белая, нежная шея пленили меня; вот и сейчас, сгорая от восторга, я стою под покровом ночи в густой тени лип и слушаю, пока последние звуки твоего голоса не улетят, трепетно взмахнув крылами, в небесную высь.

Когда она кончила петь, я очнулся и прошел в железную калитку. Сад был большой, тенистый, окруженный высокой стеной; по обе стороны подъездной аллеи раскинулись лужайки, опоясанные пышными кустами рододендронов. Хотя мать Алисон после смерти мужа не осталась без средств, она отнюдь не была богата и дом ее содержался не в столь образцовом порядке, как виллы на Драмбакской дороге. У подъезда я позвонил, и через минуту меня впустила Джейнет, пожилая горничная, служившая у миссис Кэйс свыше десяти лет; она смотрела на меня всегда с недоверием, характерным для старых преданных слуг, но я-то считал, что это недоверие распространяется только на меня. Она провела меня в гостиную, где Алисон уже

разложила учебники на столе, а миссис Кэйс, сидя в низком кресле у огня, трудилась над каким-то вышиванием — на коленях у нее лежал зеленый холщовый мешочек с нитками.

И какая же это была светлая приятная комната, а после уличной темноты она показалась мне и вовсе ослепительной; на стенах, оклеенных светлыми обоями, висели в белых деревянных рамах акварели миссис Кэйс; белые муслиновые занавески были задернуты, чтобы не было видно ставней. Два горшка с голубыми гиацинтами наполняли благоуханием воздух; на раскрытом рояле валялась шелковая шаль с кистями; мебель была в ситцевых чехлах. Отсветы камина играли на бенаресских безделушках, расставленных в горке с бронзовыми украшениями, где было собрано множество всяких милых пустячков, преимущественно из слоновой кости, вывезенных из Индии капитаном Кэйсом. На каминной доске торжественно шествовала выстроенная по росту процессия белых слонов.

— А, Роберт! Точен, как всегда. — Я стоял, моргая от яркого света, а миссис Кэйс продолжала, желая помочь мне преодолеть смущение: — Ну, как на улице?

— О, чудесно, миссис Кэйс, — запинаясь, пробормотал я. — Туман. Но звезды видно.

Она улыбнулась, а я взял стул и придвинул его к столу рядом с Алисон.

— Ты всегда будешь видеть звезды, Роберт. Ты ведь самый настоящий звездочет.

Мягкая улыбка осветила ее доброе, слегка ироническое лицо с запавшими щеками; я смущенно начал что-то объяснять Алисон, а ее мать — я это чувствовал — наблюдала за мной.

Миссис Кэйс была высокая, худощавая женщина лет тридцати пяти; одевалась она просто, но весь ее внешний облик свидетельствовал о хорошем воспитании и вкусе. Родилась она в известной всей округе

семье и после смерти мужа целиком посвятила себя воспитанию дочери: почти нигде не бывала, довольствуясь музыкой и дружбой с несколькими избранными людьми, среди которых числились мисс Джулия Блейр, миссис Маршалл — мать Луизы, так мучившей меня в детстве, и мой классный наставник Джейсон Рейд. Возможно, такая отшельническая жизнь объяснялась еще и тем, что миссис Кэйс была слабого здоровья; мне нередко почему-то казалось, что ее томный вид объяснялся мучительной головной болью. Тем не менее — главным образом, очевидно, ради Алисон — она скрывала свое недомогание или, пожимая плечами, мягко подшучивала над собой. Она была необычайно предана дочери, гордилась талантом Алисон и склонна была развивать его, но поскольку женщина она была умная и обладала ясной головой, то, должно быть, понимала, как опасно потакать собственническому инстинкту матери. А потому она убеждала Алисон, что необходимо иметь «подходящих» друзей своего возраста, и с самого начала, внимательнейшим образом приглядевшись ко мне и, должен признаться, подавив чувство некоторого удивления, стала поощрять мои посещения. Еще совсем мальчишкой я зачастил к ним; держался я невероятно скованно и, с трудом преодолевая груз проклятой застенчивости, играл в степенные, скучные игры с маленькой Алисон. На солнечной лужайке под приглушенные звуки рояля, долетавшие из открытого окна, или стук колес кареты, в которой миссис Маршалл ехала «пить чай» к матери Алисон, мы устраивали пикник для кукол или кормили золотых рыбок. Если на улице шел дождь, мы шли в дом, и настороженная Джейнет приносила нам хлеб с маслом, посыпанный шоколадной стружкой; мы садились за стол и, слушая, как дождь барабанит по стеклам, играли в викторину «Ответь на вопрос» — вытаскивали маленькие круглые карточки, на которых

напечатаны дурацкие вопросы, вроде «Триктрак — это старинная игра или нет?», и не менее глубокомысленные ответы: «Да, старинная, так как в нее играли еще друиды». Иногда к нам присоединялась Луиза; она неизменно выигрывала, положительно уничтожая меня своим презрением. Потом, когда мы подросли, мы с Алисон стали вместе «готовить домашние задания». При всей своей практичности она была слаба в математике, а я, до глупости мечтательный, неплохо преуспевал в этом предмете. И вот миссис Кэйс, опасаясь, что Алисон может не получить диплом об окончании средней школы, а без него ее не примут в Уинтонский музыкальный колледж, недавно предложила мне, чтобы я регулярно приходил и занимался с Алисон.

— Ну, чем ты собираешься заняться сегодня с моей отсталой и своенравной дочерью, Роберт? — с дружеской иронией спросила миссис Кэйс, не отрывая глаз от работы.

— Эвклидом, миссис Кэйс, — пробормотал я. — Теорема о сумме квадратов сторон прямоугольного треугольника... вы ее, конечно, знаете...

— Нет, не знаю, Роберт, но уверена, что ты знаешь. — Она произнесла это без тени улыбки, все еще пытаясь помочь мне преодолеть застенчивость. Она всегда старалась мне помочь, но только так, чтобы я этого не заметил, и исподволь выправляла те недочеты в моем поведении, которые я не мог выправить, читая книгу по этикету, взятую в общественной читальне специально для этой цели.

— Право же, глупо, мамочка, заставлять меня учить это, — спокойно заметила Алисон. — Все это так запутанно.

— Ну нет, Алисон, — поспешил возразить я. — Все очень логично. Надо только запомнить, что прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками, и все тринадцать томов Эвклида будут нипочем.

— А четырнадцатый том ты когда-нибудь, наверно, сам напишешь, Роберт, — заметила миссис Кэйс. — Или что-нибудь помудренее, вроде «Жизни жуков».

— И напишет, мама! — укоризненно воскликнула Алисон. — Ты знаешь, на прошлой неделе на уроке мистера Рейда он доказал, что в учебнике по алгебре дан неверный ответ.

Они обе улыбнулись, а я потупился от гордости и смущения; мне было приятно, что Алисон рассказала об этом матери, и низким, хрипловатым голосом я стал объяснять теорему.

Сидя рядом с ней так, что наши колени соприкасались под столом, я чувствовал, как у меня сладостно замирает сердце. Когда наши руки встречались на странице книги, блаженная дрожь пробежала по мне. Ее пушистые, рассыпавшиеся по плечам волосы, которые она время от времени нетерпеливым движением головы отбрасывала назад, казались мне чем-то божественно прекрасным. Я то и дело поглядывал на ее свежие щечки, на влажную нижнюю губку, когда, задумчиво хмурясь, она посасывала карандаш. Но слово «любовь» не приходило, просто не могло прийти мне в голову. Я лишь надеялся, что, быть может, нравлюсь ей. И я жил, говорил, улыбался, точно во сне.

Час пролетел с невероятной быстротой. Было почти девять. Миссис Кэйс подавила зевок, и я заметил, как она посмотрела на часы. Я не смел сказать вслух или хотя бы шепнуть Алисон о том, что было у меня на уме. Внезапно я взял дрожащей рукой кусок бумаги и написал:

«Алисон, я хочу поговорить с тобой. Проводи меня сегодня до дверей, хорошо?»

В глазах Алисон промелькнуло удивление, когда она прочла записку. Она взяла карандаш и написала:

«А зачем?»

Вздвогнув, я написал в ответ:

«Я хочу тебе что-то сказать».

Пауза, затем Алисон улыбнулась мне своей ясной, открытой улыбкой и твердой рукой написала:

«Хорошо».

Я затрепетал от радости. Боясь, как бы миссис Кэйс не поняла, что я обманываю ее доверие, я схватил записку, скомкал, сунул в рот и проглотил. В эту минуту в комнату вошла Джейнет, неся поднос, на котором стояли стаканы с молоком и сухое печенье — очевидное доказательство того, что урок по геометрии окончен.

Через десять минут я поднялся и пожелал доброй ночи миссис Кэйс. Верная своему обещанию, Алисон вышла со мной на крыльцо.

— А на дворе в самом деле хорошо. — Она спокойно, без тени волнения смотрела в ночной, пропитанный сыростью мрак. — Я пройду с тобой до калитки.

Мы шли по аллее, и я старался шагать как можно медленнее, чтобы продлить то жгучее блаженство, которое я испытывал от ее близости. Алисон держалась очень прямо и смотрела куда-то вперед. Когда мы проходили мимо темного, но такого знакомого куста сородины, она сорвала листок и смяла его в пальцах — в воздухе разлился приятный аромат.

Голова у меня кружилась, весь мир колебался. Мне стоило невероятного труда ровно дышать.

— Я слышал, как ты сегодня пела, Алисон.

Она, казалось, и не заметила банальности этих слов, сказанных дрожащим голосом; я же просто ужаснулся: какая это была грубая пародия на то, что подсказывала мне моя чистая, но испепеляющая страсть.

— Да, я всерьез занялась пением. Мисс Кремб начала разучивать со мной песни Шуберта. До чего же они хороши!

Песни Шуберта! Перед моим мысленным взором встал Рейн, замки по его берегам, мы с Алисон плывем

вниз по течению под горбатыми мостами на маленьком речном пароходике, выходим на берег у старой гостиницы, сад с маленькими столиками... Рассказал ли я ей все это? Нет. Я только прохрипел своим «ломающимся» голосом:

— Ты делаешь большие успехи, Алисон.

Она иронически усмехнулась и стала рассказывать о странностях своей учительницы пения, чрезвычайно требовательной и брюзгливой старой девы.

— Мисс Кремб очень трудно угодить!

Снова молчание. Вот мы и дошли до калитки, тут я должен расстаться с ней. Я увидел, что она украдкой вопрошающе взглянула на меня. А мною овладела какая-то слабость, сердце горело и трепетало. Я глубоко, прерывисто вдохнул воздух. Настала великая минута посвящения — минута, когда человек становится рыцарем.

— Алисон... Не думаю, конечно, чтоб это тебя очень интересовало... но сегодня со мной произошло нечто такое... Словом, мистер Рейд сказал мне, что я могу участвовать в конкурсе на стипендию Маршалла.

— Роби!

Новость эта так удивила и заинтересовала ее, что в волнении она назвала меня уменьшительным именем. Я стоял перед ней, сжав руки, на моих обычно бледных щеках пылал румянец; я видел, что она поняла, какое огромное значение имеет для меня то, о чем я по секрету наконец сообщил ей.

Стипендия Маршалла — это великая вещь, даже говорить о ней попусту не следует, никогда и ни при каких обстоятельствах. Это была стипендия в Уинтонском колледже, учрежденная сэром Джоном Маршаллом сто лет назад; получить ее мог только житель графства Уинтон, и выражалась она в огромной сумме — сто фунтов стерлингов ежегодно в течение пяти лет.

В ней нашла свое проявление страстная тяга шотландцев к прогрессу, просвещению, желание дать «местным ребятам» возможность выйти в люди. Великие мира сего впервые проявляли свое величие, завоевывая эту стипендию: как-то раз, когда умер один известный государственный деятель, уроженец Уинтона, чье имя почтительно произносили во всех уголках мира, высшей данью уважения, отданной ему, были несколько слов, глубокомысленно произнесенных его соотечественником, который когда-то учился с ним в Академической школе: «М-да... Помню тот день, когда он получил стипендию Маршалла».

— Никогда мне ее не видать, — сказал я тихо. — Но я хотел, чтобы ты первой знала, что я буду пытаться.

— Я думаю, у тебя есть все основания ее получить, — великодушно сказала Алисон. — А как изменится вся твоя жизнь, если ты ее получишь!

— Еще бы, — ответил я. — Все тогда будет иначе.

Я невидящим взглядом смотрел на нее. С языка моего готовы были сорваться слова любви и нежности. Но я не мог их выговорить. Волнуясь все больше и больше, я переступал с ноги на ногу.

— Надеюсь, мне можно не садиться за книги до конца каникул, — сказал я.

— О, я тоже надеюсь, — промолвила Алисон.

— В понедельник я уезжаю с Гэвином на Лох.

— В самом деле?

Воцарилось трепетное молчание.

— Ну, спокойной ночи, Алисон.

— Спокойной ночи, Роби.

Мы расстались внезапно и сухо. Вот я опять все испортил, как всегда. И тем не менее, когда я шел по Драмбакской дороге, мир представлялся мне по-прежнему прекрасным, по-прежнему полным чудесных обещаний.

ГЛАВА 4

Казалось, на этом сладостном свидании и должен был бы кончиться мой день. Но, увы, мне еще предстояло проделать странное и мучительное испытание, прежде чем лечь в постель. Сегодня это было «испытание Львиного моста». Хотя непривычное волнение чрезвычайно утомило меня, я заставил себя пройти, не останавливаясь, мимо «Ломонд Вью» и вышел на темную деревенскую дорогу, которая вела к мосту, отстоявшему в двух милях от городка. Разве мы не описали во всех подробностях, как бабушка укладывается спать? Тогда почему же мы должны щадить этого юнца, этого Роберта Шеннона? Ведь мы поставили себе целью правдиво обрисовать его, представить читателю со всеми его мечтами, стремлениями и безумствами, вскрыв его душу столь же безжалостно и беспристрастно, как он сам вскрывал несчастных *Rana temporaria* — лягушек?

Вечер стал еще холоднее и неприветливее. Когда я добрался до моста, мокрые облака наполовину скрыли луну, порывистый ветер трепал молодые листья. Застегнув на все пуговицы свой пиджак — вернее, не свой, а Мэрдока, — я подошел к самому краю моста. Он был старый и пересекал реку Ливен в том месте, где она спускалась с гор; с обеих сторон его окаймлял узкий каменный скат, образовавшийся над потоком три полукруглых пролета. У обоих берегов этот скат заканчивался каменной гаргульей, порядком пострадавшей от непогоды и наполовину искрошившейся, но все еще похожей на оскаленную львиную морду.

Вокруг не было ни души; я вскарабкался на скат, отстоявший высоко от земли, и, сделав глубокий вдох, пошел по узкому парапету. По мере того как я продвигался вперед, до меня все явственнее доносился снизу грохот невидимой воды. Но особенно страшно было

идти над пролетами. Мне казалось, что я нахожусь на краю глубокой черной пропасти, а скат, мост и весь мир вращаются и кружатся вокруг меня.

Высота вызывала у меня головокружение, а потому испытание это было самым страшным, какое я только мог для себя придумать. Но, наконец, я выполнил обет — прошел туда и обратно. Очутившись снова на твердой земле, я бессильно прислонился к ослабившемуся льву и закрыл глаза. Ничего удивительного, что царя зверей забавляло мое отчаяние. Безумие, настоящее безумие... И все-таки, когда ты беден и все тебя презирают, когда ты вздрагиваешь и краснеешь, если незнакомые люди вдруг рассмеются, проходя мимо, когда у тебя нервный тик и ты дергаешь головой и двигаешь ушами, то необходимо, ну просто необходимо доказать, хотя бы самому себе, что ты не трус.

Дорогой я немного успокоился. Дом наш был погружен в темноту: теперь не разрешалось оставлять даже самый слабый язычок газа в передней. Я на цыпочках поднялся по лестнице в ванную и тихо закрыл за собой дверь на крючок; с чрезвычайными предосторожностями, поскольку папа не разрешал тратить зря ни капли воды, я открыл кран и принял холодную ванну.

Вода была ледяная — у меня даже пальцы заломило, — и все-таки я разделся и лег в ванну; я лежал неподвижно, сжав зубы, пока все тело у меня не застыло и не потеряло чувствительности. Я делал это не для того, чтобы доказать самому себе свою доблесть, — нет, то была мера предосторожности, можно даже сказать, заклинание от пагубных мыслей, овладевающих человеком ночью.

На цыпочках поднялся я наверх. Теперь я жил в бывшей комнате Мэрдока, а он, когда переселялся сюда на несколько недель зимой, занимал более обширную и светлую комнату, в которой раньше жила Кейт.

Продрогнув до костей, почти не чувствуя ни рук, ни ног, я зажег огарок сальной свечи в эмалированном подсвечнике. Слабый свет ее, так же смутно, как и меня, озарил окружающие предметы: школьные премии — никому не нужные книжки в вычурных переплетах, среди которых было по крайней мере три экземпляра «Шотландских вождей» Портера, мой бесценный микроскоп и естествоведческие коллекции в картонных коробках, которые я сам склеил и которые ничего мне не стоили. На комод лежало все, что нужно для письма, а также книжка под названием «Как избавиться от застенчивости», добытая в общественной читальне.

Я взял ее и раскрыл на десятом упражнении.

«Встаньте спокойно перед зеркалом, — прочел я. — Скрестите руки и в упор посмотрите на свое изображение. Затем сузьте глаза — пусть ваш взгляд будет исполнен бесстрашия. Вы сильны, спокойны, хладнокровны. — Сейчас я был бесспорно хладнокровен. — Теперь сделайте глубокий вдох, резкий выдох и трижды повторите тихо, но внушительно: „Юлий Цезарь и Наполеон! Я буду таким, как вы! Буду!! Буду!!!“»

Я старательно выполнил все, что требовалось, хотя глаза у меня заслезились; их зеленый цвет даже немного огорчил меня. Затем я вырвал страницу из тетради, крупными буквами написал: «Я БУДУ ТАКИМ» — и приколот листок к стене, чтобы мой бесстрашный взгляд сразу упал на него, лишь только я проснусь. Затем я опустил на колени у кровати.

Молился я долго и путано, усилием воли не давая себе отвлекаться и адресуя свою мольбу не бородатому Богу моего детства, о котором я имел весьма смутное представление, а со всем пылом взывая к Христу Спасителю. Порой я виновато вспоминал про Отца и Сына и Святого Духа и спешил задобрить их. Но больше всего я раскрывал свою доверчивую душу Иисусу,

полагаясь на Его бесконечную любовь и доброту. А когда я думал о Его матери, чье лицо в последнее время почему-то стало очень похоже на лицо Алисон, мои закрытые глаза наполнялись слезами. Не забывал я и про святых. И без конца находил все новых и новых, которым хотел помолиться. А раз обратившись к ним с молитвой, не мог же я потом забыть про них — ведь они могли обидеться. Самым последним в моем все разбухавшем календаре недавно появился святой Антоний, покровитель юношества.

Но вот мы добрались и до завершающего акта, теперь можно и посмеяться; так часто возникает смех в театре там, где автор добивался лишь спокойного пафоса, правдивости, но либо не сумел этого добиться, либо был неверно понят. Давайте посмеемся и мы: оглянувшись назад, мы увидели бы долговязого дрожащего мальчишку, который, едва успев очистить свою простую душу переходом через мост и ледяной ванной, вдруг подходит к комоду и вытаскивает из тайника в глубине одного из ящичков некое странное сооружение, состоящее из веревки с привязанными к ней болтами, двумя тяжелыми дверными ключами, дверной ручкой и обломком конька. Быстрым привычным движением он обвязывается веревкой так, чтобы все эти неприятные металлические предметы оказались сзади. Таким образом, стоит ему повернуться на спину, то есть принять положение, наиболее способствующее сну, и он тотчас проснется. И вот он укладывается на бок, свернувшись калачиком под залатанной простыней. Задута свеча. Он совсем уподобился отшельнику: на его тощей шее болтаются четки, четыре настоящие чудесные медальки — одну благословил сам Господь, — а потом еще коричневая и голубая ладанки; если бы существовали розовые и сиреневые, он бы их тоже носил. Словом, он сделал все, что мог. И успокоенный

этой мыслью, он призывает младшего брата смерти — сон; однако, прежде чем заснуть, он успевает высказать последнее пожелание:

— О Великий Боже... прошу тебя, помоги мне получить стипендию Маршалла.

ГЛАВА 5

В каникулы утро наступает рано и радостно. В понедельник, еще прежде, чем белесое небо окрасилось румянцем, я тихо выскользнул из дома и стал поджидать на ливенфордском перекрестке Тома Дрина, который обещал подвезти меня в Ласс, — это ведь по пути к Лоху, а он ехал туда с товарами.

Том запоздал и был в плохом настроении. Он не должен был сегодня работать — ведь даже меня освободили от обязанности развозить пирожки, — но у Блейра на складе кончились все запасы. Я взобрался на плоскую телегу, где навалом лежали мешки с мукой, и мы тронулись в путь под равномерное цоканье лошадиных копыт.

На пустынных мощеных улицах еще чувствовалась свежесть утра. Женщина, вышедшая взять кувшин с молоком, оставленный молочником у двери, мужчина в одной рубашке, открывающий ставню верхнего окна, девушка, сонно выбивающая коврик у полуоткрытой двери, — все создавало впечатление, будто мы пустились в праздничное далекое путешествие. Я ехал на рыбную ловлю с Гэвином — последнее развлечение, которое я решил себе позволить, перед тем как засесть за книги и заняться зубрежкой во имя стипендии Маршалла.

Солнце взошло, но лучи его не пробили облаков. Это был один из тех тихих дней, полных серебристого мягкого света и тепла, когда звуки кажутся приглу-

шенными и как бы доносятся издалека, а в наступающей временами тишине, казалось, слышно, как растет трава. Круп лошади мягко вздымался и опускался между оглоблями, точно корабль; мимо проплывали окутанные туманом леса, парки; вот среди покрытых утренней дымкой деревьев промелькнул серый особняк с высокими трубами, террасами и оранжереями.

У черного хода больших загородных домов я помогал Тому сгружать мешки и фураж. Был он косматый, неуклюжий, и нередко ему порядком доставалось от какого-нибудь разгневанного грума, возмущенного тем, что его «заказ» неточно выполнен. Раз, подняв тяжелый ящик, мы обнаружили, что стофунтовый мешок с мукой, находившийся под ним, лопнул и все его содержимое высыпалось в щели между досками телеги. Том выругался, почесал в затылке и сказал мне, как бы желая загладить свой промах:

— Ничего, ничего. Все равно пойдет кому-то на пользу!

Когда мы, подпрыгивая на ухабах, въехали в Ласс, было уже за полдень, но Гэвин без всякого нетерпения поджидал меня, сидя на столбике у въезда в коротенькую деревенскую улочку. Он был в строгой форме своей школы для избранных — в серых фланелевых брюках и такой же куртке; на голове у него была мягкая, тоже серая, шапочка, какую носят крикетисты; лишь узенькая синяя с белым ленточка принятых в Ларчфилде цветов оживляла или, вернее, скрашивала ее однотонность. Трудно передать, сколько собственного достоинства было в этом поджидавшем меня мальчике — как и я, он очень вырос, но был все еще хрупкий, — сколько сдерживаемой, бессознательной гордости выражало это уже успевшее загореть лицо, оттененное небрежно натянутой на голову шапочкой. В крепком рукопожатии, которым мы обменялись, чувствовалась невысказанная радость.

— Боюсь, что до вечера никакой рыбной ловли не будет, — тихо заметил Гэвин, когда повозка, дребезжа, поехала дальше. — Ни малейшего ветра, да и день слишком яркий.

Мы пошли по тихой деревушке, раскинувшейся на берегу реки, мимо двойного ряда домиков — их тут было с десяток; низенькие, крытые соломой и выбеленные известкой, они тянулись вдоль короткой белой дороги, начинавшейся у подножия зеленого холма и заканчивавшейся на самом берегу отливавшего серебром Лоха. Фуксии и ползучие розы обвивали домики, теряясь в желтой соломе крыш. Фуксии уже зацвели и ярко-красным пологом прикрыли белые стены. В белой пыли мечтательно растянулся коричневый с подпалинами пес колли. В воздухе сладко жужжали пчелы. Сквозь легкое марево виднелся игрушечный деревянный причал с привязанными к нему лодками. Кругом была такая красота, что мы невольно обменялись нашим особым, полным тайного значения взглядом.

Пока не закатилось скрытое за облаками солнце, мы с Гэвином сидели на перевернутом боте возле лачуги, которую снимал на время рыбной ловли его отец, и разбирали снасти, изредка обмениваясь скупыми замечаниями, — так уж мы себя приучили. В семь часов, после того как миссис Глен, хозяйка лачуги, накормила нас горячими, прямо из печи, лепешками, свежими яйцами всмятку и густым молоком, мы перевернули бот и спустили его на воду. Было еще светло, но муаровые переливы Лоха предвещали скорое наступление сумерек. Я взялся за весла, вывел лодку на прохладную гладь озера, затем перестал грести и пустил лодку по течению: ее вынесло далеко на широкий простор, туда, откуда были видны высокие горы на обоих берегах. Постепенно дневной свет угасал, и вода из лиловой стала темно-красной, а мы перестали различать друг друга; потом с исчезающего в полумраке берега

донесся слабый звук волынки, точно где-то далеко пел человек, потерявший все, кроме души. Гэвин замер под влиянием нахлынувших на него чувств. Ничто, даже наши стоические клятвы, не могло нарушить очарование этой минуты и этих звуков, проникающих в душу. Скрытый от меня сгущающейся темнотой, Гэвин тихо заговорил:

— Насколько я понимаю, ты собираешься участвовать в конкурсе на стипендию Маршалла, Роби?

Я вздрогнул от неожиданности.

— Да... А откуда ты узнал?

— Миссис Кэйс рассказала моей сестре. — Гэвин помолчал, слышно было, как он тяжело дышит. — Я тоже хочу попытаться.

Я оторопело уставился на него: даже горы и те, казалось, разделяли мое смятение.

— Но Гэвин... тебе же не нужна стипендия!

Хотя в темноте мне это не было видно, но я почувствовал, что он нахмурился.

— Ты, конечно, удивишься сейчас. — Говорил он медленно, преодолевая смущение. — Последнее время дела моего отца пошатнулись. Когда человек покупает оптом — ну, к примеру, зерно или фураж, — он идет порой на большие потери. Не так все это просто, как некоторые думают... Я имею в виду тех, кто завидует отцу и хочет разорить его за то, что он, как они говорят, живет чересчур широко. — Он замолчал. — Мой отец не любит выставлять себя напоказ, Роби. Но ведь он мэр, а положение обязывает. — Более долгая пауза. — Он столько сделал для меня... так что теперь, когда у него затруднения с делами, мне бы хотелось сделать кое-что для него.

Я молчал. Я давно знал, что Гэвин обожает своего отца, и слышал, что у мэра не все благополучно с делами. Однако то, что нам с Гэвином придется оспаривать друг у друга стипендию, которую мне так хотелось

получить, было для меня неожиданным и тяжким ударом. Но прежде, чем я успел раскрыть рот, он снова заговорил:

— Ну какая тебе разница, если в этом конкурсе будет на одного умного мальчика больше? К тому же надо подумать и о чести города. Тебе, наверно, известно, что вот уже двенадцать лет стипендия достается ливенфордцу. — Он решительно перевел дух. — Один из нас должен получить ее.

— Скорей всего, это будешь ты, Гэвин, — еле выговорил я: ведь я отлично знал, какой он хороший ученик.

Мы не стали пылко превозносить друг друга, как делали это раньше. Гэвин мрачно сказал:

— Признаюсь, мне бы очень хотелось получить эту стипендию из-за отца. Но по-моему, у тебя больше шансов... мне тяжело это говорить, ведь я гордый... это, наверно, потому, что во мне шотландская кровь... и потому, что отец у меня чудесный. — Он помолчал. — А если ты получишь стипендию, ты будешь учиться на доктора?.. Или... — он понизил голос, точно боялся, что его кто-то подслушает, — ты по-прежнему хочешь быть священником?

Еще не вполне придя в себя от того, что он сказал мне, я тем не менее с достоинством встретил его вопрос. Гэвин был единственным человеком на свете, которому я мог открыть душу.

— Не думаю, чтобы из меня вышел хороший священник, — сказал я. — И должен сознаться, мне больше всего на свете хочется стать медиком-биологом, ну, знаешь, доктором, который ведет научные исследования. Правда, когда я думаю об отце Дамиане¹ или кюре из Арса, когда представляю себе, как они благо-

¹ Петр Дамиан (1007–1072) — католический святой, Учитель Церкви, богослов, кардинал.

словляли народ, я готов все бросить, даже отказаться от любви хорошей, красивой девушки. — Волна самоотречения захлестнула меня. — Да, в такие минуты мне хочется уйти куда-нибудь подальше и постараться стать великим святым: есть заплесневелую картошку, смотреть на деньги, как на сор — вот это было бы особенно здорово, — жить, отказывая себе во всем, распротершись перед алтарем в молитве. Хотел бы я, чтобы ты представил себе, Гэвин, как это замечательно, когда толпы людей подходят под твое благословение.

— Я вполне представляю это себе, — пробормотал несколько смущенно Гэвин. — Только... для тебя было бы страшным ударом, если бы причастие оказалось вовсе не тем, что ты думаешь. — И добавил: — Ну, скажем, просто хлебом.

— Да, — согласился я. — Это было бы ужасно. Но на молитве забываешь об этом. Молитва — это чудесная штука, Гэвин. Ты и представить себе не можешь, чего я добивался с помощью молитвы. Да и не только я, а сотни, десятки сотен других людей. Ты, конечно, знаешь миссис Рурк, у которой молочная лавочка. Так вот, папа собирался подать на нее в суд за то, что она продает разбавленное молоко. Я видел, как она молилась и молилась в церкви. И знаешь, Гэвин, бутылка с молоком, которую папа взял для пробы, лопнула. Да, прямо так и лопнула во время пробы. Такого с папой еще ни разу не случалось. — Я перевел дух. — Конечно, нельзя молиться об исполнении недостойных желаний. Говорят, например, что у мадам Помпадур были зеленые глаза и это было очень красиво, а ты знаешь, как я ненавижу цвет моих глаз, и все-таки я не могу молиться о том, чтобы они у меня стали другого цвета, — во всяком случае, за одну ночь это не может произойти.

— А ты будешь молиться о том, чтобы получить стипендию Маршалла? — сдавленным голосом спросил Гэвин.

— Да... боюсь, что буду, Гэвин. — Я опустил голову и, помолчав немного, добавил в порыве великодушия: — Но если мне не дано будет получить ее, я буду молиться, чтобы получил ее ты. Ты такой славный, Гэвин, совсем не похож на большинство жителей нашего городка и на моих родственников тоже... Ты же знаешь, с каким презрением они смотрят на католиков. Ну разве это не глупо? Совсем на днях каноник Рош показывал мне альманах, где написано, что среди католиков есть тридцать два герцога; подумать только — тридцать два герцога... а у нас в Ливенфорде только и слышишь... Ну да ладно. Но именно поэтому я и хочу добиться стипендии, хочу показать всем им, — в голосе моем зазвучала трагическая нотка, — что человек, которого презирают, может стать великим человеком... замечательным ученым... своего рода спасителем человечества... быть может, он примирит науку с религией... быть может, примирит все религии между собой.

И потрясенный этой грандиозной перспективой, я умолк.

— М-да... — медленно произнес Гэвин. — Чертовски скверно, что нам придется оспаривать друг у друга эту стипендию. Ничто, конечно, не должно стать между нами. Но борьба будет не на жизнь, а на смерть. — Он слабо усмехнулся. — Я ведь тоже знаю кое-какие молитвы...

Из бархатистой тьмы выплыла луна, прятая за горой, и мягким светом озарила воды, заиграла на их зыбучей черной поверхности. Мы подплыли к берегу, деревья стояли темные, неподвижные, точно плюмажи у лошадей на похоронах некоего бога. Нет, это были не плюмажи, а просто деревья... деревья, росшие на затихшей прекрасной земле, купавшиеся в первых сумерках мироздания.

Вдруг в чернильном мелководье плеснула невидимая рыба, и настроение наше тотчас изменилось.

Я смутно увидел, как Гэвин потянулся за удочкой, услышал, как он прошептал:

— Наконец-то хоть одна попалась.

Я тихо вел лодку вдоль берега, бесшумно опуская в воду весла. Затаив дыхание, следил я, как Гэвин разматывает леску; он сидел выпрямившись, совсем неподвижно, только правая рука медленно, ритмично двигалась. Вот мелькнула удочка, блеснула мокрая леска, прорезая тьму серебристой дугой, и где-то далеко бесшумно погрузилась в воду.

Вдруг еще один всплеск, погромче, и, вздрогнув от возбуждения, я увидел, как конец удочки Гэвина согнулся, точно натянутый лук, почувствовал, как задрожали от напряжения его руки. В тишине застрекотало колесико, и я услышал голос Гэвина, прошептавшего сквозь стиснутые зубы:

— Держи лодку подальше, Роби. Нельзя, чтобы она ушла под дно.

Рыба прыгала и металась как сумасшедшая в жидкой черноте, а когда она выскакивала на поверхность, вместе с ней взлетал сноп драгоценных камней. Гребя в противоположную сторону от того места, где плясал конец удочки Гэвина, я всячески старался держать лодку так, чтобы рыба не могла уйти под наш киль. Теперь уже не было нужды соблюдать тишину. Я бил веслами по воде так же неистово, как билась рыба. Каждый новый ее рывок заставлял меня яростно нажимать на весла.

— Отлично, — задыхаясь, бормотал Гэвин. — Ведь это лосось. И немаленький. — И через минуту: — Подними весла.

Рыба боролась с такою силой, что казалось, вот-вот она оторвет Гэвину руки, а он, хотя и знал, какая тонкая нить связывает его с нею, не уступал ей ни дюйма.

Медленно, осторожно стал он сматывать леску. Луна высветила его сильное тело и юное решительное

лицо, в которое я впился горящим взглядом, ожидая новых приказаний.

Лосось теперь меньше метался, Гэвин подтягивал его к лодке.

— Я уже вижу его, — сказал Гэвин тихим охрипшим голосом. — Совсем детеныш. Доставай ведро. Оно вон там, под сиденьем.

Я присел и потянулся за ведром, но нога у меня поскользнулась на мокрых досках, и я во весь рост грохнулся на сиденье, ободрав себе подбородок и чуть не перевернув лодку.

Гэвин не произнес ни слова, даже не попрекнул меня за неуклюжесть. И только когда я поднялся, а лодка перестала качаться, он спросил:

— Нашел ведро?

— Да, Гэвин.

Пауза. Все так же тихо, но с возрастающим волнением в голосе Гэвин прошептал:

— Мы его только слегка зацепили. Крючок выходит у самого рта. Все дело в удаче. Возьми нож и, когда я вытащу рыбу, осторожно всади его ей под жабры, только не с размаху.

В волнении я взял нож и опустил на колени. Теперь и я увидел лосося: он был глубоко под водой, большой и блестящий, такой большой, что я даже струсил. Никогда в жизни не багрив я такой рыбы. Предательская это штука — багрить. Гэвин, которому частенько приходилось браться за багор во время рыбной ловли с отцом, рассказывал мне, сколько они теряли лососей в эту последнюю, самую ответственную минуту. Меня била дрожь, перед глазами поплыли круги. И уши стали противно дергаться.

Вот рыба ближе... еще ближе... теперь до нее уже можно дотронуться. Мне вдруг стало страшно, захотелось с размаху ударить ножом по этому скользкому

существо. И все-таки, побледнев как мертвец, дрожа от озноба, я дождался, пока Гэвин перевернул рыбу, и только тогда всадил нож ей под жабры и положил на край борта. Теперь и Гэвин опустился рядом со мной на колени. Луна безмятежно плыла высоко в ночном небе, озаряя двух мальчиков; они сидели, прижавшись друг к другу, и молча упивались созерцанием благородной рыбы, которая, поблескивая, извивалась на дне лодки.

А у меня, пока мы глядели на поверженного лосося, вдруг больно сжалось сердце. И я подумал:

«Гэвин или я... Один из нас будет побежден».

ГЛАВА 6

На следующее утро мы долго спали на раскладных койках в домике рыбака, а после завтрака, который подала нам миссис Глен, Гэвин взял отцовский охотничий нож и при ярком солнечном свете разрезал за домиком лосося ровно пополам. Крепкое розовое мясо, пересеченное хребтиной, белевшей, как жемчужина, указывало на то, что рыба превосходная.

— Кинем жребий, — сказал Гэвин. — Это будет почетному. В каждом куске, по-моему, по шесть фунтов, но хвостовая часть лучше.

Он подбросил в воздух шестипенсовик, и монета упала так, как я предсказал.

Гэвин великодушно улыбнулся.

— Запомни: варить ее надо не больше двадцати минут. Вкусно будет так, что пальчики оближешь.

Каждый из нас завернул свой кусок в листья камыша и положил в корзину, привязанную позади седла, к багажнику. Затем мы попрощались с миссис Глен и взгромоздились на велосипед. Гэвин сел за руль, а я при-

мостился сзади. Всю дорогу до Ливенфорда мы по очереди крутили педали, деля между собою труд точно так же, как поделили рыбу.

Было как раз время обеда, когда я прибыл в «Ломонд Вью», и папа с мамой уже сидели за столом на кухне. Я сознавал, что пролоботрясничал, но надеялся на снисхождение: этот кусок драгоценного лосося, которого, по выражению мамы, нам «хватит» по крайней мере на несколько дней, уж конечно, поможет мне восстановить мир.

— Где это ты пропадал? — Папа казался каким-то маленьким на своем стуле с продавленными пружинами, и голос у него звучал сдержанно, бесцветно; он теперь всегда так говорит, и началось это, пожалуй, несколько месяцев назад, с того утра, когда он с каким-то странным видом отказался от яйца всмятку за завтраком и решительно объявил маме: «Пожалуйста, перестань подавать мне свою „гастрономию“. Мы слишком много едим. Да и тебе, по словам врачей, тяжелая пища вредна».

— Я же говорила тебе, папа, — вмешалась сейчас мама. — Роби был на Лохе. Он предупреждал, что, возможно, не вернется ночевать.

Я поспешно положил свой сверток на стол.

— Посмотрите, что я принес вам. Гэвин ее поймал, а я забагрил.

Мама развернула камышовые листья. И радостно и удивленно воскликнула:

— Какой же ты молодец, Роби!

Упоенный ее похвалой, я надеялся, что услышу хоть слово и от папы. А он смотрел на рыбу каким-то странно отсутствующим и в то же время зачарованным взглядом. Он принадлежал к людям, которые не то что смеются, но и улыбаются-то редко; однако сейчас некое подобие бледной улыбки озарило его лицо.

— Недурной кусок. — Он помолчал. — Но нам-то на что лосось? Слишком он жирный. От него только желудки расстроятся. — И добавил: — Снеси его сегодня же к Дональдсону.

— Ох нет, папа, не надо. — Глаза у мамы затуманились, лоб перерезали морщины. — Оставим себе хоть несколько кусочков.

— Отнести надо все, — рассеянно заметил папа. — Лососина — редкая рыба. Цена на нее доходит до трех шиллингов шести пенсов за фунт; есть, видно, сумасшедшие, которые платят такие деньги. Дональдсон даст нам по крайней мере полкроны за фунт.

Я был потрясен. Взять эту чудесную лососину, которая так скрасила бы наш скудный стол, и продать торговцу рыбой! Нет, не может быть, чтобы папа сказал это всерьез. Но он уже снова принялся за еду, а мама, нервно поджав губы, заметила мне, передавая тарелку, на которую она выложила из кастрюли остатки картофельной запеканки:

— Возьми свой завтрак, дружок. И садись.

Днем я отнес рыбу Дональдсону в его лавку на Главной улице. С несчастным видом протянул я мою завернутую в камыш ношу дородному, краснорожему мистеру Дональдсону в синем полосатом переднике, белой куртке и черной соломенной шляпе. Я не обладал никакими коммерческими способностями и совершенно не умел торговаться, но папа явно не преминул «заглянуть» сюда по пути в свою контору, потому что мистер Дональдсон молча положил лососину на белые эмалированные весы. Ровно шесть фунтов. У Гэвина был точный глазомер. Дородный торговец, поглаживая ус, как-то странно смотрел на меня.

— Ты выловил его в Лохе?

Я кивнул.

— И он здорово тебя помотал?

— Да. — Я вспомнил о прошедшей ночи, о Лохе под лунным светом, о товарище, который сидел со мной рядом, о битве с лососем, которую мы выдержали, и опустил глаза.

Дональдсон вышел из кассы, помещавшейся в глубине лавки за небольшой стеклянной перегородкой, и сказал:

— Шесть фунтов по полкроны за фунт составляет ровно пятнадцать шиллингов. Пятнадцать серебряных монет, молодой человек. Передай их мистеру Лекки вместе с моей благодарностью.

Он стоял и смотрел мне вслед, пока я не вышел из лавки.

Как только папа вернулся вечером домой, я вручил ему деньги, которые весь день оттягивали мне карман. Он кивнул и пересыпал монеты в кожаный мешочек: папа отлично разбирался в монетах разных достоинств.

За чаем он был в преотличном расположении духа. Он сообщил маме, что по пути домой встретил мистера Клегхорна. Управляющий водопроводным хозяйством выглядит очень плохо, прямо на ладан дышит: говорят, у него камни в почках. Можно не сомневаться, что «если он и не отправится к праотцам», то отставка его, конечно, не за горами.

Папа как-то необычайно весело обсуждал возможность скорой смерти мистера Клегхорна. Поднимаясь из-за стола, он сказал:

— Пройдем в гостиную, Роберт. Мне нужно с тобой поговорить.

Мы сели в этой нежилой комнате у окна, на котором стояла ваза с высохшим испанским камышом и висели тюлевые занавески. На улице зеленые ветви каштана метались на ветру, точно взбесившиеся лошади.

Поджав бледные губы и соединив концы пальцев, папа задумчивым, добрым взглядом изучал меня.

— Ты становишься совсем взрослым, Роберт. У тебя хорошие успехи в школе. Я вполне доволен тобой.

Я покраснел — папа не часто хвалил меня. А он продолжал:

— Надеюсь, ты понимаешь, что мы правильно тебя воспитали?

— О да, папа. Я бесконечно благодарен вам за все.

— Сегодня к нам в контору заходил мистер Рейд, ему надо было подписать одну бумагу. Он долго говорил со мной о твоём будущем. — Папа откашлялся. — У тебя самого есть какие-нибудь планы на этот счет?

Сердце мое готово было выпрыгнуть из груди.

— Мистер Рейд, наверно, рассказал вам, папа. Я... я готов отдать что угодно, лишь бы изучать медицину в Уинтонском университете.

Папа сразу как-то весь сжался, прямо на глазах стал меньше. Быть может, он просто глубже ушел в кресло. Принужденно улыбнувшись, он заметил:

— Ты же знаешь, Роберт, что мы не куем деньги.

— Но папа... Разве мистер Рейд не говорил вам насчет стипендии Маршалла?

— Говорил, Роберт. — На бледных, почти прозрачных щеках папы вспыхнули пятна румянца; он впился в меня суровым взглядом, словно всей силой своего возмущения хотел спасти от иллюзий. — И я сказал ему, что крайне неразумно давать тебе повод для всяких необоснованных надежд. Мистер Рейд слишком много на себя берет, к тому же мне не нравятся его радикальные взгляды. Разве можно ручаться за исход каких бы то ни было экзаменов? Опыт Мэрдока показывает, что нельзя. Да еще за экзамены на стипендию Маршалла! Ведь конкурс огромный. Откровенно говоря — ты, конечно, на меня не обижайся, — я не верю, чтобы тебе удалось получить эту стипендию.

— Но вы хоть разрешите мне попытаться, — охваченный внезапной тревогой, пролепетал я.

Худое лицо папы еще больше заострилось. Он отвернулся от меня и посмотрел в окно.

— В твоих же интересах я не могу этого допустить, Роберт. Ты только зря забьешь себе голову. Даже если ты и получишь эту стипендию, то еще целых пять лет не сможешь давать мне ни пенни, а разве я вытяну? Мы и так порядком на тебя издержались. Пора бы начать нам оплачивать.

— Но папа... — отчаянно взмолился было я и тут же умолк: я почувствовал, как кровь отхлынула от моего лица и меня стало подташнивать. Мне хотелось объяснить ему, что я вдвойне за все заплачу, если только он позволит мне держать экзамен; хотелось сказать, что, если у меня не хватит дарования, я возьму свое упорным трудом. Но я сидел совершенно уничтоженный и молчал. Я знал, что все мои доводы бесполезны: папу не переспоришь. Подобно большинству слабохарактерных людей, он упорно держался за раз принятое решение. Поступал он так не потому, что хотел мне зла, — он ведь никогда не повысил на меня голоса и положительно гордился тем, что ни разу в жизни пальцем меня не тронул. Но неведомые силы, державшие папу в своей власти, внушили ему, что «так будет лучше».

— Должен тебе сказать, — успокоительно продолжал он, — что я говорил на прошлой неделе по поводу тебя со старшим табельщиком. Если ты этим летом поступишь на Котельный завод, то еще до совершеннолетия будешь иметь профессию. И все время будешь прилично зарабатывать, а значит, и мне поможешь содержать дом. Разве это не самый разумный для тебя выход?

Я пробормотал что-то нечленораздельное. У меня не было никакого влечения к технике, да к тому же я едва ли подходил для трехгодичного обучения в литейном цехе. Но даже если папа и был прав, никакими в мире рассуждениями нельзя было утишить горечь и боль, терзавшие мою душу.

Папа поднялся с кресла.

— Ты, конечно, разочарован. — Он вздохнул, потрепал меня по плечу и, уже выходя из комнаты, добавил: — Нищим не дано право выбора, мой мальчик.

А я продолжал сидеть повесив голову. Папа уже обо всем договорился на Котельном заводе, об этом, очевидно, мама и сообщала Кейт в своем письме. Я вспомнил про свои радужные надежды, про то, как я рассказывал о них Алисон и Гэвину, про весь этот карточный домик, который я построил, — и у меня защекотало в носу. Я застонал.

Я хотел стать Юлием Цезарем или Наполеоном. А остался по-прежнему самим собой.

ГЛАВА 7

Дни медленно шли за днями. Я был в отчаянии. В четверг, незадолго до конца пасхальных каникул, я подстригал траву на лужайке за домом миссис Босомли: папа договорился с нашей соседкой, что я за шиллинг в месяц буду приводить в порядок и подстригать ее газоны. Этот мой мизерный заработок не выплачивался папе — несолидно все-таки получать такие гроши, — но, поскольку миссис Босомли принадлежал не только дом, в котором она жила, а также и наш (эта двойная собственность была оставлена ей в наследство покойным мужем), папа старательно все записывал себе в книжечку и каждый квартал, выписывая чек, вычитал мой гонорар из той суммы, которую ему полагалось платить за аренду.

Сегодня, после того как я кончил работу и убрал машину для стрижки травы, миссис Босомли позвала меня из окна, а когда я зашел, поставила передо мной кусок холодного яблочного пирога и чашку чая.

Сев напротив, она налила себе очень крепкого чаю, который пила без сахара, и с явным неодобрением при-

нялась меня рассматривать. Она стала еще дороднее и пышнее; лицо ее, с сеткой красных прожилок на щеках, выглядело помятым и усталым, как у старого боксера, но глаза по-прежнему блестели, а на губах играла насмешливая улыбка, свидетельствующая о живости ее натуры.

— Послушай, Роберт, — сказала она наконец, — не хотелось огорчать тебя, но придется сказать, что ты все больше и больше становишься похож на лошадь.

— Правда, миссис Босомли? — уныло пробормотал я.

Она кивнула.

— Ты только посмотри на свое лицо. Оно у тебя с каждым днем становится все длиннее. Ну скажи мне, ради бога, почему ты такой печальный?

— Я, наверно, от природы такой, миссис Босомли.

— Тебе что же, нравится быть несчастным?

— Нет... — Я поперхнулся пирогом, хотя он был вовсе не сухой, а насквозь пропитанный яблочным соком. — Не всегда, миссис Босомли. Иной раз мне бывает грустно и весело в одно и то же время.

— А сейчас тебе и грустно и весело?

— Нет... Сейчас мне, пожалуй, просто грустно.

Миссис Босомли покачала головой и закурила сигарету.

Она курила так много, что кончики ее пальцев побурели от никотина, — одна из особенностей, отличавших ее от остальных обитателей Драмбакской дороги. О ней ходили самые разные слухи, но общественное мнение, видимо, нимало не волновало ее. Она была чудаковатая, вспыльчивая, добрая. Мэрдок рассказывал мне, что в свое время она отчаянно ссорилась с мужем и швыряла в него посудой — Мэрдок все это слышал сквозь стенку, — а через минуту уже гуляла с ним по саду, называла ласковыми именами, обнимала.

Внезапно она наклонилась ко мне.

— Дай-ка мне твою чашку, попробую узнать, не улыбнется ли тебе счастье, — а вдруг тебя ждет что-то радостное.

Она медленно вертела пустую чашку, зажав сигарету в углу рта, чтобы дым не ел глаза, и внимательно рассматривала чайники на дне. Она отлично разбира-лась в расположении чайнок, разгадывала сны, читала по линиям рук, а также могла предсказать судьбу по картам.

— Оч... очень интересно. Твой цвет — зеленый... нежного оттенка. Надо держаться ближе к полям и лесам — там тебя ждет удача. Но только не задерживайся там допоздна, пока не будешь старше. По отношению к слабому полу ты горяч и ревнив. Ага! Это еще что такое? Да, конечно! Ты встретишь прелестную брюнетку, хорошо сложенную, когда тебе исполнится двадцать один год. — Она подняла голову. — Ну как, настроение не стало лучше?

— Боюсь, что нет, миссис Босомли.

— Это будет женщина необыкновенно нежная... испанского типа... рыжие — ее слабость.

Но я лишь покраснел. Миссис Босомли поставила чашку на стол и рассмеялась.

— О господи, дорогой мой мальчик, у меня вся душа изболелась за тебя. Ну что тебя так мучает?

— Да ничего особенного, — вяло ответил я.

— Вижу, из тебя ничего не вытянешь. — Она собрала посуду со стола и поднялась. — Почему бы тебе не поговорить по душам с твоим дедушкой? — В тоне ее прозвучала слегка застенчивая нотка: она, видимо, всегда была чрезвычайно высокого мнения о нем. — Пусть о нем говорят что угодно, но мистер Гау замечательный человек.

К несчастью, я уже не разделял ее точки зрения. Я по-прежнему любил дедушку, но те дни, когда я прибегал к нему со всеми своими детскими горестями,

давно прошли. К тому же я приобрел способность прятать, точно улитка, свои печали и в стоическом одиночестве сражаться с ними, подобно тому как борется моллюск со своим жемчужным раздражителем. Я даже не мог заставить себя поговорить с мамой, которая с тревогой и огорчением смотрела на меня: быть может, я понимал, что словами делу не поможешь.

Однако миссис Босомли явно «перекинулась словом» с дедушкой, так как на следующий же день он отвел меня в сторону и заставил рассказать, в чем дело.

Я долго буду помнить выражение, появившееся на его лице, пока он слушал меня, — глаза у него затуманились, и он сощурился, точно от боли. Он немало в своей жизни нагрешил, наделал уйму глупостей и нередко сходил с пути истинного, но мелочная скаредность была чужда ему — он просто этого не понимал. С поистине величественным видом он взял шляпу и палку.

— Пойдем, дружок. Повидаемся с этим твоим мистером Рейдом.

Мне не очень хотелось, чтобы меня видели на улице с дедушкой — некоторые странности в его поведении немало смущали меня, — однако я был слишком удручен, чтобы противиться его желанию; и хотя мне казалось, что ничего путного из его вмешательства не выйдет, мы направились с ним по улицам, окутанным послеполуденной субботней тишиной, к дому, где жил Рейд.

Большинство преподавателей Академической школы занимали благопристойные виллы в «хороших» районах — на Ноксхилле и на Драмбакской дороге. Но Джейсон Рейд жил в высоком грязном доме близ старого Веннела — в малопрезентабельной части города, где ютились главным образом поляки, рабочие-докеры и прочие скромные труженики. Задняя комната его квартиры выходила на прокопченный дворик, а если

открыть окно другой его комнаты на фасадной стороне, всегда мутное, так как его редко протирали, можно было любоваться блестящими медными шарами перед зданием Ливенфордского общества взаимопомощи и интересной процессией, которая каждый вечер вливалась в вертящиеся двери портовой таверны. Рейд любил свое обиталище за ту полную свободу действий, которую оно ему давало, а также за то, что оно являлось как бы вызовом обывателям и утверждало его социалистические взгляды.

Рейд пришел в Академическую школу два года назад на смену мистеру Дугласу, когда того назначили директором Ардфилланской средней школы, и не скрывал, что он тут временно — он не любил подолгу задерживаться на одном месте, — да и у ректора Джейсон явно не вызывал особого восхищения: слишком уж он небрежно одевался, преподавал не как все и отличался потрясающей непочтительностью. И все-таки Джейсон продолжал у нас работать. Он был блестящий и оригинальный педагог — даже ректору пришлось признать это; а главное, помимо всяких наук, он мог преподавать — что было особенно удобно — английский язык в старших классах: у него была степень магистра искусств и бакалавра наук, которые он получил в Тринити-колледже. Когда я много лет спустя спросил Рейда, почему он так долго торчал в Ливенфорде, этой богом забытой дыре, он ответил со своей обычной улыбкой, от которой еще больше сплющивался его нос и вылезали бычьи глаза:

— А мне там было удобно: ломбард под боком.

Он всегда был дерзок на язык — его вынудили к тому жизненные обстоятельства. Он был сыном священника из Северной Ирландии, и, хотя его лицо было несколько изуродовано, родные предназначали его в церковнослужители; однако, не проучившись и половины положенного срока, он подпал под влияние

Гексли и пришел к отрицанию Книги Бытия. Семья отказалась от него; об этом Рейд никогда не говорил, но я чувствовал, что тот бунт, который он поднял против своей среды, как раз и побудил его надеть на себя маску безразличия и презрения к условностям; это сказало даже на его методах преподавания. Когда он впервые появился у нас в классе на уроке английского языка, мы, по заведенному мистером Дугласом обычаю, отвечая урок, выходили из-за парты и излагали свою точку зрения на заданную тему, а заданной темой в тот день было «Что я буду делать в следующее воскресенье». Рейд слушал, развалившись на стуле и положив ноги на кафедру — в весьма необычной для преподавателя позе, — а мы все держались в высшей степени благонаравно и чинно. Послушав немного, он задумчиво произнес:

— Гм, а что буду делать в следующее воскресенье я? Наверное, валяться в постели и пить пиво.

Несмотря на всю свою браваду, это был несчастный и одинокий человек. Он держался в стороне от остальных преподавателей, так как у него не было с ними ничего общего. Время от времени он посещал собрания местного Фабианского общества¹, но все остальные ливенфордские клубы, в том числе и знаменитый «Клуб философов», он презирал, называя их «забегаловками для пьяниц». Женщинами он тоже, казалось, не интересовался. Ни разу в ту пору я не видел, чтобы он разговаривал с кем-нибудь из них или шел с ними по улице. Однако в силу своей любви к музыке он подружился с миссис Кэйс и ее маленьким кружком. Дом на Синклер-драйв был единственным, который он, по видимому, с удовольствием посещал.

¹ *Фабианское общество* — английская реформистская организация, считавшая возможным постепенное преобразование капиталистического строя в социалистический путем институциональных изменений; основана в Лондоне в 1884 г.

Возможно, Рейд решил, что у меня есть задатки ученого, но, скорее всего, присущие нам обоим странности побудили его заинтересоваться мной. Нередко по воскресным утрам он приглашал меня к себе на завтрак и до отвала кормил чудесными жареными сосисками. Он не отличался особой разговорчивостью и не любил проявлять свои чувства. Наоборот, он издевался над эмоциональными людьми. У него был строгий литературный вкус, и он прилагал немало усилий, чтобы выбить из меня страсть к цветистым выражениям. Он любил Аддисона, Локка, Хэзлита и Монтеня. Преклонялся перед Шиллером. Говоря о своей замкнутой жизни в этом маленьком мещанском городке, он приводил следующее его изречение: «Единственные отношения с людьми, о которых человек никогда не жалеет, — это война». Однако взгляд его больших глаз был отнюдь не воинственным, а дружелюбным.

Поднимаясь по узкой лестнице, темной и грязной, мы с дедушкой услышали музыку, доносившуюся из квартиры Рейда.

Дедушка постучал палкой в дверь. Джейсон откликнулся:

— Войдите.

Джейсон отдыхал в плетеном кресле у окна — без пиджака, брюки заправлены в толстые носки; ноги, все еще обутые в черные велосипедные туфли на шнуровке, покоятся на столе, где стоит стакан с пенящейся влагой и играет граммофон с длинной трубой в виде цветка. Дедушка стал было учтиво рекомендоваться ему, но Джейсон предостерегающим жестом заставил его умолкнуть и указал нам на стулья. Граммофон доиграл пластинку, хозяин вскочил и перевернул ее, а потом плюхнулся обратно в свое плетеное кресло. Время от времени он вытирал лоб и отпивал глоток из стакана. Я понял, что он только вернулся из своей очередной сумасшедшей поездки на велосипеде: ино-

гда, чувствуя потребность в движении, он сел на велосипед и мчался с горы на гору, опустив голову, бешено работая ногами, — со лба его ручьем лил пот, а позади тучами вздымалась пыль. Благополучно вернувшись домой, он ублажал себя великим множеством всякой еды и питья, а также симфониями Бетховена, пластинки с которыми недавно выпустила компания «Колумбия» в исполнении Лондонского филармонического оркестра. Рейд любил музыку, он вполне прилично играл на пианино, правда это с ним редко случалось, так как он презирал свой талант, считая его пустячным и дилетантским.

Дослушав симфонию до конца, он остановил граммофон и вложил пластинки в альбом.

— Ну-с, сэр, — вежливо обратился он к дедушке, — чем могу вам служить?

Дедушка, несколько раздосадованный ожиданием и недовольный тем, что встреча произошла без всякого «блеска», ядовито спросил:

— А вы уже вполне освободились, чтобы нас выслушать?

— Вполне, — сказал Рейд.

— Ну так вот, — сказал дедушка, — я хотел поговорить с вами об этом молодом человеке и о стипендии Маршалла.

Джейсон перевел взгляд с дедушки на меня, затем подошел к буфету под книжными полками и вытащил еще бутылку пива. Искоса поглядывая на дедушку, он наклонил бутылку и стал наливать пиво в стакан.

— Данные мне инструкции — а столь презренный учительишка, как я, способен лишь повиноваться инструкциям — заключаются в том, чтобы удерживать нашего юного друга как можно дальше от стипендии Маршалла.

Дедушка улыбнулся мрачной величественной улыбкой и оперся подбородком на рукоять палки. С до-

стойным жалости волнением я ждал его речи, которая, как я догадывался, будет одной из самых цветистых его речей.

— Милостивый сэръ, возможно, вы и в самом деле получили такие инструкции. Но я пришел сюда, дабы их отменить. И действовать я буду не только от своего собственного имени, но и во имя порядочности, свободы и справедливости. В конце концов, сэръ, даже в наш непросвещенный век самый скромный индивидуум обладает кое-какими основными свободами. Свободой вероисповедания, свободой слова, свободой развивать таланты, которыми наградила его великая искусница-природа. И если, сэръ, находится человек, достаточно низкий и достаточно непорядочный, чтобы отказать своему собрату в подобных свободах, я не могу стоять в стороне и терпеть это.

Дедушка говорил с величайшим пафосом, и Джейсон с наслаждением слушал его, а когда дедушка произнес «великая искусница», слабая улыбка осветила его лицо и шрам на верхней губе стал еще заметнее.

— Нет, вы только послушайте его! — восторженно воскликнул он. — Выпейте-ка, старина, у вас, наверно, в горле пересохло. — Он протянул дедушке стакан пива и добавил: — Риторике в сторону, я просто не вижу, что тут можно сделать.

Дедушка облизнул пену с усов и быстро, уже совсем другим тоном, сказал:

— Надо, чтобы он тайком явился на конкурс. Никому не говоря ни слова.

Рейд покачал головой.

— Это невозможно. У меня уже и так хлопот полон рот. Кроме того, заявление о допуске к конкурсу должно быть подписано его опекуном.

— Я подпишу его, — сказал дедушка.

Джейсон как-то странно отнесся к этому предложению: он заходил из угла в угол в своих мягких ве-

лосипедных туфлях, нахмурился, на лице его уже не играла улыбка. Я напряженно следил за ним: должно быть, он размышлял над советом, поданным дедушкой, и у меня даже защемило сердце от радости, когда я увидел, что он загорелся этой идеей.

— Черт возьми! — внезапно воскликнул он и остановился, глядя прямо перед собой и продолжая размышлять вслух: — Вот было бы здорово, если б нам удалось провести их. В глубочайшей тайне. Работать втайне как черти. А потом... если дело выгорит... полюбоваться, какие у всех будут рожи, начиная с ректора и кончая этим кротом Лекки... как все будут поражены! — Он круто повернулся ко мне. — Если бы ты получил стипендию, тебе уже никто не мог бы помешать учиться в колледже. Боже мой! Вот это был бы номер. Совсем как если б темная лошадка выиграла приз.

Он внимательно изучал меня своими глазами навывкате, словно взвешивая все «за» и все «против», а я, зардевшись, нервно мямлю шапку в руках и старался выдержать его взгляд. Что бы ни думала миссис Босомли о моих способностях, я отнюдь не чувствовал себя той лошадкой, которая способна выиграть на скачках приз. Мама, всегда подстригавшая мне волосы, чтобы не платить парикмахеру, накануне так обкромсала меня, что сквозь мою шевелюру просвечивала кожа, и голова у меня казалась такой маленькой, что вряд ли я производил впечатление большого умника. Но Джейсон всегда, с самого начала, был моим другом. И сейчас его ирландская кровь забурлила — забурлила под влиянием нового спортивного азарта. Он рассек воздух сжатым кулаком.

— Честное слово! — воскликнул он, и щеки его запылали от возбуждения. — Надо попытаться. Двум смертям не бывать. Ты ведь знаешь, Шеннон, я всегда был за то, чтобы ты держал эти экзамены. А сейчас

я хочу этого как никогда. Мы никому не скажем ни слова. *Просто явимся и победим!*

Такие минуты бывают раз в жизни: с меня словно сняли невыносимый груз разочарований и предо мной во всем своем великолепии открылось будущее; я знал, что Рейд верит в меня, и сердце мое пело от счастья. Дедушка протянул Джейсону руку, мы все возбужденно пожали друг другу руки. Ах, это был поистине чудесный миг! Но Джейсон вполне разумно прервал наши восторги.

— Только не надо обольщаться. — Он придвинул стул к нам и сел. — Это будет чертовски трудно для тебя, Шеннон. Тебе ведь только пятнадцать лет, а ты будешь выступать против юношей на два и даже на три года старше тебя. К тому же у тебя много недостатков. Ты знаешь свою склонность к скороспелым решениям, свою манеру делать выводы без должного обоснования, надо будет все это выправить.

Я смотрел на него блестящими глазами, раскрыв рот, не смея произнести ни слова, но молчание мое было красноречивее слов.

— Я довольно точно представляю себе положение вещей, — снова заговорил Рейд таким задушевым тоном, что я затрепетал от восторга. — Обстоятельства в этом году складываются так: участников конкурса будет меньше обычного, но это очень, очень серьезные конкуренты. Трех мальчиков я особенно опасаюсь... — И он перечислил по пальцам: — Блейр из Ларчфилдского колледжа, Эллердайс из Ардфилланской средней школы и некий юнец по имени Мак-Ивен, который учился дома. Блейра ты знаешь, это превосходный ученик, у него по всем предметам наивысший балл. Эллердайсу восемнадцать лет, и он уже выставлял свою кандидатуру на конкурс, что дает ему огромные преимущества. Но опасный, по-настоящему опасный со-

перник — это Мак-Ивен. — Джейсон многозначительно помолчал. О, как я возненавидел этого неизвестного мне Мак-Ивена! — Он еще совсем юный, примерно твоих лет, сын преподавателя классической литературы в Андершоузе, и готовился он к этим экзаменам не один год под руководством отца. Насколько мне известно, он уже в двенадцать лет свободно разговаривал по-гречески. А сейчас знает с полдюжины языков. Чудо природы, да и только, — с высоким лбом и в больших очках. Словом, те, кто его знает, считают, что стипендия Маршалла все равно что у него в кармане.

Некоторая ожесточенность и иронические нотки в голосе Рейда не могли скрыть того, что он серьезно опасается этого страшного юноши, который не иначе как на санскритском языке просит родителей передать ему хлеб за завтраком.

Ну что мне оставалось делать — слушать да молчать, стиснув зубы.

— Так что видишь, юный мой друг Шеннон, — закончил Джейсон более мягким тоном, — нам придется действительно очень много работать. О нет, я не собираюсь замучить тебя до смерти — разве что до полусмерти. Я буду давать тебе каждый день час отдыха, чтобы ты мог поразмяться. Ты не захочешь пользоваться этим часом, когда дойдешь до состояния полной истерии, но я буду настаивать. Надо проветривать мозги — да поможет тебе в этом Бог! — совершать дальние прогулки пешком или на моем велосипеде: тебе будет разрешено им пользоваться, только смотри, чтобы шины были целы. Мне придется дать тебе много книг. Ты будешь держать их у себя в спальне. И заниматься тебе тоже, пожалуй, лучше там. Ничто так не способствует усидчивости, как голая стена перед носом. Я разработаю для нас с тобой расписание. У меня в школе лежат экзаменационные работы за последние десять лет. Мы разберем с тобой все вопросы.

Начнем с завтрашнего утра. Ну вот, кажется, и все. Есть замечания?

Я смотрел на него горящими глазами; мне казалось, что я не выдержу напора переполнявших меня чувств. Как мне благодарить его? Как сказать ему, что я готов работать, сражаться и умереть за него?

— Да, сэр, — проямлил я, — обещаю вам...

Нет, не годился я для таких излияний, но я уверен, что он понял меня. Он живо поднялся и стал отбирать для меня книги с полок.

Дедушка помог мне отнести их домой. Я был между небом и землей и шел как по воздуху.

ГЛАВА 8

В начале июня произошло событие, весьма обыденное само по себе, но сыгравшее мне на руку, а потому я счел его вмешательством свыше, прямым ответом на те просьбы, которыми я бомбардировал небесный престол.

Однажды, вскоре после того, как в комнате Джейсона было принято знаменательное решение, я вернулся из своего утреннего «рейса с пирожками» и обнаружил дома Адама, у которого, видно, вошло в привычку приезжать спозаранку. Он сидел за завтраком, свежий и гладко выбритый, и беседовал с папой и мамой. Прибыл он в спальном вагоне первого класса на ночном экспрессе прямо из Лондона — Адам всегда путешествовал с комфортом, когда его путевые расходы оплачивала компания. Хотя дела и требовали присутствия Адама на севере, в Уинтоне, обосновался он все-таки в Лондоне: он был теперь представителем страховой компании «Каледония» на юге Англии.

Эта перемена места не принесла ему повышения жалованья, но Адам утверждал, что он получил новую

должность благодаря своей деловой сметке и что это, безусловно, еще один шаг на пути к великим свершениям. Жил он теперь в гостинице на Хэнгер-хилле в Илинге.

Я принялся за завтрак, состоявший из каши с пахтаньем, а Адам, поздоровавшись со мной в своей обычной сердечной манере, возобновил прерванный разговор:

— Да, мама, я думаю, что тебе интересно будет посмотреть дом.

— Какой дом, дорогой? — спросила мама.

Адам улыбнулся:

— Ну, тот самый, что я купил...

— Ты купил дом? — спросил папа с живейшим, чуть ли не профессиональным интересом члена Ливенфордского строительного общества, куда, по правде говоря, были вложены все его сбережения, которые он ценою таких усилий откладывал. — Где же это?

— На Бейсуотерской дороге, — небрежно заметил Адам. — Превосходное место с видом на парк. И дом тоже превосходный: оштукатуренный, кремового цвета, семиэтажный, с лестницей красного дерева, мраморным двориком — очень благородный, и к тому же участок, на котором он стоит, переходит вместе с ним в мою собственность. Но это, видимо, вас не интересует.

— Ну что ты, дорогой, — еле выдохнула мама. — Такая удивительная новость.

Адам рассмеялся и протянул чашку, чтобы ему налили еще чаю.

— Ну так вот, я уже давно поглядывал на этот дом — я каждый день проходил мимо него по пути в контору. На нем целых полгода висела дощечка: «Продается», но однажды утром я увидел поверх этой надписи другую: «Продажа с аукциона на будущей неделе». Ага, подумал я, это должно быть интересно! Ведь с тех пор, как я перебрался на юг, я все время

подыскивал себе подходящую недвижимость. И так, в следующий понедельник я зашел на аукцион. Обычная картина: комната, обшитая красивыми деревянными панелями, уйма джентльменов в цилиндрах. На аукционисте тоже был цилиндр. — Адам с улыбкой посмотрел на стоявшую перед ним яичницу с беконом. — Объявив о том, что дом стоит шесть тысяч — а дом, между прочим, этого стоит, — он открыл аукцион и, поглядывая на меня, назвал для начала три тысячи фунтов. Стали набавлять — больше, больше, цилиндры тягались друг с другом вовсю, пока цена не дошла до пяти тысяч пятисот фунтов. Тут надбавки прекратились, и, прождав довольно долго, аукционист стукнул молотком. И дом достался самому новенькому из цилиндров. Я все это время сидел позади и помалкивал — только посмеивался про себя над тем, как они пытались втянуть меня в игру. Но видите ли, я навел справки. И узнал, что дом этот заложен в банке за две тысячи фунтов и что банк грозит отказаться в праве выкупа его. На следующий же день я получил письмо от новенького цилиндра: он предлагал уступить мне свою собственность за четыре тысячи фунтов. Я бросил письмо в корзину для бумаг. Тогда...

И Адам шаг за шагом провел нас по весьма извилистому пути, которым он всего неделю назад не торопясь добрался до цели, став полновластным хозяином этого великолепного особняка за тысячу девятьсот фунтов чистоганом.

— Господи, боже мой! — ахнула мама, зачарованная и в то же время испуганная: хотя сделка и очень удачна, но сумма, заплаченная за дом, представлялась ей поистине колоссальной, ужасающей — ведь на это ушли почти все сбережения Адама за последние десять лет. — Ты, конечно, перехитрил их всех... в том числе и лондонцев. Но что ты будешь делать теперь с этим домом, мой дорогой? Жить в нем?

— Ну что ты, мама. — Адам снисходительно отнесся к этому до смешного наивному предположению. — В своем нынешнем состоянии дом этот — весьма обременительная обуза. Я решил переделать его. Я превращу его в восемь отдельных квартир, которые буду сдавать по цене от семидесяти до ста пятидесяти фунтов. Я подсчитал, что выручу на этом чистых шестьсот фунтов после уплаты налогов и жалованья сторожу. Получается примерно двадцать процентов прибыли. Не так дурно для начала, ведь я впервые затеваю предприятие на собственный страх и риск.

Папа слушал его с напряженным вниманием. Он облизал губы и заметил:

— Двадцать процентов. А Строительное общество платит мне только три.

Адам небрежно улыбнулся.

— Частное предприятие платит более высокие дивиденды. Конечно, переоборудование дома потребует денег. Быть может, еще фунтов девятьсот. Просто не знаю, откуда их брать. Уж очень не хочется вводить в дело кого попало.

Лоб у папы слегка покраснел. Он всегда относился к Адаму с уважением, но не без легкого недоверия — недоверия осторожного человека к сложным финансовым операциям. Но этот дом, солидно отделанный красным деревом и мрамором, да еще сказочный доход, — нет, ему положительно трудно было говорить.

— Добротное кирпичное здание всегда мне казалось делом стоящим. Жаль, что я не могу посмотреть на этот дом вместе с тобой, Адам.

— А собственно, почему бы тебе и не посмотреть на него... это не такое уж невыполнимое желание. — Адам немного помолчал. — И почему бы тебе с мамой не провести у меня недельки две этим летом? А если потребуется, то и целый месяц: и удовольствие полу-

чите, и дело сделаем. Я могу поместить вас в Илинге. Должны же вы когда-нибудь отдохнуть.

— Ох, Адам! — воскликнула мама и даже всплеснула руками, услышав это столь долгожданное приглашение.

Последовали длительные переговоры: папа, отличавшийся необычайной осторожностью, никогда не принимал решений второпях. Однако до отъезда Адама все было согласовано. И у меня сердце подпрыгнуло от радости: значит, они уедут и я буду полностью предоставлен сам себе на время последней стадии подготовки и экзаменов. Нет, более счастливое стечение обстоятельств просто трудно придумать.

Дни бежали за днями, и вот однажды, когда я занимался у себя в комнате, до меня вдруг донесся необычный звук. Я несколько минут пытался понять, что это такое, и наконец догадался, что это поет мама — приглушенно, конечно, и фальшиво, но все-таки поет. Папин парадный костюм висел отутюженный и готовый к укладке, рядом стояли два саквояжа, столь тщательно вытертые, что они блестели как зеркало. Маме каким-то чудом удалось купить в маленькой лавочке мисс Добби, торговавшей «остатками», кусок темно-коричневого вуаля, и она на скорую руку «смастерила» себе летнее платье. Но больше всего возиться ей пришлось с мехом — облезлой горжеткой, которую она носила по крайней мере четверть столетия и тем не менее весной с неизменной гордостью вытаскивала из нафталина. Мамин мех! Какому животному он обязан своим происхождением, этого никто бы не мог сказать; я же, когда смотрел на него, неизменно видел перед собой несчастную кошку, раздавленную огромным грузом, вроде того, под которым погиб несчастный Сэмюел Лекки. Мама посадила свой мех на новую подкладку из вуаля, оставшегося от платья, и слегка перекроила горжетку, чтобы она не казалась такой ста-

ромодной. Я видел, как она проветривала эту горжетку в садике за домом на веревке, перетряхивала ее, дула на мех, чтобы поднять жалкий ворс... Ведь мама пять лет не отдыхала.

Всякий раз, когда она готова была «забыться», папа возвращал ее на землю, предупреждая: «Подумай о расходах!»

Он считал, что если ее не сдерживать, то на радостях она изведет уйму денег, вовлечет его в страшные траты. Мысль о том, что им придется есть в ресторане, что по какой-нибудь злой случайности они вынуждены будут провести ночь в гостинице, поистине преследовала папу. Он еще тщательнее стал все подсчитывать. Они возьмут с собой еду в картонной шляпной коробке, чтобы ничего не покупать в пути, и до Лондона всю ночь будут ехать, сидя в вагоне третьего класса. Папа уже положил в карман пиджака маленький блокнотик с надписью «Расходы по поездке к Адаму». Очевидно, он лелеял призрачную надежду на то, что Адам возместит ему убытки. На первой странице было написано: «Два железнодорожных билета — 7 фунтов 9 шиллингов 6 пенсов», — папа то и дело поглядывал на эти цифры с мрачным видом человека, совершившего разорительную трату. Позже я узнал от Мэрдока, что папа путем всяческих унижений выклянчил себе право на получение «привилегированных билетов», которые выдают бесплатно некоторым должностным лицам.

Накануне своего отъезда мама зашла ко мне в комнату, присела подле меня на кровать и некоторое время молча на меня глядела.

— Ты много занимаешься последнее время, мой милый мальчик. — Легкая улыбка на ее лице стала еще теплее. — И очевидно, будешь занят не меньше, пока мы будем гостить в Лондоне.

Неужели мама знает? Или дедушка все-таки шепнул ей о нашем плане? Я потупился, а она продолжала:

— Ботинки твои пришли в почти полную негодность. Их уже нельзя чинить. Если они развалятся прежде... мм... прежде, чем мы вернемся, в шкафу под лестницей стоит пара коричневых ботинок Кейт — они еще совсем крепкие.

— Хорошо, мама. — Я постарался не выказать своего разочарования при упоминании об этих узких, длинноносых ботинках, в которых Кейт когда-то каталась на коньках; они были ярко-желтые, высокие, со шнуровкой почти до колен и такие явно дамские, что при одной мысли о них у меня по коже пробежал мороз.

— Они хорошо сохранились, — продолжала уговаривать меня мама. — Я только на днях смотрела их.

— Я думаю, мама, что как-нибудь обойдусь, — сказал я.

Мы помолчали.

— Ты всегда как-то обходишься, правда, Роби? — Мама мягко улыбнулась. Она встала, потрепала меня по голове. Уходя, она посмотрела на меня долгим взглядом. И прошептала: — Желаю удачи... мальчик мой родной.

ГЛАВА 9

Как только папа и мама уехали, дедушка перетащил мой стол и все мои книги в гостиную, которой никто никогда не пользовался, но такую комнату просто полагается иметь в приличном доме. Как хорошо я помню это святилище! В ней был круглый мраморный камин с зеркалом в позолоченной раме и чугунной решеткой с узором в виде лилий. У одной стены стояла шифоньерка с кружевными салфеточками, на которых красовались японский веер, три раковины «каури» и стеклянное пресс-папье с надписью «Подарок из Ардфиллана». Посреди гостиной был круглый столик, накрытый красной драгетовой скатертью, на котором

лежало «Развитие паломничества» с золотым тиснением, а рядом, сообразно требованиям хорошего вкуса, стояла ваза с испанским камышом. Неподалеку от столика приютилось пианино с вертящимся стулом. А на пианино из зеленых плюшевых рамок выглядывали фотографии папы и мамы в подвенечном одеянии. В этой комнате была всего одна картина, писанная маслом и называвшаяся «Правитель Глена».

— Благодаря широкому окну-фонарю комната эта стала великолепным кабинетом для меня. Здесь я сидел и один, и вместе с Рейдом, который теперь мог приходить и уходить, когда ему вздумается. В доме было очень тихо, а оттого, что дедушка старался двигаться как можно бесшумнее, казалось даже тише, чем на самом деле. Мама договорилась с миссис Босомли, чтобы она время от времени приходила помочь нам, но дедушка, к моему изумлению, оказался и сам большим искусником по части ведения хозяйства: в его жизни бывали периоды, когда ему приходилось самому заботиться о себе, и он научился готовить, особенно супы. Держался он на редкость хорошо: никаких выходов, ни единого промаха в поведении. Он явно наслаждался тем, что в доме никого не было, ибо он мог теперь беспрепятственно бродить по всем комнатам, не опасаясь придинок и воркотни. Нетрудно догадаться, что мы были поставлены в условия строжайших ограничений. Большая часть фарфоровой посуды и столовых приборов была заперта, равно как и вся хорошая кухонная утварь, ибо мама боялась, что дедушка «закоптит» горшки. Она оставила нам подробнейшие письменные инструкции насчет того, как питаться, чтобы обойтись тем небольшим количеством продуктов, которое поставляли нам по понедельникам из магазинов. На всякий случай нам дали и наличные деньги — сумму весьма мизерную. И все-таки дедушка ухитрялся как-то выкручиваться. Он взял себе за пра-

вило заходить в питомник, и, хотя Мэрдок едва ли был дружелюбно к нему настроен, у нас нередко бывала на обед цветная капуста, никогда не появлявшаяся в меню мамы, или горшок рассыпчатого картофеля, который я очень любил, а дедушка великолепно умел варить. Раза два под вечер дедушка с мечтательным видом отправлялся на прогулку в сторону фермы Снодди, и на следующий день у нас был на обед вареный цыпленок, которого мог нам послать разве что Господь Бог.

Дедушка с необычайным уважением относился к моим занятиям, хотя и старался не выказывать этого. Он положительно преклонялся перед «книжниками» и книгами вообще — вещь совершенно непонятная, поскольку у него самого было не больше трех книжек. Не премину попутно перечислить этих верных друзей. Первым среди них был томик стихов Роберта Бёрнса — большую часть их дедушка знал наизусть; вторым — потрепанный томик «Приключения Хаджи-Бабы», читая который дедушка постоянно смеялся втихомолку; третьим — «Дешевая энциклопедия Пирса», томик в красном разорванном переплете, на заглавном листе которого небрежными жирными буквами было выведено: «Многоуважаемые господа, десять лет назад я стал пользоваться вашим мылом и с тех пор не употребляю никакого другого». Я все еще вижу дедушку поры моего детства, как он с ученым видом тянется к этому удивительному кладезю премудрости и говорит: «Посмотрим, что сообщает на этот счет Пирс».

Теперь он уже явно не мог поражать меня своими всеобъемлющими познаниями, но по-прежнему делал вид, будто это он поучает меня, как обходить подводные камни, и бывал поистине счастлив, когда я просил его «послушать», как я решаю уравнение или читаю латинские стихи. В конце первой недели нашего совместного житья он заставил меня отказаться от

утренних поездок по городу с пирожками, так как это серьезно мешало моим занятиям, потому что отнимало лучшие часы, когда голова у меня была ясная. Раз уже взялся за дело, надо тянуть до конца. Итак, я перебрался в гостиную и при бледном свете занимающейся зари садился за учебники и зубрил, зубрил до одурения. Рейд разрешил мне не посещать школу, и я весь день трудился один в гнетущем, одуряющем одиночестве этой комнаты, склонившись со страстным прилежанием над маленьким столиком. Времени оставалось в обрез. Мои соперники с головой ушли в занятия и работали куда усерднее, чем я. А стипендия была всего одна. Ну разве могу я рассчитывать на то, что мне удастся получить ее, если я, пусть даже на минуту, отведу глаза от страницы?

Каждый вечер в шесть часов приходил Рейд, здоровался кивком, окидывал меня внимательным взглядом, выясняя, как я держусь, и подсаживался ко мне. Он репетировал со мной до десяти, потом к нам входил дедушка с двумя чашками какао, до которых мы порой так и не дотрагивались, и какао стыло среди наших бумаг. Джейсон подбадривал меня и приводил в душевное равновесие; его вдумчивые здравые суждения, крепкое, пропахшее табаком, мелом и потом тело, его знакомая манера отбрасывать назад светлые волосы, рассыпавшиеся точно после мытья, его горячее, с «запашком» дыхание — все это вместе производило впечатление неистощимой жизнедеятельности.

Наконец Рейд уходил, строжайше наказав мне отправляться в постель, но зная, что я этого не сделаю; а я ближе придвигался к столу, хоть меня и одолевала усталость и невероятное желание спать. Иногда я на секунду забегал в ванную и подставлял голову под кран, но вода была теплая, потому что бак стоит под самой крышей. Возвращался я вконец раскисший, однако некая внутренняя сила побуждала меня продолжать занятия, изматывать себя до предела. Прежде чем

снова взяться за книги, я всегда шепчу молитву, посвящая свои труды Господу. Чтобы не заснуть, я тычу в ногу кончиком карандаша или постукиваю по отупевшей голове костяшками пальцев, точно это поможет мне лучше усвоить материал. Минуты тихо идут за минутами, исчезая в тишине ночи, а я все сижу и сижу, не двигаясь, под газовым рожком, сбросив куртку и засучив рукава рубашки, чтобы было попрохладнее, положив голые локти на стол, сжимая руками ноющую голову.

Бьет два часа. Я встаю и, пошатываясь, направляюсь к себе в комнату. Обычно я засыпаю как убитый, стоит мне прилечь на постель. Но иногда меня мучают кошмары: мне снится, что я не готов к экзамену, что я не могу ответить на вопросы. А бывает — и это хуже всего, — что мозг мой, несмотря на смертельную усталость, отказывается отдыхать и продолжает работать с тяжкой неестественной ясностью, решая труднейшие уравнения и сложные проблемы по тригонометрии, на которые обычно уходит несколько листов бумаги; сейчас же они кажутся ерундой, детской забавой моему бедному мозгу, который кружит и скачет по полям науки, в то время как тело мое лежит обессиленное, точно у паралитика, и ждет, когда первые лучи света пробьются сквозь щели в ставне и снова вынудят меня трудиться ради моей честолюбивой мечты.

Единственную передышку я позволял себе в пять часов, когда дедушка буквально выгонял меня на улицу. В те вечера, когда Гэвин приезжал домой из Ларчфилда, я проводил этот час вместе с ним, встречая его на Дальрохской остановке, где ему удобнее было сходиться, чем на главном Ливенфордском вокзале; выйдя из вагона, он пересекал территорию сортировочной станции и подходил к большим белым воротам, у которых я поджидал его, а затем мы шагали с ним рядом, сравнивая свои успехи в подготовке к экзаменам.

В иные дни я отправлялся на школьный двор, где была сооружена высокая стенка с подпорками, и мы с мистером Рейдом играли в мяч. Джейсон хорошо играл в мяч и, по его словам, в свое время участвовал в состязаниях закрытых школ, которые устраивал «Клуб королевы».

Выпадали на мою долю и счастливые дни, когда я встречался с Алисон. Обычно я поджидал ее в конце Драмбакской дороги, когда она медленно возвращалась с урока пения, без шляпы, неся под мышкой скатанную в виде свитка лакированную папку для нот. В теплую погоду она надевала легкое платье, обрисовывавшее ее фигуру, когда налетал ветерок. Мы не смотрели друг на друга и разговаривали лишь о самых обычных вещах. Она рассказывала мне о том, что было в школе и что говорил в этот день мистер Рейд, которым она всегда восторгалась. Однако, несмотря на спокойную сдержанность Алисон, глаза ее время от времени становились большими и мягкими, а губы — пунцовыми. Расставшись с ней на углу Синклер-драйв, я мчался опроретью домой — только на минуту останавлиюсь, подниму с земли камень и изо всей силы швырну его. С пылающими щеками усаживался я снова за книги. Все было так хорошо! И дедушка, который приносил мне чашку чая, был самым лучшим, самым чудесным стариком на свете.

Нет, нет, не прав я. Ведь это он, чудовище, неделю спустя вверх меня в бездну отчаяния.

ГЛАВА 10

День стоял жаркий, тихий, в воздухе чувствовалось приближение грозы. До экзаменов оставалось всего четыре дня, я изнемогал, нервы у меня были напря-

жены до предела. Я решил освежить голову холодной водой и, вытирая лицо, услышал смех бабушки. Я вышел из ванной на лестничную площадку и окликнул его, но ответа не последовало. Что это, мне померещилось, что ли? Боже милостивый, неужели я довел себя до того, что мне уже стало «чудиться»? Я не торопясь поднялся наверх — дверь в мамину комнату распахнута настежь, а оттуда, как мне показалось, и доносился приглушенный смех. Я вошел в комнату; в ней никого не было, однако я тотчас снова услышал смех бабушки и голос миссис Босомли.

Я вздрогнул, но тут же сообразил, что звуки идут из соседнего дома, я слышу то, что происходит за стенкой, — ведь на дворе очень тихо. Ну конечно же!.. Я вспомнил, что бабушка после завтрака подстригал себе бороду.

Только я хотел повернуть назад, как вдруг еще какой-то звук заставил меня насторожиться. Удивленный и испуганный, я уставился на пустую стенку, разрисованную вьющимися розами: ведь за стенкой спальня миссис Босомли. Значит, бабушка там, вдвоем с миссис Босомли.

Я был настолько потрясен, что словно прирос к полу, и невольно прислушался. О боже, нет, не может быть... Я пытался отбросить от себя эту мысль. Но ошибки быть не могло, ни малейшей.

Судорожным усилием я заставил себя сдвинуться с места, бросился вон из комнаты, а затем из дома. Ничего не видя, бежал я, весь дрожа, по дороге. Ну к чему сражаться, бороться, к чему все? Ведь даже самая чистая и прекрасная любовь не может спасти от ошибок. Но тогда человек уступает злему началу лишь у последней преграды, при последнем вздохе, с криком ужаса. А тут — подстричь перед зеркалом бороду и потом, насвистывая, уйти в предвкушении приятных минут; боже, какое предательство! И на это способен че-

ловека, которого я любил и которому доверял! Я был просто уничтожен.

Желая одного — избавиться от мучивших меня видений, я бежал без оглядки. Инстинктивно я выбрал дорогу в гору, и когда проходил мимо питомника, кто-то окликнул меня и вернул мой смятенный ум к действительности. Мэрдок подравнивал живую изгородь, возвышавшуюся по обе стороны от входа. Я постоял, помедлил и подошел к нему.

— Что случилось? — спросил он, прерывая работу, и, оглядывая меня, вытер лоб тыльной стороной большой смуглой руки. — Ты что, ограбил кого-нибудь?

Я ничего не ответил на эту плоскую шутку — я просто не в состоянии был говорить.

— Что-нибудь с работой не ладится?

Я отрицательно покачал головой; мою душу переполняло слишком много чувств, не находивших выхода в словах. Мэрдок с интересом смотрел на меня — любопытство его было возбуждено.

— А, понимаю, — сказал он наконец. — Старик опять налился. — Он окинул меня пристальным взглядом. — Нет? В таком случае опять что-нибудь выкинул?

— Выкинул! — Меня возмутило это ничего не значащее слово, новый приступ гнева потряс меня. — Ты бы никогда не назвал это «выкинул», если б знал, о чем идет речь. Ох, Мэрдок! — Тут я чуть не расплакался. — Если люди не могут вести себя прилично... да еще в таком возрасте...

— Ах вот оно что! — воскликнул Мэрдок, поняв, в чем дело, чрезвычайно довольный своей догадливостью. Он рыгнул, достал из кармана кусок лакричной палочки, откусил и с наслаждением принялся жевать.

Я отвернулся, побледнел и уставился на повозку, которая медленно двигалась по дороге. Почему-то вид этой повозки, одиноко тащившейся на фоне летнего

пейзажа, навел меня на мысль о том, как бесконечно монотонна жизнь: все, что я сейчас чувствовал, я уже переживал когда-то, сотни лет назад.

— Знаешь что, молодой человек, — заметил, помолчав, Мэрдок, — пора бы тебе уже и вырасти. Ты ведь умный, а я всегда был тупицей во всем, кроме садоводства, и все-таки в твои годы я не был таким простаком. А дедушка всегда был таким, всю жизнь слыл волокитой. Даже когда его жена, которая, надо сказать, очень любила его, была жива.

Я молчал — так мне было горько.

— Просто такой уж он есть, — продолжал Мэрдок. — И хоть ему немало лет, он и сейчас не может ничего с собой поделать. Право же, не стоит сердиться.

— Но это же ужасно, — еле слышно произнес я.

— Ну, мы с тобой все равно ничего не изменим. — Мэрдок явно сдерживался, чтобы не рассмеяться, и, дружески похлопав меня по плечу, продолжал: — Мир ведь не обрушился. Вот будешь постарше, сам перестанешь об этом думать. Пойдем-ка лучше со мной, я покажу тебе мою новую гвоздику. Какие у нее бутоны пошли, красота!

Он сунул ножницы под мышку и открыл калитку. Секунду поколебавшись, я нехотя последовал за ним в новую оранжерею. Тут он показал мне с полдюжины горшочков со светло-зелеными стеблями, которые уже начали пускать бутоны, и с гордостью пояснил, как он вывел этот гибрид. Было что-то успокаивающее в уверенных движениях его больших умелых рук, когда он передвигал горшки, брал нож и ловко обрезал какой-нибудь непокорный росток, а потом заботливо подвязывал стебли рафией.

— Если все пойдет успешно, я назову этот сорт «Мэрдок Лекки»! Каково, а? Вот над этим действительно стоит поломать голову, не то что... — И он многозначительно и добродушно похлопал меня по спине.

Расставаясь с Мэрдоком, я был уже гораздо спокойнее, но еще не в таком состоянии — а возмущение мое, надо сказать, было столь же нелепо, как и ломающийся голос, еще один признак юношеских лет, — чтобы я мог, вернувшись, сразу засесть за книги. Как и следовало ожидать, я поплелся на Главную улицу и зашел в церковь.

Здесь было прохладно и тихо. У алтаря в боковом приделе смутно виднелась фигура матери Элизабет-Джозефины, которая, позвякивая в тишине ножницами, подрезала цветы. Проходя в ризницу, она узнала меня и одобрительно улыбнулась. Окутанный полумраком, я опустился на колени под высоким окном, витраж которого всегда так успокоительно на меня действовал, перед Тем, Кто тоже нес бремя с искаженным страданием лицом.

В этой атмосфере святости, насыщенной запахом ладана и свечного воска, в душе моей загорелось глубокое и справедливое негодование против дедушки, который попрал единственную, по-настоящему ценную добродетель. Я думал об Алисон в белом платье, Алисон, которую моя любовь, первая любовь юности, вознесла на недостижимые высоты, где обитают лишь ангелы. И лицо мое залила краска стыда. Как она посмотрит на юношу, чей дедушка так себя ведет? Гнев вспыхнул в моем сердце, и, вспомнив, как Христос изгнал грешников из храма, я встал с колен, решив объясниться с дедушкой, порвать с ним всякие отношения раз и навсегда.

Когда я вернулся домой, не кто иной, как он, встретил меня в передней необычайно тепло и радушно. Из кухни доносился чудесный аромат какого-то блюда.

— Я рад, что ты решил прогуляться. Потом лучше работать будешь.

Я холодно и презрительно посмотрел на него; так, должно быть, смотрел архангел на корчившегося Люцифера.

— Что ты делал сегодня днем?

Он улыбнулся с самым невинным видом и непри-
нужденно ответил:

— Да то же, что и всегда. Играл в шары возле клад-
бища.

О боже, он еще и лжец! Лжец и развратник! Но,
прежде чем я успел высказать ему все это в лицо, он
вышел из передней.

— Иди на кухню. — Дедушка потирал руки с са-
мым спокойным, миролюбивым и довольным видом. —
Я тут такой овощной суп приготовил, что язык про-
глотишь.

Я прошел на кухню; он в эту минуту исчез в чулан-
чике, а я сел за стол. Несмотря на все мои беды, я был
ужасно голоден.

Через минуту он появился и налил мне полную та-
релку дымящегося супа. Чтобы развлечь меня и пока-
зать, что он вполне освоил кулинарию, он надел один
из маминых передников и обвязал салфеткой наподо-
бие поварского колпака свои почтенные и в то же вре-
мя недостойные седины. Так, значит, он к тому же еще
и клоун, жалкий шут, этот негодник, который так пор-
тит мне жизнь.

Я опустил ложку в густой суп, где плавали горо-
шек, нарезанная морковь и кусочки курятины, и под-
нес ее ко рту; все это время он следил за мной добрым
выжидательным взглядом.

— Вкусно? — спросил он.

Суп был чудесный. Я съел все до последней кап-
ли. Потом посмотрел на этого нелепого и ужасного
старика, которого я стал теперь презирать и нена-
видеть, который растоптал священную веру юности и
от которого я должен отвернуться, как от источника
и порождения греха. Вот сейчас самое время его об-
личить.

— Можно мне еще тарелочку, дедушка? — кротко
спросил я.

ГЛАВА 11

В день экзаменов с утра шел дождь. Накануне, в четверг, Джейсон после обеда забрал и спрятал все мои учебники.

— Только всякие недоучки зубрят до последней минуты, — сказал он. — Даже в аудиторию входят, уткнув нос в тетрадки. Ну такие, конечно, никогда не побеждают.

То, что я выучил, казалось, стало частью меня. Ничего больше я уже вобрать в себя не мог. Сейчас в моем уме царило полное смятение. И все-таки знания как бы вошли в мою плоть и кровь. Я преисполнился отчаянной решимости, и хотя был бледен, но вполне спокоен. Я оделся в самое лучшее из того, что нашел среди обносков Мэрдока: довольно неплохой синий костюм, правда лоснившийся на локтях и сзади. Размеренными взмахами щетки я начистил и привел в порядок башмаки, которые так тревожили маму и о которых речь будет ниже. Дедушка, суетившийся возле меня, принес мне цветок в петлицу — для храбрости. Ах, эти цветы, которые дедушка любил вставлять в петлицу! Я отчетливо помню, что он преподнес мне тогда: это был бутон махровой розы, на котором еще сохранились капельки росы.

Вручая мне цветок, он с весьма недвусмысленной ухмылкой извлек из кармана маленький квадратный конвертик.

— Кое-кто просил передать тебе это.

— Кто же?

Он пожал плечами, как бы говоря: «Мой милый мальчик, я джентльмен и не вмешиваюсь в чужие дела». А сам искоса наблюдал за мной, и по лицу его ясно было, что он доволен моим видом, ибо ему хотелось, чтобы я был именно таким; я же тем временем дрожащими пальцами вскрывал конверт.

Письмо было от Алисон, вернее, не письмо, а маленькая записка с добрыми пожеланиями. Кровь прихлынула у меня к сердцу. Я покраснел и положил письмо в карман, а дедушка, насвистывая и улыбаясь в усы, подал мне завтрак.

В это первое утро экзаменов Джейсон сопровождал меня в колледж. Предлог был самый пустячный: он, видите ли, опасался, что в большом городе у меня может закружиться голова. Доброта Джейсона, которую он скрывал под небрежным тоном, его необычайное великодушие — можете быть уверены, что человек, который по доброй воле бесплатно натаскивал бы целых три месяца своего ученика, — редкостное явление в маленьком шотландском городке; его поддержка, дружба и, главное, полное понимание тех трудностей, которые мне предстояло преодолеть, — стоит вспомнить все это, как слезы набегают на глаза и в душе рождается большая надежда на лучшее будущее человечества, чем от любых высокоидейных рассуждений.

На вокзале к нам присоединился Гэвин, немного бледный, так же как и я, но спокойный и даже улыбающийся. Он тоже много поработал за это время — последние десять дней я совсем его не видел. Чувство соперничества теперь исчезло: мы были компаньонами в огромном деле. И я в порыве искреннего дружелюбия крепко пожал ему руку и тихо, чтобы Джейсон не мог нас услышать, прошептал:

— Один из нас победит, Гэвин.

Теперь я твердо был уверен, что это буду я, ну а если нет... великий боже, страшно даже подумать!.. в таком случае пусть это будет Гэвин.

Поезд, который должен везти нас туда, где решатся наши судьбы, прибыл. В купе было пусто, пахло дымом от сигарет и гарью туннелей, на полу валялись обгоревшие спички, деревянная перегородка была испещрена каракулями — свидетельство примитивного

остроумия путешествовавших по этой линии подмастерьев. Рейд, решив, что нечего зря растрачивать энергию на болтовню, купил нам по номеру «Стрэнд мэгэзин», и мы, усевшись в уголок, уткнулись в развернутый журнал, делая вид, что он нас страшно интересуется. Мне журнал служил прекрасным щитом — губы мои беззвучно шевелились, ибо я все время молился, прося небо не лишать меня своего благоволения в эту последнюю минуту. Рейд сидел подле меня, совсем рядом, и глядел на доки, заводские трубы и газомеры, пролетавшие мимо в пелене дождя; мне придавала храбрости близость мускулистого плеча Рейда, которое не отодвигалось, когда поезд толкал нас друг на друга, а наоборот, казалось, Рейд в качестве последнего дара хотел наделить меня своей силой, душевной стойкостью и умом. Правда, время от времени он делал тщетные попытки увлечь меня Шерлоком Холмсом — персонаж, перед которым он преклонялся, — но я-то видел, что он волнуется, больше того, что нервы его до предела напряжены. Я чувствовал это, хоть он и старался держать себя в руках. Он хотел, чтобы я победил. Он жаждал этого всеми фибрами своего могучего, жизнедеятельного организма.

Здания колледжа, в подтеках от дождя, старинные, с заостренными шпилями, стояли на холме, возвышавшемся над парком в западной части города, и показались необычайно внушительными пятнадцатилетнему мальчику, который до сих пор видел их только во сне. И моя извечная слабость — проклятие всей моей жизни — овладела мной. Когда мы вышли из желтого трамвая, который привез нас от центрального вокзала к подножию Гилмор-хилла, мне стало страшно, я почувствовал себя маленьким и несчастным; мы пошли по тихой дороге между двойного ряда профессорских домиков, а когда ступили на чудесный квадратный двор, окруженный низкими арками, я неволь-

но спросил себя: да разве имеет право столь жалкий и ничтожный мальчишка войти в святилище науки? Но не презирайте меня за это. Правда, цветок в петлице и маленькая бумажка во внутреннем кармане пиджака, казалось, должны были поддерживать мой дух, но левый ботинок уже начал внушать мне серьезные опасения, вынуждая меня ступать таким образом, что Джейсон даже спросил:

— Ты что, ушиб ногу?

Я вспыхнул.

— Возможно, я перетрудил колено.

Но вот мы вступили на поле битвы. Кандидаты на стипендию толпились у двери в зал.

— Ну, это все олухи! — со всею убежденностью, какую позволяла ему совесть, заметил Джейсон, стоя с нами в некотором отдалении от остальных. Однако я не мог с ним согласиться. Уж больно славная тут собралась компания — все такие живые, умные. Мне казалось, что я угадал, который из них Мак-Ивен: маленький человечек в очках, засунув руки в карманы, стоял, прислонясь к колонне, и, о господи, смеялся, да, смеялся так, точно ему было все нипочем.

Наконец что-то глухо стукнуло — возможно, это мое собственное сердце, — большие дубовые двери растворились, и юноши стали заходить в помещение. Пошел с ними и я. Тут Джейсон, словно тисками, сжал мне руку. Нагнувшись к самому моему уху так, что я почувствовал на щеке его горячее, с «запашком» дыхание, он прошептал:

— Возьми мои часы, Шеннон. Не верь их старому будильнику. И держи себя в руках. — Голос его зазвучал хрипло, он впился в меня своими большими, навывкате глазами. — Я знаю, что ты можешь победить.

Зал оказался очень большим, с витражами в окнах, как в церкви; на балконе тускло поблескивали трубы органа; по стенам висели изодранные флаги, а с балок

высокого потолка свешивались флаги поновее и ярче. Сегодня утром, однако, в дальнем конце зала можно было увидеть знакомую картину: около ста блестящих желтых парт, перенумерованных по порядку, было расставлено перед столом экзаменатора. Мне досталась девятая парта в середине переднего ряда; несколько тетрадок в кожаных переплетках, перо, карандаш, чернила и промокательная бумага были разложены передо мной. Я присоединил к этому серебряные часы Джейсона, которые показывали без трех минут десять. Скрип и шорох в зале прекратились. Экзаменатор, мрачный, медлительный человек в выцветшей мантии, раздает листочки с вопросами по тригонометрии. Я закрываю глаза в последней отчаянной мольбе, и когда открываю их, передо мной уже лежит бумажка, на которой мелким отчетливым шрифтом что-то напечатано. Я беру ее и с радостью вижу: первый вопрос — тот самый, что с поистине невероятной прозорливостью предсказывал Джейсон. Я знал ответ чуть ли не наизусть. Сжав губы, слегка дрожащими пальцами беру я перо и придвигаю к себе первую, еще не тронутую тетрадку. И забываю обо всем... ничто для меня больше не существует, лишь непрерывным потоком текут из-под пальцев знания: бледный, согнувшийся, я, точно во сне, записываю ответ.

Под вечер мы с Гэвином возвращались в Ливенфорд; народу в поезде было так много, что мы не могли сравнить свои ответы, хотя мнениями обменялись и оба пришли к выводу, что вопросы по алгебре и основам геометрии были ужасно трудные. Я волновался из-за того, что, возможно, упустил что-то, настроение у меня было подавленное, я был до предела измучен, и меня лихорадило. Особенно озябли ноги; тут мне, пожалуй, лучше признаться, что ботинки мои не только сильно промокли, но на подметке одного из них, левого, вообще была дыра, в которую без труда можно

было просунуть три пальца. И все-таки тщеславие не позволило мне предпочесть этим развалинам остроносые ботинки Кейт, которые хоть и были крепкими, но шнуровались чуть не до колена. С немалой изобретательностью я прикрыл самую большую прореху стелькой из коричневого картона, которую я вырезал из старой шляпной коробки, что стояла у мамы под кроватью. Однако дождь и каменная мостовая вскоре доказали всю тщетность моей уловки. Через десять минут картонки моей как не бывало, равно как и носка, так что я ступал все равно что босиком. Неудивительно, что я дрожал от сырости в этом насыщенном испарениями вагоне, битком набитом рабочими в плащах, с которых стекала вода.

Джейсон встречал нас на Ливенфордском вокзале и сразу завладел мной. Когда мы пришли к нему, он посадил меня обедать, подал мне горячие котлеты с картофелем, а сам каким-то странным голосом, настойчиво и в то же время взволнованно принялся расспрашивать об экзамене. Он присел к письменному столу, над которым спускалась металлическая лампа, и с помощью логарифмической линейки и таблиц сделал все вычисления; затем он подошел ко мне и, ни слова не говоря, положил передо мной листок с ответами. Я сравнил их с моими, потом поднял голову, взглянул в его напряженное лицо.

— Да, — сказал я.

— Все до единого?

— Да, — скромно и в то же время ликующе повторил я, тогда как у Рейда вырвался глубокий вздох облегчения.

На следующий день, в субботу, мы держали экзамены по французскому и английскому языкам, а также по прикладной химии; последний предмет — физику — нам отложили до понедельника. Я сунул в ботинок картонку потолще и вымазал подошву чернилами.

ми — на случай беды. Как ни странно, меня прежде всего заботила мысль о том, как бы не предстать перед всеми этими соискателями стипендии в неприличном виде — чуть не босиком. Когда мы шли от остановки трамвая, хлынул сильнейший ливень. Гэвин поделился со мной своим макинтошем, но поделиться своими ботинками, конечно, не мог.

Ну что за беда! Как только мы очутились в экзаменационном зале, все эти мелочи были забыты, они потонули во всепоглощающем стремлении победить. Я и не вспомнил про свои мокрые ноги, пока мы не очутились снова в поезде; только тут я заметил, что дрожу, а поднеся руку ко лбу, вдруг почувствовал страшную головную боль. Я ехал один. Гэвин остался в Уинтоне встречать сестру, и всю дорогу я просидел, высунув в окно голову в надежде, что от свежего воздуха боль пройдет.

Когда поезд прибыл на Ливенфордский вокзал, лицо поджидавшего меня там преданного Джейсона затанцевало перед моими глазами; я улыбнулся, чтобы показать ему, что не совсем его опозорил. Он снова схватил меня за руку — скорее покровительственно, чем грубо — и потащил вниз по ступенькам к стоянке кебов.

— Ты совсем выдохся... и неудивительно. Благодарение богу, ты завтра целый день можешь отдыхать.

Он с шиком подвез меня домой в кебе, а дедушка подал нам обед, на котором я был, так сказать, почетным гостем.

За обедом, вопреки своему обыкновению, я болтал без умолку. Понуждаемый Джейсоном, я изложил ему содержание экзаменационной работы по французскому языку и чуть не слово в слово пересказал написанное мною сочинение.

— Прекрасно... прекрасно, — то и дело повторял Джейсон, не переставая потирать руки и с каждой ми-

нутой приходя во все большее возбуждение. — Очень хорошо, что ты привел эти цитаты. Отлично справился... можно даже сказать, преотлично.

От возбуждения у Джейсона на губах выступила пена. Не меньше его растрогался и дедушка: я редко видел, чтобы он был так взволнован. Он ничего не ел, ловил каждое мое слово. Передо мной был не только наставник и покровитель — он словно сам помолодел и сейчас вместе со мной переживал пору своей юности: тоже сидел на экзамене и тоже старался выйти из этого конкурса победителем. Он так и просиял, когда Рейд заявил:

— Я не хочу говорить ничего такого, Шеннон, о чем я бы мог потом пожалеть. Но ты, безусловно, не валял дурака. А в понедельник у тебя экзамен по предмету, в котором ты наиболее силен. И если Господь Бог за субботу и воскресенье не лишит тебя окончательно разума — что вполне возможно, ибо я сам уже почти стал сумасшедшим, — ты, конечно, наберешь девяносто пять процентов, это уж всенепременно. А теперь отправляйся, ради бога, и выпишись как следует.

Я медленно потащился к себе наверх, и до меня отчетливо донеслись слова Рейда, который, обращаясь к дедушке, точно сам себе не веря, говорил:

— Пока что он ни в чем не дал маху. Сдал лучше... гораздо лучше, чем я предполагал.

О радость, неизъяснимый, священный восторг! Я закрыл глаза и, ослабев от всех этих похвал, приклонился к перилам лестницы.

На следующее утро, в воскресенье, я проснулся в половине восьмого и встал с намерением к восьми часам быть в церкви; это настолько вошло у меня в привычку, что, лишь дойдя до середины Драмбакской дороги, я понял, что со мной творится нечто странное. Голова у меня болела и кружилась, во рту пересохло, и было больно глотать, и, хотя серенький денек обещал

быть довольно теплым, меня бил озноб. Однако я знал, что экзамены не дались мне даром и сказались на моих нервах. А причаститься сегодня утром я просто обязан — и не только из чувства глубокой признательности за оказанные мне благодеяния, но еще и потому, что я дал в этом торжественный обет, чтоб быть уж совсем уверенным в конечном успехе.

Вернувшись из церкви, я с трудом проглотил завтрак; меня всего трясло.

— Дедушка, — сказал я, — мне страшно холодно. Как ни глупо, но мне бы очень хотелось погреться у огонька.

Дедушка, нахмурившись, испытующе взглянул на меня и, хотя на лице его отразилось удивление, не стал возражать.

— Мне кажется, ты вполне заслуживаешь этого, — медленно заметил он. — И сейчас я тебе разведу огонь. В лучшей комнате этого дома.

Он наложил дров в камин и развел огонь в гостиной, в которой мы обитали почти все время, пока я готовился к экзаменам, — единственная пора на моей памяти, когда этот никому не нужный музей служил жилищем человеку. Усевшись в кресло возле огня, я почувствовал себя лучше, отогрелся, а вскоре и сам горел как огонь.

— Что бы тебе хотелось на обед? — спросил дедушка, который все утро то и дело заходил в комнату, присматривая за огнем и поглядывая на меня.

— Да мне что-то ничего не хочется. Я несколько не голоден.

— Как знаешь, дружок. — Он нерешительно постоял возле меня, но больше не сказал ни слова. Через минуту он снова появился в комнате, уже в шляпе и с таким нарочито небрежным видом, что сразу ясно было: тут что-то неспроста. — Я пойду прогуляюсь. Скоро вернусь.

Через полчаса он вернулся вместе с Рейдом. Когда они вошли в комнату, я посмотрел на них, но даже не пошевелился. Вид у Джейсона был сердитый и одновременно взволнованный.

— Хелло, хелло! Это еще что такое? — воскликнул он с несвойственной ему грубостью. — Хочешь заболеть, что ли? Ничего не выйдет, голубчик. Если ты думаешь, что тебе в последнюю минуту удастся сбежать, то ты жестоко ошибаешься.

Продолжая бушевать, он придвинул стул к моему креслу и резко схватил меня за руку: нет, никаких глупостей он не потерпит.

— Да, возможно, тебя лихорадит. Но мы не будем мерить температуру, у меня нет градусника. Да к тому же я не хочу забивать тебе голову всякой ерундой. Просто ты немножко простудился.

— Да, сэр, — с трудом выговорил я. — К утру у меня все пройдет.

— Надеюсь. И пожалуйста, не жалея так себя. Я ведь предупреждал, что ты станешь истериком. Возьми себя в руки и съешь чего-нибудь. — Он повернулся к дедушке. — Принесите ему немножко молочного пудинга с яблоками, который был у вас вчера вечером. — Дедушка вышел, а он продолжал: — Сейчас, после того как мы с тобой прошли через столько трудностей, я доставлю тебя в этот экзаменационный зал, даже если мне придется до ушей налить тебя бренди. Как у тебя голова, ясная?

— Вполне, сэр... только немного кружится.

Дедушка принес блюдце с яблочным пудингом, залитым заварным кремом. Я выпрямился в кресле: надо постараться съесть это; но, проглотив несколько ложек, печально посмотрел на Рейда.

— У меня горло болит, сэр.

— Горло? — Он помолчал. — Давай-ка посмотрим. Подойди сюда.

Он подвел меня к окну и, не слишком церемонясь, повернул мою голову так, чтобы свет падал мне прямо в рот, а я, надо сказать, не без труда широко раскрыл его. С минуту Джейсон смотрел, и по тому, как он весь переменялся, как разжались его руки, я сразу понял, что дело худо.

— Что там у меня, сэр?

— Ничего... Впрочем, не знаю. — Он отвернулся, голос у него стал каким-то безжизненным, чувствовалось, что он совершенно подавлен. — Надо привести доктора.

Он вышел, а я снова свернулся клубочком в кресле. Теперь я знал, что очень болен. А хуже всякой болезни был невероятный страх, — который напал на меня, который стучал у меня в висках, страх перед тем, что завтра я не смогу держать экзамен. Напротив меня, выпрямившись, сидел дедушка — неподвижный и молчаливый.

Через час Джейсон вернулся с доктором Галбрейтом. Доктор опытным глазом посмотрел мне горло и кивнул Джейсону.

— Немедленно уложите в постель, — сказал он.

ГЛАВА 12

После того как острое воспаление прошло и начали отделяться пленки, боли утихают и дифтерит длится недолго. В первые дни держится высокая температура и, как следствие ее, бред, потом жар спадает, пульс бьется тихо, нервы приятно расслаблены. Иногда состояние слабости становится слишком затяжным, мускулы гортани или сердце отказывают — тогда на помощь спешно является врач со шприцем. Но со мной такой трагедии не произошло. Болезнь оказалась не тяжелой, и доктор Галбрейт обещал, что я поднимусь

дней через десять. После месяцев изнуряющего труда так хорошо было просто лежать, не двигаясь, на спине, вытянув под простыней руки, и следить глазами за пучком солнечных лучей, который проникал в комнату через узкое окно спальни и медленно поворачивался — вместе с танцующими пылинками — по мере того, как день клонился к вечеру.

Не думайте, что я терзался разочарованием и отчаянием, — нет, отнюдь нет. Наоборот, меня поддерживали надежда и вера. Да, я был твердо уверен, что все будет в порядке, и в том повинны были слабость и тесное общение с миром Божественным, а также непоколебимая уверенность, что Бог в своей бесконечной благости не допустит гибели юноши, который пламенно в Него верит и на коленях денно и нощно прославляет Его. Ведь никакого чуда не требовалось, Божественной силе не нужно делать ничего сверхъестественного — только соблюсти справедливость, простую справедливость. Экзаменаторам надо лишь беспристрастно вывести мне средний балл по предмету, который я пропустил. Даже Джейсон намекнул, что такая вещь вполне возможна. Когда результаты будут объявлены... тут я закрывал глаза и слабо, доверчиво улыбался, а затем снова шептал молитву.

Папа и мама все еще не вернулись. Судя по открыткам, которые мама присылала дедушке, они были довольны своим пребыванием в Лондоне. Мама горделиво намекнула, что папа «вложил деньги в дом Адама», и то обстоятельство, что он стал акционером, видимо, ударило ему в голову, ибо по пути домой они даже решили завернуть к бабушкиным двоюродным сестрам в Килмарнок и провести с ними неделю. Они вернутся вместе с бабушкой дней через десять. Мы с дедушкой вычислили по календарю, что я как раз к этому времени поднимусь с постели; это показалось нам хорошим предзнаменованием, и мы оба повеселели.

Дедушка отлично справлялся с обязанностями сиделки. В первые дни горячечного бреда я, словно сквозь дымку, видел, как он движется по комнате в ночных туфлях, а сколько раз ночью он наклонялся ко мне, чтобы дать лекарство или полоскание. Я слышал также и голос миссис Босомли; остановившись за пропитанной карболкой простыней, которой была занавешена дверь, она передавала дедушке желе или бланманже собственного изготовления. Теперь я уже не уподоблял себя ангелу-мстителю.

Хотя я и лежал совсем один, нельзя сказать, чтобы меня никто не навещал. Каждый день приходил доктор Галбрейт, сухой, необщительный и грубоватый, — если он и признал во мне одного из участников странной сцены, которая в свое время разыгралась у Антонелли, то и вида не подал. Несколько раз появлялась Кейт, — правда, она останавливалась у входной двери, опасаясь заразить своего малыша. У Мэрдока было меньше оснований принимать такие предосторожности, тем не менее его частые посещения были мне лестны и приятны; я даже стал замечать, что с нетерпением жду, когда раздадутся его тяжелые шаги, нескладная речь, перемежающаяся долгими паузами, его плоские шуточки (которые я знал наизусть), его сообщения о новом сорте гвоздики. Очень ко мне рвался, конечно, Гэвин, но дедушка не впустил его и чуть не разбил этим мне сердце. Правда, я успокаивал себя тем, что скоро поправлюсь и увижу его.

Приближалось двадцатое июля — день, наступление которого ничто не могло отвлечь, — день, который я никогда не забуду. О некоторых периодах моей жизни мне просто нечего рассказывать, если не считать мелких повседневных событий и глупостей, какие совершает каждый подрастающий мальчик в учитель-

ном процессе своего становления. Но этот день — двадцатое июля... Он жив в моей памяти и много лет спустя снова встает передо мной как воплощение ужаса.

Была среда; первая половина дня прошла без всяких событий, если не считать того, что я впервые оделся, выполз из комнаты и сделал несколько шагов по саду. После завтрака, поскольку погода была очень хорошая, дедушка вытащил на лужайку за домом шезлонг; я сидел, положив ноги на дощечку, прикрыв колени ковриком, и наслаждался теплым солнышком. Когда человек поправляется, его может обрадовать даже забытая яркость внешнего мира; сердце замирает от восторга, замирает, как при звуках птичьей трели, которой пернатые певуны приветствуют синеву неба, прояснившегося после дождя. Дедушка прибирал в доме, уничтожая следы моей болезни, известие о которой могло лишь расстроить папу; а поскольку мистер Рейд заплатил доктору, то папе нечего было и знать о ней.

Внезапно я услышал шаги. Это были энергичные шаги Джейсона, под которыми хрустел гравий. Он вышел из-за угла дома и, улыбаясь, присел на траву.

— Ну как себя чувствуем, лучше?

— О, я в полном порядке.

— Отлично. — Он кивнул, выдернул травинку и отбросил ее.

Помолчали. Потом Рейд задумчиво заговорил, и взгляд его как-то странно перебежал с предмета на предмет.

— Ты великолепно сдал, Шеннон. Гораздо лучше, чем я в свое время. Должен признаться, что, когда ты заболел, я готов был плакать кровавыми слезами. Но ничего не поделаешь: приходится мириться с разочарованием, в этом состоит жизнь. Кстати, ты читал «Кандида»?

— Нет, сэр.

— Надо будет дать тебе эту книжку. Она поможет тебе понять, что всеблагое Провидение устраивает все к лучшему.

Я смотрел на него, не понимая, к чему он клонит, однако меня насторожило и даже взволновало, что он ни с того ни с сего заговорил о вмешательстве Провидения. Вдруг он сказал:

— Результаты конкурса будут объявлены только через неделю. — Помолчал, затем решительно закончил: — Я только что видел профессора Гранта. Он сообщил мне отметки.

Сердце мое, хоть и подкрепленное стрихнином доктора Галбрейта, заколотилось, как пойманная птица; я непроизвольно сжал руки, подался вперед, горло у меня сразу пересохло. И, словно поняв мое состояние, Рейд с неожиданной горечью, почти грустно глядя на меня своими большими, навывкате глазами, быстро произнес:

— Мак-Ивен.

Вундеркинд победил. Такого рода юнцы всегда побеждают на конкурсах, хотя иной раз в этом им помогает чужой дифтерит.

Пораженный в самое сердце, я смотрел на Рейда, а он продолжал говорить, горстями выдирая и отбрасывая траву:

— И набрал-то он всего девятьсот двадцать баллов.

Точно сквозь туман, я видел, как дедушка вышел из кухни и приблизился к нам; ему тоже все было известно. Рейд уже успел рассказать ему по пути сюда. Я опустил голову — боль была такая, что я не мог смотреть. Побелевшими губами я спросил:

— А кто на втором месте?

Пауза.

— Ты... на двадцать пять баллов меньше, чем у него... даже без отметки по физике. Я чуть не на коленях

уговаривал их вывести тебе средний балл. Я предлагал им посмотреть твои отметки в течение года. Я сказал им, что ты набрал бы не двадцать пять, а девяносто пять баллов. — И тихо, с неизъяснимой горечью закончил: — Все было ни к чему. Они не могли или не хотели пойти против правил.

Снова молчание. И все-таки до моего сознания еще не дошло, что я окончательно провалился. Нет, конечно, мне сейчас скажут что-то еще. И, словно стремясь утишить мучительное биение моего сердца, Джейсон добавил:

— Третьим был Блейр — он получил на один балл меньше тебя.

Два мальчика в лодке на залитом луной Лохе. «Один из нас, один из нас должен победить». И я сразу забыл про свою беду и смятение, мне стало жаль Гэвина.

— А он знает?

Рейд покачал головой.

— Нет еще.

Тут заговорил дедушка — взволнованно, не как мелкий сплетник, а как человек, который сам изведal горе и который против воли говорит печальную истину, ибо рано или поздно ее все равно придется сказать. Дедушка никогда открыто не выказывал мне своего сочувствия. И сейчас ему, очевидно, захотелось отвлечь меня от мучительных дум о моем провале.

— Нашего мэра поразил страшный удар.

Я тупо посмотрел на него.

— Что вы хотите этим сказать?

— Он все-таки потерпел крах, обанкротился.

Я оцепенел: еще и эта беда!.. Отец Гэвина — банкрот, он разорен и обесчещен... Что теперь Гэвину потеря стипендии Маршалла в сравнении с этим? Ничто, ровным счетом ничто. И я внезапно увидел бледное, гордое лицо этого юноши, который обожал своего

отца, преклонялся перед ним, точно это бог на Олимпе. Я должен идти к нему, идти немедленно.

У меня хватило ума не сообщать о своем намерении. Никому из нас троих, видимо, нечего было больше сказать. Я выждал, пока дедушка и Джейсон вошли в дом, и, не спрашивая разрешения, по боковой тропинке выбрался на дорогу. Я едва ли замечал, как я слаб и как дрожат у меня ноги: мне хотелось скорее разыскать Гэвина.

Гэвина я не застал. Вообще в большом доме мэра, казалось, не было ни души: ни горничной, ни садовника; за строгими официальными окнами царили смятение и переполох. Мне пришлось трижды постучать, прежде чем мисс Джулия чуть-чуть приоткрыла дверь, точно боялась, как бы новое горе не вошло к ней. Дрожащим голосом она сказала мне, что Гэвин уехал на несколько дней к друзьям в Ардфиллан; она звонила ему по телефону; он приезжает сегодня в четыре часа дня.

Я знал, что он выйдет на Дальрохской станции. Небо было белым от зноя. Мужчины шли по улицам в одних рубашках, перекинув через руку пиджаки и обмахиваясь шляпами. Преодолевая слабость в ногах, я дотащился до станции и подошел к воротам в ту самую минуту, когда прибыл ардфилланский поезд. Я ждал на своем обычном месте, напрягая глаза, чтобы не проглядеть Гэвина; в жарком воздухе пыль стояла столбом и нестерпимо блестели рельсы.

Вот он. Я увидел, как он спрыгнул с подножки поезда и пошел к товарной станции. Он не видел меня. Лицо у него было белее белесого неба, глаза смотрели прямо перед собой. Он уже все знал.

Кондуктор засвистел, взмахнул ярко-зеленым флажком. Сильный паровоз медленно потащил вагоны на запасной путь. Один вагон остался на месте, и из него не торопясь выкатывали бочки с картофелем и грузили

на телегу. Я до сих пор вижу эту картину, она словно выжжена у меня в памяти.

Вот тронулся и пассажирский поезд; Гэвин как раз переходил через пути, всецело поглощенный своею болью, и, видимо, не замечал поезда, медленно шедшего по другой колее. Он не смотрел, куда он идет. И шел прямо навстречу паровозу. Я вздрогнул и дико закричал. Он услышал меня. Увидел паровоз. И боже правый! — стал как вкопанный. Должно быть, у него нога попала между рельсами, он нагнулся и изо всех сил старался вытащить ее.

— Гэвин! Гэвин! — закричал я и бросился к нему.

Сквозь марево, колыхавшееся над станцией, я увидел его глаза, казавшиеся совсем черными на бледном лице; взгляды наши встретились. Он яростно пытался высвободить ногу из тисков, но не мог. Паровоз наехал на него. Прежде чем я успел снова крикнуть, раздался его крик, и перед глазами у меня поплыл красный туман.

Когда я пришел в себя, на железнодорожных путях толпился народ; все кричали, суетились. Машинист, взволнованно вертя в руках кусочек угля, объяснял полицейскому офицеру, что он тут ни при чем. Вокруг слышались испуганные голоса: «Какая трагедия! Ведь отец-то его...» Им казалось, что Гэвин покончил с собой.

Держась за стенки, крепко сжимая зубы, чтобы побороть тошноту, я с трудом добрался наконец до дома, страстно желая, чтобы скорее стемнело. Но когда настала ночь, я не мог заснуть. Заглушая боль, нарастало возмущение. Доверчивый простака — вот я кто! Измученный мозг еще был в полном смятении, но в чувствах моих произошла резкая перемена, я инстинктивно понимал, что наступил поворотный момент в моей жизни.

На следующий день прибыли папа, мама и бабушка; я лежал у себя в комнате и сквозь запертую дверь слышал, что они приехали. Бабушка позвала меня. Но я не ответил.

Избегая встречи с ними, я вышел из дому и медленно побрел по дороге — мимо трех каштанов, четко выделявшихся на фоне неба, шел к дому, где были закрыты ставни, точно обитатели его хотели отгородить себя от излишне назойливой красоты мира.

С остекленелым взглядом устало бреду я, еле передвигая ноги; руки у меня засунуты в карманы, и вдруг пальцы нащупывают медальку, «чудодейственную медальку», которую дали мне монастырские сестры, когда я, простодушное дитя, доверчиво слушал их вдохновенные сказки, сидя в монастырском саду под кустом душистого чубушника. В груди моей нарастают рыдания, они душат меня. Я беру священную вещицу и дрожащими пальцами швыряю в кусты. Вот ему, этому Богу, который умерщвляет детей, губит их, разбивает их сердца. Нет на земле Бога, нет справедливости. Все надежды исчезли. И не осталось ничего — ничего, кроме слепого вызова небу.

Гэвин лежит на постели у себя в спальне, забывшись крепким сном, — сном, от которого не пробуждаются. Сон сковал его, глаза его закрыты, лицо спокойно, ничто не волнует его. Он все так же горд и исполнен решимости и так далек, бесконечно далек от всего.

Джулия Блейр, с красными от слез глазами, молча показывает мне ботинок Гэвина, от которого он почти оторвал каблук, пытаясь вытащить попавшую в стрелку ногу. Нет, он не сдался. Даже в своем непробудном сне это храброе сердце не знает поражения.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА 1

Как-то февральским вечером я вышел из ворот завода — земля звенела под моими коваными каблукми, а вокруг уличных ламп были морозные круги — и увидел маленького сынишку Кейт. В новенькой голубой шапочке ученика Академической школы, необычайно гордясь, что и он пошел учиться, Люк поджидал отца. Как быстро все-таки бежит время, — эта мысль вдруг поразила меня, словно удар обухом по голове. Боже мой, какой я стал старый. Ведь мне уже семнадцать лет!

— Дай пенни, Роби. — Он подбежал ко мне, крепкий, краснощекий, с горящими от сознания собственной значимости глазами.

Я порылся огрубевшими пальцами в карманах засаленной спецовки и нашел монету.

— Надо сказать «пожалуйста».

— Пожалуйста.

— А знаешь, кто давал мне пенни, когда мне было столько лет, сколько тебе?

Я говорил с ним как почтенный старец, а он во все глаза смотрел на монету, и его больше ничего не интересовало. Не беда. Давать ему пенни, водить по субботам на футбол и там, отбросив мрачную чопорность, орать так же неистово, как он, было одной из радостей моей жизни — жизни, в которой уже немало лет осталось позади, обремененной горем, почти прожитой.

— Отец выйдет минут через пять, — уже отойдя на несколько шагов, сказал я. — Он разрешил мне сегодня уйти пораньше.

— На концерт? — вдогонку крикнул он.

Я кивнул, но в темноте он этого не видел. А у меня потеплело на душе при одной мысли о предстоящем удовольствии, и я уже не так понуро тащился по дорожкам городского сада, где гулял ветер: от одного предвкушения того, что ждало меня вечером, исчезла вечно одолевавшая меня усталость. Сегодня я не засну за столом, как только съем ужин. Всецело поглощенный думами, я прошел мимо темной громады церкви Святых Ангелов, забыв погрозить ей в темноте театрально сжатым кулаком, как это уже вошло у меня в привычку.

Вскоре после смерти Гэвина, перед тем как мне кончить школу, каноник Рош вызвал меня к себе. Он принял меня в своей комнате необычайно дружелюбно; засунув руки в карманы сутаны, он некоторое время шагал из угла в угол, а затем повернулся ко мне.

— Дорогой мой Шеннон. — Его темные глаза сочувственно блеснули. — Возможно, все так случилось потому, что Богу угодно было показать тебе иной путь в жизни.

Я потупился.

— Ты собираешься поступить на завод?

— Да, — сказал я. — Это, пожалуй, единственное, что мне осталось.

— В таком маленьком городишке, как Ливенфорд, конечно, не так уж много возможностей приложить свои силы. — Он помедлил. — Роберт... а ты никогда не думал стать священником?

Я густо покраснел и, не отрывая взгляда от ковра, пробормотал:

— Думал.

— Какая это прекрасная жизнь, мой мальчик! Какая великая радость, какая честь служить Господу в качестве одного из Его избранных учеников! — Он сердечно смотрел на меня сверху вниз. — Я ведь говорю не просто так. Существует фонд, предназначенный для прекрасного дела — обучения бедных детей, чтобы они могли стать священниками. Фонд этот невелик. И естественно, отбирают всего несколько кандидатов. Но что до тебя — а я уже писал о тебе епископу, — стоит тебе захотеть, и ты будешь принят немедленно, уже на будущей неделе сможешь уехать в семинарию.

Я молчал, мне было стыдно. Каноник Рош явно ожидал, что я с радостью откликнусь на его предложение. Месяца полтора назад я бы так и сделал. Но сейчас все изменилось: моя пламенная вера превратилась в жгучую горечь.

— Ну-с... — Каноник улыбнулся. — Что же ты скажешь?

— Извините, — еле выдавил я из себя. — Но я не хочу.

По лицу каноника видно было, что он удивлен; он быстро спросил:

— Ты что же, не хочешь получить духовный сан?

— Хотел когда-то, — сказал я. — А теперь не хочу.

Наступило молчание. Каноник, по-видимому, впервые понял, что со мной происходит. Но он был очень умен и не стал уговаривать меня. Он и виду не показал, что разочарован, и задумчиво, вдохновенно принялся описывать мне радости, которые дарит человеку жизнь, посвященная Богу. Он раскрывал передо мной широкие горизонты духовного обновления, говорил о том, какую культуру и знания я смогу бесплатно приобрести щедротами святой Матери Церкви. Он вспоминал приятные дни своего собственного пребывания в Вальядолиде, где он учился в особом колледже; ес-

ли я захочу, я тоже смогу туда поступить. Он описал мне здания семинарии, красоты испанской природы и в заключение с обезоруживающей улыбкой рассказал о том, как он обычно после обеда отдыхал под лозой, освежаясь чудесным сладким виноградом, гроздь которого свисали ему чуть ли не прямо в рот.

Я почувствовал, что речь его начинает оказывать на меня свое влияние. Я любил каноника Роша и преклонялся перед ним. А поскольку человек я был чувствительный, на меня не могла не подействовать его подкупающая доброта. И все-таки душа моя отказывалась сдаваться. Я крепко сжал побелевшие губы.

— Не могу я, — с отчаянием произнес я. — Я не хочу быть священником.

Последовало весьма длительное молчание; затем каноник Рош заговорил, но уже другим тоном:

— Я не собираюсь на тебя воздействовать. Ты сам должен решать. Но мне хотелось бы сказать тебе, что такие возможности для духовного и материального расцвета будут представляться тебе не каждый день. И конечно, мы не можем до бесконечности держать для тебя свободную вакансию. Помолись Всевышнему, чтобы Он наставил тебя, и приходи ко мне снова в субботу.

Я вышел на улицу под хмурое серое небо. В конце недели я не пошел к канонику Рошу. Моя смелость удивляла меня. Но зародыши бунта быстро разрастались в моем сердце. Если Бог не позволил мне стать ученым, я не видел оснований, почему я должен покориться Ему и стать священником. Любой путь, только не этот; при сложившихся обстоятельствах перспектива поступить на завод положительно казалась мне привлекательной. Все мои надежды рухнули, и, полный горечи, терзаемый все новыми ужасными мыслями, я безрассудно стремился к наихудшему из того,

что могла предложить мне судьба. А главное, мне хотелось показать, что мне все безразлично.

Проработав полтора года на заводе, я ко многому относился уже иначе. Я по-прежнему драматизировал свое положение. Однако в душе у меня росла неудовлетворенность, и я уже не чувствовал себя таким героем. Неужели я никогда не стану богатым и знаменитым и то, чего я так жажду, будет вечно ускользать от меня?

Вот какие мысли занимали меня, и естественно, что меньше всего я хотел встречи с кем бы то ни было; однако стоило мне свернуть на Драмбакскую дорогу, как от темной стены отделилась чья-то фигура — фигура человека, слишком хорошо мне знакомого; он сдержанно поздоровался и заковылял рядом со мной.

Это было мое бремя, унаследованное от бедной мамы, — дедушка.

— А сегодня, Роберт, свежо.

Я пробормотал что-то, а сам подумал: что ему еще от меня надо? На той неделе я обнаружил его возле бара Фиттерса: он ораторствовал перед толпой подмастерьев на тему о правах женщин.

— Послушай, мой мальчик, не дашь ли ты мне маленький аванс? Суший пустяк. Шесть пенсов. На марки.

Я продолжал идти, молчанием выражая свое неодобрение. Эти конкурсы, на участие в которых он тратит добрую половину дня, являются частью того, что он называет своей «новой эрой». Дедушка решил доказать, что, несмотря на преклонные годы, он еще на что-то способен и разбогатеть — суший пустяк для человека с его данными. Он ходит в общественную читальню и там без зазрения совести под самым носом у строгой библиотекарши вырезает все объявления и рекламы, которые могут принести ему богатство; чего-чего только нет среди этих вырезок. А у себя в ком-

нате он ведет обширную переписку: вставляет недостающие слова, рифмует фразы, дописывает последние строчки к шуточным стихотворениям, составляет целый словарь на шесть букв алфавита, глубокомысленно избранных редактором «Хоум уикли». Даже на лестнице я не могу спокойно пройти мимо него — он непременно меня остановит и с заговорщическим видом вытащит из кармана мятую бумажку.

— Будь любезен, Роберт, послушай, пожалуйста. — Он откашливается и читает:

Некой даме с Твикенхэма были туфельки узки,
До того они узки — не ступить ей на носки;
Стала дама у порожка
Отдохнуть хотя б немножко...

И с победоносным видом изрекает свою самую замечательную строку:

И на этом же пороге их сняла — так больно ноги.

Конверты с его произведениями падали в красный почтовый ящик, как хлопья снега на огонь. Взбешенный тем, что ему не везет, он объявил шуточные песенки сущим надувательством и с энтузиазмом обратился к экспромтам — столяр-краснодеревец из соседнего городка выиграл на экспромтах тысячу фунтов.

И вот сейчас, шагая рядом со мной в темноте, он убеждает меня с искренностью человека, уверенного в успехе:

— Я верну тебе эти деньги из моих премий. Почта закрывается в половине седьмого, а завтра последний день конкурса.

— И медного фартинга не дам, — обрезал я его. — Больше того: вы сейчас отправитесь прямо к себе. Сегодня я не буду вечером дома, и, если вы попытаете испортить мне настроение своими глупостями, я сверну вам шею.

Молчание; покорное молчание. Самым печальным было то, что с наступлением «новой эры» в жизни де-душки у ее изобретателя появилась эта болезненная реакция на малейший укор. Злясь на себя, я свернул к «Ломонд Вью»; хорошо еще, что я не был с ним слишком груб и не расстроил его. Я смотрел ему вслед, пока он медленно взбирался по лестнице: он задыхался — ему труден теперь был любой подъем; и только услышав, как хлопнула дверь его комнаты, я вошел в кухню.

Папа приветствовал меня кивком; он сидел за столом и аккуратно размазывал по хлебу тонкий слой маргарина. А пока я в чуланчике «смывал с себя грязь» над раковиной, бабушка вынула из духовки оставленный мне обед, — за этот год, когда на плечи ее легли все заботы по дому, она стала гораздо мягче, бодрее и выносливее.

Мама не стало, не стало той, что была душой этого дома; она скончалась внезапно год назад зимним вечером, когда папа устроил сцену, получив от Адама письмо по поводу денег.

Никто, конечно, кроме нее самой, и не подозревал, что она больна, однако сейчас, оглядываясь назад и упрекая себя за невнимание к ней, я вспомнил жест, постепенно вошедший у нее в привычку: в минуты волнений она вскидывала руку к левой груди, словно хотела пальцами сдержать боль, утишить ноющее сердце.

Вот так же держалась она за бок и в ту минуту, когда я обнаружил ее в гостиной; она была одна, бледная как мертвец: ей не хватало воздуха.

— Мама, вам плохо. Я сейчас сбегая за доктором.

— Нет, — еле выговорила она. — Это еще больше расстроит папу.

— Но это необходимо. Вам в самом деле плохо...

Я только успел добежать до доктора Галбрейта. Когда мы пришли, она уже была без сознания.

— Организм совсем изношен, — кратко изрек Галбрейт, когда слабое биение артерии под его пальцами прекратилось совсем.

— Вы зайдете к нам завтра, доктор? — еле слышно спросил папа, потрясенный случившимся, а еще более огорченный непривычными расходами.

— Нет, — резко повернулся к нему доктор Галбрейт. — Ее уже не будет завтра. И ваше счастье, что я не намерен настаивать на вскрытии.

Я вздрогнул при одной мысли о том поругании, которому подверглось бы это беззащитное тело на столе в покойнице. А папе даже через несколько недель после похорон — хотя он с гордостью вспоминал, сколько венков было прислано покойнице, — все еще не верилось, что она посмела покинуть его.

— Ведь она же всегда говорила, что я переживу ее, — нередко замечал он с сокрушенным вздохом.

К моему изумлению, он не распродал маминых вещей, и у него вошло в привычку каждое воскресенье уединяться в спальне, вынимать из шкафа ее скромные платья, старательно чистить их и вешать обратно. Ему начинало ее недоставать.

В свое время я тоже не понимал, сколь многим я был обязан ей, этой скромной труженице, безропотно хлопотавшей по хозяйству, старавшейся сделать все как можно лучше, сохранить единство семьи, угодить папу, умерить его невероятную скаредность, не уронить своего достоинства на людях, быть всем приятной, этой слабенькой, неприметной рабыне, этой героической душе. Мама вовсе не отличалась идеальным характером: из-за денежных затруднений она частенько бывала резка и раздражительна. Когда я учился в Академической школе, она иной раз задерживала плату —

несколько шиллингов, которые полагалось вносить за меня, — и случалось, что ректор приходил к нам в класс и, устремив на меня взор, к моему великому стыду, заявлял: «Один из мальчиков в этом классе не заплатил за обучение». А когда агент наведывался к ней за дедушкиной страховкой или когда у нее подгорало, а следовательно, портилось жаркое, ее словно охватывала жажда мученичества: решительно сжав губы и склонив голову набок, так что прядь выбившихся из прически волос чуть не касалась мыльной воды, она принималась скрести дом от крыши и до погреба. И все-таки более святого человека я не знал. А потому что мне было бесконечно грустно, я заставлял себя — с любовью, которую познал слишком поздно, — вспоминать ее такой, какой она была перед поездкой в Лондон, как она перетряхивала свою меховую горжетку и улыбалась в лучах солнца...

— Нет, это просто невероятно! — Папа осторожно откусил кусок хлеба с маргарином и улыбнулся мне ясной, чуть ли не дружеской улыбкой: с тех пор, как я стал приносить домой приличное жалованье, он начал уважительно относиться ко мне и нередко поверял мне свои думы за ужином. — Какая цена на масло! Одиннадцать пенсов и полпенни за фунт. И куда только мир катится! К счастью, этот новый заменитель не менее вкусен и даже более питателен.

Бабушка деловито вязала, время от времени прихлебывая чай, — образец сдержанности и уравновешенности. Она все еще была полна энергии и умело вела хозяйство с помощью девушки, приходившей к нам на день по рекомендации городского благотворительного общества. У нее хватало силы восставать, если папа требовал какой-нибудь уж совсем нелепой экономии, и это она настояла на том, чтобы нанять помощницу.

— Что-то Адам не пишет, — тихо продолжал папа. — Нет, так дольше продолжаться не может. Я попросил Кейт и Мэрдока зайти к нам в следующее воскресенье, чтобы обсудить это. Я хотел бы, чтоб и ты присутствовал, Роберт.

Я пробормотал что-то в знак согласия и продолжал есть, дав понять бабушке, которая сразу выполнила мое желание, чтобы она подложила мне капусту. Хотя питались мы неважно, я был сыт: старая наша домоправительница даже изыскивала добавку для меня. Вообще теперь между бабушкой и мной существовал молчаливый прочный союз. Это тоже было доказательством моего преуспевания. И оно доставляло мне не меньше мрачного удовлетворения, чем мои мозолистые руки и сломанные ногти, моя непроходящая усталость, кашель, который начал душить меня и который я намеренно усугублял курением.

Покончив с ужином, я поднялся наверх. Софи Голт, девица, приходившая к нам на день, отнесла дедушке на подносе ужин и сейчас готовила мне постель, прежде чем отправиться домой. Ей было лет семнадцать. Низкорослая, с одутловатым лицом и короткими ногами, прикрытыми длинным сатиновым платьем, сшитым для нее бабушкой, она жила в Веннеле с отцом, у которого была большая семья. Софи слегка косила, так что казалось, будто она все время следит за тобой краешком глаза. Держалась она настолько приниженно, что мне просто неловко было, а с тех пор как я однажды застал ее перед зеркалом, когда она с невероятно кокетливым видом примеряла одну из маминых шляп, взятую из шкафа, мне и вовсе стыдно было на нее смотреть.

— Вы сегодня идете в городской зал, Софи?

— Ах, что вы. Откуда же такой, как мне, достать туда билет? — Она с величайшим старанием расправила мою подушку. — Отец достал всего один через свой клуб. Вы, наверно, увидите его там.

Помолчав немного, она оглядела комнату поверх моей головы и спросила:

— Я могу теперь идти?

— Безусловно, Софи.

Она еще постояла немного, разгладила какую-то морщинку на одеяле, кашлянула, вздохнула и наконец удалилась.

Мои приготовления к концерту не были сложны. За последние два года на смену болезненной стеснительности пришло намеренное безразличие. Когда я стаскивал рубашку, сразу было заметно, что я очень длинный, белокожий, ребра торчат, загорелые руки исцарапаны, а лицо всегда бледное, и над ним — огненно-рыжие вихры.

Упорно придерживаясь своих дурацких воззрений, я решил не надевать воротничка; многие рабочие носили нечто вроде шарфа, вот и я повязал такой вокруг шеи: ведь я же рабочий, фабианец, и, честное слово, нечего мне этого стыдиться.

Одевшись, я прошел к дедушке в комнату. Он полулежал в кресле, держа в одной руке большую новую книгу в кожаном переплете с золотым тиснением, а в другой — бутерброд с сыром, который он взял с подноса.

— Удивительная штука, Роберт. — Не поднимая глаз от книги, он начал есть бутерброд. — Оказывается, в человеке тридцать два фута кишок.

Эта дорогая книга, при одном виде которой у меня прошел мороз по коже, была одной из множества, стоявших на полке вдоль стены, и прибыли все эти книги с нарочным месяц назад по адресу: «Александрю Гау, эсквайру, аккредитованному агенту и подписчику на Медицинскую энциклопедию, выпускаемую фирмой Файерсайд». Вместе с пакетом была прислана пачка реклам: «Вы не можете не подарить вашим близким... свыше тысячи диаграмм и рисунков... средства от со-

рока четырех ядов, лекарства для дам, способы выведения угрей... написана простым, общедоступным языком... сенсационно, смело, увидите сами... не высылайте нам ни пенни, наш аккредитованный агент будет посещать вас каждую неделю...»

И вот дедушка ходит по домам, расположенным в самых отдаленных частях нашего городка, и с неослабевающим интересом пополняет свои медицинские познания; меня же томят дурные предчувствия: собирать-то деньги на заказы он мастак, а вот как он будет в них отчитываться. На беду, хотя пора, когда он занимался перепиской для мистера Мак-Келлара, давно прошла, почерк его, по-прежнему каллиграфический, иной раз нетвердый, но в общем вполне приличный, кого угодно может ввести в заблуждение. В данную минуту взгляд мой падает на письмо, валяющееся на столе среди разных бумажек: «Дорогой сэръ, в ответ на Вашу просьбу относительно поручительства спешу сообщить Вам имя моего зятя, который занимает ответственный пост инспектора по здравоохранению в старинном королевском городе Ливенфорде». А другое начинается просто, но куда более зловеще: «Сударыня...»

Волосы у дедушки стали почти совсем белыми — того оттенка, который сентиментально называют «серебряным», а его некогда могучая фигура словно усохла, так что пиджак и брюки свободно висят на тех местах, которые раньше отличались полнотой. Глаза у него по-прежнему голубые, даже ярче, чем полагалось бы, он быстро краснеет, тогда как нос, этот странный символ его жизнеспособности, побелел, стал менее мощным, просто совсем захирел. Я знаю, что дедушка хлебнул горя в своей грешной жизни, — подробное описание его злоключений можно найти в весьма любопытном и обильно иллюстрированном разделе Медицинской энциклопедии. Миссис Босомли стала для него просто

знакомой, хотя дамское общество по-прежнему привлекает его; но теперь он переключился на школьниц и хорошеньких «студенток младших курсов», которых он останавливает на дороге к кладбищу и под веселые взрывы смеха развлекает галантными разговорами. Дедушка все еще упрямо не желает признавать, что он одряхлел. Наоборот, он всячески старается показать, что на что-то годен, изображает из себя жеребца, мужчину в полном смысле этого слова, и частенько, хитро подмигнув, горделиво ударяет в свою бедную старую грудь кулаком: «Дуб, Роберт. Настоящий шотландский дуб. Если бы мне выставить свою кандидатуру в совет графства...» Благодарение богу, он улыбается: значит, сам понимает, что это шутка. «Да они бы через год меня мэром сделали».

— Дедушка...

— Да, мой мальчик?

Я выжидаю, пока он вопросительно взглянет на меня: я уже сожалею, что вспылил час назад, и считаю, что лучше не угрожать ему, а воспользовавшись его новой, нелепой тягой к лести, выудить у него нужное обещание.

— Я иду в концерт. Вы слишком замечательный человек и у вас слишком высокое понятие о чести, чтоб вы вздумали воспользоваться моим отсутствием. Вы дадите мне слово, что не сдвинетесь с места, пока я не вернусь.

Очень довольный, он широко улыбается мне поверх очков и, продолжая держать палец на том месте, где прервал чтение, обещает:

— Конечно, мой мальчик, конечно. *Noblesse oblige*¹.

Мне больше ничего не надо. Я киваю, решительно закрываю дверь и оставляю его наслаждаться «Расстройством толстых кишок».

¹ Благодарство обязывает (*фр.*).

ГЛАВА 2

Концерт, на который я шел, был не из тех обычных концертов, какие давались зимой каждый вторник Ливенфордским симфоническим обществом; это было торжественное представление, организованное «при содействии высоких особ» в пользу новой больницы.

Когда я подошел к городскому залу, помещавшемуся рядом с Академической школой на Главной улице, у входа толпились десятки людей. Я влился в толпу и, войдя в освещенный газом зал, где было жарко и стоял гул голосов, намеренно, только из гордости, выбрал место в последнем ряду под балконом. Не важно, что Рейд держал для меня место где-то в передних рядах возле себя; я останусь здесь. Я хотел быть один, чтобы никто не мог увидеть то волнение, которое этим вечером может пробудиться во мне.

С отрешенностью человека, который не стал великим, а сейчас — во всяком случае, в данный момент — и вовсе предпочитает быть ничем, я наблюдал, как заполняется зал: вот уже заняты и приставные стулья, поставленные у пальм, выстроившихся вдоль кремовых разрисованных стен. Среди поистине блистательной публики я увидел Кейт и Джейми; мистера МакКеллара, хранившего, как все юристы, недоверчивый вид; Берти Джемисона, прилизанного, в высоком воротничке и с двумя нарядными молодыми дамами.

Во втором ряду, позади сэра Томаса, леди Маршалл и целой плеяды городских советников, я различил Рейда и его друзей: мать Алисон, ее учительницу музыки мисс Кремб и какого-то незнакомого мне человека с узким черепом и острой седеющей бородкой, — должно быть, это был доктор Томас, известный постановщик «Мессии» и дирижер Уинтонского хора «Орфеус».

Время от времени Джейсон оборачивался, словно искал кого-то; поверх моря голов я отчетливо видел

его лицо. Он то и дело нетерпеливо дергал свои короткие светлые усы, которые недавно себе отрастил и которые, бесспорно, изменили к лучшему его внешность. Сладостная дрожь охватила меня, и я поспешно опустил голову, радуясь, что у меня есть такой друг; и все же я не хотел показываться ему: пусть я так и останусь отверженным, отрешившимся в своей гордыне от всех.

Тем не менее в толпе нашелся человек, который узнал меня. Это был отец Софи; он сидел, стиснутый со всех сторон, на бесплатных местах своего «клуба», и вид у него был такой, точно он случайно попал сюда и не знал, как теперь выбраться.

Этот бледный, бесцветный человек, с прядью жирных волос, свисавшей на лоб, и маленькими заискивающими глазками, работал вместе со мной в бригаде у Джейми и, хотя вовсе не отличался особыми деловыми качествами, сумел пролезть в комитет местного отделения профсоюза. Я то и дело наткнулся на него в котельной, а он, поскольку его дочь работала у нас в «Ломонд Вью», казалось, с особым интересом относился ко мне, словно нас связывали некие тайные узы.

К счастью, поблизости нет ни одного свободного места. Я отвернулся, и почти тотчас в зале притушили огни: теперь я чувствовал себя в безопасности. Раздалось несколько хлопков, и занавес взвился; я устремил взгляд на сцену.

Первые же номера программы только еще больше наэлектризовали меня — настолько это было не похоже на обычный провинциальный концерт. Оркестр сыграл несколько бравурных отрывков из «Пинафора». За ними последовал дуэт из «Тоски», исполненный двумя известными певцами труппы Карла Роза, прибывшей в Уинтон. Затем зал наполнили благородные, вдохновенные звуки концерта Брамса, чудесно исполненного органистом городского собора. Музыка унесла меня куда-то, я весь горел от нетерпения, дро-

жал и волновался за Алисон: ведь час испытания для нее с каждой минутой все приближался. Я начал опасаться, как бы к ней не предъявили слишком высоких требований, а ведь она так молода и это ее первое публичное выступление, да еще среди таких мастеров! Аудитория тоже была разборчивая, и интерес ее к концерту подогревался на протяжении уже многих месяцев. И вот сейчас она вместе со мной ждала «гвоздя программы», и ожидание ее достигло опасного накала.

Наконец после часа ожидания по залу прошел шепот. Я почувствовал, как сердце у меня забилося сильнее, забилося от страха. Сцена была пуста, если не считать рояля и аккомпаниатора, сидевшего за ним.

Тогда из-за кулис спокойно вышла Алисон, такая юная и незащищенная, что в зале невольно воцарилась полная тишина. Алисон подошла к самому краю сцены, возле рампы, точно стремясь приблизиться к своим слушателям. Она выросла с той поры, когда мы сидели рядом над учебником геометрии, а в длинном платье из тонкого бледно-голубого муслина, облежавшем ее красивую стройную фигуру, казалась еще выше. В ее каштановых волосах, впервые зачесанных кверху, был такой же воздушно-голубой бант. И сердце мое наполнилось гордостью — вот она стоит на сцене и взгляды всех устремлены на нее, — и в то же время во мне проснулась ревность.

Она стояла перед слушателями, серьезная, в белых перчатках, держа, по забавной моде того времени, листок с нотами. Я так напрягал зрение, что она расплывалась у меня перед глазами, и все-таки я видел, что она вполне спокойна. Она выждала, чтобы аудитория затихла и приготовилась слушать ее, посмотрела на аккомпаниатора, и первый аккорд нарушил тишину зала. Тогда она подняла голову и запела.

Она пела «Сильвию» Шуберта, которая так часто приводила меня в восторг, когда я стоял в темноте под

липами у ее окна на Синклер-драйв. И сейчас в этом затихшем зале, хоть я и был не один, при звуках этой песни я ощутил неизъяснимую радость и перестал дрожать. Я закрыл глаза, отдаваясь наслаждению чистыми нежными трелями, уверенный, что этот голос может держать в плену не только какого-то одного невидимого слушателя, а и всех, кому посчастливилось его услышать.

Взрыв аплодисментов сопровождал окончание песни. Алисон и бровью не повела; она стояла, всем своим видом как бы говоря, что готова без всякой гордости одарить своих слушателей заложенным в ней талантом. Когда зал успокоился, она спела сначала шумановскую «Песню странника», а затем «Пой, жаворонок, пой» и, прежде чем аплодисменты успели нарушить тишину, «Утреннюю серенаду» Тости.

Эта песня, ставшая такой известной благодаря Мельбе¹, состоящая из четких переходов и высоких нот, то взмывающая ввысь, то низвергающаяся вниз, очень трудна для исполнения; Алисон спела ее с такой легкостью и так верно, что слушатели, уже и прежде покоренные ею, были теперь у ее ног. Даже для самого немзыкального человека было ясно, какое богатство таил в себе этот молодой голос. Аплодисменты не стихали, они все росли и росли. Я видел, как за кулисами собрались артисты, они тоже аплодировали и улыбались. Алисон без конца вызывали.

Наконец она вернулась на сцену вместе с аккомпаниатором; казалось, она сейчас заплачет, а у меня так и вовсе слезы жгли глаза. Мать Алисон специально оговорила, что она будет исполнять только четыре песни. Кроме того, на благотворительных концертах артисты

¹ Нелли Мельба (наст. имя и фамилия Хелен Портер Митчелл; 1861–1931) — знаменитая австралийская певица (сопрано), снискавшая мировую славу на оперной сцене Европы, США, Австралии.

не бисировали. Но сейчас все это было забыто. Сама Алисон, видимо, не могла говорить, и аккомпаниатор, улыбаясь ей и все еще держа ее за руку, объявил, что она споет еще одну песню. Новый взрыв аплодисментов. И полная тишина — победившие зрители успокоились.

Вот сыграно вступление, повторено еще раз, все замерли в ожидании; Алисон, чрезвычайно бледная, казалось, не знала, с чего начать. Одно мгновение, словно отрешаясь от всего, она сжала руки, в которых уже не было непременно листка с нотами, и сделала глубокий вдох. Еще прежде, чем раздались первые звуки, я почувствовал, что она одарит своих побежденных слушателей старой шотландской песней. Я не смел надеяться, что это будет самая моя любимая — «Берега Дуна». И все-таки именно эту песню она запела со свойственной ей чудесной простотой:

О вы, берега и склоны доброго Дуна,
Как можете вы быть такими свежими и прекрасными?
Как можете петь вы, маленькие птички,
Когда я изнемог от горя и забот?

Нежные слова песни унесли меня в мир моей мечты, куда мы с Алисон когда-нибудь вступим вместе, держась за руки, и находится этот мир где-то под самыми небесами.

Отзвучала последняя нота, но в зале по-прежнему царил глубокая тишина. Все точно перестали дышать и сидели как зачарованные. И вдруг разразилась буря. Шотландская песня, которую так чудесно спела эта шотландская девушка, воспламенила шотландских слушателей. Быть может, певица была обязана этой маленькой победой обаянию своей девственности, а возможно, патриотические чувства овладели слушателями и они переоценили ее голос. Только будущее способно ответить на этот вопрос. А сейчас все стоя

аплодировали Алисон. И я, тоже стоя, охрипшим, совершенно охрипшим голосом кричал: «Браво!»

По окончании концерта я медленно направился к выходу вместе с толпой — все вокруг говорили об Алисон. В вестибюле, почти у самых дверей, чья-то рука задержала меня.

— Где ты был? — Рейд раскраснелся не меньше меня, раскраснелся от удовольствия, однако говорил он со мной недовольным и резким тоном. — Мы весь вечер высматривали тебя.

— Мне хотелось побыть одному.

Хотя я смотрел в сторону, куда-то мимо двери под аркой, я почувствовал, что он нахмурился.

— Я начинаю сердиться на тебя, Шеннон. Ну почему ты не можешь надеть воротничок и вести себя как все приличные люди?

Такое высказывание со стороны человека, гордившегося своим презрением к условностям, вызвало у меня улыбку.

— А разве необходимо носить воротничок, чтобы быть приличным?

— Нет, право же, твое поведение становится просто противным.

— Если я такой чудаки, зачем же тратить на меня время?

— Ну знаешь ли, не будь ослом хотя бы сегодня. Томас в восторге от Алисон. Пойдем в гостиную. Я хочу представить тебя ему.

Предвидя мои возражения, он потащил меня за собой через вестибюль, затем по коридору, который шел параллельно залу. Он был в преотличном настроении; благодаря своей любви к музыке много лет назад он познакомился с миссис Кэйс, принимал чрезвычайно близко к сердцу успехи Алисон, и это он упросил дирижера «Орфеуса» прийти на ее первое публичное выступление.

В конце коридора он улыбнулся мне, как бы показывая, что не сердится.

— Лучше просто быть не могло. Ну вот мы и пришли. Ради бога, постарайся не строить из себя лорда Честерфилда, присутствующего на собственных похоронах.

Мы вошли в комнату, откуда артисты выходили на сцену; там собрались участники концерта, их друзья и городские власти; все беседовали стоя, а дамы из больничного комитета разносили чай.

Алисон стояла посреди большой группы; спокойствие снова вернулось к ней, но она молчала, не участвуя в болтовне; в руках она крепко сжимала скромный подарок — букетик белых цветов. Взгляд ее блуждал по комнате, точно она искала что-то самое будничное, что напомнило бы ей о необходимости сохранять душевное равновесие. Когда глаза наши встретились, Алисон еле заметно улыбнулась и взглядом сказала мне, что она чувствует в эту минуту.

Я неловко поклонился, когда Рейд представил меня доктору Томасу; дирижер протянул мне свободную руку и одарил улыбкой, не прекращая оживленно поучать мисс Кремб, которая на сей раз не производила впечатление человека, сосущего лимон. Я отказался от чая, предложенного миссис Кэйс, хотя мне и хотелось пить: руки у меня настолько дрожали, что я боялся уронить чашку. Я стоял в стороне, прислушиваясь к разговору, а взглядом то и дело искал Алисон.

Наконец благодаря перемещениям в толпе я очутился рядом с ней. Близость Алисон, казавшейся такой далекой, когда она была на сцене, породила во мне грусть и волнение, к которым примешивался чуть ли не страх и вместе с тем какая-то мрачная радость; к горлу подступил комок, рот перекосило так, что я едва мог говорить. Все же я, заикаясь, кое-как высказал Алисон свое восхищение, хоть и знал, что она не любит похвал и предпочитает не говорить о своем таланте.

Она покачала головой, давая понять, что не очень довольна собой.

— И все-таки, — добавила она, как бы продолжая невысказанную мысль, — меня пригласили петь в хоре «Орфейс».

— Сольную партию?

— Да.

— Ох, Алисон... это просто чудесно.

Она снова тряхнула головкой; в ее юном закругленном подбородке чувствовалось удивительное упорство.

— Это еще только начало.

Наступило молчание. Вокруг стали расходиться, надевали пальто, шали. И вот, набравшись храбрости, я быстро проговорил:

— Алисон, можно мне проводить тебя домой?

— Да, конечно, — совершенно спокойно ответила она, оглядывая гостиную. — Все уже расходятся. Я сейчас скажу маме.

Алисон подошла к матери, беседовавшей с Рейдом; миссис Кэйс была сегодня на редкость мила в сизоголубом платье и занятом старинном ожерелье. А я не мог оторвать от Алисон глаз; она отдала матери цветы, надела толстое шерстяное пальто и накинула на голову белую шаль с кистями. Я заметил, как миссис Кэйс с легкой иронией посмотрела на меня — куда менее благожелательно, чем обычно; увидев это новое выражение в ее глазах, я вспыхнул и направился к выходу. Алисон потребовалось немало времени, чтобы попрощаться со всеми, но вот наконец мы вместе вышли из городского зала и пошли по улице.

— До чего же я недовольна собой, — задумчиво начала она, прерывая молчание. — Ну только подумай: так распуститься, ведь я чуть не заплакала. К счастью, правда, этого не случилось.

— Но, Алисон, это же был твой первый концерт. Ты знаешь, было бы даже хорошо, если бы ты немножко заплакала.

— Нет, это было бы глупо. А я терпеть не могу, когда люди делают глупости.

Я не стал с ней спорить: я уже и так начал замечать, что наши взгляды совсем различны. Алисон обладала ровным характером, была прилежна и сдержанна, — словом, у нее были все те качества, которых не было у меня. Быть может, она не отличалась ни особым умом, ни большим чувством юмора, но хотя соображала она медленно, зато была практична и здравомысляща. Кроме того, она была честолюбива, но действовала не так, как я, сумасбродный романтик, а вполне обдуманно, стремясь наилучшим образом развить свой талант. Она понимала, что потребуется много труда, упорства и жертв, чтобы стать певицей, и не боялась этого. Бесконечные упражнения, развивающие дыхание, чтобы певица могла выводить рулады или двадцать секунд тянуть одну ноту, придали ей какую-то хрупкую одухотворенность. Однако под внешней невозмутимостью этой чернокудрой Юноны таилась крепкая воля.

— Давай взберемся на холм, Алисон. — Слегка дрожа, я нагнулся к ней: ведь с каждым шагом мы все ближе подходили к Синклер-драйв. — Сегодня такой чудесный вечер.

Мой молящий тон вызвал у нее улыбку.

— Нет, сегодня сыро и холодно. По-моему, скоро пойдет дождь. Кроме того, мама будет ждать меня. Она, возможно, приведет с собой кого-нибудь из друзей.

Мне было душно, в горле стоял комок: я-то в своей пылкой любви готов был умереть ради нее, а она спокойно допускала, чтобы «какие-то друзья» встали между нами.

— Я, видно, тебе не очень-то нужен, — пробормотал я, — а ведь тебя почти всю зиму здесь не будет.

Последнее время миссис Кэйс стала поговаривать о том, что старый дом на Синклер-драйв слишком ве-

лик для них. Надо экономить: предстоит столько затрат на обучение Алисон. Поэтому она решила закрыть дом на зимние месяцы и провести это время со своей золовкой в Ардфиллане.

— Ты так говоришь, точно Ардфиллан находится на другом конце света, — чуть резковато заметила Алисон. — Разве ты не можешь навещать меня, как другие? У нас будут танцы, особенно в школе у Луизы.

— Ты же знаешь, что я не танцую, — с несчастным видом возразил я.

— А кто в этом виноват, как не ты; надо научиться.

— Не беспокойся, — с горечью заметил я, — недостатка в кавалерах у тебя не будет. Все молодые люди из Луизиной школы. Ну и из твоей, конечно.

— Вот спасибо. Думаю, что кавалеры у меня будут. И думаю, что с ними будет куда веселее, чем с одним моим знакомым.

Сердце у меня чуть не разрывалось на части; внезапно гнев мой сменился отчаянием.

— Ох, Алисон! — взмолился я. — Не будем ссориться. Я ведь так боготворю тебя!

Она ответила мне не сразу. А когда заговорила, в голосе ее чувствовалось смущение, сочувствие и все же страх перед неизвестным.

— Ты знаешь, что я тоже тебя люблю. — И она добавила уже тише: — Очень.

— Тогда почему же ты не хочешь побыть со мной немножко?

— Потому что я есть хочу, я почти ничего не ела с четырех часов. — И она рассмеялась сама над собой. Мы стояли у входа в ее дом. — А почему бы тебе не зайти? Остальные тоже сейчас подойдут. Мы слегка закусим и повеселимся.

Я сжал губы: мне претила мысль о ярком свете, множестве людей и банальной болтовне, в которой я из-за скованности и гордости обычно не принимаю

участия. А сейчас мне и вовсе не хотелось веселиться; я притворно засмеялся, чтобы она не сочла меня чудачком, и этот смех резанул меня самого.

— Твоя мама меня не приглашала, — угрюмо заметил я. — Так что незачем и заходить. Я не хочу.

— А чего же ты хочешь? — спросила Алисон.

Она остановилась и повернулась ко мне лицом; мы стояли на аллее, возле смородинного куста.

— Я хочу быть с тобой, — пробормотал я. — Только ты да я, и никого больше. Я бы держал тебя за руку... все время, пока мы вместе...

Я умолк — ничего связного я не мог произнести. Ну как сказать ей, чего я хочу, когда у меня такая путаница в чувствах, такая ужасающая сумятица в желаниях?

Она нерешительно улыбнулась; казалось, она была тронута.

— Тебе очень скоро надоест держать меня за руку.

— Клянусь, что нет.

В доказательство своих слов я протянул руку и схватил ее пальчики. Сердце у меня отчаянно забилося.

— Ох, Алисон! — простонал я.

Она не отступила. Губы ее на мгновение коснулись моей щеки.

— Ну вот. — В темноте она улыбалась мне своей мягкой улыбкой. — А теперь до свидания...

Она повернулась и, придерживая шаль под подбородком, побежала к входной двери.

А я еще долго стоял в тени, раздираемый противоречивыми чувствами — восторгом и разочарованием. Я надеялся, что она вернется. Ну конечно же, она выйдет на крыльцо и позовет меня. Какой я был дурак, что отказался, сейчас я бы с радостью пошел. Но она не вышла. Радость медленно угасала в моей душе; я поднял воротник пальто и побрел прочь; несколько раз я останавливался, чтобы посмотреть через плечо на

освещенное окно ее дома. На углу резкий порыв ветра ударил мне в лицо. Алисон оказалась права. Вечер был сырой и очень холодный.

ГЛАВА 3

Моя работа в котельном цехе никого не могла бы настроить на мелодраматический лад, как это бывает, когда мы читаем иные романы, — просто я не был приспособлен для физического труда и мне нелегко приходилось. Мы изготавливали, как правило, котлы для судов, что строились в доке; кроме того, мы выпускали нагнетательные и всасывающие насосы, которые обычно отправляли морем за границу. Начал я свой трудовой путь в литейном цехе, где долгие месяцы стальной щеткой зачищал и снимал неровности с неотделанных болванок. Это была тяжелая и грязная работа. Джейми присматривал за мной и не раз выказывал мне свое доброе отношение, но открыто отдавать мне предпочтение он не мог — ведь мы были родственниками, и это вызвало бы пересуды в цехе. Мой станок находился близ печи, где чугун плавят и затем выливают в песочные формы. Жара здесь порой стояла невыносимая, а в ветреные дни песок разносило по всему цеху, и я кашлял. Затем меня перевели в механический цех. Здесь отлитые болванки обрабатывали и шлифовали на бесчисленных станках. Рядом помещался сборочный цех, где собирали готовые детали; там стучали молотки и гудели машины.

Подмастерья в основном были веселые парни: они беззаботно смотрели на жизнь, интересовались футболом и скачками и с откровенным цинизмом относились к слабому полу. Через четыре года большинство из них станут судовыми механиками, а остальные,

вроде меня, пойдут в конструкторские бюро. Лишь несколько человек прибыло сюда для специального обучения. Среди них был молодой сиамец из родовой семьи; он являлся каждое утро, молчаливый, с вежливой улыбкой на губах, в безукоризненном комбинезоне; через какое-то время он, несомненно, повезет в свою страну блага западной цивилизации. У станка, соседнего с моим, стоял молодой валлиец по имени Льюис, который мило убивал здесь время. Льюис был сыном богатого кардифского судостроителя, и поскольку завод Маршаллов пользовался особенно хорошей репутацией, отец прислал его сюда на практику, прежде чем ввести в дело. Он был парень неразборчивый, с мягким, безвольным подбородком, любил легкую жизнь, помадил волосы, носил яркие галстуки и не менее яркие рубашки. Но по натуре он был добрым и щедрым. На станке у него всегда стояла большая желтая коробка с сигаретами — настоящий сундук в миниатюре, — и кто угодно мог черпать из него. Льюису до смерти наскучило это вынужденное пребывание в Ливенфорде, и он проводил большую часть свободного времени в Уинтоне, где его частенько видели за обедом в «Бodega Грилл» или в ложе мюзикхолла «Альгамбра». Он считал себя покорителем дамских сердец и вечно рассказывал о своих любовных похождениях в соседнем городке.

Мне очень хотелось найти среди моих товарищей-подмастерьев человека, близкого мне по духу. Но хотя я очень стремился завязать с кем-нибудь дружбу, все мои попытки были крайне неловки, в них чувствовалась боязнь получить отпор. Когда я все-таки делал над собой усилие и шел развлекаться с кем-нибудь из веселых молодых людей, то темы их разговора, долгие и шумные споры о достоинствах одной гончей по сравнению с другой или о сумме, уплаченной за побе-

дителя в местных состязаниях пони, вскоре превращали меня в молчальника, который не мог и слова из себя выдавить. Мне хотелось бы найти кого-то, с кем я мог бы поговорить о книгах, о музыке, кто мог бы противопоставить свои собственные мнения тем новым идеям и выводам, которые я ощупью искал. Но всякий раз, когда я пытался завести разговор на подобные темы, я чувствовал, что все смотрят на меня как на «задаваку», и тут же умолкал. С Льюисом у меня были самые близкие отношения, и раза два я даже пил у него чай. Но слушать рассказы о его победах было очень скучно, а поскольку он явно врал, то они вскоре совсем перестали занимать меня. Благодаря родству с Джейми и умению молчать — качеству, которое всегда уважали на севере нашей страны, — ко мне относились хорошо. К тому же я старался возможно лучше справиться с работой. Но уж больно тяготила среда. И при мысли о годах, которые мне предстояло провести здесь, у меня сжималось сердце.

В следующую после концерта субботу — только что пробило два часа — папа, Мэрдок, Кейт, бабушка и я сидели вокруг стола, с которого Софи убрала посуду и теперь мыла ее в чуланчике, да так бесшумно, что казалось, слышно было, как от великого старания ничего не упустить дрожат барабанные перепонки у нее в ушах.

Папа выглядел подавленным, встревоженным; он теперь почти всегда был таким. Он похудел. Лицо у него стало каким-то серым, измученным, щеки ввалились, губы были плотно сжаты.

— Целых две недели прошло с тех пор, как кончился квартал, — сдержанно заметил он. — А от Адама ни слова.

— Еще есть время, папа, — успокаивающе заметила Кейт.

— Это ты мне уже говорила. Ты ведь знаешь, что, когда произошла конверсия, он твердо обещал мне выплачивать пять процентов на те девятьсот фунтов, которые я дал ему взаймы. А за последние полгода я не получил от него ни пенни.

В детстве я всегда считал, что Адам, бесспорно, способен разбогатеть. Судьба, казалось, отметила его как человека, который своими силами добьется успеха в жизни. Однако сейчас, хоть мы встречались крайне редко, я начал замечать, что эта поразительная уверенность в себе имеет некие пределы. Возможно, он просто обладал нередко встречающимся у шотландцев качеством почитать себя «великим», а на других смотреть свысока, недооценивая их способность противостать ему. Адам был слишком уверен в своем умении перехитрить кого угодно. В том деле, которое он столь победоносно начал вместе с папой, он не учел, что владельцы участков и домов, прилегающих к его дому в Кенсингтоне, — а многие из них были богатыми и влиятельными людьми — яростно выступят против его затеи разделить купленный дом на квартиры и тем испортить им радость жизни. Благодаря зоркому оку их адвокатов его собственность на участок оказалась вовсе не такой уж неуязвимой, как ему представлялось. И вот, после того как он вложил в дом весь свой капитал, да уговорил еще и папу вложить все свои сбережения, после того как он взял на себя определенные обязательства перед подрядчиком, который должен был произвести ремонт, он вдруг обнаружил, что придется иметь дело с судом и ему угрожает разорительный процесс. Дом по-прежнему принадлежал ему, но теперь он превратился поистине в «белого слона», как однажды в шутку назвал его Адам, и теперь всем было ясно, что джентльмены в цилиндрах, над которыми он так открыто потешался, в конце концов одержали над ним верх.

— Да ведь какая-то школа хотела купить его! — нарушила молчание Кейт.

— Из этого ничего не вышло, — мрачно заметил папа. — Адаму теперь никогда не избавиться от этого дома.

— Ох, папа, не надо так волноваться. У Адама хорошее положение, рано или поздно он вернет тебе все сполна. Да и ты ведь не бедствуешь. У тебя приличное жалованье, бабушка получает пенсию, и Роби каждую неделю приносит недурной заработок.

Папа, все еще бледный, с трудом выговорил, задыхаясь от возмущения:

— Да ты, видно, не знаешь цену деньгам! Неужели ты считаешь, что человек может взять и выбросить на ветер свои трудовые деньги... а потом просить на старости лет милостыню?

— Какая ерунда, папа, — сказала Кейт успокаивающим, но вместе с тем твердым тоном. — Тебе же полагается пенсия за долголетнюю службу. Да еще ты по-прежнему откладываешь. Ведь у тебя даже служанка в доме есть, чего никогда не было при бедной мамочке.

— Вот если б твоя мать была жива и могла тебя сейчас слышать! — Глаза у папы блеснули; с трудом дыша, он продолжал уже тише: — Ты и представить себе не можешь, сколько стоит прокормить эту девчонку, помимо жалованья. Больше того, с тех пор как она поступила к нам, она умудрилась разбить два наших лучших блюда. Разорение, разорение, да и только.

Решив, что от Кейт все равно толку не добьешься, папа повернулся к Мэрдоку.

— Ну а ты чего молчишь? Быть может, мне пойти к Мак-Келлару и затеять процесс против Адама?

Мэрдок, сидевший с постной физиономией, вперив взор в пространство, пожал плечами, которые от работы стали у него широкими и мускулистыми.

— Я бы не стал вручать свою судьбу адвокату.

Папа явно поморщился и наконец мучительно вздохнул: ничего не поделаешь, приходится соглашаться.

— Но что же мне тогда делать, что мне делать?

Тут Мэрдок заговорил. Он и всегда-то излагал свои мысли довольно туманно, а за последние месяцы речь его и вовсе стала отличаться особым глубокомыслием.

— Никто в этом доме никогда особенно не считался со мной, отец. — (Я с удивлением заметил, что он не назвал его, как всегда, «папа».) — Факт остается фактом, что я сам, вопреки всему, пробил себе дорогу в жизни. Я стал компаньоном Далримпла, я люблю свою работу в питомнике и вполне преуспеваю. Весной на выставке цветов я намерен показать мою новую гвоздику, и, если Богу будет угодно, — (тут я снова вздрогнул от удивления), — я, возможно, получу Александровскую золотую медаль, которой премируют лучшего участника выставки. — Масляные глазки Мэрдока улыбались нам сквозь большие очки. — Адам всегда считал меня дураком, отец. Он живет по-иному, чем я. Тем не менее он мой брат и я люблю его. Это и есть мой ответ. Любовь.

— О чем это ты говоришь? Ничего не понимаю! — вспыхнул папа. — Я хочу получить мои деньги плюс проценты.

В кухню вошла Софи с ведерком угля и стала подкладывать его в топку. Папа сидел неподвижно все время, пока она была в комнате, но как только она вышла в чуланчик, он вскочил с видом глубоко оскорбленного человека, вынул из топки лежавший наверху кусок угля и положил обратно в ведерко. Щеки его пылали, — казалось, он вот-вот лопнет от возмущения.

— Никто не знает, какая у меня жизнь. То одно, то другое. Адам!.. Этот старый дурак наверху, которому уже давно пора переселиться в Гленвуди! Клегхорн,

который благополучно перенес операцию почек! Ну что тут поделаешь!

— Надо любить людей, отец, — мягко сказал Мэрдок.

— Что такое? — воскликнул папа.

— Да, отец, — ласково продолжал Мэрдок. — Именно то, что я сказал. Если бы ты мог вкусить, как я вкусил, радость всеобщей любви!

Он встал в позу. Я инстинктивно почувствовал, что он сейчас осчастливит нас одним из своих изречений — торжественных и ужасных, которые, точно морские змеи, вдруг вылезали со дна спокойного моря, признаний, идущих из самых глубин, поистине потрясающих по своей неожиданности; на моей памяти он сделал три таких признания: первое — на Ардфилланской ярмарке, когда он заявил: «Я убью себя»; третье, тогда еще не родившееся, но услышанное мной по окончании цветочной выставки: «Я женюсь»; и второе, которое он произнес сейчас, словно обдал нас дыханием Божественного промысла:

— Я спасен. Я теперь солдат Господа.

И больше ничего, ни единого слова. Все с той же блаженной улыбкой он взял шляпу и вышел.

Папа был настолько потрясен, что так и остался сидеть на кухне, а мы с Кейт, не менее ошарашенные, проводили Мэрдока до дверей. И тут мы узрели то, что все объясняло, служило ключом к разгадке его обращения в лоно Церкви: по дорожке, поджидая Мэрдока, чинно вышагивала взад и вперед Бесси Юинг. С гордой улыбкой собственника она взяла его под руку. Ни тот ни другая не видели нас; они шли, беседуя, и Мэрдок при этом так выпятил грудь, точно на ней уже покоился огромный барабан Армии спасения.

Мы оба долго молчали.

— Вот оно что, — заметила наконец Кейт. — Забавно, как религия прибирает к рукам наше семейство. —

В глазах ее, когда она повернулась ко мне, было какое-то странное выражение. — Чудные мы люди. Почему ты продолжаешь жить в этом доме, ума не приложу.

Я промолчал.

Видя, что я замялся, Кейт со смехом обхватила меня за плечи и прижалась по-прежнему шершавой прыщеватой щекой к моей щеке.

— О господи, — сказала она. — До чего же неприятная штука жизнь.

Она повернулась и пошла обратно на кухню, а я медленно поднялся по лестнице и, не снимая спецовки, бросился на постель; у меня не было сил переодеться. Кейт уговорила папу и бабушку поехать с ней в Барлон выпить чаю. Вскоре я услышал, как захлопнулась за ними дверь. Софи уже ушла. В доме остались только я и дедушка.

Было очень тихо. Заложив руки за голову, я пытался вызвать перед своим мысленным взором видения — это был великолепный повод бежать от действительности; неудивительно, что Рейд прозвал меня «мечтателем-меланхоликом». Но меня удерживало на земле воспоминание о сцене, которая только что произошла внизу; ум мой все время возвращался к ней, точно собака к обглоданной кости, — не в надежде подкрепиться, а просто из какого-то нервного упорства.

Казалось, все сговорились лишить меня последних иллюзий. Обращение Мэрдока в лоно Церкви было просто пародией на тот религиозный пыл, которым в свое время был одержим и я. Папина скарედность, нелепая и унижительная, превратилась в самую настоящую манию. Он стал пить чай без сахара и молока, питался почти одним горохом, раздевался в темноте, чтобы экономить газ. То, что он проделывал с обмылками и огарками, просто не поддается описанию. Если в доме что-то ломалось, он сам занимался починкой. На днях я застал его с гвоздями и кусочком кожи в руках — он чинил свои башмаки.

О боже, до чего я ненавидел деньги, самая мысль о них была мне противна. И в то же время я целыми днями мечтал о том, чтобы у меня было их достаточно и я мог бы пойти учиться в университет и заниматься любимым делом. Вопрос, который задала мне Кейт, не давал мне покоя. Почему я не ухожу из этого дома? Быть может, я был слаб и боялся неизвестного. Однако была тут и другая причина. И не столько чувство привязанности, сколько острое сознание ответственности, унаследованное, очевидно, от какого-нибудь ветхозаветного предка со стороны бабушки: я просто не мог оставить дедушку одного. Он, несомненно, попадет в беду, если я не буду следить за ним. Словом, каковы бы ни были причины, мне, видимо, суждено было закиснуть в этом маленьком городке.

Невольно я подумал об Алисон: какая она все-таки жестокая и несправедливая в своем спокойствии, и хотя я очень тосковал по ней, мне почему-то вспомнились рассказы Льюиса о его похождениях. Эти похождения были, конечно, весьма низменными, и все-таки мне показалось признаком печальной слабости то, что сам-то я ни разу не пережил ничего такого. В романах, которые я читал, молодых людей, занимавших в обществе такое же положение, что и я, просвещала какая-нибудь милая женщина, у которой муж был в отъезде, не сказочная красавица, конечно, но неизменно милое существо, с веселыми глазами и большим щедрым ртом. Только есть ли такая в Ливенфорде? Я горько усмехнулся — до чего нелепая мысль. Несколько девушек, работавших на красильной фабрике, были хорошо известны нам, подмастерьям, но один вид этих смелых краснощеких девиц, грубые замечания, какими они перебрасывались, пробегая мимо нас в своих платочках и башмаках на деревянной подошве, способны были остудить даже пыл Льюиса, не говоря уже о моем робком сердце. Я тяжело вздохнул, поднялся и стал переодеваться.

Внезапно я услышал звонок. И хотя позвонили совсем тихо, я все-таки вздрогнул: сейчас мне было труднее, чем когда-либо, пойти открыть входную дверь.

Я спустился вниз. На пороге стояла женщина — благообразная женщина средних лет, совершенно мне незнакомая; одета она была во все темно-серое, на ней были серые бумажные перчатки, черная шляпа и в руках сумочка. Судя по рукам, она занималась домашним хозяйством — возможно, была экономкой, но, пожалуй, чем-то более значительным, и, как ни странно, волновалась больше меня. У меня было такое впечатление, что она специально дожидалась благостного покрова темноты, чтобы отважиться подойти к порогу «Ломонд Вью».

— Это дом мистера Гау?

Только я немного приободрился, заметив ее смущение, как сердце у меня снова ушло в пятки.

— Да, он живет здесь.

Пауза. Кажется, она покраснела? Во всяком случае, она не знала, что сказать, оглядела меня и уклончиво спросила:

— А вы его сын?

— Нет, не совсем... родственник. — Не желая говорить правду, я понял, что дело тут темное, деликатное и опасно его выяснять у открытой двери на виду у всех прохожих. — Вы, быть может, зайдете?

— Покорно благодарю, молодой человек. — Она говорила с нарочитой мягкостью; когда мы прошли в гостиную, я счел необходимым, поскольку в комнате было темно, зажечь газ. Она, не спрашивая разрешения, взяла стул, села на краешек и оглядела это холодное святилище, оценивая каждый предмет в нем и взвешивая, заслуживает ли он ее одобрения.

— Отлично. У вас тут премило. Какая красивая картина.

Я ждал; все это настолько заинтриговало меня, что я не мог вымолвить ни слова; наконец дама не без сму-

щения оторвала взгляд от «Правителя Глена» и принялась разглядывать меня.

— Нет, вы все-таки, должно быть, его сын. — И она слегка рассмеялась. — И он не велел вам говорить это. Ну ничего, я уважаю ваше благоразумие. Так он все-таки дома?

— Быть может, вы будете так любезны и объясните мне цель вашего прихода... — предложил я.

— Ну что ж, я, пожалуй, могу сказать и вам. — Снова легкий, тут же подавленный смешок. — Учтите, что я почтенная вдова. Надеюсь, это объяснит вам все.

Она раскрыла сумочку, вынула из нее две бумажки и протянула мне. В одной я не без трепета узнал письмо, безусловно написанное дедушкой. В другой было объявление из газеты «Брачный вестник», отмеченное карандашом:

«Весьма уважаемая вдова сорока четырех лет, брюнетка, среднего роста, добрая, с художественными наклонностями и со скромными средствами к существованию, хотела бы познакомиться с джентльменом покладистого нрава, желательно верующим, с хорошим домом и искренними намерениями. Не возражает против небольшой семьи. Все справки можно получить по адресу: почтовый ящик 314. М. Т.»

Я был сражен. Мне не было нужды читать дедушкино письмо, она сама скромно сослалась на него.

— Я получила шесть писем в ответ... но ваше... Мистер Гау так красиво написал, что я решила сначала повидаться с ним.

Я мог бы хохотать до упаду, если бы мне не хотелось в эту минуту плакать. И не своим голосом я воскликнул:

— Так посмотрите на него, сударыня! Прошу вас, прямо вверх. Второй этаж, первая дверь направо.

Она взяла свои бумажки, аккуратно сложила в сумочку и, стесняясь, точно девочка, встала.

— Скажите мне только одно. Он брюнет или блондин? Первый муж у меня был брюнет, и я подумала, что неплохо было бы сменить...

— Да-да, — прервал я ее жестом, показывая на лестницу, — он блондин. Но вы, пожалуйста, поднимитесь и посмотрите сами... Идите же.

Она пошла наверх, а я остался ждать, когда раздастся короткий резкий звук, говорящий о ее разочаровании. Но никакой сцены не последовало; прошло добрых полчаса, прежде чем она спустилась, и лицо у нее хоть и было озадаченное, но скорее довольное, чем злое.

— Ваш дядя очаровательный джентльмен, — сказала она мне несколько удивленно. — Но он гораздо старше, чем я думала.

Когда она с неохотой покинула наш дом, я поспешил в комнату дедушки.

Он сидел, держа перо в руке, за столом и был всецело поглощен игрой в свой излюбленный кроссворд.

— Роберт, — объявил он, — мне сегодня везет. Ты только послушай, что я тут...

— А как насчет вашей гостьи? — прервал его я.

— Ах этой! — И он презрительно махнул рукой. — Она бы утомила меня до смерти. К тому же у нее такое имечко, что, говоря фигурально, жуть берет.

Больше я не мог выдержать. Я повернулся и бросился прочь, хохоча чуть не до истерики, а он смотрел мне вслед поверх очков, слегка удивленный, но в общем невозмутимый — не человек, а монумент.

Внизу я надел кепку и шарф. Темнота сгущалась, в ней чувствовалось обещание ярких огней и суматохи, какая царит по субботним вечерам в маленьком городке. Настроение у меня почему-то резко поднялось. У Рейда, наверно, сегодня будут музицировать, возможно, туда придет Алисон с матерью. Я решил пойти к Джейсону и примириться с ним. А самое главное, как бы не пропустить «Летучего голландца».

Каждую субботу в пять часов экспресс Порт-Доран — Лондон останавливался на две минуты в Ливенфорде, чтобы забрать пассажиров с Западного побережья. Это был роскошный поезд, красный с желтым, весь из спальных вагонов и вагонов-ресторанов, где в окнах сверкали белые скатерти и серебро под затененными электрическими лампочками. Достаточно мне было поглядеть на этот блестящий поезд, который медленно отходил на юг, по направлению к огромному городу, чтобы кровь у меня быстрее побежала по жилам, а в груди родилась несбыточная, тщетная и все-таки неумирающая надежда на то, что однажды и я займу место на его обитых роскошной материей сиденьях, под мягким светом розовых абажуров.

Я взглянул на часы. Времени было в обрез. И я помчался по темной дороге.

ГЛАВА 4

В ту зиму ливенфордский Клуб философов принял попытку выйти из того деградирующего состояния, которое вызвало в свое время иронические замечания Рейда. Когда-то это был прекрасный клуб, созданный по образцу и подобию эдинбургского Общества резонеров. Мистер Мак-Келлар был теперь президентом ливенфордского клуба, и он решил возобновить курс публичных лекций, которыми так славился этот клуб.

Папа теперь уже не принадлежал к числу его членов. Перестаравшись в своих попытках добиться продвижения хотя бы по этой лестнице, он был несколько раз провален на выборах и с тех пор смотрел на ежегодные членские взносы как на ничем не оправданные расходы.

Я понятия не имел о лекциях, пока как-то раз в конце ноября мне не повстречался на улице мистер Мак-

Келлар, который, не говоря ни слова, протянул мне пригласительный билет. Человек он был неразговорчивый, и эта необщительная манера вручать билет, даже не останавливаясь, была характерна для него. В билете значилось:

В помещении Клуба философов
состоится лекция профессора Марка

Флеминга

«О происхождении малярии».

Действителен на одно лицо.

30 ноября

В указанный вечер, сгорая от нетерпения, я отправился в философский клуб, однако у меня было такое чувство, что мне предстоит болезненная операция, которая вскроет еще не зажившие раны. Я сидел, стиснутый со всех сторон полными краснощекими горожанами в добротных шерстяных костюмах, степенными и процветающими. Я вспыхнул, когда взгляд Мак-Келлара скользнул по мне, но он не узнал меня. Однако, как только профессор Флеминг заговорил, я подпал под обаяние темы и человека и забыл обо всем на свете.

Марк Флеминг — сухопарый смуглый человек лет сорока, с резкими чертами, коротко подстриженными усиками и блестящими пронзительными глазами, — был профессором зоологии в Уинтонском университете. Он провел замечательную исследовательскую работу над двоякодышащими рыбами, забравшись ради этого в неразведанные районы Амазонки. Сегодняшняя его лекция, поскольку он обращался к неспециалистам, носила полупопулярный характер. Но достаточно было и этих научных сведений, чтобы кровь у меня закипела.

Он проследил источник возникновения болезни, рассказал о тех бедах, которые она причиняет, и об ошибочных теориях, которые выводили раньше на-

счет причин ее возникновения. Затем он начал говорить о том, как он впервые по-научному подошел к решению проблемы, описал попытки Рональда Росса изолировать паразита — блистательный и мучительный процесс, закончившийся открытием спорозоидов в слюнных железах разновидности москита. На белом экране в конце комнаты Флеминг показал нам диапозитивы, раскрашенные микрофотографии, демонстрировавшие постепенные стадии развития паразита. Он проследил жизнь паразита на всех ее этапах, весь цикл его развития в крови различных организмов, включая человека. Он вкратце рассказал о предохранительных мерах, которые были приняты против паразита и уничтожили это проклятие во многих районах; благодаря этим мерам (классический пример) было возможно строительство Панамского канала.

Когда он кончил, я глубоко перевел дух. Я хотел задать ему вопросы, которые показали бы мой горячий интерес к этой теме. Но его окружали значительные люди; они, правда, говорили глупые и малозначительные вещи, но подойти к нему я все-таки не мог. А он вдруг посмотрел на часы и, улыбаясь и пожимая направо и налево руки, поспешно ушел, чтобы не опоздать на поезд.

Лекция эта, возродившая всю мою страстную любовь к науке, в течение нескольких дней не давала мне покоя. Затем последовала реакция — глубочайшая депрессия. Целую неделю я ходил понурый, стрададая оттого, что столько потерял в жизни. И вдруг меня осенило. Обычно великие идеи, появлявшиеся в моей голове, оказывались карточным домиком, который рушился на следующий день. Внешне блестящие, они тем не менее не могли устоять против беспощадной логики рассуждений, какой я исхлестывал их. Но эта идея была совсем другого рода, она рождалась постепенно, словно утреннее солнце, прорезающее мутную тьму.

Я взволнованно и в то же время с величайшей осторожностью строил свой план.

В следующую субботу я отложил пять шиллингов из моего жалованья, быстро переоделся, завернул в пакет кое-какие вещи и спустился на кухню к обеду.

— Поторопитесь, бабушка, — с улыбкой заметил я ей. — Я хочу успеть на поезд в час тридцать. Мне предстоят большие дела.

Старушка была одна в комнате. Она принесла мне тарелку бараньего рагу, но не улыбнулась в ответ — это удивило меня, поскольку между нами теперь установились самые дружеские отношения. Затем, прежде чем усесться за вязание, которым она обычно занималась, поджидая папу, всегда запаздывавшего в субботу, бабушка молча протянула мне с каким-то удивительно сдержанным выражением лица почтовую открытку.

Я взял эту открытку и прочел ее; чем дальше я читал, тем больше хмурился. Ну почему люди не могут меня оставить в покое? На открытке было типографским способом напечатано: «Монастырь Святых Ангелов», и в ней говорилось: «Прошу зайти ко мне в воскресенье в четыре часа дня». Внизу стояла подпись: «Дж. Дж. Рош».

Все еще хмурясь, но чувствуя, что ощущение неловкости уже исчезло, я скомкал открытку и бросил ее в огонь.

Бабушка, казалось, усердно вязала, но через минуту, не отрывая глаз от работы, она спросила:

— Так ты не пойдешь?

Я упрямо покачал головой.

Казалось, вязание доставляет бабушке огромное удовольствие. Заговорила она со мной весьма осторожно:

— А что, если он придет сюда? Как мне сказать ему?

— Скажите ему, что меня нет дома, — пробормотал я и покраснел.

Она посмотрела на меня долгим взглядом. Постепенно на лице ее появилась улыбка, и, улыбаясь все шире, бабушка поднялась.

— Дай я тебе подложу еще рагу, мой мальчик.

Одобрение бабушки польстило мне и помогло успокоиться.

Эта весть издалека — таким, во всяком случае, казалось мне мое исполненное религиозного рвения прошлое, — по правде говоря, была для меня ошеломляющим ударом. Я действительно любил каноника Роша и чувствовал, что поступил по отношению к нему недостойно. Кроме того, несмотря на мое горделивое равнодушие к религии, у меня бывали весьма неприятные минуты раскаяния. Однако сейчас настроение у меня было слишком хорошее, чтобы его могло что-то омрачить. Я выбросил мысль об этой открытке из головы и вскоре уже радостно шагал к станции, чтобы сесть на уинтонский поезд.

Цель, которую я себе поставил, подбадривала меня на протяжении всего пути. В Уинтон я приехал в три часа и, сев на зеленый трамвай, доехал до Гилморхилла. Передо мной снова высилось серое, неподвижное, будившее мечты здание, которое я видел в своих грезах. Я теперь стал старше и не так быстро смущался, и все-таки, когда я вошел в университет и добрался до зоологического факультета, сердце у меня забилося быстрее. Я довольно хорошо знал дорогу. В свое время, когда мы участвовали с Гэвином в конкурсе на стипендию Маршалла, я долго рассматривал снаружи это здание. А сейчас я лишь на миг заглянул в огромный пустой лекционный зал и постучал в дверь, верхняя половина которой была из стекла, и на нем было начертано: «Лаборатория». Подождав минуту, я постучал еще раз — громче. Затем, поскольку никто не отвечал, я решительно толкнул дверь.

Это была высокая длинная комната, стены которой были наполовину выложены кафелем; свет в нее про-

никал через несколько высоких окон. На низких столах выстроились ряды микроскопов, чудесных, блестящих цейсовских микроскопов, с тройными поворачивающимися линзами. Возле каждого места стоял двухъярусный штатив с реактивами: мензурки с фуксином и голубым метиленом, чистейшим спиртом, канадским бальзамом — словом, со всем, чего душа пожелает. Огромная электрическая центрифуга жужжала под защитной проволочной сеткой. Какой-то сложный аппарат, которого я никогда до сих пор не видел, стоял возле ряда фарфоровых раковин, и в нем время от времени что-то булькало. В конце комнаты я заметил высокого мужчину в халате цвета буйволовой кожи, который возился у клетки с морскими свинками.

Сжимая под мышкой пакет, я медленно подвигался вперед, опьяненный ароматным запахом бальзама, смешанного с формалином, и с острым, приятным запахом эфира. Послеполуденное солнце ярко освещало эту обитель богов. Когда я подошел ближе, человек в халате обернулся и вопросительно посмотрел на меня.

— Что вам угодно?

— Скажите, пожалуйста, могу я видеть профессора Флеминга?

Передо мной был высокий худощавый человек лет пятидесяти, с желчным лицом и торчащими усами. Нос у него был длинный, а запавшие щеки перерезали глубокие морщины. Он снова повернулся к клетке, ловко поймал морскую свинку и, держа шприц между указательным и средним пальцами левой руки, надавил большим пальцем на поршень и осторожно ввел животному несколько капель мутной жидкости. Не отрываясь от своего занятия, он ответил:

— Профессора нет здесь.

Острое разочарование сжало мне сердце.

— Когда же он здесь будет?

— Он редко заглядывает сюда по субботам. На выходной день он отправляется отдыхать в Драймен. — Еще одной свинке был сделан укол, и она снова была водворена в клетку. — Заходите в понедельник.

Окончательно сраженный, я воскликнул:

— Но я могу вырваться сюда только в субботу!

Покончив с уколами, он положил шприц в пятипроцентный раствор карболовой кислоты и с любопытством уставился на меня.

— А может быть, я могу быть вам чем-нибудь полезен? Меня зовут Смит, я тут главный ассистент. Какое у вас дело?

Я помолчал.

— Я хочу поступить к вам на работу. — Сердце мое так и подпрыгнуло, когда я наконец раскрыл его тайну, но я храбро продолжал: — Я хочу работать здесь, в этой лаборатории, под руководством профессора Флеминга. Я видел его на прошлой неделе в Ливенфорде, оттуда я и приехал. Я готов на любую работу... даже если она будет заключаться в том, чтобы кормить этих морских свинок.

Ассистент скупно усмехнулся, во всяком случае, его неподвижные тяжелые черты просветлели.

— Этих не надо кормить. А что вы сейчас делаете? Я сказал. И тут же поспешно добавил:

— Только ненавижу я эту работу. Я люблю науку... особенно зоологию... всегда ее любил. Я многие годы занимался ею в школе и дома. Если бы только я мог начать здесь, я бы пробился, я готов пойти на что угодно, согласен получать пять шиллингов в неделю и спать на полу. — Тут я развернул сверток. — Я привез вот эти образцы показать профессору Флемингу. Пожалуйста, взгляните на них, и вы убедитесь, что я не лгу.

Он хотел было отделаться от меня, длинное лицо его снова приняло неприязненное выражение. Потом взглянул на часы и, очевидно, передумал.

— Ну ладно уж, пойдемте. У меня еще есть десять минут до того, как надо вытаскивать стерилизатор.

Он подвел меня к столу и присел на стул, а я дрожащими пальцами разорвал веревку и содрал оберточную бумагу с моих коллекций. Я, конечно, волновался, но в душе моей с новой силой вспыхнула надежда. Я почувствовал, что смогу убедить этого не доверяющего мне мрачного человека в моих подлинных и уникальных способностях. Я привез все свои сокровища, все до единого. Я не стал показывать ему обычные экспонаты, а прямо перешел к редкостям — особой разновидности гидры, неизвестным видам мшанки и великолепным экземплярам стентора.

Я, волнуясь, описывал их ему, а он слушал меня внимательно, разглядывая из-под тяжелых век все, что я ему показывал. Раз или два он кивнул и несколько раз покачал головой. Но когда я раскрыл коробку со своими срезами, тут он впервые проявил интерес. Он нагнулся, взял у меня из рук коробку и стал рассматривать срезы на свет один за другим. Затем, придвинув к себе микроскоп движением, каким виртуоз прикладывает к подбородку скрипку, он начал разглядывать их под увеличительным стеклом, а я смотрел на него, затаив дыхание. Руки у него были грязные, все в пятнах, а его костлявые, шишковатые запястья вылезали из обтрепанных манжет дешевой сорочки. Но его длинные пальцы были необычайно ловкими и как бы небрежно, но в действительности на редкость тщательно поворачивали смазанные маслом винты линз.

Ему потребовалось до ужаса мало времени, чтобы просмотреть всю мою бесценную работу. Три среза удостоились повторного рассмотрения под микроскопом; затем, выпрямившись, он посмотрел на меня и дернул свой непокорный ус.

— И это все?

— Да, — ужасно волнуюсь, ответил я.

Он вынул щепотку табаку и, скрутив себе сигарету, прикурил у бунзеновской горелки, стоявшей на столе.

— У меня тоже была такая коллекция, когда я был в вашем возрасте.

В полном изумлении я уставился на него: вот уж чего не ожидал.

— Возможно только, что срезы были похуже. Но спирогиры, по-моему, лучше. Я ходил на вечерние лекции Пекстона в Лондонском политехническом институте, а каждую субботу и воскресенье до седьмого по-та трудился на сэррейских прудах. Я думал, что из меня выйдет новый Кювье. Это было более тридцати лет назад. А вы взгляните сейчас на меня. Я сыт по горло этой рутинной. Я получаю пятьдесят монет в неделю, а мне надо кормить больную жену. — Он задумчиво вдохнул в себя воздух. — Я, конечно, попытался войти через заднюю дверь, — правда, это была единственная дверь, открытая для меня. Но это ни к чему не привело, мой мальчик. Если хочешь быть полковником, не записывайся в полк рядовым. Вот я и сижу всю жизнь лаборантом-помощником.

— А как вы считаете, судя по моей работе, может из меня выйти толк? Вы сказали, что у меня приличные срезы.

Он пожал плечами.

— Они вполне приличны, если учесть, что вы делали их на старом выщербленном матовом стекле. — Он быстро взглянул на меня. — Вот видите, мне все известно. Я ведь и сам так делал. А сейчас у нас есть электрические микротомы. Ручной труд не в почете.

— Но на основании этого я мог бы получить работу в лаборатории? — Я весь дрожал от волнения. — Несмотря на все то, что вы мне сказали, я по-прежнему

хочу у вас работать. Я готов поступить даже в качестве лаборанта.

Он хмыкнул.

— А вы умеете готовить раствор Ру? Можете вы проколоть сто пятьдесят барабанных перепонок за полчаса? Можете вы отделить бластомер на четвертой стадии расслоения? Да чтобы всему этому научиться, нужно целых пять лет. Известно ли вам, что лаборантом у меня работает шестидесятилетний старик? Я отпустил его сегодня, потому что у него разыгрался ревматизм! — Он улыбался, но в глазах была горечь. — Если хотите послушаться моего совета, молодой человек, выбросьте эту затею из головы. Не стану отрицать, у вас есть к этому склонность. Но без денег и университетского диплома дверь перед вами будет всегда закрыта. Так что отправляйтесь к своим машинам и забудьте про это. Не так уж плохо быть механиком на морских судах. Я бы сам многое дал, чтобы повидать мир и поплавать по морям.

Наступило молчание. Я механически собрал экспонаты, сложил их в коробочки, завернул в бумагу, перевязал веревкой.

— Не принимайте этого так близко к сердцу, — сказал он мне на прощание. — Я ведь для вашего же блага это сказал. — Он протянул мне руку. — До свидания и желаю удачи.

Я вышел из лаборатории и начал спускаться с пустынного холма. Круглое как шар солнце уже садилось, прорезая сероватые сумерки розовыми отблесками. Я не сел на трамвай, а решил пройтись по парку. Резкий ветер крутил на дорожках опавшие листья, казалось, что это дети бегут из школы. Я не чувствовал и не замечал всей красоты заката. Я был не только разочарован, во мне накипала непонятная ярость. Я отказывался верить тому, что сказал мне Смит: все это ложь. На будущей неделе я снова приеду сюда и повидаюсь

с самим профессором. Ничто не остановит меня на пути к моей цели.

Однако сердце мое чувствовало, что старший лаборант был прав. Да, конечно, человек он мрачный, неприятный, но говорил он откровенно. Чем больше я раздумывал, тем больше понимал, что мой чудесный план попасть на факультет в качестве технического помощника невыполним. Оправдывалась поговорка, что желание — отец мысли. Единственный способ попасть на факультет — это зачислиться студентом и уплатить взнос за учение, а это, конечно, было невозможно. Но больше всего меня задело то равнодушие, с каким Смит отнесся к моим экспериментам. Правда, он их немного похвалил. Но я по глупости слишком на это рассчитывал, так что весьма умеренная похвала лишь подрезала крылья моей надежды. Порыв горечи раздул пламя в моей груди. Как ни странно, я не отчаивался, но я был ранен и разъярен. Я как раз дошел до центра города, как вдруг мысль о том, что я несу под мышкой никому не нужный пакет, привела меня к внезапному роковому решению. Вот я снова провалился. Значит, мне на роду написано никогда не служить любимой науке. Надо покончить с ней раз и навсегда.

Шагая по Бьюкенен-стрит, я дошел до Аргайлской аркады — крытого прохода на Аргайл-стрит, в котором расположилось несколько маленьких лавчонок. Рядом с магазинчиком, где продавались модели моторов, я нашел то, что мне было нужно. На витрине золотые рыбки плавали в зеленом стеклянном аквариуме, вокруг которого разложены были пакетики с собачьими галетами и муравьиными яйцами, вперемежку лежали мышеловки, сачки для ловли бабочек, изделия из резины и листы с почтовыми марками. Над входом висела надпись: «Все для натуралиста. Продаем, покупаем, меняем».

В лавке мне пришлось немного подождать, вдыхая запах пыли, прежде чем маленький изнуренный человек в вытертом черном сюртуке появился из-за занавески, висевшей в глубине.

— Я хочу продать мою коллекцию.

Я снова развязал пакет, пальцы у меня на сей раз не дрожали.

— Товар хороший, — сказал я, выкладывая коробки на прилавок. — Вы только посмотрите на этих стрекоз.

— Видите ли, мы сейчас ничего не покупаем. — Он говорил хриплым шепотом, надел пенсне и принялся внимательно разглядывать каждый предмет, взвешивая его на белой, влажной от пота ладони.

— А на этот товар и вовсе нет спроса. — И, закончив осмотр, он с сожалением добавил: — Могу дать вам семнадцать шиллингов шесть пенсов за все.

Я возмущенно посмотрел на него.

— Да ведь эта желтая эшна одна стоит целый фунт. Я видел такую цену в лондонских каталогах.

— Ну а здесь не Лондон, здесь Аргайлская аркада. — Голос у него почти совсем пропал: либо он очень простудился, либо у него было большое горло. Держался же он с полнейшим безразличием. — Ничего другого я вам предложить не могу. Хотите соглашайтесь, хотите нет.

Я был зол как никогда. Прежде мне ни разу не приходилось сталкиваться с разницей в цене, которую платишь, когда покупаешь, и которую получаешь, когда продаешь. Семнадцать шиллингов шесть пенсов за пять лет труда, за все эти исполненные энтузиазма трудные и опасные переходы по Длинному кряжу, за все эти долгие часы бдения, продолжавшегося до поздней ночи! Это был страшный удар. Однако что я мог поделать?

— Я согласен.

Когда я вышел из лавки, в руках у меня ничего не было, и они казались какими-то легкими, не моими, а голова была горячая. Те гроши, что он дал мне, вместе с моими пятью шиллингами составили сумму больше фунта. Было шесть часов, город сверкал огнями. И я побрел по нему в надежде развлечься.

На углу Королевской улицы я увидел маленький ресторантик. С виду в нем было что-то богемное, в окне соблазнительно красовалась белая рыба и красное мясо между двумя гигантскими артишоками. Я проник через вращающуюся дверь, прошел по мягкому ковру и уселся в обитой бархатом кабине.

Это было уютное местечко с большим количеством мягкой мебели и занавесей на старинный манер, приятно освещенное канделябрами с розовыми абажурами наподобие тех, которыми я так часто любовался в окне вагона-ресторана «Летучего голландца». Я заволновался, когда ко мне подошел официант с усами, закрученными колечком, в узком белом переднике, доходившем ему чуть не до пят. Но я все-таки заказал плотный обед из рассольника, эскалопа с грибами и неаполитанского мороженого. Затем официант вложил мне в руку карточку вин. Бледный, но решительный, голосом, в котором лишь едва заметно чувствовалась дрожь, я заказал бутылку кьянти.

Ел я медленно: я не пробовал такой вкусной, такой сытной и в то же время изысканной пищи очень давно. От вина у меня сначала стянуло язык и десны, но я стойко продолжал его пить, и постепенно мне начал нравиться его терпкий вкус, равно как и тепло, которое с каждым глотком разливалось по всему телу, ударяя в ноги. Ресторан был не очень полон, а в кабинах было всего две-три пары. Напротив меня сидел красивый мужчина с пухленькой брUNETКОЙ в кокетливой

шляпке. Я с завистью смотрел на них, а они смеялись и тихо беседовали, пригнувшись друг к другу.

Счет подали на девять шиллингов. Сумма колоссальная, но мне сейчас было все равно. Я допил вино, дал официанту шиллинг на чай, с удовлетворением принял его поклон и вышел.

Какой дивный был вечер! Сияют огни, на улицах царит возбуждение, по тротуарам движутся милые, красивые люди. Наконец-то я живу, я похоронил свои неотвязные мечты, я свободен. Я купил у мальчишки-газетчика «Ивнинг таймс» и, пройдя к фонарю, пробежал глазами столбец, оповещающий, где можно развлечься. В городе было два варьете, музыкальная комедия Эдвардса и «самое последнее» представление с участием Мартины Харви в спектакле «Единственный путь». Ничто из всего этого не манило меня. Но вот в конце перечня я с радостью заметил, что в старом Королевском театре идет повторное представление «Вторая миссис Тенкерей». Я отправился в Королевский театр, купил место в партере и вошел.

Я довольно много читал, и, хотя у меня еще сохранились смутные воспоминания о том, как мама в Дублине водила меня на «Золушку», я никогда в жизни не был на настоящем спектакле. Когда занавес поднялся, неизведанное дотоле волнение охватило меня. А вскоре я уже забыл обо всем на свете. Предо мной был мир, какой я часто рисовал себе в мечтах, где все говорят только остроумные вещи, где мужественные души сжигают жизнь в очищающем белом пламени. Человек впечатлительный, я жадно пил каждое слово.

Вышел я из театра в состоянии необычайной экзальтации. Мне тоже хотелось схватить жизнь обеими руками, пережить те радости, которые до сих пор были далеки от меня. Распаляющие воображение сладострастные образы вставали передо мной.

Спектакль окончился рано, было всего лишь половина одиннадцатого. На улицах теперь стало гораздо меньше народу, а иные были и вовсе пустынные; это я заметил по дороге на площадь Джеймса — маленькое пустое пространство в центре города, ограниченное с одной стороны центральным почтамтом, а с другой — большим универсальным магазином, зеркальные витрины которого были освещены всю ночь. Льюис с улыбкой знатока не раз делал мне недвусмысленные намеки насчет площади Джеймса.

На площади я принялся нервно вышагивать взад и вперед по широкому тротуару. Несколько представительниц прекрасного пола занимались тем же, время от времени останавливаясь с рассеянным видом, точно они поджидали автобус. Одна из них была необычайно тучная женщина, которая, казалось, вот-вот лопнет. На ней была большая шляпа с перьями, а на ногах, похожих на ножки от рояля, красовались высокие ботинки на шнуровке.

— Здравствуй, красавчик, — по-матерински шепнула она мне, проходя мимо.

Другая была высокая, тонкая, таинственно закутанная в вуаль, вся в черном. Прогуливалась она очень медленно, слегка сутулясь. Время от времени она кашляла, но очень деликатно, в носовой платок. Она улыбнулась мне усталой улыбкой, от которой у меня кровь застыла в жилах. Я остановился в ужасе, ничего не понимая. Я не видел здесь ни одной, которая хотя бы отдаленно приближалась к дивным видениям моего возбужденного мозга. Быть может, мне больше повезет, если я перейду в центр площади.

Я перешел улицу и очутился в маленьком садике со множеством пересекающихся дорожек, украшенном статуей. Здесь было темнее, более романтично. И публики было больше. В надежде на многообещаю-

щие тенистые уголки я двинулся по центральной дорожке. Мимо прошла девушка; в темноте фигура ее казалась юной, соблазнительной. Когда она прошла мимо, я повернулся. А она остановилась и посмотрела на меня. Заметив, что я заинтересовался, она сделала знак головой, чтобы я следовал за нею, и медленно пошла дальше.

Кровь бешено стучала у меня в висках. Я на секунду остановился. Идти ли мне за ней или подождать, пока она сделает круг по маленькому садику? Круг-то ведь был замкнутый, так что она непременно должна будет пройти здесь; весь трепеща, я присел на скамейке у края дорожки. Я понял, что сижу здесь не один, только когда мужской голос спросил меня:

— Нет ли чинарика, приятель?

Я порылся в кармане и вытащил коробку сигарет. В темноте я смутно видел, что это старый человек из породы несчастливцев, вообще говоря, настоящий бродяга.

— Спасибо, товарищ, — сказал он. — А огонька не найдется?

Под безлистными деревьями было темно, я поспешно чиркнул спичкой и дал ему прикурить. Слабый огонек озарил на миг жалкое подобие человеческого лица. Затем оно исчезло во тьме.

Долго я сидел на скамейке, не в силах пошевелиться. Я отдал старику все сигареты. Наконец поплелся на станцию. Ноги у меня так и подкашивались. Я еле-еле успел на последний поезд.

В купе я был один. Всю дорогу я просидел, глядя прямо перед собой на дощатую перегородку. Нет, все в жизни, видно, кончается крахом. Вот я продал мою коллекцию, продал данное мне от рождения право быть тем, кем я хочу... И за что?

Внезапно я заметил крошечную дырочку, которую какой-то злонамеренный пассажир проделал в дереве

перегородки. И хотя я был морально раздавлен и в душе моей царили уныние и ужас, я встал и, побуждаемый необъяснимым любопытством, приложил к этой дырочке глаз.

Но в соседнем купе было пусто, тоже совсем пусто.

ГЛАВА 5

Зима стояла сырая и мглистая. Мне уже поручили работу на легком токарном станке, и я, решив связать свое будущее с заводом, изо всех сил старался заинтересоваться машиной. Но мысли мои были далеко; я делал ошибки и видел, что Джейми начинает раздражаться.

Как-то раз в середине декабря он подошел к моему рабочему месту хмурый, держа в руке шатун.

— Знаешь что, Роби, — сердито начал он, — возьми себя в руки.

Я покраснел до ушей: он впервые разговаривал со мной таким тоном.

— А что я натворил?

— Ты потратил впустую восемь часов рабочего времени, не говоря уже о материале. — И он протянул мне стальную деталь. — Тебе было велено обработать эту деталь резцом номер два. А ты взял четвертый номер и все испортил.

Это была моя оплошность, и я знал, что действительно виноват. Но вместо раскаяния я вдруг почувствовал все возрастающее возмущение. Я стоял потупившись.

— Ну и что в этом страшного? Братья Маршаллы не обанкротятся.

— Это не ответ, — резко возразил Джейми. — Я тебе прямо говорю: хватит выть на луну и валять дурака, пора всерьез приниматься за дело.

Он горячо отчитывал меня еще несколько минут, затем, исчерпав свой гнев, буркнул, уходя:

— Приходи к нам ужинать в следующую субботу.

— Благодарю. — Я побледнел, и губы с трудом слушались меня. — Если вы ничего не имеете против, я лучше не приду.

Он постоял с минуту молча, а затем ушел. Я был зол на Джейми, но больше всего был зол на себя. Я знал, что он прав. Пока я стоял и дулся, ко мне подошел Голт, работавший на соседнем станке.

— Я видел, как его шпика донесли ему на тебя. Он немного слабоват к такого рода вещам.

Голт всегда был готов принять участие в недовольстве против властей, и в том, что он подошел ко мне, я ощутил проявление сочувствия одного неумелого рабочего к другому. Он уже дня два не брился, и вид у него был на редкость неряшливый. Я не сдержался:

— Да заткнись ты!

Он отступил с оскорбленным видом.

— Ну чего ты занозишься и строишь из себя персону. В другой раз я дважды подумаю, прежде чем подойти к тебе с добрым словом.

Я снова принялся за работу. В последующие дни я очень старался работать лучше. Но дело не ладилось. Я так неосторожно обращался с инструментами, что глубоко рассадил большой палец холодным резцом. Рана загрязнилась и начала гноиться. На пальце появился опасный нарыв, который бабушка лечила мне припарками. Я чувствовал, что Джейми наблюдает за мной, что ему не по себе и хочется со мной заговорить.

— Плохо дело с твоей рукой, — сказал он наконец. — Я смотрю, она у тебя все не подживает.

— Ерунда, — холодно возразил я. — Просто царапина.

Я был чуть ли не рад боли, которую причиняла мне гноящаяся рана. Настроение у меня было столь же сумрачное, как зимнее небо. Алисон уехала в Ардфиллан. Она регулярно отвечала на мои частые и страстные послания, только ее письма были всегда короткие. Когда почтальон приносил мне письмо от нее, у меня замирало сердце и перехватывало дыхание. Я уходил к себе в комнату. Запирал дверь и дрожащими пальцами разрывал конверт. Почерк у Алисон был размашистый и крупный — всего три или четыре слова в строке. Я с жадностью набрасывался на письмо и мигом просматривал два листа. Она писала, что много работает над двумя новыми песнями: шубертовской «Серенадой» и шубертовским «Посвящением». Она с мамой и Луизой каталась на коньках на частном пруде у ардфилланской ратуши. Как-то раз к ним заезжал доктор Томас. Дважды был мистер Рейд. Все с нетерпением ждут бала в Городском собрании. Не смогу ли я приехать? Я снова и снова перечел письмо. Того, что мне так хотелось увидеть, там не было. Я быстро сел за стол и написал страстный, полный упреков ответ, в котором излил свою душу.

За неделю до Рождества, во время обеденного перерыва, ко мне неторопливо подошел Льюис.

— Послушай, Шеннон, в будущую субботу в Ардфиллане будет недурный танцевальный вечер. Давай отправимся вместе.

Я ожесточенно впился зубами в бутерброд с сыром: только не надо ему уступать.

— Я плохой танцор, — сказал я.

— Не важно. Можешь и посидеть. — Он улыбнулся. — Я сам всегда сижу.

— Боюсь, что мне не удастся вырваться.

Льюис продолжал настаивать; малый он был добрый и уж очень ему хотелось уговорить меня.

— Ведь это целое событие. Собрание, посвященное святым отроковицам. Уйма хорошеньких девушек и первоклассный буфет. Я просил, чтобы мне прислали два билета. Право, ты должен пойти.

Хоть я и решил не выдавать своих чувств, неизъяснимое волнение охватило меня. У меня не было смокинга, я не умел танцевать; нет, мне просто нельзя идти. Но его непринужденная манера держаться, дружеская настойчивость, а главное, равнодушная беспечность, с какой он относился к предстоящим танцам, как и ко всем прочим жизненным благам, положительно привели меня в бешенство.

— Пошел ты к черту... Неужели ты не можешь оставить меня в покое?

Он изумленно уставился на меня, затем пожал плечами и отошел. Мне сразу стало стыдно. Весь день я не поднимал глаз от станка, на душе у меня было холодно и тоскливо.

В субботу вечером я сел на пятичасовой рабочий поезд и отправился в Ардфиллан. Часа два бродил я по пустынному бульвару, где гулял сейчас декабрьский ветер. Подняв воротник, я укрылся за раковиной для оркестра на безлюдной площадке. И вдруг из мрака, царившего вокруг, выплыл точно живой образ Гэвина. Вот здесь, на ярмарке, мы поклялись никогда не разлучаться. Как недавно это было... И в то же время, казалось, прошла целая жизнь. Гэвина уже нет, а я стою и дрожу на том самом месте, где, полные надежд и отваги, мы собирались покорить мир.

Около восьми часов я подошел к зданию ратуши. Смешавшись с небольшой толпой, собравшейся поглазеть, как местная знать будет съезжаться на танцы, я остановился на тротуаре перед домом. Начался мелкий дождь. Вскоре стали подъезжать экипажи и автомобили.

Укрывшись среди зрителей, большую часть которых составляла домашняя прислуга, я наблюдал, как

съезжаются приглашенные — довольные, улыбающиеся, оживленно беседуя, дамы в вечерних туалетах, мужчины во фраках и в белых манишках. Я видел, как прошел Льюис, разодетый и напوماженный — волосок к волоску. Я даже вздрогнул от удивления, когда немного спустя заметил широкоплечую фигуру Рейда, поспешно взбегавшего по ступенькам. Наконец через некоторое время появилась Алисон с матерью. Они приехали большой компанией, с Луизой и миссис Маршалл. Сердце мое замерло при виде Алисон: она была в белом платье, обычно спокойное лицо ее оживилось, глаза сверкали; поднимаясь по устланной ковром лестнице, она беседовала с Луизой. Когда она исчезла, до слуха моего долетели звуки настраиваемых инструментов. Мне казалось, что сердце у меня сейчас разорвется. Я сжал засунутые в карман руки и поспешил уйти. Через сорок пять минут будет поезд. Я зашел в харчевню на убогой улице возле станции. С самого завтрака у меня крошки во рту не было, я заказал себе порцию жареного картофеля на два пенни. Пристроился на скамье в темной маленькой харчевне, полил жирную картошку уксусом и стал брать ее прямо руками. Эх, если б можно было напиться! Как мне бы хотелось оказаться на самом дне.

В понедельник утром на заводе я увидел Льюиса у входа в механический цех. Что-то побудило меня остановиться и улыбнуться ему — не в знак извинения, а вежливо и непринужденно.

— Послушай, старина, — сказал я ему, — мне очень жаль, что я так обрезал тебя тогда. Ну как, весело провел время в субботу?

— Да, — недоверчиво ответил он. — Недурно.

— Видишь ли, — и я улыбнулся еще шире, — у меня было свидание с одной дамой, молодой вдовой, с которой я познакомился в Уинтоне. И я обозлился на тебя за то, что ты так упорно хотел помешать мне.

Понемногу лицо его начало проясняться.

— Почему же, осел этакий, ты мне этого не сказал? Я рассмеялся и многозначительно покачал головой.

— Вот счастливый, черт. — Он с завистью посмотрел на меня. — В Ардфиллане, конечно, ничего похожего не было. Все так чинно и благопристойно. Ты правильно сделал, что не поехал.

Эта дешевая уловка на время развеселила меня, но вскоре наступила реакция — отвращение. Я еще больше замкнулся в себе, стал избегать людей, точно одиночество — это доблесть. Если Кейт приглашала меня в гости, я изобретал какой-нибудь предлог и не ходил. Я очень редко виделся с Рейдом. Однажды, когда мы встретились, он как-то странно улыбнулся мне.

— Все делаю, Шеннон, что могу, для твоего блага.

— В чем же это выражается? — удивленно спросил я.

— Предоставляю тебя самому себе.

Я продолжал свой путь. Ну что мне ему сказать? Я смертельно устал, все мне надоело. Как ни странно, но единственный человек, с которым я за это время сблизился, была бабушка; возможно, меня влекло к ней потому, что она отличалась удивительной стойкостью и на нее можно было опереться в жизни, как на скалу. Если дедушка был подобен соломинке на ветру, то она черпала опору и поддержку глубоко-глубоко в недрах нации, словно выросла из той земли, по которой ступали ее ноги. Я подолгу засиживался за кухонным столом, беседуя с ней; она рассказывала мне о том, как было «раньше», когда она жила у своего отца на ферме в Эршире, где у них была сыроварня; как она носила свежие горячие лепешки рабочим в поле; как смотрела вечерами на танцы, которые поденщики, копавшие картофель, устраивали под скрипку в амбаре. Я стал подмечать ее «деревенские» ухватки: например, у нее была привычка выбрать горох из супа и разложить его аккуратненько по краю тарелки, а потом съесть с перцем и солью. У нее был неисчерпаемый

запас народных присказок (вроде: «Свеклы съел — получил прострел» или: «Май провожай — крышу накрывай»), и она по-прежнему любила «варить травы». У нее сохранилась поистине удивительная память, особенно на всякие семейные даты. Она все еще могла вязать крючком замысловатые тонкие кружева; она украшала ими чепчик или пришивала к воротничку и всегда казалась опрятной и прилично одетой. Она любила повторять, что у них в семье все долго жили, а мать ее дожила до девяноста шести лет и была в здравом уме и доброй памяти. Бабушка была уверена, что она перевалит за этот рубеж, и нередко с притворным вздохом высказывала сожаление, что дедушка и ее приятельница мисс Минз, «к несчастью, так быстро сдали».

Приближалось Рождество. Все лавки в городе были разукрашены картинками из Священного Писания и бумажными вымпелами. Однако в «Ломонд Вью» праздники мало что меняли, разве что бабушка пойдет к заутрене или Кейт, быть может, пришлет торт со сливами да дедушка, если его не остановить, напьется. Тем не менее по мере приближения сочельника мне все больше становилось не по себе: я просто не мог найти места. Чтобы преодолеть это состояние, я целиком погрузился в чтение; книги я брал в общественной читальне. Вечерами я так уставал, что, не успев сесть за книжку, тут же начинал дремать и просыпался, только когда копоть от чадящей свечки попадала мне в нос. Зато по воскресеньям всю эту ужасную зиму я, как правило, проводил полдня в постели и упивался произведениями Чехова, Достоевского, Горького и других русских писателей. Раньше мне нравились романтические истории, но сейчас вкус мой изменился и я выбирал книги более мрачного и реалистического содержания. Стал я забивать себе голову и философией: с трудом продирался сквозь философские дебри Де-

карта, Юма, Шопенгауэра и Бергсона; их труды были мне, конечно, не по зубам, однако время от времени меня озарял слабый, по-зимнему тусклый лучик прозрения, лишь укреплявший мою склонность к одиночеству и ненависть к теологии. От моей иронической улыбки рушилось здание Божественного откровения. Нет, не может ученый, не может исследователь поверить, что мир был сотворен за одну ночь, что мужчина был создан из праха, а женщина — из его ребра. Райский сад, где Ева ест яблоко, а на нее, высунув жало, смотрит змея, — не более как прелестная сказка. Все указывало на то, что жизнь на Земле произошла иначе: развитие длилось миллионы лет — от коллоидных соединений, в пене гигантских морей и топях остывающей земли, через бесконечно долгую эволюцию этих разновидностей протоплазмы, через амфибий и звероящеров до птиц и мамонтов, — поразительный цикл, приведший — гнусная мысль! — к появлению Николо и меня, и, значит, мы с ним фактически братья, хоть кожа у нас и разная.

Лишившись иллюзий, я стал искать утешения в красоте. Я брал из читальни книги о великих художниках и изучал цветные репродукции с их шедевров. Таким образом я набрел на импрессионистов. Их представления о новых сочетаниях цвета и новой формы привели меня в восторг. Возвращаясь с работы, я останавливался и подолгу глядел на пурпурные тени, отбрасываемые синими каштанами, и на светло-лимонные полосы, залегшие на вечернем небе за Беном. Глупый и болезненно впечатлительный, мучительно страдающий от всяких хворей, присущих «зеленой молодости», я превратил эту гору в некий символ — с ней у меня связывалось представление обо всем, что недостижимо в жизни. И если я не мог добраться до ее вершины, то по крайней мере стоял в позе презрительного вызова у ее подножия.

Хотя я бросал вызов громам и молниям и всему на свете, я почувствовал себя глубоко несчастным, когда настало Рождество. Накануне вечером я отправился в Барлон с подарком для сынишки Кейт. Мне хотелось присоединить и свой дар к тем, которые ему положат в носочек, а в глубине души я надеялся, что меня пригласят на рождественский обед. Но у Кейт дома никого не оказалось; я привязал пакетик к дверной ручке и ушел. Среди нескольких поздравительных открыток, которые я получил, одна была из монастыря; я улыбнулся — просто из вежливости, — теперь я был настолько выше всего этого, что поздравление монахинь не обрадовало меня. Когда время подошло к часу дня, я почувствовал, что у меня душа не лежит идти вниз и садиться за стол в этой похоронной атмосфере. Я взял кепку и вышел.

Я побрел по городу; серые улицы его были пустыньны. В Ливенфорде нет ресторана, где можно было бы прилично поесть. Наконец с отчаяния я зашел в бар Фиттерса. Здесь я по крайней мере мог получить кружку пива и хлеб с сыром. После этой холодной еды мне еще меньше захотелось возвращаться в наше безрадостное жилище. Ведь у меня в комнате даже не было камина.

Общественная читальня была открыта от двух до трех — уступка тем, кто не считал этот день праздником. В читальне было тепло. Я присидел там почти час. Взял еще одну книгу и отправился домой.

Над городом спустился туман, надвигались сумерки. Я шел по церковной улице и не заметил, что навстречу мне шагает какой-то высокий человек, однако, как только услышал постукивание зонтика о плиты тротуара, догадался, кто это, и невольно вздрогнул.

— Да никак это Шеннон! — дружелюбно окликнул меня каноник Рош. — А я-то думал, что ты на зиму залез в какую-нибудь нору.

Я промолчал. Не надо его бояться, говорил я себе, ведь он, в конце концов, обыкновенный человек и не обладает никакой таинственной силой.

— Мне надо навестить больного у Драмбак-Толла. Ты, случайно, не в ту сторону направляешься?

— Да, я иду домой.

Помолчали.

— Я тебе на той неделе посылал открытку; должно быть, она затерялась. Почта не слишком уважительно относится к открыткам. У меня тут гостил один коллега, южноамериканский пастор, он приехал сюда из Бразилии. Я знаю, что ты интересуешься естественными науками, и думал, что тебе было бы любопытно встретиться с ним.

— Я больше не интересуюсь естественными науками.

— Вот оно что! — (Я буквально почувствовал, как он поднял брови.) — Значит, и это увлечение прошло? Скажи, мой дорогой друг, ну а хоть что-то уцелело?

Я шел с ним рядом, понурился голову.

— Что это у тебя? — И он вытащил книгу, которую я нес под мышкой. — «Братья Карамазовы». Неплохо. Рекомендую обратить особое внимание на Алешу. Наглядный пример молодого человека, который не отступился от Бога.

Он вернул мне книгу. Несколько минут мы шли молча.

— Мой милый мальчик, что все-таки с тобой происходит? — Он сказал это таким тоном, что я растерялся. Я ожидал сурового выговора за то, что «отступился от Бога», «пренебрег обязанностями верующего на Пасху» и т. д. и т. п., а он заговорил со мной так мягко, что у меня глаза наполнились слезами. Благодарение богу, уже стемнело, и он не мог заметить этого.

— Да ничего.

— Тогда почему же ты пропал и не заходишь больше? Мы все очень скучаем без тебя — и сестры, и особенно я.

Я собрался с духом: нельзя же так поддаваться страху и молчать. Я решил откровенно высказать ему, что произошло в моем сознании.

— Я больше не верю в Бога. Религия для меня не существует.

Он молча принял это известие. И так долго, не говоря ни слова, шел рядом, что я исподтишка взглянул на него. Тонкое лицо его было усталым и огорченным. И тут я подумал о том, что до сих пор мне никогда не приходило в голову, — ведь и у него есть свои неприятности, а мысль, что я, по-видимому, усугубил его огорчения, заставила меня пожалеть о сказанном. Внезапно он заговорил как бы сам с собой, глядя куда-то в пространство:

— Ты больше не веришь в Бога: разум, говоришь, победил веру... Что ж, неудивительно, что ты гордишься этим. — Он помедлил. — Но что ты, собственно, знаешь о Боге? Да если говорить откровенно, что знаю о Нем я?.. Боюсь, что придется ответить, пожалуй, — ничего. Он непознаваем... непонятен... недоступен силе воображения и нашим чувствам. Мы не можем представить Его себе или объяснить Его воздействие на нас понятиями, принятыми в человеческом обществе. Поверь мне, Шеннон, безумие пытаться постичь Бога умом. Нельзя измерить неизмеримое. Мы совершаем величайшую ошибку, споря о Нем, а надо просто верить в Него, слепо верить. — Помолчав немного, он продолжал: — Помнишь, мы как-то говорили о существах, которые живут в океане на глубине пяти миль и без помощи глаз передвигаются на ощупь в крошечной тьме... в царстве вечной ночи... где лишь изредка мелькнет слабый фосфоресцирующий свет? И если их извлечь из глубин, переместить ближе к дневному

свету, они погибнут. То же происходит и с нами при приближении к Богу. — Еще одна пауза. — Величайший грех — гордиться своим разумом. Я отлично представляю себе, что происходит в твоем уме. Ты свел все к понятию клетки. Ты можешь рассказать мне, из каких химических веществ состоит протоплазма. О, из самых простых. Но ты можешь сделать из этих веществ такое соединение, чтобы получилась живая материя? И пока этого не случится, Шеннон, придется жить в смиренности и вере.

Снова наступило молчание. Мы почти дошли до поворота на Драмбакскую дорогу. Поворачивая к Толлу, прежде чем расстаться со мной и исчезнуть в тумане, каноник в последний раз взглянул на меня и сказал:

— Ты, возможно, и не ищешь Бога, Роберт, но Он ищет тебя. И найдет, дорогой мой мальчик, в конце концов найдет.

Я медленно побрел к «Ломонд Вью», обуреваемый самыми противоречивыми чувствами. Казалось бы, я должен гордиться тем, что сумел отстоять свои взгляды, — это уже немало, когда у человека хватает мужества придерживаться собственных убеждений. Я же был сбит с толку, испуган и в глубине души чувствовал страшный стыд.

Если бы каноник Рош прибег к помощи обычных для его звания трюков, пустил бы в ход извечные фразы о кознях дьявола и тому подобном, я бы чувствовал себя правым. Достаточно было ему сказать одно неверное слово — и все было бы кончено. Если бы он пытался разжалобить меня сентиментальными ссылками на Младенца, лежащего сейчас в яслях, я, быть может, прослезился бы, но никогда бы ему этого не простил.

А он дал мне отпор на основе моих познаний и спокойно доказал все мое ничтожество. Предположим, что Верховный Судья все-таки существует. До чего же нелепо мне, крошечной частичке атома, хилой, еле ползающей букашке, бросать Ему вызов. И какие ужасы,

какие муки будут мне наказанием за это, и самой страшной пыткой будет сознание, что я отрицал Его. Мною вдруг овладело неодолимое желание упасть на колени и в слепом смирении искать успокоения в молитве. И хотя меня колотила дрожь, я упорно противился этому желанию, инстинктивно ускоряя, однако, шаг. Когда же передо мной из тумана выплыли очертания «Ломонд Вью», безысходная тоска овладела моей душой, и я простонал: «О Боже... если Ты существуешь... какое Рождество Ты мне послал!»

ГЛАВА 6

В мае грянул поздний мороз; за ним наступила оттепель, и все раскисло. Однако как-то вечером, недели за две до праздника ремесел, шлепая домой с завода по грязи и талому снегу, я заметил, что на живой изгороди появились почки, да и во мне просыпалась весна. Алисон вернулась, и мы уговорились съездить в Арденкейпл в праздник ремесел, который был уже не за горами; я с превеликим нетерпением ждал этого дня.

Когда я вернулся домой и вошел в кухню, я сразу почувствовал: что-то произошло. Бабушка сидела у стола с решительным видом, а папа, поглаживая старушку по плечу, старался ее утихомирить.

— Ужин возьми сам, Роберт. — Он выпрямился и с многозначительным видом уныло посмотрел на меня. — Софи ушла.

Новость эта отнюдь не поразила меня. Я положил свою коробочку из-под завтрака, вымылся в чуланчике и вернулся. Когда я стал вынимать из духовки ужин, бабушка обернулась ко мне и запричитала:

— И это после всего, что я для нее сделала! Уйти без всякого предупреждения. Нет, просто уму непостижимо!

— Мы кого-нибудь подыщем рано или поздно, — мягко заметил папа. — В конце концов, она была очень неэкономна... и столько ела.

— Но я одна не справлюсь с хозяйством, — протестовала бабушка.

— Мы с Роби постараемся облегчить ваш труд. — Папа наигранно улыбнулся: это была препротивная улыбка. — Я, например, вполне могу убирать свою кровать. Вообще я даже люблю хозяйничать.

Насколько я понимал, втайне он был бесконечно рад, что избавился от расходов на содержание прислуги, и теперь уж постарается подольше не нанимать другую.

Покончив с едой, я решил угодить старушке и по дороге к себе занести дедушке хлеб с сыром и какао. Когда, повернув ручку двери, я вошел к нему с подносом, он сидел у догоравшего камина, накинув на плечи пальто.

— Спасибо, Роберт. — Тон у него был мягкий, спокойный. — А где Софи?

— Ушла. — Я поставил перед ним поднос. — И даже никого не предупредила.

— Ну и ну! — Он взглянул на меня удивленно, даже слегка обиженно. — Ты меня поразил. Такие нынче люди пошли, что никогда заранее не знаешь, чего от них можно ждать.

— Все-таки это досадно.

— Да, конечно, — согласился он. — Должен сказать, мне эта девушка нравилась. Такая молодая и исполнительная.

Приятно было видеть дедушку таким собранным и благоразумным, это был один из тех благословенных периодов, когда к нему возвращалась бывлая рассудительность и спокойствие. Он показался мне сегодня каким-то хрупким, даже немножко больным; я постоял возле него, а он, обмакнув хлеб в какао, медленно принялся его жевать.

— Как ваша нога? — спросил я. В последнее время он стал волочить левую ногу.

— Отлично, отлично. Это растяжение. У меня могучее здоровье, Роберт.

На следующее утро на заводе я заметил, что Голт, отец Софи, с каким-то странным видом наблюдает за мной. Мы работали над новым генератором, и он все время старался держаться поближе ко мне — подходил взять то гаечный ключ, то напильник. Улучив минуту, когда Джейми был на другом конце цеха, он сказал:

— Я хотел бы потолковать с тобой после работы.

Я с отвращением посмотрел на его испитое, небритое лицо, на котором тускло поблескивали бесцветные глазки.

— О чем это?

— Я тебе после скажу. Встретимся в баре у Фиттерса.

Прежде чем я успел отказаться, появился Джейми, и Голт отошел. Слова Голта удивили и взволновали меня. Чего ему от меня нужно? Про себя я решил, что никуда не пойду. Однако в пять минут седьмого, подстрекаемый тревогой и любопытством, я зашел в бар, находившийся как раз напротив заводских ворот; Голт уже сидел у маленького столика в углу длинной комнаты, усыпанной опилками, почти пустой и едва освещенной.

Когда он увидел меня, лицо его расплылось в улыбке.

— Что пить будешь?

Я сухо мотнул головой.

— Мне некогда. О чем ты хочешь со мной говорить?

— Я сначала выпью глоточек. — Он заказал виски и, когда ему принесли стакан, сказал: — Так разговор у нас будет насчет Софи.

Я вспыхнул от возмущения.

— Мне до нее дела нет.

— Может, и нет. — Он не торопясь потягивал виски и внимательно оглядывал меня. — Хорошенький скандалчик получится, если эта история всплывет наружу.

У меня было такое ощущение, точно он окатил меня холодной водой. Я был потрясен, смущен — не стану отрицать, от робости у меня по спине пошел холодок.

Голт кивком указал на стул, стоявший рядом.

— Садись, не будь таким гордым. Подожди, я еще глоточек выпью. — Он помолчал и снова оглядел меня своими маленькими неприятными глазками. — Не возражаешь?

— Пей, если тебе угодно, — пробормотал я.

— Твое здоровье, — сказал он, когда ему во второй раз подали виски.

А через полчаса я шел по Драмбакской дороге — бледный, крепко сжав губы, кипя от ярости и боли. На молодых каштанах уже раскрывались листочки, но я ничего не замечал. Добравшись до дому, я поднялся в комнату дедушки, захлопнул за собой дверь и повернулся к нему. Как только я вошел, он встал, держа в руке письмо.

— Посмотри-ка, Роби! — Голос у него был взволнованный и довольный. — Утешительная премия в последнем туре. Набор цветных карандашей и «Добрые деяния» в одном томе.

— А подите вы со своими «Добрыми деяниями»! — Я был так возмущен, что оттолкнул его: книги и бумаги полетели на пол.

Ничего не понимая, он уставился на меня.

— Что случилось?

— Не притворяйтесь, будто не знаете. — Скорее от горя, чем от ярости, я говорил глухим басовитым шепотом. — И это после всех ваших обещаний... да еще когда у меня собственных бед не оберешься... О господи, это уже последняя капля.

— Ничего не понимаю. — У него затряслась голова.

— Тогда подумайте хорошенько. — Я наклонился и тряхнул его. — Подумайте, почему ушла Софи.

Он повторил мои слова, глядя на меня пустым, бессмысленным взглядом. Потом вдруг словно прозрел. Он перестал трястись, и на лице его появилось новое выражение — не удивления, а чуть ли не святости, и он поднял правую руку, подобно Моисею, приказывающему источнику забить из скалы.

— Роберт, клянусь тебе, мы всегда были большими друзьями. И ничем больше. Ничем.

— В самом деле?! — Я задышался от негодования. — И вы хотите, чтобы я вам поверил... вам, записному волоките. — (Он с виноватым видом смотрел на меня.) — Вы попали в такую передрыгу, что теперь и не выпутаетесь. А я умываю руки.

Я повернулся и вышел из комнаты, а он, до смерти перепуганный, остался у камина. За ужином я не раздумывал, чем может кончиться свалившаяся на меня напасть; это казалось мне то сущим пустяком, то страшной бедой. Я мрачно раздумывал над тем, не совершил ли я глупости, умиротворяя Голта... я ведь, собственно говоря, подкупил его, заплатив за его виски. Это уже само по себе было признанием вины. Однако, если бы я занял более твердую позицию, еще неизвестно, как бы он себя повел. До чего же я был несчастен! Я мечтал о любви как о чем-то несущем свет и тепло, а жизнь насмеялась надо мной и послала вот это — низменное и позорное.

Когда я через час поднимался к себе в комнату, я встретил старика на площадке; он держал в руке листок бумаги и вручил мне его с исполненным достоинства и даже победоносным видом.

— Теперь все будет в порядке, Роберт. — Он слабо улыбнулся, пытаясь умиловить меня. — Открытое письмо жителям нашего города. Прочти.

Я устало пробежал глазами длинное послание, адресованное издателю газеты «Ливенфордский вестник». «Сэр... Недопустимая клевета коснулась... я зываю к моим согражданам... нечего скрывать... безупречная жизнь... чистая, как цветок лилии... всегда уважал женскую честь...»

— В самую точку. — Дедушка в волнении следил за мной. — И как раз успеет к очередному номеру, который выходит на будущей неделе.

— Да. — Я посмотрел ему в глаза. — Я позабочусь о том, чтобы это письмо попало по назначению.

— Отлично, отлично! — Он робко похлопал меня по плечу. — Я вовсе не хотел обидеть тебя, Роберт. Никогда в жизни. Друг в беде — это настоящий друг.

Я выдавил из себя улыбку, которая, видимо, успокоила его, — во всяком случае, он благодарно пожал мне руку.

Дедушка, волоча ногу, уже вошел к себе в комнату, но, должно быть вспомнив что-то, просунул голову в щелку приоткрытой двери.

— А знаешь, Роби, — глубокомысленно сказал он, — моя бедная женушка была чудесная женщина.

О господи, что он вдруг надумал? Вот уже десять лет, как я не слышал, чтобы он вспоминал о своей жене. Я вошел к себе. И там разорвал на мелкие кусочки его открытое письмо своим согражданам.

На следующий день по окончании работы Голт подошел ко мне. Я ждал этого и приготовился к тому, что он начнет корить меня. Однако, к моему удивлению, он был необычайно любезен.

— Я вижу, ты сегодня не торопишься. Зайдем со мной в бар. Если ты не очень гордый.

Я помедлил. Затем подумал, что мне станет легче, если мы сумеем как-то договориться. И пошел с ним в бар.

Ковыряя носком башмака опилки, Голт завел разговор на свою излюбленную тему — о правах человека. Он был завзятый оратор: на профсоюзных собраниях его считали «самым большим говоруном», а говорил-то он всего несколько звонких фраз, но с каким победоносным видом. Он считал, что рабочих всюду эксплуатируют и мучают, что хозяева — «кровососы». Он призывал народ восстать и взять бразды правления в свои руки. «Вместе с массами, против классов!» — был его лозунг. Он одним из первых стал употреблять новое слово «товарищ» и с благоговением говорил о «заре свободы».

— Ну-с, перейдем к делу. — Он горестно покачал головой. — Даже мой злейший враг не мог бы назвать меня человеком несправедливым. Но от своих прав я никогда не отступлюсь. Как ни крути, а Софи должна получить вознаграждение.

Все у меня внутри затрепетало. Много времени спустя, когда — при весьма любопытных обстоятельствах — я обнаружил, что дедушка отважился лишь обнять стан злополучной Софи (последний слабый рывок одряхлевшего скакуна), я от души ругал себя за то, что так легко попался на удочку. А сейчас я остекленелым взглядом уставился на Голта.

— Я рад, что ты не отрекаешься. — Так он истолковал мое молчание. — Значит, ты стоящий человек. Ну так вот, чтобы больше к этому не возвращаться: я хочу пять фунтов. Пять фунтов, и дело с концом, все забыто и прощено. Таковы мои условия. Справедливее трудно придумать.

Я в ужасе уставился на него.

— Но такую сумму мне за всю свою жизнь не собрать.

— В вашем доме денежки водятся, — недобрительно заметил Голт. — Если ты не можешь их достать,

я сам пойду к Лекки. Он, конечно, старый скряга, но денежки выложит мигом, только бы по городу об этом не трепали.

Ну что тут будешь делать? Я прекрасно понимал, что он избрал своей мишенью меня, потому что ко мне легче и проще всего подойти. С другой стороны, я прекрасно понимал и то, что, если не добуду этих денег, он отправится к папе, а тот и так последнее время все ворчит на дедушку, грозит отправить его в Гленвудский приют для престарелых.

— А вы мне дадите какой-то срок? — спросил я наконец.

Голт великодушно ответил:

— Да, конечно, я дам тебе неделю, товарищ. Это вполне разумное требование.

Я поднялся. Прощаясь со мной, он как-то по-особому сжал мне руку.

— А ты кое-кому нравишься.

Домой я шел пристыженный и огорченный; в голове у меня был сумбур. Я уже давно задумывался над тем, какому принципу должно следовать в жизни, и больше всего привлекала меня чудесная идея братства людей: ходить на митинги, изучать брошюры, сочувствовать «страдающему человечеству». Мы, рабочие, должны держаться вместе, вместе шагать под неприятным небом. Никто не умел так красноречиво говорить о благородстве и прочих доблестях угнетенных бедняков, как Голт. Однако собственная его бедность была следствием лени и беспомощности. И вот сейчас ему представлялся случай показать свое благородство, но он предпочел наступить мне на горло.

Последующие несколько дней я тщетно ломал голову над тем, как и где достать деньги. Был только один человек, к которому я мог обратиться. И всю эту неделю в сборочном цехе Голт посматривал на меня,

а я посматривал на Джейми. За последнее время наши отношения несколько улучшились: он, видимо, почувствовал, что я с большим старанием «взялся за дело». Я уже не раз подходил к нему с намерением заговорить, но в последнюю минуту у меня не хватало храбрости. Однако в субботу перед обедом, заметив, что Голт становится все назойливее, я подошел к начальнику сборочного цеха.

— Джейми, — одним духом выпалил я, — не могли бы ты одолжить мне денег?

— Я давно уже вижу, что у тебя что-то на уме. — Он отбросил окурок сигареты и, улыбнувшись мне, сунул руку в карман за мелочью. — Сколько тебе?

— Больше, чем ты думаешь. — Я мучительно глотнул воздуха. — Но я обещаю вернуть их тебе.

— Так сколько же? — все еще с улыбкой повторил он, но уже не так уверенно.

— Пять фунтов.

Он перестал улыбаться и недоверчиво посмотрел на меня.

— Да ты что! Рехнулся? Я думал, тебе нужно несколько монет.

— Честное слово, я тебе выплачу эти деньги из своего жалованья.

— Да зачем они тебе?

— Не могу сказать. Только они очень мне нужны.

Он с любопытством посмотрел на меня и сунул пригоршню мелочи обратно в карман. Лицо у него стало холодным, он был явно огорчен и недоволен мной. Он покачал головой.

— А я-то думал, что ты наконец спустился на землю. Я ведь не Шотландский банк. С трудом свожу концы с концами.

Я отошел, смущенный и обиженный этой резкой отповедью; я мог безропотно носить сколько угодно

власяниц, но малейшее слово осуждения глубоко ранило меня. До самого конца смены я не поднимал головы, чтобы не встречаться взглядом с упорно смотревшим на меня Голтом. Когда раздался гудок, я опрометью бросился к воротам и чуть не бегом помчался домой.

Все воскресенье я, притаившись, просидел дома, зато потом Голт целую неделю не давал мне житья. Первые дни колебаний прошли, и теперь я безропотно принял на себя это обязательство. Мне до смерти хотелось поскорее сбросить с себя этот груз. Я стремился быть человеком безупречной репутации; все, что я делал в своей молодости, проходило под знаком «хоть умри, а сделай», и я не собирался отступать от этого принципа в данном случае. Мне безумно хотелось «расплатиться с Голтом». Мне уже казалось, что я сам должен эти деньги и что это настоящий, обычный долг, который я должен выплатить во что бы то ни стало. Голт подогревал во мне эту иллюзию. Он даже намекнул на то, что подаст в суд. И предупредил, что теперь мне уже не отвертеться. Воспоминания о том, какие мысли смущали меня, когда Софи убирала мою комнату, только укрепили во мне сознание вины. Ну чем же я лучше старика?

Наступила суббота, а я так ничего и не придумал. Я хотел было избежать встречи с моим преследователем, но Голт поджидал меня у ворот и предъявил мне ультиматум. Он заявил злым тоном — и тон этот свидетельствовал, что говорит он правду, — что у него есть обязательство перед местным букмекером.

— Если ты не принесешь мне сегодня вечером денег, — сказал он, — я предаю дело огласке и крепко отомщу тебе.

На этом мы расстались, мне было горько и противно. Надоело мне до смерти обременять себя чужими делами. Хватит. Больше не могу.

Дома я сразу натолкнулся на бабушку: с довольным видом она спускалась вниз, держа в руках «Книгу благих деяний».

— Он спрашивал тебя. — И она показала наверх. — Какой-то он странный сегодня. Я даже посидела с ним и прочитала ему главу.

Последнее время она взяла себе за правило заниматься этим достойным делом: дни дедушки явно подходили к концу, и бабушка совсем иначе — не враждебно, как прежде, а даже покровительственно — относилась к нему.

Я постоял в передней, не зная, на что решиться, потом нехотя поднялся наверх и повернул ручку двери. Дедушка лежал на постели одетый, вид у него был какой-то очень покорный и несчастный. Надо было что-то сказать.

— Что с вами?

Он улыбнулся.

— Должно быть, принял слишком большую дозу душеспасительного чтива. Хотя вполне мог бы обойтись «Хаджи-Бабой». — Он задумчиво посмотрел на меня. — Ты сегодня идешь на футбол?

— Сегодня нет состязаний.

Больше он не сказал ни слова. И видимо, ничего не ждал от меня. А все-таки я спустился вниз к обеду, возмущенный тем, что ему хотелось побыть со мной. Я сказал себе, что не желаю больше знать с ним. И намерен был сдержать свое слово.

После обеда пошел дождь. Я бродил по комнатам, засунув руки в карманы, и поглядывал на улицу из окна. Потом в наимрачнейшем настроении отправился к дедушке.

Я развел в камине яркий огонь. Потом мы сыграли три раза в шахматы, несколько раз в «простофилю» — карточную игру, в которой ставками были спички и которой очень увлекался дедушка. Мы почти не разго-

варивали. Потом он растянулся в кресле, а я стал читать ему о похождениях Хаджи во дворце султана — эта история всегда очень смешила его. В четыре часа я разогрел чай и поджарил несколько кусочков хлеба со шкварками. После чая дедушка раскурил трубку и, откинувшись в кресле, прикрыл глаза.

— Совсем как в старое доброе время, Роби.

Я чуть не вскочил и не ударил его. Смотришь на него, такого спокойного, умиротворенного, и думаешь: ну зачем он всю жизнь совершал какие-то дурацкие, никому не нужные поступки? И такая на него появлялась злость. Тем не менее вид этого дремлющего старика вызывал воспоминания о том, как он был добр ко мне, когда я был ребенком. Конечно, это далеко не всегда объяснялось добротой, а просто уж такая у него была натура. Он всегда был немножко позер и даже недурной характерный артист, и роль благодетеля была ему очень по душе. Пусть так, но разве мог я бросить его сейчас, когда ему и жить-то осталось совсем немного? Ему ни за что не вынести жизни в Гленвуди; я ведь был там — мы с ним навещали Питера Дикки. Для такого человека, как дедушка, это будет конец.

Я вздохнул и поднялся. Очень мне было досадно, что, когда я уходил, дедушка уже крепко спал в своем кресле.

Вечером я взял микроскоп, который подарил мне Гэвин, — единственную свою ценность, вещь для меня священную, с которой я поклялся никогда, никогда не расставаться, даже если останусь без копейки и вынужден буду просить подаяния на улице. Я заложил его в городе. И получил за него вполне приличную сумму: пять фунтов десять шиллингов, немного больше, чем ожидал. Затем я прошел вдоль Веннела, завернул во двор и направился к дому из коричневого камня, выщербленному и изрисованному мелом: здесь жил Голт. Он стоял без пиджака, прислонившись к притолоке.

— Я принес тебе деньги, — сказал я.

Он схватил бумажки. Посмотрел на меня. На лице его появилась жалкая улыбка.

— Значит, теперь все в порядке. Зайди к нам на минутку, — сказал он, приглашая меня в комнату, грязную и неприбранную; на запыленных обоях были наклеены бланки его союза, фотографии футболистов и боксеров, вырезанные из газет.

Я покачал головой, повернулся и пошел; настроение у меня с каждым шагом все улучшалось. Дойдя до середины городского сада, я вдруг вспомнил, что в волнении отдал Голту все деньги, которые получил за микроскоп, на десять шиллингов больше того, что он просил. А, не все ли равно! Я избавился от него, избавился — и дело с концом. Если бы я так остро не сознавал, что уже стал взрослым, я бы побежал вприпрыжку. Однако я воздержался, зашел в лавчонку на краю городского сада и на мелочь, оказавшуюся у меня в кармане, купил яблоко, запеченное в тесте. Я медленно ел его, шагая по Драмбакской дороге; вечер был тихий, ясный, я смаковал пирожок, съел все до кусочка и даже слизал крошки с пальцев. До чего же вкусно! И как хорошо, когда наступает вечер! Свет был такой нежный и прозрачный. В ветвях каштана заливался дрозд. Подойдя поближе, я вдруг обрушился на безобидную птицу:

— Дождешься ты у меня, я тебе покажу! Ишь ты!

ГЛАВА 7

Ливенфорд, по справедливому определению мамы, был дымный старый городишко, зато какие красивые были вокруг леса, речки и горы. В городе существовало множество всякого рода клубов, объединяющих туристов и фотографов; членские взносы в них составляли всего полкроны, однако, когда Кейт или Джейми уговаривали меня вступить в один из них и даже

когда бабушка, проницательно посмотрев на меня, сказала как-то, что «не мешало бы мне» прогуляться на свежем воздухе, я лишь качал головой и укладывался с книжкой в постель. Я, который в свое время, можно сказать, целые дни проводил на высоких, овеваемых ветром вершинах, теперь месяцами не бывал на лоне природы. Однако утром в день весеннего праздника ремесел во мне проснулась былая жажда странствий.

К несчастью, в Шотландии существует враг, с которым вечно приходится сражаться, — погода. И в этот выходной день, встав с постели, я увидел в окно, что небо серое и моросит дождь. Неужели зарядил на весь день и, значит, праздник испорчен? Я тяжело вздохнул и поспешил на вокзал.

Там, на мокрой платформе, уже стояло несколько любителей экскурсий; вид у них был весьма понурый. Я стал пробираться между ними, и вдруг сердце у меня отчаянно забилося. Она была уже тут — в плотном макинтоше и синем берете на пушистых волосах — и разговаривала с Джейсоном Рейдом. Весь вокзал сразу посветлел, словно озаренный ею. Когда я подошел, Рейд поздоровался со мной кивком.

— Не беспокойся, Шеннон. Я с вами не еду.

Алисон повела носиком, по которому стекали капли дождя, и с гримаской повернулась ко мне.

— Нет, как тебе это нравится, Роби? Может, слишком сыро и не поедем?

— Ах нет, что ты! — поспешно запротестовал я.

Мне так хотелось поехать; я чувствовал, что мы должны, просто обязаны поехать, даже если пойдет град. И я приободрился, когда Рейд весело сказал:

— Ничего, не растаете. Только смотрите, чтобы вас не смыло за борт. Барометр у меня сегодня утром показывал «тепло и сухо». Верный признак тайфуна.

За последние два года Рейд стал далеко не таким нелюдимым, каким был раньше. Я очень завидовал его

новой способности «не теряться» ни при каких обстоятельствах, мне этого качества так недоставало. Он ехал в Уинтон по какому-то поручению миссис Кэйс и, поболтав с нами еще минуту, пошел на свой поезд, который стоял с другой стороны платформы. Я заметил, как, уходя, он обменялся многозначительным взглядом с Алисон; правда, я не был в этом абсолютно уверен, так как, по своему обыкновению, бежал сломя голову в кассу за билетами.

Наконец мы с Алисон сели в поезд, отправляющийся в Ардфиллан. Совершив этот небольшой переезд, мы с вокзала помчались на пристань и, пробравшись среди наваленных грудями бочек и кругов каната, исхлестанные дождем и свежим морским бризом, сели на пароход северо-английской железнодорожной компании «Люси Эштон», который курсировал между Ардфилланом и Арденкейплом. Поблуждав по палубе и заглянув в машинное отделение, мы наконец присмотрели местечко с подветренной стороны кают-компания, сравнительно защищенное от дождя. Вскоре где-то внизу зазвонил колокол, убрали канаты, возвращались красные лопасти, разрезая воду, и суденышко, дрожа и сотрясаясь, отчалило от дебаркадера.

Стараясь держаться так, чтобы нас не окатывало водой, которую ветер из-за угла швырял в нас, я с тревогой нагнулся к Алисон:

— Если тебе здесь плохо, мы можем сойти вниз.

Ветер и дождь исхлестали щеки Алисон; темно-синий берет, который она натянула на самые глаза, казалось, был расшит алмазными каплями.

— Нет, мне здесь нравится. — Она говорила громко, перекрывая свист ветра, и улыбалась мне. — К тому же я вижу голубой просвет.

И в самом деле. Проследив за ее указательным пальцем, я тоже заметил просвет в рваных облаках; за ним через несколько минут показался другой. Едва осме-

ливаясь дышать, мы смотрели, как два голубых пятнышка слились, стали расширяться и постепенно теснить серую массу. И тут, к нашему восторгу, появилось солнце, горячее и ослепительное. Вскоре все небо очистилось, палуба стала быстро высыхать, и от нее пошел пар. Теперь уже ясно: обычное чудо нашего северного климата, и вот пожалуйста — великолепный день.

— А барометр-то у Язона оказался верный! — в восторге воскликнул я.

Алисон горячо согласилась со мной.

— Но Роби... пожалуйста, не называй его Язоном. — Она помедлила. — Мама терпеть не может, когда мы так его зовем. У него ведь красивое имя.

Мы прошли на нос, наш пароходик с красными трубами вышел на простор широкого залива и скользил теперь под ярко-синим небом между высокими холмами; время от времени он останавливался у причала какой-нибудь деревеньки, чтобы принять груз раннего картофеля или взять на борт арендатора с двумя-тремя овцами, которых тот вез на рынок. Как чудесно было ехать с Алисон, просто находиться подле нее. Мы стояли у поручней, и когда она поворачивалась, то невольно задевала меня. Радость, надежда наполняли меня, я был в экстазе, на вершине блаженства.

В Арденкейпл, находящийся в верхней части Лоха, мы прибыли около часу дня. Мысль, что мне предстоит провести целых три часа вместе с Алисон в этом чудесном уголке, приводила меня в восторг. Волнуясь — уж очень мне хотелось, чтобы все было как надо, — я поспешил вместе с ней к единственному отелю — «Большому Западно-Шотландскому», который возвышался, претенциозный и запущенный, среди нескольких выбеленных известкой домиков крошечной деревушки.

В холодном холле, где гулял ветер и были развешены огромные олени рога, нас встретила офици-

антка, пожилая внушительная особа в белоснежном переднике. Она торжественно провела нас в длинную холодную столовую, где мы оказались единственными посетителями. Зал был увешан оленьими головами, бычьими рогами и гигантскими рыбами, которые глазели на нас с полированных стен. На буфете стояла жалкая закуска — жилистая баранина и точно вылепленная из воска картошка; формочки бланманже, бледного и дрожащего; острый сыр и размякшее печенье. Шотландец-метрдетель, с длинной белой бородой и клетчатым пледом через плечо, стоял в отдалении; завидев нас, он по-кельтски презрительно бросил что-то на наш счет официантке, которая с суровым видом стояла теперь у нашего столика.

— Можно у вас позавтракать?

— Сезон еще не начался. Она может подать только холодный завтрак за четыре шиллинга шесть пенсов с человека.

Из опасения, как бы чего не испортить, я уже готов был уступить этому бесстыдному вымогательству, как вдруг Алисон шепнула мне:

— А тебе в самом деле здесь нравится, Роби?

Я вздрогнул и покраснел до корней волос. У меня хватило храбрости лишь покачать головой.

— Мне здесь тоже не нравится. — Алисон спокойно встала и, обращаясь к ошеломленной официантке, заметила: — Мы передумали. Нам что-то расхотелось завтракать.

Не обращая внимания на огорченную женщину и на метрдетеля, который тотчас бросился к нам и стал нас уговаривать остаться, она с решительным видом вышла из отеля. А вслед за ней и я.

Перейдя через дорогу, Алисон заглянула в тихую деревенскую лавчонку и, внимательно изучив все, что там имелось, упростила лавочника отрезать ей шесть кусочков ветчины. Пока он резал, она ходила по лав-

ке: там взяла пару яблок, тут — спелые бананы, плитку молочного шоколада и две бутылки чудесного напитка, подкреплявшего меня в детстве: «Богатырского пунша» Барра. Вся эта снедь стоила около двух шиллингов шести пенсов; нам положили ее в коричневый бумажный пакет, чтобы удобно было нести.

Запасшись едой, мы стали подниматься в гору по дорожке, которая пролегла через рощицу молодых листовниц, уже начинавших краснеть. Мы шли все дальше и дальше вдоль берега речки, пробираясь сквозь густую чащу папоротника и кусты дикой азалии; наконец мы вышли на поляну, за которой начинались вересковые заросли. Когда-то здесь было поле, но сейчас оно заросло орляком; ограда, сложенная из камней, защищала его от ветра. Через поле бежал ручеек, который затем водопадом низвергался в водоем из окаменелой смолы, окаймленный белым песочком. Берега его поросли высокой травой, среди которой попадались примулы, склонявшие головки до самой воды, так что лепестки покачивались на ней, точно маленькие кораблики. Все здесь располагало к теплой дружеской беседе, дышало уединением.

Мы выбрали место посуше и сели на траву, прислонившись к ограде возле водоема; вокруг нас покачивались зеленые султаны молодого папоротника-орляка. Позади вставали горы, а внизу, точно зеркало, лежал Лох со стоящим на якоре игрушечным корабликом, на котором мы сюда приплыли. Солнце заливало нас. Раскрасневшись от удовольствия, я с готовностью бросился опускать бутылки в быстрый поток, а Алисон сняла макинтош и стала готовить завтрак.

Из свежего хлеба, деревенской ветчины и масла были приготовлены бутерброды — лучше их я ничего никогда не ел. А запивали мы шипящим прохладным «Богатырским пуншем». Алисон заставила меня съесть почти все бананы. Мы едва перемолвились сло-

вом, но, когда кончили завтракать, Алисон улыбнулась мне своей загадочной улыбкой.

— Ну разве здесь не лучше, чем в этой старой гостинице?

Я только кивнул, понимая, что, если бы не ее спокойствие и решительность, мы еще мучились бы там и сейчас.

Удовлетворенно вздохнув, Алисон сняла берет, закрыла глаза и прислонилась головой к камням.

— Как здесь хорошо, — сказала она. — Так бы и заснула.

Во всем ее здоровом молодом теле ощущался покой. Ее волосы, казалось всегда несколько всклокоченные, длинные волосы с искорками, в беспорядке рассыпались по плечам, обрамляя ее уже успевшее загореть лицо. На нежную, нагретую солнцем кожу падала тень от опущенных ресниц, казавшаяся совсем черной рядом с крошечной родинкой на щеке. Белая блузка ее была раскрыта на груди, обнажая упругую линию шеи. На верхней губе, словно роса, блестели капельки пота.

И, как не раз уже со мной бывало, мне стало и страшно, и радостно.

— Тебе неудобно, Алисон. — Я с трудом глотнул воздуха и, подвинувшись к ней, подложил свою руку ей под голову.

Алисон не стала возражать; она лежала, предаваясь блаженному отдыху, глаза ее были по-прежнему закрыты, губы слегка улыбались. Через минуту она прошептала:

— До чего же громко стучит у тебя сердце, Роби. Мне кажется, по всей округе слышно.

Какое начало для объяснения! Но почему же я ей ничего не сказал? И почему, почему не сжал ее в объятиях? Увы, то была трагедия моей чрезмерной невинности! Слишком я был прост и слишком неловок.

К тому же я был так счастлив, что не смел шевельнуться. Язык у меня точно прилип к гортани; поддерживая ее головку, я задыхался от любви; щека моя касалась ее щеки, я чувствовал ее глубокое мерное дыхание, такое глубокое, что даже ее пояс из лакированной кожи слегка поскрипывал. Солнце щедро заливало нас своим светом, нагревая жесткую материю ее юбки, и запах шерсти смешивался с ароматом тмина. В воздухе была разлита мягкая истома; откуда-то снизу, из леса, словно эхо, доносилось кукованье кукушки.

В неудержимом восторге я наконец прошептал:

— Вот об этом я мечтал в тот вечер, Алисон. Чтобы быть с тобой вместе. Всю жизнь.

— А если пойдет дождь, как тогда?

— Ну что такое дождь, — пылко начал я. — Пока мы...

И запнулся. Алисон открыла глаза и искоса кокетливо смотрела на меня. Воцарилось молчание. Тогда она решительно выпрямилась и села.

— Роби! Я хочу серьезно поговорить с тобой. Ты меня тревожишь. И мистера Рейда тоже.

Значит, сегодня утром на вокзале я правильно угадал. И хотя огорчился, когда она отстранилась от меня, но все же почувствовал гордость оттого, что Алисон обо мне беспокоится.

— Прежде всего, — продолжала она, нахмурясь, — мы считаем, что ты зря растрачиваешь свои силы на этом заводе. Ты совсем забросил биологию. А ты знаешь, что Карузо прочили в инженеры? Но он воспротивился.

— Дорогая моя Алисон, — я пожал плечами с нарочито равнодушным видом, — у меня отличная работа.

Она молчала, вперив взгляд куда-то вдаль. Быть может, я перехватил через край, героически уверяя ее, что всем доволен? Я исподтишка взглянул на нее.

— Конечно, должен признаться, я страшно устаю... случается, и руку резцом пораню. И потом... кашель все не дает мне покоя.

Она повернулась ко мне с таким выражением, что я оторопел. Покачала головой.

— Роби, дорогой... ты просто ужасный человек.

Что я такого ей сказал? Волна отчаяния захлестнула меня. Почему она относится ко мне с какой-то укоризненной добротой? В теплом воздухе звенела песенка ручейка. Сердце мое отчаянно стучало и вдруг сжалось.

— Я обидел тебя?

— Нет, что ты. — Она закусила губу, борясь со своими чувствами. — Просто я поняла, какие мы с тобой разные. Я такая практичная, быть может даже слишком. А ты — ты всегда будешь парить в облаках. Одному Богу известно, что с тобой будет, когда мистер Рейд уедет из Ливенфорда.

— Рейд? Уедет?

Она опустила глаза и стала вертеть стебелек примулы.

— Он подал прошение, чтобы ему дали место в Англии. В школе близ Хоршема, в Сассексе. Слишком долго он работал в Академической школе. А то заведение хоть и небольшое, зато там придерживаются современных методов, и у него будет больше шансов продвинуться.

— Ты хочешь сказать, что Рейд уже получил эту должность? — вырвалось у меня.

— Мм, да... По-моему, это уже решено. Он хотел сообщить тебе об этом сегодня вечером.

Я похолодел. Хотя Рейд уже несколько раз намекал на такую возможность, удар был для меня все-таки неожиданный-негаданный. И почему он все это устроил и решил, не сказав мне ни слова? Быть может, он не хотел огорчать меня. И все же мне было больно,

я чувствовал себя отринутым. Однако, прежде чем я успел высказать свою обиду, Алисон заговорила снова, тихим голосом, избегая встречаться со мной взглядом и то краснея, то бледнея:

— Я знаю, ты очень огорчен тем, что Рейд уезжает. Ужасно расставаться с другом. Хотя, конечно, можно и в разлуке поддерживать добрые отношения.

Она как-то подозрительно умолкла.

— Дело в том, Роби... — Алисон внезапно подняла голову. — Мы с мамой тоже уезжаем.

Должно быть, я побелел как полотно. Я едва мог выговорить:

— Куда?

Наклонившись ко мне, она заговорила быстро, горячо:

— Главную роль в этом сыграли, конечно, мои занятия. Ты знаешь, как серьезно к этому относится мама, как она хочет, чтобы меня учили специалисты. Мисс Кремб ничему больше не может меня научить. В Уинтоне едва ли найдется кто-либо лучше ее. И вот было решено, что я поступлю в Королевскую консерваторию в Лондоне.

— В Лондоне?! — Для меня это было на другом конце света. А как это близко, совсем близко от Сассекса!

Алисон сидела вся красная, она была ужасно, мучительно смущена.

— Ты ведь такой умный мальчик, а как слепой: ничего не видишь, что делается вокруг. Все знают, кроме тебя. Ведь мама выходит замуж за мистера Рейда.

Я был настолько поражен, что даже не нашелся что сказать. Конечно, миссис Кэйс все еще привлекательная женщина, и у нее одинаковые с Рейдом вкусы и интересы. Но новость эта, вместо того чтобы обрадовать, сразила меня.

Долго длилось молчание.

Наконец, чувствуя себя глубоко несчастным, я сказал:

— Если ты уедешь, у меня никого не останется.

— Но ведь я уеду не навеки. — Голос ее звучал мягко, он был полон доброты и дружеского участия. — Ты же знаешь, я должна думать о пении. И конец света наступит еще не завтра, Роби. Так что, пожалуйста, не делай преждевременных выводов, запомни: утро вечера мудренее.

Охваченный мрачным отчаянием, глядел я куда-то в пространство; солнце начало заходить за гору, снизу, у причала, раздалось три резких пароходных гудка — сигнал, что он скоро отчалит.

— Надо спешить! — воскликнула Алисон. — Он скоро уйдет.

Она вдруг нерешительно, чуть ли не с мольбою улыбнулась мне, потом вскочила на ноги и протянула мне руку, помогая подняться. Пока мы спускались вниз, на пристань, мне почему-то показалось, что, несмотря на всю твердость характера, Алисон свойственна та же нерешительность, что и мне. Пароходик снова загудел — протяжно, точно сирена на Котельном заводе. Праздник кончился. И сердце у меня упало: я теперь останусь совсем один и погибну. Будущее вставало передо мной как глухая стена.

ГЛАВА 8

Последняя суббота июля... Все эти горести до того расстроили меня, что я и забыл о выставке цветов, назначенной на этот день, и вспомнил об этом только около двенадцати, когда шел домой с завода. А когда я вернулся в «Ломонд Вью», мне совсем не захотелось идти на выставку. Однако я обещал Мэрдоку быть там и потому в два часа пошел к себе переодеться. Звук тя-

желых неуверенных шагов наверху дважды побуждал меня прислушиваться, наконец я не выдержал и решил подняться к дедушке.

Старик, вымытый, аккуратно одетый, стоял перед зеркалом и, покраснев от натуги, дрожащими пальцами силился завязать себе галстук. Одежда его была старательно вычищена, ботинки блестели, совсем как в былые славные дни. Он надел белоснежную рубашку, ставшую узкой в воротничке.

— Это ты, Роберт? — Хотя руки у него и дрожали, голос звучал ровно, и он продолжал смотреться в зеркало.

С минуту я стоял молча — несмотря на жару, меня хватил озноб, когда я увидел, что он делает.

— Куда это вы собрались?

— Куда я собрался? — Он вытянул шею и наконец завязал галстук. — Что за вопрос? Конечно, на выставку цветов.

— Нет... нет... Вы неважно себя чувствуете, зачем же вам идти.

— Я никогда в жизни не чувствовал себя лучше.

— Сегодня страшно жарко. Вам, безусловно, станет плохо. Вы бы лучше полежали, отдохнули.

— Я и так лежал всю неделю. Ты не представляешь себе, как мне надоело лежать.

— Но ваша нога... — попытался я пустить в ход последний довод. — Вы сильно хромаете и не дойдете.

Он отвернулся от зеркала и, хотя голова у него немного тряслась, безмятежно улыбнулся мне.

— Дорогой мой мальчик, разница между тобой и мной в том, что ты слишком быстро сдаешься. Сколько раз я тебе говорил, что нельзя так легко сдаваться. Неужели ты полагаешь, что я, глава семьи, не буду на этом знаменательном для Мэрдока торжестве? К тому же я всегда любил цветы. Цветы и хороших женщин.

Я вспыхнул, услышав, как он определил мой характер, — кстати сказать, определил вполне правильно, — и теперь в ужасе смотрел, как он надевает пиджак и с важным видом выправляет крахмальные манжеты. Последние несколько недель ему нездоровилось, но он с поразительной беспечностью готовился развлекаться. Одного этого было достаточно, чтобы парализовать все мои дипломатические способности. Заставить его отказаться от задуманного было просто невозможно...

— Ну-с! — сказал он наконец, довольный своим видом, и взял палку. — Могу я рассчитывать на ваше общество? Или вы желаете, чтобы я шел один?

Ну конечно, я должен идти с ним. Как мог я оставить его одного в такой толпе, да еще в такую жару? Не слишком надеясь на свои ноги, а потому крепче держась за перила, он стал спускаться по лестнице, а я пошел следом.

Вереницы горожан — мужчины в соломенных шляпах, дамы в легких платьях — тянулись по дороге к садам Овертонхауса, где была устроена выставка. Мы влились в толпу, и я с облегчением подумал, что тут мы не встретим никого из дедушкиных малопочтенных друзей. Но за дедушку я тревожился — его слегка пошатывало, — и я предложил ему руку.

Это был ужасный промах. Дедушка раздраженно отказался от моей помощи.

— За кого ты меня принимаешь? Что я, ископаемое? Или мумия? — Изо всех сил стараясь не волочить ногу, он выпрямился и попытался, совсем как в былые дни, выпятить грудь колесом. — Лет через пять я, быть может, попрошу тебя заказать мне кресло на колесиках. А пока мы в этом не нуждаемся.

Даже самый легкий намек на то, что силы его подходят к концу, был страшной ошибкой. Он и думать не хотел о своей дряхлости и решительно закрывал глаза

на то, что не будет жить вечно. Вот сейчас он каким-то чудом держится прямо; я вынужден это признать независимо от своих опасений. Он был одет тщательнее обычного, и хотя и волочил ногу и голова у него тряслась, вид у него все же был весьма внушительный. Густые седые волосы, выбивавшиеся из-под шляпы, лишь подчеркивали это впечатление; прохожие то и дело оглядывались, а он, чувствуя, что привлекает их внимание, охорашивался и важно шагал рядом со мной.

— Ты заметил, Роберт, — шепнул он мне уже вполне благодушно, — этих двух дам слева? Очень элегантные. А какое чудесное солнце! Ни за что в мире я бы не упустил такой прогулки.

Когда мы подошли к входу на выставку, где были временно установлены деревянные вертушки, дедушка с напыщенным видом предъявил два бесплатных пропуска, которыми запасся у Мэрдока. Нет, он был положительно неисправим.

Выставку устроили в очаровательном местечке — это был самый красивый и самый большой сад в графстве; а сегодня он выглядел и вовсе празднично: полосатые, красные с белым тенты натянуты над экспонатами, палатки для выставки семян и садовых инструментов, а на площадке устроено кафе под открытым небом; городской оркестр, расположившийся вокруг фонтана, играл тихий вальс. Подстриженные газоны и тенистые деревья, яркие одежды женщин, малиновые с золотом мундиры оркестрантов, звуки музыки и плеск фонтана, мягкий говор благовоспитанных людей — от всего этого дедушка буквально расцвел. Он с наслаждением шагал по мягкой зеленой траве. Ноздри его раздувались.

— Всю жизнь любил водиться со знатью, Роберт. Это моя стихия.

Он поклонился нескольким особам, которые явно в первый раз его видели; он же, нимало не смущаясь,

продолжал, прихрамывая и тихонько напевая, обозревать собравшихся.

— Красиво, очень красиво. — От волнения кровь, видимо, ударила ему в голову. Он вел себя пристойно и сдержанно, однако ему стало казаться, что это празднество устроено в его честь. — Взгляни-ка! Это там не миссис Босомли?

— Нет, это не она. — Он теперь вечно всех путал: «дальнозоркость», которой он так гордился, исчезла навеки.

— Ну, не важно, все равно славная женщина. Мы попозже подойдем к ней и побеседуем. А теперь покажи мне гвоздики Мэрдока. Всю жизнь любил гвоздики. И потом, я хочу знать, получит ли он премию.

Облегченно вздохнув, я повел его. Вдали я заметил Алисон и ее мать, но сейчас мне очень хотелось избежать встречи с ними. Мы вошли под тент, где было полно цветов, выращенных в оранжереях фруктов и отборных овощей. Шотландцы ведь известные садоводы. В одной из палаток были выставлены розы, изумительные по оттенкам и аромату; в другой — массы душистого горошка благоухали столь же нежно, как нежны их лепестки. Мы полюбовались пушистыми персиками в корзиночках, великолепной спаржей, перевязанной голубой ленточкой; гроздьями сочного мускатного винограда; гигантской тыквой, которая, казалось, вот-вот лопнет под напором собственного сока. Дедушка рассматривал экспонаты с величайшим удовольствием, изображая из себя строгого ценителя; лицо его стало багровым, так как под парусиновым тентом было необычайно душно и жарко. Видя, как он доволен, я устыдился своих опасений и порадовался, что не лишил его такого развлечения.

Наконец, мы добрались до выставки гвоздик. Здесь, среди довольно большой группы людей, любознательно и с большим вниманием разглядывавших огромный

букет стенда, мы заметили Кейт и Джейми с маленьким Люком. Немного позже из киоска, отведенного для участников выставки, вышел Мэрдок с мисс Юинг. Старику было приятно видеть все семейство в сборе. Он пожал всем руки, даже сынишке Кейт, которого дружески назвал Роби. Затем, оглядев окружающих и как бы благосклонно приобщая их к нашим семейным тайнам, он шепнул Мэрдоку, но так, чтобы слышали все:

— Ну-с, каков приговор, мой мальчик? Получили мы медаль?

Мэрдок с гордым видом кивнул на стенд.

— Посмотри сам.

К центральному букету чудесных гвоздик необычного нежно-желтого оттенка с розовато-лиловыми по краям лепестками была приколотая карточка с золотым обрезом, на которой чернилами, еще не успевшими высохнуть, было написано: «Серебряная медаль Бауэрс за лучший экспонат цветов. Мистеру Мэрдоку Лекки, питомник Далримпла и Лекки, Драмбак».

— Они ничуть не хуже Александры, — поспешила пояснить мисс Юинг. — Мы очень довольны.

Хотя Мэрдок и получил серебряную медаль, честолюбие его было не вполне удовлетворено. Но для дедушки это не имело значения. Для него медаль была медалью. Лицо его стало багровым.

— Мэрдок, я горжусь тобой. Ты и меня прославишь. И разреши мне первому воткнуть в петлицу твой замечательный цветок...

Он протянул руку, вытащил из букета гвоздику, оборвал стебель и воткнул цветок в петлицу.

Это было так характерно для нашего старика, и хотя Мэрдок был не очень-то доволен его выходкой, но цветок в петлице был последним штрихом, довершившим облик дедушки. Он с улыбкой оглядел всех нас и пошатнулся.

— Проводите меня туда, где будут раздавать призы. И учтите: я вовсе не устал. Просто я посижу там и подожду, пока выдадут нам медаль.

Когда он уселся в соломенное кресло на лужайке, в тени высокой акации, поближе к оркестру, а рядом с ним сели Кейт и Джейми, я почувствовал, что на какое-то время могу снять с себя бремя ответственности, и, воспользовавшись случаем, сбежал. Дедушка не вспомнит обо мне по крайней мере в течение получаса; он уже взял сынишку Кейт к себе на колени и спрашивает его со слабой снисходительной улыбкой:

— Послушай, Роби, а помнишь тот день, когда мы ходили с тобой кататься на пруд?

И, уже пересекая лужайку, я услышал пронзительный голосок мальчика:

— Не надо про коньки, дедушка. Ты лучше расскажи мне про зулусов.

Я бесцельно блуждал под тентами, однако исподтишка не переставал взглядом искать моих друзей. Рейд на следующей неделе уезжал на юг Англии, а Алисон и миссис Кэйс следом за ним, через несколько дней; свадьбу решено было отпраздновать без всякого шума в Лондоне в конце месяца. Как ни странно, мне стало еще тяжелее, когда я узнал, что после нашей последней встречи Алисон чудесно пела в зале Святого Андрея. Глубоко обиженный, чувствуя себя уже покинутым, я избегал своих друзей, но попрощаться с ними все-таки нужно.

— Почему такой трагический вид, Роби? Вам следовало бы гордиться успехами Мэрдока.

Миссис Кэйс стояла рядом с Рейдом неподалеку от оркестра; на ней была широкополая шляпа из мягкой соломки, отделанная белым, и она смотрела на меня из-под полей со своей легкой усмешкой — чуть менее иронической, чем в последнее время.

— А разве у меня трагический вид? — вздрогнув, заикаясь, спросил я. — Мэрдок не получил золотой медали.

— Да как же он мог ее получить, — заметил Джейсон, — когда я вот уже сколько месяцев потихоньку растил тыкву в оконных ящиках?

— Дорогой мой мальчик, — темные глаза миссис Кэйс смеялись, — ты совершенно прав. И все-таки будь повеселее, ну самую чуточку.

Я неуклюже попытался оправдаться и тихо сказал:

— Как же вы хотите, чтобы я улыбался, когда дорогие мне люди уезжают?

Рейд покачал головой.

— Жизнь пренеприятная штука, Роберт. А что, если ты пойдешь с нами и съешь клубники со сливками? Мы через полчаса должны встретиться с Алисон в кафе.

— Да, приходите, — сказала миссис Кэйс. — Мы будем там в четыре.

— Отлично.

Они пошли своим путем, а я повернулся и, остановившись под ближайшим тентом, долго рассматривал пучок пастернака. Я терпеть не мог пастернака и, собственно, вовсе не интересовался им. Мягкая ирония, прозвучавшая, несмотря на искреннюю дружелюбность, в тоне Джейсона, внезапно заставила меня посмотреть на себя как бы со стороны, глазами других. О боже! Какой я был дурак! Ничего-то я не знал о жизни, не понимал в ней самого главного.

Я жил в мире мечты и был жертвой собственной фантазии. Хорошо еще, что я удержался и не предстал перед ними полным идиотом.

Без пяти четыре я направился к кафе.

И тут, пробираясь сквозь толпу, я вдруг увидел Кейт: она махала мне издали, оттуда, где сидел дедушка. В ее жестах было что-то столь повелительное, что я, забыв про все свои беды, стремглав бросился к ней.

— Дедушке стало плохо, — задыхаясь, сказала она. — Я послала Джейми за доктором, но ему все хуже и хуже. Сбегай в сторожку у ворот и вызови по телефону кеб.

Окруженный несколькими добрыми самаритянами, старик лежал на траве, по которой всего час назад он так гордо шествовал. Он лежал на боку, согнувшись, одна рука была скрючена, точно ее свело. Широко раскрытые глаза смотрели в одну точку, рот был перекошен. Он едва дышал. Серые волосы разметались. Страшное, печальное зрелище — поверженный Лир после ночной грозы. Хотя я мало понимал в болезнях, я догадался, что у него удар, и опрометью бросился в сторожку. В это время как раз стали раздавать призы. Оркестр, завершая намеченную программу, грянул в заключение — и это похоронным звоном отозвалось у меня в ушах — «Боже, спаси короля».

ГЛАВА 9

Воскресенье. Близится полночь. На сей раз ошибки быть не может: старик умирает. Это чувствуется в атмосфере комнаты, где я сижу у его постели; чувствуется в атмосфере спящего дома, даже в ночи, за его пределами. Весь день ждали развязки, и все вели себя соответственно: Мэрдок и Джейми разговаривали с папой внизу приглушенными голосами; Кейт шикала на своего сынишку, который громко кричал, играя в мяч на заднем двореке; бабушка ходила на цыпочках и пекла гору лепешек. Это называется «ждать конца», и семейство отправилось спать с чувством почтительного разочарования: и как еще только этот старик «тянет», ведь у него было три удара, один за другим, доктор Галбрейт предупреждал, что он недолго проживет. Никто не стал возражать, когда я попросил раз-

решения провести с ним ночь; все признали за мной это право — я ведь так привязан к нему, да это и удобно: кому же хочется лишать себя ночного сна.

В доме стоит пугающая тишина; хотя я скатал штору и раскрыл окно, теплый воздух беззвездной ночи не приносит облегчения. Дедушка лежит на спине; он уже не хрипит, а только еле слышно дышит; щеки у него запали, и рот раскрылся. Прежде чем уйти спать, бабушка обтерла мокрой губкой его обострившееся, почти безжизненное лицо, причесала седые волосы, и на миг передо мной предстала тень того, кто в последний раз во всем своем великолепии появился на выставке цветов. Возраст превратил это тело в развалину, но не сделал жалким.

Я с грустью смотрю на дедушку: как все-таки хорошо, что он решает эту тяжкую проблему самым легким путем; и невольно задумываюсь над тем, что для него, должно быть, наступил сейчас тот момент, когда человек взвешивает ценность жизни, страшный момент прощания с ней, через который все мы пройдем. Каких только безумств, каких прегрешений он не совершил! Никто лучше меня не знает всех его слабостей и причуд, и я со страхом обнаруживаю в себе, меланхоличном и глупом мальчишке, черты, унаследованные от него. Да, я защищаю их, эти смутные глубины индивидуальности, ибо, подобно дедушке, я уже сомневаюсь в правильности общепринятого житейского кодекса; быть может, эти незаметные, но облагораживающие человека добродетели — не быть мелочным, быть добрым, внушать людям любовь к себе — перевесят сотню пороков.

Очевидно, я задремал у его постели. Разбудили меня какие-то звуки: старик пытался что-то сказать. Я наклонился над ним и сумел разобрать одно слово:

— Вина.

Это не было раскаяние умирающего или обращение к верховному существу. Он имел в виду напиток, к которому издавна привык и в котором сейчас ощутил вдруг острую потребность. Это едва ли пойдет ему на пользу, но ведь не шли ему на пользу и другие его пороки, а поскольку доктор не побеспокоился наложить на вино запрет, я ощупью спустился вниз, в столовую, и отыскал в буфете уже купленную, не без сопротивления папы, бутылку — для тех, кого дедушкина кончина привлечет в наш дом и кто, подобно мистеру Мак-Келлару, «примет участие» в похоронах. Я налил в чашку немного виски — чистого, ибо он терпеть не мог, когда его смешивали с водой, — и подумал о том, какую злую шутку решила сыграть со стариком судьба: ведь он будет пить то, что куплено для его поминок.

А как он обрадовался этому стаканчику виски, которое проглотил с большим трудом. И пробормотал:

— Мясо и вино.

Это были его последние слова. И я усмотрел в этой случайной фразе глубокий смысл, краткий итог всей его жизненной философии.

Часы пробили три, я вздрогнул; от усталости меня клонило ко сну. Старик умирал; минута перехода его в вечность приближалась. Вдруг дверь растворилась и вошла бабушка, в чепчике и длинной белой ночной сорочке, со свечой в руке, — инстинкт крестьянки, которая безошибочно, со священным трепетом чувствует приближение смерти, привел ее сюда. На этот раз она не стала читать вслух главу из «Благих деяний». Она взглянула на умирающего, потом на меня и молча села на мое место, а я отошел к окну.

Чувствуется близость зари: какие-то предрассветные шорохи, встрепенулась непоседливая птица, начинают смутно проступать очертания трех каштанов. Бабушка великолепно держится. Она боится мрачного

призрака, притаившегося сейчас в комнате, боится этого напоминания о том, что и она смертна. Но она очистилась от ненависти. Злоба, враждебность, которые царили в этом маленьком мирке, где жили мы трое, кажутся теперь такими нелепыми и далекими. За последние три месяца дедушка ослабел, а бабушка, напротив, как бы окрепла духом и возвысилась; она не стала сердобольнее, но, с грустью осознав свою роль в жизни, даже полюбила своего давнего недруга.

Да, вот оно. Чего-то не стало. Смерть человека в расцвете сил и здоровья — страшная вещь, противоестественный, ненужный акт. Но этот старик устал. Лодка отчаливает от берега легко, без всплеска. Бабушка смотрит на меня, слегка кивает и встает.

Я гляжу, как она подвязывает отвисший подбородок, кладет монеты — еще один крестьянский обычай — на закрытые глаза. С глубокой печалью всматриваюсь я в это лицо, навеки застывшее в неподвижности. Он уже прибыл туда, где — светло ли там, темно ли, я не знаю, — уже не будет совершать безумств; он избавился от всех своих мучителей и преследователей — и прежде всего от самого себя.

Бабушка шепотом велит мне опустить штору. Светает: каштаны более отчетливо вырисовываются за окном, поля выплывают из мрака, на востоке появляется шафранное пятно. Я задуваю свечу. И вдруг с фермы на холме, словно издеваясь над угасшим пламенем, доносится вызывающе дерзкое пение петуха.

ГЛАВА 10

Во вторник, вернувшись с кладбища, мы все сидели в гостиной и ели холодную ветчину с яйцами; похороны были хоть и не роскошными, но прошли вполне прилично, ибо по распоряжению папы в них прини-

мали участие два лучших гробовщика нашего города. Папа, потирая руки и рассыпаясь в любезностях перед мистером Мак-Келларом, привел его к нам прямо с кладбища. Бабушка сидела справа от юриста, Кейт — слева; Мэрдок и Джейми — в дальнем конце стола, рядом со мной; Адам с папой — во главе стола.

— По-моему, все прошло отлично. — Папа вопросительно заглядывал в глаза мистеру Мак-Келлару, страстно желая услышать его одобрение. — Прошу вас, скушайте парочку яичек. Мне не хотелось устраивать видимость богатых похорон. С другой стороны, я люблю, чтобы все было вполне благопристойно. К тому же в некотором смысле — вы, надеюсь, меня поймете — он этого заслужил.

Все ждали, что скажет юрист. А он, принимая чашку из рук Кейт, сухо заметил:

— Я думаю, что похороны прошли как должно.

Папу слегка передернуло: уж очень ему было досадно, что мистер Мак-Келлар не любит его. И он с благодарностью взглянул на Адама, когда тот заметил:

— Лучшего и желать нельзя.

Мак-Келлар пожал широкими плечами.

— Когда человек переходит за этот рубеж, ему уже все равно.

Папа и Адам обменялись понимающим взглядом, как бы скрепляя свой союз против этого угрюмого пришельца. Хотя Адам приехал только сегодня утром, он уже успел успокоить папу, заверил его, что с домом все обстоит благополучно — вполне возможно, что его удастся продать школе с интернатом, — спокойно предложил чек, а когда папа заколебался, так же спокойно разорвал его, — словом, настолько завоевал доверие папы, что по пути домой они уже тихонько обсуждали в себе «сферы» возможного приложения нового папиного капитала — денег за страховку, которые наконец он должен получить.

— Попробуйте моих лепешек, мистер Мак-Келлар, — предложила бабушка.

— С удовольствием.

Юрист с аппетитом пил чай, на вопросы папы и Адама он отвечал односложно, зато весьма любезно, хоть и скучновато беседовал с Кейт и старушкой. Он был рьяным сторонником самоопределения Шотландии и в бабушке нашел крепкого союзника. Он низко склонился над своей тарелкой и то и дело оглядывал стол, приводя всех в немалое замешательство.

Должен признаться, я избегал его холодного, стального взгляда. У могилы, только что вырытой на зеленой лужайке, на меня была возложена почетная обязанность «держат веревку», и каким ужасным чудачком, слабонервным и жалким, я себя выказал. Когда гроб стали опускать, меня вдруг всего заколотило и, захлебываясь слезами, я громко зарыдал... это в моем возрасте! Одно воспоминание об этом заставляло меня стыдливо опускать голову.

— Вы точно подытожили сумму страховки? — как бы между прочим спросил Адам.

— Да, точно. — Мистер Мак-Келлар говорил официальным тоном. Эти двое — представитель городской страховой компании, лихо обделывавший всякие дела, и захолустный стряпчий — недолюбливали друг друга. Любопытный тип этот Мак-Келлар: вот уже несколько лет, завидев меня на противоположной стороне улицы, он здороваётся со мной; медлительный, солидный, непоколебимый как скала, он скорее умрет, чем изменит хоть на полпенни цифру в своих подсчетах. Сказать просто, что он честен, было бы возмутительной недооценкой его достоинств. Это был настоящий образец честности; когда за какое-нибудь дело ему предлагали больше причитающихся трех процентов, он отрицательно качал головой и изрекал: «Это дурно пахнет. Очень, очень дурно пахнет». Он явно не до-

верял Адаму, как человеку, не брезгающему ничем, — этот юноша в свое время ушел из его конторы без предупреждения и с тех пор неизменно продвигался по служебной лестнице за счет других.

— Какая же получилась в итоге сумма? — продолжал наступать на него Адам.

— Семьсот восемьдесят девять фунтов семь шиллингов и три пенса... абсолютно точно.

Адам наклонил голову, а папа даже побледнел, услышав столь огромную, неслыханно огромную цифру. Я невольно подумал о дедушке, который так ненавидел свою страховку, что запретил мне упоминать о ней в его присутствии. Слава богу, он не мог слышать, как папа радостным шепотом спросил:

— А когда вы можете их выплатить?

— Хоть сейчас. — Мак-Келлар не торопясь положил нож с вилкой на тарелку и отодвинул ее от себя.

— Еще чаю, мистер Мак-Келлар?

— Нет, благодарю вас. Я уже всего отведал.

— В таком случае глоточек вина. — И это любезно предложил папа, великий трезвенник!

— Ну, если вы уж так настаиваете...

Когда Мак-Келлару налили полную рюмку, я тихонько поднялся со стула, намереваясь незаметно выскользнуть из комнаты. Но твердый пронизывающий взгляд, точно луч прожектора, упал на меня.

— Куда это ты направился?

На выручку мне пришел папа:

— Он все еще никак не придет в себя... Да вы, наверно, заметили это на похоронах. Все в порядке, Роберт, можешь идти.

— Ну уж нет, молодой человек, присядьте. — Мистер Мак-Келлар решительно глотнул из рюмки. — Не очень-то уважительно к памяти старика исчезать в разгар церемонии. Если ты хоть в какой-то мере считался с ним — а ты, по-моему, единственный, кто с ним счи-

тался, — просто из приличия нужно, чтобы ты посидел здесь, пока я не кончу.

Смущенный, я уселся на свое место. Мистер Мак-Келлар никогда прежде не разговаривал со мной таким тоном. Он уязвил меня и обидел.

— В таком случае приступим к делу, — резко предложил Адам.

— Как вам угодно. — Мак-Келлар вытащил из внутреннего кармана какие-то бумаги. — Вот страховка. Номер пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать. Дарственная, выданная Александром Гау. А вот завещание. Я прочту вам его.

— Зачем это? — Адам начал терять терпение: педантичная медлительность юриста раздражала его. — Кому нужна вся эта чепуха? Я служил в вашей конторе, когда вы составляли его, я был свидетелем и знаю его наизусть.

Мистер Мак-Келлар, казалось, не ожидал этого.

— Правильнее будет, если я все-таки прочту. Я недолго займу ваше внимание.

— Конечно, пожалуйста, — примирительно сказал папа.

Мак-Келлар надел очки и медленно, отчетливо прочел завещание. Это был короткий и простой документ. Дедушка завещал все маме, а в случае ее смерти — ее душеприказчику, папе.

— Отлично. — Папа удовлетворенно вздохнул. — Все в порядке. Теперь можно приступить к расчетам.

— Нет, подождите! — Мак-Келлар почти выкрикнул эти слова и одновременно ударил по столу своим могучим кулаком.

Наступила тишина. Низко склонившись над документом, он оглядел всех сидящих за столом, ехидная улыбка, которую он до сих пор старательно прятал, приподняв уголки тонких губ, зазмеилась на его лице,

мохнатые брови сошлись над переносицей. У него был такой вид, как будто ему наконец разрешили выдать удивительную тайну и насладиться этим.

Он снова взглянул на меня и смотрел долго, с нескрываемой добротой. Затем он сказал:

— Тут есть дополнительное распоряжение — распоряжение, датированное двадцатым июля тысяча девятьсот десятого года.

У папы вырвался возглас, на который я едва ли обратил внимание. Как хорошо я помнил этот день — день смертельной тоски, когда я потерял право на стипендию Маршалла и когда погиб Гэвин.

А Мак-Келлар продолжал, скандируя каждое слово, да, именно скандируя, точно ему доставляло удовольствие терзать папу, нанося ему каждым словом удар:

— В этот день, двадцатого июля, Дэнди Гау зашел ко мне в контору. Я называю его Дэнди, потому что, несмотря на все его беды и неудачи, я горжусь тем, что он был моим другом. Он напрямик спросил меня, может ли он изменить условия страховки. Мы долго беседовали с ним в тот день.

И в результате все до копейки — повторяю: до последней копейки и клянусь, что это именно так, — оставлено этому юноше, Роберту Шеннону, опекуном которого я назначен, для того чтобы он мог окончить медицинский факультет в Уинтонском колледже.

Гробовое молчание. Я побелел; сердце у меня сжалось, в горле стоял комок; я не мог этому поверить: слишком часто я терпел поражения, — просто это уловка слепых небес, которые сначала вознамерились поднять меня, а потом со всей жестокостью сбросят вниз.

— Вы, конечно, шутите, — захныкал папа. — Он не мог этого сделать. Не имел права.

Ехидная улыбка на лице юриста стала шире.

— Он имел на это все права по условиям страховки: он не мог ни заложить ее, ни получить по ней часть денег при жизни, но мог как угодно менять свою волю и кому угодно завещать деньги.

Папа жалобно взглянул на Адама.

— Разве это так?

— Мама соглашалась только на такие условия. — Адам метнул свирепый взгляд на Мак-Келлара. — Он был не в своем уме.

— Нет, он был в своем уме два года назад, когда составлял это распоряжение. В таком же здравом уме, как мы с вами.

— Я опротестую завещание, — сказал папа каким-то высоким чужим голосом. — Я обращусь в суд.

— Пожалуйста. — Мак-Келлар перестал улыбаться. Он очень грозно посмотрел на Адама, затем на папу. — Да, пожалуйста. Но только даю вам слово: я поведу с вами борьбу; а если потребуется, дойду до суда графства, до Верховного суда. Да я в самом парламенте подниму вопрос. Только для вас это плохо кончится, Лекки. Тогда уже, мой дорогой, не видать вам места управляющего водопроводным хозяйством. — Он помолчал, наслаждаясь этой маленькой мелодрамой, с которой после стольких лет спокойной практики ему довелось столкнуться. — Ваша жена не хотела брать денег по страховке, хотя бóльшую часть взносов выплачивала сама. Что же до старика, то он не мог извлечь из этой страховки ни фартинга. Но он пожелал, чтобы деньги дошли на благое, полезное дело. И они пойдут на это, или меня не зовут Дункан Мак-Келлар.

О боже, значит, все правда... этот чудесный дар дедушки, который никогда и словом не обмолвился мне о нем? Я сидел, опустив глаза, едва дыша, лицо у меня дергалось от напряжения. И вдруг я услышал голос Кейт, почувствовал ее руку, обвившую мои плечи.

— Не знаю, что думают остальные... а по-моему, лучшего применения этим деньгам быть не могло... да, это для них самое лучшее применение.

— Слушайте-ка! Слушайте! — громким шепотом сказал Джейми.

Какие они милые, эта Кейт, с ее скверным характером и шишковатым лбом, и этот Джейми, честным тяжелым трудом зарабатывающий себе на жизнь... Я питаю скромную надежду, что их мальчику будет легче жить и расти, чем мне. Мак-Келлар сложил бумаги и, поднявшись, обратился ко мне:

— Завтра в десять — жду в конторе. А пока пойдем, проводи меня. Немножко свежего воздуха не повредит тебе.

Точно слепой, вышел я с ним из комнаты. В жизни бывают такие минуты, когда напряженные нервы больше не выдерживают.

ГЛАВА 11

Поздно вечером из дома адвоката Мак-Келлара вышел взволнованный обитатель маленького городка — млекопитающее вида *Homo sapiens*¹, короче говоря, позвоночное, в чьих жилах, однако, течет горячая кровь, злосчастный Роберт Шеннон. Хотя этому своеобразному двуногому существу уже исполнилось семнадцать лет и еще совсем недавно он с трудом нес на своих согбенных плечах тяжелое бремя отрочества, почти безответной любви и всяческих бесчисленных горестей, он еще не закален и не созрел. И сейчас, наслаждаясь спокойной красотой ночи, огромной ясной ночи, где в вышине звезды поют свою песнь, а на земле

¹ Разумный человек (*лат.*).

поет его сердце, он смотрит прямо перед собой, взволнованный и раскрасневшийся.

Будущее широко раскрывается перед ним. Сухой шотландец-адвокат, который так долго беседовал с ним сейчас, будет его опекуном и советником, его другом. Он никогда больше не вернется на Котельный завод. В начале нового семестра, в будущем месяце, он поедет в университет, будет жить там в студенческом общежитии, с наслаждением погрузится в изучение медицины. Биология... практическая зоология... эти магические названия и вызвали яркую краску у него на щеках. Он уже чувствует удушливый запах формалина и канадского бальзама, видит длинный ряд цейсовских микроскопов с чудесными линзами на шарнирах, и за одним из этих микроскопов будет сидеть он, вопреки бедному мистеру Смигу, которого он рад будет снова повидать. Подумать только! Да ему, наверно, если повезет, уже в первом семестре разрешат вскрыть морскую собаку — *mustelus canis!*

Денег вполне достаточно, чтобы он мог спокойно закончить учение; на уплату нескольких долгов, оставленных дедушкой, у Мак-Келлара уйдет не более двадцати фунтов. Если ему будут говорить неприятные вещи, когда он вернется домой, — тут выражение его лица стало жестким, — Мак-Келлар сказал, что он не должен обращать на это внимание. Он ведь скоро навсегда уедет из «Ломонд Вью».

Да, будущее, сияющее будущее открывается перед ним. Рейд и Алисон уезжают, но и он тоже уезжает... Он им докажет, что он не обречен всю жизнь быть неудачником. Его чувства к Алисон несколько изменились: отныне он будет их сурово сдерживать. Быть может, в жизни великого зоолога нет места для женщин? А быть может, в один прекрасный день в Вене, когда знаменитая примадонна будет петь главную роль

в «Кармен», строгий, подтянутый доктор, с ленточкой в петлице и небольшой, аккуратно подстриженной бородкой, тихо войдет в ложу на авансцене...

Нет, нет. Эти мечты принадлежат поре юношества, которую он оставил уже позади. А впереди предстоит работа... Серьезная, замечательная работа в лаборатории.

Но подождите... еще минута, еще один штрих, показывающий колебания этого неустановившегося характера. Проходя по Церковной улице, он видит справа от себя темную громаду столь презираемой им церкви Святых Ангелов. Ему ничего не нужно в храме, этому ясному уму, — больше там не удастся его обмануть. Он храбро противостоял всем козням каноника Роша, пытавшегося вернуть его в лоно Церкви. Печаль и горе не заставили его встать на колени... О, прошло то время, когда он брел с завязанными глазами, сейчас он на пути к тому, чтобы стать человеком свободомыслящим.

И однако, когда он меньше всего этого ждал, могучая сила одолела его. Запомните: он прочел немало книг — от «Происхождения видов» до «Жизни Иисуса» Ренана, он смеялся над басней об Адамовом ребре и соглашался с остроумным французским кардиналом, чье имя он забыл, что христианству положила начало прелестная сказка. Но то, что возникло в нем сейчас, находится у него в крови, в костях, оно въелось в самый его мозг, и он от этого никогда не избавится, до самой своей смерти.

Первая пора гордыни миновала. Но мы поклялись прежде всего быть правдивыми. Сколько еще раз этот Роберт Шеннон будет переходить от апатии к рвению, сколько раз жизнь будет поднимать его, а потом снова сбрасывать вниз, мы не можем сказать, равно как не можем сказать, сколь часто он будет мириться и ссориться с тем существом, к которому устремлены все

человеческие чаяния. Но сейчас он вдруг почувствовал потребность поведать гулкой тишине о том восторженном состоянии, в каком пребывает его душа. Ему вдруг захотелось излиться в благодарной молитве. И с горящим от стыда лицом он ринулся во мрак церкви.

Правда, пробыл он там недолго. Возможно, он лишь зажег грошовую свечку или пробормотал несколько неразборчивых слов перед мрачным алтарем. А быть может, и этого не было. Но когда он вышел из церкви, щурясь от ярких звезд и северного сияния, озарявшего небо, он пошел быстро, уверенно, и звук его шагов гулко отдавался на пустой улице.

Путь Шеннона

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

Сырой зимний вечер 1919 года, пятое декабря — дата, знаменующая начало большой перемены в моей жизни; на университетской башне пробило шесть часов; легкий туман, поднимаясь с реки Элдон, окутывал здания кафедры экспериментальной патологии, расположенные у подножия Феннер-хилла, и заполнял нашу большую лабораторию, где еле уловимо пахло формалином и царил полумрак, так как иного освещения, кроме настольных, затененных зелеными абажурами ламп, не было.

Профессор Ашер еще сидел у себя в кабинете и разговаривал по телефону — сквозь запертую дверь справа мой напряженный слух улавливал его размеренную речь. Я взглянул исподтишка на двух других ассистентов, которые вместе со мной работали у профессора.

У стола напротив меня стоял Спенс и в ожидании жены расставлял пробирки с культурами бактерий. Каждую пятницу она непременно заезжала за ним и они отправлялись обедать, а потом в театр. Его профиль, освещенный сбоку, отбрасывал на стену уродливую, карикатурную тень.

В дальнем углу лаборатории Ломекс, бросив работу, лениво постукивал сигаретой по ногтю большого пальца — сигнал к уходу, что он обычно проделывал с самым беспечным и независимым видом. Вот он неторопливо поднялся, окруженный медленно расплывающимся облачком дыма, и, подойдя к фарфоровой

раковине, над которой у него висело зеркальце, поправил волнистые волосы.

— Пошли куда-нибудь вечером, Шеннон. Пообедаем вместе, а потом — в кино.

Приглашение было заманчивым, но в этот вечер я, конечно, отказался.

— А что скажете вы, Спенс? — повернулся Ломекс к Спенсу.

— Боюсь, ничего не выйдет: я уже обещал Мьюриэл провести вечер с ней.

— Чертовски необщительный народ в этом городе, — горестно заметил Ломекс.

Нейл Спенс, чуть ли не собираясь оправдываться, в нерешительности потирал левой рукой подбородок — он словно черпал уверенность в этом жесте, который неизменно трогал меня, преисполняя еще большей симпатией и сочувствием к нему.

— А почему вам не пойти с нами?

Ломекс, направившийся было к выходу, остановился:

— Мне бы не хотелось быть лишним и портить вам вечер.

— Вы и не будете лишним.

В эту минуту с улицы донесся звук клаксона, и наш лаборант Смит, появившись в дверях, доложил, что приехала миссис Спенс и ждет у подъезда.

— Не будем заставлять Мьюриэл ждать нас. — Спенс уже надел пальто и любезно поджидал Ломекса у двери. — Я думаю, вам понравится пьеса: это «Девушка с гор». Всего хорошего, Роберт.

— Всего хорошего.

Когда они ушли, я окинул взглядом этот сокрытый от всех таинственный внутренний мир лаборатории — мир, который я так любил, — и в тревожном ожидании, с учащенно бьющимся сердцем уставился на дверь, ведущую в кабинет профессора.

Как раз в эту минуту она распахнулась и появился Хьюго Ашер. Его приходы и уходы, да и вообще все движения были всегда чуточку театральными, и это настолько гармонировало с его подтянутой фигурой, серебряной гривой и коротко подстриженной эспаньолкой, что у меня неизменно возникало неприятное ощущение, будто передо мной не крупный ученый, а скорее актер, чересчур уж старательно играющий свою роль. Он остановился у центрифуги Гофмана, неподалеку от моего стола. Хоть Ашер и отлично владел собой, но по легкому подрагиванию мускулов лица я без труда мог понять, что он не одобряет моих странностей — начиная с поношенной морской формы, которую я упорно не снимал со времени войны, и кончая моим отношением к работе, за которую он полтора месяца назад заставил меня взяться и к которой я до сих пор относился без всякого энтузиазма.

Некоторое время мы оба молчали. Затем, точно его вдруг осенила гениальная мысль — профессор часто прибегал к этому приему, чтобы не казаться уж слишком черствым, — он отрезал:

— Нет, Шеннон... боюсь, ничего не выйдет.

Сердце у меня так и замерло, словно совсем перестало биться, и я вспыхнул от разочарования и горькой обиды.

— Но я уверен, сэр, что, если б вы прочли мою объяснительную записку...

— Я прочел ее, — прервал он меня и, как бы в подтверждение своих слов, положил передо мной напечатанную на машинке докладную записку, которую я днем вручил ему и которая сейчас казалась моему воспаленному взору захватанной и жалкой, как всякая отвергнутая рукопись. — Мне очень жаль, но я не могу согласиться с вашим предложением. Работа, которой вы заняты, имеет весьма существенное значение. Немыслимо... я не могу позволить вам прекратить ее.

Я опустил глаза; оскорбленная гордость мешала мне настаивать на моей просьбе, да к тому же я знал, что профессор своих решений не меняет. Хоть я и сидел потупившись, но все же почувствовал, что он смотрит на предметные стекла, сложенные стопочкой на моем деревянном, изъеденном кислотой столе.

— Вы уже закончили наши последние вычисления?

— Нет еще, — ответил я, не поднимая головы.

— Вы же знаете, я хочу, чтобы наш доклад был непременно готов к весеннему конгрессу. А так как я несколько недель буду отсутствовать, вам придется приналечь и возможно скорее закончить работу.

Видя, что я молчу, профессор насупился. Потом откашлялся. Я уж было подумал, что вот сейчас мне будет прочитана лекция на тему о том, какое благородное занятие — экспериментальные исследования, особенно в его любимой области, по теории опсонин — защитных антител в крови. Но он лишь с минуту поиграл своей широкополой черной фетровой шляпой, а затем небрежно надел ее на затылок.

— До свидания, Шеннон.

И, церемонно поклонившись на прощание, как это принято за границей, он вышел.

А я еще долго сидел, словно окаменев.

— Я собираюсь закрывать, сэра.

Тощий и, как всегда, мертвенно-бледный лаборант Смит краешком глаза наблюдал за мной — тот самый Герберт Смит, который шесть лет назад, когда я впервые вошел в лабораторию зоологии, охладил своим пессимизмом мой юношеский пыл; теперь он стал старшим лаборантом кафедры патологии, но это повышение ничуть не изменило его, и он относился ко мне с мрачной настороженностью, которую не только не рассеяли, а лишь усугубили мои скромные успехи, в том числе диплом с отличием и золотая медаль Листера.

Я молча накрыл микроскоп, убрал предметные стекла, взял кепку и вышел. На душе у меня было горько; я спустился с Феннер-хилла по темной аллее, под стекавшей с деревьев капелью, вышел на шумный проспект Пардайт-роуд, где под еле мерцавшими в тумане дуговыми фонарями звенели и грохотали по булыжной мостовой трамваи, и свернул к неприглядному району Кёркхед. Здесь, отчаянно противопоставляя свою респектабельность вторжению трактиров, кафе-мороженых и многоквартирных домов для рабочих близлежащих доков, стояли прокопченные старинные особняки с облупленными карнизами, покосившимися галереями и полуобвалившимися трубами и, казалось, оплакивали свою былую славу под вечно дымным небом.

Дойдя до дома номер 52, где на стекле над дверью четко значилось «Ротсей»¹, а пониже золочеными буквами — «Пансион», я поднялся по нескольким ступенькам и вошел.

ГЛАВА 2

Моя комната находилась на самом верху, почти на чердаке; она была совсем маленькая и не отличалась богатством обстановки: все ее убранство составляли железная койка, белый деревянный умывальник да на стене в черной рамке вышитое шерстью изречение из Библии. Однако было у нее то преимущество, что она примыкала к маленькой застекленной оранжерее со стенами, выкрашенными зеленой краской, где, напоминая о лучшей поре этого особняка, все еще стояли жардиньерки и скамьи. Хотя зимой здесь было холодно, а летом — невыносимо душно, оранжерея эта служила мне своего рода кабинетом.

¹ Имя одного из герольдов короля Ричарда Львиное Сердце.

За это пристанище и двухразовое питание я платил барышням Дири, хозяйкам пансиона, скромную сумму в размере тридцати четырех шиллингов в неделю, что, должен признаться, было пределом моих возможностей. Денег, которые я унаследовал от дедушки, «чтобы пройти колледж», едва хватило для этой цели, а жалованье ассистента и дополнительная работа — постановка опытов по микробиологии для студентов третьего курса — давали мне сто гиней в год — казалось бы, куча золотых монет, а на самом деле один мираж, скрывавший то обстоятельство, что в Шотландии остерегаются баловать будущих гениев. Таким образом, заплатишь в субботу за стол и кров, и в кармане остается всего пять шиллингов, на которые надо было днем завтракать в студенческой столовой, покупать себе одежду, обувь, книги, табак; словом, я был возмутительно беден и вынужден был ходить в своей старенькой морской форме, которая так оскорбляла чувство благопристойности профессора Ашера, не потому, что мне это нравилось, а потому, что это был мой единственный наряд.

Но хоть мне и приходилось жить в столь стесненных обстоятельствах, это не слишком удручало меня. Спартанское воспитание в Ливенфорде приучило меня ко всему: я мог есть крутую овсяную кашу, пить водянистое молоко неповторимой и непередаваемой синевы, носить залатанную одежду и ботинки на толстой подошве, «подкованные» железными ободками для прочности. К тому же я считал свое нынешнее положение чисто временным — преддверием блестящего будущего, и мозг мой был настолько поглощен дерзкими замыслами, которые должны были принести мне скорый и большой успех, что такие мелочи просто не могли огорчить меня.

Итак, я поднялся в свою мансарду под крышей, откуда открывался вид на кирпичную стену, над которой

возвышались трубы городской мусоросжигательной станции, и остановился в глубоком раздумье, изучая бумагу, возвращенную мне профессором Ашером.

— К чаю опоздаете.

Вздвогнув, я повернулся к незваному гостю, вторгшемуся ко мне и почтительно остановившемуся у порога. Так и есть, это, конечно, мисс Джин Лоу, моя соседка по коридору. Сия молодая особа — одна из пяти студентов-медиков, живших в «Ротсее», — посещала мои занятия по микробиологии и на протяжении всей нынешней сессии на правах соседки непрерывно выказывала мне знаки внимания.

— Гонг пробил пять минут тому назад, — запинаясь, пролепетала она с сильным северным акцентом и, заметив мою ярость, мило покраснела; но хотя ее белое личико так и вспыхнуло от застенчивости, она не опустила своих карих глаз. — Я постучала, только вы не слышали.

Я скомкал бумагу.

— Я ведь просил вас, мисс Лоу, не мешать мне, когда я занят.

— Да, конечно... но ваш ча-ай... — возразила она, в своем смущении окончательно перейдя на северный певучий говор.

Нет, не мог я против нее устоять: нельзя было без улыбки смотреть на эту девушку в синей саржевой юбке, простой белой блузке, черных чулках и грубых башмаках, которая так серьезно упрасивала меня выпить чаю, словно, отказавшись, я совершил бы смертный грех.

— Хорошо, — снизошел я и в тон ей добавил: — Бегу.

Мы спустились вместе в столовую — ужасную комнату, обставленную мебелью с вытертой красной плюшевой обивкой, где так пахло тушеной капустой, что казалось, даже линолеум был пропитан этим запа-

хом. На каминной доске, накрытой бархатной дорожкой с кистями, стояли уродливые часы из зеленого мрамора — гордость барышень Дири, свидетельство престижа их покойного батюшки и их собственного «благородного» происхождения; часы эти давно перестали ходить, но по-прежнему красовались на камине, покоясь на двух великанах в золотых шлемах и с топориками; внизу была надпись: «Капитану Хэмишу Дири по случаю его ухода с поста начальника Уинтонской пожарной команды».

Трапеза — слабое и жалкое подобие обильного ужина, принятого у шотландцев, — уже была в полном разгаре: во главе стола из красного дерева, накрытого подштопанной, но чистой белой скатертью, на которой стояли в центре металлический чайник «Британия» под голубым вязаным «чехольчиком» и несколько тарелок с хлебом, пирожками и тминным печеньем, а перед каждым — тарелочка с копченой селедкой, восседала мисс Бесс Дири. Наливая нам чай, мисс Бесс — высокая, чопорная, костлявая сорокапятилетняя старая дева (когда-то, должно быть, миловидная), убравшая волосы в сетку, носившая корсет и платье со стоячим кружевным воротничком, как бы подчеркивая этим свою принадлежность к благородному сословию, — одарила нас, несмотря на все свое уважение к моему диплому врача и любовь к мисс Лоу, кислой «страдальческой» улыбкой, которая тут же исчезла, как только я положил пенни в деревянную коробочку с надписью «Для слепых», стоявшую посреди стола, рядом с пустым бочонком из-под бисквитов. Пунктуальность и вежливость принадлежали к числу тех многих принципов, которых придерживалась старшая мисс Дири, и все, кто являлся к столу после того, как она «испросит благословения», обязаны были искупать свой грех, — дозволительно, впрочем, проявить нескромность и усомниться, идут ли эти даяния на указанную цель.

Я молча принялся за селедку — она была жирная, соленая и на этот раз совсем мелкая. Двум достойным дамам нелегко было сводить концы с концами, и мисс Бесс, которая «возглавляла» заведение и осуществляла представительство — тогда как мисс Эйли стряпала и наводила чистоту, оставаясь в тени, — следила за тем, чтобы грех чревоугодничества не мог быть совершен в ее присутствии. Несмотря на это, пансион ее славился в университетских кругах как добропорядочное заведение и в постояльцах не было недостатка.

Сегодня из шести постояльцев двоих — Голбрейса и Харрингтона, студентов четвертого курса, — не было за столом: они уехали домой на субботу и воскресенье; теперь напротив меня сидели два других студента-медика — Гарольд Масс и Лал Чаттерджи.

Масс был низкорослый восемнадцатилетний юноша с прыщеватым лицом и несоразмерно большими, поистине лошадиными зубами. Он был еще только на первом курсе и по большей части хранил почтительное молчание, но время от времени, когда ему казалось, что кто-то сострил, он вдруг раздражался диким хриплым хохотом.

Лал Чаттерджи, уроженец Калькутты, был старше Массы — ему уже перевалило за тридцать; низенький, невероятно толстый, с тщательно подстриженной черной бородкой, в огромном малиновом тюрбане, красиво оттенявшем его лоснящуюся шафрановую кожу, он вечно улыбался широкой, невероятно глупой улыбкой. Вот уже пятнадцать лет, как он неторопливо кочует из одной уинтонской аудитории в другую — все в тех же штанах, висящих сзади, точно мешок из-под картошки, и все с тем же зеленым зонтом — и тщетно пытается получить диплом врача. Добродушный, болтливый, с неистощимым запасом всяких занятных историй, он стал в университете поистине комической фигурой — недаром его прозвали Бэби. Не успели мы войти, как он затянул своим высоким «певучим» го-

лоском, в котором, совсем как у муэдзина, возвещающего час молитвы, всегда звучали минорные нотки:

— А, добрый вечер, доктор Роберт Шеннон и мисс Джин Лоу. Боюсь, что мы уже все съели. Опоздали, значит, теперь придется вам, пожалуй, погибать с голоду. М-да, пожалуй что придется, ха-ха! Мистер Гарольд Масс, будьте любезны, передайте мне горчицу. Благодарю вас. Обращаюсь к вам, коллега доктор Роберт Шеннон, скажите-ка, правда ведь, что горчица стимулирует работу слюнных желез, каковых у человека имеется две — одна подъязычная, а название другой записано у меня в тетради? Простите, сэр, как же все-таки эта вторая железа называется?

— Поджелудочная, — подсказал я.

— Ах да, конечно, сэр, поджелудочная, — кивнул Бэби и расплылся в улыбке. — Именно это я и хотел сказать.

Масс, только что глотнувший чаю, поперхнулся.

— Поджелудочная! — еле выговорил он. — Да ведь это в желудке, насколько мне известно!

Лал Чаттерджи с упреком посмотрел на своего приятеля, корчившегося, точно в конвульсиях.

— О бедный, бедный мистер Гарольд Масс! Зачем же выказывать свое невежество? Вы должны помнить, что я уже много лет числюсь студентом, а вы только поступили. Я имел честь провалиться и не получить диплома бакалавра искусств в Калькуттском университете еще тогда, когда вас, наверно, и на свете-то не было.

Тем временем мисс Лоу то и дело поглядывала на меня, тщетно пытаясь поймать мой взгляд и втянуть меня в беседу с мисс Бесс. Обе они были ревностные евангелистки и с необычайной серьезностью и пылом обменивались сейчас мнениями по поводу предстоящего исполнения «Мессии» в зале Святого Эндрю, что всегда являлось большим событием в Уинтоне,

но, поскольку у меня были свои причины относиться весьма сдержанно к религии, я сидел, не поднимая глаз от тарелки.

— Я так люблю хоралы, а вы, мистер Шеннон?

— Нет, — сказал я. — Боюсь, что не люблю.

Тут из кухни появилась мисс Эйли Дири; она бесшумно вошла в своих стареньких войлочных туфлях, неся «хрусталь» — стеклянное блюдо с тушеными, но совершенно каменными сливами, которыми с неизбежностью смерти заканчивался в «селедочные вечера» наш унылый ужин.

В противоположность своей сестре мисс Эйли была душевной, мягкой женщиной, довольно неряшливой, грузной и медлительной, с узловатыми, обезображенными домашней работой руками. Ходили слухи — по-видимому, то были просто выдумки студентов, подметивших, что единственным ее развлечением по вечерам было чтение романов, которые она брала в публичной библиотеке, — будто в молодости она пережила трагическую любовь. Ее доброе лицо, покрасневшее от постоянной возни у плиты, хранило выражение терпеливого спокойствия даже при ядовитых нападках сестры, но обычно было грустным и задумчивым; на лоб ее то и дело падала тонкая прядка волос, и у мисс Эйли вошло в привычку, забавно оттопырив губы, легким дуновением отбрасывать волосы назад. Возможно, что, сама испытав немало превратностей в жизни, она сочувственно относилась к моим бедам. Словом, сейчас она склонилась ко мне и с сердечным участием шепотом спросила:

— Ну как прошел сегодня день, Роберт?

Я принудил себя улыбнуться для ее успокоения — она, удовлетворенно кивнув, сдула прядку волос со лба и ушла.

Сердце мисс Эйли было куда мягче ее слив! Последующие пять минут слышно было лишь, как ожесто-

ченно жуют челюсти и с лязгом вгрызаются в твердые точно камень сливы кривые клыки Масса.

Когда на столе не осталось ничего съестного, Бесс Дири поднялась, словно хозяйка замка после пиршества, давая понять, что трапеза окончена, и мы направились каждый к себе. По дороге Гарольд Масс задумчиво ковырял пальцем в зубах, извлекая рыбные кости, а Лал Чаттерджи с поистине восточным величием мелодично рыгал.

— Мистер Шеннон, — догоняя меня, еле выговорила запыхавшаяся мисс Лоу; я все-таки отучил ее от привычки называть меня «доктор»: обращение это, указывавшее на отнюдь не высокую профессиональную квалификацию, казалось мне в ту пору весьма обидным. — Я не уверена в том, что правильно написала работу о трипаноме gambiens, — помните, вы нам дали сегодня такую тему? А это меня очень интересует... Не могли бы вы... не будете ли вы так любезны посмотреть мой труд?

Несмотря на угнетавшие меня тревожные мысли, я просто не в силах был отказать ей — так на меня действовало ее наивное свежее личико, что язык не поворачивался ответить грубо.

— Ладно, приносите, — буркнул я.

Через несколько минут, опустившись на сломанные пружины единственного в оранжерее кресла, я читал ее работу, а она сидела выпрямившись на краешке табуретки, накрытой облупившейся клеенкой, и, обхватив руками колени, прикрытые саржевой юбкой, серьезно и взволнованно наблюдала за мной.

— Ну как? — спросила она, когда я кончил.

Работа была превосходно выполнена: в ней было несколько оригинальных мыслей и ряд аккуратно сделанных зарисовок развития паразита. Поразмыслив, я вынужден был признать, что мисс Лоу вовсе не похожа на большинство молодых женщин, которые валом валят в университет, чтобы «посвятить себя» ме-

дицине. Некоторые поступают туда от нечего делать, других посылают мещане-родители в расчете как-то пристроить; кое-кто поступает, просто чтобы выйти замуж за подходящего молодого человека, который со временем может получить практику где-нибудь в пригороде и стать скучным, но вполне почтенным врачом, не очень знающим, зато с устойчивым доходом. И ни у одной нет настоящего таланта или призвания к этой профессии.

— Видите ли, — пробормотала она, как бы поощряя меня высказать свое мнение, — меня ждет место. Мне очень важно получить диплом.

— Работа выполнена вами намного лучше, чем требуется для зачета, — сказал я. — Можно даже сказать, очень хорошо.

По ее нежным щекам разлился румянец.

— Ох, благодарю вас, док... мистер Шеннон. Самое важное, что это сказали вы. Я и передать вам не могу, как мы, студенты, уважаем ваше мнение... и ваш... нет, позвольте уж мне договорить: ваш блестящий талант... И потом, вам столько пришлось пережить на войне...

Я снял домашнюю туфлю и принялся рассматривать носок, где немного отстала подметка. Я уже пытался объяснить, почему я не мог обидеть мою странную соседку, но какой-то выход для своего болезненного самолюбия я должен был найти. Человек я был по натуре скрытный и сдержанный и вовсе не принадлежал к породе лжецов, однако за последние недели под действием этого доверчивого сияющего взгляда некий черт, должно быть унаследованный от моего неисправимого дедушки, прикрываясь моей задумчивой и даже грустной физиономией, принялся выкидывать возмутительнейшие номера.

Мы часто беседовали с мисс Лоу, и я поведал ей, что я сирота и происхожу из богатой аристократической ливенфордской семьи; поскольку я не пожелал идти намеченным для меня путем, а предпочел стать

медиком и заняться научной работой, меня лишили наследства и заказали вход в отчий дом.

Наивность и доверчивость моей слушательницы лишь подстрекали мою фантазию.

Четыре года войны я вел однообразное унылое существование врача на легком крейсере, который вместе с подводными лодками нес службу в Северном море. Раз в неделю нам приходилось пересекать минные поля противника, и вылазки эти были, наверно, опасны, но уж больно скучны. На стоянках мы пили джин, играли в орлянку и ловили угрей. Однажды, правда, нашего старшего офицера застigli в каюте с хорошенькой женщиной — при этом он был без мундира и, как объяснил впоследствии, оказывается, обучал ее трудному искусству мореплавания. Кроме этого случая, ничто не нарушало монотонности нашей жизни, пока мы не вступили в Ютландскую битву, а там события стали разворачиваться с такой стремительной быстротой, что в памяти у меня осталось лишь смутное воспоминание о грохоте, вспышках пламени да о том, как я, обливаясь потом, работал в кубрике, где был устроен судовой лазарет, — работал плохо, так как у меня тряслись руки и одолевала такая жажда, что впоследствии я целую неделю жестоко страдал от колик в животе.

Естественно, я не мог рассказывать об этом мисс Джин Лоу, а потому придумывал куда более занимательные приключения. Нас торпедировали, много дней проблуждали мы на плоту где-то в центральной части Тихого океана, далее шло драматическое повествование о том, как мы терпели жажду и голод, сражались с акулами и перенесли множество других ужасных испытаний, которые заканчивались описанием, как я проснулся — бледный, но торжествующий, настоящий герой — в одном из южноамериканских госпиталей.

И вот сейчас, пока я молчал, она, видимо, собиралась с духом; потом ресницы ее затрепетали, что всегда у нее было признаком сильного волнения.

— Я уже давно думаю... дело в том, что... пожалуй, это не совсем хорошо, мистер Шеннон, что я так много знаю о вас... а вы обо мне — ничего. — Она слегка замялась, потом, вся залившись краской, храбро продолжала: — Вот я и решила спросить, не согласились бы вы как-нибудь в субботу приехать к нам в Блейр-Хилл.

— Видите ли, — сказал я, несколько ошеломленный этим неожиданным приглашением, — я буду очень занят всю зиму.

— Я понимаю. Но вы были так добры ко мне, что мне хотелось бы познакомить вас с моими родными. Конечно, — поспешно добавила она, — мы люди очень простые, не то что вы. Мой отец... — тут она снова покраснела, однако с видом человека, принявшего после долгих размышлений тяжкое решение, храбро закончила: — ...особа не слишком значительная. Он... булочник.

Последовала долгая пауза. Не зная, что сказать и как быть, я продолжал сидеть точно истукан. Молчание уже начало тяготить меня, как вдруг она улыбнулась — юмор был явно не чужд этой мечтательной и пылкой натуре.

— Да, он печет хлеб. Работает в пекарне с моим младшим братишкой и еще одним помощником. Выпеченный им хлеб потом развозят в фургоне по всей округе. Дело, конечно, небольшое, но существует оно давно. Так что, несмотря на вашу высокопоставленную родню, такое знакомство не будет уж очень вас шокировать.

— Господи боже мой, да за кого вы меня принимаете? — Мне почудился в ее словах язвительный намек, и я быстро взглянул на нее, но по простодушному

виду моей собеседницы понял, что она сказала это без всякой иронии.

— Значит, вы приедете. — Очень довольная, она поднялась с табуретки, взяла с подлокотника моего кресла свою работу и поглядела на нее. — Я очень благодарна вам за помощь. Меня так интересуют тропические заболевания. — Заметив мой вопрошающий взгляд, она пояснила: — Видите ли... мы принадлежим к Блейр-Хиллской общине... и... как только я получу диплом... я поеду работать врачом в наше поселение... в Кумаси, это в Западной Африке.

От удивления я даже рот раскрыл. Ну и несносная же манера у этой девицы вечно угощать меня всякими неожиданностями! Следуя первому побуждению, я чуть было не расхохотался, но глаза ее так сияли, точно она видела перед собой священный огонь Грааля, и я сдержался. А посмотрев на нее повнимательнее, вынужден был признать, что говорит она вполне искренне.

— И давно у вас родилась эта дикая мысль?

— С тех пор, как я начала изучать медицину. А изучать ее я стала именно ради этого.

Значит, она поступила в университет не для времяпрепровождения и не для того, чтобы выйти замуж, как многие другие. И все-таки я не был окончательно убежден.

— Это звучит, конечно, очень благородно, — медленно произнес я. — Романтика, самопожертвование... на бумаге. Но вот когда вы там очутитесь... Не знаю, сознаете ли вы, на что себя обрекаете?

— Это мой долг. — Она спокойно улыбнулась. — Моя сестра уже пять лет работает там воспитательницей.

Перед таким доводом я умолк. Она помедлила у двери и, улыбнувшись мне, исчезла. Некоторое время я сидел неподвижно, глупо уставившись в одну

точку и невольно — не без чувства неловкости — прислушиваясь к ее тихим движениям за стенкой; потом пожал плечами и, стиснув зубы, принялся раздумывать над собственными бедами.

Должен ли я подчиниться указаниям профессора Ашера или, поспорив с признанным авторитетом и судьбой, пойти своим, не совсем для меня ясным и чреватом всякими трудностями путем?

ГЛАВА 3

На следующий день, в субботу, я был свободен и, выйдя в шесть часов утра из еще погруженного в сон дома, отправился пешком в деревню Дрим, находившуюся милях в двадцати шести от Уинтона. На улицах городка было темно и сыро от росы — лишь изредка шаги прохожего, спозаранку идущего на работу, нарушали пустынную тишину. Когда первые лучи солнца пробились сквозь туман, я уже миновал последние домишки, разбросанные среди огородов, и, с чувством облегчения оставив позади себя окраины, очутился в поле; передо мной, сливаясь вдаль с морем, расстилалось широкое сверкающее устье Клайда — знакомая картина, неизменно приводившая меня в самое радужное настроение.

Около полудня я съел яблоко, которое мисс Эйли, рискуя вызвать недовольство своей сестрицы, еще с вечера сунула мне в карман. Затем у Эрскина, что пятью милями выше Ливенфорда, я перебрался на пароме через реку; тут, по берегам Ферта, тянулись богатейшие фермы, окруженные тучными пастбищами, где по склонам холмов, на лугах за серыми каменными оградами, паслись стада овец и коров.

По мере приближения к деревне я все больше задумывался над тем, ради чего — сколь бы ни было это на-

ивно — я предпринял настоящее путешествие. После того как я демобилизовался в 1918 году и ректорат университета приписал меня к корпорации Элдонского колледжа, я весь год работал у профессора Ашера над зауряднейшим исследованием опсопинов — темой, которая представлялась интересной ему, а мне казалась крайне незначительной, ибо, по сути дела, теория опсопинов была уже дискредитирована передовыми учеными.

Возможно, мое предубеждение против профессора Ашера объяснялось глубоким уважением, какое я питал к его предшественнику, заведующему кафедрой профессору Чэллису, учившему и вдохновлявшему меня в университете, чудесному старику, который, достигнув семидесяти лет, жил теперь на покое в полной безвестности. Как бы то ни было, я не любил его премника и не доверял ему. Холодный, временами изысканно любезный, подстегиваемый в своих устремлениях честолюбивой богатой женой, Хьюго Ашер, казалось, не обладал ни вдохновением, ни творческой жилкой; он не был способен трудиться, не жалея сил, и пожертвовать всем ради науки, — это был типичный ловкач, достигший известного положения благодаря умению выгодно использовать цифровые данные и таблицы, а особенно благодаря напористости, своевременной рекламе и удивительному дару наживать научный капитал с помощью чужих мозгов. Он брал к себе на кафедру подающих надежды молодых людей и таким путем сумел завоевать репутацию ученого, занимающегося оригинальными проблемами: например, монография о функциях слизистых оболочек, над которой я раньше работал, — не такая уж большая и интересная тема, но стоившая мне немалого труда — была опубликована за двумя подписями: профессора Хьюго Ашера и доктора Роберта Шеннона.

И вот, несмотря на такую кабалу, я с поистине патетическим рвением искал чего-то действительно значительного, за что следовало бы взяться, — большой оригинальной темы, темы столь безусловно важной, чтобы она могла оказать влияние на всю медицину и даже внести в нее существенные изменения.

Задача трудная, ничего не скажешь! Но я был молод — мне было всего лишь двадцать четыре года, — работа исследователя необычайно увлекала меня, к тому же я страдал от мучительного честолюбия, свойственного молчаливым и замкнутым натурам: мне хотелось вырваться из бедности и безвестности, хотелось поразить мир.

Много месяцев я тщетно искал, за что бы взяться, как вдруг на меня просто с неба свалилась интереснейшая тема. Этой осенью в ряде сельских районов страны вспыхнула эпидемия какой-то странной болезни, которую, возможно за неимением более точного термина, произвольно назвали инфлюэнцей. Заболевание распространялось все шире, смертность все увеличивалась — в печати то и дело появлялись сенсационные заголовки, да и в медицинских журналах я встречал несколько сообщений из Америки, Голландии, Бельгии и других стран о вспышках аналогичной болезни. Симптомы ее — жестокая лихорадка, высокая температура, сильные головные боли, ломота во всем теле — проявлялись крайне остро; она часто переходила в воспаление легких со смертельным исходом, а в случае выздоровления влекла за собой длительную слабость. Я стал изучать эти симптомы, и у меня возникла мысль, что это вовсе не инфлюэнца, а совсем другая болезнь; по мере того как шло время, догадка эта все росла, и от волнения кровь быстрее струилась в моих жилах.

Мой интерес к этому заболеванию усиливалось еще и то обстоятельство, что одним из главных центров

эпидемии в округе была деревня Дрим и ее окрестности. И сейчас, когда в три часа пополудни, еле передвигая ноги, я вступил в эту деревушку, низенькие серые домики которой растянулись по берегу мирной реки, в это тихое местечко, ставшее и вовсе безмолвным и пустынным после свирепствовавшей здесь болезни, от нетерпения я забыл про усталость и ускорил шаг. Даже не заходя в единственную маленькую харчевню, где я обычно съедал бутерброд с сыром, я направился прямо к Алексу Дьюти.

Он был дома — сидел, покуривая трубку, в своей уютной кухоньке, в то время как его сынишка Саймон играл на коврике у его ног, а жена Алиса, дородная, степенная женщина, раскатывала тесто на столе.

Алекс, невысокий, довольно флегматичный мужчина лет тридцати пяти, в полосатой фланелевой рубашке и чистых молескиновых штанах, заправленных в толстые носки, приветствовал меня еле заметным кивком, — даже не кивком, а легким, почти неуловимым движением, в котором, однако, было больше радушия, чем в самой пространной речи. В то же время он не без иронии окинул меня взглядом: я действительно устал и был весь в пыли.

— Опоздал на автобус?

— Нет, Алекс. Мне хотелось пройтись. — И, не в силах удержаться, я тут же приступил к делу: — Надеюсь, я не слишком поздно. Ты... тебе удалось договориться?

Он притворился, будто не слышит; потом сдержанно улыбнулся и вынул трубку изо рта.

— Ну и чудак же ты: вздумал приехать в субботу, да еще во второй половине дня. Ведь большинство народу уже отдыхает в это время... а особенно сейчас, после того, что мы пережили. — Он замолчал, и молчание длилось довольно долго, так что я уже начал было тревожиться. — Но все-таки я ухитрился многих уговорить. А теперь пошли в клуб.

У меня вырвался возглас благодарности. Алекс поднялся и, подойдя к решетке, ограждавшей очаг, стал зашнуровывать ботинки.

— Не хотите ли чашечку чаю, доктор? — спросила миссис Дьюти. — В такую погоду необходимо проглотить чего-нибудь горяченького.

— Нет, благодарю вас, Алиса. Я спешу скорее приняться за работу.

— Ужинать и ночевать будешь у нас, — заявил Алекс тоном, не терпящим возражений. — Сим тут хочет показать тебе удилище, которое я ему срезал.

Он взял свою фуражку, и мы пошли. Сим, пятилетний малыш, замкнутый и молчаливый, совсем как отец, проводил нас до двери.

— Наверно, я надоел тебе, Алекс, до чертиков, — сказал я, когда мы вышли на дорогу. — Но я не стал бы тебя беспокоить, если б это не было так важно.

— Да, — с кривой усмешкой заметил он, — хлопот с тобою, Роб, не оберешься. Но так как мы немножко любим тебя, придется потерпеть.

Мое знакомство с Алексом Дьюти, да и с Дримом вообще, началось еще до войны, шесть лет назад, когда я, одинокий студент, забросив книжки, предавался своей страсти и удил в этих тихих водах рыбу: весной сюда заходила серебристая морская форель и улов бывал необычайный. Как-то вечером Алекс помог мне вытянуть на берег огромную рыбину, — эта случайная встреча и чудесное чувство одержанной победы и положили начало прочной дружбе. Хотя Дьюти был человек простой и работал главным пастухом в Дримовской сельскохозяйственной компании, все в округе уважали его и несколько лет подряд выбирали «мэром» своего маленького поселка. Случалось, он бывал крут и резок, но ни разу, насколько мне известно, не совершил никакой низости или подлости. Поскольку деревенька была глухая и постоянного доктора, есте-

ственно, в ней не было, я и обратился к Алексу со своей необычной просьбой — просьбой, которая могла исходить только от бесхитростного и пылкого молодого человека и, по правде говоря, граничила с нелепостью.

Клуб помещался в небольшом кирпичном здании, недавно построенном сельскохозяйственной компанией; в нем имелось несколько комнат для отдыха и развлечений, а также библиотека. Алекс привел меня в одну из комнат, находившуюся в стороне от главного коридора; там сидело человек тридцать — одни читали, другие беседовали, но у всех был такой вид, точно они чего-то ждут. Когда мы вошли, все умолкло.

— Ну вот! — изрек Алекс. — Это доктор Шеннон. Многие из вас знают его как неплохого рыбака. Но, кроме того, он еще и что-то вроде профессора в университете, и он хочет выяснить, что же такое эта проклятая флюэнца, которая подкосила тут нас всех. Вот он и пришел просить вас об одном одолжении.

Это было правильным началом, и кое-кто заулыбался, однако многим было не до улыбок — они выглядели еще бледными и больными. Поблагодарив собравшихся за то, что они пришли, я объяснил, зачем они мне нужны, и обещал не задерживать их долго. Затем я снял рюкзак, вынул несколько перенумерованных капиллярных трубочек и методично принялся за работу.

Все это были, конечно, деревенские жители, перенесшие эпидемию, — главным образом мужчины, работавшие в поле. С некоторыми я был знаком: большой Сэм Лауден частенько помогал мне насаживать приманку, знал я и востроглазого Гарри Венса, встречал и других на заре, когда, стоя по колена в воде, они забрасывали в реку свои длинные, недавно срезанные удилища. Нетрудно было взять у каждого немного крови, а их дружелюбное добродушие и терпение еще

более облегчали дело. И все-таки времени у меня ушло на это куда больше, чем я предполагал, ибо я вдруг понял, к каким открытиям это может повести, и пальцы у меня дрожали.

Но вот все и кончено: последний из моих пациентов спустил закатанный рукав, мы обменялись рукопожатием, и он ушел. Подняв глаза от блокнота, я увидел Алекса: он сидел неподалеку на скамье и пытливо наблюдал за мной, словно оценивая, — взгляд у него был острый, пронизательный, светившийся живым интересом; заметив, что я смотрю на него, Алекс тотчас принял равнодушный вид.

В комнате стояла тишина. Еще прежде я говорил ему, что я задумал. И теперь решительно сказал:

— Я должен это сделать, Алекс. Иначе я не могу... Просто должен докопаться до истины.

Дьюти промолчал; немного погодя он неторопливо подошел и сжал мне руку:

— Ты умный малый, Роб, и я желаю тебе успеха. Если опять понадобится моя помощь, дай знать. — Спокойная улыбка заложила складочки вокруг его глаз. — А теперь пойдем-ка ужинать. Алиса приготовила нам великолепный мясной пудинг.

Я улыбнулся ему.

— Иди, Алекс. А я приду, когда покончу с записями.

— Ладно, дружище. Только не задерживайся.

Он ушел, а я проработал еще с полчаса, проверяя и размечая пробирки, потом вскинул на плечо рюкзак и, выйдя из клуба, направился по узкой тропинке к домику Дьюти. Спускалась ясная ночь, и тоненький серпик луны с сопутствующей ему звездой появился в морозном небе. Холодный, пахнущий свежестью воздух был тих, и какое-то восторженное настроение охватило меня при мысли о том, что мне предстоит, об этом путешествии первооткрывателя по не нане-

сенным на карту морям — путешествии, чреватом трудностями и даже опасностями.

У домика Алекса я остановился. Вокруг мерцали огоньки деревни, а за нею, таинственно поблескивая во мраке, катил свои воды к морю Клайд. Я стоял неподвижно, глядя на луну, которая все выше поднималась в небе, вслушиваясь в последние шорохи земли, замирающие в молчании северной ночи, и покров вечной тишины окутал мою душу. Внезапно я понял всю беспредельность своего одиночества — один, а вокруг целый мир.

Я вздрогнул, вспомнил, что голоден, и, зная, что найду здесь пищу, тепло и дружеский прием, услышу тихий смех маленького Сима, вошел к Алексу.

ГЛАВА 4

В следующую пятницу произошло долгожданное событие, в расчете на которое я и строил свои планы.

Всю эту неделю, машинально выполняя в университете навязанную мне работу, я наблюдал за профессором Ашером, который вдруг стал необычайно приветлив с нами; он был все такой же колючий и язвительный, но на губах его время от времени появлялась такая заученно сладенькая улыбочка, что меня мороз подирал по коже.

В пятницу к концу дня эти жалкие потуги создать атмосферу товарищеского сотрудничества достигли своего апогея: профессор сделал небольшой круг по лаборатории и наконец, откашлявшись, с доверительной улыбкой остановился перед нами.

— Джентльмены, как вам, без сомнения, известно, я имел честь получить приглашение на пост председателя подготовительного комитета предстоящего конгресса патологов. Эта почетная обязанность заставляет

меня вместе с моим выдающимся коллегой, профессором Харрингтоном, предпринять поездку по различным университетам, дабы составить деловую и всеобъемлющую повестку дня конгресса.

После многозначительной паузы он продолжал:

— Миссис Ашер и я уезжаем сегодня в шесть часов в Лондон. Нас не будет здесь два месяца. Я уверен, что, несмотря на мое отсутствие, работа на кафедре будет идти гладко и быстро, в соответствии с лучшими традициями научно-исследовательской деятельности. Вопросы есть?

Все молчали. Он кивнул, как бы в подтверждение того, что между нами установилось полное взаимопонимание, затем взглянул на часы, поклонился каждому из нас и вышел. Смит отправился следом за ним, чтобы поднести ему багаж.

Когда дверь за ними закрылась, я еле удержался и чуть не выразил вслух свою радость: хоть я и рассчитывал на небольшую передышку от бдительного наблюдения профессора, весть о том, что он уезжает на целых два месяца, явилась для меня чудесной неожиданностью. Чего только я не успею сделать за это время!

Закурив сигарету, Ломекс уже поднялся из-за стола и со своей обычной утомленной улыбкой посмотрел на меня.

— Вы почувствовали, как он старался внушить нам, что мы тут без него должны работать не разгибая спины? Я, например, до того люблю профессора, что просто не знаю, как перенесу его отсутствие.

Бледный, со светлыми волнистыми волосами, разочарованным взглядом и довольно циничным выражением лица, Адриен Ломекс был на четыре года старше меня и принадлежал к тем счастливицам, которые, обладая привлекательной внешностью и обаянием, с первого взгляда нравятся людям. Он был единственным сыном богатой вдовы, жившей в Лондоне, и по-

лучил образование в Винчестере и Оксфорде, что наложило отпечаток благовоспитанности на его манеры и поведение. По окончании университета он намеревался продолжить свое образование за границей, но помешала война, и теперь, поскольку профессор Ашер был в каком-то дальнем родстве с его семьей, он приехал в Уинтон, чтобы годик «позаниматься» наукой. Вкусы его отличались вычурностью; ко многому он был равнодушен и с презрением отрицал все, что не может быть объяснено законами естественных наук. Казалось, за его холодным скептицизмом таятся глубокие знания: легким пожатием плеч, высокомерной улыбкой или своими высказываниями на метафизические темы ему не раз удавалось вбить еще один гвоздь в гроб моей умершей веры. Эгоист и притвора, он усердно скрывал свою избалованность и тщеславие, стараясь держаться со Спенсом и со мною на равной ноге. И все-таки в нем было что-то очень привлекательное. Готовясь к блестящей карьере, он презирал тех, кто вульгарно корпит в лаборатории, работал бессистемно, порывами и, оплакивая свое изгнание в богато обставленной им самим уютной квартире, умудрялся превысить более чем щедрую сумму, отпущенную матушкой на его нужды, и покупал только все самое лучшее.

Сейчас он старательно шарил в своем шкафчике и вскоре с лукавым видом извлек из него бутылку бенедиктина.

— Вот что у меня тут есть. Давайте-ка отметим знаменательное событие. Немедля. — Он откупорил бутылку и щедро налил золотистую жидкость в три чистые мензурки.

Нейл Спенс, третий член нашей группы, работавшей на профессора Ашера, не слишком склонен был к веселью: если не считать «выездов в свет» с женой, которые предпринимались раз в неделю, он, подобно крабу-отшельнику, лишь крайне редко отваживался вы-

лезать из своего укрытия. Однако сейчас и он решил поддержать компанию и присоединился к Ломексу.

То же сделал и я. Дерзкий замысел воспользоваться университетской лабораторией для своих собственных опытов преисполнил меня чувством свободы, волнением, доходившим чуть не до экзальтации.

— За отсутствующих друзей! — Ломекс выпил. — Вкупе с герром профессором Хьюго. Надеюсь, вам понравилась эта водичка. Ничего не жаль для моих замечательных коллег.

— Очень приятное вино, — заметил Спенс своим спокойным, деловитым тоном.

— Его делают монахи. — Ломекс обратил ко мне иронический взгляд. — Вам, Шеннон, оно должно понравиться особенно по вкусу. Вы ведь католик, не так ли?

— Да... конечно. — Я постарался, чтобы это прозвучало с обезоруживающей убежденностью.

Слегка усмехнувшись, Ломекс вновь наполнил мензурки.

— А я-то думал, Роберт, что вы ученый. Книгу Бытия, по-моему, трудно совместить с превращением видов.

— А я и не пытаюсь это совмещать, — глотнув обжигающий густой ликер, возразил я. — Одно — низменный факт. Другое — романтическая тайна.

— Гм... — хмыкнул Ломекс. — Ну а как насчет папы?

— Я не вижу в нем ничего дурного.

— Вам он нравится?

— Безусловно. — Я уже больше не улыбался: шуточки Ломекса на эту тему под конец начинали мне обычно надоедать. — Признаюсь, я отнюдь не безупречен в этом отношении... даже как раз наоборот. И все-таки существуют некоторые вещи, от которых я никогда не смогу отрешиться... если хотите, вопреки рассудку. Надеюсь, вы не станете требовать, чтобы я сказал, что сожалею об этом?

— Ни в коем случае, мой дорогой, — небрежно поспешил заверить меня Ломекс.

Нейл Спенс посмотрел на свои часы.

— Скоро шесть. Мьюриэл с минуты на минуту должна быть здесь.

Он вынул носовой платок и украдкой вытер уголки губ, где скопилась влага.

Как-то ночью в грязном темном окопе под Марной он неосмотрительно поднялся, чтобы расправить затекшие ноги, и немецкой шрапнелью ему раздробило нижнюю челюсть. Хотя хирурги — специалисты по пластическим операциям совершили чудо и нарастили ему челюсть, вставив кусочек кости из его собственного ребра, лицо его навсегда осталось обезображенным: подбородок пересекал багровый рубец, заканчивавшийся узкой полоской растянутых губ, — это страшное уродство было особенно заметно в сравнении с его высоким красивым лбом и темными, робко прячущимися, какими-то затравленными глазами. Но самым обидным было то, что в юности Спенс был очень красив и пользовался большим успехом на танцах, пикниках и состязаниях по теннису, которые устраивало степенное, но любящее повеселиться уинтонское общество.

— У вас прелестная жена, — вежливо заметил Ломекс. — Я получил огромное удовольствие от нашего совместного посещения театра на прошлой неделе. Выпьем еще за герра Хьюго?

— Нет, не надо, — благоразумно остановил его Спенс. — Мы уже достаточно выпили.

— Но он же велел нам следовать лучшим традициям кафедр, значит и пить, — сказал я.

Все рассмеялись, даже Спенс. Это с ним редко случалось, так как от смеха у него сильно искажалось лицо. В ту же минуту позади нас послышался какой-то шорох.

В лаборатории стояла миссис Спенс: она вошла без всякого предупреждения, с дерзким видом чело-

века, нарушившего правила и прекрасно сознающего это. Она ослепительно улыбнулась нам из-за вуалетки с мушками, которая спускалась с полей ее шляпы, придавая известную пикантность ее немного узкому лицу.

— Смиа что-то нигде не видно: я ждала его, ждала... стояла одна как неприкаянная.

Мьюриэл Спенс было лет двадцать семь; светлая шатенка, среднего роста, довольно тоненькая и грациозная, с изящными руками и ногами и узким, несколько бесцветным лицом, на котором серые глаза казались порой совсем детскими и огромными, она, бесспорно, могла считаться своего рода наградой Спенсу за увечье. Они были помолвлены еще до войны, и, когда он вернулся домой, изувеченный и павший духом, она, вопреки нажиму своей семьи и его собственным попыткам вернуть ей свободу, не рассталась с ним. Их свадьба, на которую собралась уйма народу, вызвала всеобщий интерес. Хотя Мьюриэл уже утратила свежесть юности, а в манерах ее появилось что-то искусственное, она была все еще очень привлекательна, и сейчас, когда она вошла к нам в темном костюме и коричневой меховой горжетке, в нашей унылой лаборатории сразу стало как-то светлее. Я неоднократно пытался завоевать симпатии Мьюриэл ради Спенса, который был моим ближайшим другом, но уж очень я был, видно, неуклюж и трудно сходился с людьми: мне все казалось, будто я ей неприятен, и это заставляло меня замыкаться в себе.

Она приподняла вуалетку и, слегка коснувшись поцелуем щеки мужа, заметила с оттенком упрека:

— Мы опоздаем к обеду, дорогой. Почему ты еще не готов?

— А знаете, миссис Спенс, — произнес Ломекс, приподняв с видом великосветского льва одну бровь, — раз уж вы зашли в эту комнату ужасов, вам теперь отсюда не выйти.

Она склонила головку набок и на мгновение остановила на мне сияющие, смеющиеся глаза.

— Раз здесь мистер Шеннон, то я ничего не боюсь.

При этих словах Ломекс и миссис Спенс почему-то обменялись улыбкой. Тем временем Спенс, не спуская с жены своих темных, светившихся поистине собачьей преданностью глаз, надел пальто, и она просунула под его локоть свою затянутую в перчатку руку.

— Мы с Нейлом едем в вашу сторону, мистер Ломекс, — кокетливо заметила она. — Подвезти вас?

Наступила небольшая пауза.

— Благодарю, — сказал он наконец. — Вы очень любезны.

Я вышел вместе с ними. Мы расстались у машины Мьюриэл — маленького автомобильчика, стоявшего у входа. Они поехали в город, а я направился к подножию Феннер-хилла, намереваясь зайти домой, взять дримовские пробы и тотчас вернуться в лабораторию.

Справа от меня раскинулся Элдонский парк, и декоративное озерцо в нем было буквально забито конькобежцами. В тихом воздухе слышалось веселое звяканье коньков, разрезающих стальными остриями лед. Бенедиктин и мысль об отъезде Ашера привели меня в самое радужное настроение: я чуть не пел. Голова приятно кружилась, и мир казался таким прекрасным.

Когда я подходил к знакомому пансиону, дверь «Ротсея» внезапно распахнулась и на пороге появился Гарольд Масс в сопровождении мисс Лоу — оба несли коньки, болтавшиеся на ремнях. Тут ликер, вопреки своему монастырскому происхождению, неожиданно и доказал свою крепость. Сам не знаю почему, но при виде мисс Лоу, в шерстяной шапочке с красной кисточкой и в ладно сидевшем белом свитере, отправляющейся не спасать души или врачевать недуги, а кататься на свежем воздухе, да еще в такой компании, я весь затрясся от беззвучного смеха.

— Что с вами, мистер Шеннон? — Увидев меня, мисс Лоу остановилась. — Вы больны?

— Нисколько, — ответил я, отпуская перила, за которые было ухватился. — Я в отличном моральном и физическом состоянии и даже собираюсь совершить подвиг, который потрясет мир. Вам ясно?

Масс подавил смехок: он догадался о природе моего «заболевания», но серьезное личико мисс Лоу выражало лишь сочувствие и глубочайшее участие.

— Не хотите ли пойти с нами на озеро? Проветритесь немного — и вам станет лучше.

— Нет, — сказал я, — на озеро я не пойду. — И вполне логично добавил: — У меня нет коньков.

— Я мог бы дать вам коньки, — лукаво предложил Масс, — да только на льду ведь скользко.

— Заткнитесь, Масс, — сурово отрезал я. — Я работаю не покладая рук ради вас... и всего человечества!

— И слишком много работаете, мистер Шеннон. — Не понимая, что со мной, мисс Джин буквально восприняла мои слова. — Помните, вы обещали мне приехать в Блейр-Хилл. Я сегодня вечером уезжаю домой. Перенесите свой свободный день на завтра и навестите нас.

Я посмотрел в ее добрые карие глаза и вдруг почувствовал, что не могу придумать никакой отговорки. Не найдя подходящего предлога для отказа, я с минуту помолчал, потом неуверенно промямлил:

— Хорошо, я приеду.

ГЛАВА 5

Поезд на Блейр-Хилл отправлялся в половине второго; он полз страшно медленно, и старенькие вагончики были до того грязные, что всякий раз, как паровоз делал рывок, от изъеденной молью материи, по-

крывавшей сиденья, столбом вздымалась пыль. Всю дорогу, пока он тащился по смрадному промышленному району юга Шотландии, где нет ни травинки — лишь торчат фабричные трубы, изрыгая дым, — и останавливался на каждой маленькой станции, я ругал себя за то, что вздумал выполнить обещание, которое вовсе и не собирался давать, и никакие рассуждения, что день отдыха придаст мне новые силы для работы, тут не помогали.

Наконец через час после того, как я выехал из Нижнего Уинтона, самая скверная часть «черной страны» осталась позади и я очутился в Блейр-Хилле. Для того чтобы несчастный путешественник не мог проехать мимо и избежать своей участи, название это было выложено белыми камушками на откосе возле станции, между двумя могучими соснами. А на платформе, слегка приподнявшись на носках и обводя изогнувшийся поезд нетерпеливым взглядом сияющих глаз, стояла мисс Джин Лоу.

Я вышел из вагона и направился к ней; от меня не укрылось, что в честь моего приезда, а может быть, и просто ради свободного дня под широким пальто у нее был надет белый вязаный свитер, а на каштановых кудрях, почему-то особенно бросавшихся сейчас в глаза, красовалась маленькая шерстяная шапочка с кисточкой, какие в Шотландии называют «кругляшами». Заметив меня в толпе пассажиров, она приветливо заулыбалась. Мы пожали друг другу руки.

— Ох, мистер Шеннон, — радостно воскликнула она, — до чего же мило, что вы приехали! А я-то боялась...

Она умолкла, но я докончил фразу за нее:

— ...что подведу вас.

— Мм... — Мисс Лоу вспыхнула: она легко краснела. — Я ведь знаю, что вы занятой человек. Но так или иначе, вы приехали, день сегодня чудесный, и мне

столько всего надо показать вам, и хоть я и не должна так говорить, но, по-моему, вам здесь понравится.

За беседой мы и не заметили, как вышли на узкую главную улицу городка. Он оказался куда приятнее, чем я ожидал: типичный старинный городок — центр округа, расположенный среди обширных владений герцогов Блейр-Хиллских, с тротуарами из каменных плит, обтесанных вручную, с паутиной кривых улочек и старой рыночной площадью. Полная гордости за свои родные места, моя спутница сообщила мне, что «нынешний герцог» совместно с Блейр-Хиллским историческим обществом многое сделал для того, чтобы сохранить местные памятники старины, и с самым серьезным видом пылко заявила, что, как только все формальности будут выполнены и я буду представлен ее родителям, мы отправимся осматривать достопримечательности городка.

Там, где дорога начинала спускаться под уклон, мисс Лоу вдруг остановилась у небольшого невзрачного строения и, волнуясь — а это сразу было видно по ее трепещущим ресницам, — застенчиво промолвила:

— Это наша пекарня, мистер Шеннон. Вы должны зайти и познакомиться с папой.

Нырнув под низкую арку, я вышел вслед за ней на мощный булыжником дворик, где, задрав в небо оглобли, стоял блестящий, словно покрытый лаком, фургон, спустился на несколько ступенек вниз и через узенькую дверцу, обойдя наваленные грудями мешки с мукой, вошел в подвал с земляным полом, где так вкусно пахло и было совсем темно, если не считать красноватого отблеска огня, падавшего из двух загруженных углем печей. Постепенно, когда глаза мои привыкли к темноте, я различил две фигуры в рубашках с закатанными рукавами, вооруженные длинными деревянными лопатами; они рьяно трудились у откры-

тых печей, и их белые передники ярко алели в отблеске пламени, когда они вытаскивали оттуда караван хлеба.

Несколько минут мы молча наблюдали за этим процессом, который, видимо, требовал энергии, ловкости и быстроты. Как только новая партия хлебов исчезла в печах и железные дверцы защелкнулись, один из пекарей — тот, что был постарше, — обернулся и направился к нам, на ходу вытирая руки о передник; когда он подал мне руку, на ногтях у него еще оставалось засохшее тесто.

Дэниелу Лоу было лет пятьдесят пять; хотя лицо этого невысокого широкоплечего крепыша — открытое, прямодушное, с большим лбом, который сейчас был весь в капельках пота, — и отличалось бледностью, как у всех людей его профессии, выглядел он вполне здоровым и даже моложавым, несмотря на очки в стальной оправе и окладистую черную бороду. Он, видимо, не принадлежал к числу людей улыбчивых, однако, когда его теплые пальцы сжали мою руку, он приветливо улыбнулся, обнажив крепкие зубы, слегка попорченные мукой, которая была здесь всюду.

— Рад с вами познакомиться, сэр. Дочка рассказывала мне про ваше доброе к ней отношение в колледже. Друг моей дочери — у нас желанный гость.

Говорил он низким голосом, степенно, словно патриарх, и как-то по-особому произносил слово «колледж», а когда упомянул про дочь, глаза его, закрытые за стеклами очков, потеплели.

— Вы уж нас простите, — извиняющимся тоном продолжал он, — мы сейчас очень торопимся. Нам ведь с сыном в субботний вечер приходится управляться вдвоем. — И, обернувшись, он позвал: — Люк! Поди-ка сюда на минутку.

Молодой парень лет семнадцати, натягивая куртку и улыбаясь, подошел к нам; он был очень похож на

свою сестру: тот же цвет лица, такие же волосы и глаза. Он казался славным, веселым малым, и я сразу почувствовал расположение к нему. Однако побеседовать нам не удалось, так как ему пора было запрягать лошадь и развозить хлеб по округе. Я заметил, что и самому Лоу, несмотря на всю его любезность, сейчас не до нас, а потому, искоса взглянув на мою спутницу, предложил не злоупотреблять его временем.

Лоу кивнул в знак согласия.

— Покупателям нужен хлеб, сэр. А завтра — воскресенье. Но мы увидимся с вами попозже, дома. Часиков в пять. А пока пусть уж дочка вами займется.

Мы вышли и направились к окраине, мимо новеньких домиков, окруженных крошечными садами; все это время моя спутница украдкой бросала на меня полувстревоженные-полунетерпеливые взгляды, словно желая выяснить мое мнение о своих родных. Неожиданно мы свернули в тихую улочку, затененную пока еще голыми, но раскидистыми ветвями каштанов, и очутились перед небольшим каменным особнячком, чистеньким и скромным, с белоснежными тюлевыми гардинами на окнах; от улицы его отделяла аккуратно подстриженная изгородь из бирючины. Уже взявшись за чугунную решетку калитки, где на медной дощечке значилось: «Силоамская купель», мисс Лоу не выдержала и воскликнула:

— Вы понравились им обоим — и папе, и Люку! Я это сразу заметила. Теперь я познакомлю вас с мамой.

Как раз в эту минуту входная дверь распахнулась и навстречу нам вышла худенькая женщина в черном альпаговом халате, седая и благообразная, с нежной прозрачной кожей. Быстро взглянув на дочь и не пытаясь спрятать метелочку из перьев, которую держала в руке, она повернулась и долго смотрела на меня испытующим, безмятежно спокойным взглядом. Затем,

словно уверившись в моей благонадежности, она завела приличествующий случаю разговор:

— Вы застали меня врасплох, мистер Шеннон: я и переодеться-то не успела. Как раз заканчивала уборку в гостиной, когда увидела вас на аллейке. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь.

— Нет, мама, — поспешно возразила мисс Джин. — Мы сейчас пойдем гулять: ведь день такой чудесный.

Миссис Лоу посмотрела на мою спутницу спокойным, понимающим взглядом, в котором, несмотря на теплоту и снисходительность к нетерпению молодости, сквозило и легкое превосходство умудренной жизнью матери.

— У вас еще уйма времени, девочка.

— И все равно не хватит, чтобы обойти то, что мне хочется.

— Вы берете Малкольма с собой?

— Конечно нет, мама, — несколько раздраженно ответила дочь. — Ты же знаешь, что его сегодня нет здесь.

«Кто этот Малкольм? — подумал я. — Очевидно, какой-нибудь юный родственник, а возможно — собака».

— Ну что же... идите тогда, — рассудительно согласилась миссис Лоу. — Но непременно возвращайтесь к ужину. Я буду подавать на стол ровно в шесть: все уже тогда будет дома. Пока до свидания, мистер Шеннон.

Она улыбнулась и неторопливо прошла в гостиную, а мисс Джин Лоу не без облегчения, какое испытывает человек, благополучно выполнивший все формальности, всецело завладела мной.

— Теперь, — энергично заявила она, — я покажу вам наше хозяйство.

И, пройдя вперед, она повела меня в садик за домом величиною с пол-акра; здесь мы не торопясь прогулялись по усыпаным гравием дорожкам и осмотрели крошечные клумбы, грядки ревеня и зеленую лужайку.

Я похвалил царивший там порядок, и она благодарно улыбнулась мне.

— Конечно, участок у нас совсем маленький, можно сказать, пригородный, не то что, наверно, у вас, мистер Шеннон.

Сделав вид, будто не заметил ее вопросительной интонации, я поспешно указал на сарайчик для инструментов, где стоял на подпорках красный мотоцикл.

— Это машина Люка, — любезно пояснила она в ответ на мой невысказанный вопрос. — Он совершенно помешан на моторах и неплохо разбирается в них, хотя папа и не одобряет этого. Но бедняге приходится так медленно тащиться в фургоне, развозя хлеб, что, естественно, ему хочется потом отвести душу на своей «индиане».

Мое мнение о Люке, и без того высокое, стало еще выше. Долгое время я мечтал о подобной машине с таким же успехом, как если б хотел достать до луны, — о машине, на которой можно было бы стремительно мчаться, разрезая воздух, со скоростью по меньшей мере семьдесят миль в час. Мне очень хотелось бы задержаться и осмотреть это чудо, но мисс Джин потащила меня назад, мимо дома, на дорогу. Решительным жестом натянув на свои кудри «кругляш», она педантично взглянула на часы и твердо заявила:

— В нашем распоряжении еще добрых три часа. Постараемся за это время успеть всюду.

— А не лучше ли нам сначала немножко отдохнуть? — предложил я, бросив взгляд на два стула, стоявшие на крытой веранде. Я ведь полночи не спал, раздумывая над тем, какой избрать метод культивирования моих проб.

Она весело рассмеялась и лукаво заметила, точно я сказал нечто очень забавное:

— Нет, право же, мистер Шеннон, вы презанятный человек. Мы ведь еще только начинаем нашу прогулку.

И мы хорошей иноходью двинулись в путь.

Могу поклясться, что на свете едва ли была более дотошная исследовательница всяких достопримечательностей, более преданная спутница, чем эта престелстная дочка булочника из Блейр-Хилла.

С неутомимым рвением водила она меня по некогда пышному старинному городку. Она показала мне городскую ратушу, публичную библиотеку, масонскую ложу, мавзолей, где погребен герцог, старинные дома ткачей на Коттарз-роу, остатки римской стены (три крошащихся валуна) и с благоговейным видом — молитвенный дом ее общины в Овечьем переулке. Она даже привела меня на то самое место на перекрестке, где Клеверхаус¹, разгонявший тайное собрание пуритан, был — хвала Провидению! — сброшен со своего боевого коня.

Затем, когда я уже было обрадовался, что нашим странствиям пришел конец, она остановилась на минуту, перевела дух и, весело кивнув, посмотрела на меня с таинственным видом человека, припасшего самое интересное под конец.

— Мы еще не видели белых коров, — объявила она и тотчас добавила, словно цитируя путеводитель: — Совершенно уникальные животные.

Чтобы посмотреть на этих чудо-животных, которые, пояснила она, принадлежат к знаменитой породе шато-ле-руа и были вывезены из Франции «батюшкой покойного герцога», нам пришлось вернуться миль на две назад и через арку с колоннадой войти в обширный парк, известный под названием Верхний, —

¹ Джон Грэм *Клеверхаус*, 1-й виконт Данди (1648–1689), — шотландский военачальник, сторонник свергнутого в 1688 г. английского короля Якова II Стюарта; в апреле 1689 г. возглавил сопротивление шотландских горцев — приверженцев шотландской епископальной церкви — войскам нового короля Вильгельма III. В победоносном сражении при Киллирэнки (27 июля 1689 г.) был смертельно ранен.

«покойный герцог» великодушно выделил его из своих владений и подарил городу.

В этом бесспорно прелестном уголке, где рощи чередовались с полянами, еще сохранилась былая атмосфера уединенности: нигде не видно было ни души.

Однако стадо свое мисс Лоу так и не сумела найти, хотя искала энергично, рьяно, как если бы от этого зависела ее честь. Она таскала меня за собой по горам и долам, перелезая через деревянные загородки и пробираясь под кустами на прогалины, и выражение ее глаз становилось все тревожнее, а лицо вытянулось от огорчения; наконец, взобравшись на вершину последнего поросшего травой холма, она вынуждена была остановиться и со стыдом признаться мне в своем поражении:

— Боюсь... мистер Шеннон... — Но самолюбие ее было задето, и она не сдержалась: — Нет, это просто непостижимо!

— Они, наверно, спрятались от нас — на деревьях.

Она покачала головой, не желая замечать юмора в моих словах.

— Такие прелестные животные! Белые как снег и с такими красивыми изогнутыми рогами. Должно быть, их загнали на зиму. Я покажу вам их как-нибудь в другой раз.

— Отлично, — сказал я. — А пока давайте посидим.

День выдался на редкость тихий и теплый для этого времени года; солнце, окутанное легкой дымкой, заливало все янтарным светом, отчего окрестность казалась погруженной в первозданную тишину еще не открытых миров. Внизу, у нас под ногами, безмолвствующий лес убегал вдаль, скрывая от глаз ручеек, который, подчиняясь общему настроению, тихонько журчал, переливаясь из одной лужицы в другую и словно боясь громко вздохнуть, — все это располагало и нас к молчанию.

Мисс Джин, покусывая бурую травинку и глядя прямо перед собой, сидела выпрямившись подле меня, — она все еще переживала свою неудачу, а я, опершись на локоть, невольно принялся изучать ее, решив от нечего делать попытаться понять это существо. Я, конечно, не мог отказаться от давно сложившегося у меня мнения о ее наивности, однако я был вынужден признать, что из тех немногих молодых женщин, которых я знал, она была самой естественной. Особенно здесь, среди природы, она выглядела на редкость юной и свежей! Ее карие глаза, каштановые волосы и загорелая кожа удивительно гармонировали с окрестными лесами, равно как и упругая шея и округлый подбородок. Зубы ее, покусывавшие жесткую травинку, были белые и крепкие. Глядя на нее снизу, я почти видел, как горячая кровь приливает к ее пухлой верхней губке. А главное, от всего ее облика веяло необычайной чистотой. У меня мелькнула мысль, что, поскольку это качество считается почти столь же важным, как благочестие, она, наверно, тщательно моется виндзорским мылом утром и вечером с головы до ног. Все в ней — как доступное взгляду, так и недоступное — было, я уверен, безукоризненно опрятным и аккуратным.

В то время как я критически изучал ее, она вдруг повернула голову и неожиданно поймала мой испытующий взгляд. С минуту она со своей обычной бесстрашной честностью выдерживала его, потом застенчиво потупилась, и легкий румянец медленно разлился по ее щекам. В этой паузе, в молчании, как бы являвшемся следствием окружающей тишины, в которую была погружена природа, и насыщенном почти мучительным ожиданием какого-то слова или действия с моей стороны, которого, однако, так и не последовало, — было что-то напряженное. Тогда, чуть ли не со злостью, словно не желая поддаваться смущению, она взглянула на свои круглые серебряные часики и поспешно вскочила на ноги.

— Нам пора домой. — И тихо добавила тоном, которому постаралась придать деловитость: — Вы, наверно, страшно проголодались и ждете не дождетесь ужина.

Когда мы вернулись в «Силоамскую купель», все семейство уже ждало нас в безукоризненно чистенькой столовой: миссис Лоу надела свое «парадное» голубовато-серое шелковое платье, а мистер Лоу и Люк нарядились в полотняные рубашки и черные суконные костюмы. Кроме них, к моему удивлению, был еще один гость, которого представили мне как мистера Ходдена, иначе — Малкольма; он с приятной улыбкой отзывался на это имя, тотчас занялся Джин и вообще вел себя здесь как свой.

Это был любезный, с виду положительный молодой человек лет двадцати пяти, хорошо сложенный, с открытым, несколько чересчур серьезным лицом, волевым ртом и довольно крупной квадратной головой; одет он был с педантичной аккуратностью: коричневый шерстяной костюм, высокий крахмальный воротничок. Склонный завидовать качествам, прямо противоположным моим собственным, я почувствовал, что слегка тускнею в его присутствии, — уж очень он был спокоен и уверен в себе, точно ежедневно выступал с проповедями в Ассоциации молодых христиан, да и держался он с бесстрашной прямолинейностью, словно, преисполненный сознания собственной правоты, был убежден, что встретит в своем собрате такие же качества. Из его правого нагрудного кармашка торчали камертон и несколько отточенных карандашей, которые, по-видимому, нужны были ему для занятий, — как вскоре выяснилось, он преподавал в Блейр-Хилльской начальной школе.

Он дружелюбно протянул мне руку, и миссис Лоу скрепила наше знакомство.

— У вас, молодые люди, должно быть много общего. Малкольм у нас как родной, мистер Шеннон. Он

преподает в нашей воскресной школе. Настоящий труженик, вот что я вам скажу.

Поскольку ужин был уже готов, мы сели за стол, и Дэниел торжественно произнес длинную молитву, в которой, взглянув украдкой на фотографию воспитательницы, красовавшуюся на каминной доске, трогательно упомянул о своей отсутствующей дочери Эгнес, «ныне ратующей в заморских краях». Затем миссис Лоу щедро принялась разрезать на большие куски стоящую перед ней отварную лососину.

Изрядно проголодавшийся, я набросился на рыбу с аппетитом, какого и следовало ожидать от постояльца барышень Дири. Помимо большого количества рыбы, на столе было еще множество всякой снеди — отварной картофель в мундире, горошек, холодная ветчина и язык, маринады, домашние соленья, — словом, этот простой добротный ужин мог бы привести в восторг куда более изощренный вкус, чем мой. По случаю моего приезда пекарь специально испек бисквит с марципанами, украшенный замороженными вишнями. Но больше всего мне понравился хлеб. Легкий, хорошо подошедший, с тонкой хрустящей корочкой, он издавал чудесный аромат и таял во рту. Лоу был очень доволен, когда я отважился похвалить его продукцию. Он взял с блюда кусочек, помял его, слегка понюхал, потом с видом человека, совершающего священнодействие, растер между пальцами. Взглянув через стол на сына, он со знанием дела заметил:

— Немножко недопекли сегодня, Люк... но плохим его не назовешь. — Затем, повернувшись ко мне, он просто сказал: — Мы серьезно относимся к нашему делу, сэр. Для многих бедных людей нашей округи — вся жизнь в этом хлебе. Они почти ничего другого не видят, все эти шахтеры, пахари, рабочие на фермах; у всех большие семьи, а получают они шиллингов тридцать пять в неделю. Вот почему мы делаем наш хлеб

из самой что ни на есть лучшей муки, заквашиваем на самых сладких дрожжах и замешиваем только вручную.

— Лучший хлеб во всей округе, — вставил Малкольм, обращаясь ко мне. Он сидел рядом с Джин и со спокойной, довольной улыбкой передавал блюда.

Дэниел улыбнулся:

— Угу, иные приходят за целых пять миль к нашему фургону, чтоб купить хлебца. — Он помолчал и, выпрямившись, с достоинством продолжал: — Вы, конечно, знаете, мистер Шеннон, что говорится в Библии о хлебе насущном. Помните, как Спаситель пятью хлебами накормил тысячи и как он преломил хлеб со своими учениками на Тайной вечере?

Я пробормотал что-то невнятное, но тут мне на помощь пришел Люк: передавая клубничный джем, он слегка подмигнул мне левым глазом, и я поспешил потихоньку завести с ним разговор о достоинствах его мотоцикла. Однако от Дэниела не так-то легко было отделаться. Глава семьи, выступавший с проповедями на собраниях своей общины, он привык разглагольствовать, и сейчас, глядя на меня своим лучистым, серьезным и благожелательным взглядом, он, казалось, твердо решил выяснить, что я собой представляю.

— Конечно, доктор, у вас тоже благородная профессия. Лечить больных, возвращать к жизни калек, ставить на ноги хромых — что может быть похвальнее? Я был горд и счастлив, сэр, когда моя дочь решила посвятить себя этому великому и замечательному делу.

Я молчал, ибо все равно едва ли сумел бы растолковать ему, что вовсе не собираюсь быть врачом-практиком, а хочу всецело посвятить себя чистой науке.

Нимало не смущаясь моей замкнутостью, Дэниел с достоинством и смирением, непонятным образом уживавшимися в его натуре, вернулся к прежней теме; сказав несколько слов о всеобщем братстве людей

и о христианском принципе «помогай ближнему», он с этих позиций двинулся на меня в любовую атаку:

— Могу я спросить вас, сэръ: а каковы ваши убеждения?

Я медленно потягивал чай. Все, кроме Ходдена, чей взгляд выдавал некоторую настороженность, добро-сердечно и внимательно смотрели на меня, с живым интересом ожидая моего ответа, точно это было самым главным, тем камнем, которого только и недоставало, чтобы увенчать прочное здание их общего одобрения. А мисс Джин, слегка раскрасневшаяся от горячего крепкого чая, так и уставилась на меня блестящими глазами, слегка приоткрыв рот.

Что же мне, черт подери, сказать им? Я достаточно хорошо знал, какая вражда существует в маленьких городках между людьми разных религиозных убеждений, и понимал, какое я могу вызвать смятение, поведав им правду о том, что я католик, случайно забредший в менее мрачные коридоры скептицизма, но в глубине души все еще придерживающийся своей первоначальной веры. Эта мысль заставила меня прибегнуть к той же версии, которую я сочинил для мисс Лоу. В конце-то концов, какое это имеет значение? Я никогда больше не увижу это достойное семейство, и ни к чему нарушать установившееся между нами согласие; к тому же, если я буду достаточно ловок, мне и не придется лгать.

— Видите ли, сэръ, — начал я, да так бойко, что сам поразился: казалось, эти добродетельные люди вызвали к жизни самые скверные и коварные стороны моей натуры, — по правде говоря, моя работа в качестве биолога не оставляла мне много времени для посещения церкви. Однако воспитывался я в Ливенфорде, в семье необычайно строгих пуританских взглядов. Вообще, — тут я снова вспомнил свое детство, проходившее под знаком двух противоборствующих влияний,

и лишь скромно подправил наименее правдоподобную из сказок, которыми похвалялась бабушка, — мой прадед по материнской линии был одним из тех, кто пролил свою кровь в битве при Марстон-Муре¹.

Наступила пауза. Они медленно вникали в смысл моего ответа, и я заметил, что он произвел на них не только удовлетворительное, а в высшей степени благоприятное впечатление.

— Не может быть! — Дэниел с вполне понятным интересом наклонил голову. — При Марстон-Муре! Да ведь все, кто там был, — мученики, святые. Вы должны гордиться таким предком, мистер Шеннон. И, — не без хитринки добавил он, — надеюсь, вы всегда будете помнить о таком хорошем примере.

Теперь, когда это препятствие было преодолено, атмосфера дружелюбия и согласия прочно воцарилась за столом. После того как Малкольм, пространно выразив свои сожаления, откланялся и ушел (он по вечерам преподавал в Блейр-Хиллском институте, и миссис Лоу поведала мне, что он взялся за эту дополнительную работу только ради своей овдовевшей матери), мы перешли в гостиную, и мисс Джин уговорили сыграть на пианино пьесу Грига. Затем потолковали об отсутствующей Эгнес. Ее последнее, очень бодрое письмо было с гордостью прочитано вслух. Затем одну за другой мне любовно показали фотографии, пожелтевшие и немного туманные; на них были изображены группы туземных ребятишек в белых передничках, тощих, большеглазых и каких-то удивительно трогательных, а с ними — заботливая, улыбающаяся воспи-

¹ *Марстон-Мур* — английское селение, у которого 2 июля 1644 г., во время первой гражданской войны в Англии (1642–1645), произошло крупное сражение между королевскими войсками и войсками парламента, руководимыми Оливером Кромвелем; победу одержали войска парламента, на стороне которых успешно сражались шотландские отряды.

тательница; несколько деревянных хижин, кусочек голого двора, и все это неизменно на фоне буйной растительности, диковинных деревьев, похожих на гигантские папоротники, ярких полос солнечного света, перемежающихся с густой черной тенью.

Когда пробило восемь часов, я поднялся и, несмотря на протесты, стал прощаться, дружески обменявшись со всеми рукопожатием.

— Вы оказали нам большую честь, сэр, — сказал Дэниел, и глаза его неожиданно потеплели. — Может, в следующий раз приедете к нам с ночевкой?

— Да, конечно, и приезжайте поскорее. — Миссис Лоу сунула мне в руку пакет и тихонько шепнула: — Это немножко шотландского песочного печенья, чтоб было чем полакомиться в пансионе.

На улице было совсем темно, когда Люк и его сестра вышли вместе со мной, чтобы проводить меня на станцию. По дороге Люк великодушно предложил мне пользоваться его мотоциклом, когда мне вздумается. Поезд тронулся, и мисс Джин Лоу пошла рядом с моим окошком.

— Надеюсь, вы остались довольны своей поездкой, мистер Шеннон. Мы-то все очень довольны, я знаю, что очень.

В купе, кроме меня, никого не было, и я забился в угол: я устал от этого чрезмерного радушия и сейчас попытался проанализировать свои впечатления. По правде говоря, знакомство с этим простым трудолюбивым семейством преисполнило меня сильнейшим отвращением к себе. Какой я ничтожный и жалкий! Вообще говоря, я даже почему-то казался себе настоящим подлецом.

Внезапно перед моим мысленным взором всплыло лицо Джин Лоу, когда она сидела потупившись рядом со мной в Верхнем парке и вдруг, как девочка, залилась краской. Я не слишком был избалован женским

вниманием и в этом отношении был лишен самомнения. Но сейчас некая мысль, словно стрела, пронзила меня. Я вздрогнул и, потрясенный, выпрямился.

— Нет! — громко воскликнул я в пустом вагоне. — Не могла же она... не может... Это нелепо!

ГЛАВА 6

Наступил февраль с сильными морозами и холодными, ясными, сверкающими днями, будоражившими кровь. Прошло больше месяца с тех пор, как я всецело отдался своей работе. И жизнь казалась мне поистине прекрасной.

Ломекс и Спенс, естественно, знали о моей деятельности, но Смит, хотя я время от времени и подмечал, как он посматривает на меня, покусывая кончики косматых усов, не мог догадаться, чем я занят. С тех пор как профессор Ашер уехал, он проводил большую часть дня в баре при «Университетском гербе».

Дело, за которое я взялся, было нелегким. Не думайте, что работа исследователя проходит в дивном поэтическом экстазе, — прежде чем увидишь просвет, надо пройти немало лабиринтов и, подобно Сизифу, без конца катить в гору камень.

Однако, перепробовав множество растворов и признав все их негодными для моей цели, я наконец вырастил на пептоновском бульоне такую культуру из дримовских проб, которая, по моим расчетам, содержала возбудитель эпидемической болезни. Я глядел на нежные желтоватые волокна, которые, сплетаясь в шафрановые нити, росли и набухали в светлом, как топаз, растворе, словно распускающийся крокус, а мне казались неизмеримо прекраснее самого редкого цветка, — и сердце мое колотилось от волнения. Это была неведомая мне культура, обещавшая нечто новое

и необычное и подкреплявшая шаткое здание моих надежд.

По мере того как в моем распоряжении оставалось все меньше времени, я удваивал усилия, стремясь путем отбора вывести чистую и стойкую породу драгоценной бациллы. У меня был ключ от боковой двери, через которую я мог попасть в здание, когда все уйдут. Поужинав в пансионе барышень Дири, я возвращался в лабораторию и, связанный с внешним миром лишь тоненькой ниточкой сознания, погружался, словно пловец, сделавший затяжной прыжок, в прохладную, озаренную зеленоватым светом лампы тишину, пока гулкий бой часов не прокатывался по пустынной территории университета, возвещая полночь. Это было самое продуктивное время суток.

Я был уверен, что сумею в основном завершить свою работу к субботе, которая приходилась на 1 февраля, и в тот же вечер уничтожу все следы проведенных мной опытов. Все было рассчитано до мелочей, как в тщательно подогнанной мозаике: профессор Ашер сообщал в своем письме, что вернется в понедельник, 3-го, — к его прибытию я уже буду сидеть за своим столом и делать его работу.

Наступила последняя неделя, и в среду вечером, вскоре после девяти часов, я наконец решил, что культура созрела для исследования; я подцепил ее платиновым крючком и нанес на предметное стекло. Настал решающий момент. Затаив дыхание, я вставил стекло под линзу микроскопа и невольно вскрикнул, когда на ярко освещенном фоне вдруг появились темные червячки.

Все поле было усеяно крошечными, похожими на запятые бациллами — я никогда еще не видел таких.

Долгое время я сидел не двигаясь, глядя на мою находку, — от радостного возбуждения у меня слегка кружилась голова. Наконец, взяв себя в руки, я открыл

блокнот и с присущей ученым методичностью принялся описывать организм, который, исходя из его очертаний, я условно назвал бациллой «С». Так прошло минут пятнадцать, как вдруг внимание мое привлек спол света, упавший в комнату через стекло над дверью. Несколько секунд спустя я услышал шаги в коридоре, дверь распахнулась, и, похолодев от ужаса, я увидел профессора Ашера, входившего в лабораторию. Он был в сером костюме и наброшенном на плечи темном суконном плаще с капюшоном; его бледное жесткое лицо еще было покрыто дорожной пылью. В первую минуту мне показалось, что он мне привиделся. Потом я сообразил, что это в самом деле профессор и что явился он прямо с поезда.

— Добрый вечер, Шеннон. — Он неторопливо, размеренным шагом приближался ко мне. — Все еще сидите?

Не веря собственным глазам, я смотрел на него поверх колб с культурой. А он глядел на них.

— Я вижу, вы усиленно трудитесь. Что это такое?

Застигнутый врасплох, я растерялся и молчал. Почему, почему он приехал раньше времени?

И вдруг позади профессора Ашера я увидел эту зловещую птицу — Смита: он был без белого халата, в плохо сшитом костюме и, вытянув длинную шею, смотрел на меня своими глубоко запавшими глазами. Тогда я понял, что придется сказать все.

По мере того как я говорил, запинаясь и в то же время ревниво не раскрывая своего замысла до конца, Ашер становился все надменнее и суровее. А когда я кончил, лицо его приняло и вовсе ледяное выражение.

— Должен ли я понять, что вы намеренно отложили мою работу ради своей?

— Я возьмусь за расчеты на той неделе.

— А сколько вы сделали за время моего отсутствия?

Я помедлил.

— Ничего.

Его узкое лицо под налетом сажи посерело от ярости.

— Я ведь специально выражал вам свое пожелание, чтобы доклад был готов к концу месяца... для профессора Харрингтона... который оказал мне такое гостеприимство... это мой давний друг и коллега. И вот не успел я уехать... — Он слегка запнулся. — Почему, почему вы так поступили?

Я пристально разглядывал подкладку его капюшона. Она была темно-зеленая, шелковая.

— Я должен был разгадать эту загадку...

— В самом деле! — У него даже нос побелел. — Вот что, сэр, хватит препираться. Вы немедленно бросите эту работу.

Я почувствовал, как у меня дрогнуло сердце, но усилием воли сдержал расходившиеся нервы.

— Мое положение на кафедре все-таки дает мне право голоса в таких вопросах.

— Но я профессор кафедры экспериментальной патологии, и последнее слово принадлежит мне.

Меня нелегко было вывести из себя, по натуре я был человек застенчивый и смирный и искренне верил в людскую снисходительность, в святое правило: «Живи и жить давай другим», но сейчас красный туман поплыл у меня перед глазами.

— Я не могу бросить эту работу. Я считаю ее куда более важной, чем опыты с опсоном.

Слышно было, как стоявший позади Смит вдруг сглотнул слюну, его острый кадык задвигался, словно он смаковал лакомый кусок. Ашер выпрямился во весь рост, губы его стали тонкими, как проволока.

— Вы на редкость наглый человек, Шеннон. Ваши дурные манеры, ваша одежда, совершенно непристойная для ученого, занимающего такое положение, возмутительная непочтительность, какую вы проявляете

ко мне, — все говорит об этом. Я же привык иметь дело с джентльменами. До сих пор мне казалось, что при должном руководстве вы можете далеко пойти, и только потому я был к вам снисходителен. Однако, раз вам угодно вести себя по-хамски, мы будем действовать иначе. Если к понедельнику вы в письменном виде не извинитесь за это поистине непростительное поведение, я попрошу вас покинуть кафедру.

Последовало мертвое молчание.

Выждав некоторое время, Ашер вынул платок и вытер губы. Он увидел, что справился со мной, и тогда, по обыкновению, вспомнил о собственной выгоде:

— Серьезно, Шеннон, ради вашего же блага советую вам взять себя в руки. Несмотря на все, что случилось, мне бы не хотелось расставаться с вами. А сейчас прошу меня извинить: я еще не был дома.

И, взмахнув, как матадор, своим плащом, он повернулся и вышел из комнаты. После его ухода Смит постоял еще с минуту, потом, тихонько насвистывая в свои косматые усы, направился к раковине Спенса и стал там что-то прибирать.

Он, конечно, ждал, что я заговорю, и я как дурак попался в ловушку.

— Ну-с, — с горечью заметил я, — вы, должно быть, считаете, что изрядно мне напакостили?

— Вы ведь слышали, что сказал шеф, сэр. Я обязан выполнять его приказания. У меня тоже есть свои обязанности.

Я знал, что это сущее лицемерие. Истина же заключалась в том, что по каким-то непонятным причинам Смит в душе питал ко мне смертельную неприязнь. Бедный юноша, такой же, как я, он в свое время тоже стремился достичь в науке высочайших вершин. И теперь, измученный неудачник, снедаемый завистью, он не мог смириться с тем, что мне, возможно, удастся преуспеть там, где он потерпел поражение.

— Я же не виноват, сэр. — И, протирая щеткой раковину, он вызывающе ухмыльнулся: — Я только выполнил свой долг.

— С чем вас и поздравляю.

Я убрал пробирки с культурами, передвинул рычажок регулятора в термостате на нужную температуру, а он в это время искося, каким-то странным взглядом наблюдал за мной. Затем я взял кепку и вышел.

Бесконечно раздосадованный и злой, спускался я в темноте с Феннер-хилла.

На перекрестке, у стыка Пардайк-роуд и Кёркхед-террас, я зашел в трактир и, чтобы хоть немного прийти в себя, заказал стакан кофе. Взобравшись на высокий стул и положив локти на стойку, я потягивал густой темный напиток; вокруг кипела вечерняя жизнь бедного квартала: у трактиров и лавчонок торговцев жареной рыбой толпились завсегдатаи; лоточники, стоя под керосиновыми фонарями, предлагали свой товар; медленно прогуливались женщины; среди повозок и экипажей сновали мальчишки-газетчики, выкрикивая последние новости, — но я был глух и слеп ко всему.

Через некоторое время легкий удар зонтиком по плечу вывел меня из задумчивости, и, обернувшись, я увидел Бэби, — он стоял подле меня, расплывшись в улыбке, преисполненный доброжелательства и любви ко всему роду человеческому.

— Добрый вечер, сэр.

Я хмуро поглядел на него, но он придвинул к стойке стул и, пыхтя, взгромоздил на него свои рыхлые телеса.

— Какая счастливая встреча! Я был в «Альгамбре» — второсортное заведение, конечно, но уж очень весело. — Он постучал зонтиком по стойке, чтобы привлечь внимание официанта. — Кофе, пожалуйста, и побольше сахара. И еще хорошую порцию фрукто-

вого торта. Только выберите, пожалуйста, кусочек получше.

Я повернулся к нему спиной. Но отвязаться от Чаттерджи было невозможно: шумно прихлебывая кофе и то и дело хихикая, он непременно решил поделиться со мной впечатлениями от проведенного вечера, в которых немалое место было уделено знаменитому шотландскому комику сэру Гарри Лаудеру.

— Хи-хи-хи... Чего только этот шустрый дворянчик не выкидывал... Я так хохотал, что чуть с балкона не свалился: я ведь сидел в первом ряду. Должен вам сказать, сэр, я до того влюблен в шотландскую музыку, что непременно желаю научиться играть на волынке. Вы не могли бы порекомендовать мне преподавателя, сэр?

— Да оставьте вы меня, ради бога, в покое!

— Нет, вы только подумайте, сэр, какое удовольствие получают мои калькуттские друзья, когда, вернувшись с дипломом, я надену юбочку шотландского горца и буду исполнять им шотландские песни! — И, размахивая в такт пухлым пальцем, он высоким фальцетом затянул: — Ай-яй-яй... ля-ля-ля... с девушкой пойду... к милому Клайду... Солнышко зайдет... мне радость принесет... по сумеречным далям... по сумеречным далям бродить мы не устанем. Извините меня, доктор Роберт Шеннон, но что все-таки означает слово «сумеречным»? Очевидно, это что-то вроде леса, чащи, ущелья или еще какого-нибудь укромного места, где можно заниматься любовью? Хи-хи-хи... Правильно я угадал, сэр?

Я порылся в кармане, вынул монету, положил ее на стойку в уплату за выпитый кофе и резко поднялся с места.

— Подождите-ка, подождите, подождите, доктор Роберт Шеннон. — И он попытался задержать меня, зацепив рукояткой зонтика. — Догадайтесь, сэр. Кого бы,

вы думали, я видел сегодня в театре — ведь я сидел на балконе. Двух ваших друзей — доктора Адриена Ломекса и супругу доктора Спенса; они сидели вместе внизу и очень веселились. Да не уходите же, сэр, я сейчас пойду с вами.

Но я уже выскочил из трактира. Мной владел страх, погнавший меня чуть не бегом назад, на кафедру.

«Я обязан выполнять его приказания...»

Пока я торопливо шагал обратно, мне вспомнилось, каким не предвещавшим ничего хорошего блеском загорелись глаза лаборанта, когда я уходил.

Здание кафедры, когда я подошел к нему, было погружено в полную темноту. Я поспешно открыл боковую дверь и вошел в лабораторию. Не успев переступить порог, я сразу почувствовал, что чего-то не хватает: не слышно успокоительного гудения инкубатора. Сердце у меня упало; я включил свет над своим столом и открыл инкубатор. Теперь уже сомнений быть не могло. Смит вылил мои культуры: в штативе стояли пустые пробирки, и целый месяц напряженнейшей работы пропал зря.

ГЛАВА 7

На следующее утро я не пошел в университет, а направился после завтрака на Парковую сторону, где на тихой и неприметной улочке, выходящей к Келвингровским садам, поселился, уйдя на покой, профессор Чэллис. Я был убежден, что получу совет и помощь у этого доброго старика, который так часто поддерживал меня в прошлом. Когда я позвонил, дверь мне открыла Беатрис, его замужняя дочь — приятная молодая женщина в кокетливом ситцевом домашнем платье; из-за ее юбки выглядывали две остроглазые девушки.

— Извините, что я потревожил вас так рано, Беатрис. Могу я видеть профессора?

— Но, Роберт, — воскликнула она своим грудным голосом и невольно улыбнулась, взглянув на мое встревоженное лицо, — разве вы не знаете? Он же в отъезде.

Должно быть, разочарование мое было слишком явным, потому что она тотчас перешла на серьезный тон и принялась объяснять, что друзья увезли ее отца, который жестоко страдал от артрита, в Египет для направления здоровья. Его не будет всю зиму.

— Не зайдете ли на минутку? — любезно добавила она. — Мы с детьми как раз завтракаем, я могу вас угостить горячим какао с бисквитом.

— Нет, спасибо, Беатрис. — И я попытался на прощание изобразить улыбку.

Большую часть дня, серого и облачного, я бесцельно бродил по городу, глядя невидящими глазами на витрины больших магазинов на Синклер- и Мэнсфилд-стрит, а под конец направился к докам, где, окутанные холодным туманом, стояли борт о борт пришвартованные здесь на зиму речные черные с белым пароходы. Оттуда я вернулся в пансион и больше по привычке, чем по какой-либо иной причине, спустился вниз к чаю.

Краешком глаза я увидел, что мисс Джин Лоу, которая последние три дня отсутствовала — куда она отлучалась, я не знал, — снова сидит на своем месте. Мне показалось, что вид у нее какой-то странный, даже больной: она была бледна, а нос и глаза у нее распухли и слегка покраснели, точно от сильного насморка, но я был слишком занят своими мрачными мыслями и лишь мельком взглянул на нее. Она быстро поела и ушла.

Однако, когда минут через десять я поднялся наверх, она стояла в коридоре, прислонившись спиной к моей двери.

— Мистер Шеннон, мне хотелось бы поговорить с вами, — сказала она каким-то неестественно-натянутым тоном.

— Только не сейчас, — ответил я. — Я устал. Я занят. И к тому же у меня в комнате не прибрано.

— Тогда зайдемте в мою. — Она решительно поджала губы.

Она открыла свою дверь, и не успел я что-либо возразить, как уже стоял в ее маленькой комнатке, которая по сравнению с моей неопрятной, захламленной каморкой могла служить образцом чистоты и порядка. Я впервые был у нее, и сейчас, глядя на ее узкую, аккуратно заправленную белоснежную постель, на вязаный, ручной работы, коврик, на фотографию ее родителей в блестящей серебряной рамке, стоявшую на маленьком столике рядом с аккуратно разложенными гребенкой и щеткой, я смутно припомнил, как она однажды сказала, что, желая помочь мисс Эйли, прибирает свою комнату сама.

— Присаживайтесь, мистер Шеннон. — И, заметив, что я собираюсь примоститься на подоконнике, она добавила с легким оттенком иронии: — Нет, нет, не там... возьмите, пожалуйста, стул... такому джентльмену, как вы, не пристало сидеть на подоконниках.

Я испытующе взглянул на нее. Она порывисто дышала и была бледнее обычного — от этой бледности ее темные глаза под припухшими веками казались еще темнее, а круги под глазами стали совсем черными. Кроме того, я с удивлением заметил, что она дрожит. Но заговорила она твердым голосом, презрительно скривив рот и не сводя с меня глаз:

— Я очень многим обязана вам, мистер Шеннон. Право же, удивительно, как это вы, человек столь высокопоставленный, могли снизойти до такого бедного создания, как я, дочь какого-то пекаря!

Я невольно слушал ее, хоть и утрюмо, но внимательно.

— Вы, очевидно, заметили, что я отсутствовала несколько дней. Не хотите ли знать, где я была?

— Нет, — сказал я. — Не хочу.

— И все-таки я расскажу вам, мистер Шеннон. — Темные глаза ее сверкнули. — Я была в ваших родных местах. Каждый год наша община разбивает где-нибудь лагерь, и мой отец выступает на молитвенном собрании под открытым небом. Вам это, возможно, покажется забавным, но я езжу с ним. В этом году наш лагерь был разбит в Ливенфорде.

Я начал смутно догадываться, к чему она клонит, и настроение мое стало еще мрачнее.

— Надеюсь, палатка не обрушилась на вас.

— Нет, не обрушилась, — запальчиво ответила она, — хотя я уверена, что вам бы этого очень хотелось.

— Нисколько. Я люблю цирковые представления. Так что же вы там делали? Прыгали сквозь обручи?

— Нет, мистер Шеннон. — Голос ее дрогнул. — Мы замечательно, плодотворно выполнили свою миссию. В Ливенфорде, видите ли, есть немало хороших людей. Я познакомилась кое с кем из них после нашего первого собрания. Там была одна чудесная старушка... некая миссис Лекки.

Хоть я и крепко держал себя в руках, а все-таки вздрогнул. Правда, я больше года не видел ее, но разве мог я забыть эту упрямую женщину, которая была и опорой, и бичом моего детства, эту неповторимую особу, носившую шесть нижних юбок и ботинки с резиной сбоку, чье ложе я разделял в возрасте семи лет, любительницу молитвенных собраний под открытым небом, ревеня и мятных лепешек, которой сейчас — как я быстро прикинул в уме, — должно быть, уже семьдесят четыре года! Это ведь была моя бабушка.

Глаза стоявшей передо мною мисс Лоу метали молнии — она увидела, что задела меня за живое. Внезапно она затряслась, словно в ознобе.

— Поскольку это ваши родные места, мы, естественно, заговорили о вас. По правде сказать, мой отец спросил, нельзя ли уговорить кого-нибудь из ваших богатых родственников присоединиться к нашей общине. Она сначала уставилась на нас, а потом принялась хохотать. Да, мистер Шеннон, *хохотать* во все горло.

Я почувствовал, что краснею: перед моими глазами возникло желтое сморщенное усмехающееся лицо, но моя мучительница безжалостно продолжала наносить удары:

— Да, она рассказала нам про вас все. Сначала мы не хотели верить. «Тут какая-то ошибка, — сказал папа. — У этого молодого человека весьма высокопоставленные родственники». Тогда она повела нас через общественный сад.

— Хватит! — в ярости рявкнул я. — Меня не интересуется, что она делала.

— Она повела нас через общественный сад и показала нам ваше поместье. — Бледная и дрожащая, мисс Джин Лоу, задыхаясь, с трудом выговаривала слова: — Мрачный убогий домишко, соединенный общей стеною с другим таким же, вокруг все заросло бурьяном, на веревках висит белье. И все ваши гнусные выдумки выплыли наружу одна за другой. Она сказала нам, что в войну вы вовсе не терпели крушения и не спасались на плоту. «Такой не утонет, — сказала она, — он весь пошел в своего беспутного деда». Да, она даже сказала нам... — тут, когда дело дошло до моего самого страшного греха, голос изменил мисс Джин, — в какую церковь вы ходите.

Я в бешенстве вскочил на ноги. Это было последней каплей в чаше моих бед.

— Да какое вы имеете право читать мне мораль? Я пошутил с вами тогда — и все тут.

— Пошутили?! Это уж совсем стыдно.

— Замолчите вы наконец! — гаркнул я. — Никогда бы я вам всего этого не наговорил, если б вы не бегали за мной, не донимали меня своими проклятыми медицинскими сочинениями и... своими дурацкими белыми коровами!

— Ах вот оно что! — Она изо всех сил закусила губу, но не смогла сдержать слез. — Вот она где правда. Эх, вы — благородный джентльмен, герой, аристократ! Вы — презренный Анания¹, вот вы кто. Поделом бы вам было, если б и вас покарала сила небесные. — Она то бледнела, то краснела, потом судорожно глотнула и вдруг бурно, неудержимо разрыдалась. — Я не желаю вас больше видеть — никогда, никогда в жизни!

— Это меня вполне устраивает. У меня вообще никогда не было желания вас видеть. По мне, так можете уезжать хоть в Блейр-Хилл, хоть в Западную Африку, хоть в Тимбукту. Вообще можете убраться к черту. Прощайте.

Я вышел из комнаты и захлопнул за собой дверь.

ГЛАВА 8

Почти всю ночь я не спал, раздумывая над своим неопределенным будущим. В комнате было холодно. Сквозь раскрытое окно, которое я никогда не закрывал, до меня долетал грохот трамваев с Пардаик-роуд. От него у меня гудело в голове. Время от времени со стороны доков доносился протяжный вой сирены — это какое-нибудь судно, воспользовавшись приливом, спускалось по реке. Из-за стенки не слышно было ни звука — ни единого. Я лежал на спине, заложив руки за голову, и терзался горестными думами.

Ашер не понимал того, что некая внутренняя необходимость — если хотите, вдохновение — побуж-

¹ *Анания* — библейский лжепророк.

дала меня заниматься моим исследованием. Как мог я забросить свою работу, ведь это означало бы пойти наперекор совести ученого, все равно что продать себя в рабство! Желание разгадать причину эпидемии, найти эту странную бактерию было неодолимо. Я просто не мог от этого отказаться.

Настало утро; сделав над собой усилие, я поднялся. Одеваясь, я разорвал вязаный свитер, который носил под курткой, — старенький свитер, прослуживший мне всю войну и ставший положительно незаменимым. Раздосадованный, я стал бриться и порезался. Проглотив чашку чая, я выкурил сигарету и затем отправился в университет.

Утро было холодное, ясное, — казалось, все, кто попадался мне на пути, были в отличнейшем настроении. Я обогнал нескольких девушек в платках — смеясь и болтая, они шли на работу в Гилморскую прачечную. На углу владелец табачной лавки протирал в своем заведении стекла.

На душе у меня было по-прежнему горько и тяжело, и чем ближе я подходил к зданиям кафедры патологии, тем больше волновался, ибо с честью выйти в критическую минуту из положения было — увы! — выше моих возможностей. Войдя в лабораторию, я увидел, что все в сборе, и побледнел.

Все смотрели на меня. Я прошел к своему столу, вытащил ящики и принялся вынимать из них бумаги и книги. Тут профессор Ашер подошел ко мне.

— Очищаете место для новых занятий, Шеннон? — мимоходом спросил он, словно я уже покорился ему. — Когда вы освободитесь, я хотел бы обсудить с вами план нашей работы.

Я перевел дух и, стараясь, чтобы голос звучал ровно, произнес:

— Я не могу взяться за эту работу. Сегодня утром я ухажу с кафедры.

Мертвая тишина. Я, конечно, произвел сенсацию, но это не доставило мне удовлетворения. В глазах у меня защипало. Ашер сердито нахмурился. Я увидел, что он не ожидал этого.

— А вы понимаете, какие могут быть последствия, если вы уйдете без предварительного оповещения?

— Я учел это.

— Ректорат, несомненно, поставит против вашей фамилии черный крест. И вы никогда больше не сможете поступить на кафедру.

— Ничего не поделаешь: придется пойти на это.

Почему я так мямлил? Ведь я же хотел держаться спокойно и холодно, это было тем более нужно сейчас, когда досада и удивление сменились на его лице выражением открытой неприязни.

— Прекрасно, Шеннон, — строго сказал он. — Вы поступаете необычайно глупо. Но раз вы упорствуете, я не могу помешать вам сделать глупость. Я просто умываю руки, и все. В том, что произойдет, виноваты будете вы, и только вы.

Он пожал плечами и направился в свой кабинет, предоставив мне заканчивать сборы. Сложив все в пачку, я обеими руками взял ее и окинул взглядом лабораторию. Ломекс сидел и с обычной полуулыбочкой рассматривал свои ногти, а Смит, повернувшись ко мне спиной, с наигранным безразличием возился у клеток. Только Спенс выказал мне сочувствие — когда я проходил мимо его стола, он тихо сказал:

— Если я могу быть вам полезен, дайте мне знать.

По крайней мере хоть кого-то взволновал мой уход. Я кивнул Спенсу и с высоко поднятой головой направился к выходу, но, проходя в дверь с качающимися створками, не удержал своей ноши: несмотря на все мои усилия, книги выскочили у меня из рук и рассыпались по всему коридору. Здесь было темно, так что мне пришлось встать на колени и ощупью собирать свои пожитки.

На улице холодный воздух ударил в мое разгоряченное лицо, и я вдруг растерялся: как-то странно было среди бела дня возвращаться домой; это чувство еще более усилилось, когда я чуть не упал, споткнувшись о ведро с мыльной водой в темной прихожей «Ротсея». Дом казался каким-то чужим, а воздух в нем — еще более спертым, чем всегда.

Я поднялся наверх, по привычке вымыл руки и, сев за стол, уставился на грязные обои. Что теперь делать? Но, прежде чем я успел ответить на этот вопрос, дверь растворилась и мисс Эйли, в старом халате и стоптанных домашних туфлях, держа в руках швабру и совочек для мусора, вошла в комнату. Увидев меня, она слегка вздрогнула от неожиданности.

— Роб? Что случилось? Вы не заболели?

Я покачал головой; она добрым, встревоженным взглядом смотрела на меня.

— Тогда почему же вы не в университете?

Я с минуту помедлил, потом выпалил всю правду:

— Я ушел оттуда, мисс Эйли.

Она не стала меня расспрашивать, только молча долго глядела на меня, и выражение лица у нее было такое хорошее, почти нежное. Сдунув прядку волос, падавшую ей на глаза, которые когда-то были голубыми, она сказала:

— Только не надо из-за этого огорчаться, Роб. Найдете себе другую работу.

Она помолчала, потом, словно желая отвлечь меня от мыслей о моем несчастье, добавила:

— Беда никогда не приходит одна. Сегодня утром от нас уехала мисс Лоу. Совершенно неожиданно. Такая милая девушка... Она решила вернуться домой и там готовиться к экзаменам.

Опустив голову, я молча выслушал это сообщение, однако под простодушным взглядом мисс Эйли виновато покраснел.

— Тэ-тэ-тэ, — заявила она. — Это уж совсем никуда не годится.

И, не вдаваясь в пояснения, она вышла из комнаты; вскоре она вернулась со стаканом кислого молока и кусочком бисквита. Просто удивительно, как ей удалось обмануть бдительность своей сестрицы и похитить из кухни эти драгоценные лакомства. Она села и с явным удовольствием стала наблюдать за мной, а я, не желая ее обидеть, принялся поглощать принесенные яства. Мисс Эйли считала пищу лекарством от многих бед — точка зрения, вполне понятная в таком доме.

— Вот так-то! — изрекла она, когда я покончил с едой. Всего только эти два слова. Но сколько чувства вложила она в них! И какой поддержкой была для меня ее доброта!

Теперь будущее уже не казалось мне таким мрачным. Медленно, точно солнце, выплывающее из серого тумана, в моей смятенной душе росло решение. Я все равно буду продолжать мою работу — да, как-нибудь, где-нибудь, один, но успешно доведу ее до конца. А почему бы и нет? Другие же работали в невыносимо трудных условиях. Я сжал кулак и изо всей силы хватил им по столу... Ей-богу, я это выполню. Найду где-нибудь себе место — сейчас же... немедленно... и буду работать, работать над своими экспериментами.

ГЛАВА 9

Вновь поверив в себя, я со спокойным сердцем направился в Северную больницу, расположенную совсем недалеко, на левом берегу Элдона, — оттуда даже видна была университетская башня. Ясно, что самым лучшим выходом для меня — хотя, может быть, и «шагом назад» — было бы место врача, живущего при од-

ной из крупных городских больниц, где у меня будут пусть ограниченные, но все же некоторые возможности продолжать мою исследовательскую работу. Я выбрал Северную больницу не только потому, что она имела хорошую репутацию и была для меня удобна, но и потому, что я знал тамошнего администратора — Джорджа Кокса.

В вестибюле городской больницы вечно царит суета, но я с безразличием человека, привыкшего к такого рода зрелищам, прошел мимо внушительной армии санитаров, сиделок и сестер милосердия в белых халатах, миновал несколько выложенных кафелем коридоров и очутился в кабинете администратора; там я сел у стола Кокса и подождал, пока он, отыскав в грудке лежавших перед ним бумаг стопочку различных диетических меню, быстро подписал их.

— Кокс, — сказал я, когда он освободился, — я хотел бы поступить к вам в штат.

Посмотрев в свою очередь на меня, он весело улыбнулся и закурил сигарету. Ему было года тридцать два; плотный, мускулистый, с плоским, некрасивым, но добродушным лицом, коротко подстриженными светлыми усами и огрубевшей, красной, пористой и вечно-жирной кожей, он отличался бычьим здоровьем и, не жалея, растрчивал его; впрочем, многочисленные вольности, которые он позволял себе, начиная с непрерывного курения и кончая «прогулками к красному фонарю», как он это называл, не оставляли на нем ни малейшего следа. Он усиленно занимался спортом и в студенческие годы представлял университет на всех спортивных состязаниях, а теперь, не желая прерывать связь с той организацией, где благополучно переломал себе почти все кости, он, не задумываясь, занял пост администратора в больнице при медицинском факультете.

Наконец он ответил мне с несколько тяжеловесным юмором:

— Директор пока еще не собрался уходить в отставку. Когда он надумает, я дам вам знать.

— Я не шучу, — поспешно сказал я. — Я действительно хочу поступить к вам интерном.

Он был так удивлен, что не сразу сумел перестроиться на серьезный лад.

— А как же работа на кафедре?

— Она неожиданно кончилась... сегодня утром.

Кокс переменил позу, старательно стряхнул пепел с сигареты на пол.

— Какая жалость, Шеннон! У нас сейчас нет ни одного свободного места. Понимаете, мы только что заполнили все вакансии, так что на ближайшие полгода у нас ничего не предвидится. К тому же все интерны — с виду на редкость здоровые парни.

В комнате воцарилась тишина, лишь стук машинки доносился из-за стеклянной перегородки. Я видел, что этому славному малому не по себе, даже как-то неудобно, что человек с такими знаниями, как я, ищет работу, которую способна выполнить любая мелюзга. Однако я знал, что он совершенно честно ответил мне.

— Ладно, Кокс. Попытаю счастья в больнице Александры.

— Непременно попытайте, — горячо посоветовал он. — Позвонить им насчет вас?

— Спасибо, — сказал я, вставая, — но уж я сам.

Я побывал в больнице Александры. Был и в Большой Восточной, и в больнице Короля Георга, и в Королевской бесплатной, — словом, со все возрастающей горечью я добросовестно, но тщетно обошел все городские больницы. Мне и в голову не приходило, что мои поиски работы могут оказаться тщетными. Я забыл, что во время войны, дабы удовлетворить потреб-

ность страны в медицинских кадрах, срок обучения в соответствующих институтах был сокращен и ускорен: молодых людей и девушек кое-как натаскивали по нужным дисциплинам, затем давали диплом в руки и, как по конвейеру, выпускали сотнями. В результате специалистов оказалось больше, чем нужно, и я теперь был лишь одним из очень и очень многих.

Я еще отчетливее уяснил себе это в последующие несколько дней, когда в качестве кандидата на пособие по безработице ждал своей очереди, чтобы попасть в Уинтонское медицинское агентство. Вакансий ни в одной больнице не было. Я мог купить практику терапевта за какие-нибудь три тысячи фунтов стерлингов. Я мог также при желании получить на две недели «место» на уединенном островке Скай, но, пока я раздумывал, стоит ли соглашаться на такое временное разрешение трудностей, и эта возможность была упущена: место выхватил у меня из-под носа бледный юноша в очках, стоявший за мной в очереди. В конце недели я, к стыду своему, вынужден был направиться к старшей мисс Дири в ее крошечный кабинетик под лестницей.

— Извините, мисс Бесс, но я не могу заплатить вам на этой неделе. У меня нет ни гроша.

Несмотря на полутьму, я увидел, как она выпрямилась, точно удав; устремив на меня страдальческий укоризненный взгляд, она с самым набожным и благородным видом сказала:

— Я догадывалась об этом, доктор... К несчастью, у меня есть в этом отношении кое-какой опыт. Понятно, мы придерживаемся в таких случаях самых строгих правил. Но вы наш старый клиент. Живите пока.

Выйдя из ее святилища, я с благодарностью подумал, что мисс Бесс проявила ко мне большую снисходительность. Но, увы, эта добродетель не была постоянной чертой ее характера, и, поскольку день прохо-

дил за днем, а я так ничего и не сумел найти, она все чаще закатывала за столом глаза, страдальчески вздыхала, время от времени взирая на меня с покорным видом мученицы, у ног которой я складываю хворост для костра, и то и дело намеренно переводила разговор на такие тягостные темы, как стоимость электричества и повышение цен на мясо. Я заметил также, что мои порции начали с математической точностью уменьшаться. Под конец, чтобы не выглядеть попрошайкой, я вообще перестал появляться за ужином, рассчитывая, что сумею притупить голод корочкой хлеба с сыром, которые потихоньку приносила мне в комнату мисс Эйли.

В конце месяца, хотя я всячески старался избегать встреч с мисс Бесс, я почувствовал, что критическая минута приближается и что я скоро могу очутиться на улице, за дверями «Ротсея», где кровом мне будет лишь небо. Но вот как-то в субботу мисс Эйли вызвала меня из моей берлоги к телефону. И я услышал голос Спенса:

— Вы уже устроились, Шеннон? — Поскольку я медлил с ответом, стыдясь признаться в своем крахе, он продолжал: — Если нет, то я слышал, что есть вакансия в Далнейрской сельской больнице. Это небольшое заведение для инфекционных больных, и Хейнз, который работает там доктором, неожиданно объявил о своем уходе. Вы помните Хейнза? У него всегда был какой-то сонный вид. Он говорит, что работы там немного. Следовательно, свободного времени у вас будет предостаточно. Я подумал, может быть, это вас заинтересует, тем более что это по дороге в Ливенфорд — почти что в ваших родных краях.

Я принялся было благодарить его, но он повесил трубку, я тоже положил трубку на рычажок и подумал о том, каким хорошим, спокойным, ненавязчивым другом оказался Спенс. А вот Ломекс — тот и не вспом-

нил обо мне. Что же до этого места, то я должен получить его любой ценой, и, поскольку Далнейр находится совсем рядом с Ливенфордом, я инстинктивно понял, как этого лучше всего достичь. Настало время глубоко запрятать последние остатки гордости.

Вернувшись к себе в комнату, я скрепя сердце написал письмо единственному человеку, на которого — я знал — могу рассчитывать. Я занял марку у мисс Эйли и опустил письмо в почтовый ящик, стоявший у нас в прихожей. Затем, как только начало смеркаться, я завернул микроскоп в зеленый суконный чехол и отнес его через парк к Хильерсу, содержавшему ломбард за университетом специально для нуждающихся и поиздержавшихся студентов. У него я и заложил свой прибор за восемь фунтов пятнадцать шиллингов. Это был лейцевский микроскоп, который стоил, наверно, двадцать гиней, но я не умел торговаться и без возражений взял предложенную сумму.

Я не удостоил ответом длинноволосого молодого клерка, у которого за ухом, как бы подчеркивая остро-ту его пронизательности, торчал карандаш — обесценив одно за другим достоинства моего микроскопа, он был повинен в том, что я получил за него так мало, а теперь вздумал завести со мной любезную беседу о погоде, — и вложил семь фунтов (стоимость моего месячного содержания) в конверт для вручения мисс Бесс. Пять шиллингов — на железнодорожный билет до Ливенфорда и обратно — я для большей сохранности запрятал в верхний кармашек жилета. После всего этого у меня осталось тридцать шиллингов, которые, вспомнив лишения последнего месяца, мои урезанные порции, корочки хлеба с кусочками сыра, я безрассудно решил тут же истратить на обед в расположенной неподалеку «Таверне Роб Роя» — известном ресторане, находившемся под покровительством университета и славившемся своей отличной национальной кухней.

Итак, я вышел от Хильерса и, заранее облизываясь, стал подниматься по глухой уединенной аллее — скорее мощенной плитами дорожке, вившейся между смоковницами, — на холм, где стоял университет. Внезапно я увидел впереди одинокую женскую фигуру — женщина шла мне навстречу, слегка изогнувшись под тяжестью учебников; она с задумчивым и печальным видом медленно спускалась к трамвайной остановке, и, поскольку я сразу признал в молодой особе мисс Джин Лоу, меня словно ножом полоснуло по сердцу. Голова ее была опущена, взгляд устремлен в землю, и какое-то время она не видела меня, но, когда нас разделяло всего шагов двадцать, она, точно предупрежденная инстинктом об опасности — близости чужеродного элемента, — подняла затуманенные глаза и в тот же миг встретилась со мной взглядом.

Она вздрогнула, приостановилась было в нерешительности и пошла дальше; лицо ее, только что безучастное, кое-где выпачканное — очевидно, во время работы, — показавшееся мне сейчас таким маленьким и взволнованным, вдруг стало белым, точно мука, из которой пек хлеб ее отец. Она хотела отвернуться, но не смогла, и все время, пока мы шли друг другу навстречу, ее темные глаза неотрывно смотрели на меня, испуганные и затравленные, точно у преступника, повинного в смертном грехе. Вот мы поравнялись друг с другом — мы были так близко, что я почувствовал запах виндзорского мыла. Что это со мной? В ту минуту, когда она была почти рядом, в груди моей что-то затрепетало — волна накатилась и схлынула. Она прошла мимо, чопорно выпрямившись, высоко держа голову, и тотчас скрылась из виду.

Я не стал оглядываться, однако вид этой бледной одинокой девушки невероятно взволновал и расстроил меня. Почему я не заговорил с ней? Сейчас, когда у меня есть немного денег в кармане, так просто было

сделать красивый жест и попытаться искупить свою вину, пригласив ее отобедать со мной. Опечаленный, раздосадованный собственной тупостью, я наконец обернулся. Но ее уже и след простыл — она исчезла в мягких сумерках, быстро сгущавшихся под распускающимися смоковницами. Я ругнулся очень дурным словом.

А затем... Я и сам не могу объяснить, почему я совершил этот поступок, о котором тотчас же пожалел; не стану я и пытаться оправдать то, что не поддается оправданию, но уж раз я поклялся быть откровенным, как ни стыдно, а придется об этом рассказать.

Продолжая свой путь к вершине холма по узеньким старинным улочкам за университетом и ругая себя на чем свет стоит, я вдруг очутился перед церковью Рождества Христова, которую в раннюю пору студенчества посещал каждый день и куда, влекомый neodолжимым инстинктом, продолжал заходить, несмотря на беспорядочность моей жизни и противоречивость убеждений, — я приходил сюда в порыве умиления, чтобы в полутьме храма искупить свои грехи, дать обещание исправиться и, излив душу, обрести успокоение.

И вот сейчас, охваченный неудержимым стремлением, я на миг остановился, подобно человеку, которого грабитель схватил сзади за шиворот, и вдруг опрометью кинулся в маленькую церквушку, где так сладко пахло ладаном, свечным воском и сыростью. Здесь, у двери, словно совершая преступление, я поспешно сунул мои три новенькие десятишиллинговые бумажки в железную кружку, запертую на висячий замок, на которой серыми буквами было выведено: «Св. Винсенту де Полю», и, даже не взглянув в сторону алтаря, выскочил на улицу.

«Вот! — без малейшего удовлетворения сказал я себе (если какие святые наблюдают за мной, пусть слышат). — Оставайся без обеда, болван!»

ГЛАВА 10

На следующий день в два часа я прибыл в Ливенфорд. Я не раз давал себе слово устроить сентиментальное путешествие в этот городок на берегу Клайда, где я вырос, где серый фасад Академической школы, высокая трава в общественном саду с маленькой железной эстрадой для оркестра, неуклюжий силуэт Замка на Скале, виднеющийся сквозь высокие сооружения доков, а вдали очертания Бен-Ломонда — все, казалось, было насыщено воспоминаниями моих детских лет. Однако я так и не сумел улучшить момент и удовлетворить это свое желание — время оборвало многие из нитей, привязывавших меня к городу. И вот сейчас, когда я шел по главной улице к конторе Дункана Мак-Келлара, всецело занятый мыслями о предстоящей встрече, которой я сам искал, меня поразила не романтика окружающих мест, а их унылая прозаичность. Городок выглядел маленьким и грязным, обитатели его — удивительно заурядными, а некогда внушительная контора адвоката, приютившаяся напротив городской ратуши, которая показалась мне сейчас совсем жалкой, была какая-то уж очень облезлая.

Однако сам Мак-Келлар мало изменился — быть может, чуть поприбавилось красных прожилок на носу, а в остальном все тот же — так же гладко выбрит и коротко подстрижен, глаза так же холодно и пронизательно смотрят из-под рыжеватых бровей, все так же сдержан, осторожен, беспристрастен. Мак-Келлар не заставил меня долго ждать, и когда я сел перед его большим письменным столом красного дерева, он повернулся спиной к черным лакированным ящичкам с документами и, выпятив пухлую нижнюю губу и глубокомысленно поглаживая подбородок, некоторое время молча меня разглядывал.

— Ну-с, Роберт, — закончив осмотр, неторопливо проговорил он наконец. — В чем на этот раз дело?

Вопрос сам по себе был довольно обычный, но я уловил скрытое порицание в тоне стряпчего и настороженно взглянул на него. Всю жизнь, начиная с далеких дней моего детства, когда он, встречая меня на улице, молча совал мне в руку билеты на концерты механической пианолы, я ощущал симпатию и сочувствие этого человека. Он принял мою сторону, когда я был еще ребенком; как само олицетворение порядочности, распорядился деньгами, оставленными мне на образование, и в качестве неофициального опекуна давал мне советы и ободрял меня в мои студенческие годы. Но сейчас он лишь мрачно покачивал головой в знак порицания.

— Ну-с? Я слушаю, мальчик. Что тебе надо?

— Ничего, — ответил я, — если вы так к этому относитесь.

— Тэ-тэ-тэ. Не валяй дурака. Выкладывай.

подавив обиду, я рассказал ему обо всем, как сумел.

— Теперь вы понимаете, насколько это важно. Продолжать работу я смогу лишь в том случае, если получу место где-нибудь в больнице. Конечно, Далнейрская больница — заведение не из крупных, зато все свободное время я смогу посвятить своей работе.

— Ты думаешь, назначения лежат у меня в кармане, как камушки у мальчишек?

— Нет. Но вы — казначей совета здравоохранения нашего графства. Вы пользуетесь влиянием. Вы можете меня туда устроить.

Мак-Келлар, насупившись, снова внимательно оглядел меня, потом, не в силах сдержать раздражение, вспыхнул:

— Нет, ты только посмотри, на кого ты похож! Оборванный, жалкий. На куртке не хватает пуговицы, воротничок смят, волосы давно не стрижены. Ботинки —

дырявые. Вы, сэр, сущее позорище — позорище для меня, для себя и для всей медицинской профессии, вот что я вам скажу. Черт бы тебя побрал, да разве ты похож на доктора? И это после всего, что для тебя было сделано! Ты же самый настоящий бродяга!

Атака была уничтожающая, и я молча прикусил губу.

— И обиднее всего, — продолжал он, распаяясь и окончательно переходя на шотландский диалект, — что во всем виноват ты сам, твое упрямство и глупость. Подумать только: перед тобой открывалась такая карьера, ты набрал столько медалей и наград, был зачислен на кафедру, на тебя было возложено столько надежд... и вот теперь дошел до эдакого... Да это же, черт побери, до слез обидно!

— Хорошо. — Я поднялся. — Будьте здоровы. И благодарю вас.

— Садись! — гаркнул он.

Наступила пауза. Я сел. Усилием воли он обуздал себя и сдавленным голосом проговорил:

— Я просто не могу больше один нести ответственность за тебя, Роберт. Я пригласил сюда на совет некое лицо, которое интересуется тобой не меньше меня и чье здравое суждение я чрезвычайно ценю.

Он нажал кнопку звонка, и мисс Гленни, его преданная служанка, почтительно провела в комнату особую, неизменную, как сама судьба, и непреклонную, как рок, — в извечной черной с бисером накидке, в башмаках с резинкой сбоку и креповом чепце с белой оборкой.

Из всех моих родственников, разбредшихся по свету, в Ливенфорде осталась только бабушка Лекки. С тех пор как ее сын умер от удара вскоре после своего ухода в отставку из городского отдела здравоохранения, она продолжала жить в его доме «Ломонд Вью»; ей уже стукнуло восемьдесят четыре года, однако она

отличалась крепким здоровьем и была в полном уме и здравой памяти — нестигаемая, непреклонная и неменяющаяся, последняя опора распавшейся семьи.

Отвесив чопорный поклон Мак-Келлару, слегка приподнявшемуся в кресле, она села очень прямо на стул и окинула меня внимательным взглядом; при этом на ее длинном суровом лице, пожелтевшем и изрытом морщинами, не отразилось ничего, точно она впервые меня видела. По обыкновению, она держала сумочку в обтянутой митенкой руке. Волосы ее, все так же разделенные пробором посередине, казалось, стали чуть реже, но в них по-прежнему не было седины, как не было ее и в пучке волос, торчавших из коричневой родинки на ее верхней губе. И она по-прежнему щелкала зубами.

— Итак, мэм, — произнес Мак-Келлар, официально открывая заседание, — приступим.

Старушка снова кивнула и, словно придя в церковь послушать отменно суровую проповедь, вынула из сумочки мятную лепешку и чинно положила себе в рот.

— Дело вкратце сводится к тому, — продолжал юрист, — что Роберт, которому, казалось бы, все благоприятствовало и перед которым открывались великолепнейшие перспективы, сидит сейчас перед нами *без единого гроша в кармане*.

Выслушав это обвинение, которое было вполне справедливым, ибо, если не считать обратного билета в Уинтон, в карманах моих действительно не было ни гроша, бабушка снова сухо кивнула, как бы говоря, что понимает, в сколь бедственном положении я нахожусь.

— Он должен был бы... — постепенно распаяясь, продолжал Мак-Келлар, — он должен был бы уже иметь свою практику. И нашлись бы люди, которые помогли бы ему в этом, стоило ему только слово ска-

зять. Он не дурак. У него приятная внешность. И когда захочет, он умеет быть обходительным. Здесь, в Ливенфорде, он мог бы без особого труда зарабатывать свою тысячу в год добрым звонким серебром. Он мог бы обзавестись семьей, жениться на порядочной девушке и стать солидным, уважаемым членом общества, чего все мы, его друзья, ему желаем. А он что делает? Пускается в безрассудные авантюры, которые не позволяют ему отложить в банк ни фартинга. А сейчас он явился ко мне и просит, чтобы я устроил его в захудалую больницу для заразных — жалкую деревянную дыру, где он закиснет в неизвестности, заживо похоронит себя за какие-то несчастные сто двадцать фунтов в год!

— Вы кое-что упустили из виду, — сказал я. — В этой больнице я смогу заниматься работой, к которой меня влечет, — работой, которая позволит мне выбраться из деревенской глуши и, если следовать вашему мерилу благополучия, принесет мне куда большую известность, чем, скажем, врачебная практика в Ливенфорде.

— Ха! — Мак-Келлар гневным пожатием плеч отмахнул все мои доводы. — Все это воздушные замки. В этом главная твоя беда. Слишком ты непрактичен, чтобы можно было верить твоим словам.

— Я в этом не убеждена! — впервые заговорила старушка и непроницаемым взглядом посмотрела на юриста. — Роберт еще молод. Он хочет добиться чего-то большего. А если мы сделаем его врачом-практиком, он никогда не простит нам этого.

Я едва верил своим ушам. Мак-Келлар, который явно рассчитывал на решительную поддержку моей бабушки, онемев, уставился на нее.

— Мы не должны забывать, что в детстве Роберта поучали все кому не лень. Надо дать ему время разобраться и отбросить все ненужное. И я думаю, самое

правильное — предоставить ему такую возможность. Если он с честью выйдет из положения — прекрасно. Если нет... — Она помолчала, и я понял, что за этим последует. — Ему придется принять наши условия.

Адвокат как-то странно смотрел на бабушку — понимающе и проницательно — и, поджав губы, поигрывал тяжелой линейкой, лежавшей у него на столе.

Я воспользовался молчанием:

— Помогите мне получить это место в Дальнейской больнице. Если из моих опытов ничего не выйдет и мне придется снова обращаться к вам за помощью, даю вам слово, я поступлю так, как вы скажете.

— Хммм! — Мак-Келлар колебался, мямлил, продолжая исподлобья поглядывать на старушку вопрошающим взглядом, в котором, однако, преобладало невольное уважение.

— Мне это кажется вполне разумным, — мягко заметила она и еле заметно многозначительно улыбнулась ему.

— Хммм! — промычал Мак-Келлар. — Может быть... Может быть... Что ж... — И наконец решился: — Пусть будет так. Учти, Роберт, я не могу обещать тебе, что ты получишь эту работу, но я постараюсь: я хорошо знаю Мастерса — председателя Опекунского совета. И я надеюсь, что, если я тебе это место добуду, ты тоже сдержишь свое слово.

Мы пожали друг другу руки, и, побеседовав еще немного, я вышел из конторы.

Мне хотелось уйти, пока старушка не завладела мной. Но не успел я ступить на тротуар, как услышал ее голос:

— Роберт!

Пришлось обернуться.

— Куда ты так торопишься?

— Я спешу на поезд.

Она словно и не слышала моего объяснения.

— Дай-ка мне руку. Я ведь далеко не молоденькая, Роберт.

Я стиснул зубы. Мне было двадцать четыре года, я уже бактериолог, работавший, презрев опасность, над изучением смертоноснейших микробов, и немало перенес после войны. Но при ней все эти годы словно исчезали куда-то и я снова становился ребенком. Она меня принижала. Она меня подавляла. И по тому, как она властно взяла меня под руку, я понял, что мне придется провести с ней весь остаток дня и что она вытянет из меня с помощью своего острого языка подробнейший рассказ о моей жизни.

Когда, рука об руку, чинно шествуя, мы повернули на Церковную улицу, она пригнулась к моему плечу и, сокрушая остатки моего сопротивления, сказала:

— Перво-наперво мы снимем с тебя эту старую форму. Пойдем сейчас в город, в кооперативный магазин, и купим тебе приличный шерстяной костюм. Затем вместо этих развалившихся опорок наденем на твои заблудшие ноги новые ботинки. Да, да, молодой человек, не пройдет и часу, как мы приведем тебя в христианский вид.

Я содрогнулся при мысли о том, как продавщицы в отделах обуви и готового платья будут «снаряжать» меня под ее зорким оком.

Но тут она пригнулась ко мне еще ближе и, распространя сильный запах мятных лепешек, жарко зашептала мне в ухо:

— А теперь расскажи-ка мне, Роберт, про эту девушку Лоу.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 1

В Далнейре, на станции, меня встречал больничный шофер, он же служитель, приехавший на старенькой, поблескивавшей латуню аргайлской карете «скорой помощи», похожей больше на похоронные дроги, — вид у нее был довольно облезлый, но зато она так и сверкала протертыми стеклами. Представившись мне и назвавшись Питером Пимом, он неторопливо поставил в карету мой чемодан и после многократных попыток наконец завел мотор. Мы прогромыхали мимо беспорядочно сгрудившихся ветхих домишек, мимо грязной лавчонки, нескольких глиняных карьеров и заброшенного кирпичного завода; затем перебрались через речку, мужественно продирающуюся сквозь грязь и ил, и выехали в поля, скорее похожие на городскую свалку, однако сейчас, ранней весной, прикрытые свежим зеленым покровом.

Подпрыгивая на жестком переднем сиденье, я время от времени бросал испытующие взгляды на моего спутника, сидевшего в профиль ко мне, — его лицо под козырьком фуражки казалось таким бесстрастным, точно он спал летаргическим сном, и я не решался разбудить его, заговорив с ним. Однако под конец я все-таки отважился похвалить его древнюю колымагу, которая, судя по тому, как он осторожно действовал тормозами, была, несомненно, источником его гордости.

Он ответил не сразу — лишь спустя некоторое время, пристально глядя на дорогу, внушительно произнес:

— Я люблю машины, сэр.

Если так, то, подумал я, он может быть мне полезен, и я поспешил выразить надежду, что мы будем друзьями.

Он снова ответил не сразу, прежде поразмыслив над моими словами:

— Я думаю, что мы поладим, сэр. Я всегда стараюсь угодить человеку. У меня были прекрасные отношения с доктором Хейнзом. Приятный джентльмен доктор Хейнз, сэр, с ним легко было. Очень я жалел, что он уезжает.

Несколько расхоложенный восхвалением моего предшественника и печальным тоном, каким все это было произнесено, я погрузился в молчание, которое так больше и не нарушилось; тем временем мы добрались по узкой проселочной дороге до вершины холма и повернули на усыпанную гравием аллею, которая, описав полукруг, привела нас к небольшой группе аккуратных кирпичных строений. У самого большого из них мы остановились, и, выйдя из кареты «скорой помощи», я увидел смуглую приземистую женщину в форме; по всей вероятности, она и была начальницей: она стояла на ступеньках, придерживая от ветра свой крылатый белый чепец, и радушно улыбалась.

— Доктор Шеннон, если не ошибаюсь? Рада с вами познакомиться. Меня зовут мисс Траджен.

В противоположность Пиму, отмалчивавшемуся с кислой миной, начальница была очень общительна, и не успел я опомниться, как уже очутился в главном здании, в отведенных мне комнатах; у меня теперь была гостиная, спальня и ванная, выходявшие на восток. Затем, со свойственной ей энергией и энтузиазмом, мисс Траджен повела меня по всему заведению, которым так гордилась.

Больница была маленькая — всего четыре небольших домика, расположенных за административным

зданием в форме квадрата; они отведены были соответственно для больных скарлатиной, дифтеритом, корью и «прочими инфекционными заболеваниями». Оборудование здесь было самое примитивное, зато устроенные по старинке палаты с хорошо натертыми полами и белоснежными койками сверкали чистотой. Пациентами — а их было немного — являлись в основном дети. Они сидели в своих красных пижамах на кроватках и улыбались нам; послеполуденное солнце, проникая сквозь высокие окна, ярким светом заливало палаты, и я подумал, что мне будет приятно здесь работать. Да и старшие сестры — по одной на каждый корпус — не разочаровали меня: они казались выдержанными и смышленными. Словом, эта маленькая, скромная больница, стоявшая на высоком, овеваемом ветрами холме, царившем над всей округой, производила впечатление дельного и полезного учреждения.

В самом дальнем углу больничной территории, на некотором расстоянии от четырех корпусов, стоял особняком бурый домик из гофрированного железа, полуразвалившийся и кругом заросший кустарником.

— Здесь у нас был изолятор для оспенных больных, — пояснила мисс Траджен, подметив своими острыми маленькими глазками мой вопросительный взгляд. — Как видите, мы им не пользуемся... так что нам туда нет смысла заходить. К счастью, он совсем не виден из-за лавровых кустов. — И она любезно добавила: — За последние пять лет к нам не поступало ни одного больного оспой.

Отсюда — с тем же видом вполне оправданной гордости — она повела меня в комнату отдыха медицинских сестер, на кухню и в приемную, где все сверкало той же безукоризненной чистотой, а затем в помещение, где стоял длинный деревянный стол, к которому были подведены газ и электричество и прилажены две фарфоровые раковины. У стены громоздилось

несколько полированных столов и две-три скамейки, поставленные одна на другую.

— Это у нас лаборатория, — пояснила начальница. — Правда, хорошо?

— Очень.

Больше я, конечно, ничего не сказал. Но я сразу понял, что у меня будет отличная лаборатория. Пока мы шли назад по дорожке, я уже мысленно прикидывал, как я там размещусь и все устрою.

Вернувшись в главное здание, мисс Траджен настояла на том, чтобы я зашел выпить чаю к ней в гостиную — очаровательную просторную комнату с окном-фонарем, выходящим на фасад; там стояло несколько кресел в ситцевых чехлах и диван, на пианино возвышалась фарфоровая ваза с гиацинтами — я сразу заметил, что эта комната приятнее всех, где мы до сих пор были. Начальница нажала кнопку, и краснощекая деревенская девушка в накрахмаленном чепце и передничке — мисс Траджен назвала ее Кейти и представила мне как нашу «общую» горничную — вкатила в комнату чайный столик, на котором стояли чашки и высокая ваза с тортом. Не переставая болтать, мисс Траджен церемонно уселась и предложила мне на выбор индийского или китайского чая, а также недурной кусок сливового торта, только что вышедшего из больничной печи.

На вид ей было лет пятьдесят, и, как она мне сообщила, прежде чем «осесть» в Дальнейрской больнице, она провела десять лет в Бенгалии в качестве армейской медицинской сестры; по всей вероятности, длительное пребывание там и придало ее широкому лицу с крупными чертами этот медный оттенок, а в голос и манеры привнесло нечто такое, что делало ее похожей на старшего сержанта. Еще когда мы обходили палаты, я заметил, что у нее на редкость пышный бюст, короткие ноги, походка вперевапочку и мерно пока-

чивающиеся внушительные бедра. А сейчас ее грубоватая прямолинейность, громкий смех, резкие решительные жесты и вовсе навели меня на мысль, что это существо призвано скорее командовать в казармах, чем лечить больных.

Однако больше всего меня поразила в ней убежденная гордость за больницу, которую она считала чуть ли не своей собственностью. Вот она снова в слегка шутовском тоне переводит разговор на эту самую важную для нее тему:

— Я рада, что вам нравится наше маленькое заведение, доктор. Кое-что в нем, конечно, устарело, и я пыталась исправить положение с помощью нескольких армейских хитростей. Мне пришлось немало потрудиться, чтобы привести больницу в ее теперешний вид. Да, я, можно сказать, вложила в нее всю душу.

Последовало короткое неловкое молчание, но тут, на мое счастье, я услышал осторожный стук, и в ответ на брошенное мисс Траджен «войдите» ручка двери бесшумно повернулась и на пороге появилась высокая, тощая рыжеволосая сестра. Увидев меня, она вздрогнула, и ее светло-зеленые глаза, обрамленные желтыми, как солома, ресницами, со страхом и смирением устремились на начальницу, бронзовое лицо которой осветила снисходительная улыбка.

— Входите, входите, дорогая. Не убегайте. Доктор, это наша ночная сестра Эффи Пик. Она обычно днем пьет со мной чай, когда отоспится после ночного дежурства. Садитесь, дорогая.

Сестра Пик скромно вошла в комнату и, сев на низенький стул, взяла предложенную ей чашку чаю.

— Я очень рада, что вы познакомились с сестрой Пик, — заявила мисс Траджен. — Это мой самый ценный работник.

— Ах что вы! — Бледная рыжеволосая сестра содрогнулась всей своей недостойной плотью от этого

комплимента; затем, повернувшись ко мне, проговорила еле слышно: — Начальница очень добра. Но конечно, каждое ее слово так много значит. Ведь она у нас по всем вопросам авторитет. И она здесь уже очень давно — трудно даже представить себе, что бы мы без нее делали. Доктора-то ведь приходят и уходят. А начальница всегда здесь...

Перефразировав таким образом теннисоновский «Ручеек», это бесцветное существо — даже ее рыжие волосы и те казались какими-то блеклыми, а кожа — белой словно молоко — погрузилось в почтительное молчание. Посидев еще несколько минут, сестра, словно не решаясь дольше злоупотреблять нашим временем, встала и, бросив на начальницу преданный взгляд, выскользнула из комнаты: ей пора было на ночное дежурство. Я не namного пересидел ее. Вскоре я поднялся и, поблагодарив мисс Траджен за теплый прием, попросил позволения откланяться: мне ведь еще надо было разобрать свои вещи.

— Отлично, доктор. Теперь нам предстоит с вами трудиться вместе. А я здесь, как говорит сестра Пик, старожил. — Она вскочила на ноги и, широко улыбаясь, с минуту пристально смотрела на меня, потом весело добавила: — Я думаю, вы согласитесь с тем, что я поступаю всегда так, как надо.

Когда я добрался до отведенного мне помещения, в чувствах моих царил довольно любопытная неразбериха: я был доволен оказанным мне приемом и, прохаживаясь по комнате, осматривая ее строгую и вместе с тем уютную обстановку глазами человека, которому предстоит здесь жить и привыкнуть к этим незнакомым предметам, говорил себе, что хотя мисс Траджен, возможно, и резковата, но она жизнерадостная, душевная женщина; однако в глубине души меня почему-то смущала ее напористость, смущали некоторые жесты и слова, а почему — я не мог понять.

ГЛАВА 2

И все-таки ничто, ничто не способно было испортить мне настроение или приглушить радость, которая вспыхнула во мне при мысли о том, что я снова смогу взяться за научную работу после стольких недель бездействия, сводившего меня с ума.

Как я и предполагал, мои обязанности здесь были приятными и необременительными. Больница была маленькая — самое большое на пятьдесят коек, а сейчас, поскольку никаких эпидемий не наблюдалось, у нас лежало всего около двенадцати детей; почти все уже выздоравливали, так как у большинства была простая корь, и при всей своей добросовестности, сколько бы я ни задерживался, обходя палаты, к полудню я уже был свободен.

Лаборатория здесь оказалась даже лучше, чем я предполагал. В шкафах и ящиках я обнаружил разнообразнейшие сосуды и приборы, которые так или иначе могли мне пригодиться. В больницах всегда скапливается множество всякого оборудования: заказывают тьму-тьмущую, а потом рассуют по полкам и забудут. Потребовалось совсем немного времени, чтобы расставить принадлежащие мне приборы, в том числе и микроскоп, который, заняв деньги под будущее жалованье, я выкупил у Хильерса. На бумаге с больничным штампом я уже завязал оживленную переписку с несколькими врачами, практикующими в других сельских местностях, охваченных эпидемией; они любезно присылали мне пробы крови, и, присовокупив их к еще хранившимся у меня дримовским пробам, я снова принялся культивировать бациллу «С».

Всем этим я занимался, конечно, тайком. Я тщательнейшим образом выполнял свои обязанности и усердно старался оказывать всяческие услуги и внимание начальнице, которая в эти первые дни хоть

и улыбалась мне доброжелательно, однако пристально меня изучала — так опытный боксер изучает своего противника во время первого раунда на ринге.

Любопытное она была существо. Когда она приехала в Далнейр — в «добрые старые времена», оплакиваемые Пимом, который, как я вскоре выяснил, оказался завзятым ворчуном, — больница была в весьма запущенном состоянии. Постепенно мисс Траджен изменила существовавшие здесь порядки, завоевала расположение Опекунского совета и прибрала к рукам всю больницу. Теперь она распоряжалась всем, что было в этих зданиях, начиная с чердака и кончая погребом, — словом, была хозяйкой строгой, экономной, умелой и неутомимой.

— Целый день изволь быть наготове: того и гляди куда-нибудь пошлет, — горько, но не без достоинства жаловался мне Пим, сидя на перевернутом ведре; по утрам он начищал свою старенькую карету «скорой помощи». — Какие и были доходишки, все прикончились. Поверите ли, сэр, она даже мыло, которым я мою карету, и то учитывает.

Завтракал и ужинал я один, но второй завтрак — так уж было принято в Далнейре — я вкушал в обществе начальницы. Каждый день ровно в час она являлась ко мне «перекусить», как она это называла, садилась за стол и закладывала салфетку за ворот платья. Она любила покушать, особенно всякие острые блюда с пряностями, которые частенько появлялись у нас на столе и подавались с приправой из манго или с ломтиками кокосового ореха. Наложив себе полную тарелку, она тщательно все перемешивала и принималась есть ложкой душистую смесь — только ложкой, а не иначе, поясняя она мне, — запивая еду большими глотками лимонного сока с содовой водой. Она гордилась своими кулинарными рецептами, вывезенными из Бенгалии, и обладала солидным запасом всяких

историй из своей армейской жизни, которыми заодно потчевала меня; самой любимой из них было вдохновенное повествование о том, как она вместе с полковником Сатлером из Бенгальской медицинской службы воевала с холерой в Богре в 1902 году.

Хотя она без конца повторяла одно и то же, рассказы ее не лишены были юмора — правда, несколько грубоватого, на мой вкус, — и пока еще не заставили меня ее возненавидеть. Она, пожалуй, несколько излишне увлекалась военной дисциплиной, но уж очень обезоруживающим был ее низкий грудной смех, и иногда она могла быть очень доброй. К сестрам, которые хорошо работали и не перечили ей, она в общем относилась доброжелательно и справедливо. Не один год она, не щадя усилий, добивалась — а это было отнюдь не легко, — чтобы Опекунский совет согласился улучшить условия труда и оплату ее персонала. В такой больнице, как Далнейрская, работа всегда связана с опасностью подцепить инфекцию, и если какая-нибудь из сестер заболела, мисс Траджен, которая за неделю до этого могла всячески поносить ее, принималась, как мать, ухаживать за больной.

Одной из ее слабостей было пристрастие к шашкам, и вечерами она нередко оказывала мне честь, приглашая к себе поиграть. Дело в том, что мой дедушка, великий мастер этого искусства, научил меня еще мальчишкой всем скрытым и дьявольским тонкостям «прохождения в дамки» и во время наших бесчисленных сражений за шашечной доской я воспринял от него все своеобразные хитрости, с помощью которых можно заманить противника в приготовленную для него западню. При первой же нашей игре с начальницей я уже через тридцать секунд понял, что ей далеко до меня и мне придется порядком поломать голову, чтобы проиграть ей. И все-таки, действуя разумно и дипломатично, я неизменно проигрывал — к ее ве-

личайшему восторгу. Одержав надо мной верх, она с довольным видом откидывалась на спинку кресла и подтрунивала надо мной, ликуя, что я не могу с ней справиться, — при этом она неизменно рассказывала мне в назидание о своей исторической игре с полковником Сатлером во время эпидемии холеры в Богре в 1902 году.

Трудно было устоять от соблазна обыграть ее, однако я никогда не забывал о той цели, которую перед собой поставил, и с похвальной выдержкой проигрывал. Но однажды вечером онахватила через край и ее насмешки больно задели меня.

— Вот несчастный! — издевалась она. — Да где же у вас голова? Просто удивительно, как это вы сумели получить диплом! Придется давать вам уроки. Я вам когда-нибудь рассказывала, как мы играли с?..

— Я уже скоро буду знать эту историю наизусть, — отрезал я. — Расставляйте шашки.

Она расставила, трясая от смеха и наслаждаясь тем, что сумела допечь меня. Игра началась, и я за пять ходов прошел в дамки и съел все ее шашки.

— Вот так повезло! — воскликнула она, с трудом веря своим глазам. — Давайте сыграем еще.

— Непременно.

На сей раз она играла более осторожно, но о выигрыше не могло быть и речи. Дважды я ей отдал по шашке и забрал взамен по три, а через четыре минуты она была бита.

Воцарилось напряженное молчание. Лицо ее побагровело. И все-таки она считала, что обязана своим вторичным поражением только какой-то невероятной случайности.

— Нет уж, я не дам вам уйти с победой. Сыграем еще.

Тут мне надо было бы проявить осмотрительность, но уж слишком больно задел меня ее злой язык. Кроме

того, эти частые сидения за шашками отнимали у меня время, отведенное для работы в лаборатории, и мне хотелось положить им конец. Применяв двойное начало, разработанное старым Дэнди Гау, я пожертвовал ей одну за другой четыре шашки, а затем двумя хитроумными ходами забрал у нее все.

Победоносная улыбка, появившаяся было на ее лице, превратилась в злобную гримасу, вены на шее и на лбу вздулись. Она захлопнула доску и с грохотом смахнула шашки в коробочку.

— На сегодняшний вечер хватит. Благодарю вас, доктор.

Уже жалея о том, что я наделал, я примирительно улыбнулся:

— Просто удивительно, как иногда поворачивается игра.

— Совершенно удивительно, — сухо согласилась она. — Вы, оказывается, вовсе не так просты, как кажется.

— Но не всегда же мне будет так чертовски везти. Я уверен, что в следующий раз вы выиграете.

Не в силах сдержать досаду, она поднялась.

— Да за кого вы меня принимаете? Что я, круглая дура, что ли?

— Ну что вы, госпожа начальница!

Усилием воли она взяла себя в руки.

— В таком случае закройте дверь с той стороны.

Очутившись у себя в комнате, я понял, что напрасно задел ее; засунув руки в карманы, я стоял и мрачно глядел в окно, больше злясь на себя, чем на мисс Траджен.

В эту минуту я услышал тарыхтенье и частые выхлопы; из-за поворота дорожки показался красный мотоцикл и остановился под моим окном. Мотоциклист был без шапки; поставив тяжелую машину на подпорки, он снял очки, и я, вздрогнув от удивления, узнал его. Это был Люк Лоу.

Я открыл окно.

— Эй, Люк, здравствуй!

— И вы здравствуйте.

Его веселая улыбка рассеяла мои дурные предчувствия; он вошел в комнату — просто перемахнул через подоконник — и, сняв свои длинные кожаные перчатки, пожал мне руку.

— Я привез вам мотоцикл, — объявил он и, заметив мое удивление, добавил: — Помните? Я ведь говорил, что могу дать вам его на время.

— А разве он тебе не нужен?

— Нет. — Он тряхнул головой. — Во всяком случае, в ближайшие несколько недель не потребуется. Я уезжаю в Ньюкасл. Буду изучать, как в Тайновских пекарнях пекут хлеб из муки крупного помола. Отец знаком с тамошним управляющим.

Я никак не ожидал такой любезности, и мне было неловко соглашаться, но Люк с самым естественным видом отмел все мои возражения и, сев в кресло, вытянул ноги, взял у меня сигарету и закурил.

— Вашему покорному слуге не разрешают курить. — Он усмехнулся. — Но я люблю подымить и всегда пользуюсь случаем, если знаю, что родичи не унюхают. Вы и представить себе не можете, какая это каторга, когда тебе все на свете запрещено. А я хочу жить, как другие парни. — Он с бунтарским и в то же время комическим видом выдохнул дым через нос. — Эх, как бы мне хотелось заниматься делом, которое мне по душе! Кому охота быть подручным у пекаря? Мука крупного помола! Тьфу! Новинка двадцатилетней давности! А мне охота возиться с машинами, мотоциклами и автомобилями, иметь свой заводик. Я в этих делах кое-что понимаю: могу и починить, и наладить. Эх, если б я мог усовершенствовать наше предприятие: установить механические мешалки... электрическую печь...

— Ты это и сделаешь... со временем.

— Ох, — вздохнул он, — может быть.

Мне ясно было, что, несмотря на свою молодость и добродушие, он начинает злиться на родителей за то, что они кое в чем ограничивают его, и хочет жить по-своему.

Помолчав немного, он посмотрел на меня — не то чтобы с укором, но с некоторым замешательством: в душе-то он, мол, осуждает глупость и слабость женского пола, но все-таки вынужден говорить на такую тему.

— Дела у нас дома неважные. Я про Джин, конечно...

Чтобы скрыть свои чувства, я нагнулся и взял из коробки сигарету. Достаточно было одного упоминания этого имени, чтобы я весь запылал. Люк был до того похож на нее — то же открытое лицо, те же карие глаза, вьющиеся волосы, тот же здоровый загар, — что в эту минуту я просто не осмеливался на него взглянуть.

— Что с ней, нездорова? — осторожно осведомился я.

— Куда там! Хуже! — воскликнул он. — Сначала она все бушевала и возмущалась: какие, мол, страшные негодяи и мерзавцы существуют на свете. — Он хмыкнул. — Это о вас, конечно. Потом приуныла. А последние недели только и делает, что плачет. Она старается это скрыть, ну да я-то сразу вижу.

— А все из-за экзамена, наверно, — предположил я. — Она ведь летом должна держать выпускной экзамен, правда?

— Да никогда Джин так не расстраивалась из-за экзаменов. — Он помолчал и добавил доверительным тоном человека, сведущего в таких делах: — Вы не хуже меня понимаете, в чем дело. Вот! Она просила меня передать вам эту записку.

Порывшись во внутреннем кармане своей норфолкской куртки, он извлек сложенный лист бумаги; я взял его, и сердце у меня почему-то вдруг забилося.

Дорогой мистер Шеннон!

Узнав совершенно случайно, что брат едет к Вам по какому-то делу, я решила воспользоваться возможностью и написать несколько строк.

Дело в том, что мне нужно кое-что сказать Вам — это не касается ни Вас, ни меня и не имеет особого значения, но если б Вы случайно оказались в среду в Уинтоне, то не согласились ли бы Вы выпить со мной чаю у Гранта на Ботанической дороге, часов в пять? Возможно, конечно, у Вас найдутся и более интересные занятия. А возможно, Вы и вообще забыли обо мне. Словом, я не обижусь, если Вы не явитесь. Извините за навязчивость. Всегда Ваша

Джин Лоу

Р. S. В субботу я гуляла одна в Верхнем парке и выяснила, почему мы тогда не нашли белых коров. На стадо напала какая-то болезнь, и многие из них подохли. Ну не безобразие ли?

Р. P. S. Я знаю, что у меня много недостатков, но я по крайней мере всегда говорю правду.

Я сложил записку и пристально посмотрел в лукавое и вопрошающее лицо юного Лоу: уж не Джин ли все это подстроила — и приезд Люка, и предложение пользоваться мотоциклом, и приглашение к чаю на будущей неделе — с вполне безобидной, но определенной целью? Мое дурное настроение как рукой сняло: я весь трепетал от радостного возбуждения.

— Поедете? — спросил Люк.

— Думаю, что да, — ответил я как можно более прозаическим и обыденным тоном, хотя у самого сердца так и колотилось.

— Хлопот с этими бабами не оберешься, правда? — заметил Люк с внезапно пробудившейся ко мне симпатией.

Я рассмеялся и, поддавшись внезапному порыву, стал уговаривать его остаться поужинать со мной. Мы

отлично поели, затем принялись за кофе и, покуривая сигареты, расстегнув воротнички, начали рассуждать, как и подобает существам высшей породы, про гоночные мотоциклы, аэропланы, братство всех людей на земле, электрические тестомешалки и необъяснимое непостоянство слабого пола.

ГЛАВА 3

Уинтон был довольно скучный городишко, серый, окруженный кольцом вечно дымящих труб, поливаемый дождями и производящий гнетущее впечатление своей монументальной архитектурой и уродливыми скульптурами; однако славу его — если он мог претендовать на славу — составляли кафе. Десятки этих маленьких оазисов, где можно было отдохнуть и подкрепиться, оживляли унылые улицы; сюда, пройдя через небольшое помещение, отведенное под продажу пирожных, пирожков и печений, стекались в любой час дня граждане Уинтона (клерки, машинистки, продавщицы, студенты и даже степенные торговцы и дельцы), чтобы у столика, накрытого белой скатертью и уставленного вазочками с пирожками, песочным печеньем и разнообразнейшими пирожными, отвести душу за чашкой кофе или чая.

Из всех этих заведений университетская публика больше всего любила кафе Гранта, которое славилось не только своими булочками с кремом, но и атмосферой «хорошего тона»: стены здесь были обшиты темными дубовыми панелями, а над ними вперемежку с перекрещенными палашами и кинжалами висели подлинники картин, писанные членами Шотландской академии художеств.

Итак, в среду, обуреваемый нетерпением и в то же время страхом, я прибыл к Гранту. Я решил отпро-

ситься из больницы на всю вторую половину дня, так как мне надо было еще уладить одно дело, связанное с моей научной работой. Я приехал раньше назначенного времени, но мисс Лоу явилась еще раньше меня. Не успел я войти в переполненное кафе, где стоял гул и слышалось позвякивание ложечек в чашках, как из-за столика, над которым перекрещивались самые внушительные палаша, приподнялась маленькая фигурка и взволнованно замахала мне, приглашая скорее занять свободное место, которое ввиду большого скопления публики ей нелегко было для меня держать. И только... Никакого другого приветствия не последовало; я пробрался сквозь толпу и молча сел рядом с Джин; еще издали я заметил, что на ней теперь уже не «кругляш» и свитер, как в былые дни, а строгий темно-серый костюм и скромная черная шляпа. К тому же она заметно похудела, была бледна — очень бледна — и, хотя всячески старалась скрыть это, мучительно взволнована.

Некоторое время царило натянутое молчание, пока она, подняв указательный палец, старалась привлечь внимание официантки.

— Чай с лимоном или со сливками?

Это были ее первые слова, и произнесла она их очень тихо, не смея взглянуть на меня, тогда как официантка уже стояла у нашего столика, нетерпеливо вертя в пальцах карандаш.

Я заказал чай с лимоном.

— А булочек с кремом хотите?

Я сказал, что хочу, и добавил:

— Угощаю, конечно, я.

— Нет, — упрямо возразила она, однако губы ее дрожали. — Это я пригласила вас.

Мы сидели молча, пока не вернулась официантка, и все так же молча начали пить чай.

— Как много здесь народу, правда? — отважился наконец заметить я. — Популярное место.

— Да. — Она помолчала. — Очень популярное.
И вполне заслуженно.

— О, безусловно. Чудесные булочки!

— Правда? Я очень рада.

— Не хотите ли отведать?

— Нет, благодарю вас. Я не голодна.

— Я очень огорчился, когда узнал из вашего письма о том, что случилось с белыми коровами.

— Да, бедняжки... они очень пострадали.

Снова молчание.

— Сырое стоит лето, правда?

— Очень сырое. Просто непонятно, что происходит с погодой.

Продолжительное молчание. Затем, подбодрив себя глотком чая — я заметил, что рука ее дрожала, когда она ставила чашку, — она повернулась и серьезно и пристально посмотрела на меня.

— Мистер Шеннон, — одним духом выпалила она, — я все думаю: могли бы мы остаться по-прежнему друзьями?

Я смотрел на нее в замешательстве, не зная, что сказать, а она, то краснея, то бледнея, прерывающимся голосом, но стараясь говорить возможно спокойнее и рассудительнее, продолжала:

— Когда я сказала «друзьями», я только это и имела в виду — ни больше ни меньше. Дружба — это такая чудесная вещь. И она так редко встречается. Я имею в виду настоящую дружбу. Конечно, вам, может, вовсе не хочется дружить со мной. Я ведь ничего собой не представляю. И к тому же, сознаюсь, глупо было с моей стороны принимать некоторые вещи так близко к сердцу и ссориться с вами. Я поняла теперь, что вы просто шутили, а я как-то по-детски поверила вам. В конце концов, мы ведь разумные взрослые люди, не так ли? Мы действительно принадлежим к разным вероисповеданиям, и хотя это очень серьезно, но ведь

это же не преступление — во всяком случае, не такое препятствие, которое не позволяло бы нам иногда встречаться за чашкой чая. Будет очень жаль, если наша дружба оборвется просто так, ни с того ни с сего... и мы разойдемся в разные стороны... как корабли, что разминутись в ночи... я хочу сказать, если мы больше не будем видеться... а ведь, если смотреть на это здраво, мы могли бы встречаться часто, то есть время от времени... как друзья...

Она умолкла, поигрывая ложечкой; щеки ее ярко горели — так же ярко, как и карие глаза, которые с испугом, но все же решительно искали моего взгляда.

— Видите ли, — с сомнением сказал я, — трудно-вато это будет, правда? Я работаю. А вам надо много заниматься перед экзаменами.

— Да, я знаю, что у вас нет свободного времени. И мне, по-видимому, придется усердно заниматься. — Странно все-таки, что девушка, когда-то так рьяно изучавшая патологию, сказала это без малейшего энтузиазма, но она тут же поспешно добавила, как бы призывая разумно подходить к проблеме приобретения знаний: — Однако иногда нужна и передышка. Я хочу сказать: нельзя же работать все время.

Наступило молчание. Словно застеснявшись своего яркого румянца, Джин наконец опустила глаза и глубже села в кресло, стремясь укрыться от любопытных взглядов посетителей кафе. Я украдкой поглядывал на нее и просто не мог понять, почему до сих пор пренебрегал ею. Этот румянец, эти опущенные ресницы, отбрасывавшие легкую тень на ее свежие щечки, делали ее такой нежной и — конечно же! — похожей на ангела. Ничто: ни ее простые черные замшевые перчатки, ни старомодные круглые золотые часики, которые она носила на руке, ни даже нелепая скромная шляпка — ничто не могло испортить ее очарования и красоты.

И вдруг, к своему удивлению, я почувствовал, как теплая волна захлестывает меня, и услышал собственный голос.

— Я полагаю, — вполне резонно и решительно заявил я, — что нет такого закона, который запрещал бы это. Мне кажется, мы могли бы время от времени встречаться.

Она так и просияла. На губах ее появилась робкая счастливая улыбка, и, нагнувшись поближе, она воскликнула, и в тоне ее прозвучало преклонение перед моей высокой мудростью:

— Как я рада! А я-то боялась... Я хочу сказать, что это очень разумно.

— Отлично. — Я милостиво кивнул, принимая как должное ее похвалу, и, подстрекаемый непонятым побуждением, заглянул в ее сияющие глаза. — Что вы делаете сегодня вечером?

— Видите ли... Я собираюсь повидать барышень Дири: вы же знаете, как они были добры ко мне. А потом в половине седьмого я сяду на поезд и поеду в Блейр-Хилл.

Я расхрабрился и с самым невозмутимым видом предложил:

— Пойдемте-ка лучше со мной в театр.

Она заметно вздрогнула, и во взгляде ее снова появился легкий испуг, который все увеличивался, по мере того как я говорил:

— Мне надо еще кое-что сделать, это займет около часа. Давайте встретимся в семь у Королевского театра. Мартин Харвей играет там в «Единственном пути». Пьеса должна вам понравиться.

Она продолжала молча смотреть на меня, потрясенная и подавленная, точно в моем приглашении таились все ужасы и опасности, какие только существуют на свете. Потом она судорожно глотнула воздуха.

— Боюсь, мистер Шеннон, что вы сказали это не подумав. Я ведь никогда в жизни не была в театре.

— Не может быть! — Я едва верил своим ушам, хотя, казалось бы, этого можно было ожидать. — Но почему?

— Ну вы же знаете, как у нас строго дома.

Потупив глаза, она принялась пальчиком рисовать что-то на скатерти.

— В нашей общине не принято играть в карты, танцевать или ходить в театр. Конечно, отец нам не запрещал этого... но нам просто в голову не приходило поступать иначе.

Я в изумлении уставился на нее.

— В таком случае пора бы пересмотреть эти взгляды. Ведь театр, — назидательно начал я, — является одним из величайших очагов культуры. Вообще говоря, я не слишком высокого мнения о «Единственном пути». Но для начала сойдет.

Она молчала, продолжая в мучительном раздумье чертить что-то на скатерти.

Затем пуританская закваска пересилила, она медленно подняла голову и прерывающимся голосом сказала:

— Боюсь, что я не смогу пойти с вами, мистер Шеннон.

— Но почему же?

Она не отвечала, но в ее робком взгляде сквозило смятение. Ее природные склонности, ее живая и страстная натура вступили в единоборство со всем тем печальным и мрачным, чему ее учили в детстве, сурово предостерегая против искушений света и пугая апокалиптическими пророчествами, — и все это сейчас одержало над нею верх.

— Ну знаете ли! — с досадой воскликнул я. — Это уж слишком. Вы тратите добрых полдня, убеждая меня, что мы должны бывать вместе. А когда я предла-

гаю вам пойти в театр и посмотреть абсолютно невинную пьесу, собственно говоря, классическую пьесу, написанную по знаменитому роману Чарльза Диккенса, вы наотрез отказываетесь идти.

— Ах, по Диккенсу... — еле слышно пробормотала она, словно это меняло дело. — По Чарльзу Диккенсу. Это очень достойный писатель.

Но я уже разозлился и, застегнув куртку, стал искать глазами официантку, чтобы расплатиться.

Заметив, что я рассержен, она вся сжалась и с возрастающим волнением наблюдала за моими приготовлениями к уходу, — грудь ее бурно вздымалась и опускалась; наконец, тяжело вздохнув, она с трепетом сдалась.

— Хорошо, — беспомощно прошептала она. — Я пойду.

Несмотря на ее молящий взгляд, я не сразу простил ее. Сначала я расплатился по счету — по поводу чего она уже не посмела вступать со мной в спор — и вывел ее на улицу. Тут я повернулся к ней и, перед тем как проститься, сказал дружелюбно, но не без скрытой угрозы:

— Итак, в семь часов у театра. Не опаздывайте.

— Хорошо, мистер Шеннон, — покорно пробормотала она и, бросив на меня последний трепетный взгляд, повернулась и пошла прочь.

Постояв с минуту, я направился на кафедру патологии, где меня должен был ждать Спенс, которого я заранее предупредил письмом о своем приезде.

Было четверть седьмого, когда я подошел к зданию кафедры, и, так как мне меньше всего на свете хотелось встречаться с Ашером или Смитом, я сначала тщательно обследовал коридоры, а уж затем вошел в лабораторию. Там, как я и ожидал, сидел, низко склонившись над столом, один Спенс.

Поскольку я ступал тихо, он заметил меня, лишь когда я уже стоял подле него. И тут я с некоторым не-

доумением увидел, что он вовсе не работает, а задумчиво рассматривает какую-то фотографию.

— А, Роберт! — Он затуманенным взглядом посмотрел на меня. — Я по вас соскучился. Как работаете в Далнейре?

— Недурно, — весело ответил я. — Поцапался с начальницей. Зато снова вырастил мою бациллу — в чистом виде.

— Прекрасно. И уже установили, что она собой представляет?

— Нет еще, но установлю. Я как раз над этим сейчас работаю.

Он кивнул.

— Я бы тоже с удовольствием ушел отсюда, Роберт. Если бы я только мог устроиться преподавателем в каком-нибудь небольшом учебном заведении... например, в Эбердине или в колледже Святого Эндрю.

— Ну и устроитесь, — ободряюще заметил я.

— Да, — как-то задумчиво произнес он. — Все эти четыре года я работал как проклятый... ради Мьюриэл. Ей должно понравиться в колледже Святого Эндрю.

— А как поживает Ломекс? — спросил я.

Спенс посмотрел на меня отсутствующим взглядом. И ответил не сразу:

— Все так же красив и преуспевает, как всегда. Вполне доволен жизнью... и собой.

— Я не видел его целую вечность.

— Он последнее время был, кажется, порядком занят. Ну что ж, приятно, что вы делаете успехи. Я получил ваше письмо. И могу дать вам сколько угодно чистого глицерина.

— Спасибо, Спенс. Я знал, что могу на вас рассчитывать.

Он протестующе махнул рукой. Наступило неловкое молчание. Смущенно я отвел глаза в сторону и увидел фотографию, лежавшую перед Спенсом. Он проследил за моим взглядом.

— Посмотрите, посмотрите, — сказал он и протянул мне фотографию. На ней был изображен симпатичный юноша с правильными чертами лица, хорошо сложенный и пыщущий здоровьем.

— Очень приятный молодой человек, — заметил я. — Кто это?

Он рассмеялся — звук этот резанул мой слух, ибо, хотя Спенс и часто улыбался своей кривой усмешкой, я до сих пор почти не слышал его смеха.

— Представьте себе, — сказал он, — это я.

Я пробормотал что-то нечленораздельное. Я просто не знал, что сказать, и в замешательстве взглянул на Спенса. Обычно мягкий и спокойный, сейчас он был просто неузнаваем.

— Да, таким я был в восемнадцать лет. Удивительное дело, какую огромную роль играет лицо... я имею в виду не только красивое, а обычное, даже уродливое лицо. Знаете, как пишут в романах: «В его уродливом лице было какое-то необъяснимое обаяние». Но нельзя воспеть лицо, если от него осталась одна половина. Это невозможно. Колизей — грандиозное зрелище. Но только при лунном свете и если любоваться им полчаса. Кому захочется смотреть все время на развалины? Если бы спросили меня, Шеннон, я бы сказал, что под конец это начинает чертовски действовать на нервы.

Нет, никогда еще я не видел Спенса в таком болезненно возбужденном, мрачном настроении. Он был всегда так спокоен и сдержан, что собеседник невольно забывал о том, какая ему нужна железная воля, чтобы не поддаться чувству жалости к себе. Глубоко взволнованный, почему-то смущенный, я молчал, не зная, что говорить, да и надо ли говорить вообще. Кажалось, Спенс сейчас разрыдается, но он вдруг овладел собой и, поспешно вскочив со стула, направился к шкафу.

— Идите сюда, — резко позвал он. — Давайте упаковывать глицерин.

Я неторопливо подошел к нему.

Мы вместе отобрали дюжину поллитровых склянок с раствором, запаковали их в солому и поставили в прочную плетеную корзину с крышкой. И, еще раз горячо поблагодарив Спенса, я ушел. Странная вспышка, которой я был свидетелем, глубоко потрясла меня.

ГЛАВА 4

У подножия холма я сел в красный трамвай, который привез меня на Центральный вокзал, где я сдал свою корзину в камеру хранения багажа. Затем я зашел в буфет и наспех подкрепился бутербродом с холодными сосисками и стаканом пива. Я начал опасаться за исход сегодняшнего вечера: а вдруг излишне щепетильная совесть мисс Джин станет непреодолимым барьером на пути к нашему увеселению?

Однако, когда мы с Джин встретились у театра, я не заметил на ее лице и тени колебания: она с нетерпением ждала предстоящего события, и ее темные глаза возбужденно блестели.

— Я видела афиши, — сообщила она мне, когда мы входили в фойе, — в них нет ничего предосудительного.

Места у нас были хоть и не дорогие, но вполне приличные — два кресла в третьем ряду, и, когда мы садились, оркестр как раз начал настраиваться. Моя спутница бросила на меня выразительный взгляд и уткнулась в программку, которую я ей вручил. Затем, словно желая избавиться от каких бы то ни было помех, она сняла с руки часы-браслет и отдала мне.

— Спрячьте это, пожалуйста. Браслет мне велик. И я сегодня весь день боялась, как бы его не потерять.

Свет скоро потух, и после краткой увертюры занавес взвился: перед зрителями предстал Париж восемнадцатого века и начала медленно разворачиваться душераздирающая мелодрама времен Французской революции, где неразделенная любовь переплетается с героическим самопожертвованием.

Это была неумирающая пьеса по «Повести о двух городах», в которой блистательный актер Мартин Харвей, доблестно отдавая себя из вечера в вечер (а по средам — и днем) служению рампе, лет двадцать покорял провинциальную публику.

Сначала моя спутница, видимо из осторожности, не выказывала своего отношения к происходящему, но постепенно она увлеклась, ее ясные глазки засверкали от удовольствия и восторга. Не отрывая взгляда от сцены, она взволнованно прошептала:

— Какая чудесная пьеса!..

Она была поистине очарована бледным черноокиим красавцем Сиднеем Картоном и хрупкой, точно сифида, прелестной Люси Манет.

Наступил первый антракт. Джин медленно вздохнула и, обмахивая разгоревшиеся щеки программкой, с благодарностью взглянула на меня.

— Изумительно, мистер Шеннон! Этого я никак не ожидала. Даже выразить не могу, как мне все это нравится.

— Хотите мороженого?

— Ах нет, что вы, как можно! После того, что мы видели, это было бы святотатством.

— Пьеса, конечно, не первоклассная.

— Ах что вы, что вы! — запротестовала она. — Пьеса прелестная. Мне так жаль бедненького Сиднея Картона. Ведь он так любит Люси, а она... Ах, как это, должно быть, ужасно, мистер Шеннон, безумно любить кого-то, кто не любит тебя.

— Безусловно, — с самым серьезным видом согласился я. — Но они ведь большие друзья. А дружба — это такая чудесная вещь.

Она уткнулась в программку, чтобы скрыть вдруг вспыхнувший румянец.

— Мне они все очень нравятся, — сказала она. — Девушка, которая играет Люси, просто очаровательна: у нее такие красивые длинные волосы и такие светлые. Ее зовут мисс Н. де Сильва.

— В жизни, — заметил я, — она жена Мартина Харвея.

— Не может быть! — воскликнула она, в волнении подняв на меня глаза. — Как интересно!

— Ей, наверно, лет сорок пять, и эти светлые волосы — не ее собственные, а парик.

— Прошу вас, мистер Шеннон, не надо! — воскликнула возмущенная Джин. — Как можно так шутить! Мне все это очень нравится, решительно все. Тсс! Занавес поднимается.

Второй акт начался с зеленых световых эффектов и нежной грустной музыки. И чем дальше развивалось действие, тем сильнее переживала все его перипетии моя чувствительная спутница. Глубоко взволнованная, она в перерыве почти не проронила ни слова. А в середине последнего акта, когда события на сцене снова всецело захватили ее, произошло нечто совсем уж удивительное: не знаю как, но вдруг рука ее, маленькая и влажная, очутилась в моей. И до того приятно было чувствовать жаркий ток ее крови, что я не стал отнимать свою руку. Так мы и сидели, сплетя пальцы, словно черпая друг в друге поддержку, в то время как перед нами разворачивалась трагедия самопожертвования Картона, уже подходившая к своему душераздирающему концу. Когда благородный малый, решившись на самую большую жертву, твердо взошел

на помост гильотины — бледный, черные кудри старательно взъерошены — и грустно обвел своими выразительными глазами галерею и партер, я почувствовал, как дрожь пробежала по телу моей спутницы, которая сидела теперь, прижавшись ко мне, а потом, точно капли дождя весной, мне на руку закапали одна за другой ее горячие слезинки.

Но вот и конец: весь театр аплодирует, снова и снова вызывая мисс де Сильва и Мартина Харвея, чудесно воскрешенного из могилы, такого теперь счастливого и красивого, в шелковой рубашке и высоких лакированных сапогах. Однако мисс Джин Лоу слишком взволнована, чтобы присоединиться к банальным аплодисментам. Молча, словно придавленная бременем чувств, которые она не в силах выразить словами, Джин встала и вместе со мной направилась к выходу. И только когда мы уже были на улице, она повернулась ко мне.

— Ах, Роберт, Роберт, — прошептала она, глядя на меня глазами, полными слез, — вы и представить себе не можете, какое я получила удовольствие.

Никогда прежде она не называла меня по имени.

Мы молча дошли до Центрального вокзала, и, поскольку поезд, последний в этот день, отходил только через четверть часа, мы несколько смущенно остановились у книжного киоска, под часами.

Внезапно, словно очнувшись от грёз и что-то вспомнив, мисс Джин вздрогнула.

— А мои часы? — воскликнула она. — Я чуть не забыла про них.

— Да, в самом деле, — улыбнулся я. — Я тоже совсем забыл про них. — И я принялся шарить в кармане пиджака, ища доверенный мне браслет.

Но я его не обнаружил. Тщетно обыскал я все карманы пиджака, внутренние и наружные. Затем с возрастающей тревогой начал рыться в карманах жилета.

— Боже правый, — пробормотал я, — почему-то их нет.

— Но они должны быть у вас. — Голос ее звучал как-то подозрительно и натянуто. — Ведь я же отдала их вам.

— Я знаю, что отдали. Но я такой рассеянный. Положу куда-нибудь, а потом забуду.

Теперь я уже в отчаянии шарил по карманам брюк, но безуспешно; внезапно, подняв глаза, я увидел лицо мисс Джин, взиравшей на меня с видом непорочной девы, в конце концов обнаружившей, что она имеет дело с мерзавцем, который обманывает ее, надувает и водит за нос, — на лице этом было выражение такой боли и ужаса, что я, оторопев, прекратил поиски.

— Что случилось?

— Да ведь часы-то не мои. — Губы ее побелели, как у мертвеца, а голос был еле слышен. — Это мамины часы, их подарил ей папа. Я попросила их у нее, чтобы похвастать перед вами. Ах, боже мой, боже мой! — Неиссякаемый родник слез забил с новой силой. — И это после такого чудесного вечера... когда я вам так доверилась... и так полюбила вас...

— Великий боже, — воскликнул я, — да вы что, думаете, я украд ваши проклятые часы, что ли?

Вместо ответа она громко разрыдалась. И в поисках уже и без того промокшего платка открыла сумочку — под мрачными сводами вокзала ярко блеснуло золото. Она вздрогнула, а я вспомнил, что, когда она сидела как зачарованная рядом со мной, я, боясь и в самом деле потерять вещицу, сунул часы для верности ей в сумочку.

— О боже мой, боже мой! — ужаснулась она. В испуге и раскаянии она уставилась на меня и, запинаясь, пробормотала: — Да как же я могла... простите ли вы меня когда-нибудь... ведь я усомнилась в вас!

Мертвое молчание с моей стороны.

Позади раздался пронзительный свисток кондуктора, а затем — прощальный гудок паровоза.

— Роберт! — не своим голосом воскликнула она. — Ну что я могу сказать?.. Ох, дорогой мой, что мне сделать, чтобы вы простили меня?

Я холодно смотрел на нее. Снова раздался гудок паровоза.

— Советую вам поскорее сесть в поезд, если вы не хотите провести ночь на уинтонской мостовой.

Она перевела обезумевший взгляд на платформу, от которой, со свистом выпуская пар, медленно отходил поезд. Секунду она колебалась, потом, всхлипнув, повернулась и бросилась бежать.

Увидев, что она благополучно села, я отправился в камеру хранения, взял оттуда мою корзинку и через несколько минут, весьма довольный собою, сел в последний поезд, отправлявшийся в Далнейр. Я сознавал, что вел себя не очень-то благородно, зато, точно Сидней Картон, я теперь был окружен ореолом в глазах Джин, и мне это даже нравилось.

ГЛАВА 5

В больницу я вернулся незадолго до полуночи и, к своему удивлению, заметил, что в окне мисс Траджен еще горит свет. Взглянув на доску в холле, я увидел, что никаких новых больных не поступало, закрыл дверь на ключ и решил немедленно ложиться спать. Но не успел я войти к себе в комнату, как услышал в коридоре вкрадчивый голос, который мог принадлежать только сестре Пик:

— Доктор... доктор Шеннон!

Я открыл дверь.

— Доктор, — произнесла она со своей смиренной улыбкой, не поднимая глаз, — начальница хочет вас видеть.

— Что?!

— Да, доктор, немедленно. Она ждет вас у себя в кабинете.

Этот властный вызов через другое лицо, да еще в такой час, показался мне дерзостью. Желая сохранить мир, я в первую минуту решил подчиниться. Но потом подумал, что это уж слишком.

— Передайте начальнице мое почтение. И скажите ей, что, если она хочет со мной говорить, она знает, где меня найти.

Сестра Пик в ужасе закатила глаза, но по тому, как она поторопилась выполнить мое поручение, я понял, что она с удовольствием сыграет роль добросовестного посредника и уж постарается углубить разногласия между начальницей и мной. Должно быть, она действительно поспешила передать мои слова, ибо не прошло и минуты, как мисс Траджен влетела ко мне — в темном форменном платье, но без наkolки, манжет и воротничка. Ее лицо без этого белого обрамления казалось сейчас совсем желтым.

— Доктор Шеннон! Сегодня я производила ежемесячный обход больницы и зашла в лабораторию. Я обнаружила там ужасающий беспорядок: помещение захламлено, неприбрано — настоящая свалка.

— Ну и что же?

— Это все вы натворили?

— Да.

— Вы не имели права, никакого права это делать. Вы должны были сначала спросить у меня разрешения.

— Это еще почему?

— Потому что я здесь распоряжаюсь.

— Может, вы и всей больницей распоряжаетесь? — Я почувствовал, что начинаю кипятиться. — Вы хотите всем здесь командовать. Вы лишь тогда довольны, когда окружающие ползают на коленях перед вами. Вообще вы держите себя здесь так, точно эта больни-

ца — ваша собственность. А она не ваша. У меня здесь тоже кое-какие права. Я сейчас веду важную научную работу. Для этого мне и понадобилась лаборатория.

— В таком случае я попрошу вас освободить ее.

— Иными словами, вы предлагаете мне прекратить мою работу?

— Мне безразлично, чем вы занимаетесь, лишь бы вы выполняли свои обязанности. А вот лабораторию извольте освободить: я хочу, чтобы в ней снова было чисто и прибрано.

— Но зачем она вам? Ею же никто не пользуется.

Она отрывисто рассмеялась.

— Вот тут-то вы и ошибаетесь. В это время года она всегда бывает занята. В ней читают лекции для сестер. Разве вы не заметили там парт? Курс лекций начинается в субботу.

— Но ведь это можно устроить и в другой комнате, — возразил я, чувствуя, что почва уходит у меня из-под ног.

Она медленно покачала головой:

— У нас нет других подходящих комнат. Разве что изолятор. Но там очень сыро и скверно. А я, не говоря уже о сестрах, не хочу, чтобы вам было неудобно, доктор. Ведь лекции-то, — и она с ядовитой усмешкой метнула в меня свою последнюю стрелу, — читать должны вы.

Она, конечно, ловко меня обошла — буквально загнала в угол, — и мне оставалось лишь молча сверлить ее ненавидящим взглядом. А в ее глазах, когда она направилась к двери, светилась ироническая усмешка: уж очень она была довольна, что поквиталась со мной и поставила меня на место.

Я лег в постель, раздумывая над тем, как выбраться из этой новой беды, которая свалилась на меня. Закаленная жизнью, изобилующей ссорами и скандалами, привыкшая к бесконечным препирательствам со

слугами, поставщиками, сиделками и сестрами милосердия, мисс Траджен победоносно шла своим путем, не оглядываясь на покоренных ею врачей, и была из тех, с кем не так-то легко справиться. Поэтому как бы я ни злился, но сейчас я вынужден был стратегически отступить.

На следующий день за вторым завтраком я объявил ей после некоторого молчания, что освобожу лабораторию.

В награду за мою капитуляцию она одарила меня мрачной улыбкой.

— Я была уверена, что вы одумаетесь, доктор. Передайте мне, пожалуйста, соус. Помнится, когда я была в Богре...

Мне казалось, что я сейчас ударю ее бутылкой по голове. Вместо этого я с такой же мрачной улыбкой передал ей соус.

Через час, в половине третьего, я отправился на прогулку и как бы ненароком очутился возле изолятора, где раньше держали больных оспой; дойдя до него, я нырнул в растущие вокруг кусты. Мисс Траджен была занята в бельевой, но я все-таки решил соблюдать осторожность.

Изолятор был настоящей развалиной — иначе его не назовешь; проникнуть в него мне удалось, лишь сломав проржавевшую железную дверцу. Окна были закрыты ставнями, и внутри было темно, холодно, как в могиле, и совсем пусто, если не считать пыли и паутины, — помещение, видно, годами не проветривалось. Обжигая себе пальцы, я чиркал спички, чтобы разглядеть эту заброшенную лачугу. В дощатом полу зияла дыра там, где раньше стояла печка. Эмалированная раковина с отбитыми краями, пожелтевшая от ржавчины и покоробившаяся, валялась в углу. Даже вода и та была отключена, и водопроводный кран совсем заржавел.

В полном расстройстве вышел я из домика, отыскал в гараже Пима и рассказал ему про свое горе.

— Придется перебраться в бывший изолятор для оспенных.

Он недоверчиво рассмеялся:

— В изолятор? Да ведь он ни на что не годен.

— А мы его отремонтируем.

— Никогда нам этого не сделать.

Он упрямо стоял на своем и, лишь когда я сунул ему в руку десять шиллингов, наконец согласился, хоть и весьма неохотно, с моим планом.

В тот же вечер, когда стемнело, мы перетащили весь мой инвентарь из лаборатории в ветхий домишко. Затем Пим, не переставая ворчать, начал приводить помещение в элементарный порядок: он сделал новый водопроводный кран, соединил перерезанные электрические провода, подправил половицы, рамы, двери — там, где они совсем прогнули. Грязные и усталые, мы в десять часов прекратили работу, так как ему надо было ехать на станцию встречать кого-то из сестер.

Потребовалось еще два вечера, чтобы закончить все поделки, причем результат получился весьма малоутешительный. И все-таки у меня теперь был свой уголок. Правда, в помещении гуляли сквозняки и оно не отапливалось, зато к моим услугам имелся крепкий рабочий стол, вода, электричество, четыре стены и крыша. Сестра Кеймерон из scarлатинного отделения смастерила мне три красные фланелевые занавески из старых пижам, и теперь, сдвинув их и закрыв ставни, я мог не опасаться, что даже слабый луч света пробьется наружу. Новый замок на двери давал мне одному право входа и выхода. А хитроумное сооружение, которое придумал Пим, подсоединив с помощью проволоки звонок на дверях моей комнаты к зуммеру в изоляторе, позволяло мне знать, когда я требуюсь.

Словом, в моем распоряжении была теперь секретная лаборатория — форт, арсенал для научной работы, откуда уже никто не мог меня выгнать. Каждый вечер после обхода палат я отправлялся на прогулку и, подойдя в стужающей темноте к лавровым кустам, продирался сквозь них в свое святилище. В девять часов я уже усердно трудился.

Взбадривая себя черным кофе, который я варил сам, я работал обычно до часу ночи, а иногда, увлекшись, сидел до зари и вовсе не ложился спать в расчете на то, что холодный душ и растирание махровым полотенцем перед завтраком освежат меня и позволят справиться с обязанностями наступающего дня.

Я быстро продвигался в своей работе, но постоянное напряжение стало сказываться на моих нервах, и я начал под вечер совершать прогулки на мотоцикле Люка. Ничто так не успокаивало, как быстрая езда по пустынным сельским дорогам, когда ветер свистит в ушах и скорость притупляет все чувства. Мотоцикл, словно притягиваемый к родным местам, неизменно привозил меня в окрестности Блейр-Хилла, и я с ревом и треском проносился мимо ворот «Силоамской купели».

Как-то раз, вместо того чтобы промчаться мимо, я притормозил, свернул на боковую дорожку и остановился у стены, окружавшей сад. Стена была каменная, но невысокая, и я без особого труда взобрался на нее. И там, чуть ли не у своих ног, в решетчатой беседке, я увидел дочь блейр-хиллского пекаря.

Подперев подбородок ладонью, без шляпы, в короткой жакетке, она сидела у грубо сколоченного стола, на котором лежали медицинский учебник и кулек со сливами, и, не подозревая о моем присутствии, конечно, занималась. Однако вид у нее был до того задумчивый, взгляд до того отсутствующий и она таким рассеянным жестом и настолько часто запускала пальчики

в лежавший перед нею кулек, что я усомнился, так ли уж прилежно изучает она «Медицинскую практику» Ослера, как это могло показаться. В самом деле, пока я стоял возле нее, она ни разу не перевернула страницы, зато с меланхоличным видом положила себе в рот уже три спелые сливы, а сейчас, выбрав с тяжким вздохом четвертую, вонзила в ее сочную мякоть свои белые зубки, так что капельки красноватого сока потекли у нее по подбородку; тут она неожиданно взглянула вверх и увидела меня на стене. Она вздрогнула и чуть не подавилась косточкой.

— Не бойтесь, пожалуйста, — сказал я. — Я ничего не собираюсь у вас красть.

Она все никак не могла откашляться и выплюнуть косточку.

— Ах, мистер Шеннон... я так рада вас видеть... я как раз думала... об этом ужасном недоразумении... и не могла сообразить, как это уладить.

— А я думал, что вы занимаетесь.

— Да, конечно, — призналась она и слегка покраснела. — Правда, не очень усердно. У меня через месяц экзамены. — Она вздохнула. — А дело совсем не движется.

— Может быть, вам следует проветриться, — предположил я. — Я приехал на мотоцикле Люка. Хотите прокатиться?

Глаза ее заблестели.

— С огромным удовольствием.

Она поспешно вскочила. Я нагнулся и — хотя она вовсе в этом не нуждалась, так как была легка и проворна, — помог ей взобраться на стену. Мы спрыгнули с другой стороны. А через минуту она уже сидела на багажнике, я нажал ногой на стартер, и мы помчались.

Был солнечный августовский день, и, подстрекаемый ярким солнышком и чудесной быстротою машины, а также какой-то непонятной тоской по милым

сердцу местам, я промчался по извилистым блейр-хиллским улочкам и направил наш путь в деревню Маркинш, что на южном берегу Лох-Ломонда. Местность вокруг была прелестная: на покатых предгорьях Дэррока переливалась колосистая пшеница, алели участки, засеянные маками. По плодородным склонам Гаури раскинулись сады, где деревья гнулись под тяжестью спелых груш, яблок и слив, и сборщики плодов, наполнявшие, будто играючи, привязанные к поясу корзины, при нашем приближении прекращали работу и махали нам вслед. Я обернулся через плечо и, перекрывая свист ветра, крикнул моей спутнице:

— Хорошо, правда? — Тут машину, к нашему великому удовольствию, несколько раз подбросило, и мы едва не налетели на остановившуюся повозку фермера. — Вы здорово держитесь. Наверно, часто ездите с Люком?

Почти приложив губы к моему уху, она прокричала:

— Да, очень часто! — Но по ее тону чувствовалось, что предыдущие прогулки не могут идти ни в какое сравнение с этой: ведь Люк — всего лишь брат, а то, что происходит сейчас, нечто неповторимое. Все острее и острее ощущал я кольцо ее рук, обвинившихся вокруг меня, легкое прикосновение ее тела к моей спине, ее щечку, прижимавшуюся к моей лопатке, чтобы укрыться от ветра.

Около пяти часов мы выскочили на гребень Маркиншевых холмов и увидели впереди озеро, спокойное, без единой рябинки: в нем, как в зеркале, отражалось безоблачное темно-синее небо, а по берегам вздымались густо поросшие лесом холмы, переходившие вдаль в остроконечные голубоватые горы. Прорезая тихую водную гладь, протянулась цепочка маленьких зеленых островков, словно ожерелье из нефрита, а на ближайшем к нам берегу приютилась группа белых домиков, окруженных жимолостью и дикими розами.

Это была деревня Маркинш, излюбленное место моих вылазок в детстве, куда я часто приезжал — один или с моим другом Гэвином Блейром — в поисках утешения для израненной души. И сейчас, когда мы спустились с холма по покатой, извилистой дороге, меня вновь — и сильнее, чем прежде, — охватил неумный восторг при виде этого сонного, всеми забытого местечка, погруженного в летнюю тишь, пропитанного запахом жимолости, где лишь гудят пчелы да изредка всплеснет рыба в мелководье, где единственное живое существо — пес колли, дремлющий страж, растянувшийся в белой пыли у маленькой пристани, куда раз в неделю причаливает крошечный краснотрубый пароходик, курсирующий по озеру.

В конце коротенькой деревенской улицы я остановил мотоцикл, и мы, совсем одеревеневшие и несколько смущенные, сошли с машины, которая, хоть и дымила и пахла перегретым маслом, доблестно выдержала жару и нагрузку этого дня.

— Ну-с... — сказал я. Мне почему-то трудно было встречаться с Джин взглядом после того ощущения близости, которое возникло между нами во время поездки. — Отлично прокатились. Надеюсь, после такой поездки вы с удовольствием выпьете чаю.

Она внимательно огляделась по сторонам, но, не обнаружив в деревне ни одной харчевни, с улыбкой, как к доброму другу, повернулась ко мне.

— Здесь очаровательно. Только покушать, к сожалению, негде.

— Но не могу же я допустить, чтобы вы голодали! — Я повел ее к маленькому белому домику, крайнему в ряду других таких же, где над крыльцом, почти сплошь увитом ползучими пунцовыми фуксиями, висела выцветшая вывеска с загадочным словом «Минералка», что в этих северных местах означает «безалкогольные напитки».

Я постучал в дверь, и на пороге тотчас появилась маленькая сгорбленная женщина в темном клетчатом платье.

— Здравствуйте. Не могли бы вы напоить нас чаем?

Она посмотрела на нас и обескураживающе покачала головой:

— Нет, нет. Я торгую только газированной водой... Лимонад Рейда и барровский «Богатырский пунш».

Моя спутница бросила на меня взгляд, говоривший: видите, я была права.

— Вы удивляете меня, Джейнет. Сколько раз вы угощали меня чудесным чаем. Неужели не помните, как мы приезжали сюда удить рыбу... с Гэвином... какого мы тогда лосося вам поймали?.. Ведь я — Роберт Шеннон.

Услышав, что ее называют по имени, старушка вздрогнула, а затем пристально, точно знахарка, взгляделась в меня и даже вскрикнула от радости — так обычно вскрикивает не очень жалующий незнакомцев шотландец при виде друга, которому всегда бывает рад.

— Господи боже милостивый! Да если б у меня были очки, уж я всенепременно узнала б тебя. Ну конечно же это Роберт.

— Он самый, Джейнет. А это мисс Лоу. И если вы закроете перед нами дверь, мы исчезнем и никогда больше сюда не вернемся.

— Да ни за что я этого не сделаю! — горячо воскликнула старушка. — Нет-нет. Боже упаси. Через десять минут вы будете пить лучший чай в Маркинше.

— А вы можете подать нам его в саду, Джейнет?

— Еще бы! Ну и дела! Роберт Шеннон, подумать только: совсем взрослый и уже доктор... Да, да, нечего отпираться-то. Я про тебя читала в «Ленокс геральд»...

Так, ахая и восклицая, Джейнет провела нас в садик за домом и тотчас побежала в свою темную ку-

хоньку — через открытое окошко мы видели, как ее маленькая согбенная фигурка возится с большой железной сковородкой.

Вскоре мы уже сидели под сенью деревянного трельяжа за столом, уставленным благодаря ее усердию и стараниям простыми, но очень вкусными блюдами, которыми я так любил лакомиться здесь много лет назад: горячие пирожки и свежесбитое домашнее масло, только что сваренные яички, вересковый мед в сотах и крепкий черный чай. Джин, закрыв глаза, благоговейно прочитала молитву, затем непринужденно и с аппетитом принялась уплетать здоровую деревенскую пищу.

Сначала старая Джейнет суежилась возле стола, горя нетерпением узнать, как я живу, и со свойственной ей пронизательностью поглядывала на нас, приводя в немалое смущение своими вопросами. Однако через некоторое время, подлив кипятку в чайник, она ушла. Мисс Джин тотчас вздохнула с облегчением и повернулась ко мне.

— Как здесь чудесно! — с бесхитростной радостью воскликнула она. — И подумать только, что всего этого могло бы не быть. Если бы я тогда, у Гранта, не предложила вам дружбу... Вы и представить себе не можете, чего мне это стоило... Меня всю трясло.

— Вы жалеете об этом?

— Нет. — Она слегка покраснела. — А вы?

Не сводя с нее взгляда, я молча покачал головой; она опустила глаза, и эта ее застенчивость — совсем как в тот раз, на Феннер-хилле, когда я прошел мимо нее, такой грустной и одинокой, — вызвала во мне прилив нежности. До чего же она была хороша сейчас, в этой деревенской глуши, раздумянившаяся от ветра, милая и невинная! В ней было, пожалуй, что-то цыганское: темно-каштановые волосы, перехваченные ко-

ричной ленточкой, темно-карие глаза и лицо, такое смуглое, усыпанное крошечными веснушками.

Взволнованно поигрывая чайной ложечкой, она заметила — видимо, чтобы перевести разговор на обычные темы:

— Чувствуете, как пахнет жимолостью? Наверно, она растет где-нибудь здесь, в саду.

Я промолчал, хотя запах цветов, или что-то куда более сладостное, будоражил мою кровь. Охваченный неясным, новым для меня чувством, я попытался направить свои мысли в более спокойное русло: стал думать о своей научной работе, о бесчисленных вскрытиях, которые я спокойно делал в морге, когда работал на кафедре. Ну как после всего этого мне могло показаться прекрасным человеческое тело? И все-таки — увы! — могло. Тогда я в отчаянии подумал об амебах, одноклеточных простейших организмах: если их поместить рядом под микроскоп, они инстинктивно притягиваются друг к другу. А ведь у меня есть разум, понимание, воля, так неужели я не могу противостоять этому слепому чувству? И вдруг у меня невольно вырвалось:

— Хотите прогуляться? Еще не поздно. И мы не пойдем далеко.

Она колебалась. Но и ей, как видно, не хотелось разрушать чары, во власти которых мы оба находились.

— Ну пойдемте же, — упрасивал я. — Ведь еще рано.

— Хорошо, только ненадолго, — еле слышно согласилась она.

Я оставил на столе щедрое вознаграждение, и мы распростились с Джейнет. Затем мы медленно пошли по узенькой тропинке к извилистому берегу Лоха. Начинали сгущаться сумерки; на востоке высоко в небе всплыл молодой месяц, отражаясь в таинственных глу-

бинах темной воды. Воздух был теплый, нежный, как ласка. Где-то вдаль прокричала серая цапля, ей ответил глухим криком самец. И вскоре тихий плеск волн, набегавших на берег озера, слился с безмолвием ночи.

Молча шли мы у самого края еле слышно шепчущих вод, пока не добрались до маленькой песчаной бухточки, окруженной кустами лабазника и мяты, — тут мы внезапно остановились и повернулись друг к другу. Минута нерешительности... Ее губы были горячие и сухие — она приоткрыла их с жертвенным смирением, в чистом и ясном сознании того, что никогда прежде их не целовал ни один мужчина.

Ни слова не было сказано. Я затаил дыхание; сердце у меня колотилось, словно перед смертельной опасностью. Но нет: чары не развеялись, и за этим единственным сладостным поцелуем не последовало ничего. Ее невинность победила.

Мы медленно пошли назад, над водой поползла белая пелена, точно кто-то дохнул на зеркало. Туман легкой дымкой поднимался над землей, покрывая, будто инеем, долины и придавая всему призрачный, нереальный вид. Все во мне пело, и даже луна казалась ярче обычного, но моя милая спутница почему-то дрожала.

ГЛАВА 6

Двадцать девятого сентября я сделал в лабораторном журнале, выполнявшем одновременно роль дневника и летописи моих достижений, следующую восторженную запись:

«Сегодня в два часа утра я наконец установил, что представляет собой бацилла „С“!

Это не что иное, как *Brucella melitensis*, малоизвестная бацилла, выделенная Дэвидом Брюсом в 1886 году

во время вспышки мальтийской лихорадки, которая распространялась через молоко больных коз.

В ту пору казалось, что эта бактерия существует лишь в районе Средиземного моря (и если верить учебникам, передавалась она лишь через коз), а потому на нее всегда смотрели как на явление, имеющее сугубо исторический интерес и уж, во всяком случае, крайне малозначительное для медицины вообще. Это представление в корне неверно.

Наоборот, *Brucella melitensis* является возбудителем недавно бушевавшей здесь жесточайшей эпидемии и, почти несомненно, других аналогичных эпидемий, которые последнее время имели место в Европе и в Соединенных Штатах. Тщательной проверкой имеющихся в моем распоряжении данных установлено, что в этом случае заражение через козье молоко абсолютно исключено. Я подозреваю, что бактерионосителем было коровье молоко. Если это так, то мы стоим на пороге важнейшего открытия».

Я отбросил перо и, взглянув на часы, схватил кепку и помчался на станцию, чтобы успеть к поезду. Мы договорились с Джин встретиться в Уинтоне в три часа, и, весь горя от волнения, я с трудом мог дожидаться этой встречи: так мне хотелось сообщить ей чудесную новость.

За время этого затянувшегося лета с его сказочно-прекрасными днями, когда так трудно было вести себя разумно, мы очень сблизились с Джин. Я, пожалуй, даже рад был отдаться своему чувству, но моя подруга из-за своего характера, особенностей семейного уклада и вероисповедания острее ощущала неодолимость преграды, стоявшей на пути нашего влечения, которому она слепо поддалась в тот вечер в Маркинше. Скованная привязанностью к семье, стесненная узкими рамками своей религии, она пуще всякого кошмара

боялась мрачного призрака моей веры. Не раз она со слезами на глазах говорила, что наши отношения не могут продолжаться. Но стоило мне после грустного прощания вернуться в Далнейр, как в комнате у меня раздавался телефонный звонок и ее дрожащий голос говорил на другом конце провода:

— Ах нет, Роберт, нет... мы не можем расстаться.

Охваченные этим дивным, дотоле неведомым нам чувством, мы отдались на волю потока и безнадежно влюбились друг в друга.

Когда через полчаса я вышел в Уинтоне из поезда, моросил осенний дождик, и я быстро зашагал к уединенному кафе, которое мы с Джин обнаружили неподалеку от Центрального вокзала. Она была уже там и одиноко сидела в дальнем конце почти пустого зала.

— Джин! — воскликнул я, подойдя к ней и взяв ее за обе руки. — Наконец-то я нашел ее!

Сев рядом с ней на диванчик у стенки, я принялся рассказывать о своих успехах:

— Вы понимаете, как это важно? Инфекция передается не только через козье молоко... и не только на острове Мальта. А через коровье и всюду. Через молоко, сыр, масло, через все молочные продукты, то есть через самую широко распространенную на свете пищу, — вот как. Больше того. Я позвонил сегодня утром Алексу Дьюти. Он сказал мне, что как раз перед эпидемией у них что-то случилось с молочным скотом. Несколько животных даже подошло. Это не просто совпадение — тут есть несомненная связь. Вообще он говорит, что почти все стада в округе были заражены — процентов тридцать пять переболело. Если у них в Дриме захворает еще хоть одна корова, Алекс даст мне пробу ее молока. Видите, Джин, что получается... Боже, если между этими двумя заболеваниями окажется связь...

Я умолк от наплыва чувств, а она участливо и спокойно смотрела на меня.

— Я так рада, Роберт. — Она помолчала и робко улыбнулась мне. — Я бы не возражала, если б мне достался этот вопрос завтра на экзамене.

Наступило молчание, и возбуждение мое постепенно улеглось. Я совсем забыл, что она накануне важнейшего в ее жизни события — выпускного экзамена, и только сейчас не без раскаяния заметил, как она волнуется перед этой пыткой, которая начнется завтра утром и продлится целых пять дней. Каждый вечер я с головой погружался в свои исследования, с неиссякаемой энергией продвигаясь вперед и каким-то чудом избегая западней и ловушек. А она? Когда она тихо говорила, что часами со страхом думает о предстоящем испытании, я заявлял, что надо не думать, а работать, и время от времени в Далнейре натаскивал ее по вопросам, которые, по-моему, могли быть ей заданы на экзаменах. Но разве я не должен был более тщательно и более терпеливо заниматься с ней, вместо того чтобы постоянно отвлекать ее от дела?

— Все будет в порядке, — ободряюще сказал я. — Вы ведь усердно занимались.

— По-моему, да, — уныло согласилась она. — Но я что-то не очень в себе уверена. Экзаменовать будет профессор Кеннерли... а он очень строгий.

У меня снова защемило сердце, и я почувствовал угрызения совести. Неужели это была та самая веселая и жизнерадостная девушка, которая, пламенно веря в свое призвание и искренне желая врачевать людские недуги, приходила ко мне в комнату, стремясь разгадать волнующие тайны трипаносомы?

— Джин, — тихо сказал я, — я такой эгоист.

Она печально покачала головой, нижняя губка у нее задрожала.

— Я не меньше вас виновата во всем.

Я молча нагнулся и сжал ее пальчики. Она прошептала:

— По крайней мере, у меня есть вы, а у вас — я.

Когда мы вышли из кафе, я все еще продолжал корить себя; и по пути на вокзал, желая немного утешить ее, а возможно, и заглушить в себе чувство вины, я остановился у маленькой лавчонки антиквара, возле Шерстяного рынка. Проходя по этой улочке, я заметил в окне лавки зеленое ожерелье — очень простое, так как бусинки были из стекла, но красивое, сделанное со вкусом и действительно старинное. Прежде чем моя подруга догадалась о моих намерениях, я попросил ее обождать, зашел в лавчонку и купил ожерелье. А позже, когда мы остановились на нашем обычном месте — под часами у книжного киоска на вокзале, — я вручил ожерелье Джин.

— Это на счастье, — сказал я. — Зеленый цвет — самый для меня счастливый.

Она вспыхнула от неожиданности, и по ее личику, с которого сразу слетело уныние, медленно расплылась довольная улыбка: ведь я ей еще ничего не дарил.

— Какое оно красивое, — сказала она.

— Ну что вы! Это такой пустяк. Разрешите, я надену вам.

Я надел ей на шейку ожерелье и застегнул сзади; потом в порыве нежности, не думая о проходящей мимо толпе, о том, что мы у всех на виду, я обнял ее и поцеловал.

Она тотчас высвободилась и побежала к поезду. А я, повернувшись, внезапно увидел высокую чопорную особу, которая стояла как громом пораженная и, не веря своим глазам, в изумлении взирала на меня. Сердце у меня упало: я узнал ее, сразу понял, что она видела, как я преподнес ожерелье, как целовал Джин. Я шагнул было к ней, но, одарив меня ледяным взглядом и холодным, еле заметным кивком, она пошла своим путем. Это была мисс Бесс Дири.

Всю эту неделю, как мы уговорились, я не пытался встречаться с Джин. Но, напряженно работая в Далнейре, я неотступно думал о ней, и в понедельник, встав пораньше, первым делом кинулся к привратнику, чтобы взять «Геральд», прежде чем газету отдадут мисс Траджен. Фамилии медиков-выпускников всегда печатались наверху последней страницы, и, остановившись посреди аллеи, в пижаме и накинутом сверху пальто, я поспешно пробежал глазами список. Потом прочитал его еще раз, но уже с возрастающей тревогой.

Фамилии Джин там не было. Я просто не мог этому поверить. Значит, она провалилась.

Хотя она предупредила меня, чтобы я этого не делал, мне было так бесконечно жаль ее, что я решил немедленно позвонить ей. Я подошел к аппарату, стоявшему в холле, и, не обращая внимания на сестру Пик, которая, наострив уши, вертелась поблизости, назвал номер в Блейр-Хилле.

— Алло! Мне нужно мисс Лоу.

Ответил мне женский голос — к моему огорчению, не голос Джин, но, безусловно, ее мамы.

— Кто это говорит?

Я помедлил.

— Знакомый.

Последовало молчание, потом снова послышался голос:

— К сожалению, мисс Лоу здесь нет.

— Но послушайте!.. — возопил я и тотчас умолк: резкий треск в ухе дал мне понять, что на другом конце провода повесили трубку.

Угнетаемый тяжелыми предчувствиями, я весь этот день не мог найти себе места. После ужина — как раз пробило семь часов, и я собирался приступить к ночному бдению в лаборатории — в дверь постучали: это оказалась снова Кейти, горничная, которая только что вышла из комнаты, унося тарелки со стола.

— К вам какой-то джентльмен, сэр.

— Пациент?

— Нет, что вы, сэр.

— Родственник?

— Не думаю, сэр.

Я удивленно посмотрел на нее: я не привык принимать посетителей в такое время.

— Что ж... в таком случае проведите его ко мне.

И куда только в тот вечер делась моя догадливость! Меня чуть не хватил удар, когда в комнату твердой поступью вошел Дэниел Лоу.

Закрыв за собой дверь, он пристально и серьезно посмотрел на меня.

— Надеюсь, я пришел не очень поздно, доктор? Ежели не возражаете, я бы хотел сказать вам два слова.

— Пожалуйста... конечно, — пробормотал я.

Он поклонился и, сняв толстое черное пальто, аккуратно свернул его и вместе со шляпой положил на кушетку. Затем пододвинул ко мне жесткий стул и сел сам — очень официальный, в парадном темном костюме, белой крахмальной манишке и длинном галстуке, — положил руки на колени и снова вперил в меня свой спокойный взгляд.

— Доктор, — неторопливо начал он, — нелегко мне было прийти сюда к вам. Прежде чем это сделать, я долго молился. — Он помолчал. — Вы часто встречались последнее время с моей дочкой?

Я отчаянно покраснел.

— Пожалуй, да.

— Можно полюбопытствовать — зачем?

— Видите ли... дело в том... что она мне очень нравится.

— Ага! — В этом простом восклицании не было ни иронии, ни осуждения, а лишь утрюмая, холодная озабоченность. — Нам она тоже очень нравится, доктор. Вообще с самого малолетства она была для нас все

равно что овечка для пастуха. Вы можете поэтому понять, как мы расстроились, когда узнали сегодня, что она не получила диплома. И боюсь, главным образом потому, что она тратила время на всякие пустяки, а не занималась делом.

Я молчал.

— Конечно, — продолжал он с видом пророка, вещающего истину, — я всецело доверяю моей дочери. Всем нам приходится терпеть от карающей десницы Господней, и это несчастье только приблизит Джин к Богу. Моя жена — святая женщина — и я... мы беседовали с Джин, она решила, что несколько месяцев позанимается как следует и снова будет держать экзамен. Но тревожит нас сейчас не это, а кое-что более серьезное. Я не знаю, как далеко зашло ваше знакомство, доктор, — я ни слова не могу добиться на этот счет от моей дочери, и теми немногими сведениями, которые находятся в моем распоряжении, я обязан мисс Дири, — но, я думаю, вы согласитесь со мной, что оно зашло достаточно далеко.

— Не понимаю, — поспешно возразил я, — что вы имеете против моего знакомства с вашей дочерью?

Дэниел ответил не сразу. Сложив вместе кончики пальцев, он напряженно думал.

— Доктор, — вдруг твердо и решительно сказал он, — я надеюсь, что моя дочь когда-нибудь выйдет замуж. И будет, надеюсь, счастлива в своем замужестве. Но она никогда не обретет счастья, если выйдет за человека другой веры.

Положение становилось весьма затруднительным, но я отважно решил идти напролом.

— Я не согласен с вами, — сказал я. — Религия — личное дело каждого. Чем мы виноваты, что от рождения исповедуем ту или иную веру? Неужели два человека не могут терпимо относиться к верованиям друг друга?

Он мрачно покачал головой и улыбнулся холодной, какой-то удивительно обескураживающей улыбкой, словно желая этим показать, что уж он-то прекрасно знает неисповедимые пути и таинства всемогущего Бога.

— Я понимаю, что вы еще слишком молоды и неопытны. На свете существует только одна истинная вера, только одна святая конгрегация. Среди этой конгрегации помазанников Божиих выросла и моя дочь. И никогда она не будет иметь ничего общего с водами вавилонскими.

По мере того как он говорил, мысли мои по какому-то странному противоположению вдруг с грустью устремились к чудесным водам, на берегу которых стоит Маркинш, где мы бродили с Джин, где под кроткими, снисходительными небесами мы обменялись нашим первым сладостным поцелуем.

— Молодой человек! — Заметив горечь и признаки бунтарства на моем лице, он заговорил более резко: — Я желаю вам добра и надеюсь, что свет истины когда-нибудь озарит вас. Но вы должны наконец прислушаться к голосу разума и понять, что моя дочь не для вас. В нашей общине есть один брат, с которым она фактически обручена. Я имею в виду Малкольма Ходдена. Вы встречались с ним у меня в доме. Сейчас он учитель, но хочет стать проповедником слова Господня и нести истину в далекие дикие края. Всем складом своего ума и характера он доказал, что достоин наставлять и вести Джин по дорогам мирской жизни.

Наступило молчание. Он, видимо, ожидал, что я буду возражать, но, поскольку я продолжал, ни слова не говоря, сидеть в кресле, он встал и с обычным своим спокойствием не торопясь надел пальто. Застегнув последнюю пуговицу, он посмотрел на меня со смесью грустной снисходительности и сурового предостережения.

— Я рад, что наш разговор оказался не напрасным, доктор. Все мы должны подчиняться Господу... научиться познавать Его волю... На прощание я поручаю вас Его заботам.

Он взял шляпу и твердым шагом, с ясным лицом человека, добровольно обрешшего себя на суровую дисциплину, вышел из комнаты.

Я еще долго сидел не шевелясь. Хотя взгляды Лоу отличались удивительной узостью и косностью, я не мог не признать, что поступать так повелевает ему вера. Но мне от этого ничуть не было легче. Он говорил так, точно каждое его слово было священным пророчеством, взятым из Апокалипсиса, и тон его задел меня за живое. И к тому же — Ходден... вот уж это было действительно горькой пилюлей.

Глубоко уязвленный и оскорбленный в своих лучших чувствах, я подумал о Джин. И упрямо выставил подбородок. По крайней мере, я не давал обещания не видеться с ней.

ГЛАВА 7

Неспокойно и муторно было у меня на душе, когда я делал вечерний обход. Дав сестре Пик необходимые указания, я, по обыкновению, заперся в изоляторе, но никак не мог сосредоточиться. Чистая наука, которой я посвятил себя, требовала полного отрешения от всех житейских передряг. Но сейчас мне было наплевать на этот суровый устав. Перед моим мысленным взором стояла Джин, тоненькая и свежая, — карие глаза ее затуманивала грусть. Я так любил ее! Я непременно должен был ее увидеть.

На следующий день я, как только освободился, сразу кинулся в гараж. Уже дважды звонил я в «Силоамскую купель», но всякий раз мне отвечала миссис Лоу,

и я молча бросал трубку на рычаг, словно это был раскаленный утюг. И вот сейчас, несмотря на моросивший дождь, я вскочил на мотоцикл и помчался в Блейр-Хилл.

Подъехав к дому с задней стороны, я с бьющимся сердцем направился к беседке. Она была пуста: никто не сидел в кресле, на грубо сколоченном столе не лежала «Медицинская практика» Ослера. Я в нерешительности посидел некоторое время на стене, следя за тем, как капли дождя стекают с зеленой решетчатой беседки, затем соскользнул вниз и, обойдя дом, подошел к нему с фасада. Добрых полчаса проторчал я в кустах, напрягая зрение и стараясь рассмотреть, что творится за тюлевыми занавесками. И хотя я несколько раз различал силуэт матери Джин, двигавшейся в темной глубине «парадной комнаты», самой Джин мне ни разу не посчастливилось увидеть.

Внезапно я услышал звук шагов в аллее. Сначала я подумал, что это Дэниел Лоу, но минуту спустя оказался Люк. Я вышел из своего укрытия.

— Люк! — воскликнул я. — А я и не знал, что ты вернулся.

— Да, я вернулся, — подтвердил он.

— Почему же ты не сообщил мне об этом? Ты единственный человек, который может мне помочь.

— Неужели?

— Конечно, Люк. Слушай... — Нетерпение мое было так велико, что я с трудом мог говорить. — Я должен видеть Джин, немедленно.

— Этого никак нельзя, — нерешительно ответил он, поглядывая то на меня, то на безмолвный дом впереди. Затем, видимо приняв мою сторону, он добавил: — Мы не можем здесь разговаривать. Пойдемте прогуляемся по улице.

Он повел меня в город, время от времени поглядывая через плечо, и на углу какого-то неприглядного дома близ Рыночной площади внезапно нырнул в ка-

бачок с ярко размалеванной вывеской, на которой значилось: «Блейр-Хиллский увеселительный бар». Усевшись в кабине, в глубине итого унылого заведения, которое, судя по внушительной коллекции шаров и машинок для приготовления фруктового сока, видимо, служило прибежищем для блейр-хиллской золотой молодежи, Люк заказал две кружки пива. Потом с глубокомысленным видом долго смотрел на меня.

— Теперь уже ничего не поправишь, — произнес он наконец. — Если хотите знать мое мнение... все кончено.

Я стремительно нагнул к нему.

— Да что же случилось?

— Такого у нас еще не бывало. Когда мамаша узнала от мисс Дири — насчет вас, конечно, — она очень расстроилась и без лишнего шума увела к себе Джин, а та подняла рев на весь дом. Тут отец пришел домой к чаю, и они долго совещались. Затем мамаша отправилась за Малкольмом, а отец поднялся к Джин и молился с ней добрый час. Даже в кухне и то слышно было, как она рыдала: казалось, у нее сейчас разорвется сердце. Но когда они сошли вниз, она уже не плакала. Она была очень бледная, но спокойная. Они ее уломали, понимаете?

— Что значит «уломали», Люк?

— Должно быть, взяли с нее обещание, что она никогда больше вас не увидит.

Прошла целая минута, прежде чем до меня дошел смысл его слов, но в то же время я был глубоко убежден, что он сказал правду. Хотя в наш век прогресса трудно этому поверить, но в семье Джин царил непреложный закон, восходивший еще к временам Ветхого Завета, когда сыны Галаада и Хета бродили по полям Моава, пасли стада, всецело подчиняясь воле старейшин и слепо веря в Бога.

Как раз таким старейшиной в своей семье и был Дэниел Лоу. Он все еще жил по Книге Царств, Книге

Чисел и Второзаконию. И среди грохота века машин, оглушающего рева джазов и соблазнительного мерцания кино он вырастил детей в этой традиции, держа их в повиновении не с помощью страха, ибо он не был тираном, а с умеренной твердостью руководя ими и неуклонно воздействуя на них прежде всего своей глубокой верой, примером всей своей честной жизни. Обычное, слегка ироническое представление об евангелисте, проповедующем на уличных углах, было столь же неприменимо к Дэниелу Лоу, как, скажем, сравнение чахлого ростка со стройным дубом. Он не принадлежал к числу тех, кто робко предлагает душеспасительные брошюры прохожим или гнусавым голосом затягивает псалмы. Это был настоящий апостол Павел, смелый и справедливый, который, одним гневным взглядом усмирив змия зла, способен был затем раздавить его под пятой. Были у него, конечно, и недостатки, которые вытекали из самих его добродетелей. Взор его был тверд, но смотрел он только прямо перед собой. Компромисс был недоступен ему, и все предметы казались либо черными, либо белыми. Вне сверкающей орбиты его веры существовала лишь тьма, полная соблазнов для избранников, где на каждом шагу, будто корни в дремучей чаще, разбросаны силки Сатаны. Терпимость он считал непозволительной слабостью — этого слова он просто не понимал. Если человек не принадлежал к числу «спасенных», то — увы! — он был проклят навеки. Вот это-то и удерживало его дочь многие годы на тернистом пути, уберегало ее от скверны танцев, игр в карты и театра, ограничивало выбор ее чтения «Благими деяниями» и «Продвижением паломничества», и сейчас молитва и отцовская воля заставили ее сквозь слезы дать обещание отказаться от своего недостойного дыхателя.

Все это промелькнуло в моем сознании, пока я сидел напротив Люка в сыром зале захудалой пивной,

и хотя от этих мыслей у меня загудело в голове, точно я с разбегу ударился о каменную стену, хотя я был глубоко обижен на Джин за ее предательство — я не мог, просто не мог отказаться от нее.

— Люк, — взволнованно сказал я, — ты должен мне помочь.

— Чем? — с явной неохотой спросил он.

— Я просто должен увидеть твою сестру! — в бесконечном отчаянии воскликнул я.

Он молчал. Вытерев губы запачканным в муке рукавом, он с сочувственной улыбкой посмотрел на меня.

— Ты же знаешь, что можешь это сделать, — продолжал я. — Я подожду тебя здесь, а ты сбегай домой и попроси Джин выйти ко мне.

Все так же спокойно он с сожалением покачал головой.

— Джин нет дома. Она уехала.

Я молча уставился на него, а он неторопливо разъяснил мне:

— Сразу видно, что вы не знаете отца. Ее вчера вечером отправили к нашей тетушке Элизабет в Бетнал-Грин. Она будет жить там четыре месяца и заниматься, а потом приедет сюда держать экзамены. — Он помолчал. — Миссис Рассел, нашей тетушке, даны инструкции вскрывать все ее письма.

Бетнал-Грин, предместье Лондона, до которого отсюда более трехсот миль, — да разве туда сможет добраться этот злодей Шеннон! И никаких писем — запрещено! Ох этот мудрый, изобретательный Дэниел! Настоящий пророк Даниил в Судный день. Я замер, глаза мои — как назло — были полны слез.

Молчание длилось долго; я очнулся от задумчивости, услышав голос Люка, который, желая утешить меня, спросил:

— Не хотите ли еще пивка?

Я поднял голову.

— Нет, спасибо, Люк. — Во всяком случае, хоть он-то доброжелательно относится ко мне. — Да, кстати, я должен вернуть тебе мотоцикл.

— Можете не спешить.

— Да нет, он ведь тебе нужен. — Я видел, что Люк отнекивается только из вежливости. — Он на полянке за вашим домом. Я очень осторожно обращался с ним. Вот ключ.

Он без дальнейших возражений взял ключ, мы поднялись и вышли. На улице он огляделся по сторонам и с грустным видом, но дружески пожал мне руку. Я направился на вокзал.

Дождь разошелся вовсю: вода стекала по желобам, мостила грязью улицы, и все вокруг казалось бесконечно серым и унылым.

«О господи, — с внезапно пробудившейся болью подумал я, — почему я здесь, в этом мрачном, заброшенном городишке? Как бы мне хотелось очутиться сейчас где-нибудь под ярким солнцем, вдали от всех неприятностей, неуверенности и бесконечной борьбы! Плыть бы сейчас на ладье вниз по Нилу или любоваться голубым Тирренским морем с ярко-зеленых холмов Сорренто. А впрочем, к черту все эти красоты — разве есть что-нибудь лучше туманного, мрачного Бетнал-Грина!»

Но я знал, что там я никак не могу очутиться.

ГЛАВА 8

После этого все беды сразу обрушились на меня... Но я попытаюсь спокойно и по порядку рассказать о том, что произошло. Я не намерен без конца говорить о своем душевном состоянии. Оно было ничуть не лучше погоды с ее непрекращающимися дождями и рез-

кими штормовыми ветрами, от которых с деревьев слетали еще зеленые листья и целые ветки, образовавшие на аллее мокрый настил.

Работы у нас в больнице было сейчас по горло, особенно много прибывало больных дифтерией, эпидемия которой разразилась в западной части Уинтоншира. Я сам в свое время переболел этой болезнью и, очевидно, поэтому жалел поступавших к нам детей. До сих пор мы могли гордиться результатами: ни одного смертного случая, и мисс Траджен с гордым видом рассказывала по больнице, точно это являлось ее личной заслугой. И возможно, так оно и было; я все больше и больше преклонялся перед ее деловой сметкой и в душе невольно начал восхищаться этой добросовестной, умной, неутомимой боевой лошадкой, чьи скрытые достоинства намного превосходили те менее привлекательные качества, которые сразу бросались в глаза. Но я предусмотрительно не сообщал ей об этом. Вообще я не склонен был к разговорам, а если и говорил, то одни грубости.

И вот вечером третьего ноября — эта роковая дата навеки запечатлелась в моей памяти — я, еле волоча ноги, понуро вернулся из изолятора к себе и бросился в кресло.

Я не просидел и десяти минут, как услышал настойчивый звонок. Звонил телефон у моей кровати — еле слышно, так как, уходя из изолятора, я забыл переключить рычажок. Я прошел в спальню и устало поднял трубку.

— Алло.

— Алло! Это доктор? Какое счастье, что я тебя поймал! — Даже несмотря на плохую слышимость, я уловил в голосе облегчение. — Это говорит Дьюти, Алекс Дьюти из Дрима. Доктор... Роберт... Ты должен кое-что для меня сделать. — И прежде чем я успел что-либо сказать, он продолжал: — Это насчет нашего Сима.

Он уже неделю болен дифтерией. И ему все не легче. Я хочу привезти его к вам в больницу.

Я ни минуты не колебался. Хотя больница была переполнена и Алекс, живший за пределами нашего графства, вообще не мог претендовать на место, мне и в голову не пришло отказать ему.

— Хорошо. Пусть доктор напишет справку, и я с утра пришло за ним «скорую помощь».

— Нет, нет, — поспешно возразил он. — Мальчонка совсем плох, Роберт. Я уже вызвал машину — она стоит у дверей, и мы завернули его в одеяла. Я хочу привезти его сейчас же.

Я не был убежден, что поступаю правильно, соглашаясь в обход всех правил сразу принять больного. Однако я был слишком привязан к Алексу, чтобы не пойти ради него на такой риск.

— Тогда приезжайте. Дорога займет у вас около часа. Смотрите только не простудите его.

— Хорошо. И спасибо, дружище... спасибо.

Я положил трубку и, выйдя в коридор, пошел в комнату начальницы. Однако свет у нее уже был погашен, и мне пришлось прибегнуть к звонку и вызвать ночную дежурную — сестру Пик. Когда она вышла ко мне, я велел ей приготовить койку в боковой комнате отделения «Б», маленькой и уютной, куда обычно помещали частных пациентов, — сейчас это было единственное свободное место. Затем я сел и стал ждать.

Бодрствовать мне пришлось недолго. Около полуночи к главному входу подъехало закрытое такси, и, когда, с трудом преодолевая сопротивление ветра и сильного ливня, я открыл дверь, из машины вышел Алекс, неся на руках укутанного в одеяла сынишку. Я провел его в приемный покой. Лицо у него было бледное, осунувшееся.

Положив мальчика на диван и предоставив его заботам сестры Пик, которая тотчас принялась раздевать больного для осмотра, Алекс вытер лоб тыльной сто-

роной руки и молча отошел в уголок, посматривая на меня растерянным, страдальческим взглядом.

— Зачем же так волноваться? Когда Сим заболел?

— В начале недели.

— Ему вводили противодифтерийную сыворотку?

— Два раза. Но это почти не помогло. — Дьюти заговорил быстрее. — Уж очень глубоко у него в горле нарывы. Когда мы увидели, что ему с каждой минутой все хуже, я схватил его и повез сюда. Мы верим в тебя, Роб. Посмотри его, ради бога.

— Хорошо, хорошо. Только не волнуйся.

Я повернулся к дивану, и напускное спокойствие, с каким я держался ради Дьюти, тотчас исчезло. При виде помертвевшего ребенка, который, закрыв глаза и стиснув кулачки, боролся за каждый вздох, у меня болезненно сжалось сердце. Молча приступил я к осмотру. Температура у него была 38°, а пульс настолько слабый, что почти не прощупывался. Я даже и не пытался определить ритм дыхания. Плотная желтая пленка покрывала заднюю стенку его носоглотки и угрожающе спускалась в гортань. Ребенок явно доживал последние минуты — он умирал.

Я взглянул на Дьюти, который в безмерном волнении молча стоял рядом, пытаюсь прочесть на моем лице приговор; и, хотя мне было бесконечно жаль его, я вдруг обозлился за то, что он поставил меня в такое трудное положение.

— Ни в коем случае нельзя было везти его. Состояние у него крайне тяжелое.

Дьюти мучительно глотнул.

— Что же это с ним?

— Ларингальная дифтерия. Пленка затянула дыхательные пути... и мешает ему дышать.

— Неужели ничего нельзя сделать?

— Необходима трахеотомия... и немедленно. Но здесь мы это не можем сделать. У нас нет операционной, нет нужных условий. Его давно надо было отвезти

в какую-нибудь крупную городскую инфекционную больницу. — Я направился к телефону. — Я сейчас позвоню в больницу Александры и договорюсь, чтоб его немедленно приняли.

Я начал набирать номер неотложной помощи, как вдруг ребенок захрипел, — этот тоненький жалобный звук, отдаваясь в комнате, резанул мне ухо.

Алекс потянул меня за рукав.

— Да нам ни за что не довезти его до другой больницы. И сюда-то с трудом добрались. Уж ты сам сделай, что нужно.

— Я не могу. Это должен делать опытный хирург.

— Да нет же, сделай, пожалуйста, сделай.

Я стоял с трубкой в руке и в испуге, словно идиот, беспомощно смотрел на него. Как я уже говорил выше, у меня почти не было опыта в области практической медицины и я никогда в жизни не делал серьезной операции. Воспарив в заоблачные выси чистой науки, я всегда презирал суетливого медика-практика, который в случае нужды берется за что угодно. Однако здесь дело не терпело отлагательства, это было ясно. Более того, все решали даже не часы, а минуты: я понял сейчас, что, если не возьмусь за операцию и отправлю ребенка в больницу Александры, он ни за что не доедет туда живым. И, почувствовав всю глубину своей беспомощности, я в душе застонал.

— Разбудите начальницу, — повернулся я к сестре Пик. — И немедленно положите больного в боковую палату.

Шесть минут спустя мы все стояли в палате — мисс Траджен, сестра Пик и я — вокруг обычного соснового стола, на котором в чистой больничной рубашке, задыхаясь, без сознания лежал мальчик. Кроме этого прерывистого дыхания, в тесной комнатке не слышно было ни звука. Я закатал рукава, поспешно вымыл руки в карболовом растворе, и вдруг на меня напал такой

смертельный страх, что я инстинктивно — даже самому трудно поверить! — взглянул на начальницу, ища у нее поддержки.

Она держалась удивительно спокойно, бесстрастно, деловито и, хотя ее подняли среди ночи с постели и заставили наспех одеться, выглядела аккуратной и подтянутой. Даже ее крахмальная наколка так ладно сидела на голове, что ни один волосок не выбивался. Несмотря на нашу ссору, я невольно почувствовал восхищение и зависть при виде ее. Она прекрасно знала свое дело и обладала удивительной смелостью.

— Вы будете применять анестезию? — тихо спросила она меня.

Я покачал головой. При таком дыхании это было просто невозможно. Болезнь слишком далеко зашла.

— Прекрасно, — весело сказала мисс Траджен. — В таком случае я буду держать голову и руки. Вы, сестра Пик, возьмите его за ноги.

Сказав это, она протянула мне ланцет, лежавший на белоснежной марле в эмалированном лотке, и, решительно став в конце стола, крепко обхватила Сима за плечи. Ночная сестра неумело зажала колени мальчика.

Хотя длилось это, конечно, не более минуты, мне казалось, что я стоял так целую вечность, неловко держа нож в одеревеневшей руке.

— Мы готовы, доктор, — вернула меня к действительности начальница, и в ее твердом тоне — хотите верьте, хотите нет — снова прозвучало ободрение.

Я глубоко вздохнул, стиснул зубы и, натянув кожу, сделал надрез на шее ребенка. Кровь хлынула, густая и темная, заливая рану. Я протампонирил ее еще и еще раз, потом надрезал глубже. Сим был без сознания и, я уверен, ничего не чувствовал, однако при каждом моем прикосновении слабенькое тельце его корчилось и извивалось на столе. В то же время он то и дело

судорожно приподнимался в мучительной борьбе за каждый глоток воздуха — совсем как рыба, выброшенная на сушу. Эти внезапные непредвиденные движения значительно осложняли мою работу. Я попытался ввести в отверстие ретрактор. Он вошел, но тут же выпал и с грохотом полетел на пол. Тотчас хлынула густая кровь — она не била яркой струйкой, которую я мог бы остановить, а текла медленно, как патока, заволакивая рану. Действовать скальпелем было нельзя: слишком близко находились крупные шейные сосуды. Одно неверное движение — и я мог перерезать яремную вену. Я попытался указательным пальцем раздвинуть ткани, но безуспешно: я никак не мог найти трахею. Если я быстро не найду ее, Симу — конец. Он весь почернел и еще отчаяннее ловил воздух, втягивая в себя все ребра, так что его маленькая грудка совсем запала, но эти судорожные вздохи становились все слабее и реже. Они перемежались длинными промежутками, когда он вовсе не дышал. Тельце его уже похолодело и стало липким.

Крупные капли пота выступили у меня на лбу. Мне было нехорошо, и казалось, я вот-вот лишусь сознания. Не мог я найти дыхательное горло, просто не мог, а ребенок почти умирал. О Боже, помоги мне найти эту трахею!

— Нет пульса, доктор. — Это с мягкой укоризной проблеяла сестра Пик, которая время от времени касалась запястья мальчика. Однако начальница, по-прежнему стоявшая у стола, продолжала хранить молчание.

Не знаю, что на меня нашло, но с отвагой отчаяния я вдруг схватил скальпель и глубоко всадил его. И тут, словно по волшебству, в ране показалась тоненькая, белая и блестящая, точно серебристый тростник, трахея — предмет моих слепых и безумных поисков. Теперь уже из моей груди вырвался тяжкий судорожный вздох, и, мотнув головой, чтобы пот не заливал глаза,

я надрезал трахею. В ту же секунду воздух со свистом ворвался туда — благословенный поток его наполнил сжатые, задыхавшиеся легкие. Раз-другой изголодавшаяся грудка глубоко вздохнула, до предела вбирая в себя воздух. Потом еще и еще, наслаждаясь наступившим облегчением. Сначала еле-еле, а затем все глубже умирающий ребенок равномерно задышал. Тельце его утратило сероватый оттенок, синие губки порозовели, он перестал бороться за каждый вдох.

Быстро, дрожащими пальцами, я ввел в рану двойную трахеотомическую трубку, наложил швы в нескольких кровоточащих местах, зашил рану и забинтовал таким образом, чтобы узкое металлическое отверстие трубки выступало наружу. Колени у меня подкашивались, сердце готово было выскочить из груди, но хуже всего было то, что мне приходилось скрывать свое волнение. Я безвольно стоял у стола, мокрый и растрепанный, с окровавленными руками, пока начальница умело переносила Сима на койку в боковой палате, — там она обложила его бутылками с горячей водой и высоко взбила подушки.

— Вот так, — изрекла наконец мисс Траджен. — Теперь ему будет хорошо. Этот больной поручается вам, сестра, будете особо следить за ним всю ночь.

И, повернувшись к выходу, она кинула на меня взгляд, в котором не было одобрения, но не было и укоризны, — казалось, она хотела сказать: «Дело было рискованное, но вы вышли из положения лучше, чем можно было ожидать». Мнения наши впервые совпали.

Даже после ухода начальницы я никак не мог заставить себя сойти с места. Сестра Пик придвинула стул к койке и поставила рядом лоток с тампонами, чтобы снимать с отверстия трубки появлявшиеся там время от времени гнойные пленки; я стоял позади нее и смотрел на мальчика — он отдыхал, на щеках его уже по-

явился румянец. От усталости его начало клонить ко сну, но вдруг он на миг открыл глазки, и по какой-то странной случайности взгляд его встретился с моим. На секунду он улыбнулся — во всяком случае, губки его слегка приоткрылись, как бы в улыбке. Потом сомкнулись, и он заснул.

Ничто не могло меня тронуть сильнее этой робкой детской улыбки. Большой награды я и желать не мог.

— Я пошел, сестра, — кратко бросил я. — Вы знаете, что нужно делать?

— О да, доктор.

Только выйдя на улицу, где ярко и весело поблескивали звезды, я вспомнил про Алекса Дьюти, ждавшего в приемной, и мысль о том, что я могу положить конец его тревоге, побудила меня ускорить шаги. Да, он сидел на том же месте, где я оставил его, напротив двери, выпрямившись на жестком стуле и сжимая в руке холодную пустую трубку, — казалось, он даже не шелохнулся с тех пор, как мы ушли. Когда я вошел, он напрягся еще больше, потом встал и молча шагнул ко мне — в глазах его был вопрос, который он не в силах был задать.

— Все в порядке.

Мышцы его лица словно свело судорогой, и он не мог сразу справиться с собой. Я видел, как заходили желваки у него на скулах. Потом задергался рот. И наконец он тихо спросил:

— Ты оперировал?

Я кивнул.

— Теперь он может дышать. А пока он спит. Когда дифтерит пройдет — дней через десять, — мы вынем трубку, и ранка затянется. Все заживет так, что и шрама не будет.

Дьюти подошел ко мне и, схватив меня за руку, в пылу благодарности с таким чувством потряс ее, что я съезжился от боли.

— Я никогда не забуду, что ты сделал для нас сегодня. Никогда, никогда... Я же говорил, что мы с женой верим в тебя. — Наконец он милосердно разжал свои железные пальцы. — Могу я позвонить ей? Она ждет в доме управляющего.

Через минуту он уже был в вестибюле и бессвязно сообщал жене добрую весть. Когда он закончил разговор, я проводил его до такси, возле которого позабытый всеми шофер, натянув кепку на уши, терпеливо прохаживался взад и вперед.

— Все в порядке, Джо! — ликующим голосом крикнул Дьюти. — Малышу уже лучше.

Уже сев в машину, добрый малый высунулся из окошка и в избытке благодарности дрожащим от радости голосом сказал:

— Я приеду завтра, дружок, и привезу с собой жену. Еще раз... от всего сердца... спасибо тебе.

Машина уже ушла, а я все еще стоял в прохладной темноте, где гулял ветер. Затем, услышав, что часы в холле бьют час, я, пошатываясь, побрел к себе. В голове у меня царил такой сумбур, что не хотелось ни о чем думать. Однако на душе, несмотря на все мои беды и огорчения, было как-то удивительно покойно. Я почти тут же заснул, думая лишь об улыбке Сима.

ГЛАВА 9

Должно быть, я проспал часа четыре; проснулся я оттого, что кто-то настойчиво толкал меня в плечо. Я открыл глаза: в комнате было светло, у постели с искаженным лицом стояла сестра Пик и истерически кричала мне в ухо:

— Идемте... идемте немедленно!

Она чуть не силой вытащила меня из-под простыни, и хотя я толком еще не успел проснуться, однако,

натягивая пальто и всовывая ноги в комнатные туфли, все-таки сообразил, что только катастрофа могла заставить эту «трепетную лань» ворваться ко мне в комнату, и притом в такой час. Казалось, она буквально потеряла голову и по пути к отделению «Б» на бегу все твердила, точно заученный урок:

— Я тут ни при чем. Я тут ни при чем.

В затененной, теплой боковой палате Сим по-прежнему лежал на высоко взбитых подушках, очень тихий и спокойный — только мне он показался каким-то уж слишком неподвижным. Сбросив абажур с ночника, я вгляделся повнимательнее и с ужасом обнаружил, что блестящая металлическая трубка не торчит больше из его повязки, ее нет в горле. Я поспешно схватил пинцет и вынул из раны образовавшуюся в ней гнойную пробку, затем взял безжизненные ручки мальчика и принялся делать ему искусственное дыхание.

Точно одержимый, я добрый час трудился над Симом. Но еще до моего прихода он был мертв, несомненно мертв. Я выпрямился, застегнул измятую ночную рубашонку, уложил это маленькое тельце, которое столько выстрадало и вынесло такую отчаянную борьбу, подsunул ему под головку подушку.

Внезапно, оправляя постель, я обнаружил в складках сбившейся простыни трахеотомическую трубку, забитую пленками. Я тупо уставился на нее, потом повернулся к сестре Пик, которая все это время стояла, прижавшись к двери.

— Трубка забита, — с удивлением произнес я. — Должно быть, он начал задыхаться и с кашлем выплюнул ее.

Тут я все понял: еще прежде, чем я успел обвинить ее, по выражению ее лица я определил, что мои догадки правильны. Внезапно еще одна мысль пришла мне в голову. Я не торопясь прошел мимо сестры на кухню. Да, конечно: на столе — на том самом сосновом

столе, где было дано сражение за жизнь Сима, — стоял чайник, тарелочка с бутербродами и недопитая чашка с остывшим уже чаем. Соблазнительный легкий ужин.

— Ох, доктор! — Она, ломая руки, последовала за мной. — Кто бы мог подумать... он так спокойно спал... я отлучилась всего на какую-нибудь минутку.

Это было невыносимо. Мне казалось, что у меня сейчас разорвется сердце. Я вышел из кухни и, миновав палату, очутился на улице. В небе еще догорало несколько звезд, и первые слабые пальчики рассвета уже успели прогнать с востока тьму. Колотя себя в лоб сжатыми кулаками, я прибежал в свою гостиную и упал в кресло у стола. Дело было не в том, что меня лишили моего маленького успеха. Меня жгло и мучило, отравляя душу, это нелепое превращение победы в поражение, эта глупая, преступная утрата человеческой жизни. Какое-то тупое оцепенение овладело мной, я был в отчаянии.

Должно быть, я долго просидел так, не шевелясь, ибо, когда Кейти в девять часов вошла в комнату накрывать на стол, я все еще был в пальто и пижаме. Не в силах выносить ее соболезнующие взгляды, я прошел через спальню в ванную, машинально побрился и оделся. Когда я вернулся, меня ждал отменный завтрак — поджаренный хлеб, кофе, яичница с беконом под металлической крышкой. Но хотя мне необходимо было подкрепиться, есть я не мог: меня стало тошнить даже после нескольких глотков кофе. Я подошел к окну и выглянул на улицу. Утро было холодное, туманное, оно напоминало о том, что скоро наступит сырая, хмурая зима.

Раздался стук в дверь. Я обернулся: в комнату медленно вплыла мисс Траджен, как всегда спокойная, только во взгляде ее сквозила озабоченность. Она с дружелюбным видом пересекла комнату и подошла к камину, где шипели, выбрасывая облачка дыма, несколько сырых поленьев.

— У меня была сестра Пик. — Голос ее, когда она заговорила, звучал серьезно и сдержанно. — Она очень расстроена.

— Меня это не удивляет, — с горечью сказал я.

— Я понимаю, каково вам, доктор. Особенно после стольких усилий. Все это весьма печально. — Она помолчала. — А для меня это и вовсе огорчительно — ведь никто не принимает интересы больницы ближе к сердцу, чем я. Но такие вещи случаются, доктор, даже в самых превосходно поставленных учреждениях. За свою долгую практику я поняла, что к подобным случаям может быть только одно отношение.

— Какое же именно? — невольно вырвалось у меня.

— Не обращать на них внимания.

Я чуть не задохнулся.

— Но на это нельзя не обратить внимания. Это не случайность, а следствие величайшей небрежности, за которую следует наказывать.

— Предположим, что мы так и сделаем. А дальше что? Сестру Пик мы уволим, пойдут разговоры, скандал, у больницы появится скверная репутация, а проку от этого все равно никому не будет.

— Она должна уйти отсюда, — упорствовал я. — Она плохая сестра, из-за нее ребенок умер.

Мисс Траджен сделала успокаивающий жест.

— Я понимаю ваше состояние, доктор. И от души вам сочувствую. Но... в этой больнице... Впрочем, тут есть еще и другие соображения, чисто практического порядка, которые следует иметь в виду.

— Нельзя оставлять ее здесь, ведь она может еще раз натворить то же самое.

— Никогда она этого больше не допустит, — поспешила заявить начальница. — Это будет ей хорошим уроком, который она, ручаюсь, не забудет. Уверяю вас, доктор, что у сестры Пик есть немало хороших качеств, и было бы неразумно — я бы даже сказала, несправед-

ливо — испортить ей карьеру из-за, в общем-то, единичного случая.

Я в упор смотрел на нее: мне припомнилось, как она — вопреки своим правилам — покровительствовала ночной сестре. И у меня возникла смутная догадка, что Эффи Пик находится здесь в несколько привилегированном положении. Я только хотел было сказать об этом, как в дверь тихонько постучали и на пороге снова появилась Кейти.

— Мистер и миссис Дьюти ждут вас в приемной, сэр.

Я весь похолодел, и ноги у меня невольно задрожали. Слова, которые я собирался сказать начальнице, застыли у меня на губах. Я с минуту тупо смотрел в пол, затем усилием воли заставил себя направиться к двери.

Когда я уже взялся за ручку, мисс Траджен подошла ко мне и с неподдельным беспокойством взмолилась:

— Будьте благоразумны, доктор. В своих же интересах... и в моих тоже.

Перед глазами у меня все дрожало и расплывалось, в коридоре, казалось, стоял густой туман, но, когда я, спотыкаясь, вошел в приемную, я отчетливо увидел Дьюти и его жену, которые улыбались мне, словно были не в силах сдержать радость. При моем появлении Алекс встал и с сияющим лицом схватил меня за руку.

— Надеюсь, мы не слишком рано, дружок. Но мы с женой просто не могли усидеть дома. Мы чуть не пели, когда сюда ехали.

— Правда, доктор. — Алиса Дьюти тоже поднялась со стула и стояла теперь рядом с мужем; ее простое, измученное заботами лицо так и сияло. — И все благодаря вашему опыту и умению.

Я оперся на стол, чтобы не упасть. Ноги у меня подкашивались, голова была словно набита ватой, но

самое страшное — мне казалось, что я вот-вот не выдержу и расплачусь.

— Эге! — воскликнул Алекс. — Да ты на ногах не стоишь. Еще бы: целую ночь не спал из-за нас. Ну, мы не будем тебя больше задерживать. Только пойдем взглянем на Сима.

— Стойте!.. — задыхаясь, еле слышно выговорил наконец я.

Они усталились на меня — сначала с удивлением, затем с беспокойством и наконец с мучительной тревогой.

— Что случилось? — изменившимся голосом спросил Алекс. Потом, запинаясь, с расстановкой вымолвил: — Что, с нашим мальчиком опять плохо?

Я тупо кивнул.

— Хуже? Господи боже, да не стой ты так, скажи нам, что с ним!

Я не мог заставить себя взглянуть на Алису, достаточно с меня было и Алекса, лицо которого сразу осунулось, стало серым и жалким.

— Великий боже, — понуро, еле слышно произнес он. — Только не это.

Мы долго молчали — как долго, я и сам не знаю. Время перестало существовать, все казалось пустым и бессмысленным. Я только видел, что Алиса заплакала, а Дьюти обнял ее. Когда он наконец заговорил, голос его звучал холодно и жестко:

— Можно нам посмотреть на него?

— Да, — пробормотал я. — Хотите, чтобы я пошел с вами?

— Если не возражаете, мы пойдем одни.

Уже у самой двери он обернулся и посмотрел на меня как на совсем чужого человека.

— Нам было бы легче, если б вчера вы не подали нам надежду и мы не думали, что он спасен. Я вас видеть больше не хочу.

Я вернулся к себе в комнату и принялся бесцельно бродить по ней, то беря какую-нибудь вещицу, то снова кладя ее на место.

Через некоторое время, подойдя к окну, я увидел, как Алекс и миссис Дьюти вышли из-за угла и медленно побрели по аллее. Он весь съежился и сгорбился; одной рукой он по-прежнему обнимал жену за плечи и, поддерживая, вел ее по аллее, беспомощно поникшую и ослепшую от слез.

Тут я вскипел. Я повернулся и, выскочив в коридор, побежал в комнату отдыха для сестер. Как я и предполагал, сестра Пик была там одна. Она сидела в удобном кресле перед ярким огнем; глаза ее были красны, но по лицу было видно, что на душе у нее полегчало, словно, выплакавшись, она решила, что худшее уже позади. Она только что покончила с завтраком, который ела довольно рано, прежде чем отправиться ко сну, и я заметил на ее тарелке две тщательно обглоданные косточки от отбивных.

Я задыхался в пароксизме ярости, свирепой, дикой, бессмысленной.

— Вы — гадкая, никчемная, бессердечная разиня! Да как вы смеете сидеть тут — жрать, пить, греться у огня — после того, что вы натворили?! Неужели вы не понимаете, что ваш эгоизм и ваше легкомыслие стоили этому несчастному мальчику жизни? Это вы, вы, проклятая гнилушка, виноваты в том, что он лежит сейчас мертвый!

Выражение моего лица, должно быть, испугало ее. Она соскользнула с кресла и, попятившись, забилась в угол. Я последовал за ней, схватил ее за плечи и тряхнул так, что у нее зубы застучали от испуга.

— И это называется сестра! Черт бы вас побрал — это же курам на смех! Если только вы здесь останетесь, я уж позабочусь о том, чтоб вам дали хорошую взбучку. Да вас бы надо повесить за то, что вы наделали.

Вспомните об этом в следующий раз, когда вам вздумается оставить больного, чтоб попить чайку.

Она даже и не пыталась мне возражать. Скорчившись от страха, поникнув и вся дрожа, она лишь смотрела на меня своими блестящими зелеными глазами.

Я повернулся и вышел. Хотя я и не жалел о ссоре, но мучительно сознавал, что моя вспышка была напрасной и глупой. Однако до какой степени глупой — я понял лишь несколько позже.

ГЛАВА 10

Три недели спустя, когда мы сидели и пили кофе после второго завтрака, мисс Траджен с самым дружелюбным видом достала письмо. Та ночь, когда я делал трахеотомию, положила конец нашей ссоре. Она больше не старалась меня «осадить», и я готов был поклясться, что она честно и с доверием относится ко мне. Больше того, мне даже начало казаться, что она, сама того не желая, почувствовала ко мне симпатию.

— Сегодня к нам пожалует начальство из Опекунского совета с ежегодным инспекционным визитом.

Я внимательно прочел напечатанное на машинке извещение, которое она протянула мне.

— В честь такого события придется, видно, надеть чистый воротничок.

— Не мешает. — Ее маленькие глазки заблестели. — Их всего трое — Мастерс, Хоун и Глог. Но уж очень они разные. В этом году они приезжают что-то раньше обычного.

— А как это все происходит?

— Мы их кормим — это уже полсражения выиграно, — затем водим по больнице. — Она искоса взглянула на меня. — Вы можете не волноваться. Весь удар я принимаю на себя.

Я не придавал особого значения предстоящему визиту. Настроение у меня все еще было подавленное, я никак не мог забыть случившееся и лишь недавно снова взялся за свою работу. За это время я не получил от Джин ни строчки, а два письма, которые я написал ей, вернулись ко мне обратно, адресованные чьей-то незнакомой рукой. Весь день я смутно ощущал атмосферу приготовлений в доме: по коридорам с тряпками и метелками сновали люди, на безукоризненно чистые полы и стены наводился последний глянец. В моей комнате на буфете выстроились в ряд графины с вином; затем был раздвинут стол, в центре его поставили цветы и стали накрывать для солидного угощения.

В половине пятого к главному входу подъехал закрытый автомобиль, и после нескольких минут разговоров и смеха в вестибюле, сияя улыбкой, появилась начальница в своем лучшем форменном платье, а за нею — члены комиссии.

— Доктор Шеннон... это мистер Бен Мастерс... мистер Хоун... и мистер Глог.

Она представила меня — глазки ее при этом добродушно, но не без хитринки поблескивали, точно мы все время были с ней в наилучших отношениях и жили на редкость дружно, — и тут же начала наливать гостям в бокалы виски, что они, преисполнившись сознания собственного достоинства и важности возложенной на них миссии, приняли как должное.

Главный из гостей, мистер Мастерс, был высокий, худощавый, грубоватый на вид человек лет пятидесяти, с суровым, обветренным лицом, глубоко запавшими глазами и громким резким голосом, какой обычно бывает у людей, привыкших отдавать приказания на воздухе. С виду он смахивал на старшего десятника, да и в самом деле был, как я позже выяснил, подрядчиком строительных работ в близлежащем городке Прентоне. Он молча потягивал виски, слушая нескон-

чаемую болтовню начальницы, и задумчиво поглядывал на меня поверх своего бокала.

Ко мне тем временем прицепился второй член совета, мистер Хоун, аккуратный толстячок с нафабреными усами, в слишком узком для него синем костюме и гетрах. Он был суетлив и страдал чрезмерной болтливостью, но держался, несмотря на торгашеские замашки, вполне пристойно.

— Вы знаете, доктор, — признался он мне, — ничто так не облагораживает человека, как работа на благо ближнего в больничном Опекунском совете. На это, конечно, нужно время, а время в наши дни — это деньги, особенно если имеешь собственное дельце — у меня ведь торговля мануфактурой и обивочными тканями, — но как посмотришь, сколько ты приносишь добра... Благодарю вас, сударыня, я, собственно, не возражаю. Каков хозяин, таков и работник. Отличное виски, любопытно только, во что оно нам обходится... А как это интересно, доктор: вы и представить себе не можете, сколько я теперь знаю по медицине. Совсем на днях жена показывает мне нашего меньшого — такой красавчик-парень, хоть мне и не пристало это говорить, — сыпь у него появилась; я велел ей не волноваться, потому как это, знаете ли, от дурной крови. Ну, Альберт, сказала она, хоть ты мне и муж, а я должна тебя похвалить: во всех лихорадках разбираешься, совсем точно доктор стал! Я вам оставлю свою карточку. — Он вытащил из верхнего кармашка жилета свою карточку и потихоньку сунул мне ее в руку. — Как видите, я занимаюсь немножко и похоронными делами. Неплохо все-таки быть наготове, если у кого-нибудь из убитых горем родственничков ваших состоятельных пациентов возникнет вдруг во мне нужда. Дело у нас поставлено солидно, доктор. И цена вполне умеренная.

До сих пор мистер Глог, третий член компании, маленький человечек среднего возраста, с колючими

глазами, молчал как рыба; однако, наклонив голову набок, он с таким видом прислушивался к разговору, точно не хотел упустить ни слова, и лишь время от времени нехотя, как бы в знак согласия со своими коллегами, издавал какое-то восклицание.

— Ну-с, джентльмены, — сладчайшим голосом предложила мисс Траджен, — я надеюсь, вы приехали с хорошим аппетитом. Не сесть ли нам за стол?

Наши гости без особых колебаний последовали за ней. Они, несомненно, предвкушали это ежегодное бесплатное угощение, и, если не считать плоских шуточек, которые мистер Мастерс, восседавший во главе стола, то и дело отпускал, бóльшая часть трапезы прошла под лязг ножей и вилок и размеренное чавканье жующих ртов.

Но вот, несмотря на радушные увещевания мисс Траджен, энергия, с какою гости поглощали пищу, постепенно начала слабеть, и скоро они совсем сдали. Посидев еще некоторое время за столом, мистер Мастерс отодвинул стул и поднялся, с деловитым видом стяхивая крошки с жилета.

— А теперь, сударыня, если вам не трудно, мы хотели бы обойти больницу вместе с вами. И доктором.

Перейдя на официальный тон, он подал пример и остальной компании; начался обход, и вскоре я заметил по взволнованному виду и слегка покрасневшим щекам начальницы, что это для нее куда мучительнее, чем ей хотелось бы показать.

В административном здании члены совета последовательно осмотрели контору, прачечную и кухню, где мистер Глог, в частности, выказал удивительный талант по части обследования шкафов, заглядывания во всякие темные уголки и приподымания крышек с горшков и сковородок, дабы выяснить, как пахнет ужин, приготовляемый для персонала больницы.

Затем вся компания проследовала в палаты, которые и являлись главным предметом внимания комис-

сии, и начался медленный, поистине королевский обход. Исполненный решимости ничего не упустить, Глог всюду совал свой нос — даже заглядывал под кровати в поисках недозволенной пыли. Раз он отстал, проверяя состояние уборной в отделении «Б», но вскоре нагнал нас с видом человека, потерпевшего поражение: все оказалось в полном порядке. Не менее дотошен был и Мастерс: он взялся за больных и хриплым шепотом, разносившимся по всей комнате, спрашивал каждого, нет ли жалоб. А Хоун тем временем решил позондировать персонал, особенно младших сестер, расспрашивая со слащавой фамильярностью об их здоровье и привычках. Вдруг он остановился и, указывая на малыша с ярко выраженной корью, с видом знатока театральным шепотом заметил, обращаясь ко мне через плечо:

— Ну и сыпь, доктор. Ветрянка, да? Сразу видно.

Я не стал возражать. Вообще я старался держаться как можно незаметнее. За все это, безусловно, отвечала начальница, и, хотя я не мог не сочувствовать ей, я вовсе не желал навлекать на себя огонь противника.

Возможно, во мне говорило предубеждение и совет выполнял свою задачу, руководствуясь самыми высокими соображениями, и все-таки я никак не мог отделаться от мысли, что передо мной были трое невежественных и плохо воспитанных деяг, провинциальные политиканы из тех, что занимаются общественной деятельностью лишь ради собственной выгоды и стремятся выжать все, что можно, даже из жалких крох власти, которыми они обладают.

Наконец обход был завершен; мы вышли из последней палаты на холодный ноябрьский воздух, и я с чувством облегчения уже приготовился провожать наших непрошенных гостей, как вдруг Мастерс повелительно сказал:

— А теперь пойдете взглянем на корпус «Е».

С минуту я удивленно смотрел на него, да и все остальные недоумевали, потом я с ужасом заметил, куда он глядит.

— Вы имеете в виду изолятор для оспенных? — неуверенно спросила начальница.

— А что же еще? — раздраженно заметил Мастерс. — Он ведь входит в число больничных строений. Вот я и хочу осмотреть его. — С минуту он помедлил. — Я думаю, мы могли бы восстановить его.

— Да, конечно... — проямлила начальница, не двигаясь с места, — мы уже давно им не пользуемся.

— Ну да, — поспешно вставил я. — Здание совсем разваливается.

— Мы сами будем судить об этом. Пошли.

Я безвольно последовал за остальными, теряясь в догадках относительно того, как эта беда могла свалиться на меня. Судя по плохо скрытому удивлению и досаде начальницы, я был убежден, что она к этому непричастна. Мастерс подошел уже к домику: повертев ручку, он нажал плечом на дверь. Поскольку она не поддавалась, я принял совершенно неправильное решение.

— Она, наверно, забита. Нам туда просто не попасть.

Наступило напряженное молчание. Потом Хоун вкрадчиво спросил:

— Вы не хотите, чтобы мы туда вошли, доктор?

Тем временем Мастерс зажег восковую спичку и, нагнувшись, стал ковыряться в замке. Тонем человека, сделавшего открытие, он воскликнул:

— Это же новый замок... совершенно новый! — Он выпрямился. — Что у вас тут происходит? Глог, сходите за Пимом и велите ему принести лом.

Я понял, что дальше молчать нельзя. Мне не хотелось вовлекать в это дело Пима, да и начальница явно была взволнована, а потому, порывшись во внутреннем кармане пиджака, я извлек ключ.

— Я могу впустить вас. — Пытаясь по возможности с честью выйти из положения, я отпер дверь и зажег свет.

Насторожившись, словно заправские сыщики, все трое протиснулись внутрь и с видом оскорбленного достоинства уставились на мои препараты. После совершенно бесцельного обхода, не давшего никаких результатов, для них было сущей манной обнаружить подобное беззаконие.

— Черт возьми! — воскликнул Мастерс. — Это еще что такое?

Я улыбнулся задабривающей улыбкой.

— Все объясняется очень просто, джентльмены. Я занимаюсь научной работой, и, поскольку этот домик пустовал, я устроил тут себе лабораторию.

— А кто вам разрешил?

Несмотря на мое намерение держаться смиренно, тон Мастерса невольно заставил меня покраснеть.

— А разве на это нужно разрешение?

Мастерс сдвинул брови и свирепо уставился на меня.

— Да разве вам не ясно, что вы за все ответственны перед советом? Вы не имели никакого права так своевольничать.

— Я вас не понимаю. Вы считаете, что я своевольничаю, занимаясь научной работой?

— Конечно своевольничаете. Вы — доктор в этой инфекционной больнице, а не какой-нибудь исследователь.

Хоун слегка кашлянул, прикрыв рукой рот.

— Разрешите спросить вас: а откуда вы берете время для вашей так называемой исследовательской работы? Насколько я понимаю, вы занимались ею вместо того, чтобы находиться в палатах и лечить наших больных.

— Я работал в свободное время, вечерами, когда мои официальные обязанности были окончены.

— Нет такого времени, когда бы ваши официальные обязанности были окончены, — грубовато прервал меня Мастерс. — Вы должны быть заняты целый день. Мы платим вам за то, чтобы вы двадцать четыре часа в сутки были на ногах, а вовсе не за то, чтобы вы тайком от всех запирались здесь со своими микробами. Какого черта вы тут с ними возитесь?

Забыв о мудром примере начальницы, считавшей, что на самовлюбленного чиновника нужно действовать лишь лаской да лестью, я вышел из себя:

— А какого черта, вы думаете, я тут с ними вожусь? Любуюсь на них?

— Дерзость не поможет вам, доктор, — вставил не на шутку скандализированный Хоун. — Стыдно. Непристойнейшая история, вот что я вам скажу. Кто, по-вашему, платит за электричество, которое вы тут жжете, и за газ, который горит в этих горелках? Мы представляем налогоплательщиков этого района. Нельзя все-таки заниматься своими делами в часы, отведенные для общественных нужд, и на общественные деньги!

— Нам придется доложить об этом начальству, — заявил Мастерс. — Я сам этим займусь.

— Угу, — поддакнул Глог.

Чувствуя свое бессилие, я закусил губу. Замечания Хоуна были особенно неприятны тем, что в них была все-таки доля правды. Прежде я не считал это необходимым, но сейчас понял, что было бы куда разумнее сначала получить разрешение. Я лишь молча в ярости стиснул зубы; странный, исполненный сострадания взгляд, который бросила на меня мисс Траджен, только усилил мое горе; я закрыл дверь рокового домика и последовал за остальными к главному зданию, где, наскоро глотнув вина, дабы уберечь себя от холода,

три моих мучителя закутались в пальто и шарфы и приготовились отбыть.

С начальницей они распростились самым любезным образом, а мне ледяным тоном едва сказали «до свидания».

Понуро побрел я к себе в комнату. Не везло мне ужасно, и все-таки я не мог поверить, что они решат сурово покарать меня. Ведь я же никакого преступления не совершал, и когда они спокойно все взвесят, то, безусловно, поймут, что я был абсолютно честен. Решив не оставлять дело на волю случая, я тут же сел за стол и написал полный отчет о своей работе и ее целях. И, отослав письмо, я почувствовал себя несколько увереннее.

В тот же вечер, возвращаясь с моего последнего обхода, я встретил в коридоре сестру Пик. Она еще не приступала к работе, книга ночных дежурств была зажата у нее под мышкой. Видимо, она поджидала меня. Когда я появился, она судорожно глотнула воздуха.

— Добрый вечер, доктор Шеннон. Надеюсь, у вас был сегодня приятный денек.

— Что вы сказали? — переспросил я.

— Надеюсь, вам понравились сегодняшние гости.

Голос ее звучал почему-то удивительно звонко, да и вообще самый факт, что она обратилась непосредственно ко мне, был достаточно необычен и не мог не привлечь внимания. Последнее время она старательно избегала меня и, если мы встречались, проходила мимо, не поднимая глаз. Приглядевшись к ней попристальнее, так как в коридоре было темно, я увидел, что она стоит чуть ли не съежившись и прижавшись к стене. Однако она все-таки превозмогла свою робость и одним духом выпалила:

— Вам, наверно, было очень приятно, когда они направились в изолятор. И обнаружили там вашу рас-

прекрасную лабораторию. Я уверена, что вы получили огромное удовольствие.

Я молча смотрел на нее. Меня поразила ненависть, которую она питала ко мне.

— Да, милейший доктор Шеннон, я не из тех, кого можно безнаказанно вышвырнуть. Вот так-то! Быть может, этот случай научит вас уважать даму. К вашему сведению, если вам это еще неизвестно, — она судорожно сглотнула, боязливо наслаждаясь своей победой, — *председатель комиссии, мистер Мастерс, — муж моей сестры.*

И прежде чем я успел вымолвить хоть слово, точно боясь, что я ее ударю, она повернулась и быстро пошла прочь.

А я еще долго стоял неподвижно после того, как она исчезла из виду.

Теперь все ясно: случилось то, чего я меньше всего ожидал. Одно время я опасался, что начальница может донести на меня, но уж меньше всего я думал, что это сделает Эффи Пик. Во время своих ночных дежурств она видела, как я выходил из изолятора, и, проследив за мной, донесла обо всем своему достойному родственничку. Это была сладкая месть. Когда первый порыв дикой ярости прошел, я почувствовал себя совсем разбитым и обескураженным. Что тут поделаешь? Я оскорбил ее робкую, чувствительную натуру — забыть это она не в силах. Она испытывала ко мне не просто мстительную злобу, а нечто гораздо большее. По-видимому, она страдала нервным расстройством и просто не владела собой. Исправить что-либо я был не в состоянии. Теперь у меня угасла последняя искорка надежды.

В последний день месяца я получил от совета директоров официальное уведомление, подписанное Беном Мастерсом, в котором мне предлагалось подать

в отставку и отказаться от должности-врача, обслуживающего Далнейрскую больницу. Я прочитал это с каменным лицом.

Персонал мне очень сочувствовал. Сестры во главе с начальницей устроили подписку и после небольшой церемонии, сопровождавшейся несколькими трогательными речами, вручили мне премилый зонтик. Затем Пим с сокрушенным и сочувствующим видом отвез меня на станцию в своей дряхлой карете. Снова я был один в целом свете, с перспективой вести свои исследования на улице. И для начала, сойдя, точно слепой, на платформу Уинтонского вокзала, я забыл свой новый зонтик в поезде.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА 1

В «Глобусе» — отеле для коммерсантов, расположенном в самой шумной части города, на убогой улочке неподалеку от Тронгейт, — я нашел комнату, душную, поскольку окна были вечно закрыты, без каких-либо ковров и дорожек, с выцветшими обоями и деревянным умывальником, почерневшим от бесчисленного множества погашенных о него сигарет. Комната мне не понравилась: она казалась нежилой, хотя в ней перебывало несметное число постояльцев. Зато она недорого стоила.

Выпив чашку чая в грязной кофейне, находившейся в нижнем этаже отеля, я через весь Уинтон отправился на Парковую сторону. Добравшись до этого тихого дачного пригорода, я, к своему великому облегчению, узнал, что профессор Чэллис дома и готов принять меня.

Он почти сразу вышел ко мне в кабинет, затененный коричневыми занавесями и уставленный книгами, — шагал он несколько неуверенно и, приветливо протянув мне худую, с голубыми жилками, дрожащую руку, серьезно и дружелюбно посмотрел на меня своими серыми, хотя и ясными, но по-стариковски глубоко запавшими глазами.

— Вот приятный сюрприз, Роберт! В последний раз вы были у нас месяца два или три тому назад. Я очень жалел, что вы меня не застали.

Уилфреду Чэллису перевалило за семьдесят; это был хрупкий, маленький, сторбленный старичок, хо-

дивший в старомодном сюртуке, узких черных брюках и ботинках на пуговицах, что придавало ему одновременно и трогательный, и нелепый вид человека другой эпохи. Слабое здоровье принудило его уйти из университета и уступить свое место профессору Ашеру, — теперь имя его было почти неизвестно за пределами узкого круга специалистов во Франции и в Швейцарии, где он работал над своими наиболее значительными исследованиями. Однако это был настоящий ученый, который из самых чистых и благородных побуждений, не требуя для себя никаких материальных благ, нес свет в темный мир. Он был моим идеалом в студенческие годы и неоднократно выказывал мне свое расположение. Его морщинистое лицо с высоким лбом, такое спокойное и одухотворенное, кроткое и бесконечно доброе, свидетельствовало о гуманности натуры.

Он сел в кресло подле меня, и коричневый спаниель Гулливер тотчас улегся у его ног; затем он с напряженным вниманием и все возрастающим сочувствием стал слушать мой рассказ. Когда я кончил, он помолчал немного, затем задал мне несколько специальных вопросов и задумчиво провел своими длинными нервными пальцами по редким седым волосам.

— Интересно, — сказал он. — Чрезвычайно интересно. Я всегда считал, Роберт, что ты не разочаруешь меня.

Я вдруг почувствовал, что глаза мои увлажнились.

— Если б я только мог получить субсидию, сэр, — горячо взмолился я. — Неужели я не могу на нее претендовать? Уж очень мне не хочется связывать себя и снова поступать на службу. Но ведь без денег ничего не сделаешь.

— Дорогой мой мальчик... — Он кротко улыбнулся. — Опыт всей моей жизни показывает, что самое трудное в научной работе — это добыть денег.

— Но ведь для этого, сэръ, и существует ученый совет... Мне нужна только лаборатория и примерно сотня фунтов деньгами. Если бы вы могли походить и ступать... Ведь вы пользуетесь таким влиянием.

Слабо улыбнувшись, он с сожалением покачал головой.

— Со мной уже теперь не считаются: я — старик, отживший свой век. К тому же то, о чем ты просишь, сделать нелегко. Но заверяю тебя, что я попытаюсь. И не только получить субсидию, но и помочь тебе всем, чем смогу. — Он помолчал. — Со временем, Роберт, мне бы очень хотелось подыскать тебе место на континенте. Здесь мы до сих пор скованы предрассудками. А в Париже или Стокгольме тебе было бы куда легче выбиться в люди.

Не слушая моих изъявлений благодарности, он с живым интересом снова стал расспрашивать о моей работе. Я принялся рассказывать; пес Гулливер лизал ему руку, в камине горел яркий огонь, сверху доносились веселые голоса его внуков. И меня охватило неудержимое желание сказать все без утайки этому добродушному старику, который ненавидел все напыщенное и благодаря своему приятному мягкому юмору до сих пор был молод душой. Через полчаса я стал прощаться; он старательно записал мой адрес и обещал вскоре известить меня.

Повеселевший и приободрившийся, возвращался я через весь город домой. День был ясный, высоко в небе плыли светлые облака, и на тротуарах Мэнсфилд-стрит, главной торговой магистрали города, было полно народу: воспользовавшись мягкой погодой, люди высыпали на улицу поглазеть на товары, выставленные к весеннему сезону, и прицениться к ним. У главного почтамта я перешел на солнечную сторону улицы.

И вдруг я вздрогнул, разом спустившись с облаков и вернувшись к действительности. Прямо передо мной,

у витрины одного из крупных универсальных магазинов, с пакетами в руках, рядом с матерью стояла Джин.

Хотя я знал, что она должна вернуться в город к экзаменам, до которых теперь оставалось всего две недели, эта встреча была столь неожиданной, что у меня сдавило горло и перехватило дух. Сердце стучало как сумасшедшее. Я шагнул было к ней, но вовремя остановился. Притаившись в толпе, оглушенный буйным током крови, я во все глаза смотрел на нее. Она выглядела старше, серьезнее, и, хотя лицо ее отнюдь не казалось грустным, она без всякого интереса, а лишь с пассивной покорностью слушала мать, которая, несомненно, высказывала ей свои соображения насчет черного пальто, выставленного за зеркальным стеклом витрины. Время от времени что-то отвлекало ее: она задумчиво и пытливо осматривалась вокруг, и сердце у меня так и замирало. Почему, ах, почему она была не одна?

Но вот, глубокомысленно покачав головой, миссис Лоу взяла Джин под руку, и они пошли дальше. Должно быть, они уже сделали все покупки и направлялись теперь на Центральный вокзал, чтобы ехать домой. Я, точно вор, последовал за ними: меня одолевало желание подойти к ним, но удерживала мысль о том, в какое смятение они могут прийти при виде меня.

У кафе-молочной миссис Лоу остановилась и взглянула на часы. Посоветовавшись немного, обе женщины вошли и сели за маленький мраморный столик. А я, стоя снаружи, раздираемый любовью и нерешительностью, наблюдал за тем, как они заказали и выпили горячее молоко. Когда они вышли, я направился вслед за ними на шумный вокзал. Там, среди толпы, у книжного киоска, где мы часто встречались, я очутился так близко от Джин, что мог до нее дотронуться. Почему она не обернулась и не увидела меня? Я напрягал всю свою волю — так мне хотелось, чтобы она это сделала. Но нет — об руку с матерью, она медленно

прошла мимо барьера на перрон, села в поезд и скрылась из виду.

Как только она исчезла, я стал корить себя за то, что так глупо упустил эту возможность; я поспешил назад, в свою убогую комнатенку, и, пометавшись в ее узких стенах, схватил листок бумаги, перо и сел на скрипучую кровать. Мне хотелось излить долго сдерживаемые чувства в потоке слов, но мысль, что послание может быть перехвачено, остановила меня. Наконец в конверте, адресованном Люку, я послал следующее письмо:

Дорогая Джин!

Я видел Вас сегодня в Уинтоне, но не имел возможности поговорить с Вами. Я знаю, что скоро Вам снова предстоит держать экзамены, и не хочу отвлекать Вас ни до, ни во время них. Но когда они кончатся, прошу Вас непременно повидаться со мной. Мне Вас ужасно недоставало, и мне так много нужно Вам сказать. Пожалуйста, ответьте по прилагаемому адресу. Желаю Вам успешно сдать экзамены.

Ваш Роберт

Последующие несколько дней я лихорадочно следил за гостиничной почтой, ожидая ответа на письмо, — моя любовь к Джин проснулась и вспыхнула с новой силой. Неужели она не ответит? Меня неудержимо тянуло к ней.

В то же время, поскольку ресурсы мои катастрофически таяли и мне необходимо было побыстрее решать вопрос о будущем, я с нетерпением ждал весточки от профессора Чэллиса. Мне не хотелось связывать себя какой-либо работой: а вдруг ученый совет решит предоставить мне субсидию. Однако пока что мне пришлось урезывать себя в пище — утром я съедал теперь уже только одну сосиску, а потом отказался и от обеда, — и я стал жалеть, что недостаточно ясно обри-

совал старенькому профессору критическое состояние моих дел. Неужели он мог забыть обо мне, неужели то, ради чего я приходил к нему, испарилось из его слабеющей памяти? На всякий случай я зашел в Агентство по приисканию работы для медиков и оставил там свой адрес и фамилию, но при этом я поссорился с клерком: между нами произошел обмен любезностями, который, естественно, не мог благоприятно повлиять на мои перспективы. Молчание Чэллиса, отсутствие писем от Джин, нищенские условия существования и, главное, то, что моя научная работа по-прежнему не двигалась с места, — все это бесконечно угнетало меня.

В отчаянии перебирал я сосуды, которыми был заставлен весь пол в изножье моей кровати, и, найдя среди них пузырек с бациллами, убитыми при высокой температуре, решил испытать на себе их действие: сделав царапину на руке, я наносил на ранку ослабленную культуру. Вскоре, к моей великой радости, я обнаружил, что у меня появилось несколько характерных язвочек, которые позволяли изучать важные процессы кожной реакции. Я тщательно наблюдал их и, за неимением иных занятий, делал записи и зарисовки по мере расширения пораженных областей.

В остальное время я без конца слонялся по улицам и повадился бродить возле Центрального вокзала в надежде увидеть хоть мельком Джин, когда она будет выходить из блейр-хиллского поезда. Несколько раз я замечал в толпе девушку, настолько на нее похожую, что у меня замирало сердце. Но когда я в волнении стремительно подбегал к ней, передо мной оказывалась совсем незнакомая женщина.

Однажды в сырой и холодный вечер, после на редкость скверного дня, я тщетно блуждал возле вокзала, как вдруг кто-то тронул меня за плечо.

— Роберт, как поживаете?

Я обернулся, просяив от радостной надежды. Но это был всего лишь Спенс, в наглухо застегнутом макинтоше, с только что купленной вечерней газетой под мышкой. Я поспешно опустил голову: конечно, я был рад его видеть, но смущен тем, что он застал меня здесь и в таком состоянии.

Некоторое время мы оба молчали. Нейл вообще не отличался разговорчивостью, но немного погодя он все-таки, по обыкновению запинаясь, спросил:

— Что это вы делаете в Уинтоне? У вас свободный день?

Я не смотрел на него, боясь его сострадания.

— Да, — сказал я. — Я только что приехал из Далнейра.

Он взглянул на меня искоса, со своим обычным, несколько виноватым видом.

— Пойдемте к нам, пообедаем.

Я заколебался. Ничего интересного меня не ждало — ну еще один попусту прошедший ужасный вечер в «Глобусе», где я вынужден был сидеть в своей комнате, если не желал слушать шумные разговоры коммивояжеров в гостиной, по которой гуляли сквозняки. Я промок, озяб и был голоден. В ушах у меня звенело после целого дня, проведенного на улице; руку, на которой я испытывал действие бацилл, дергало. Я уже неделю не ел досыта, а последние двадцать четыре часа и вовсе в рот ничего не брал. Я чувствовал себя слабым и больным. Приглашение Спенса было невероятно соблазнительным.

— Значит, решено, — сказал он, прежде чем я успел отказаться.

Мы сели в автобус, шедший на Красивую гору — в пригород, где Спенс после женитьбы арендовал небольшой, наполовину деревянный домик, один из многих, стоявших в ряд на довольно пустынном шоссе. Дорогой мы молчали. Спенс делал вид, будто увлекся

газетой, и не докучал мне разговорами, но раза два я поймал на себе его взгляд, а когда мы вышли и направились к его дому, он сказал, словно желая приободрить меня:

— Мьюриэл будет так рада вам.

Домик, хотя и не очень просторный, был ярко освещен и хорошо натоплен. Когда мы вошли с холодной сырой улицы в теплый холл, у меня почему-то на миг закружилась голова, и мне пришлось ухватиться за стенку, чтобы не упасть. Не раздеваясь, Спенс провел меня в свой кабинет и, усадив подле огня, заставил выпить рюмку хереса с бисквитом. Его открытое, честное лицо было встревожено, и мне стало совсем неловко.

— У вас действительно все в порядке?

Сделав над собой усилие, я улыбнулся:

— А почему вы думаете, что нет?

С минуту он покружил по комнате, делая вид, будто не обращает на меня внимания, потом направился к двери, сказав:

— Располагайтесь как дома... Мьюриэл сейчас сойдет вниз.

Я откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза; во всем теле была какая-то слабость, и от доброты Спенса я совсем размяк. Вскоре я немного отошел: херес прибавил мне сил, и я задремал в удобном кресле. Минут через десять я, вздрогнув, проснулся и увидел, что миссис Спенс стоит в дверях.

— Не вставайте, пожалуйста. — Она протянула руку, как бы удерживая меня на месте.

Несмотря на заверения Нейла и ее собственную вежливую улыбку, видно было, что ей не особенно приятно видеть меня. Она была все так же привлекательна, даже, как мне показалось, еще привлекательнее, чем всегда: на ней было розовое, очень молодившее ее платье с глубоким вырезом и плотно облегающим лифом, расшитым блестками. Волосы ее, видимо, лишь

недавно побывали в руках парикмахера, и в них появился красноватый оттенок, которого я прежде не замечал. Лицо было довольно густо накрасшено, так же как и тонкие губы, которым помада придавала искусственную яркость.

— Надеюсь, я вам не помешал, — неуклюже заметил я.

— Ну что вы! — Она тряхнула головой и, несколько рисуясь, закурила сигарету. — К нам еще должен прийти мистер Ломекс. Вот вы и будете опять втроем, совсем как когда-то.

Воцарилось молчание, которое уже начало тяготить нас обоих, когда появился Спенс, уходивший вымыться и переодеться. На нем был смокинг и черный галстук.

— Извините меня, Шеннон, пришлось пойти принарядиться. — Он с умиротворяющей улыбкой взглянул на жену. — Мьюриэл настаивает.

— Мы не так часто принимаем гостей, — отрезала миссис Спенс. — И уж раз принимаем, то, по крайней мере, это надо делать по-человечески.

Спенс слегка покраснел, но не сказал ни слова и занялся наполнением графинов. Мьюриэл, то и дело поглядывая на часы и недовольно сдвинув брови, принялась переставлять крошечных костяных слоников, выстроившихся в ряд на каминной доске.

— Помочь тебе, дорогая? — спросил Спенс. — Эти штуки ни за что не хотят стоять.

Она покачала головой.

— Не мешало бы нам приобрести более изысканные безделушки.

Мне почему-то было больно смотреть, как Спенс заискивает перед женой, всячески стараясь ей угодить; я заметил также, что он налил себе уже второй бокал виски, и притом гораздо больше, чем обычно.

Около восьми часов, примерно минут через тридцать после того, как прислуга объявила, что обед го-

тов, раздался шум подъезжающего такси и, рассыпаясь в извинениях за опоздание, прибыл Ломекс. Манеры и одежда его были безупречны; он держался с обаятельной непринужденностью и сказал, что бесконечно рад меня видеть.

Стол в столовой был накрыт скатертью, отделанной кружевом, и уставлен зелеными восковыми свечами с колпачками из гофрированной бумаги. Раньше, когда я бывал у Спенса, на стол подавали простую и сытную еду, а сейчас это был претенциозный обед со множеством блюд и с очень малым количеством съестного. Я не очень на это сетовал, так как, хотя всего час тому назад был голоден точно волк, сейчас мне на пищу смотреть было противно и вовсе не хотелось есть. Горничная, прислуживавшая за столом и обученная своей хозяйкой манерам «хорошего тона», подав очередное блюдо, отходила к двери и стояла навытяжку, разинув рот и глядя, как мы едим. Спенс говорил очень мало, зато Мьюриэл болтала без умолку, преимущественно с Ломексом, весело и оживленно, со знанием дела обсуждая светские новости, почерпнутые, должно быть, из модных журналов, которые она с такой жадностью просматривала, и прикрывая промахи горничной великосветскими ужимками, от которых меня начинало тошнить.

Наконец обед окончился, звон посуды на кухне прекратился, горничная исчезла, и миссис Спенс любезно сказала:

— Вы можете пойти в кабинет и покурить там втроем. А через полчаса приходите ко мне в гостиную. — Когда мы были уже у двери, она с жеманным смешком окликнула Ломекса: — Сначала помогите мне задуть свечи.

Мы со Спенсом прошли в кабинет; он молча помешал огонь в камине, налил в бокалы виски и предложил мне сигарету. Он взглянул на каминную доску, потом пошарил в карманах.

— У вас нет спичек, Роберт?

— Я сейчас схожу за ними, — сказал я.

Я вернулся в холл и оттуда сквозь открытую дверь столовой увидел Ломекса и миссис Спенс. Она стояла, прижавшись к нему, и, томно положив руки ему на плечи, влюбленно заглядывала в глаза. Не только ее поза, но и бесконечное обожание, читавшееся на ее лице, поразили меня. Я постоял с минуту и, когда губы их слились, повернулся, отыскал коробку со спичками в кармане пальто и пошел обратно в кабинет.

Спенс сидел сгорбившись в кресле и смотрел в огонь. Он медленно раскурил трубку.

— Такие вечера хоть немного развлекают Мьюриэл, — заметил он, не глядя на меня. — По-моему, присутствие Ломекса доставляет ей удовольствие.

— Безусловно, — согласился я.

— Иногда я очень жалею, что я такой скучный человек, Роберт. Я стараюсь быть веселым, но ничего из этого не получается. Не умею я болтать языком.

— И слава богу, Нейл.

Он с благодарностью поглядел на меня.

Минуту спустя к нам присоединился Ломекс. Его появление было встречено кратким молчанием, но это не смутило его: ничто, казалось, не могло поставить Адриена Ломекса в затруднительное положение. Вынув из портсигара сигарету, он встал перед камином и принялся пересказывать свой разговор с шофером такси, который привез его сюда. Он был мил и занимателен, и скоро Спенс, сначала хмуро смотревший на него, уже внимал ему с улыбкой. Я не мог улыбаться. И не потому, что был излишне щепетилен: я уже давно подозревал Ломекса, но сейчас самый вид его вызывал во мне сильнейшее отвращение. Если бы дело касалось кого угодно, но не Спенса, думал я.

Больше я сдерживаться не мог. Пока Ломекс продолжал болтать, я встал, пробормотал какое-то изви-

нение и, выйдя из кабинета, через холл прошел в гостиную.

Миссис Спенс стояла у камина, поставив ногу на медную решетку, и, опершись локтем о каминную доску, глядела с отсутствующей улыбкой на свое отражение в зеркале. Она была явно довольна собой, но смущена и взволнована. Когда я вошел и закрыл за собой дверь, она стремительно обернулась ко мне.

— А, это вы! Где же остальные?

— В кабинете.

Должно быть, она по моему тону догадалась, что я кое-что знаю. Взмахнув ресницами, она метнула на меня быстрый взгляд.

— Миссис Спенс, — твердо сказал наконец я, — я видел вас с Ломексом несколько минут тому назад.

Она слегка побледнела, потом густо покраснела от злости.

— Шпионили, значит.

— Нет. Я увидел вас совершенно случайно.

Растерявшись, она тщетно пыталась найти нужные слова, щеки ее пылали от досады. Я продолжал:

— Ваш муж — мой лучший друг. И лучший парень на свете. Я не могу заставить вас относиться к нему так же, но прошу вас все-таки подумать о нем.

— Подумать о нем! — воскликнула она. — А почему для разнообразия никто обо мне не подумает? — Она даже задохнулась от жгучей обиды. — Да имеете ли вы представление о том, чем была моя жизнь последние пять лет?

— Вы жили довольно счастливо, пока не появился Ломекс.

— Это вам так кажется. Я была глубоко несчастна.

— Почему же вы вышли замуж за Нейла?

— Потому что я была круглой идиоткой, подавляемой собственной чувствительности, жалости, атмосфере всеобщего одобрения. Какая славная девушка,

какой прекрасный поступок, как удивительно благородно! — Она поджала губы. — Я ведь понятия не имела, на что я себя обрекаю. О, сначала все было в порядке — во время войны. Тогда была уйма удовольствий. Оркестры играли, знамена развевались. Когда мы приходили в театр, все вставали и аплодировали ему. Но теперь все это кончилось и забыто. Он больше не герой. Он — пугало. На улице люди таращат на него глаза. Мальчишки кричат вслед. Можете себе представить, каково мне? Совсем недавно мы были в ресторане, и какая-то компания за соседним столиком принялась смеяться над ним за его спиной — да я чуть сквозь землю не провалилась.

Я смотрел на нее не мигая, потрясенный ее пустотой, но решил не сдаваться.

— Люди бывают ужасно злые. Но вам ведь не обязательно куда-то ходить. У вас прелестный дом.

— Убогий домишко в пригороде! — презрительно бросила она. — Не к этому я привыкла. И мне надоело, до смерти это надоело! Сидеть здесь из вечера в вечер — да я готова кричать от ужаса. Когда мы были помолвлены, мы оба мечтали, что он станет врачом-консультантом. А теперь — можете вы себе представить модного врача с этакой внешностью? Как-то раз его позвали к девочке, которая живет на нашей улице; когда он наклонился над кроватью, с ребенком чуть припадок не случился. Никогда из него ничего не выйдет — так ему и быть всю жизнь лабораторной клячей.

— Все это лишь говорит о том, что вы должны быть очень великодушны к нему.

— Ах, да замолчите! — обрушилась она на меня. — Все вы, недопеченные идеалисты, одинаковы. Я отдала ему и так слишком много. Надоело мне готовить для него супы и желе. Не могу я вконец загубить лучшие годы моей жизни.

— Но он же любит вас, — сказал я. — Это немалая ценность для вас обоих. Не бросайтесь этим.

Ее глаза встретились с моими — безжалостные, как удар хлыста. Я ожидал взрыва. Но она лишь отвернулась и уставилась на огонь. Неторопливое тиканье часов звучало в комнате, как биение сердца механической куклы. Когда она снова повернулась ко мне, лицо ее было спокойно; она смотрела на меня в упор приторно-лукавым взглядом.

— Послушайте, Роберт. Вы подняли страшный шум из-за пустяка. Между Адриеном и мной всего лишь флирт. Клянусь вам, в этом нет ничего опасного.

Она подошла ко мне и легонько положила руку на мой рукав.

— Жизнь течет довольно скучно в этом противном пригороде. Время от времени просто необходимо немного встряхнуться. Каждой женщине лестно, когда за ней ухаживают и дают... дают понять, что она нравится. Вот и вся история. Вы не скажете Нейлу?

Я покачал головой и пристально посмотрел на нее, не зная, можно ли ей хоть в какой-то мере верить.

— Я ведь стараюсь скрасить ему жизнь. И я, право, неплохо к нему отношусь. — Она улыбнулась для большей убедительности, продолжая поглаживать мой рукав. — Обещаете, что не скажете ему ни слова?

— Да, — сказал я. — Я не скажу ему. А сейчас я пойду. Доброй ночи, миссис Спенс.

В кабинете я объявил, что мне надо успеть на десятичасовой поезд, идущий в Далнейр, и простился с Ломексом. Спенс пошел проводить меня до двери, несколько озадаченный моим неожиданным уходом. На крыльце он обнял меня за плечи.

— Мне очень жаль, что вы удираете, Роберт. — Его темные глаза смотрели прямо мне в лицо. — Вообще... я хотел предложить вам пожить у нас несколько дней... если вам трудно.

— Трудно? — повторил я.

Он отвел взгляд.

— На той неделе я звонил в Далнейр. Мне сказали, что вас там нет. — И он продолжал, старательно подыскивая слова, которые, казалось, исходили из самой глубины его бескорыстного сердца: — Понимаете, мне хотелось бы помочь... я ведь вполне обеспечен и живу здесь так хорошо... Неприятно мне, что вы рыщете по свету как неприкаянный.

— Спасибо, Спенс, спасибо. У меня все в порядке. — Под напором нахлынувших чувств я не мог продолжать и умолк. Я пожал ему руку и поспешно сбегал со ступенек в сырую темноту ночи.

Весь обратный путь в город я старался совладать с собой. Рука у меня горела и распухла, но эта боль была куда меньше той, что жгла мне сердце. Жестокость жизни подавляла меня.

Было одиннадцать часов, когда я добрался до «Глобуса» и, войдя в холодный вестибюль, увидел письмо на свое имя. Я поспешно взял его.

Дорогой мой Шеннон!

К сожалению, вынужден Вам сообщить, что, несмотря на мои настоятельные просьбы, ученый совет отказался субсидировать Вашу работу. Боюсь, что это решение — окончательное. Но я все-таки буду помнить о Ваших нуждах. А пока, если Вам требуется помещение для Ваших препаратов, я договорился, что Вы можете разместиться в старом здании аптекарского отделения на Сент-Эндрьюз-лейн. Не падайте духом.

Искренне Ваш

Уилфред Чэллис

Я хотел перечитать еще раз, но не мог: я просто не видел слов. И мне пришлось крепко сжать зубы, чтобы сдержать слезы, набегавшие на глаза.

ГЛАВА 2

На следующее утро, словно незадачливый боксер, который, упав, все-таки должен подняться на ноги, я без особой надежды отправился на аптекарское отделение. Оно помещалось в нескладном старом здании близ Уэллгейт и являлось частью фармакологического факультета, где занимались студенты, намеревавшиеся по получении диплома вступить в Общество аптекарей. Заведение это даже нечего было и сравнивать с университетом.

Привратник был уже извещен о моем приходе, и, когда я назвал себя, он провел меня в комнату на первом этаже, длинную, низкую и довольно темную; там были стол, кожаная кушетка, агатовые весы под стеклянным колпаком, штатив для пробирок и две полочки, уставленные простейшими химическими реактивами. Словом, комната оказалась именно такой, какую я опасался увидеть: вполне пригодная для студента, занимающегося фармакологией, но слишком примитивная для меня; обзревая ее, я подумал: «Неужели у меня никогда в жизни не будет подходящих условий для работы?» Конечно, непрерывно изощряясь и напрягая всю свою нервную энергию, можно и здесь что-то делать. Но одному, без денег и соответствующей помощи, нелегко будет добиться нужных результатов.

Выйдя снова на улицу, я дал привратнику шиллинг и попросил его заехать с тачкой в «Глобус» и привезти сюда мою аппаратуру. По крайней мере, я смогу бесплатно хранить здесь свои вещи. А это уже кое-что, поскольку я не знаю, как долго мне удастся продержаться в гостинице. Но вот должен ли я сделать над собой усилие и попытаться продолжать здесь работу, этого я еще не мог решить. Когда я проходил под уютной плющом аркой факультета, в глубине души у меня шевельнулась легкая обида на профессора Чэллеса.

И все же я не мог поверить, что он бросил меня на произвол судьбы.

Одолеваемый этими мыслями, я пошел в гостиницу через Тронгейтский перекресток. Это было шумное, многолюдное место в бедной части города, на пересечении трех узких улочек, застроенных дешевыми лавчонками и высокими многоквартирными домами. Весь транспорт из доков проезжал здесь — непрерывный поток подвод и грузовиков, который скрещивался и перекрещивался с потоком трамваев и автобусов, шедших со Старой Главной улицы.

Только я собирался завернуть за угол на Тронгейт-стрит, как странное предчувствие беды охватило меня. Среди толпы на противоположном тротуаре стояли две подружки — одна из них школьница лет четырнадцати, с ранцем под мышкой — и ждали, когда можно будет перейти через улицу. Наконец, решив, что путь свободен, та, что с ранцем, на прощание улыбнулась своей спутнице и ступила на мостовую. В эту минуту со Старой Главной улицы на бешеной скорости вылетел автофургон. Девочка заметила его и побежала. Похоже было, что она успеет проскочить. Но тут навстречу ей из другой улицы с грохотом выехал тяжелый грузовик. Пространство между двумя машинами быстро сокращалось. Девочка растерянно остановилась, увидела, что деваться некуда, неловко повернула было назад и, поскользнувшись, во весь рост упала на мокрый асфальт. Ранец ее перелетел через улицу, и книги рассыпались у моих ног. Визг тормозов, пронзительный крик — и колеса грузовика, который вез чугунные болванки из доков, со скрежетом наехали на нее.

Раздался крик ужаса, все бросились на середину улицы и окружили пострадавшую. Не удержался и я. Хоть я и не любил выказывать на людях свои профессиональные познания, но тут я протиснулся сквозь толпу и опустился на колени возле пострадавшей де-

вочки. Она лежала неподвижно и тихонько стонала; несмотря на грязь, покрывавшую ее лицо, видно было, что она смертельно бледна. Полисмен поддерживал ее голову, а со всех сторон теснились, напирая на него, сердобольные люди, и каждый стремился дать какой-то совет.

— Надо перенести ее куда-нибудь в помещение, — сказал я. — Я — врач.

Красное, злое лицо полисмена сразу прояснилось. Чьи-то услужливые руки поспешно передали доску со стоявшего подле грузовика. Среди поднявшихся тотчас шума и суматохи, девочку положили на эти импровизированные носилки и внесли в маленький врачебный кабинет, затерявшийся среди лавчонок на противоположной стороне улицы; там ее уложили на кушетку. Человек двадцать любопытных зашло вместе с нами. Полисмен немедленно вызвал по телефону карету «скорой помощи». Затем, подойдя к кушетке, возле которой я стоял, он сказал:

— Движение здесь такое, что «скорая помощь» придет не раньше чем через десять минут.

— Пожалуйста, удалите отсюда всех этих людей, — попросил я.

Он стал освобождать убогий кабинетик, а я нагнулся и расстегнул запачканную, порванную блузку девочки. Треснувший по швам лифчик сполз вниз, обнажив плоскую грудку. Повреждено было левое плечо: сложный перелом сустава. Ее изуродованная левая рука безжизненно повисла, но куда страшнее был непрерывно увеличивавшийся синий кровоподтек под мышкой. Нащупав пульс девочки, я с тревогой взглянул на ее лицо, ставшее теперь совсем белым, — ее закатившиеся глаза пристально смотрели в одну точку.

Полицейский офицер уже снова стоял подле меня. К нам подошел фармацевт из соседней аптеки — пожилой мужчина в белой куртке.

- Кто здесь практикует? — спросил я.
- Доктор Мейзерс. Вот беда, что его нет на месте.
- Вид у нее совсем неважный, — тихо заметил полисмен.

Глядя на пульсирующую синеву под мышкой, я быстро соображал. Несомненно, повреждена артерия, но слишком высоко, чтобы можно было наложить жгут, а кровотечение столь обильно, что легко может повлечь за собой роковой исход еще прежде, чем будет «скорая помощь».

Медлить было нельзя. Не говоря ни слова, я подтащил кушетку к окну, подошел к небольшому эмалированному шкафчику с инструментами, стоявшему в углу, вынул скальпель, щипцы Спенсера и стеклянную банку с кетгутумом для наложения швов. Бутыль с эфиром стояла на нижней полке. Я налил немного на кусок марли и приложил ее к носу девочки. Она слегка всхлипнула и замерла.

Времени для обычной антисептики не было. Я плеснул себе на руки немного йода и протер той же едкой жидкостью распухшую подмышку пострадавшей. Полисмен и фармацевт смотрели на меня, вытаращив глаза. В дверях стояла группа молчаливых зрителей. Не обращая на них внимания, я взял скальпель и всадил его в отекающую руку девочки.

В ту же секунду из раны вылетел большой сгусток крови, и я увидел кровоточащую дыру в разорванной артерии. Немедленно я наложил щипцы. Затем не торопясь, спокойно перевязал сосуд. Это было совсем не трудно, и на все потребовалось минут пять. Убрал эфирную маску, я снял щипцы, слегка затампонировал рану и забинтовал ее крест-накрест, чтобы вернее предохранить от загрязнения. Пульс у девочки уже стал лучше, дыхание ровнее и глубже. Я взял жесткое серое одеяло, лежавшее в изножье кушетки, и хорошенько закутал в него худенькое тельце. В больнице

ей, очевидно, сделают переливание крови, может быть, введут физиологический раствор, но настоящая опасность уже была позади.

— Теперь она выкарабкается, — кратко заметил я.

Полисмен облегченно вздохнул, с порога донесся одобрительный шепот. Тут я обернулся и заметил коренастого крепыша с копною ярко-рыжих вьющихся волос, который недружелюбно смотрел на меня.

Эта малосимпатичная личность вызвала у меня прилив раздражения.

— Я ведь, кажется, велел очистить помещение.

— Прекрасно, — отрезал рыжий человечек. — Вот и убирайтесь.

— Это вы убирайтесь, — не без запальчивости возразил я.

— С какой это стати? Здесь мой кабинет.

Тут я понял, что передо мной доктор Мейзерс.

В эту минуту подъехала карета «скорой помощи», и поднялась суматоха. Но вот наконец маленькая пациентка удобно устроена и осторожно увезена; полисмен закрыл блокнот, торжественно пожал мне руку и ушел. Фармацевт отправился в свою аптеку, последние зеваки разошлись, по улице снова с ревом и грохотом понеслись машины. Доктор Мейзерс и я остались одни.

— Ну вы и нахал! — заключил он. — Забрались в мой кабинет. Перепачкали его кровью. А мне даже не собираетесь платить за это.

Я спустил закатанные рукава рубашки и надел пиджак.

— Когда у меня заведется монета, я пошлю вам чек на десять гиней.

Он с минуту покусал ноготь большого пальца, словно пережевывая мой ответ. Все его ногти были коротко обгрызены.

— Как вас зовут?

— Шеннон.

— Очевидно, вы что-то вроде доктора.

Я взглянул на его диплом, висевший в рамке на противоположной стене. Это было удостоверение об окончании общего курса, свидетельствовавшее о том, что Мейзерс — врач самой низкой квалификации.

— Да, — сказал я. — А вы?

Он покраснел и с таким видом, точно намеревался уличить меня в обмане, резко повернулся к своему письменному столу и взял «Медицинский справочник». Полистав его с характерной для всех его движений энергией, он быстро отыскал мою фамилию.

— Шеннон, — сказал он. — Роберт Шеннон. Сейчас увидим. — Но, по мере того как он читал перечень моих степеней и наград, лицо его все вытягивалось. Он закрыл книгу, сел в свое кожаное вращающееся кресло, сдвинул на затылок котелок, который до сих пор не потрудился снять, и уже совсем по-иному посмотрел на меня.

— Вы, конечно, слышали обо мне, — сказал он наконец.

— Никогда.

— Не может этого быть. Джеймс Мейзерс. У меня самая большая практика в городе. Три тысячи чисто-ганом. Максимум. Все врачи терпеть меня не могут. Ведь я у них хлеб отнимаю. А народ меня очень любит.

Продолжая наблюдать за мной, он мастерски левой рукой скрутил сигарету и небрежно сунул ее в рот. Его самоуверенность была просто поразительна. Одет он был кричаще, но в традиционном стиле врачей, практикующих на дому: широкие полосатые брюки, короткий черный пиджак, стоячий воротничок и галстук с бриллиантовой булавкой. Однако подбородок у него отливал синевой: ему явно не мешало побриться.

— Значит, вы сейчас без места? — внезапно спросил он. — Из-за чего же вы его лишились — пьянство или женщины?

— И то и другое, — ответил я. — Я морфинист.

Он ничего на это не сказал, только вдруг резко выпрямился.

— А не хотели бы вы поработать у меня? Три вечера в неделю. Кабинетный прием и ночные вызовы. Мне хочется немножко вздохнуть посвободнее. А то эта практика убьет меня.

Немало удивленный этим предложением, я с минуту подумал.

— А сколько вы будете платить?

— Три гинеи в неделю.

Я снова прикинул. Вознаграждение довольно щедрое: это позволит мне жить в «Глобусе» и избавит от позорной необходимости обивать пороги Агентства по приисканию работы для медиков. У меня будет время и для научных исследований, если, конечно, я смогу наладить это на аптекарском отделении.

— Идет.

— Значит, по рукам. Приходите сегодня, ровно в шесть вечера. Предупреждаю: у меня были и до вас помощники. И ни один из них ни к черту не годился. Они у меня живо вылетали.

— Благодарю за предупреждение.

Я уже направился было к двери, когда он, иронически усмехнувшись, окликнул меня:

— Пойдите-ка. Судя по вашему виду, вы нуждаетесь в небольшом авансике.

Он достал из заднего кармана брюк туго набитый кожаный кошель и, тщательно отобрав нужные банкноты, передал мне через стол три фунта и три шиллинга.

Жизнь уже успела кое-чему научить меня. Ни слова не говоря, я взял банкноты так же бережно, как он положил их.

ГЛАВА 3

В тот вечер в шесть часов и потом по три вечера в неделю я принимал больных в кабинете на Тронгейтском перекрестке. К моему приходу передняя бывала уже битком набита пациентами — женщины в шالях, дети в лохмотьях, рабочие из доков — и начинался изнурительный прием, который частенько затягивался до одиннадцати ночи, а потом надо было еще пойти по двум-трем срочным вызовам, о которых сообщал мне аптекарь Томпсон, перед тем как закрыть свое заведение. Работа была тяжелая. Доктор Мейзерс не преувеличивал, говоря, что у него огромная практика. Я довольно быстро выяснил, что он пользуется необыкновенной репутацией у бедного люда, населяющего этот трущобный район.

Уже самая его стремительность немало способствовала укреплению его авторитета, да и действовал он круто, энергично, прибегая порой к весьма драматическим приемам. Он поистине обладал чутьем по части постановки диагноза и, пересыпая свою речь крепкими выражениями, не колеблясь выносил приговор. Работал он как каторжный, не жалея себя, и всюю распекал своих пациентов. А они любили его за это. Прописывал он всегда самые сильнодействующие средства и в максимальных дозах. Пациент же, после того как его сильнейшим образом прочистило или он жесточайше пропотел, говорил, понимаяще покачивая головой: «Ай да доктор — ведь совсем крошку лекарства прописал, но как здорово прохватило!»

Мейзерс болезненно переживал свой маленький рост, однако, как все низенькие люди, отличался тщеславием и положительно упивался своим успехом. Ему нравилось сознавать, что он одержал победу там, где рядом с ним другие врачи терпели поражение, и любил, задыхаясь от смеха, рассказывать, как он «обскакал» какого-нибудь своего коллегу. Но больше

всего он наслаждался сознанием того, что, хоть он и работает в бедном районе, в жалком кабинетишке и имеет всего лишь диплом об окончании общего курса, живет он в большой роскошной вилле, ездит в машине «санбим», может дать дочери отличное образование, подарить жене красивое меховое манто — словом, как он говорил, живет точно лорд. К деньгам он относился с необычайным уважением. Хотя брал он со своих пациентов очень немного — от шиллинга до полукроны, — но требовал, чтобы платили только наличными.

— Стоит им узнать, что они могут пользоваться вашими услугами задаром, доктор, — предупредил он меня, — и вам крышка.

В ящике письменного стола он держал большой замшевый мешок, в котором когда-то хранились акушерские щипцы и куда теперь он складывал гонорар. К концу приема мешок раздувался от денег. В первый день моего дежурства, когда я уже собирался закрывать кабинет, в комнату неожиданно вошел доктор Мейзерс, взял мешок и с видом знатока взвесил его на руке. Затем посмотрел на меня, но не сказал ни слова. И хотя он и виду не подал, я почувствовал, что он доволен.

В начале второй недели, придя в понедельник вечером, чтобы вести прием, я сунул руку в карман и вынул оттуда фунтовую бумажку.

— Возьмите. — Доктор Мейзерс быстро вскинул на меня глаза, но я продолжал: — Девочка, на которую наехал грузовик, поправляется. В пятницу был здесь ее отец и чуть не насильно вручил мне гонорар. Славный малый: он так благодарил меня.

Лицо Мейзерса приняло какое-то странное выражение. Он скрутил сигарету, откусил кончик с торчавшими из него волокнами табака и выплюнул на пол.

— Возьмите это себе, — наконец сказал он.

Я раздраженно отказался:

— Вы платите мне жалованье. Все, что я беру с больных, — ваше.

Наступило молчание. Он подошел к окну, потом вернулся на свое место, так и не закурив сигареты.

— Сказать вам кое-что, Шеннон? — медленно произнес он. — Вы у меня первый честный помощник. Давайте на эту бумажку пошлем девочке винограда и цветов.

Любопытный он все-таки был человек — хоть и любил деньги, но скупостью не отличался и мог не задумываясь тратить их на себя и других.

После этого случая доктор Мейзерс гораздо сердечнее стал относиться ко мне. Он держался со мной на дружеской ноге и с гордостью показывал мне фотографии своей жены и семнадцатилетней дочери Ады, заканчивавшей обучение в закрытом дорогом пансионе при монастыре Святого Сердца в Грэнтли. Показывал он мне и фотографию своей грандиозной виллы с большой машиной у ворот, намекнув, что скоро приглашает меня к себе. Время от времени он давал мне советы, как вести практику, а однажды, разоткровенничавшись, признался, что в самом деле зарабатывает три тысячи фунтов в год. Ему очень хотелось знать, на что я трачу свободное время, и он частенько пытал меня на этот счет, но я всегда был сдержан и скрытен. Хотя работа мне не нравилась, настроение у меня было отличное: почему-то стало казаться, что счастье наконец улыбнулось мне. Так, пожалуй, оно и было.

В четверг, возвращаясь под вечер в «Глобус», я заметил в сгущающихся сумерках на противоположном тротуаре мужскую фигуру, показавшуюся мне знакомой. При моем приближении терпеливо поджидавший кого-то человек медленно двинулся мне навстречу. Обстоятельства, при которых мы расстались, были

таковы, что у меня сердце захолонуло, когда в этом человеке я признал Алекса Дьюти.

Уже поравнявшись друг с другом, мы еще долго молчали; я с удивлением заметил, что он не решается заговорить и волнуется куда больше меня. Наконец он тихо произнес:

— Я хотел бы сказать вам одно слово, Роберт. Можно зайти?

Мы прошли через качающиеся створки дверей и поднялись ко мне в комнату; переступив через порог, он поставил на пол ящик, который до сих пор держал под мышкой, и присел на кончик стула. Вертя в натруженных умелых руках шапку, он смущенно смотрел на меня открытым, честным взглядом.

— Роб... я пришел просить у тебя прощения.

Ему стоило немалого труда выговорить это, зато ему сразу стало легче.

— На прошлой неделе мы были в Далнейрской больнице. Мы собрали на чердаке все игрушки Сима — жена надумала отвезти их больным детям. Потом мы долго беседовали с начальницей. И она по секрету все нам рассказала. Мне очень жаль, что я напрасно обвинил тебя тогда, Роберт. Сейчас я за это готов отрезать себе язык.

Я просто не знал, что сказать. Всякое проявление благодарности необычайно стесняло меня. Я был очень огорчен тем, что нашей дружбе с Дьюти пришел конец, и сейчас очень обрадовался, узнав, что недоразумение выяснилось. Я молча протянул ему руку. Он сжал ее точно в тисках, и на его обветренном красном лице появилась улыбка.

— Значит, снова мир, дружище?

— Конечно, Алекс.

— И ты поедешь со мной на рыбалку осенью?

— Если возьмешь.

— Возьму, — веско произнес он. — Понимаешь, Роб, со временем все проходит.

Мы немного помолчали. Он потер руки и с любопытством оглядел комнату.

— Ты все еще занимаешься своей научной работой?

— Да.

— Вот и прекрасно. Помнишь, ты хотел получить пробы молока? Я принес их тебе.

Я подскочил, точно через меня пропустили электрический ток.

— У вас снова заболел скот?

Он кивнул.

— Тяжелая эпидемия?

— Очень, Роб. Пять наших коров перестали кормить телят, и, как мы ни старались их спасти, они подошли.

— И ты принес мне пробы их молока? — Я весь напрягся от волнения.

— От всех пяти. В стерильной посуде. — Он кивнул на ящик, стоявший на полу. — В этом оцинкованном ящике.

Не в силах выразить свою признательность, я молча смотрел на него. До сих пор мне так не везло, что я с трудом мог поверить этому счастливому повороту судьбы.

— Алекс, — в избытке чувств воскликнул я, — ты и представить себе не можешь, что это для меня значит! Как раз то, что мне нужно...

— Это ведь не только одного тебя касается, — серьезно возразил он. — Должен тебе прямо сказать, Роб: эта штука здорово встревожила нас, фермеров. Во всех лучших стадах — падеж. Управляющий сказал, что, если ты хоть чем-то сумеешь нам помочь, он будет тебе очень благодарен.

— Я попытаюсь, Алекс, обещаю, что попытаюсь. — С минуту я помолчал, не в силах продолжать. — Если ты так просто не хотел со мной мириться... то ничего лучшего не мог бы придумать...

— Ну, раз ты доволен, то и я доволен. — Он посмотрел на свои большие серебряные часы. — А теперь мне пора.

— Посиди еще, — принялся уговаривать я. — Я сейчас принесу чего-нибудь выпить.

На радостях я готов был отдать ему все, что имел.

— Нет, дружище... мне ведь надо поспеть на автобус, который отходит в шесть пятнадцать. — Он улыбнулся мне своей медлительной, спокойной улыбкой. — Я уже и так добрый час прождал тебя на улице.

Я сошел с ним вниз и, горячо поблагодарив его, распрощался. Постояв у подъезда, пока его коренастая фигура не исчезла в темноте, я вернулся в гостиницу окрыленный надеждой.

Только я хотел было подняться к себе наверх и открыть ящик с дримовскими пробами, как вдруг в холле, в отведенном для меня отделении, увидел письмо. По почерку я сразу узнал, что письмо от Джин. Задышавшись, я схватил его, одним духом взбежал по лестнице, запер дверь и дрожащими пальцами разорвал конверт.

Дорогой Роберт!

Люк уезжал в Тайнкасл на целых три недели. Поэтому я только сейчас получила Ваше письмо и теперь не знаю, что отвечать. Не скрою: я искренне обрадовалась Вашей весточке — я очень соскучилась по Вас. Возможно, мне не следовало бы Вам это говорить. Возможно, вовсе не следовало писать Вам это письмо. Но у меня есть кое-какие новости, вот я и воспользуюсь ими как предлогом, чтобы написать Вам.

Я снова держала экзамены и, хотя допустила некоторые ошибки, рада сообщить Вам, что в общем сдала не так уж плохо. Профессор Кеннерли, как это ни странно, был очень мил. И вчера, после последнего устного экзамена, он отвел меня в сторону и сообщил, что

я выдержала с отличием — по всем предметам. Счастливая случайность, конечно, но у меня точно гора с плеч свалилась!

Выпуск будет только в конце семестра, 31 июля, и я решила до тех пор прослушать курс по тропической медицине, который начинается на будущей неделе в Сандерсоновском институте. Лекции будут читаться с девяти утра, каждый день по часу.

Ваша Джин Лоу

Выдержала... выдержала с отличием... и соскучилась по мне... очень соскучилась. Глаза мои заблестели, когда я читал эти строки: после стольких тягостных месяцев печального и безнадежного существования они были как бальзам для моего одинокого сердца. Моя жалкая комната словно преобразилась. Мне хотелось прыгать, смеяться, петь. Снова и снова перечитывал я эти слова, и оттого, что писала их Джин, они казались мне такими прекрасными, такими бесконечно нежными... В них было скрытое томление, повергшее меня в экстаз и натолкнувшее вдруг на одну мысль, — кровь бросилась мне в голову, и я задрожал от сладостного волнения. Я взял листок почтовой бумаги, которого она еще так недавно касалась, и прижал его к губам.

ГЛАВА 4

Сандерсоновский институт находился на противоположном берегу реки, в довольно уединенной части города, между богадельней и старинной церковью Святого Еноха. Это был тихий район, казавшийся пригородом благодаря саду на площади Святого Еноха. Накануне вечером прошел дождь, теплый весенний дождь, и, когда я шагал по мощенному плитами тро-

туару Старой Джордж-стрит, в воздухе стоял запах набухающих почек и молодой травы. С реки потянуло теплым ветерком, и под его дыханием закачались зазеленевшие ветви высоких вязов, среди которых чирикали воробьи. И сразу холодные объятия зимы словно разжались, и от влажной земли, обнажившейся под солнцем, поднялся сладкий дурман, наполнивший меня тоской, невыразимым томлением — острым, как боль.

У богадельни стояла старуха-цветочница со своим товаром. Я внезапно остановился и купил на шесть пенсов подснежников, высовывавших свои головки из корзины. Слишком застенчивый, чтобы нести их открыто, я завернул нежные цветы в носовой платок и положил их в карман. Когда я торопливо вошел во двор института и стал на страже у выхода из лекционного зала, старые часы на церкви Святого Еноха, словно опьянев от носившихся в воздухе ароматов, весело пробили десять.

Через несколько минут из зала стали выходить студенты. Их было человек шесть, не больше. Последней с рассеянным видом вышла Джин. Она была в сером — цвет этот всегда очень шел к ней; на сильном ветру платье плотно облегалo ее тоненькую фигурку, отчего она казалась еще стройнее. Губы ее были слегка приоткрыты. Руки в стареньких перчатках сжимали тетрадь. Добрые карие глаза опущены.

Неожиданно она подняла их, взгляды наши встретились, и, шагнув к ней, я взял обе ее руки в свои.

— Джин... наконец-то!

— Роберт!

Она произнесла мое имя смущенно, с запинкой, словно преодолевая угрызения совести. И тут же лицо ее просветлело, яркий румянец залил щеки. Мне хотелось крепко сжать ее в объятиях. Но я не посмел. И сказал хриплым голосом:

— Как чудесно, что мы снова встретились!

С минуту в приливе восторга мы, будто замороженные, смотрели друг другу в глаза — говорить мы не могли. Позади нас на вязах чирикали воробьи, а где-то далеко, ниже по реке, лаяла собака. Наконец, с трудом переводя дух, я прошептал:

— И вы выдержали... с отличием... Поздравляю вас.

— Ну что ж тут особенного? — Она улыбнулась.

— Но это же великолепно. Если бы не мое пагубное вмешательство, вы бы и тогда сдали.

Она застенчиво улыбнулась. Улыбнулся и я. Я все еще держал ее руки в своих, точно и не собирался отпускать.

— Вы ушли из Далнейрской больницы? — спросила она.

— Да, — весело ответил я. — Меня вышибли. Видите, какой я никудышный. Теперь я работаю через день помощником у одного доктора, практикующего в трущобах у Тронгейта.

— А как же ваша научная работа? — быстро спросила она.

— Ах, — сказал я, — именно об этом я и хотел с вами поговорить.

Я повел ее через дорогу, в сад на площади. Мы сели на зеленую скамейку, окружавшую ствол сучковатого дерева. Перед нами расхаживали и вспархивали голуби, опьяневшие, как и все птицы, от чудесного пробуждения весны. Поблизости не было никого, если не считать старого пенсионера в черной фуражке и яркой малиновой куртке, ковьялявшего по дорожке. Я вынул из кармана букетик подснежников и преподнес Джин.

— Ох! — в восторге воскликнула она и умолкла, боясь, как бы словами или взглядом не сказать слишком много.

— Приколите их, Джин, — тихо попросил я. — В этом нет ничего предосудительного. Скажите, вы дали обещание никогда не видеться со мной?

Она почему-то ответила не сразу.

— Нет, — медленно произнесла она наконец. — Если бы я дала такое обещание, вряд ли я была бы сейчас здесь.

Я смотрел на нее, а она, слегка погрузнев, глубоко вдохнула тонкий аромат, затем приколола к жакету, пониже горжетки из пушистого меха, так удивительно подходившие к ее облику белые нежные цветы. От ее близости кровь волной прилила к моему сердцу, а щеки и лоб запылали. Я понимал, что надо скорее выложить то, что занимало мои мысли, иначе это страшное волнение одолеет меня.

— Джин, — начал я, стараясь совладать со своими чувствами, — если не считать лекций, у вас сейчас все дни свободны... После десяти часов вы ведь ничем особенно не заняты, правда?

— Нет. — Она вопрошающе смотрела на меня и, поскольку я молчал, добавила: — А что?

— Мне нужна ваша помощь, — решительно и откровенно начал я в полном убеждении, что говорю чистую правду. Глядя на нее в упор, я продолжал: — Я довел до половины свою работу; сейчас надо уже переходить к следующему этапу, и я ужасно волнуюсь. Вы знаете, как мне было трудно одному. О, я не жалею, но теперь, для этой новой фазы, мне потребуется чья-то помощь. Есть опыты, которые одному ни за что не провести. Профессор Чэллис дал мне помещение для работы. — Я помолчал. — Не хотите ли вы... не согласились бы вы поработать со мной?

Она слегка покраснела и какую-то секунду взволнованно смотрела на меня, потом опустила глаза. Наступило молчание.

— Ах, Роберт, как бы мне хотелось! Но я не могу. Вы же знаете все обстоятельства! Мои родители... я стольким им обязана... а они только на меня и рассчитывают... и я так люблю их... особенно маму... она

самая лучшая женщина на свете. И они... хоть и не принуждают меня, — казалось, она подыскивала слова, чтобы ослабить удар, — но все-таки не хотят, чтобы я с вами встречалась. Я уже сейчас... послушалась их.

Я закусил губу. Несмотря на всю мягкость, в ней чувствовались какая-то непреклонность, глубочайшая порядочность и преданность — но не по отношению ко мне — и чувство долга, восстававшее против обмана.

— Как же они, должно быть, меня ненавидят!

— Нет, Роберт. Просто они считают, что мы должны идти разными путями.

— Но ведь я прошу не ради себя лично! — воскликнул я. — Вы же сами теперь врач и понимаете, что это во имя науки.

— Да мне бы и самой хотелось. И это очень интересно. Но совершенно невозможно.

— Нет, совершенно возможно, — возразил я. — Только никому не надо говорить. А ваши пусть думают, что вы проходите практику по тропической медицине...

Она с таким укором посмотрела на меня, что я умолк.

— Я не этого боюсь, Роберт.

— А чего же?

— Что мы будем вместе.

— Разве это так страшно?

Она подняла свои черные ресницы и печально поглядела на меня.

— Я знаю, я сама во всем виновата... я не сразу поняла, что наше чувство друг к другу так... так глубоко. А если мы будем встречаться, то оно станет еще глубже. В конце концов, нам же будет труднее.

От этих простых слов у меня снова потеплело на сердце. Я глотнул воздуха, решив во что бы то ни стало уговорить ее.

— Послушайте, Джин. А если я обещаю и поклянусь вам, что никогда не буду за вами ухаживать, ни-

когда не буду говорить вам о любви, вы согласитесь помочь мне? Мне так нужна ваша помощь. Одному мне ничего не сделать.

Мы долго молчали. Она недоверчиво смотрела на меня, то краснея, то бледнея, совсем растерявшись и не зная, на что решиться. И я поспешил воспользоваться моментом:

— Ведь это для вас такая удивительная возможность. Кажется, я на пороге очень важного открытия. Пойдемте, и убедитесь сами.

Я порывисто вскочил и протянул ей руку. Поколебавшись с минуту, она медленно поднялась со скамьи.

До фармакологического факультета было недалеко. Через десять минут мы уже пришли на место. Я провёл Джин прямо в мою лабораторию и, вынув из маленького инкубатора одну из пробирок с культурой, выращенной на пробах, недавно привезенных Дьюти, поспешно протянул ей.

— Вот, — сказал я, — я получил бациллу. И культура растет довольно быстро. Вы не догадываетесь, что это?

Она покачала головой, но видно было, что она заинтересовалась: в ее больших темных глазах промелькнул вопрос.

Я поставил пробирку обратно в наполненную водой ванночку, взглянул на регулятор и закрыл оцинкованную дверцу. Затем в самых простых словах объяснил, чего я хочу.

Щеки Джин запылали от восторга. Глубоко взволнованная, она оглядела комнату: ее блестящие глаза то останавливались на инкубаторе, то снова обращались ко мне. Сердце мое отчаянно колотилось. Чтобы скрыть свои чувства, я подошел к окну и, подняв вверх раму, впустил в комнату поток солнечного света. За окном по ярко-синему небу мчались курчавые облака. Я обернулся к Джин.

— Роберт... — медленно произнесла она. — Если я буду с вами работать... потому что я считаю вашу работу очень важной... обещаете ли вы честно держать свое слово?

— Да, — сказал я.

Грудь ее приподнялась в тяжелом вздохе. Я смотрел на нее, а она, положив на стол свои учебники, сняла шляпу и принялась стягивать перчатки.

— Отлично, — сказала она. — Начнем.

ГЛАВА 5

И вот каждое утро по окончании лекции, вскоре после десяти часов, Джин приходила в мою лабораторию, где я уже сидел за работой, и, сняв с крючка за дверью халатик, надевала его и педантично принималась за дело на другом конце длинного стола. Мы обменивались лишь несколькими словами, иногда только улыбкой приветствия. Порой, углубившись в расчеты, я делал вид, будто и вовсе не заметил ее прихода, — такое равнодушие, казалось мне, скорее внушит ей спокойствие. Главное — что она была тут, и, когда я через некоторое время осторожно поднимал голову, я мог видеть сквозь строй бюреток в зажимах, как она с самым серьезным и сосредоточенным видом отмеряет и титрует жидкость, а потом делает соответствующую запись в потрепанном черном журнале.

Как я и предполагал, ее аккуратность, старание и тщательность явились для меня поистине неоценимой находкой — особенно если учесть, что надо было подготовить сотни предметных стекол для последующего просмотра под микроскопом. Работа была трудная, утомительная и опасная, ибо эти культуры на бульоне крайне заразны. Но Джин делала все так спокойно, уверенно и была настолько поглощена своим

занятием, что сидела не, поднимая головы, и ни разу не допустила ошибки. Когда она чувствовала, что я смотрю на нее, она прерывала работу и молча, но так выразительно глядела на меня, что эти взгляды связывали нас еще теснее в нашей общей работе. Теплый весенний воздух вливался в нашу маленькую сумрачную комнатку сквозь широко открытое окно, принося с собой приглушенные звуки внешнего мира — шум транспорта, пароходные гудки, завывания далекой шарманки. Присутствие Джин, такой спокойной и сдержанной, необычайно вдохновляло меня.

В час дня мы устраивали перерыв на завтрак. Хотя поблизости было два-три отличных кафе, было куда проще, приятнее и дешевле есть в лаборатории. Мы объединяли свои денежные ресурсы, и Джин каждый день по дороге с вокзала заходила на рынок и покупала всякую снедь. Подержав три минуты руки в растворе сулемы — мера предосторожности, на которой я совершенно категорически настаивал, — мы усаживались на подоконник и, покачивая на коленях тарелку, наслаждались завтраком на свежем воздухе. В пасмурные и холодные дни мы ели суп, подогретый на бунзеновской горелке. Но обычно наша трапеза состояла из свежих лепешек, нескольких кусочков колбасы и дэнлопского сыра, а затем — яблоки или кулечек вишен на десерт. Во дворе, куда выходило наше окно, жил черный дрозд, который регулярно каждый день являлся к нам полакомиться. Увидев, что мы едим вишни, он садился к Джин на руку и в предвкушении пиршества заливался радостной трелью.

На седьмой день нашей совместной работы, когда мы молча трудились, я услышал чьи-то шаги и обернулся. На пороге стоял профессор Чэллис; сгорбленный, в наглухо застегнутом выцветшем сюртуке, он теребил свои седые усы и, прищурившись, смотрел на нас.

— Я решил заглянуть к вам, Роберт, — сказал он, — посмотреть, как у вас идут дела.

Я тотчас вскочил и представил его Джин; он по-старинному, церемонно поклонился ей. Я видел, что он удивлен и, хотя слишком хорошо воспитан, чтобы это выказать, сгорает от любопытства, не зная, как отнестись к такому содружеству. Однако вскоре я понял, что Джин понравилась ему, ибо он с улыбкой подмигнул мне:

— В научной работе иметь толкового помощника, Роберт, — это уже наполовину выиграть сражение.

Он усмехнулся, словно сказал удачную шутку, затем принялся бродить по комнате, осторожно взбалтывал культуры, рассматривал предметные стекла, заглядывал в наши записи — и все это молча, но со спокойным одобрением, волновавшим нас куда больше любых слов.

Проведя доскональнейшее обследование наших трудов, он повернулся и поглядел на нас.

— Я добуду вам еще и другие пробы, из разных районов... с континента... там меня все еще немного ценят. — Он умолк и протянул нам руки. — Работайте, работайте дальше. Не обращайтесь внимания на такое ископаемое, как я. Дерзайте!

Но что значили эти слова по сравнению с тем живым огоньком, который теперь сверкал в его глазах.

С тех пор он постоянно навещал нас — частенько заходил во время завтрака и приносил не только обещанные пробы, но не раз что-нибудь вкусное. Усевшись на стул, он ставил палку между колен и, опершись трясущимися руками на ее костяную рукоятку, смотрел из-под косматых бровей, как мы уписываем мясной пирог или страсбургский паштет, — глаза его при этом весело поблескивали. Он все больше привязывался к Джин и относился к ней с поистине рыцарским вниманием и учтивостью, что не мешало ему,

однако, порой добродушно, совсем по-мальчишески, подтрунивать над ней. Он никогда не завтракал с нами, но, если Джин варила кофе, соглашался выпить чашечку и, испросив ее разрешения с той особой любезностью, с какою он по отношению к ней держался, не спеша потягивал ароматный напиток, покуривая небольшую сигару, что он изредка себе позволял. Следя за голубыми спиралями дыма, расплывавшимися вверху, он рассказывал нам о своей молодости, о жизни в Париже, где он учился и занимался научной работой в Сорбонне под руководством знаменитого Дюкло.

— У меня не было тогда денег, — с усмешкой заметил он, рассказав нам, как однажды провел воскресенье в Барбизоне. — Нет у меня их и теперь. Но я всегда был счастлив оттого, что посвятил себя делу, равному которому нет в целом мире.

Когда он ушел, Джин глубоко вздохнула. Глаза ее сияли.

— Какой он милый, Роберт! Большой человек... Мне он так нравится.

— Если я могу быть тут судьей, по-моему, вы ему тоже нравитесь. — Я криво улыбнулся. — Но как бы отнеслись к нему ваши родители?

Она потупилась.

— Давайте работать.

К этому времени из многочисленных молочных проб мы получили в чистом виде граммотрицательный организм, в котором я признал бациллу, открытую датским ученым Бангом и названную его именем, — он доказал, что она является причиной жестокой болезни, поражающей рогатый скот и широко распространенной во всем мире. Значит, эта же бацилла вызвала эпидемию среди коров в нашей местности. На основании сделанных мною вычислений мы установили, что около тридцати пяти процентов рогатого скота, не счи-

тая овец, коз и прочих домашних животных, являются носителями этого микроба, который мы вывели в больших количествах в специальной бульонной среде.

Мы получили также в чистом виде брюсовского возбудителя мальтийской лихорадки из тех проб, которые во время моего пребывания в Далнейрской больнице я, естественно, брал у больных, пострадавших от эпидемии так называемой инфлюэнцы; нам во многих случаях удалось также получить его из проб крови, недавно взятых у разных людей и принесенных нам профессором Чэллисом. Таким образом, мы имели теперь возможность сравнить эти два организма — тот, что был найден у животных, и тот, что был найден у человека, — проанализировать их различные реакции и выяснить, нет ли между ними сходства.

Опыты, которые мы проводили, были чрезвычайно сложны, и сначала трудно было даже оценить их значение. Но, по мере того как один положительный результат подтверждался другим, у нас возникло предположение — основанное сначала на догадке, а потом подкрепленное солидными доказательствами, — которое поистине ошеломило нас. Поняв, какой из этого напрашивается вывод, мы недоверчиво уставились друг на друга.

— Не может быть, — медленно сказал я. — Это просто невозможно.

— Нет, может быть, — вполне логично возразила Джин. — И вполне возможно.

Я обеими руками сжал голову — на этот раз меня раздражала ее спокойная прямолинейность. Доктор Мейзерс допоздна задержал меня накануне — вообще он стал возлагать на меня все больше обязанностей, — и это двойное напряжение начинало сказываться на мне.

— Ради бога, — взмолился я, — только не будем ничего предрекать заранее. Нам еще предстоит рабо-

тать не одну неделю, прежде чем мы подойдем к последнему опыту с антигеном.

Но доказательства продолжали накапливаться, и через три месяца, по мере того как мы приближались к решающему опыту, глубокое, все возрастающее волнение охватило нас. Нервы у нас были напряжены до крайности, а надо ждать несколько часов, чтобы завершился процесс агглютинации, и, поскольку вовсе не обязательно было сидеть в лаборатории, мы на часок-другой уезжали за город, куда-нибудь в окрестности Уинтона.

Никакого мотоцикла у нас, конечно, не было, так как даже Люк не подозревал о том, что мы работаем вместе, но к нашим услугам был трамвай, который за двадцать минут доставлял нас в наше излюбленное местечко, на Лонгкрег-хилл — поросшую лесом гору, которую еще не успели застроить и откуда открывался вид на реку. Здесь мы садились на мшистый камень и смотрели, как паромы и крошечные пароходики с большущим гребным колесом курсируют вверх и вниз по широкой реке, а далеко внизу, у нас под ногами, раскинулся город, затянутый золотистой дымкой, — лишь блеск купола или тонкого шпиля обнаруживал его. Говорили мы главным образом о встававших перед нами проблемах и с волнением и надеждой обсуждали возможность успеха. Иной раз, утомленный и словно замороженный очарованием минуты, я ложился на спину, закрывал глаза и, как истый провинциал, начинал мечтать: я мечтал вслух о Сорбонне, которую так живо обрисовал нам Чэллис, мечтал о жизни во имя чистой науки, о беспрепятственной возможности исследовать и дерзать.

Верный своему обещанию, которое мне нелегко было выполнять, я ни разу не заговорил с Джин о любви. Понимая ее сомнения и то, что ей пришлось ради

меня заглушить в себе голос совести, я решил доказать ей, как необоснованны ее подозрения, — доказать, что она может всецело довериться мне. Только так я мог оправдать себя в ее глазах и в своих собственных.

Когда наступил решающий день, мы поставили последнюю партию пробирок для агглютинации и ушли. Это был четверг, последний день июня, и погода выдалась чудеснейшая; мы чуть ли не боялись того, что ждало нас по возвращении, и не спешили уезжать с горы. Пока мы там сидели, маленький пароходик далеко внизу отправился в свой вечерний рейс к островам в устье реки, на палубе его можно было различить крошечные фигурки немцев-оркестрантов. Они играли вальс Штрауса. Пароходик с трепещущими на ветру флагами, вспенивая воду гребным колесом, весело проплыл вниз по реке и исчез из виду. Однако до нас еще долго доносились звуки мелодии, еле уловимые, но такие сладостные и нежные, как ласка. Блаженный миг! Я не смел взглянуть на мою спутницу, но внезапно со всею ясностью почувствовал, что тревожнения этих дней, когда мы работали бок о бок, почти помимо моей воли углубили и закрепили наши отношения. И я понял, что она вошла в мою жизнь как неотъемлемая ее частица.

Мы решили, что пора идти. В этот вечер у меня не было приема, а Джин ввиду важности события устроилась так, чтобы задержаться в Уинтоне до восьми часов.

Пробило пять часов, когда мы добрались до нашей маленькой лаборатории. Сейчас или никогда! Я подошел к термостату и, открыв дверцу, жестом велел моей помощнице вынуть штатив с пробирками. В этом штативе было двадцать четыре пробирки, и в каждой — жидкость, абсолютно прозрачная несколько часов назад, но сейчас, если опыт удался, в ней должны были появиться хлопья осадка. Затаив дыхание, я с трево-

гой следил, как Джин вынимала штатив. И, увидев его, ахнул.

В каждой пробирке белел осадок. Я не мог говорить. Охваченный внезапной слабостью, я присел на кожаную кушетку, тогда как Джин, изменившись в лице и все еще держа в руках штатив с пробирками, не мигая, глядела на меня.

Значит, это правда: два организма, которые двадцать один год считались самостоятельно существующими и никак друг с другом не связанными, на самом деле являлись одной и той же бациллой! Да, я доказал это. Идентичность их подтверждена морфологически, культурой и опытами агглютинации. Значит, болезнь, широко распространенная среди скота, легко передается людям не только при непосредственном соприкосновении, но и через молоко, масло, сыр и все виды молочных продуктов. Банговская болезнь животных, мальтийская лихорадка Брюса и эпидемия «инфлуэнцы» — все это одно и то же, и все обязано своим происхождением одной и той же бацилле, которую мы культивировали здесь, в лаборатории. Голова у меня кружилась, я прикрыл глаза. Мы установили наличие новой инфекции у человека и нашли возбудителя этой инфекции, вызывающего не какое-нибудь малозначительное местное заболевание, а серьезную болезнь, порождающую сильнейшие вспышки эпидемии, равно как и длительное недомогание при более слабой и хронической формах, — болезнь, насчитывающую сотни тысяч жертв во всех странах мира. При мысли об этом у меня сдавило горло. Подобно Кортесу¹, остановившемуся на вершине горы, я вдруг с поразительной ясностью увидел наше открытие во всем его значении.

Наконец Джин нарушила молчание.

¹ Фернандо Кортес (1485–1547) — испанский конкистадор, завоевавший Мексику в XVI в.

— Это замечательно, — тихо сказала она. — Ах, Роберт, теперь можно все опубликовать.

Я покачал головой. Передо мной в ярком свете встало еще более чудесное видение. Стараясь умерить прилив восторга и держаться скромно и с достоинством, как и подобает ученому, я сказал:

— Мы открыли болезнь. И бактерию, являющуюся первопричиной этой болезни. Теперь мы должны приготовить вакцину, которая будет излечивать от нее. Вот когда мы получим такую вакцину, тогда нашу работу можно будет считать завершенной.

Это была чудесная, ослепительно-прекрасная перспектива. Глаза Джин загорелись.

— Надо позвонить профессору Чэллису.

— Завтра, — сказал я. Из какого-то ревнивого чувства мне хотелось, чтобы наша победа принадлежала нам одним.

Джин, казалось, поняла меня и улыбнулась; при виде этой улыбки восторженное настроение овладело мной — куда только девалась моя солидность, в один миг исчезло напускное спокойствие.

— Дорогая доктор Лоу, — улыбнулся я ей, — это событие войдет в историю. Надо его отметить. Не согласитесь ли вы пообедать со мной сегодня?

Она поколебалась — щеки ее все еще пылали от волнения — и взглянула на часы.

— Меня будут ждать дома.

— Ну пойдемте, — горячо упрасивал я. — Ведь еще рано. И вы вполне успеете на поезд.

Она посмотрела на меня сияющими глазами, в которых была, однако, еле уловимая мольба, но я тотчас вскочил, радостный и уверенный в себе. Помогая ей надеть пальто, я рассмеялся:

— Мы отлично поработали. И вполне заслужили маленькое развлечение.

Ликуя, я взял ее под руку, и мы пошли.

ГЛАВА 6

На Старой Джордж-стрит, неподалеку от фармакологического факультета, был небольшой французский ресторанчик «Континенталь», куда я иногда заходил со Спенсом; сейчас это заведение показалось мне наиболее подходящим для нашего пиршества. Содержала его эльзаска по имени мадам Броссар, ее покойный супруг преподавал языки в средней школе по соседству; ресторанчик был скромный, но очень чистенький, кормили там отлично, и во всем, несмотря на нашу северную атмосферу, чувствовался сугубо французский дух. Пол был посыпан песком; клетчатые салфетки туго накрахмалены, сложены веером и воткнуты в цветные бокалы для вина; на каждом столике стояли свечи под красными колпачками, озарявшие своим романтическим светом ножи и вилки с костяными ручками.

При нашем появлении мадам, восседавшая за стойкой у кассы, поклонилась нам, и молоденький официант в стареньком, чересчур широком смокинге провел нас к столику в углу. Время для посещения таких заведений еще не настало, и, если не считать нескольких завсегдатаев, обедавших за длинным столом посредине, зал, к нашей радости, был почти пуст. Довольные тем, как все складывается, мы просмотрели меню, написанное от руки фиолетовыми чернилами, и заказали луковый суп, эскалоп из говядины, апельсиновое суфле и кофе.

— Здесь очень мило, — заметила Джин, с интересом осматривая помещение. — Совсем как в Париже. — И, почувствовав, что сказала не то, она с легкой гримаской добавила: — Так мне, во всяком случае, кажется.

— Давайте в самом деле вообразим, что мы в Париже, — весело предложил я. — Мы пришли из Сор-

бонны... нам же описывал ее профессор Чэллис. Мы знаменитейшие ученые — разве не видите, какая у меня борода!.. И мы только что сделали открытие, которое перевернет мир и покроет нас бессмертной славой.

— Так оно и есть, — деловито заметила она.

Я громко расхохотался. Упоенный сознанием достигнутой победы, сбросив с себя тяжкое ярмо повседневного труда, я утратил и свою обычную сдержанность — буквально опьянел от счастья. Когда официант принес нам суп с длинными хрустящими слоеными пирожками, я обратился к нему по-французски. Он с виноватым видом покачал головой и ответил мне на чистейшем шотландском наречии. Джин так и прыснула.

— Что вы сказали этому бедному малому? — спросила она, когда он отошел.

— Он еще слишком юн, чтобы понять это. — Я перегнулся к ней через столик. — Я скажу вам позже.

Мы принялись за суп, который был просто восхитителен: уйма тонко нарезанного поджаренного лука, а сверху тертый сыр. Одержанный нами успех преисполнил нас радостного возбуждения, и мы буквально ликовали, упиваясь им. Официант, уже ставший нашим другом, с многозначительным видом притащил графин красного вина, которое входило здесь в стоимость обеда. Сердце у меня пело от счастья; взволнованный, трепещущий, я наполнил бокалы этим скромным напитком, еще пенившимся после того, как его налили из бочки.

— Давайте выпьем за наш успех.

Джин потупилась — но только на секунду, а потом, словно побежденная сознанием важности момента, сначала пригубила, затем залпом осушила бокал.

— Недурно, — одобрительно кивнул я. — Раз уж мы в Париже, будем вести себя как парижане. К тому же... не забудьте, что вы теперь солидная, хоть еще

и привлекательная, дама средних лет, которая целый день возилась в Сорбонне с опытами по агглютинации. И сейчас, следуя совету святого Павла, я порекомендовал бы вам выпить немножко винца — для здоровья.

Она с укором посмотрела на меня и вдруг улыбнулась, а через минуту уже заливалась веселым игривым смехом, возникавшим без всякой причины, просто так, потому что ей было весело.

— Ах, Роберт, перестаньте, пожалуйста!.. — воскликнула она, вытирая глаза. — Мы ведем себя как дети.

Мадам Броссар, величественно восседавшая за кассой, добродушно и снисходительно смотрела на нас.

Когда подали эскалоп, я вновь наполнил бокалы, — нас неудержимо тянуло говорить о том, что мы пережили за эти три месяца, и мы теперь с улыбкой вспоминали наши затруднения, снова и снова перебирая все подробности удивительного открытия.

— Помните, Роберт, как вы однажды разозлились?

— Я категорически отрицаю, что когда-либо злился.

— Нет, злились, злились. Когда я сломала центрифугу. Вы меня тогда чуть за уши не отодрали!

— Что ж, очень сожалею, что не отодрал.

Этого было достаточно, чтобы она залилась смехом.

Нагнувшись к моей спутнице, такой веселой и оживленной, с раскрасневшимися щечками и лукавыми смеющимися глазками, я вдруг отчетливо понял, что в ней идет борьба двух противоположных начал. Сейчас серьезная, ревностная кальвинисточка вдруг исчезла, от пуританского воспитания не осталось и следа, и передо мной предстало живое, пылкое существо. Сняв шляпку и доверчиво положив локти на стол, подле меня сидела хорошенькая молодая женщина, которая сама не сознавала, насколько ее влечет ко мне.

Волна чувств подхватила и захлестнула меня. Поразмыслив о наших отношениях, я вдруг понял, что не вынесу больше этого чередования страданий и радостей, всего того, из чего они складывались. Я сдержал свое слово и ничем не нарушил нашего странного уговора, однако, хоть я и не отдавал себе в этом отчета, ее присутствие в лаборатории безмерно волновало и вконец измучило меня. Сбросив с себя тяжкий груз упорного труда, я уже не в силах был сдерживать естественные движения своего сердца. И я поспешно проглотил остаток кофе, чтобы избавиться от комка, внезапно подступившего к горлу...

— Джин... — начал я. — Вы так много помогли мне эти три месяца. Почему?

— Из чувства долга, — улыбнулась она.

— Значит, вы не прочь были поработать со мной?

— Ну что вы, это было для меня удовольствием! — воскликнула она и рассеянно добавила: — Мне было очень полезно пройти такую практику до отъезда в Кумаси.

Это бесхитростное признание поразило меня, словно удар ножом в сердце.

— Не надо об этом, — сказал я. — Ради бога... только не сегодня.

— Хорошо, Роберт. — И она взглянула на меня глазами, полными слез.

Воцарилось молчание. Словно боясь выдать себя, она опустила ресницы.

В этот вечер в ней чувствовалась какая-то удивительная теплота, быстрое, горячее биение жизни, от которого у меня положительно захватывало дух. Снедаемый любовью, я всеми силами пытался уберечь рассудок от нарастающего наваждения. Но тщетно: ничто не могло противостоять безмерной сладости этого часа. От ее близости я почувствовал физическую боль в сердце и такое неодолимое томление, что невольно

схватил ее за руку и крепко сжал — лишь тогда мне стало немного легче.

Она не пыталась отнять у меня свои плененные пальчики, но вдруг, словно и ей стоило большого труда сохранять спокойствие, вздохнула:

— Нам, пожалуй, пора идти.

Наступившее молчание необычайно сблизило нас — влечение, которое мы чувствовали друг к другу, было настолько сильным, что я забыл о времени. Только сейчас, подзывая официанта, чтобы рассчитаться, пока Джин с понурым видом медленно надевала шляпку, я заметил часы над стойкой. Они показывали пять минут девятого.

— Оказывается, сейчас куда позднее, чем я думал, — тихо сказал я. — Боюсь, что вы опоздали на поезд.

Она повернулась, взглянула на часы, затем на меня. Щеки ее стали совсем пунцовыми, глаза сияли, как звезды, — так сияли, что она снова застенчиво опустила ресницы.

— Я думаю, это не так уж важно.

— Когда идет следующий?

— Только без четверти десять.

Наступила пауза. В волнении она принялась скатывать шарик из остатков пирожка. Нервные движения ее пальцев, потупленный взор, быстрое биение жилки на шее вдруг бросились мне в глаза, и сердце у меня на секунду замерло.

— Ну что ж, пойдете.

Я расплатился, и мы вышли. На улицах было пустынно, небо затянуло облаками, вечер был теплый и тихий.

— Что же мы будем делать? — спросил я только для того, чтобы что-то сказать. — Прогуляемся по саду?

— А разве его не закрывают в восемь часов?

— Я совсем забыл, — пробормотал я. — Кажется, закрывают.

Мы стояли под фонарем на опустевшей улице. И безрассудное желание овладело мной. Она стояла совсем близко, так близко, что все мои благие намерения мгновенно разлетелись в прах. Сердце у меня отчаянно колотилось. Я с трудом мог говорить.

— Зайдемте в лабораторию.

Мы двинулись в путь, и я взял ее под руку. За всю дорогу мы не произнесли ни слова. Подойдя к аптекарскому отделению, я открыл своим ключом дверь в лабораторию. Внутри было темно, но старинный газовый фонарь на дворе отбрасывал в комнату слабый свет, при котором обращенное ко мне личико Джин казалось лицом жертвы, приемлющей свою участь. Глаза ее под прозрачными веками были закрыты в ожидании неизбежного. Я почувствовал у себя на щеке ее нежное дыхание. И, словно боясь, что дрожащие колени подогнутся под нею и она упадет. Джин прильнула ко мне, и мы очутились в объятиях друг друга на маленькой кушетке.

В этом волшебном полумраке время перестало существовать — меня бросило в жар, я обезумел от счастья. Прошлое было забыто, о будущем не думалось — все сосредоточилось в этом миге. Головка ее запрокинулась — обрисовались изящная линия шеи, нежная выемка груди. Глаза ее были по-прежнему закрыты, чтобы не видеть этого призрачного освещения, а бледный лоб, словно от боли, вдруг прорезали глубокие морщины. Внезапно по учащенному, прерывистому дыханию, по быстрому биению сердца, затрепетавшего, точно испуганная птичка, под тонкой, с открытым воротом блузкой, я почувствовал, как все ее существо устремилось ко мне, объединяясь, сливаясь в забытие со мной. Ничто, никакие узы — земные или небесные — не могли остановить этого порыва.

ГЛАВА 7

Четыре дня спустя, в понедельник, профессор Чэллис зашел навестить меня. Он уезжал на субботу и воскресенье в Бьют, на воды, где он время от времени проходил курс лечения от артрита, медленно превращавшего его в калеку. Обнаружив по своему возвращении письмо от меня, он взял кеб и приехал в лабораторию.

Поздоровавшись со мной, он положил шляпу и, стряхивая с зонтика капли дождя, с легким недоумением оглядел комнату.

— А где же наша юная коллега?

Хоть я и ждал этого вопроса, все-таки, к своей великой досаде, не мог не покраснеть.

— Сегодня ее нет здесь.

Подойдя к печурке, которую мы топили углем, и грея возле нее руки, он окинул меня каким-то странным, испытующим взглядом, словно его удивляло мое одиночество и молчание.

— Значит, все благополучно.

— Да.

Он покачал головой.

— У вас наступила реакция, Роберт. Вы устали. Сидите, я сам все посмотрю.

Через несколько минут он уже стоял у моего рабочего стола и добрых полчаса усердно изучал подготовленный мною отчет, делая карандашом вычисления на полях. Затем с величайшей тщательностью, задумчиво обследовал все пробирки с культурами. Долго сидел он, согнувшись над микроскопом, затем чопорно повернулся ко мне на вертящемся стуле. Щеки у него совсем ввалились, он одряхлел и выглядел немного грустным. Я понял, что он очень взволнован.

— Роберт... — сказал он наконец, глядя на меня своими добрыми глазами, — только не возгордитесь.

Ни в коем случае. В науке нет места для зазнайства и тщеславия. Ведь это только начало вашей карьеры. Вам повезло. Но вы еще многому должны учиться, почти всему. Однако и то, что вы сделали, радует мое старое сердце.

Помолчав с минуту, он продолжал:

— Конечно, вы могли бы объявить о вашем открытии немедленно. Оно, безусловно, имеет огромное значение. Но я тоже считаю, что лучше потратить еще месяца три, чтобы научно обосновать и полностью завершить работу, получив вакцину, терапевтически эффективную в борьбе с новой болезнью. Вы этим и хотите заняться?

— Да.

— Ну так и займитесь. Но, — он окинул взглядом комнату, — вы не сможете сделать это здесь.

Заметив мой удивленный взгляд, он медленно наклонил голову, как бы подтверждая свое мнение.

— Для завершения вашей работы вам придется провести опыты, требующие высокой техники, а осуществить их в таких несовершенных условиях просто невыполнимо. Я не собираюсь извиняться, Роберт: тогда я мог вам предложить только это. Но сейчас я должен подыскать что-то лучшее. Вам непременно нужна лаборатория, оборудованная в соответствии с самыми современными требованиями науки. И есть три возможности получить ее.

Несмотря на боль, терзавшую мне сердце, я внимательно слушал его.

— Во-первых, вы можете обратиться в какую-нибудь крупную фирму, занимающуюся изготовлением лекарств, например к Уилсону или к Харлетту. Принимая во внимание сделанные вами открытия, любая из них, безусловно, с радостью предоставит в ваше распоряжение свои ресурсы, квалифицированный персонал и положит вам крупное жалованье в расчете на то,

что вы откроете вакцину, которую можно будет выпускать в больших количествах для продажи. — Помолчав, он добавил: — Это было бы очень выгодно обеим сторонам.

Он выждал некоторое время. Но я продолжал, не говоря ни слова, глядеть на него; тогда легкая улыбка осветила его изрезанное морщинами лицо.

— Прекрасно, — сказал он. — Вторая возможность — пойти к профессору Ашеру.

Тут я невольно вздрогнул, но, прежде чем я успел рот открыть, он предостерегающе поднял свою тонкую загорелую руку.

— Добрый профессор начинает жалеть, что отпустил вас. — Он усмехнулся, но без тени злорадства. — Время от времени я возбуждал его любопытство... не будем говорить «огорчение»... рассказывая о вашей работе.

— Нет, — тихо произнес я, и все мое тайное смятение нашло исход в этом коротком слове.

— Но почему же? Уверяю вас, он будет только рад, если вы вернетесь на кафедру.

— Он заставил меня уйти с кафедры, — сквозь зубы пробормотал я. — И я должен сам, своими силами довести исследование до конца.

— Хорошо, — сказал Чэллис. — В таком случае остается... «Истершоуз».

На минуту я даже забыл о тех чувствах, что бушевали в моей груди, и в изумлении уставился на него. Шутит он, что ли? Или вдруг сошел с ума?

— Вы знаете, что это такое? — спросил он.

— Конечно.

Снова он улыбнулся своей вялой, печальной улыбкой.

— Я говорю вполне серьезно, Роберт. У них есть место врача, живущего при больнице. Я написал директору, доктору Гудоллу, и он согласен взять вас на

несколько месяцев. Заведение это, как вам известно, старинное, но недавно они оборудовали у себя вполне современную лабораторию, где вы будете иметь полную и неограниченную возможность довести до конца свою работу.

Наступила пауза. Я окинул взглядом импровизированную лабораторию, которую сначала так презирал, но к которой теперь по многим причинам привязался. «Снова куда-то перебираться, — подумал я. — Неужели я никогда не буду работать спокойно?»

— Мне бы не хотелось переезжать, — медленно произнес я. — Я привык к этому помещению.

Он покачал головой.

— Это необходимо, мой мальчик, и рано или поздно вы неизбежно со мной согласитесь. Даже Пастер не мог бы изготовить вакцину с таким оборудованием. Вот почему я все время искал для вас какую-то другую, более благоприятную возможность. — Поскольку я все еще колебался, он мягко спросил: — Быть может, вам не хочется жить в таком месте, как «Истершоуз»?

— Нет, — ответил я после минутной паузы. — Мне кажется, я смог бы выдержать.

— В таком случае обдумайте это как следует и сегодня вечером дайте мне знать. Лаборатория у них там, безусловно, такая, о какой можно только мечтать. — Он встал, похлопал меня по плечу и принялся натягивать свои светлые перчатки. — А теперь мне пора. Поздравляю еще раз. — Он взял зонт и, обернувшись через плечо, сказал: — Не забудьте передать от меня привет доктору Лоу.

Я буркнул ему вслед что-то невнятное.

Не мог же я сказать ему, что вот уже четыре дня как не видел Джин, что у меня в кармане лежало жалостное, залитое слезами письмо от нее — письмо, полное самобичевания, неизмеримого отчаяния, горя и сожалений, которое жгло меня как огнем.

О боже, какой я был идиот! В жарком бреду тех непоправимых минут мне и в голову не пришло, насколько глубоко сознание совершенного греха может ранить эту бесхитростную, чистую душу. Я все еще видел ее такой, какой она уходила от меня тогда, поздно вечером. На побелевшее личико было больно смотреть, губы дрожали, а в глазах притаилось выражение раненой птички — в них было столько муки, столько печали и отчаяния, что у меня сердце облилось кровью.

Обычно на добродетель мало кто обращает внимание, над ней, может быть, даже и посмеиваются. Но Джин по природе своей была добродетельна.

Как-то раз, в раннем детстве, я разбил хрупкую хрустальную вазу. И вот такое же страшное ощущение непоправимой беды, какое возникло у меня тогда при виде рассыпавшихся по полу осколков, терзало меня и сейчас. Я знал, что есть девушки, которые равнодушно заводят «романы». Нас же, столь непохожих друг на друга во всех прочих отношениях, объединяла одна общая черта: равнодушие не могло исцелить наших ран. Одно место в ее письме никак не выходило у меня из головы:

Мы ошибались, думая, что можем быть вместе. Мы никогда не должны повторять эту ошибку. Я не могу и не должна видеть Вас.

Глубокий вздох вырвался из моей груди. Я был в отчаянии: у меня было такое ощущение, будто я навсегда потерял жемчужину огромной ценности. Устав от страданий, не находя себе места, терзаемый жгучей тоской, я горько корил себя. И все же мы перешли невидимый рубеж не столько из-за того, что были вместе, сколько из-за тех сил, которые неизбежно должны были разъединить нас. А что же теперь? Чары развеяны... сердце умерло? Ничуть. Я тосковал по ней больше, чем когда-либо, я стремился к ней всем своим существом.

Я порывисто вскочил с места. С тех пор как я получил письмо от Джин, я ни о чем другом не думал, но сейчас попытался стряхнуть с себя уныние и сосредоточиться мыслью на предложении Чэллиса. Внутренне я был против этой идеи, однако должен был признать справедливость его доводов. И, прошагав этак с час во взволнованном раздумье по комнате, я решил принять предложение профессора. Было уже около половины шестого; я запер дверь и направился в Тронгейт принимать больных.

В передней при кабинете, насыщенной приглушенным шепотом, кашлем, прерывистым дыханием и шарканьем ног по голому полу, было, как всегда, жарко, душно и полно народу. Выкрашенные в шоколадный цвет стены были мокры от испарений, и влага каплями стекала с них. Не успел я сесть за стол, как в комнату влетел доктор Мейзерс с листком бумаги в руке.

— Сегодня полный сбор, Шеннон. Дела идут отлично. Не сходите ли за меня по этим вызовам, когда закончите прием, а?

На листке, который он мне протягивал, значилось пять вызовов. Постепенно, со свойственной ему добродушной бесцеремонностью, он наваливал на меня все больше и больше работы, так что мои обязанности стали куда обширнее, чем было первоначально условлено.

— Хорошо, — вяло согласился я. — Но мне хотелось бы поговорить с вами.

— Валяйте.

— По-видимому, мне придется с вами расстаться.

Он уже начал, по своему обыкновению, перекладывать пригоршнями деньги — гонорар, полученный во время дневных обходов, — из карманов брюк в замшевый мешочек, но тут разом прекратил это занятие и вытаращил на меня глаза. Затем расхохотался.

— Я все ждал, когда вы станете нажимать на меня насчет прибавки. Сколько же вы хотите?

— Ничего.

— Да перестаньте, Шеннон. Вы ведь неплохой малый. Я положу вам еще гинею в неделю.

— Нет, — сказал я, не глядя на него.

— Тогда две гинеи, черт побери.

Я отрицательно покачал головой, и лицо его сразу стало серьезным. Захлопнув ногой дверь перед самым носом ожидавших в приемной пациентов, он присел на край стола и уставился на меня.

— Нечего сказать, приятный сюрпризик для человека, который как раз собрался немного развлечься. Я сегодня везу мадам и Аду в цирк Хенглера. Вы и представить себе не можете, как вы им тогда понравились. Ну вот что. Сколько же вы все-таки хотите?

Мне пришлось крепко взять себя в руки. В моем нынешнем душевном состоянии мне была особенно противна его манера подводить все под один знаменатель — чистоган.

— Деньги тут ни при чем.

Он мне не поверил: не может человек быть равнодушным к драгоценному металлу. Покусывая ноготь большого пальца, он все время не спускал с меня глаз и прикидывал что-то в уме.

— Вот что, Шеннон, — одним духом выпалил он. — Я привязался к вам. Мы все к вам привязались. Я не говорю, что вы такой уж знающий доктор, но я мог бы подучить вас. Дело в том, что на вас можно положиться. Вы честный. У вас полукроны не прилипают к пальцам. Я уже давно собирался сделать вам одно предложение. Теперь слушайте. Поступайте-ка ко мне постоянным помощником на две с половиной, нет, скажем даже — на три сотни в год. Если будете работать хорошо, через год я возьму вас в компаньоны и введу в долю. Что вы на это скажете? Ведь моя практика — настоящая золотая жила. Будем разрабатывать ее вместе. А если бы вы и Ада поладили друг с другом, дельце

наше могло бы стать и семейным, и тогда со временем вы целиком унаследовали бы его.

— А пошли вы к черту! — Нервы у меня вдруг сдали. — Не желаю я наследовать вашу практику. И не нужно мне ваших денег. Да и вообще ничего.

— Послушайте-ка, — пробормотал он, совершенно растерявшись, — разве не я дал вам работу, когда вы были без гроша в кармане?

— Да, — чуть ли не гаркнул я. — И я вам благодарен за это. Вот почему я молчал, когда вы меня в эти последние три месяца чуть не до смерти загоняли. Но теперь хватит. Надоело мне ходить по домам, где в одной комнате живет целая семья, выуживать у людей по полкроны и набивать деньгами ваш замшевый мешок. Держите вашу золотую жилу при себе. Я не желаю принимать участие в ее разработке.

— Этого быть не может, — пробормотал он, выпучив на меня глаза. — Я вам предлагаю верное дело. А вы плюете на это. Да вы просто рехнулись!

— Хорошо, — сказал я. — Пусть будет так. А сейчас разрешите мне приступить к работе.

Я нажал на кнопку звонка, и в комнату, волоча ноги, вошел первый пациент — старик. Я принялся осматривать его, а доктор Мейзерс, сдвинув шляпу на затылок, в полном изумлении продолжал глядеть на меня. Наконец он взял мешок с деньгами, запер его для большей сохранности в сейф и, не сказав ни слова, вышел. Едва он скрылся за дверью, как я пожалел о своей вспышке. Человек он был неплохой и оказывал немало добрых услуг своей округе, но его неустанное стремление набить потуже свой денежный мешок было просто невыносимо.

Пробило одиннадцать часов, когда я вышел от последнего больного. Я направился в «Глобус», но, хоть и очень устал, знал, что не засну. Сейчас, когда голова моя ничем не была занята, тоска снова овладела мной

и, точно острозубый зверь, принялась раздирать мне грудь. Однако, шагая по мокрым улицам, я издевался над своими муками. Нечего сказать — настоящий Лотарио, беззаботный покоритель сердец! Или юный Ромео... Казанова... Какими только именами я издевки ради не называл себя.

Добравшись до своей комнаты в гостинице, я сорвал с себя одежду и бросился на постель. Я лежал в темноте совсем неподвижно, крепко закрыв глаза. Но сколько я ни пытался заснуть, в мозгу моем все снова и снова возникали слова: *«Я не должна Вас больше видеть... никогда... никогда»*.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА 1

Неделю спустя, часов около девяти вечера, я шел с чемоданом по безлюдной дороге и, напрягая зрение, старался разглядеть сквозь туманную мглу очертания «Истершоуза», все еще сокрытого в мнимой пустоте ночи. Я опоздал на поезд в Уинтоне и, прибыв часом позже назначенного времени на узловую станцию Шоуз, расположенную милях в сорока от города, среди пустынных, окруженных лесом пастбищ Лотиана, обнаружил, что никто не приехал встречать меня. На полустанке мне показали, в каком направлении надо идти, но я, несомненно, заблудился бы в этой пустынной местности, если бы не наткнулся на высокую ограду, утыканную поверху железными шипами. Я шел вдоль нее минут десять и, завернув за угол, внезапно очутился перед воротами, вход в которые охранял каменный домик привратника, увенчанный башенкой, — в окне ее мерцал зажженный фонарь.

Опустив на землю чемодан, я постучал в обитую большими гвоздями дверь привратницкой. Немного спустя кто-то взял с окна фонарь, вышел к воротам и, всматриваясь через решетку в темноту, окликнул меня:

— Кто там?

Я назвал себя, добавив:

— Меня здесь должны ждать.

— Знать ничего не знаю. Где ваш пропуск?

— У меня нет пропуска. Но неужели вам не сказали, что я должен приехать?

— Никто мне ничего не говорил.

Привратник уже хотел было вернуться к себе в домик, оставив меня в крошечной тьме. Но в эту минуту мелькнул свет другого фонаря, и за спиной привратника раздался резкий женский голос; изысканно вежливо женщина спросила с заметным ирландским акцентом:

— Это доктор Шеннон? Все в порядке, Ганн, откройте ворота и впустите его.

Не без воркотни привратник наконец распахнул железные ворота. Я поднял чемодан и вошел.

— Все движимое имущество при вас. Отлично. Прошу за мной.

Моя проводница, насколько можно судить при слабом свете фонаря, была женщина лет сорока, в синих очках, широком грубошерстном пальто и с непокрытой головой. Когда ворота с лязгом захлопнулись и мы двинулись по длинной темной аллее, она представилась:

— Доктор Мейтленд, заведующая женским отделением. — (Тут я наткнулся на кусты и чуть не упал.) — Вас должен был встретить доктор Полфри — он ведает восточным и западным крылами мужского отделения, но он сегодня работал только до полудня, а потом уехал в Уинтон. — Выждав, не скажу ли я что-нибудь, она добавила: — Вот там, впереди, наше главное здание.

Я поднял глаза. Неподалеку, на небольшом возвышении, смутно виднелись очертания чего-то похожего на замок — словно соты, наполненные светом, расплывавшимся в сыром мраке. Туман лишил этот свет яркости, и он казался призрачным и неверным. Пока мы шли к зданию, некоторые огоньки на моих глазах потухли, другие вспыхнули — созвездие мерцало и словно приплясывало.

Но вот аллея кончилась и перед нами вырос высокий фасад; Мейтленд направилась к каменному пор-

тику, освещенному висячей лампой в металлической сетке. С ключом в руке она остановилась на верхней ступеньке широкой гранитной лестницы и пояснила:

— Это южное крыло мужского отделения. Здесь вы и будете обитать.

Мы вошли в огромный, очень высокий вестибюль с полом, выложенным белыми и черными мраморными плитами; в глубине виднелась алебастровая статуя, а на стенах, в массивных золотых рамах, висели три гигантских пейзажа, писанные маслом. Две горки стиля «буль», окруженные зелеными с золотом парадными стульями, дополняли картину, поражающую глаз своим вычурным великолепием.

— Надеюсь, вам здесь нравится. — Казалось, Мейтленд еле сдерживает усмешку. — Настоящий вход в Валгаллу, правда?

И, не дожидаясь ответа, она стала подниматься по широкой, устланной ковром лестнице на третий этаж. Здесь тем же ключом, который, как я теперь заметил, висел на тонкой стальной цепочке у ее пояса, она быстро и умело открыла передо мной дверь в отдельные покои, состоявшие из нескольких комнат.

— Вот мы и прибыли. Теперь самое неприятное вам известно. Спальня, гостиная и ванная. Все — в викторианско-готическом стиле.

Несмотря на ее холодную насмешку, я нашел, что комнаты, хоть и старомодно обставленные, были необычайно уютны. В гостиной, где на окнах уже были задернуты занавеси из синели, топился камин и яркое пламя бросало мягкий отсвет на медную решетку и красный пушистый ковер. Там стояли два кресла и софа; возле секретера, полочки которого были уставлены книгами в кожаных переплетах, — настольная лампа. В спальне виднелась удобная кровать красного дерева, а в ванной комнате — ванна из толстого белого фарфора. Горькое чувство овладело мной: меня так

и подмывало сказать моей высокомерной спутнице, что по сравнению с «Глобусом» здешние апартаменты казались мне просто роскошными.

— Будете распаковывать вещи? — спросила Мейтленд, деликатно остановившись у двери. — Или, может быть, хотите, чтобы вам прежде подали ужин?

— Да, хорошо бы. Если это не слишком хлопотно.

Я сунул чемодан за софу и, пока Мейтленд звонила в колокольчик у камина и заказывала мне ужин, постарался рассмотреть ее. Она была очень некрасива, с красным, лоснящимся пятнистым лицом и тусклыми соломенными волосами, небрежно собранными сзади в узел. Зрение у нее было явно слабое, так как даже за синими стеклами очков веки казались красными и припухшими. И словно нарочно — чтобы еще больше подчеркнуть свою непривлекательность, — она была на редкость безвкусно одета: под широким пальто виднелась фланелевая блузка в розовую полоску и мешковато сидевшая шерстяная юбка.

Через пять минут в комнату молча вошла горничная в черном форменном платье и белом накрахмаленном переднике, с подносом в руках. Она была низенькая и дородная — настоящая карлица, — с серым, невыразительным лицом, с мускулистыми икрами, обтянутыми черными чулками.

— Благодарю вас, Сара, — любезно сказала Мейтленд. — Все выглядит очень аппетитно. Кстати, познакомьтесь: доктор Шеннон. Я уверена, что вы хорошо будете ухаживать за ним.

Горничная упорно смотрела на ковер, тупое лицо ее ничего не выражало. Внезапно она подпрыгнула, как заводная игрушка, и сделала реверанс. Потом, так и не произнеся ни слова, вышла.

Я проследил за ней взглядом, затем повернулся и вопросительно посмотрел на мою коллегу.

— Да, — небрежно кивнув, подтвердила мое подозрение Мейтленд. Со своей обычной, вызывающей,

слегка насмешливой улыбкой она наблюдала, как я налил себе кофе и принялся за бутерброд. — Живется здесь довольно неплохо. Мисс Индр, наша экономка, — очень толковая женщина. Кстати, я вовсе не собираюсь знакомить вас со всеми. Главным образом вы будете общаться с доктором Полфри: вам каждое утро предстоит завтракать с ним в восточном крыле мужского отделения. Затем у нас тут есть доктор Гудолл — наш шеф... Он живет слева от вашего подъезда, там, где красные ставни.

— А я не должен представиться ему сегодня же? — Я поднял на нее глаза.

— Я сообщу ему, что вы прибыли, — ответила Мейтленд.

— В чем же будут состоять мои обязанности?

— Вы должны утром и вечером делать обход. Замещать Полфри в его свободный день и меня — в мой. Дежурить в столовой. Время от времени выдавать лекарства в аптеке. А в остальном — быть полезным и приятным милой публике нашего маленького мирка. Словом, все очень просто. Насколько мне известно, вы ведете какую-то научную работу. У вас будет для нее сколько угодно времени. Вот вам ключ. — Из кармана пальто она вынула ключ — точно такой же, как у нее, — на тоненькой стальной цепочке. — Вы скоро к нему привыкнете. Предупреждаю, что без него вы никуда не попадете в «Истершоузе». Так что не теряйте.

И Мейтленд без малейшей иронии вручила мне большой старинный ключ, блестящий, как серебряный, — так он был отполирован за годы постоянного употребления.

— Ну-с, кажется, теперь все. Иду к Герцогине. А то она что-то разбушевалась: придется сделать ей основательное внушение и дать героину.

После того как она ушла, я закончил ужин, который был совсем не похож на больничную еду и вполне

соответствовал пышности обстановки. «Не отправиться ли мне в небольшую разведку с моим новым, незаменимым ключом?» — подумал я. Когда мы с Мейтленд поднимались по лестнице, я заметил, что на площадке каждого этажа есть дверь из красного дерева с выцветшей надписью наверху и толстыми стеклами, сквозь которые виднелся длинный, слабо освещенный коридор, таинственно заканчивавшийся другой такой же дверью, а за ней — другой коридор.

Несмотря на заверения профессора Чэллиса (кстати, уже подтвердившиеся) о том, что это одно из лучших заведений подобного рода, смутная тревога не покидала меня. Обычно медики с некоторым предубеждением относятся к работе в психиатрической больнице, как к чему-то не совсем обычному. Среди врачей этой специальности встречаются, конечно, поистине замечательные люди, но бывают и бесспорно странные, и странности их с течением времени проявляются все заметнее. Труд это, в общем, легкий, и он привлекает немало всякого сброда из медицинского мира. Кроме того, попасть на работу в психиатрическую больницу легко, а вот выбраться оттуда — сложнее. Откровенно говоря, некоторые из этих психических заболеваний не менее «прилипчивы», чем заразная болезнь.

Как бы то ни было, мне предстояло пройти через это. Резким движением я поднялся. Постель моя была аккуратно разобрана, и под откиннутым одеялом виднелось такое тонкое и белоснежное белье, на каком я еще никогда не спал. Я вытащил из-за софы чемодан и принялся распаковывать пожитки, стараясь возможно красивее разложить свои учебники, бумаги и немногочисленное жалкое имущество. Мой предшественник, чье имя мне неизвестно, не желая утруждать себя излишней поклажей, оставил мне в наследство полкоробки сигарет, старый купальный халат в красную полоску, несколько романов и десятка два разных безделушек, небрежно разбросанных повсюду.

Моим же единственным достоянием была маленькая фотография в дешевой картонной рамке, снятая солнечным днем в вересковых степях за Гаури; с нее смотрело простодушное загорелое личико, обрамленное растрепавшимися на ветру кудрями... заостренный, упрямо вздернутый подбородок... темные смеющиеся глаза... сейчас просто не верилось, что они действительно могли смеяться и сиять такой неприкрытой радостью. Смеются ли они сейчас? Во всяком случае, у меня, когда я поставил карточку на каминную доску, рядом с часами, не появилось ответной улыбки. Я подошел к календарю, стоявшему на секретере, и, сосредоточенно нахмурившись, поставил галочку против даты — 31 июля.

В эту минуту послышался резкий стук в дверь, и я невольно вздрогнул; повернувшись, я увидел на пороге высокую прямую фигуру и понял, что передо мной — директор больницы.

— Добрый вечер, доктор Шеннон. — Говорил он мягко, с легкой запинкой. — Рад вас приветствовать в «Истершоузе».

Высокий и нескладный, доктор Гудолл выглядел изможденным и бесконечно усталым; давно не стриженные черные с проседью волосы беспорядочными космами ниспадали на воротник. Лицо у него было длинное, свинцово-серое, с крупным носом, выступающим вперед подбородком и желтыми от разлития желчи глазами, равнодушно глядевшими из-под нависших век, — однако под этим кажущимся равнодушием таилась глубокая человечность, теплота, понимание и какая-то странная гипнотическая сила.

— Я много слышал о вас от профессора Чэллиса. — Он задумчиво улыбнулся. — И мне пришлось в голову, что вам, наверно, не терпится посмотреть нашу лабораторию.

И он жестом пригласил меня следовать за ним. Мы спустились вниз и долго шли по коридору под глав-

ным зданием, выложенному кафелем и освещенному электрическими лампами в матовых шарах. Коридор был покатым, и, незаметно преодолев подъем, мы вскоре вышли в маленький центральный дворик под открытым небом, окруженный со всех сторон высокими стенами. Мы пересекли его, доктор Гудолл молча отпер какую-то дверь и зажег свет.

— Вот мы и пришли, доктор Шеннон. Надеюсь, лаборатория вполне удовлетворит вас.

Я не мог слова вымолвить. В немом изумлении я озирался по сторонам. Естественно, я надеялся увидеть приличное помещение для работы, хотя по своему прошлому опыту не очень на это рассчитывал. Однако то, что я увидел, превзошло все мои ожидания. Лучшей лаборатории, если говорить о небольших, я еще никогда не встречал; она была даже более благоустроенной, чем у нас на кафедре: ряды штативов с реактивами, скопометр Икстона, термостаты, электродробилка и автоклав для стерилизации — здесь было все, что требуется, и притом самое дорогое, начиная с кафельных стен и кончая последней пипеткой.

— Боюсь, — заметил Гудолл, как бы извиняясь, — что ею не слишком часто пользовались. Кое-что из аппаратуры, возможно, придется подправить.

— Да что вы, по-моему, она идеальная. — И я умолк, не в силах больше ничего вымолвить.

Он усмехнулся.

— Мы оборудовали лабораторию совсем недавно. И приглашали для этого лучших специалистов. Я рад, что ею сможет кто-то пользоваться. — Вяло, но в то же время дружелюбно он добавил: — Мы ждем от вас больших дел. Я одинокий холостяк, доктор Шеннон. «Истершоуз» — мое детище. Вы доставите мне большую радость, если прославите его.

Мы пошли назад. В вестибюле, под лестницей, которая вела ко мне, он остановился, метнув на меня взгляд из-под тяжелых век.

— Я надеюсь, вы довольны тем, что «Истершоуз» может вам предоставить. Вы удобно устроены?

— Более чем удобно.

Снова пауза.

— В таком случае доброй ночи, доктор Шеннон.

— Доброй ночи.

Он ушел, а я отправился к себе. В голове у меня царил полный сумбур после встречи с этим странным, своеобразным человеком.

Я медленно разделся, принял горячую ванну и лег в постель. Уже засыпая, я услышал вдруг жалобный вопль, прорезавший нависшую над домом тишину. Он был похож на дикий крик совы в лесной глухомани. Я знал, что это не сова, но нимало не встревожился: сейчас страху не было места в моем сердце.

Крик повторился и замер в окружающей тьме.

ГЛАВА 2

На следующее утро я вышел на маленький железный балкончик, огибавший выступ моего окна; отсюда открывался вид на территорию «Истершоуза».

Главное здание из серого гранита с остроконечными крышами и четырьмя массивными башнями походило на баронский замок, очертания которого слегка расплывались в утреннем воздухе. По фасаду тянулась широкая терраса, окруженная балюстрадой, с фонтаном посередине, а вокруг него — узорчатая ограда из самшита. Терраса выходила на лужайку, обсаженную розами, за которой тянулась площадка для игр, где стоял маленький тирольский домик. Парк растянулся на несколько акров; его во всех направлениях пересекали аллеи, а вокруг шла высокая каменная стена, придававшая этому огромному участку вид частного владения, настоящего поместья.

Я побрился и оделся, затем, когда часы пробили восемь, отправился завтракать с доктором Полфри. На верхнем этаже восточного крыла мужского отделения в комнате для отдыха я обнаружил коротенького толстяка лет пятидесяти, лысого и румяного, который, укрывшись за утренней газетой, с аппетитом поглощал завтрак. Взгляды наши встретились.

— Пожалуйте сюда, дружище. — Не переставая есть, он приветственно помахал рукой и поспешил засунуть в рот кусок булки с маслом. — Вы, конечно, Шеннон. А меня зовут Полфри, я из Эдинбурга, окончил университет в девяносто девятом. Вот тут кеджери¹, бекон и яйца... там — кофе. Чудесное утро... голубое небо, прозрачный воздух... настоящий истершоузский денек, как мы здесь говорим.

Полфри казался человеком сердечным, безобидным и недалеким; у него были гладкие, пухлые щеки, которые, когда он жевал или говорил, тряслись, как желе. Выглядел он на редкость чистеньким: руки ухоженные, манжеты накрахмаленные, золотое пенсне чинно свисает с невидимого шнурочка, надетого на шею. Розовую плешь прикрывало несколько прядей светлых, с легкой рыжинкой волос, которые он старательно зачесывал на нее из-за уха. Он поминутно прикладывал салфетку к своим румяным губам и седым усам.

— Я должен был бы познакомиться с вами еще вчера вечером. Но я уезжал. Ездил в широкий мир, как у нас тут говорят. Был в опере. «Кармен». Ах, дивный, несчастный Бизе! Подумать только, что он умер от горя после провала премьеры в «Опера-комик», даже и не представляя себе, каким блистательным успехом будет со временем пользоваться его творение. Я слушал эту оперу ровно тридцать семь раз. Я слу-

¹ *Кеджери* — блюдо британской кухни (индийского происхождения) из вареной нарезанной рыбы, риса, яиц, лука и других ингредиентов.

шал Бресслер-Джианоли, Леман, Мэри Гарден, Дестин; де Режке в роли Хозе, Амато в роли Эскамильо. Нам очень повезло, что Карл Роса привез свою труппу в Уинтон. — Он промурлыкал несколько музыкальных фраз из арии Тореадора, отбивая пальцем такт по лежащей перед ним газете. — Критика пишет тут, что Скотти была в голосе. Еще бы! Ах, какая это минута, когда Микаэла, сама нежность, появляется на диких скалах возле лагеря контрабандистов! «Напрасно себя уверяю, что страха нет в моей душе...» Изумительно... какая мелодия... великолепно!.. Вы любите музыку?

Я пробормотал что-то малопонятное.

— Ах, непременно приходите вниз, когда я сижу там за роялем. Я почти все вечера провожу за ним — играю понемножку. Должен признаться: музыка для меня — самое большое удовольствие. Я считаю, что в моей жизни были три великие минуты: когда я слушал, как Патти пела в «Сицилийской вечерне», Галли-Курчи — в «Жемчужине Бразилии» и Мельба — «Севильяну» Массне.

И он продолжал разглагольствовать в том же духе, пока я не кончил завтракать; тогда он каким-то поистине дамским жестом поднес к глазам свои ручные часы.

— Шеф просил меня показать вам наше заведение. Пойдемте.

И он с неожиданной быстротой засеменял своими короткими толстыми ножками по подземному коридору; пройдя по нему немного, мы свернули налево и вдруг вышли на дневной свет, под самыми окнами моей квартиры.

Здесь с важным видом прохаживался взад и вперед тучный, глуповатого вида мужчина лет пятидесяти, в неопрятной, испещренной жирными пятнами серой форменной одежде и ботинках на резиновом ходу. При виде Полфри он выпятил живот и с необы-

чайной торжественностью и подобострастием приветствовал его.

— Доброе утро, Скеммон. Доктор Шеннон, это Сэмюел Скеммон, наш старший надзиратель... И, кроме того, с вашего позволения, неоценимый дирижер нашего Истершоузского духового оркестра.

Кроме Скеммона, к нам присоединился еще его помощник, надзиратель Бруган, молодой человек приятной наружности с бойкими голубыми глазами, и мы всей компанией направились к первой галерее, над которой, как я теперь разглядел, выцветшими золотыми буквами было написано: «Балаклава». Скеммон движением фокусника извлек свой ключ. Мы очутились в галерее.

Она была длинная, просторная и тихая, очень светлая, со множеством высоких окон по одну сторону и множеством дверей, ведущих в спальни, — по другую. Вся мебель, как и в нижнем вестибюле, была выдержана в стиле «буль»; ковры и занавеси, хоть и выцветшие, были все еще хороши. Тут стояло множество кресел, полки с книгами и журналами, а в уголке — даже вращающийся глобус. Казалось, находишься в уютном, хотя и несколько старомодном клубе, где пахнет мылом, кожей, политурой, сухими духами, какие кладут в комод.

Человек двадцать мирно сидело тут, развлекаясь по мере сил и возможностей. У самого входа двое играли в шахматы. Какой-то человек в уголке задумчиво вращал пальцем земной шар. Кое-кто читал газеты. Другие ничего не делали — лишь тихо и очень прямо сидели в креслах.

Полфри, пробежав глазами отчет, поданный ему Скеммоном, весело засеменял по коридору.

— Доброе утро, джентльмены. Как идет игра? — Сияя улыбкой, он дружески положил руки на плечи играющих. — Денек сегодня выдался преотменный.

Можете мне поверить: получите большое удовольствие от прогулки. Я сейчас вернусь — и тогда мы сразу двинемся в путь.

И он пошел дальше по галерее, время от времени останавливаясь, доброжелательный и любезный. Поток его болтовни, хоть и несколько стереотипной, не прекращался ни на минуту. Охотно, с сочувственным видом выслушивал он жалобы. Время от времени что-то напевал себе под нос. И пока мы шли по коридору, ни минуты не терял зря.

Следующая галерея называлась «Альма», затем шел «Инкерман», — в общем, было шесть таких галерей, и, когда мы обошли их все и наконец спустились в нижний вестибюль, было уже около часу. Полфри незамедлительно вывел меня на свежий воздух, и мы пошли по террасе к западному крылу, где нас ждал второй завтрак.

— Кстати, Шеннон, пожалуй, стоит предупредить вас... Мейтленд и наша сестра-экономка, мисс Индр, образуют весьма тесное небольшое содружество, основанное на взаимном преклонении. Меня они не слишком обожают. — Он объявил это довольно весело. — Сие меня очень мало трогает. Но это лишний довод в пользу того, что нам не мешает поддерживать друг друга.

В маленькой гостиной рядом с вестибюлем западного крыла женской половины, служившей одновременно и столовой, кстати очень уютной, стоял квадратный стол, накрытый тонкой скатертью, а на нем — четыре серебряных прибора; за двумя из них уже сидели в ожидании нас мисс Индр и Мейтленд. Сестра-экономка приветствовала меня, слегка склонив голову; это была тонкая, аристократического вида женщина лет за пятьдесят, уже поблекшая, но изящная и безупречно одетая, в синем вуалевом форменном платье с узенькими мягкими белыми манжетами и воротничком.

Когда мы сели, обе женщины обменялись понимающими взглядами и вполголоса перекинулись двумя-тремя словами. Атмосфера царила за столом напряженная и неприятная. После супа принесли жареный окорок и поставили перед Полфри, который неумело принялся его разрезать и, увлеченно мурлыча себе под нос, раскладывает по тарелкам. Время от времени Мейтленд с поистине мужской бесцеремонностью отпускала какую-нибудь шуточку по моему адресу, а под конец даже попросила меня выдать после завтрака ее дежурной старшей сестре необходимые лекарства. Раза два, когда Полфри принимался что-то рассказывать, она с усмешкой поглядывала на мисс Индр.

Подавленный впечатлениями от утреннего обхода и теми трудностями, которые неожиданно возникают перед человеком в незнакомой обстановке, я молчал. Когда Полфри, пробормотав извинение, поднялся после сладкого из-за стола, я тотчас последовал за ним на террасу.

— Ох эти женщины! — воскликнул он. — Я вам еще не говорил? Просто не выношу эту пару, Шеннон. Да и вообще ненавижу всех женщин. Благодарение небу, мне за всю мою жизнь ни разу не приходилось ни с одной из них иметь дело.

Он повернулся и пошел на дежурство в столовую, оставив меня одного; я же, обуреваемый самыми противоречивыми чувствами, направился в аптеку.

Здесь меня с весьма официальным видом ждали старшая сестра Шэдд и с нею другая, помоложе. Шэдд была крупная женщина средних лет с пышным бюстом и добрыми глазами. Она как раз смотрела на часы, приколотые у нее на груди, когда я вошел.

— Добрый день, доктор Шеннон. Это сестра Стенуэй. Можем мы получить выписанные лекарства?

Пока Шэдд ставила пустую корзину на прилавок, сестра Стенуэй исподтишка оглядела меня, и на ее

бледном, спокойном, плоском лице мелькнула еле заметная улыбка. Она была брюнетка лет двадцати пяти, держалась с подчеркнутой невозмутимостью и носила обручальное кольцо на правой руке.

— Разрешите, я покажу вам, где что лежит, — заметила Шэдд. — Друзья познаются в беде.

Вскоре я узнал, что сестра Шэдд имела в запасе немало таких поговорок, как «Что в лоб, что по лбу», «Пришла беда, отворяй ворота», «Береженого Бог бережет», которые она с глубокомысленным видом то и дело изрекала. Сейчас она весело помогла мне наполнить ее корзину всякими патентованными лекарствами, главным образом снотворными, затем, взглянув еще раз на приколотые к груди часы, направилась к двери; уже на пороге она, однако, остановилась и самым дружелюбным и благосклонным тоном, каким она обычно обращалась к Стенуэй, сказала не оборачиваясь:

— Возьмите у доктора Шеннона перевязочный материал для восточного крыла, сестра. Затем возвращайтесь — поможете мне разобраться в бельевой.

Оставшись с сестрой Стенуэй вдвоем, мы некоторое время молчали, затем в атмосфере произошла неувловимая перемена, еле заметный переход на менее официальный тон. Пододвинув свою корзину, она искоса взглянула на меня.

— Вы не будете возражать, если я присяду?

Я ответил, что не буду. Я понял, что ей хочется поговорить со мной, и хотя у меня было правило никогда не заглядываться на сестер, атмосфера, царившая в этом заведении, по правде говоря, начинала действовать мне на нервы, и я почувствовал, что мне станет легче, если я поболтаю с ней.

Усевшись на прилавок, она молча, слегка насмешливо оглядела меня. Красотой она не отличалась: бледное лицо с бескровным крупным ртом, широкими плос-

кими скулами и приплюснутым носом. И все-таки в ней было что-то привлекательное. Под глазами у нее залегли синеватые тени, кожа была гладко натянута. Черные волосы, подстриженные челкой на лбу, отливали синевой.

— Ну-с? — холодно спросила она. — Что же привело вас в «Истершоуз»?

Я ответил ей в том же тоне:

— Решил устроить себе здесь отдых.

— Это вам вполне удастся. Тут у нас настоящий морг.

— И притом весьма допотопный.

— Здание это было построено более ста лет назад.

Не думаю, чтобы с тех пор в нем многое изменилось.

— Неужели здесь не пользуются никакими современными методами?

— Отчего же нет? Но конечно, не бедняга Полфри. Он только ест, спит и мурлычет себе под нос. А вот Мейтленд работает до седьмого пота, применяет и гидротерапию, и лечение шоками, и психоанализ. Она вообще очень серьезная, славная и вполне порядочная женщина. По мнению Гудолла, лучшего врача быть не может. И он предоставляет ей полную свободу. Но он следит за тем, чтобы больных лечили, и по-своему помогает им выздороветь, обращаясь с ними как с вполне нормальными людьми.

— Мне понравился Гудолл. Я разговаривал с ним вчера вечером.

— Он человек что надо. Только сам немножко тронутый. — Она иронически взглянула на меня. — Мы все здесь слегка свихнувшиеся.

Я выдал ей все, что значилось в списке для восточного крыла: марлю, корпию и бинты, валерьянку, бром и хлоралгидрат. До сих пор мне еще ни разу не приходилось иметь дело с паральдегидом, и, откупорив бутылку, я чуть не задохнулся.

— Сильная штука.

— Да. И притом крепкая. Очень помогает с похмелья.

Заметив мое удивление, она коротко рассмеялась, взглянула на меня и повесила на руку корзину. Уже направляясь к двери, она снова посмотрела на меня своими раскосыми глазами и улыбнулась многозначительной, странно откровенной полуулыбкой.

— Здесь не так уж и плохо, когда освоишься. А некоторые так даже и вовсе недурно проводят время. Заходите к нам в комнату отдыха, если станет скучно.

Когда она вышла, я поймал себя на том, что, нахмурившись, смотрю ей вслед. И не потому, что она озадачила меня. Несмотря на молодость, ее потасканный вид, синие круги под глазами, широкоскулое невыразительное лицо, не выдающее ни малейшего движения души, — все указывало на жизнь, богатую приключениями.

К трем часам я уже закончил свою работу в аптеке и мог приступить к своим научным трудам. Вздохнув с облегчением, я вышел. И остановился, потрясенный представшей моему взору картиной.

На лужайке перед террасой под предводительством старшего надзирателя Скеммона группа джентльменов играла в шары, и, судя по их частым восклицаниям, игра эта весьма занимала их. На теннисных кортах, расположенных по другую сторону тирольского домика, тоже было оживленно — там Полфри судил одну из пар. Из домика же доносились звуки духового оркестра — довольно приятные отрывочки, то бравурные, то минорные, из какого-то марша указывали на то, что Истершоузский оркестр репетирует вовсю. Представшую моему взору картину дополняли дамы, иные даже с зонтиками, — они манерно прогуливались во главе с сестрой Шэдд по фруктовому саду. Однако не все здесь развлекались. В огороде усердно трудилась

большая группа мужчин из восточного крыла: стоя на равном, небольшом расстоянии друг от друга, они размеренными ударами мотыг рыхлили землю вокруг молодых саженцев.

Долго смотрел я на эту картину, и какой-то непонятный страх постепенно овладевал мной — чувство, которое смущало мою душу с тех пор, как я ступил сюда, вернулось с новой силой. Зрелище это было приятным, красивым, но — великий боже! — я больше не мог его выносить. Возможно, нервы у меня были не в порядке, но сейчас глаза бы мои не смотрели на «Истершоуз» с его галереями, как у крымских дворцов, на джентльменов, сидящих в этих галереях, на Полфри с его ключом, прикрепленным на стальной цепочке к поясу, на эти двери без ручек, на все это пропахшее карболкой здание. У меня появилось странное ощущение в затылке и головокружение. Я быстро повернулся, прошел прямо в лабораторию и запер за собой дверь. Когда я захлопнул окно, чтобы не слышать отдаленных криков игроков в шары, ощущение заброшенности, одиночества страшной тяжестью навалилось на меня и придавило. Я отчаянно затосковал по Джин. Зачем я приехал сюда, в это проклятое место? Я должен быть подле нее. Мы должны быть вместе, не смогу я здесь выдержать... один.

Но наконец я все-таки взял себя в руки и, сев за стол, приступил к последней фазе моей работы.

ГЛАВА 3

Наконец настал долгожданный день, тридцать первое июля, и я с согласия доктора Гудолла рано утром отправился в университет на церемонию выпуска. Хотя Полфри время от времени пытался вытащить меня в театр на одну из своих любимых опер, а Мейтленд

неоднократно намекала, что мне не мешает «развлечься», я настолько углубился в свою работу в лаборатории, что со времени приезда ни разу не выходил за пределы больницы. Я уже пообвык здесь. Сейчас мне казалось даже чудным, что я еду в трамвае, вижу машины и людей, свободно разгуливающих по улицам.

Когда к одиннадцати часам я добрался до вершины Феннер-хилла, зал Моррея был уже заполнен студентами и их родственниками и, как всегда, гудел от нетерпеливых голосов, — кислую чопорность царившей в нем атмосферы время от времени нарушали студенты из тех, что помоложе и поживее: они пели студенческие песни, гонялись друг за другом по проходам, гикали и мяукали, бросали серпантин. Каким глупым ребячеством казалось все это мне сейчас. Я не стал заходить внутрь, а остановился в толпе у входа, надеясь встретить Спенса или Ломекса, и с волнением принялся внимательно осматривать скамьи и балкон.

Джин нигде не было видно. Но внезапно среди этого моря лиц я заметил ее родных — отца, мать и Люка: они сидели во втором ряду балкона, слева, вместе с Малкольмом Ходденом. Все они были в праздничных одеждах, все нетерпеливо подались вперед и были так оживлены, так горды, так радовались предстоящему событию, что я вдруг почувствовал к ним злобу, которую тотчас постарался подавить. Я спрятался за ближайшую колонну.

В эту минуту некий дородный зритель, умело маневрируя зонтом и всех расталкивая, очутился рядом со мной и вдруг, ахнув от радости, дернул меня за рукав.

— Здравствуйте, мой дорогой доктор Роберт Шеннон.

И передо мной предстал неистощимый источник сплетен и доброты, вечно улыбающийся Лал Чаттерджи.

— Какое величайшее удовольствие встретить вас, сэр! Нам ужасно недостает вас в «Ротсее», но, конечно, мы с интересом следим за вашей карьерой. Какое блистательное здесь сегодня собрание, а?

— Да, блистательное, — без всякого энтузиазма согласился я.

— Ну знаете ли, сэр! Тэ-тэ-тэ!.. Никакого пренебрежения к нашей дорогой альма-матер! — тараторил он, то и дело охая, когда кто-нибудь из толпы попадал локтем ему в живот. — Хотя самого меня сегодня и не выпускают — надеюсь, это скоро произойдет, — эта пышная церемония мне очень нравится. За последние десять лет я ни разу не пропускал ее. Пойдемте, сэр. Разве не стоит протиснуться вперед и добыть два местечка в передних рядах?

— Я, пожалуй, постою здесь. Мне хочется найти Спенса и Ломекса.

В эту минуту у нас над головами грянул большой орган, заглушая все остальные звуки, и, поняв, что церемония начинается, в зал хлынула новая толпа, — поток разделил нас и унес Бэби вперед по центральному проходу.

Некоторое время, пока ректор произносил краткую речь, мне удавалось удерживаться на месте; затем с помощью профессора Ашера, стоявшего подле него с дипломами, он приступил к обычной церемонии «увенчания» академическими шапочками длинной вереницы выпускников. Но впереди меня стояла такая густая толпа, что я ничего не видел, да и не стремился видеть: я то и дело поглядывал вверх, на балкон, где сидели, улыбаясь и аплодируя, Ходден и семейство Лоу, но под конец зрелище это стало для меня просто невыносимым. Тогда, несмотря на протесты и противодействие окружающих, я стал пробиваться к выходу. В уголке, под крытой аркадой, стояла будка общественного телефона — повинуюсь внезапному порыву,

я вошел в нее и позвонил на кафедру патологии. Но Спенса не оказалось на месте. Не удалось мне дозво- ниться и к нему домой. Телефон звонил, но никто не отвечал.

Потерпев и здесь неудачу, я вышел из будки и мед- ленно поднялся по истертой узкой каменной лестни- це, затем побрел по коридору в гардеробную. Здесь за полгинеи или около того студенты брали напрокат свои мантии и шапочки, и я знал, что по окончании це- ремонии Джин придет сюда вернуть взятое одеяние. Это было единственное место, где я мог подстеречь ее и увидеть одну, и, присев в уголке, у длинного дере- вянного прилавка, я стал ждать.

Неизбежные в таких случаях аплодисменты, до- носившиеся снизу через каждые тридцать секунд, дей- ствовали мне на нервы, настроение мое упало, на душе было горько и грустно. В гардеробную вбежали сту- денты, и я поспешно поднял голову; вскоре я увидел Джин, спешившую вместе со всеми по коридору: на ней была мантия, накинутая поверх нового коричне- вого костюма, коричневые чулки и новые туфли. Рас- красневшаяся, она так возбужденно и весело болта- ла с какой-то девушкой, что это ее настроение после стольких недель разлуки больно укололо меня. Ведь я любил ее, и потому мне, естественно, хотелось видеть ее в слезах.

Она не заметила меня. Медленно и осторожно я поднялся и встал у прилавка, совсем рядом с ней. Я почти касался ее локтем, а она даже и не подозрева- ла, что я тут; я же не произнес ни слова.

Мы стояли так несколько секунд, но вот она про- тянула было через прилавок свою мантию и замерла. Она меня еще не видела, и тем не менее горячая кровь медленно отхлынула от ее лица и шеи — она побелела как полотно. Мгновение, пока она стояла неподвиж- но, казалось, длилось без конца; затем, словно это ей

стоило огромного, почти нечеловеческого усилия, она заставила себя повернуть голову.

Я смотрел ей прямо в глаза. А она стояла как каменная.

— Меня не приглашали, но я все-таки пришел.

Долгое молчание. Возможно, ее бледные губы и шевельнулись, произнося какие-то слова. Но сказать их вслух она не смогла. Я продолжал:

— У вас едва ли найдется несколько свободных минут. Но я хотел бы поговорить с вами наедине.

— Я ведь одна сейчас.

— Да, но здесь нам, безусловно, кто-нибудь помешает. Не могли бы мы удалиться куда-нибудь ненадолго? Помнится, мы это делали раньше.

— Мои родные ждут меня внизу. Я должна сейчас вернуться к ним.

И хотя я всей душой стремился к ней, в ответе моем прозвучала горечь:

— Целый месяц я держался вдали от вас и не надоедал вам своим присутствием. Мне кажется, я имею право на небольшой разговор с вами.

Она облизнула свои бледные сухие губы.

— А что хорошего может из этого выйти?

Я посмотрел на нее жестким взглядом. Мне хотелось увидеть ее, а сейчас, когда наконец мы очутились вместе, моим единственным желанием было возможно глубже ранить ее. Я подыскивал самые безжалостные и самые обидные слова.

— По крайней мере, мы сможем проститься. Теперь, когда вы получили диплом, я не сомневаюсь, что вы будете только рады избавиться от меня. Вы, наверно, знаете, что я работаю в «Истершоузе». Да. В сумасшедшем доме. Я опустился еще на одну ступень.

И я продолжал говорить до тех пор, пока в ее глазах не появилось страдальческое выражение. Тут вдруг я заметил высокого мужчину, приближавшегося к нам. Я поспешно нагнулся и совсем другим тоном сказал:

— Джин, приезжай ко мне в «Истершоуз»... как-нибудь днем... ну хоть один-единственный раз... ради нашей прежней дружбы.

По ее бледному испуганному лицу я видел, какая идет в ней борьба, и в ту минуту, когда я понял, чего это ей стоит, она прошептала:

— В таком случае в четверг... я, возможно, приеду.

Не успела она это промолвить, как Малкольм Ходден очутился рядом с нами, учащенно дыша после быстрого подъема по лестнице; он обнял Джин за плечи, словно желая защитить ее от толкавшихся вокруг людей, и спокойно, как на старого знакомого, посмотрел на меня своими серьезными голубыми глазами.

— Джин, дорогая, пойдите, — без тени упрека проговорил он. — Мы все просто понять не могли, отчего вы так задержались.

— Я опоздала? — с тревогой спросила она.

— О нет. — Он успокоительно улыбнулся ей и повел к лестнице. — Я заказал столик на час — у нас еще уйма времени. Просто профессор Кеннерли подошел к вашему отцу и спрашивал о вас.

У подножия лестницы Джин, даже не взглянув на меня, убежала к своим родителям, стоявшим в толпе, у выхода на четырехугольный двор; тогда Малкольм повернулся и обратился на меня серьезный, но отнюдь не враждебный взгляд.

— Не смотрите на меня так, Шеннон. Мы же с вами не враги. Поскольку в нашем распоряжении есть несколько минут, давайте разумно побеседуем.

Он вывел меня через каменную арку к террасе, перед которой на открытом месте, на самой вершине холма, высился университетский флагшток и стояла круглая чугунная скамейка. Опустившись на нее, он знаком пригласил меня сесть. Его спокойствие было поистине удивительным. Вообще он во всем был прямой противоположностью мне. Сильный, деловой, практичный, с ясными глазами и приятной внешностью,

спокойный и уверенный в себе, он не остановился бы ни перед чем. В его душе не было скрытых сомнений или темных тайников. Я завидовал ему всем своим несовершенным, измученным сердцем.

— Между нами есть по крайней мере хоть что-то общее, — начал он, словно прочитав мои мысли. — Мы оба хотим счастья Джин.

— Да, — сказал я, поджав губы.

— Тогда подумайте, Шеннон, — рассудительно продолжал он. — Неужели вы не понимаете, что ваш брак невозможен? Вы с ней никак не подходите друг другу.

— Я люблю ее, — упрямо сказал я.

— Но любовь — это еще не брак, — быстро возразил он. — А брак — дело серьезное. И пойти на это очертя голову нельзя. Вы оба будете несчастны, если поженитесь.

— Да как вы можете говорить заранее? А мы возьмем да и рискнем. Брак — это штука неизбежная... возможно, даже бедствие, от которого нет спасения... но уж все лучше миссионерской работы где-то в глуши.

— Нет, нет, — возразил он, в величайшем волнении парируя мой удар. — Брак должен укреплять, а не разрушать содружество двух существ. До вашей встречи с Джин жизнь ее текла по заранее намеченному руслу: и в смысле работы... и в смысле будущего. Она приняла определенное решение, и душа ее была спокойна. А теперь вы требуете, чтобы она отказалась от всего, порвала с семьей, подрубила самые корни своего существования.

— Но это вовсе не обязательно.

— Ах, вы так полагаете. Разрешите мне задать вам простой вопрос. Согласитесь ли вы посещать вместе с Джин храм, где она молится?

— Нет.

— Вот именно. В таком случае как же вы можете рассчитывать, что она станет ходить в ваш?

— Вот мы и подошли к этому. Я вовсе на это не рассчитываю. Я не имею ни малейшего желания к чему-либо принуждать ее. Каждый из нас будет обладать полной свободой мысли и действия.

Ничуть не убежденный, он покачал головой.

— Это все красиво в теории, Шеннон. А на практике ничего не получается. Ведь поводов для возникновения трений сколько угодно. А пойдут дети? Спросите вашего священника — он скажет вам, что я прав. Ваша Церковь всегда косо смотрела на смешанные браки.

— Но были же среди них и удачные, — упорно не сдавался я. — И мы будем счастливы вместе.

— Какое-то короткое время — возможно, — чуть не с жалостью сказал он. — А через пять лет, подумайте-ка, что будет: услышанный невзначай гимн, молитвенное собрание на улице, воспоминания детства, сознание, что она стольким пожертвовала... да самый вид ваш станет ей ненавистен.

Слова его звучали в моих ушах похоронным звоном. В наступившей тишине я услышал, как хлопает флаг на ветру: флагшток вибрировал, и казалось, что дерево содрогается в тщетной борьбе за жизнь.

— Поверьте мне, Шеннон, я стараюсь думать только о Джин. Сегодня она уже снова чувствовала себя почти счастливой, как вдруг появились вы. Неужели вы хотите вечно причинять ей страдания? О, я куда более высокого мнения о вас! Как мужчина мужчине, говорю вам, Шеннон: я убежден, что то хорошее, что есть в вашей натуре, в конце концов победит.

Он вынул часы, заключенные в роговой футляр, внимательно посмотрел на них и уже более мягким тоном сказал:

— Мы устраиваем сегодня небольшой праздник для Джин. Завтрак в отеле «Виндзор». — Он помолчал. — При других обстоятельствах я был бы очень

рад видеть вас с нами. Не хотите ли вы еще о чем-либо спросить меня?

— Нет, — ответил я.

Он встал и, крепко пожав мне руку выше локтя в знак примирения, твердым шагом пошел прочь. А я так и остался сидеть, прислушиваясь к заунывному хлопанию флага; в моем одиночестве виноват был только я сам, — я пытался возненавидеть Малкольма, но ненавидел себя: ну кому я такой нужен? Группа хорошо одетых гостей с любопытством посмотрела на меня, проходя мимо, затем все они вежливо отвели глаза.

ГЛАВА 4

В четверг хорошая погода, стоявшая так долго, испортилась: день обещал быть сырым и туманным. Я с тревогой поглядывал на небо, но даже в полдень солнце было затянуто пеленой, и, хотя дождь шел не очень сильный, трава на лужайках была совсем мокрая, а в аллеях капало с деревьев.

Сразу после второго завтрака, взволнованный и полный нетерпения, я направился к привратницкой. Я пришел как раз вовремя, но Джин уже была здесь — она сидела в уголке, одинокая и расстроенная, хотя вокруг по случаю приемного дня толпился народ и воздух был полон испарений от намокшей одежды множества посетителей, пришедших к больным восточного крыла.

Желая поскорее вывести ее отсюда, я направился к ней и хотел было взять ее за руку, но она поспешно поднялась мне навстречу.

— Почему вы не попросили привратника позвонить мне?

— Да ведь я сама виновата, что так получилось. — Она улыбнулась мне слабой дрожащей улыбкой. —

Я села на более ранний поезд. Мне было немножко трудно уйти из дому... и, поскольку негде было переждать, я и приехала сюда.

— **Если бы** я только знал...

— **Пустьяки.** Мне не хотелось беспокоить вас. Но уж по **саду-то** мне могли бы пока разрешить погулять.

— Видите ли, — принялся объяснять я, — приходится принимать некоторые меры предосторожности. Здесь ведь как бы совсем другой мир. Мы живем очень уединенно. Но если б вы сказали Ганну, что вы врач, он сразу же пропустил бы вас.

Как я ни старался отвлечь ее от грустных мыслей, она оставалась молчаливой и замкнутой и выглядела такой маленькой и несчастной в своем непромокаемом плаще и мягкой шапочке с серым пером, усеянной капельками дождя. Меня мучительно влекло к ней, но я изо всех сил старался держаться спокойно.

— Ну да ладно, — сказал я, переводя разговор на другую тему. — Главное, что вы здесь... и что мы вместе.

— Да, — покорно подтвердила она. — Какая обида, что так сыро!

Молча пошли мы по Южной аллее мимо тирольского домика с мокрой крышей, под деревьями, с которых стекала вода, словно пригибавшая их своей тяжестью к мокрой дорожке.

Ужасная погода угнетала нас, очертания предметов расплывались и тонули в этом затерянном молчаливом мире. Неужели Джин так и не объяснится со мной?

Внезапно, когда мы уже подходили к главному зданию, она медленно подняла глаза и, увидев что-то впереди, испуганно вскрикнула.

В тумане возникла колонна больных из восточного крыла, которые бежали в строю под наблюдением Скеммона и его помощника Брогана. Они всего лишь тренировались на прогулке, но когда тесные ряды тем-

ных фигур выскочили прямо на нас, ритмично топая по мягкому гравию, Джин прикрыла глаза и, замерев, стояла так, пока они не пробежали мимо и звук их тяжелых шагов не потонул в сером тумане.

— Извините, — жалобно сказала она наконец. — Я знаю, что это глупо, но у меня нервы никуда не годятся.

Все шло не так, как надо. Я потихоньку выругался. А тут еще и дождь припустил вовсю.

— Зайдемте ко мне, — предложил я. — Я хочу показать вам лабораторию.

После сырости на дворе в лаборатории было как-то особенно уютно. Джин сняла перчатки, но плащ расстегивать не стала. Мы стояли рядом у моего рабочего стола, и, оглядев помещение, она задумчиво начала перебирать одну за другой пробирки с культурами, точно это было нечто отошедшее в область прошлого, уже забытое и навсегда похороненное.

— Осторожно, — пробормотал я, когда она дотронулась до пробирки с самой насыщенной культурой.

Она повернулась ко мне, и ее темные глаза с расширенными зрачками потеплели. Однако она не сказала ни слова. Никого, кроме нас, здесь не было, мы были вместе, и все-таки мы были не одни.

— Я уже изготовил вакцину, — тихим голосом сообщил я ей. — Но у меня возникла идея поинтереснее: добыть и сконденсировать зародышевый белок. Чэллис тоже считает, что так будет куда эффективнее.

— Вы его недавно видели?

— Нет, давно. К сожалению, он снова слег — в Бьютовской водолечебнице.

Наступила пауза. Ее кажущееся спокойствие, стремление сделать вид, будто ничего не произошло, придавали нашей встрече оттенок чего-то нереального. Мы стояли и словно загипнотизированные смотрели друг на друга. В комнате вдруг стало холодно.

— Вы озябли, — заметил я.

Мы пошли ко мне в гостиную, где уже ярко горел разведенный Сарой огонь. Я позвонил, и она тотчас принесла уставленный всякой всячиной поднос: я заранее просил ее приготовить завтрак.

Усевшись в глубокое кресло и грея руки у огня, Джин с благодарностью выпила чашку чая и съела один из птифуров, которые я специально привез от Гранта. Настроение у нее явно падало, словно предстоящая жизнь казалась ей бременем, от которого она с радостью бы избавилась. Я просто не в силах был рассеять атмосферу холодной принужденности, сковывавшую нас. Однако, видя, как румянец постепенно приливает к ее запавшим щекам, я подумал, что она начинает оттаивать. Она казалась такой трогательно маленькой и хрупкой. По мере того как лицо ее вновь обретало свои нежные краски, в душе моей все ярче разгоралось пламя чувств. Но гордость не позволяла мне выказать это. Я церемонно спросил:

— Надеюсь, теперь вы чувствуете себя лучше?

— Да, благодарю вас.

— К этому заведению не сразу привыкаешь.

— Мне очень неприятно, что я вела себя так глупо там, в саду. А здесь... Такое ощущение, точно за тобой все время кто-то следит.

Снова наступило молчание, в котором размеренное тиканье часов звучало как глас рока. В комнате начинали сгущаться сумерки. Если не считать слабого отсвета огня из камина, другого освещения не было, и я с трудом мог различить ее лицо, такое спокойное, точно она спала. Я затрепетал.

— Вы что-то все молчите сегодня. Вы не можете простить мне... того, что случилось...

Она не подняла головы.

— Мне стыдно, — сказал я. — Но иначе себя вести я не мог.

— Как это ужасно — полюбить вопреки своей воле, — произнесла она наконец. — Когда я с вами, я больше не принадлежу себе.

Это признание придало мне надежды, которая все росла и постепенно превратилась в какое-то странное сознание своей власти. Я смотрел на Джин сквозь разделявший нас полумрак.

— Я хочу просить вас кое о чем.

— Да? — сказала она. Лицо у нее было напряженное, точно она ждала удара.

— Давайте поженимся. Сейчас же. В мэрии.

Она, казалось, не столько услышала, сколько почувствовала, что я сказал; пораженная моими словами, она молча сидела, повернувшись ко мне вполоборота, словно хотела отвернуться совсем.

Ее растерянность несказанно обрадовала меня.

— Ну почему же нет? — мягко, но настойчиво зашептал я. — Скажи, что ты выйдешь за меня замуж. Сегодня же.

Затаив дыхание, я ждал ответа. Глаза ее были полужакрыты, лицо выражало удивление, точно мир вдруг зашатался вокруг нее и ей казалось, что она сейчас погибнет.

— Скажи «да».

— Ох, не могу я, — пробормотала она еле внятно, страдальческим тоном, словно жизнь покидала ее.

— Нет, можешь.

— Нет! — истерически воскликнула она и повернулась ко мне. — Это невозможно.

Долгая, мучительная пауза. Этот внезапно вырвавшийся крик души превратил меня во врага, в ее врага, во врага ее близких. Я попытался взять себя в руки.

— Ради бога, Джин, не будь такой неумолимой.

— Я должна быть такой. Мы достаточно оба страдали. И другие тоже. Мама ходит по дому, смотрит на

меня и ничего не говорит. А она ведь очень больна. Я должна тебе вот что сказать, Роберт. Я уезжаю навсегда.

Непреклонная решимость ее тона поразила меня.

— Все уже решено. Мы целой группой едем в Западную Африку с первым рейсом нового клэновского парохода «Альгоа». Мы отплываем через три месяца.

— Через три месяца, — как эхо повторил я. — Во всяком случае, хоть не завтра.

Но, усилием воли придав своему лицу спокойное выражение, она с грустью покачала головой.

— Нет, Роберт... все это время я буду занята... у меня есть работа.

— Где?

Она слегка покраснела, но не отвела глаз.

— В Далнейре.

— В больнице? — Несмотря на охватившее меня отчаяние, я был удивлен.

— Да.

Я сидел потрясенный, онемевший. Она продолжала:

— Там у них опять появилось свободное место. Для разнообразия они хотят взять на работу женщину-врача... небольшой эксперимент. Начальница рекомендовала меня Опекунскому совету.

Сраженный известием об ее отъезде, я тем не менее все же попытался представить себе ее в знакомой обстановке больницы: вот она ходит по палатам и коридорам, занимает те же комнаты, где жил я. Наконец я пробормотал прерывающимся голосом:

— Вы сумели поладить с начальницей. Вы со всеми ладите, кроме меня.

Она тяжело вздохнула. И как-то странно, неестественно улыбнулась мне.

— Если бы мы никогда не встречались... было бы лучше... А так — все для нас наказание.

Я понял, на что она намекает. Но хотя глаза мои жгли слезы, а сердце чуть не разрывалось, снедаемый горечью и безнадежностью, я нанес ей последний удар:

— Я не откажусь от тебя.

Она была по-прежнему спокойна, только слезы потекли у нее по щекам.

— Роберт... я выхожу замуж за Малкольма Ходдена.

Оцепенев, я молча смотрел на нее. У меня хватило лишь силы прошептать:

— Ах нет... нет... ты же его не любишь.

— Нет, люблю. — Бледная и трепещущая, она с отчаянием принялась защищать себя: — Он достойный, благородный человек. Мы вместе выросли, вместе ходили в школу — да, в воскресную школу. Мы посещаем одну и ту же церковь. У нас одни с ним цели и задачи, он во всех отношениях подходит мне. Когда мы поженимся, мы уедем вместе на «Альгоа»: я — в качестве врача, а Малкольм — старшим преподавателем в школе для поселенцев.

Я проглотил огромный комок, вдруг вставший у меня в горле.

— Этого не может быть, — еле слышно пробормотал я. — Я слышу это во сне.

— Нет, сон — это то, что мы сейчас вместе, Роберт. И мы должны наконец вернуться к реальности.

В полном отчаянии я сжал руками голову, а Джин горько заплакала.

Этого я уж никак не мог вынести. Я вскочил на ноги. В ту же секунду, ничего не видя, ослепшая от слез, поднялась и она, словно инстинкт подсказывал ей бежать. Мы столкнулись. Какое-то время она стояла, прильнув ко мне, рыдая так, что казалось, у нее сейчас разорвется сердце, тогда как мое сердце замирало от безумного упоения и восторга. Но когда я крепче прижал ее к себе, она вдруг словно собралась с силами и порывисто и нетерпеливо оттолкнула меня.

— Нет... Роберт... нет.

Мука, отразившаяся на ее лице, в каждой линии ее гибкого дрожащего тела, пригвоздила меня к месту.

— Джин!

— Нет, нет... никогда больше... никогда.

Она никак не могла успокоиться: ее душили рыдания, надрывавшие мне душу, мне хотелось броситься к ней, прижать ее к груди. Но взгляд ее блестящих глаз, такой страдальческий, но исполненный железной решимости, поднимавшейся откуда-то из самых глубин ее существа, постепенно лишил меня всякой надежды. Жгучие слова любви, которые я собирался сказать, замерли у меня на губах. И я бессильно опустил руки, которые было простер к ней. В висках у меня мучительно и тяжело пульсировала кровь.

Наконец она решительно смахнула слезы рукой и вытерла уголки губ. С застывшим лицом я подал ей пальто.

— Я провожу вас до ворот.

Мы молча, без единого слова, дошли до привратницкой. Ручейки, журчавшие по обеим сторонам аллеи, напоминали о жизни, тогда как звук наших шагов умирал, заглушенный промокшей землей. Мы остановились у ворот. Я взял ее пальчики, мокрые от дождя и слез, но она поспешно высвободила их.

— Прощайте, Роберт.

Я посмотрел на нее в последний раз. По дороге мимо ворот промчалась машина.

— Прощайте.

Она покачнулась, но, вздрогнув, взяла себя в руки и поспешно пошла прочь, хмураясь, чтобы сдержать слезы, и не оглядываясь назад. Через минуту тяжелые ворота со звоном захлопнулись: она ушла.

Я повернулся и, угрюмый, глубоко несчастный, побрел по аллее. Спускались сумерки, и дождь наконец перестал. На западе, у самого горизонта, небо было

синевато-багровое, точно заходящее солнце совершило кровавое убийство среди облаков. Внезапно над затихшей больницей прозвучал вечерний горн, и с высокого флагштока на холме медленно-медленно пополз вниз флаг — на самой вершине, рядом с ним, отчетливо выделялась застывшая в позе «салюта» одинокая фигура больного, специально выделенного для выполнения этой обязанности.

«Да здравствует „Истершоуз“», — с горечью подумал я.

Когда я вернулся к себе в комнату, огонь в камине уже почти потух. Я долго смотрел на потускневший серый пепел.

ГЛАВА 5

Было воскресенье, и над «Истершоузом» плыл звон колоколов, доносившийся из увитой плющом церквушки. Словно по контрасту с мраком, царившим у меня в душе, утро снова было солнечное и теплое. Во фруктовом саду плоды оттягивали к земле отяжелевшие ветви деревьев, а в каменных вазах на балюстраде террасы пестрели яркие цветы герани и бегонии.

Одевшись, мрачный и еще не совсем проснувшийся, я подошел к окну, откуда видно было, как большие стекаются к храму — довольно большому строению готической архитектуры, сложенному из красного кирпича приятного оттенка и затененному купами высоких вязов.

Первыми большой тесной группой шли мужчины из восточного крыла под предводительством Брогана и еще трех помощников Скеммона — все в серых, похожих на рабочие робы костюмах, ботинках на толстой подошве и добротных кепках, так как большинство работало в полях или в мастерских. Одни были веселы

и улыбались, другие молчали, несколько человек были сумрачны, ибо среди «хороших» сумасшедших встречались и «плохие», которые частенько выходили из повиновения.

Среди этой группы было несколько человек менее крепких на вид, но державшихся с известным высокомерием; они были в темных костюмах и белых крахмальных воротничках — завоевав доверие начальства, они выполняли особые поручения: взвешивали тележки с углем или дровами на мостовых весах или переписывали чернилами белье, сдаваемое в прачечную. Полфри, уже стоявший на паперти, приветливо кивал розовой лысиной и с добрейшей улыбкой препровождал своих подопечных в церковь.

Вскоре показались женщины из северного крыла — в воскресных черных платьях; среди них я признал нескольких здешних официанток и горничных. Это были такие же труженики, как и только что прошедшие мужчины.

Затем появилась местная аристократия в сопровождении Скеммона, вырядившегося в парадную форму и тем самым задававшего тон всем остальным. По крайней мере человек двенадцать из этой группы шеголяли в смокингах и цилиндрах. Это, если угодно, были «сливки» «Истершоуза».

Вот джентльмены скрылись в церкви, грянул орган; и тут, словно считая, что без них шествие будет незавершенным, появились дамы из западного крыла — не группой, как всякая мелкота, а поодиночке и парами, под предводительством сестры Шэдд. Они шли не торопясь, в своих лучших нарядах, заботливо следя за тем, чтобы юбки не волочились по пыли. В самом центре группы, окруженная обожательницами и льстецами, с необычайным достоинством выступала дама. Маленькая, седая и худенькая, в бледно-лиловом шелковом платье, отделанном на груди кружевами, и боль-

шой шляпе со страусовым пером, она шествовала, задрав сверху небольшой остренький носик и поблескивая острыми глазками на высохшем, как у мумии, лице.

Теперь уже все были в сборе, колокола перестали звонить, и на дорожке в своем обычном костюме показался Гудолл — ждали только его, чтобы начать богослужение. Когда он скрылся в церкви, мне стало почему-то очень горько; насупившись, я отвернулся от окна, пристегнул к поясу ключ и спустился вниз.

Это было третье воскресенье за время моего пребывания в больнице; мне предстояло весь день дежурить — во всяком случае, до шести вечера, и все-таки я сначала зашел в лабораторию, которую покинул всего шесть часов тому назад, чтобы проверить коллоидный мешочек, служивший мне диализующей мембраной. Да, все было в порядке. Такая уж в моей жизни наступила пора. Работа шла как по маслу. Я взял штатив с двадцатью стерильными, наполненными парафином пробирками и ввел в каждую по одному кубическому сантиметру диализованной жидкости, затем тщательно закупорил пробирки, пронумеровал их и поместил в термостат.

Я постоял еще с минуту, тупо размышляя о чем-то, чувствуя в затылке мучительную боль, которая обычно появляется при переутомлении. Мне хотелось выпить кофе, но я никак не мог заставить себя пойти за ним. Да, теперь уже ошибки быть не могло. Скоро я получу зародышевый белок в чистом виде, что, безусловно, будет куда действеннее, чем первоначально приготовленная мною вакцина. И работа будет закончена. Все. При этой мысли нервы мои сжались в комок. Однако никакого восторга я не почувствовал. Лишь мрачное, горькое удовлетворение.

Зайдя в комнату в северном крыле мужского отделения, где мы завтракали, я съел кусочек поджаренного хлеба и выпил три чашки черного кофе. Так приятно

было побыть одному — не потому, что меня тяготило общество Полфри: он был добродушным, безобидным существом. Недаром сестра Стенуэй сочинила про него стишки:

Люблю я Полфри-толстячка, уютный он такой,
И коль ему не делать зла, и он не будет злой.

Я закурил сигарету и глубоко затянулся, стремясь заглушить боль, сжимавшую мне сердце. С Джин все было кончено, и все же в самые неожиданные минуты она вдруг возникала рядом со мной, и я, мучительно содрогаясь, беспощадно отталкивал ее. Сначала, загрустив, я принялся жалеть себя. А теперь к боли постепенно примешалась жгучая обида и затвердела как сталь. Где-то глубоко во мне бушевала едкая злоба на жизнь.

Я встал и, спустившись в аптеку, принялся пополнять запасы бромистых и хлористых микстур для больных. В аптеке, отделанной темно-красным деревом, было тихо и сумрачно, приятно пахло лекарствами, старым деревом и воском, каким запечатывают бутылки с раствором, — все это действовало в известной степени успокаивающе на мои взбунтовавшиеся нервы. Последнее время мне вообще стало даже нравиться в больнице. Первоначальная настороженность прошла, и я уже без всякого предубеждения относился к ключу, пестрым галереям в стиле рококо, социальным градациям, существовавшим в этом своеобразном маленьком мирке.

В коридоре послышались шаги; через минуту щелкнула задвижка и показались голова и плечи сестры Стенуэй.

— Готово? — спросила она.

— Еще минуту, — кратко ответил я.

Она стояла и смотрела, как я выполняю последний заказ по списку западного крыла.

— Вы не ходили в церковь?

— Нет, — сказал я. — А вы?

— Уж очень день сегодня хорош. Да к тому же я этим не интересуюсь.

Я посмотрел на нее. Она спокойно выдержала мой взгляд — ни один мускул не дрогнул на ее бесстрашном лице. Блестящая черная челка, отливавшая синевой, спускалась из-под форменного чепца, перерезая прямой резкой линией ее белый лоб. Теперь я уже знал, что во время войны она была замужем за офицером-летчиком, который потом разошелся с ней. Повидимому, ее это мало трогало. Вообще трудно было понять, что она чувствует: казалось, нет такой силы, которая могла бы заставить ее сбросить маску пренебрежения, полнейшего равнодушия ко всему на свете — жизнь, мол, не стоит ни гроша, и можно пройти по ней играючи или прожить в один яркий миг.

— Вы еще ни разу не были у нас в комнате отдыха. — Она произнесла это неторопливо, до того медленно, что казалось, она подтрунивает надо мной. — Сестра Шэдд очень возмущена этим.

— У меня не было времени.

Извинение прозвучало как-то резковато.

— А почему бы вам не заглянуть к нам сегодня вечером? Вдруг вам понравится? Как знать.

В ее тоне звучал иронический вызов, на который тотчас откликнулись мои усталые нервы. Насупившись, я внимательно посмотрел на нее. В ее довольно больших, навывкате глазах застыло насмешливое выражение, но было в них и что-то многозначительное.

— Хорошо, — внезапно сказал я. — Я приду.

Она слегка улыбнулась и, продолжая смотреть на меня, собрала пузырьки с лекарствами, которые я поставил на край стола. Затем без единого слова повернулась и пошла к двери. В ее медленных движениях было что-то вызывающе сладострастное, какая-то чувственная грация.

Весь остаток дня я слонялся как неприкаянный и был положительно выбит из колеи. После второго завтрака я сделал записи о состоянии больных в журнале восточного крыла мужского отделения и в три часа понес журнал доктору Гудоллу домой — он жил в фасадной части главного здания.

На звонок мне открыла пожилая служанка; она пошла доложить обо мне и, вернувшись через минуту, сообщила, что директор хотя и отдыхает, но примет меня. Я прошел вслед за ней в кабинет директора — большую неприбранную комнату со стенами, обшитыми панелями из какого-то неизвестного мне коричневого дерева, сумрачную, так как сквозь готическое окно со свинцовыми переплетами и желтыми стеклами с цветным гербом посередине проникало очень мало света. На софе у большого камина лежал, прикрывшись пледом, Гудолл.

— Вам придется извинить меня, доктор Шеннон. Дело в том, что после богослужения я почувствовал себя неважно и принял солидную дозу морфия. — Он произнес это самым естественным на свете тоном; взгляд у него был тяжелый, изможденное лицо перекошено. — Это Монтень, кажется, сравнивал боли в печени с муками грешников, осужденных гореть в аду? Я как раз из таких страдальцев.

Он отложил в сторону журнал, который я ему принес, и из-под опухших век уставился на меня своими обведенными синевой глазами.

— Вы, как видно, неплохо прижились тут у нас. Я очень рад. Не люблю менять сотрудников. У нас здесь не такие уж плохие возможности для работы, доктор Шеннон... на этой нашей маленькой планете. — Он помолчал со странным, отсутствующим видом, размышляя о чем-то. — Вам никогда не приходило в голову, что мы составляем как бы особую расу на земле, со своими законами и обычаями, добродетелями и пороками, со своими классами и своей интеллиген-

цией, со своей реакцией на трудности жизни? Люди из широкого мира не понимают нас, смеются над нами, может быть, даже боятся нас. Но мы все же граждане вселенной, живой пример того, что силы Природы и Рока не могут сокрушить Человека.

Сердце у меня замерло, когда, пригнувшись ко мне, он продолжал, глядя куда-то вдаль своими блестящими, темными и совсем крошечными, точно булавочная головка, зрачками:

— Моя задача, доктор Шеннон, цель всей моей жизни — создать новое общество из этих больных, обездоленных людей. Трудно — о да! — но не невозможно. А какие перспективы, доктор... Когда вы закончите свою нынешнюю работу, я предоставлю в ваше распоряжение поле для научной деятельности невиданного размаха. Мы находимся лишь накануне разгадки тех заболеваний, от которых страдают наши подопечные. Мозг, доктор Шеннон, человеческий мозг во всем его таинственном величии, розоватый и почти прозрачный, поблескивающий, словно дивный плод, в своих нежных оболочках под черепной коробкой... Какой это предмет для исследований... какая увлекательная тайна, которую предстоит раскрыть!

В голосе его звучал восторг. С минуту мне казалось, что он воспарит в совсем уж заоблачные выси, но усилием воли он сдержался. Метнув на меня быстрый взгляд и помолчав немного, он улыбнулся своей сумрачной, но такой обаятельной улыбкой и сказал, что я могу идти.

— Только не налегайте чересчур на работу, доктор. Время от времени надо все-таки давать волю и чувствам.

Я вышел от него вконец сбитый с толку: в нашей беседе было много интересного, но она взволновала и смутила меня. На меня всегда так действовали встречи с ним. Но сейчас я почувствовал это острее обычного.

Я просто не мог найти себе места. В крови у меня было такое волнение, что казалось, вены сейчас лопнут. Сказал же доктор Гудолл, что надо время от времени давать волю и чувствам.

Хотя я без конца твердил себе, что не откликнусь на приглашение, однако около восьми часов я все-таки постучал в дверь комнаты отдыха для сестер и вошел: надо же найти какое-то спасение от этих лихорадочных, мучительных мыслей.

В конце длинного стола, при одном взгляде на который было ясно, что почти весь персонал уже закончил ужин и покинул комнату, сидели сестра Шэд в форменном платье, мисс Пейтон, диетичка, и сестра Стенуэй, сегодня явно «недежурная», на что указывали синяя юбка и белая шелковая блузка. Они о чем-то тихо беседовали; первой заметила меня сестра Шэд и сразу выпятила грудь, словно зобатый голубь.

— Ого, Магомет пришел к горе. — По тону, каким она произнесла это, ясно было, что ей приятен мой приход. — Мы, конечно, очень польщены.

Когда я подошел к столу, мисс Пейтон, особа средних лет с красным лицом, кивнула мне в знак приветствия. Сестра Стенуэй смотрела на меня спокойно и равнодушно. Я впервые видел ее без форменной одежды. Отливающая синевой челка как-то заметнее выделялась на лбу; блузка из мягкой атласной материи свободно лежала на ее плоской груди.

— Вы все еще ужинаете? — спросил я.

— Да мы и не начинали даже. — И сестра Шэд громко расхохоталась в ответ на мой недоумевающий взгляд. — Впрочем, придется, пожалуй, посвятить вас в тайну... раз уж вы попали в нашу компанию. Нам иной раз надоедает наше меню. Но жаловаться означало бы подать дурной пример остальным. А потому мы ждем, пока все кончат, потом втроем отправляемся на кухню за ужином.

— Ах вот оно что.

Мой тон вызвал легкую краску на обветренном лице сестры Шэдд. Она встала.

— Если вы кому-нибудь скажете об этом хоть слово, я никогда больше не стану с вами разговаривать.

Кухня, в которую вел подземный коридор, находилась в подвальном помещении, однако была просторная, прохладная, залитая мягким светом, струившимся из матовых шаров в потолке. Возле одной из белых кафельных стен стояли в ряд старинные плиты, на другой красовалась целая батарея медной кухонной посуды, а в третьей было проделано несколько белых герметически закрытых дверей, которые вели в холодильники. Три квашни, хлеборезка и машина с большим стальным колесом для нарезания ветчины виднелись в глубине комнаты, возле тщательно выскобленного стола, на котором стояла большая кастрюля с овсянкой, замоченной для утренней каши. Под белоснежными сводами тихо жужжал вентилятор.

Мисс Пейтон сразу оживилась, очутившись в своей вотчине. Она подошла к холодильнику с надписью «Западное крыло женского отделения» и, повернув никелированную ручку, распахнула тяжелую дверь, за которой оказался целый набор холодных мясных закусок, язык, ветчина, сардины в стеклянной банке, бланманже, желе и консервированные фрукты.

Сестра Шэдд облизнулась.

— До чего же я есть хочу, — сказала она.

Всем были розданы тарелки и вилки, и начался своеобразный пикник. Краешком глаза я видел, как Стенуэй с отрешенным и в то же время самонадеянным видом уселась на деревянный стол, и во мне поднялось глухое раздражение. Она положила ногу на ногу и слегка покачивала одной из них, словно похвально обтянутыми шелком тонкими лодыжками. Сидела она слегка откинувшись назад, так что отчетливо обрисовывались линии бедер, талии и груди.

В горле у меня вдруг пересохло. Мной овладело желание сломать сдерживавшие меня барьеры и, подчинив ее себе, растоптать ее, надругаться над ней. Не обращая на нее внимания, я примостился возле сестры Шэдд, время от времени наполнял ее тарелку и поддерживал с ней глупейший разговор. Однако, делая вид, будто слушаю ее, я исподтишка наблюдал за Стенуэй, которая, покачивая на ноге тарелку с салатом, лукаво и со скрытой иронией поглядывала на нас.

Наконец, управившись со сладким, Шэдд с сожалением вздохнула:

— Ну-с, всякому удовольствию приходит конец. Надо идти в эту противную бельевую пересчитывать белье. Сделайте мне одолжение, Пейтон, пойдете со мной. Если вы мне поможете, у меня уйдет на это всего полчаса.

Мы двинулись в обратный путь по подземному коридору; вскоре две старшие женщины свернули к западному крылу, а мы с сестрой Стенуэй направились к вестибюлю северного крыла. Там мы остановились.

— Ну а что дальше?

— Я, пожалуй, пойду прогуляться, — небрежно бросила Стенуэй.

— Я пойду с вами.

Стенуэй пожала плечами, как бы говоря, что ей это безразлично — так подсказывала врожденная жестокость, — однако она была явно польщена моим вниманием.

Ночь на дворе стояла темная, светили редкие звезды, но луны не было. Выйдя в сад, Стенуэй остановилась и закурила сигарету. Прикрытый рукою огонек спички озарил на мгновение ее бледное бесстрастное лицо с широкими скулами и приплюснутым носом. Зачем, спросил я себя, я иду на это? Я почти ничего не знал о ней и еще меньше — ею интересовался. Просто — сговорчивая незнакомка, которая поможет мне

скатиться в грязь, уйти от своих мыслей. Я еще больше ожесточился. И сдержанно спросил:

— Куда пойдём?

— Вниз, к ферме... — Мне показалось, что она улыбнулась. — А потом обратно.

— Как вам будет угодно.

Мы пошли по западной аллее; я шагал в ногу с ней, но держась на некотором расстоянии и глядя прямо перед собой. Однако в темноте ощущение пространства изменяло ей, и она то и дело сталкивалась со мной. Легкое касание ее бедра лишь увеличивало мое смятение и злость.

— Почему вы молчите? — спросила она с легким смешком. Она была похожа на кошку: ночь словно возбуждала ее и придавала ей силы.

— А о чем говорить?

— О чем угодно. Мне все равно. Что это за звезда над нами?

— Полярная. По ней определяют направление, если заблудятся в лесу.

Она снова рассмеялась — не так презрительно, как обычно.

— А вы думаете, мы можем заблудиться? Вы, случайно, не видите Венеры?

— Пока не вижу.

— Что ж... — Она продолжала смеяться. — Значит, еще есть надежда ее увидеть.

Я промолчал. Я презирал и ее, и себя, злился и чувствовал, что все мне становится безразличным. Этот неискренний, слишком звонкий смех выдал ее, показал, что ее равнодушие — сплошное притворство, скрытая уловка от начала до конца.

Дорога завернула, и мы вдруг очутились под вязами, у высокой стены из дерна, где была решетчатая калитка. Я остановился.

— Вы хотели дойти до этого места?

Она потушила сигарету о калитку. Я взял ее за плечи. И сказал:

— Мне хотелось бы свернуть вам шею.

— Почему же вы не попробуете?

Лицо ее на фоне стены из дерна, к которой она прислонилась, казалось мертвенно-бледным, а круги под глазами — еще более темными, чем всегда. Ноздри ее слегка раздувались. Застывшая улыбка скорее была похожа на гримасу. Волна отвращения прокатилась по мне, но желание забыться было слишком сильно, и преодолеть его я уже не мог.

Губы ее, сухие и чуть горькие после сигареты, привычно раскрылись. Я ощутил волокно табака на ее языке. Она учащенно задышала.

На мгновение лицо Джин всплыло передо мной, потом луна зашла за тучку и стало темно под вязами, где теперь царило лишь разочарование и отчаяние.

ГЛАВА 6

Весь август стояла удушливая жара. Хотя поливочная машина каждое утро объезжала аллеи, в воздухе стояли тучи пыли и листья безжизненно повисли на деревьях. Солнце, проникая сквозь оконные стекла, на которых тихо жужжала муха, заливало мягким светом сумрачные галереи, придавая им какое-то грустное очарование.

В последний вечер этого знойного месяца было так душно, что я оставил дверь лаборатории приоткрытой. Я сидел перед колориметром Дюбоска, засучив рукава и обливаясь потом, стекавшим за ворот расстегнутой рубашки, как вдруг услышал позади себя шаги.

— Добрый вечер, Шеннон. — К моему удивлению, это был голос Мейтленд. — Не беспокойтесь, пожалуйста, я не надолго вас отвлеку.

Прежде она никогда не заходила ко мне в лабораторию. Судя по рабочему мешочку с шерстью, который она держала под мышкой, она возвращалась к себе после одного из долгих собеседований с мисс Индр; во время таких встреч они вязали и по секрету обменивались мнениями о насущных проблемах, волновавших больницу. Сейчас она взяла стул и подседа ко мне.

— Как идут дела?

Я положил перо и протер усталые, налившиеся кровью глаза. Верхнее левое веко задержалось.

— Через несколько часов работа будет окончена, — кратко пояснил я.

— Очень рада. Я догадывалась, что вы подходите к финишу.

Она не обиделась на меня за то, что я так немногословен. Нельзя сказать, чтобы я цитал неприязнь к Мейтленд, но сейчас ее присутствие раздражало меня. Внимательно поглядев на нее, я заметил, что ее некрасивое лицо серьезно; она в упор смотрела на меня сквозь фиолетовые стекла очков и явно собиралась с духом, прежде чем начать разговор.

— Я не люблю вмешиваться в чужие дела, Шеннон... Несмотря на внешнюю браваду, я существо довольно слабое и жалкое. Не знаю, могу ли я дать вам один совет.

Я в изумлении уставился на нее. А она несколько официальным тоном, лишь усилившим мое раздражение, продолжала:

— Страшно важно найти своё место в жизни, Шеннон. Возьмите, к примеру, меня — хотя, возможно, это и не очень интересно. Я, как вам известно, ирландка, но фактически мы — англичане, ибо семья моя обосновалась в Уэксфорде на землях, пожалованных нам Кромвелем. Свыше трехсот лет мы, Мейтленды, жили там в полном уединении, всем чужие, отгоро-

женные от народа барьером, воздвигнутым на крови и слезах; в этом поместье выросло пять поколений — за это время наши владения дважды сжигали дотла, и мы постепенно хирели, гибли, медленно, но неуклонно, точно под действием морского тумана, разъедающего душу.

Наступила пауза. Я холодно смотрел на нее.

— Вы, видимо, избегли этой злополучной участи.

— Да, Шеннон, я избегла. Но только потому, что удрала оттуда.

Она посмотрела на меня таким долгим, многозначительным взглядом, что я нетерпеливо заерзал на месте.

— Откровенно говоря, я не понимаю, к чему вы клоните.

— А вы не помните, как Фрейд определяет психоз? Бегство от жизни в царство болезни.

— Но какое это имеет ко мне отношение?

— Вы не догадываетесь?

— Нет, не могу догадаться. — Я вдруг перестал владеть собой и заговорил резким, повышенным тоном: — На что вы намекаете?

Она сняла очки и медленно протерла стекла. Затем, забывшись, уронила их к себе на колени и посмотрела на меня своими близорукими, лишенными бровей глазами.

— Шеннон... вы должны уехать из «Истершоуза».

Вот уж этого я никак не ожидал.

— Что? Уехать?

— Да, — подтвердила она. — Как только закончите свою работу.

Я почувствовал, что густо краснею. И уставился на нее злым, недоверчивым взглядом.

— Какая милая шутка. А я-то на минуту подумал, что вы говорите серьезно.

— Совершенно серьезно... Это и есть мой совет.

— В таком случае надо было сначала спросить, нужен ли он мне. Представьте себе, мне здесь нравится не меньше, чем вам. И у меня здесь тоже есть друзья.

— Сестра Стенуэй? — Она едва заметно скривила губы. — У нее и до вас были поклонники. Надзиратель Броган, например... и ваш предшественник...

— Это вас не касается. В широком мире мне пришлось хлебнуть немало горя. И я не намерен отказываться от хорошей работы и первоклассной лаборатории только потому, что вам в голову пришла какая-то дикая мысль.

Такой отпор заставил ее умолкнуть.

Она посидела еще несколько минут, затем поднялась.

— Хорошо, Шеннон. Давайте забудем об этом. Доброй ночи.

Она улыбнулась и быстро вышла из комнаты.

Я со злостью повернулся к столу. В глубине души я смутно сознавал, что, желая поскорее закончить работу, на этом последнем этапе изрядно истощил свои силы. Я похудел, и щеки у меня запали: когда я смотрел на себя в зеркало, мне казалось, что передо мной незнакомый человек. Спал я всего три-четыре часа в сутки. А теперь и вообще не мог спать. Полная бессонница. Чтобы нервы за время этих долгих ночных бдений вконец не расстроились, я так много курил, что у меня саднило язык и горло. Но от этого постоянного напряжения у меня появились всякие странные привычки и причуды — возникли настоящие фетиши. Оторвавшись от работы, я по три раза возвращался к рабочему столу, чтобы удостовериться, что я действительно закрыл кран бюретки. У меня появилась привычка прикрывать левый глаз во время чтения и записывать цифры в обратном порядке. Каждый день, прежде чем приступить к работе, я пересчитывал шашечки кафеля на стене над термостатом. В мо-

ем лексиконе появилось слово «абракадабра», которое я мысленно произносил как некое заклинание, когда мне надо было подхлестнуть себя; оно же служило победоносным кличем, который я потихоньку издавал, завершив очередной этап работы. И все-таки я как автомат продвигался к цели, производя опыты и титруя, идя все дальше и дальше... Остановиться я уже не мог. Слишком далеко я зашел, чтобы отступить, теперь вопрос стоял так: все или ничего... да, все или ничего.

В восемь часов я поставил вакцину фильтроваться и, поскольку этот процесс занимает около часа, встал, выключил свет и вышел из лаборатории, решив отдохнуть немного у себя в комнате.

Подходя к главному зданию, я услышал звуки настраиваемых инструментов, долетавшие из зала: в конце каждого месяца Полфри устраивал там что-то вроде бала или концерта, якобы для развлечения больных, но главным образом для того, чтобы маленький маэстро имел возможность спеть, положив руку на сердце, «Даже самое храброе сердце способно заплакать...» Гуно.

Я редко посещал эти увеселительные вечера, а уж сегодня и вовсе не собирался туда идти.

Думая только о том, как бы поскорее добраться до дивана и растянуться на нем, я вошел в комнату и обнаружил, что у меня гость. У запахнутого окна, ссутулившись и как-то странно глядя в одну точку, сидел Нейл Спенс.

— Неужели это вы, Спенс! — воскликнул я. — Как я рад вас видеть!

При звуке моего голоса его широко раскрытые, застывшие глаза потеплели, мы поздоровались, и он вновь опустился в кресло, сев так, чтобы на лицо его падала тень от портьеры.

— Я ненадолго, Роберт. Но мне захотелось повидать вас. Вы не против?

— Конечно нет. — Я частенько приглашал его навестить меня, но сейчас его приезд почему-то казался мне странным.

— Хотите чего-нибудь выпить?

Он хмуро посмотрел на меня, но в темных зрачках его все еще блуждала мимолетная улыбка.

— Пожалуй.

Тут я заметил, что он уже выпил не одну рюмку, но какое мне до этого дело — к тому же я и сам не прочь был подкрепиться. К нашим услугам были больничные запасы стимулирующих средств, которыми я последнее время без зазрения совести пользовался. Я почти перестал есть и поддерживал себя только черным кофе, виски и сигаретами. Я налил себе и Спенсу по бокалу неразбавленного виски.

— За ваши успехи, Роберт.

— Ваше здоровье.

Он держал бокал обеими руками и, поглаживая его, задумчиво осматривал комнату. В его спокойствии было что-то такое, отчего мне стало не по себе.

— Как поживает Мьюриэл? — спросил я.

— По-моему, хорошо.

— Надо было вам захватить ее с собой.

Он замер, в его неподвижности было что-то страшное.

— Мьюриэл ушла от меня на прошлой неделе. Она сейчас с Ломексом в Лондоне.

Он произнес это таким обыденным тоном, что у меня даже дух перехватило. Наступила пауза. Я и не подозревал, что у него все обернулось так печально.

— Какая гнусность с ее стороны! — пробормотал я наконец.

— Ну, не знаю. — Он говорил спокойно, с поистине сверхчеловеческим самообладанием. — Ломекс — красивый малый, а Мьюриэл до сих пор еще очень привлекательна. В конце-то концов, со мной вовсе не так уж весело жить.

Я быстро взглянул на него. А он задумчиво продолжал все тем же безжизненным тоном:

— Мне кажется, она терпела, сколько могла, пока не влюбилась в Ломекса.

Он ждал, что я скажу на это.

— Какая же он все-таки свинья!

Спенс покачал головой. Несмотря на выпитое виски, он был абсолютно трезв.

— Наверно, ничуть не хуже любого из нас. — У него вырвался долгий, тихий вздох. — Во-первых, мне ни в коем случае не следовало на ней жениться. Но она мне так дьявольски нравилась. И ей-богу, я, сколько мог, старался скрасить ей жизнь. Каждую пятницу ходил с ней куда-нибудь. — И он повторил, словно черпая в этом утешение: — Каждую пятницу.

— Она вернется к вам, — сказал я. — И вы начнете жизнь сначала.

Он посмотрел на меня в упор, и улыбка в его темных глазах стала поистине трагической.

— Не будьте идиотом, Роберт. Между нами все кончено. — Он помолчал, раздумывая над чем-то. — Она потребовала развода. Хочет быть свободной. Что ж, я готов ей в этом помочь. Странно как-то... я увидел теперь, какая она пустая и никчемная... а возненавидеть ее не могу.

Я налил ему еще виски и себе тоже. Я положительно не знал, что сказать. В тщетном стремлении переключить его мысли на другое я спросил:

— Вы бываете на кафедре?

— Да. Видите ли, никто еще не знает об этом. Ломекс уехал в отпуск... а про Мьюриэл думают, что она живет у сестры. Но какой толк от того, что я хожу на работу: у меня пропал к ней всякий интерес. Я ведь — не вы, Роберт. У меня никогда не было особой склонности к карьере ученого. — И он добавил тем же безжизненным тоном: — Все было бы еще не так скверно,

если б, когда я увидел, что происходит, и попытался с ней объясниться, она не сказала: «Оставь меня в покое. Мне противно даже смотреть на тебя».

Мы долго молчали. Потом через открытое в ночь окно до нас долетели томные звуки тустепа. Спенс посмотрел на меня, его бесстрастное лицо выражало легкое недоумение.

— Тут каждый месяц бывают танцы, — сообщил я. — Их устраивает наш персонал совместно с некоторыми больными.

Он подумал с минутой.

— Мьюриэл бы это понравилось... мы с ней иногда танцевали по пятницам. Надеюсь, Ломекс будет развлекать ее.

Он сидел прислушиваясь, пока не кончили играть тустеп, затем поставил на стол пустой бокал.

— Мне пора, Роберт.

— Какая ерунда. Еще совсем рано.

— Нет, мне пора. У меня свидание. В девять часов идет очень удобный для меня поезд.

— Тогда выпейте еще глоточек.

— Нет, благодарю. Мне не хочется опаздывать на свидание.

Я подумал, что он, очевидно, едет повидаться с адвокатом по поводу развода. Мне было жаль его, но я никак не мог придумать, что бы сказать ему в утешение. Было без двадцати девять.

Я довел его до привратничкой и открыл ворота — Ганн пошел взглянуть на танцы.

— Я провожу вас до станции.

Он покачал головой.

— Если я хоть что-то понимаю в жизни, вам сейчас больше всего на свете хочется вернуться к себе в лабораторию.

На его худых щеках появился легкий румянец, а выражение красивых темных глаз испугало меня.

— Вы здоровы, Спенс?

— Вполне. — В его голосе прозвучала еле уловимая ирония.

Пауза.

Мы пожали друг другу руки. Я с сомнением смотрел на него, но в эту минуту он вдруг улыбнулся своей прежней косою усмешкой.

— Желаю удачи, Роберт... Да благословит вас Бог, — сказал он, уходя.

Медленно шел я назад по аллее. Он сказал сущую правду. Мне непременно нужно закончить работу, иначе она прикончит меня. Направляясь в лабораторию, я все еще слышал в темном саду нежную мелодию танца. Начинал спускаться ночной туман — частый гость в здешних местах.

Когда я вошел, в белой прохладной комнате было совсем тихо, если не считать долетавших и сюда приглушенных звуков музыки. Я выбросил из головы все, кроме работы. Несмотря на зарешеченные окна с двойными рамами из матового стекла, туман все-таки проник в комнату и теперь колыхался, словно тонкая марля, под самым потолком. А под этой туманной завесой на моем столе, стоявшем посреди комнаты на кафельном полу, была фильтрационная установка. Я увидел, что колба почти полна светлой, прозрачной жидкостью. Через минуту я уже сбросил пиджак, закатал рукава рубашки и натянул свой пятнистый от химических халат. Подойдя к столу, я взял колбу и со странным волнением начал ее рассматривать. Потом лихорадочно принялся за работу.

Требовалось совсем немного времени, чтобы отмерить нужное количество жидкости и заключить ее в ампулы. Без четверти десять это уже было сделано. Наконец, несмотря на все препоны, я достиг вершины бесконечной горы и теперь взирал с ее высоты вниз, на раскинувшиеся передо мною царства.

У меня так закружилась голова, что я вынужден был ухватиться за край стола. Гул в ушах искажал доносившуюся издали музыку. Сначала слабо, потом все отчетливее я различил звуки божественной симфонии: пели высокие ангельские голоса, нежные и чистые, а им вторили колокола и зычный рокот барабанов. Гармония экстаза все росла, а я напряженно твердил про себя: «Я сделал это... о великий боже, я все закончил».

Усилием воли я стряхнул с себя оцепенение, осторожно поместил ампулы в ящик со льдом, закрыл лабораторию и вышел.

Устало побрел я к себе. Когда я вошел в вестибюль, кто-то окликнул меня, и, обернувшись, я увидел надзирателя Брогана, спешившего за мной.

Я остановился и подождал его. Он был бледен как полотно и прерывисто дышал.

— Доктор Шеннон, я искал вас всюду. — Он с трудом перевел дух. — Случилось несчастье, сэр.

Я стоял неподвижно и смотрел на него.

— Видите ли, сэр... — он весь дрожал, хотя уж кто-кто, а он видывал всякие виды. — Ваш друг... нам только что сообщили со станции...

Спенс! Мне вдруг стало плохо. Холодный пот выступил у меня на лбу. Я с трудом проглотил слюну.

— Он поскользнулся и упал, сэр. Как раз когда девятичасовой подходил к перрону. Смерть наступила мгновенно.

ГЛАВА 7

Последующие несколько дней были сырыми и туманными, чувствовалось холодное дыхание ранней осени — грустного предвестника наступающей зимы, и такое же мрачное, как погода, предчувствие тяготило все время меня. Спенса хоронили в его родном го-

роде Уллапуле, в далеком графстве Росс, и я не мог присутствовать на похоронах. Но в письме к его родителям я попытался смягчить силу постигшего их удара и приписал происшедшее только несчастному случаю. Ни о Ломексе, ни о Мьюриэл ничего не было слышно.

Лаборатория была закрыта, ключ от нее лежал у меня в кармане, и мне казалось странным, что я даже не заглядываю туда. Профессор Чэллис должен был вернуться в Уинтон в конце недели, и я решил: пусть лучше он займется публикацией моего открытия. Весть о моем успехе неизбежно облетела «Истершоуз», и мне пришлось пройти через мучительный процесс принятия поздравлений — весьма сдержанных от Мейтленд и мисс Индр, восторженных от Полфри, довольно теплых от доктора Гудолла. Был также чрезвычайно удививший меня звонок от Уилсона, главы большой фармацевтической фирмы в Лондоне, но я отказался разговаривать с ним, пока не посоветуюсь с Чэллисом.

А в четверг ко мне пришел посетитель, которого я и вовсе не ожидал. После ужина я прохаживался у себя по комнате, куря одну сигарету за другой и пытаюсь сосредоточиться на чем-нибудь и хоть немного успокоить расшатанные нервы, когда мне сообщили о прибытии профессора Ашера.

Я тупо уставился на него; прямой и подтянутый, он подошел ко мне и с сердечной улыбкой пожал мне руку.

— Дорогой мой Шеннон, как поживаете? Надеюсь, я не помешал?

— Нет... — сухо ответил я. — Нисколько.

— Разрешите присесть? — Он взял стул и, опустившись на него, закинул ногу на ногу. — По-видимому, мне надо было предупредить вас о моем приходе, но я люблю действовать по наитию. И мне хотелось одним из первых поздравить вас.

— Благодарю.

— Я был как раз у себя в кабинете, когда профессор Чэллис позвонил мне из Бьюта и подал одну идею. — Он улыбнулся и погладил свою аккуратную бородку. — Несмотря на тяжкие административные обязанности, которые мне приходится выполнять, я все-таки урываю время для настоящей исследовательской работы. Ну и после того, что мне сказал профессор Чэллис, я ни минуты не колебался.

Я молчал, поскольку мне не совсем было ясно, что говорить.

— Конечно, я знал, что к этому идет дело. Должен сказать без излишней скромности, что я стараюсь быть в курсе новейших открытий. Ведь главная цель нашей кафедры — способствовать развитию всего ценного в современной науке, и я был уверен, несмотря на то небольшое недоразумение, которое произошло между нами, что со временем вы оправдаете мою веру в вас.

Неискренность его была настолько явной, что я прикусил губу.

— Вы избавили бы меня от многих неприятностей, если бы действовали согласно этому убеждению.

— Да, — с самым любезным видом согласился он. — Я готов покаяться, что тогда поторопился. А теперь, выслушав меня, надеюсь, вы хоть в чем-то пойдете мне навстречу и забудете прошлое.

Голова у меня невыносимо болела. Я никак не мог уразуметь, к чему он клонит. А он продолжал еще более доверительным тоном:

— Послушайте меня, Шеннон. Я буду с вами совершенно откровенен. Последнее время нам страшно не везло на кафедре. Из наших работ ничего не получалось. Короче говоря, я хочу взять вас обратно.

Я инстинктивно взмахнул рукой, как бы говоря, что отказываюсь, но он красноречивым повелительным взглядом остановил меня.

— Не поймите меня превратно. Я собираюсь предложить вам нечто куда более значительное, чем ваше

старое место. В университете намечаются большие перемены. Мне наконец удалось отстаивать идею создания биохимической лаборатории на факультете, и Опекунский совет решил основать кафедру экспериментальных исследований в этой области. Заведующий новой кафедрой будет получать семьсот фунтов в год, и на его обязанности будет лежать организация работы этой лаборатории — конечно, в самом тесном сотрудничестве со мной. Он получит звание младшего профессора и возможность читать каждую сессию курс лекций. Итак, Шеннон... — Он с многозначительным видом шумно перевел дух. — Я хочу, чтобы вы подумали о том, чего может достичь молодой одаренный человек, занимающий такое положение и имеющий в своем распоряжении квалифицированных технических работников и пылких молодых студентов. — Он нагнулся и похлопал меня по колену. — Так что бы вы сказали, если бы это место было предложено вам?

Я чуть не упал со стула. От этого предложения у меня буквально захватило дух — о такой возможности я никогда и мечтать не смел. Я понял, что Ашер действует из чисто эгоистических соображений: он хочет, чтобы я работал на кафедре и, следовательно, бок о бок с ним. Интерес, который вызовет в научных кругах и среди широкой публики мое открытие, шума в газетах, новый закон в области здравоохранения, который в связи с этим, несомненно, будет внесен в парламент, — все это были факты слишком важные, чтобы не попытаться примазаться. Пусть так, разве это по-человечески не объяснимо? Смятенный и растерянный, я приложил руку ко лбу, не зная, что отвечать.

— Ладно, ладно, — весело заметил Ашер. — Я более или менее понимаю, с каким напряжением вы работали. А потому не буду вам больше докучать. Я хочу лишь предложить вот что. Приходите ко мне обедать в понедельник вечером. У меня будет ректор и еще не-

сколько моих коллег из ректората, которые чрезвычайно заинтересованы вашей работой, очень хотят с вами познакомиться и поздравить вас. Кроме них, возможно, будут... только об этом никому ни слова... — и лицо его приняло ироническое выражение, — один или два редактора, выдающихся представителя прессы. Мне думается, я могу обещать вам довольно интересный вечер.

Я открыл было рот, чтобы выразить свою благодарность, но он обезоруживающе улыбнулся.

— Ни слова, дорогой мой. Вы должны смотреть на это как на мое *amende honorable*¹. Итак, в понедельник, ровно в восемь, у меня. Великолепно. Примите еще раз мои поздравления вместе с надеждой, что в будущем, быть может, нам удастся вместе послужить на благо науке.

Он поднялся, пожал мне руку, ослепительно сверкнул своей самой обворожительной улыбкой и вышел.

А я снова опустился в кресло. Такой блистательный поворот событий был слишком сильным испытанием для моего усталого мозга: я просто не мог понять, что же произошло. Когда первые минуты волнения и удивления прошли, я понял, что не испытываю никакого восторга, а лишь огромное напряжение всех своих душевных сил. Вот она, награда за трудолюбие, усидчивость и дерзание. Я — первый ученик в списке отличившихся. Все теперь изъясняются мне в своих дружеских чувствах, все стремятся пожать мне руку, даже попечители Далнейрской больницы и те будут гордиться знакомством со мной. А ведь все они, все до единого, были против меня, когда я шел к своей цели, с трудом продираясь сквозь тенета неприязни и вражды.

Однако я знал, что не стану тем героем, который откажется от лавров, даруемых успехом: слишком дол-

¹ Публичное извинение (*лат.*).

го я страдал, слишком тяжело мне далась эта работа в одиночку. Ашер не будет мне больше мешать, а деньги... семьсот фунтов в год... я никогда не думал об этом, но сейчас мне невольно пришло в голову, что ведь я буду богат, я смогу даже одеваться, как врач с хорошей практикой, как джентльмен... и всем моим бедам настанет конец, раз и навсегда.

Хотя, казалось бы, в душе моей сейчас не должно быть места горечи, но я ничего не мог с собой поделать: несмотря на открывавшиеся передо мною светлые горизонты, мою радость омрачала тень. Только одному человеку были по-настоящему небезразличны мои дела, только один мог честно порадоваться моим успехам. Передо мной вдруг возникло ее лицо. Многие недели хоронил я ее образ в тайниках моего сердца, но сейчас я не мог от него избавиться. И внезапно отупение куда-то исчезло, а вместо него появилась тихая, мучительно-сладостная тоска. Джин порвала со мной. Об этом говорило ее упорное, долгое молчание. Да и я изменил ей. Но мне так хотелось сейчас поговорить с ней, пусть одну минуту, сказать ей, что моя работа подошла к концу, хотя бы только услышать ее голос.

И вот вопреки здравому смыслу, вопреки моей гордости, вопреки всему я встал, медленно подошел к телефону и, поколебавшись еще немного, вызвал Далнейскую больницу.

Вызов надо было заказывать через междугороднюю, и мне пришлось некоторое время подождать. Но наконец меня соединили. Голос у меня звучал хрипло, и я с трудом выговаривал слова:

- Попросите, пожалуйста, к телефону доктора Лоу.
- К сожалению, сэр, это невозможно.

Этот неожиданный отказ удивил и озадачил меня.

- Ее нет на месте? — спросил я.
- Нет, что вы, сэр, она здесь.
- Значит, она на дежурстве?

— Нет, что вы, сэр, какое там дежурство.

— В таком случае я не понимаю вас. Сходите, пожалуйста, к ней в комнату и скажите, что ее зовут к телефону.

— Но она не у себя в комнате, сэр. Она в палате.

— Кто это говорит? — Я попытался узнать голос, но не мог. К тому же связь была, по обыкновению, плохая: внезапно послышался какой-то гул и громкий свист. Сдерживая нетерпение, я приложил трубку к другому уху. — Алло, алло... Кто это говорит?

— Горничная, сэр.

— Кейти?

— Нет, сэр, младшая горничная. Я здесь новенькая, сэр.

Тут нервы совсем перестали меня слушаться, и я вынужден был закрыть глаза.

— Тогда позовите мне, пожалуйста, начальницу, скажите, что доктор Шеннон хочет поговорить с ней.

— Очень хорошо, сэр. Подождите, пожалуйста.

Я ждал с возрастающей тревогой и досадой, казалось, бесконечно долго. Но вот с облегчением услышал тяжелые шаги и вслед за ними, несомненно, голос мисс Траджен:

— Да, доктор Шеннон?

— Извините, пожалуйста, мисс Траджен! — воскликнул я. — Мне неудобно вас беспокоить, но мне нужно поговорить с доктором Лоу. Не могли бы вы найти мне ее?

— Боюсь, что вам не удастся с ней поговорить, доктор. Разве вы не знаете, что у нас произошло?

— Нет.

Заметная пауза. Потом я услышал:

— Доктор Лоу больна, очень больна вот уже три недели.

Сердце мое так и упало, но в эту минуту в аппарате что-то щелкнуло, и разговор прекратился. Однако

я достаточно услышал, чтобы мое подозрение превратилось в уверенность. Я повесил трубку. У меня всегда была склонность делать преждевременные выводы, и как раз сейчас это и произошло.

ГЛАВА 8

На следующее утро я спозаранку направился в лабораторию, а затем на квартиру к доктору Гудоллу. Он еще не вставал, но в ответ на мою записку с просьбой разрешить мне взять свободный день любезно сообщил, что согласен.

Небо было по-прежнему серым, когда я шел по аллее к большим воротам. После длительного непрерывного пребывания за этими высокими стенами путешествие в Далнейр показалось мне мукой. В Уинтон я прибыл в десять часов. Над городом низко нависла дымовая завеса; воздух был сырой и теплый. Шум и суета на улицах, толпы людей с багажом, пробивающихся к выходу из Центрального вокзала, необычайно раздражали меня после тишины и покоя «Истершоуза». Но я во что бы то ни стало должен увидеть Джин, непременно должен ее увидеть.

Однако, сидя в раскачивающемся вагоне и глядя на проносящиеся мимо покрытые сажей поля и строения, я чувствовал не столько жалость к ней, сколько затаенную злость. Передо мной неотступно стояло видение: вот ее пальцы перебирают пробирки с культурами, вот крошат печенье, поднося его ко рту.

На станции в Далнейре я не смог достать кеб и, хотя небо было обложено тучами и накрапывал дождь, пешком направился по крутой дорожке в больницу. Обычно я взбирался на холм бегом, а теперь шел медленно и даже пожалел, что не завернул в привокзальный кабачок, где можно было что-нибудь выпить. За-

дыхаясь, добрался я до вершины холма, свернул в аллею и позвонил у калитки в колокольчик.

Дверь тотчас открылась. На мой звонок вышла Кейти. Я не сообщал, что приеду, и она удивленно уставилась на меня. Но она всегда мне симпатизировала и потому, сдержанно поздоровавшись, провела в приемную. Через минуту появилась мисс Траджен.

— Ну и ну! — воскликнула она, входя и улыбаясь своей живой, энергичной улыбкой. — Вот это неожиданность! Очень рада вас видеть!

Пристально посмотрев на нее, я понял, что она говорит это вполне искренне; однако, хотя я был благодарен ей за дружеский прием, меня ничуть не обмануло ее наигранное оживление, я сразу признал в этом профессиональную уловку — это была маска, какую она частенько надевала при мне, разговаривая со встревоженными родственниками больных.

— Должна, однако, сказать, — продолжала она, искоса посмотрев на меня, — что ваша новая работа не идет вам на пользу. Вы высохли как щепка. Что они там с вами сделали? Можно подумать, что вас заставляют лес рубить.

— Ну что вы, я себя прекрасно чувствую.

— Вас там не кормят, что ли?

— Нет... Питание отличное.

Она слегка пожала плечами, словно сомневаясь в искренности моих слов.

— Придется вам перейти ко мне на подкорм.

Наступила неловкая пауза; поскольку она не предложила мне сесть, мы все это время оба стояли. Веселая, ободряющая улыбка, к которой за долгие годы успели привыкнуть мускулы ее лица, немного померкла.

Я провел языком по губам.

— Как она себя чувствует?

— Настолько хорошо, насколько это возможно. Вот уже три недели, как она больна. — Начальница за-

мялась, потом, видя, что я жду более подробных сведений, продолжала все тем же бодрым тоном, но тщательно подбирая слова: — Сначала она неплохо держалась. Но за последние дни немного сдала.

У меня сжалось сердце. Слишком хорошо я знал, что означает эта фраза.

— Кто наблюдает за ней?

— Доктор Фрейзер, военный врач.

Я мысленно представил себе лысеющего блондина средних лет, с густыми светлыми бровями и некрасивым, квадратным, изрезанным морщинами, багрово-красным лицом, казавшимся обветренным из-за множества прожилок на щеках.

— Он славный человек?

— Превосходный.

— Скажите мне правду, что он говорит?

Мисс Траджен помолчала. Затем слегка передернула плечами.

— Она очень больна. Если бы она сразу легла, положение ее сейчас было бы куда лучше, а она целую неделю ходила с головной болью и температурой. Но такие случаи нередки при скарлатине.

— При скарлатине! — с неопишуемым ужасом воскликнул я.

— Ну конечно, — несколько удивленно подтвердила начальница. — Я же сказала вам об этом вчера вечером по телефону.

Тишина наполнилась звоном. Я охнул, словно меня кипятком ошпарили. Я был настолько убежден в правильности своих предположений, что просто не мог сразу отказаться от владевшей мной мысли.

— Мне хотелось бы ее видеть, — сказал я.

Мисс Траджен посмотрела куда-то вверх моей головы.

— Она почти без сознания.

— И все-таки я хотел бы ее видеть.

— Зачем вам это?

— Все-таки... — настаивал я.

Начальница была явно смущена. И тут выложила мне все начистоту:

— Ее родители и брат здесь... в гостинной. И жених. Если они согласятся, пожалуйста, доктор, а так я не могу взять на себя ответственность.

Я совсем пал духом. Как-то я не подумал об этом — о том, что и тут придется преодолевать трудности, терпеть муки. И все-таки ни за что, ни за что на свете я не должен отказываться от того, ради чего я сюда приехал. Я вздохнул.

— Хорошо, я пойду и поговорю с ними.

Она снова пожала плечами.

— Прекрасно. Вам виднее, как лучше поступать. Если я вам понадоблюсь, я буду в палате.

И мисс Траджен, кивнув мне на прощание, без дальнейших рассуждений повернулась и вышла, предоставив мне самому отыскивать по коридору путь в мою бывшую гостиную. Я постоял добрую минуту у двери, прислушиваясь к густому басу, доносившемуся оттуда, затем, призвав на помощь всю свою храбрость, повернул ручку и вошел.

Дэниел Лоу сидел за столом и громко читал Библию; рядом с ним, на стуле, примостился Люк. У окна, лицом ко мне, сидели миссис Лоу и Малкольм Ходден. Точно побитый пес, я остановился у порога и, сдерживая дыхание, стоял до тех пор, пока Лоу не кончил читать.

С минуту в комнате царил тишина. Дэниел снял очки и, протерев их носовым платком, полуобернулся на стуле. Он замер от неожиданности, но на его серьезном, взволнованном лице не отразилось ни гнева, ни укора. Он просто молча, с достоинством смотрел на меня.

Тем временем Малкольм встал, подошел ко мне и сказал вполголоса, но так, что его отчетливо было слышно в тишине комнаты:

— Как вы могли явиться сюда в такой момент? — Он стоял чуть ли не вплотную ко мне, и я заметил, что его большие, навывкате глаза красны. — Неужели не хотите посчитаться с нашим желанием побыть одним... и не навязывать нам своего присутствия?..

— Нельзя так, Малкольм, — тихим голосом прервала его мать Джин.

Я упорно глядел в пол; слова, которые я хотел сказать, застыли у меня на губах.

— Он не имеет права находиться здесь! — неожиданно охрипшим голосом воскликнул Ходден.

— Да замолчите вы, — буркнул Люк.

— Потише, сынок, — прошептала миссис Лоу. Посмотрев на меня твердым взглядом, она поднялась. — Я сейчас иду к дочери. Хотите пойти со мной в палату?

Словно лишившись дара речи, я молча, без единого слова последовал за ней; мы вышли во двор, пересекли центральную аллею и направились к боковому входу в маленький коттедж. На чистеньком, усыпанном гравием дворике было как-то особенно светло; молоденькая сиделка прошла впереди нас; под навесом группа выздоравливающих детишек в красных куртках играла в резиновый мяч.

Сердце у меня невыносимо стучало, когда начальница открыла нам дверь и мы вошли в выкрашенную белой краской комнату. Из трех стоявших в ней кроватей занята была только одна, наполовину скрытая ширмой; подле нее стоял стул, тоже выкрашенный белой масляной краской. На этом стуле в напряженной позе сидела сестра Пик. Вслед за начальницей я медленно прошел за ширму и остановился в изножье кровати: у меня не хватало мужества взглянуть на ту, что лежала в ней. Лишь огромным усилием воли я заставил себя поднять голову, и взгляд мой, скользнув по белому одеялу, остановился на лице Джин.

Она лежала на спине, широко раскрыв глаза и тебя исхудавшими руками простыню; ее дрожащие,

пересохшие губы, которые она то и дело облизывала, непрерывно шевелились, бормоча что-то. На белой, низко положенной подушке ее лицо с зачесанными назад волосами выглядело заострившимся и исхудалым. На щеках выступили не яркие пятна, как это бывает при высокой температуре, а тусклый, темный румянец; нахмуренный лоб был весь в красноватых точечках, которые частично успели уже побледнеть, приняв коричневатый оттенок, характерный для скарлатинной сыпи.

В ушах у меня зашумело, — казалось, я стремительно лечу в пропасть.

Над кроватью — так, чтобы не мог достать мечущийся в бреду больной, — висела кривая температуры, отмечавшая резкие взлеты, падения и скачки, которые делала болезнь. Напрягая зрение, я пытался рассмотреть кривую. Да, подумал я через некоторое время, сомнений никаких. Какой я был идиот, таким, видно, всегда и останусь... Это, конечно, скарлатина, самая настоящая скарлатина.

Миссис Лоу и начальница, понизив голос, заговорили о чем-то. Меня тут словно бы и не было. Они обращали на меня столь же мало внимания, как на никому не нужную мебель. Я для них просто не существовал. В смятении и тревоге я посмотрел на столик у кровати больной, уставленный медикаментами: тут были пузырьки с лекарствами, поильник, шприц, эфир и камфарное масло — словом, все, что нужно. Если дело дошло до камфары, значит положение Джин действительно худо.

Все здесь, казалось, висело на безучастной ниточке времени, которая слегка покачивалась из стороны в сторону и становилась все тоньше, по мере того как секунды одна за другой отлетали, исчезая в безвестной пустоте, Больше я не мог этого вынести. Я вышел из палаты, пересек узенький коридорчик, зашел в бо-

ковую комнату напротив, где никого не было, и там присел на край постели, уставясь невидящими глазами на голую желтую стену. Я надеялся, что сумею сделать очень много, а оказалось, что не сумел ничего... никаким драматическим или вдохновенным поступком не докажешь, что я на что-то годен, что я имею право на существование, — никаким. Преисполняясь все большего и большего презрения к себе, считая себя полнейшим ничтожеством, я вынул из кармана большую ампулу, которую утром завернул в шерстяную вату, и бессознательно сдавил ее — тонкий хруст стекла отдался в моих ушах, как удар колокола. К пальцам прилипли кусочки мокрой ваты. Невозможно описать, какое пламя бушевало во мне, с каким отчаянием я сознавал свою никчемность, — в окружающей тишине мне слышались насмешливые голоса.

А время шло, и секунды, легкие как перышко, отлетали в вечность. Как это с ней случилось? Ах, когда человек устал или когда на душе у него помимо его воли грустно, так естественно пренебречь элементарными мерами предосторожности, благодаря которым можно уберечься от болезни! В голове у меня было пусто, мысли словно застыли; тут до слуха моего донеслись голоса. Я услышал, как миссис Лоу и начальница вышли из комнаты больной и направились к выходу по коридору. Мисс Траджен пыталась успокоить взволнованную мать:

— Не волнуйтесь, все делается как надо. Через сутки положение станет более ясным. Доктор Фрейзер уделяет ей максимум внимания. А сестра Пик просто поражает своей самозабвенной преданностью. Вот уже три недели, как она не отходит от больной и нередко просиживает возле нее по два дежурства подряд. Я еще не видела подобного самопожертвования.

Значит, я и здесь ошибся. На меня так похоже думать обо всех дурно. Я ведь и начальницу недооцени-

вал, сражался с ней, не доверял. Такая уж у меня особенность — видеть в людях плохое, действовать вопреки установившимся обычаям и принципам порядочности, выступать против всего света, не считаясь ни с чем и ни с кем, кроме себя.

В далеком главном здании прозвучал гонг, созывая медицинский персонал к завтраку, — сигнал нормальной жизни, лишь усугубивший во мне ощущение одиночества. Обе женщины, должно быть, уже были во дворе: их голоса, слабые и печальные, постепенно заглохли. Я машинально встал, точно кукла, которую дергают за ниточку, и вышел из коттеджа. Вокруг не было ни души. С трудом передвигая ноги, как будто на них были надеты кандалы, я пошел под гору, к станции. И, даже забравшись в пустое купе шедшего в Уинтон поезда, я мысленно все еще был там, в палате, на холме, над которым сгущались сумерки.

ГЛАВА 9

Вернувшись в «Истершоуз», я обнаружил записку, в которой сообщалось, что профессор Ашер дважды звонил мне по телефону и просил передать, чтобы я позвонил ему, как только приду. Я направился было к телефону, но потом решил, что поговорю с ним позже. У меня страшно болела голова, хотелось побыть одному, вдали от всех и наедине помучиться своей тоской и своими страхами.

В пять часов я выпил чашку чая. И выпил с удовольствием. Все мои чувства притупились. На подносе лежала новая записка:

Вам звонил в три часа мистер Смит с кафедры патологии. По срочному делу.

Хотя на душе у меня было очень тяжело, такая назойливость вызвала во мне смутную досаду и даже

удивила. Но потом я вспомнил, что Ашер, кажется, говорил, будто хочет прислать ко мне корреспондента из «Геральд». Должно быть, Смиту поручили устроить это интервью. Нет, сейчас я не в состоянии. Успеет он проинтервьюировать меня и в понедельник, во время обеда. Я скомкал бумажку и бросил ее в огонь.

Гудолл отпустил меня на целый день. Поэтому у меня не было надобности выходить из комнаты. Подавленный, в тяжком раздумье, то и дело поглядывая на часы, я просидел так до девяти, а потом заставил себя встать и позвонил в Далнейскую больницу. Состояние Джин было без изменений. Больше ничего мне не могли сказать.

Смертельно уставший, снедаемый беспокойством, я понимал, что лучше всего мне было бы лечь, но нервы у меня совсем разгулялись, и я знал, что не засну. Пузырек с таблетками аспирина, стоявший у меня в ванной, был пуст. Я спустился вниз и, зайдя в аптеку, взял немного пирамидона. На обратном пути в центральном подземном коридоре я увидел сестру, шедшую мне навстречу. Это оказалась Стенуэй.

Она была одна и шла не торопясь, как видно в столовую. Заметив меня, она остановилась и, небрежно прислонившись к стене, подождала, пока я подойду ближе.

— Где ты был?

— Нигде.

— Ты ведешь себя совсем как чужой.

Говорила она с деланным равнодушием, но зорко наблюдала за мной. Выждав немного, она добавила:

— Надеюсь, ты не думаешь, что я по тебе соскучилась.

— Нет, не думаю, — сказал я.

— Найдется ведь немало и других, с кем я могу проводить время.

— Конечно.

Наступила пауза. Я посмотрел на нее и отвел глаза: мне вдруг стало омерзительно тошно и холодно.

За все наступает расплата, подумал я, горько сожалея о многих тягостных ночах, когда, крадучись, словно вор, вдоль стен, я пробирался к ней в комнату. Дешевое счастье урывками... бессмысленное... без капли нежности. Вверху потрескивали газовые рожки под матовыми колпачками, распространяя неестественный, призрачный свет. Я был ей глубоко безразличен, а она — боже! — до чего она мне надоела.

— Что все-таки произошло? — резко спросила она, продолжая пристально глядеть на меня: не изменюсь ли я в лице.

Я ничего ей не ответил. И, истолковав по-своему мое молчание, она улыбнулась дразнящей улыбкой.

— Я только что кончила дежурство. — Она томно посмотрела на меня. — Хочешь, пойдём ко мне.

— Нет, — вяло произнес я, не глядя на нее.

Такой ответ ошеломил Стенуэй. Она выпрямилась — самолюбие ее было задето, и бледные щеки вдруг вспыхнули злым румянцем. Мы оба молчали.

— Хорошо, — сказала она, пожав плечами. — Не думай, что я огорчена. Но не таскайся за мной и не приставай, когда настроишься на другой лад.

Она с нескрываемым презрением посмотрела на меня — свет газовых рожков отбрасывал от ее маленькой головки тень, похожую на череп, — затем повернулась и пошла по коридору; дробный стук ее каблучков постепенно замер вдали.

Ну, слава богу, теперь с ней кончено. Я повернулся и пошел в свою комнату, а там — бросился на постель. Через некоторое время пирамидон оказал свое действие. Я забылся тяжелым сном.

Проснувшись на следующее утро, я почувствовал себя еще хуже прежнего. Но сон все же подготовил меня к тому, что мне пришлось пережить в этот день.

Первую половину дня я кое-как проработал и ни разу не встретился ни с Мейтленд, ни с Полфри — по-

следнее время я научился очень ловко избегать встреч с другими сотрудниками больницы.

В час дня, одолеваемый дурными предчувствиями, не в силах больше ждать, я снова позвонил в Далнейр. К телефону подошла сестра Кеймерон. Голос у нее был веселый, но она всегда говорила веселым голосом. А ответила она мне то же, что и накануне. Никаких изменений. Все идет по-прежнему. Абсолютно никаких изменений.

Из самых лучших чувств она попыталась меня утешить:

— Во всяком случае, самое ужасное еще не случилось, Пока есть жизнь, есть и надежда.

На дворе шел дождь — сильнейший ливень, омрачавший и небо, и землю. Я медленно поднялся по лестнице к себе в комнату. Войдя в нее, я, несмотря на тусклый дневной свет, заметил, что кто-то сидит на диване в дальнем углу комнаты у камина. Я включил лампу под абажуром, освещавшую полочку с книгами, и с тупым удивлением увидел перед собой не кого иного, как Адриена Ломекса.

Не шелохнувшись, он вынес мой долгий насупленный взгляд; держался он все так же спокойно, с сознанием своего превосходства, но где-то в глубине чувствовалась неуверенность в том, как я его приму.

— А, Ломекс, — наконец, словно издав издав, донесся до меня собственный голос. — Меньше всего я ожидал увидеть здесь вас.

— Насколько я понимаю, вы не очень мне рады.

Я ничего не ответил. Наступила пауза. Он мало изменился — пожалуй, даже вовсе не изменился. Мне казалось, что одно сознание своей вины и ответственности за то, что произошло, должно было сломить его. А он, наоборот, по-прежнему отлично выглядел — быть может, только чуть побледнел и, пожалуй, чуть ниже опустились уголки губ, но в общем превосходно владел собой и был готов к самозащите.

— Вы не знали, что я вернулся?

— Нет.

Хотя в действительности никакого скандала и не было, я понял, что гордость заставила его вернуться. Он закурил сигарету почти с таким же небрежным видом, как прежде. И все-таки он был смущен и пытался с помощью бравады скрыть это.

— Вы, конечно, с удовольствием прикончили бы меня, но не я один заслуживаю порицания.

— В самом деле?

— Конечно нет. С самого начала Мьюриэл гонялась за мной. Она просто не давала мне проходу. Вероятно, глупо это говорить, но я буквально не мог от нее отвязаться.

— А где она сейчас?

— Я предложил ей выйти за меня замуж. Хотел поступить как порядочный человек. Но между нами произошла омерзительнейшая ссора. И она уехала к родным. Я не жалею об этом. Она бы связала меня по рукам и ногам.

— А вы неплохо вышли из положения. Куда лучше, чем Спенс.

— Вы же знаете, что это был несчастный случай. Ночь была туманная. Он оступился и упал с платформы. Все же выяснилось при расследовании.

— Только, ради бога, не оправдывайтесь. Вы говорите так, точно сами столкнули его под поезд.

Лицо его помертвело.

— А вам не кажется, что такие домыслы несколько необоснованны? Во всяком случае, я намерен доказать, что я вовсе не такое ничтожество, как они думают. Я буду работать, по-настоящему работать на кафедре, сделаю что-нибудь такое, отчего все рот разинут.

Он производил впечатление человека, павшего жертвой непредвиденного стечения обстоятельств и рассчитывающего на то, что будущее полностью оправдает его. А я знал, что ему никогда ничего не достичь,

что, несмотря на свой лоск и заносчивость, он на самом деле слабый, бесхарактерный и самовлюбленный человек. Мне неприятно было находиться в одной с ним комнате. Я встал и принялся ворошить дрова в камине, надеясь, что он поймет мой намек и уйдет.

Но он не уходил. Он как-то странно смотрел на меня.

— Вы проделали интересную работу в последнее время.

Я махнул рукой в знак отрицания.

— На кафедре все были так взволнованы...

Я медленно поднял на него глаза. Несмотря на туман, заволакивавший мои мысли, я отчетливо услышал, что он произнес эту фразу в прошедшем времени, и мне это показалось странным. С минуту царило молчание.

Он выпрямился в кресле и нагнулся ко мне. На его тонких губах теперь играла кривая, исполненная сострадания усмешка.

— Ашер попросил меня зайти к вам, Шеннон... чтобы сообщить одну новость. Вас опередили. Кто-то уже успел опубликовать такую работу.

Я тупо смотрел на него, не понимая, к чему он клонит; потом вдруг вздрогнул.

— Что вы хотите сказать? — Слова с трудом сходили у меня с языка. — Я ведь просмотрел всю литературу, прежде чем начал работать. И не нашел ничего.

— Да и не могли найти, Шеннон, потому что ничего не было. А теперь есть. Одна американская исследовательница, женщина-врач по фамилии Эванс, опубликовала в журнале «Медицинское обозрение» за этот месяц полный отчет о своей работе. Она работала над этим два года. И пришла почти к тем же выводам, что и вы. Она вывела бациллу, доказала широкое распространение болезни по всему миру — она приводит поразительные цифры, — установила наличие той же

инфекции у молочного скота, словом, проделала все то же, что и вы.

Молчание длилось долго. Комната вокруг меня ходила ходуном.

Ломекс снова заговорил с подчеркнутой вежливостью:

— Смит первым сообщил нам эту весть. Он уже много месяцев следил за работой доктора Эванс. Вообще он имел гранки ее статьи еще прежде, чем она вышла из печати. Он вчера приносил их на кафедру.

— Вот оно что.

Губы у меня были сухие и холодные — мне казалось, что я превратился в камень. Полтора года непрерывной работы и днем и ночью, лихорадочных усилий, полного забвения себя — а сколько было препятствий! — и все напрасно, все пошло прахом. Раз научный мир уже узнал о результатах проведенной работы, раз они доказаны и опубликованы, кто же теперь будет слушать меня, кто поверит, что я разрешил эти проблемы такой дорогой ценой? Подобные случаи бывали, конечно, и раньше: мысли одного человека словно передаются на расстоянии другому, и они оба, на разных континентах, не зная о существовании друг друга, вступают на один и тот же путь. Несомненно, такие вещи будут случаться и впредь. Но от этого мне не становилось легче: мучительное сознание, что кто-то другой дошел до цели раньше, продолжало терзать меня, как продолжала жечь смертельная горечь поражения.

— Этакая неудача! — Ломекс говорил, глядя куда-то в сторону. — Просто выразить не могу, как я огорчен этим обстоятельством.

Его мнимая жалость была обиднее равнодушия. Он поднялся с дивана.

— Кстати, если вам захочется прочесть статью, я принес ее на всякий случай. — Он вынул из кармана

пиджака несколько напечатанных листков и положил их на стол. — Ну, я пошел. Всего хорошего, Шеннон.

— Всего хорошего.

Когда он ушел, я сел и уставился невидящими глазами перед собой — вокруг царила пустая, безнадежная тишина. Затем с глубоким вздохом, который, казалось, поднимался из самых глубин моего сердца, я встал, взял со стола статью и заставил себя прочесть ее.

Как и говорил Ломекс, это была первоклассная работа, в которой описывалась болезнь, получившая впоследствии название бруцеллез и с которой началось изучение этой проблемы. Внимательно прочитав статью дважды, я вынужден был не без зависти признать, что доктор Эванс — блестящий и изобретательный ученый и что ее работа, пожалуй, лучше моей.

С величайшим спокойствием я сложил листки и встал. Это новое для меня состояние спокойствия, сколь бы оно ни было ложным, оказалось весьма благостным: голова моя просветлела и я обрел способность действовать. Пробыло три часа, и мне уже давно пора было звонить в Далнейр. Без всякого трепета я подошел к телефону. Но, прежде чем я успел снять трубку, послышался стук в дверь, вошла горничная и подала мне телеграмму. Я спокойно вскрыл ее.

ПРИМИТЕ МОЕ ИСКРЕННЕЕ СОЧУВСТВИЕ ПО
ПОВОДУ СТАТЬИ В «ОБОЗРЕНИИ», НИЧУТЬ НЕ
УМАЛЯЮЩЕЙ ВАШИХ ДОСТИЖЕНИЙ.
ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ВСЕ ЕЩЕ НЕ МОГУ,
НО НАДЕЮСЬ СКОРО УВИДЕТЬСЯ, ПОГОВОРИТЬ
О ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ. ПРИВЕТ. УИЛФРЕД
ЧЭЛЛИС

Если до сих пор я еще как-то держался, то сейчас наступила реакция. Рассчитывая на профессора Чэллеса, я забывал о его годах и старческих недугах. Эта телеграмма со словами сочувствия выбила у меня по-

следнюю опору; я все еще глядел на расплывавшиеся перед глазами слова, как вдруг в голове у меня словно что-то разорвалось — как будто натянули слишком сильно резину и она лопнула. Я перестал владеть собой, все вокруг меня закружилось, и мне вдруг стало отчаянно смешно. Я сначала просто улыбнулся, потом улыбка стала шире, и вот я уже хохотал вовсю... хохотал над собой, над своим нынешним положением, потом, точно иллюзионист в цирке, перевоплощающийся в другой образ, остепенился, посерьезнел и принялся размышлять.

С самым сосредоточенным видом я посмотрел на часы, забыв, что глядел на них всего несколько минут назад. Было еще только четверть четвертого, и я сразу успокоился, ибо меня вдруг обуяла настоящая потребность что-то делать. Разочарование бесследно исчезло, и, утратив остроту восприятия, я вдруг почувствовал необычайное умиротворение: все, что происходило за стенами этого здания — на кафедре или в Далнейре, — казалось мне таким незначительным в общем течении моей жизни. Разве я не огражден здесь от всяких невзгод, разве я плохо здесь устроен или меня плохо кормят? Ведь никакие несчастья и тяготы внешнего мира не способны проникнуть в это удивительное, так хорошо защищенное убежище! Я могу провести здесь хоть всю жизнь, если мне будет угодно.

Ободренный этими мыслями, я поспешно направился в западное крыло, где обычно делал дневной обход, когда у Мейтленд был свободный день. Последнее время я не очень старательно выполнял эту обязанность — возможно, потому, что не отдавал себя целиком работе в больнице. Нет, так нельзя, нечестно это по отношению к доктору Гудоллу, да и несовместимо с принципами, на которых зиждется все в «Истершоузе». Попрекнув себя, я решил, что необходимо исправиться. Я еще многое могу сделать до конца дня.

В вестибюле западного крыла я прихватил с собой сестру Шэдд и обошел с ней все шесть галерей. Я не торопился и выполнял свои обязанности не кое-как, а старательно, заботливо. Тишина, царившая в галереях, подействовала на меня почему-то успокоительно, и я подолгу беседовал с некоторыми больными, а с Герцогиней даже выпил чашку чая в ее апартаментах — высокой комнате с выцветшими зелеными портьерами, ковром из медвежьей шкуры и бронзовой люстрой. На ней было сиреневое бархатное платье со множеством драгоценностей, а на шее висело несколько ожерелий из еще свежих семечек дыни. Сначала она пытливо смотрела на меня своими глазками-бусинками, но я очень старался ей угодить, и постепенно она оттаяла, а когда я начал прощаться, кокетливо протянула мне свою желтую, как пергамент, руку.

Меня позабавил такой успех, и, выйдя за дверь, я остановился и повернулся к сестре Шэдд.

— Не правда ли, сестра, просто удивительно... как это Герцогиня, несмотря на свои странности, улавливает отклонения от нормы у окружающих ее больных?

— Весьма удивительно. — Все время, пока я сидел у Герцогини, она держалась в стороне и молчала. А сейчас почему-то неодобрительно и осуждающе посмотрела на меня.

— Я подметил, — с улыбкой продолжал я, — что они все любят наряжаться. Даже самые старые пытаются придумать что-то новенькое в своем туалете: тут добавят ленточку, там — оборочку, лишь бы перещеголять остальных. Их наряды бывают часто нелепы, но стоит кому-то появиться в платье, какого нет у других, все тотчас же перенимают фасон. Ну и конечно, поскольку у Герцогини обширный гардероб, она чувствует себя здесь царицей.

Сестра Шэдд, все это время пристально глядевшая на меня, открыла было рот, потом с недовольным видом поджала губы.

— Интересно также их отношение к противоположному полу... — продолжал я. — Есть среди них, например, пассивные девственницы, которые краснеют при одном виде мужчин... а с другой стороны, есть и такие весьма романтические натуры, которые лукаво поглядывают во время прогулки на приглянувшегося им мужчину... А одержимые, которые то призывают обольстителя, то жалуются, что они забеременели от вспышки молнии, от громового раската, от электрических волн, от солнечных или лунных лучей или даже от пригрезившегося им доктора Гудолла!

— Простите, доктор, — резко оборвала меня Шэдд, — мисс Индр ждет меня. Мне надо идти. — И, уже повернувшись, мрачная как туча, она бросила через плечо: — Вы, право, меня удивляете, почему бы вам не пойти к себе и не прилечь?

Значит, черт бы ее побрал, она решила, что я пьян. Рассуждать с ней бесполезно. Ее уход обидел меня, однако я упорно не желал расстраиваться. Почувствовав прилив бодрости, я отправился в аптеку.

Запас лекарств был почти на исходе. У меня ушел целый час на то, чтобы пополнить его. Отмеряя кристаллы хлоралгидрата и растворяя их в синих стеклянных бутылках, я внезапно обнаружил, что напеваю любимую фразу Полфри из «Кармен», которую написал этот бедный, несчастный Бизе. Очень приятная и благозвучная ария. Если бы голова у меня не была такая тяжелая, точно по ней били молотками, я бы чувствовал себя прилично.

Внезапно зазвонил телефон. Меня так и передернуло от резкого, пронзительного звонка. Но я был совершенно спокоен, когда поднял трубку.

— Доктор Шеннон? — Говорил привратник из своего домика у входа.

— Да.

— Я искал вас по всему зданию, тут один молодой человек хочет поговорить с вами.

— Со мной? — Я тупо уставился на противоположную стену. — А как его фамилия?

— Лоу... он говорит: Люк Лоу.

А, ну как же, я, конечно, помню Люка, моего юного друга, у которого есть мотоцикл. Что ему нужно от меня в такое неурочное время?

Я только было снова начал напевать, как в трубке раздался голос Люка, веселый и возбужденный, — он так и сыпал словами без передышки:

— Это вы, Роберт... идите скорее сюда... вы мне нужны.

— Что случилось?

— Ничего... все... хорошие новости... Джин стало гораздо лучше.

— Что такое?

— Опасность миновала. Сегодня в два часа у нее был кризис. Она пришла в сознание. Она разговаривала с нами. Здорово, правда?

— Очень. Я рад.

— Я сразу схватил мотоцикл и примчался к вам. Выйдите же на минуточку в привратницкую. Я хочу повидать вас.

— Извините, мой милый, — в моем тоне звучало вежливое сожаление человека, отягощенного множеством дел, — но я никак сейчас не могу.

— Что?! — Пауза. — Да ведь я же приехал из такой дали!.. Роберт... Алло... Алло...

Хотя в глубине души мне не хотелось этого делать, но я оборвал разговор и со спокойной улыбкой повесил трубку. Правда, я очень люблю Люка, но у меня просто нет времени на всякие пустяки. Конечно, очень приятно, что мисс Лоу стало лучше, и, несомненно, это большая радость для ее родных. Такая спокойная девушка, глаза у нее карие, а волосы каштановые. Мне вспомнилась одна песенка: «Дженни — шатенка, с кудряшками как пух...» Прелестный мотив — надо будет напеть его Полффри. Я смутно припоминал ее: она ведь

занималась у меня в семинаре, умная, но уж слишком назойливая. Конечно, никакого зла я ей не желаю, ни малейших неприятностей на свете.

Снова этот Бизе... бедный, несчастный Бизе... «Напрасно себя уверяю, что страха нет в моей душе...» Я пополнил запас лекарств, прибрал в аптеке и снова, словно сквозь туман, попытался разглядеть время на часах.

Семь часов. Я всегда терпеть не мог дежурить в столовой, но сейчас, несмотря на боль в голове, это показалось мне приятной и вполне естественной обязанностью.

Ужин уже начался, когда я вошел в столовую, и официантки ставили поднос за подносом на длинные столы, где среди звона тарелок, грохота отодвигаемых стульев и гула голосов все приступили к еде.

Я постоял с минутой, потом, не поднимаясь на отведенное для дежурного возвышение, стал прохаживаться по столовой, с благосклонным интересом наблюдая за происходящим. Пар от кушаний и запахи еды подействовали на меня одуряюще; сразу казалось недосыпание — мысли стали путаться, все окрасилось в более теплые, сочные тона: передо мной была картина пиршества в феодальном замке, где сидели аристократы и простолюдины, непрерывно сновали слуги, — казалось, ожило полотно Брейгеля во всей яркости красок, со всем своеобразием человеческих лиц, пышностью, движением и суетой...

И вот я уже снова размеренным шагом иду по подземному коридору в свою комнату. У входа в галерею «Балаклава» сидел ночной дежурный и готовил себе на ужин какао.

— Я ходил сегодня за почтой, доктор. Вам есть письмо.

— Благодарю, мой милый.

Не вступая в дальнейший разговор, я взял конверт из плотной бумаги с университетским крестом. На

лице моем застыла улыбка — она словно отпечаталась там и была маской, за которой я скрывал хаос, царивший у меня в голове. Тяжелые молоты с удвоенной силой застучали в висках, я весь покрылся потом и тут во внезапном проблеске сознания понял, что заболел. Но момент просветления прошел, и я снова помчался вперед, думая лишь о том, что надо скорее садиться за работу; улыбаясь еще шире все той же застывшей улыбкой, я вошел в вестибюль и вскрыл конверт.

«Кафедра патологии Уинтонского университета». От Ашера, профессора Ашера, возглавляющего это превосходное заведение. Милое письмо, да, в самом деле — очень приятное. Добрый профессор сожалел, весьма сожалел, что при сложившихся обстоятельствах я не могу рассчитывать на новое назначение. Если бы, конечно, результаты моей работы были опубликованы раньше... Эта задержка оказалась трагической, огорчению его нет предела, и чувства его вполне понятны. На обороте стоял постскриптум. Ах да, обед, конечно, тоже отменяется. К сожалению, когда он приглашал на понедельник, то совсем забыл, что у него этот день занят. Тысяча извинений. Когда-нибудь в другой раз. Да, конечно, договоренность остается в силе. Возвращайтесь за свой стол в лабораторию. Работайте у меня, только будьте не так строптивы, преисполнитесь духа сотрудничества и подчиняйтесь начальству. Очень щедрое предложение. Но благодарю покорно — нет.

В высоком вестибюле, где под потолком горел свет, стоя возле статуи Деметрия и горки в стиле «буль», я тщательно разорвал письмо на четыре части. Мне вдруг захотелось громко закричать. Но губы не шевельнулись, точно они были склеены, а боль в голове вдруг стала невыносимой, она нарастала, усиливалась, отдаваясь гулом и грохотом, — казалось, кто-то рубил дрова тупым топором у меня на затылке. И несмотря

на это, я вдруг понял, увидел своим мутным, неверным взором, что мне надо делать. Нечто очень важное и существенное. Скорей, скорей... Только не останавливаться... нельзя терять ни минуты.

Я вышел и торопливо направился в лабораторию. На улице было уже совсем темно, поднялся ветер, раскачивавший деревья и кусты, наполняя воздух странным шепотом. Слетевший с дерева лист коснулся моей щеки, точно чьи-то призрачные пальцы, — это подхлестнуло меня и заставило, спотыкаясь, пуститься бегом.

И вот я в лаборатории. Окинув безучастным, но все же пытливым взглядом арену моих недавних трудов, я машинально сделал несколько шагов и открыл шкафчик. Круглые, заткнутые ватными тампонами бутылки стояли в ряд, тускло поблескивая, точно солнце сквозь туман. У меня закружилась голова, я покачнулся и едва не упал. Но слабость почти тотчас прошла. Собрав все силы, я взял драгоценные бутылки и, спокойно и тщательно разбив их, вылил содержимое в умывальник. Потом отвернул оба крана. Когда последняя капля жидкости исчезла в водопроводной трубе, я схватил кипу бумаг со стола — все эти страницы, испещренные моими расчетами и выводами, плод многих бессонных ночей. Снова спокойно, осторожно я чиркнул спичкой, намереваясь поджечь их над раковиной и держать, пока не сгорит последний клочок бумаги. Но, прежде чем я успел это проделать, за моей спиной послышался звук быстрых шагов; я медленно обернулся, с трудом держа прямо невыносимо тяжелую голову. В дверях стояла Мейтленд.

— Не смейте, Шеннон! — крикнула она и бросилась ко мне.

Спичка обожгла мне пальцы и погасла. Молот еще сильнее застучал по голове. Я сжал обеими руками лоб. И весь мир перестал существовать для меня.

ГЛАВА 10

Октябрьский день, тихий и золотистый, был полон удивительного спокойствия. В моей старой комнате в «Ломонд Вью» косые лучи солнца падали светлым четырехугольником на обои, оживляя пожелтевшие от времени, чахлые розы и подцвечивая украшавшие кровать шишечки из высохшей травы, которые я много лет назад ободрал, пытаясь распрямить погнувшийся конек. Из окна я видел красноватые свернувшиеся листья бука, что стоит через дорогу, — первые признаки осени, — а вдаль, окутанные фиолетовой дымкой, — синие горбатые плечи Бен-Ломонда. В детстве я часто без всякого восторга смотрел из этой самой комнаты на далекие горы. Смотрел я на них и сейчас.

Удобно лежа на боку, я отдыхал с полным сознанием, что мое безделье оправданно и вполне законно, поскольку доктор Галбрейт, заручившись поддержкой бабушки Лекки, все время настаивал, что я должен отдыхать. Однако день был такой чудесный, что я не мог улежать в постели и решил подняться. Ведь я уже почти выздоровел и теперь, после второго завтрака, могу и погулять часок-другой! Я отбросил одеяло и начал одеваться, впрочем осторожно, так как еще не очень твердо держался на ногах — явное доказательство того, как медленно накапливаются силы после полного истощения. Ну что ж, поделом мне. Сам во всем виноват.

Я спустился вниз, даже не держась за перила, тем самым доказывая себе, что уже поправился. Я все еще не привык к странному чувству, что вновь живу в доме, который был для меня родным с тех пор, как я мальчиком поселился в Ливенфорде. Сейчас дом перешел в собственность моей бабушки, но в нем ничего не изменилось, и хотя населяли его главным образом тени тех, кто раньше здесь жил, привычная атмосфера убо-

гой, но уповающей на лучшие времена респектабельности продолжала царить в нем. Меня привезли сюда после того, как я свалился, и старушка не без воркотни, но с удивительной преданностью ухаживала за мной и поставила меня на ноги. Сейчас мне было бесконечно стыдно за те небылицы, которые я рассказывал о ней.

Из гостиной убрали бумажный экран, и в камине за чугунной решеткой горел яркий огонь. Бабушка развела его, прежде чем отправиться в очередное странствие по городу, откуда она возвращалась, еле передвигая ноги, нагруженная пакетами со всякой снедью. Она с доблестным усердием пичкала меня сообразно деревенским традициям и собственным представлениям о том, что наиболее полезно в моем состоянии. Десять минут назад, перед самым уходом, она с многозначительным и многообещающим видом шепнула мне на ухо:

— Сегодня вечером я тебе сварю курицу, Роберт. — Она была решительной поклонницей вареной курицы, которую подавала с бульоном, считая, что в этом — самый «смак».

Всякий раз, как я оставался один в доме — в старом молчаливом доме, наполненном воспоминаниями прошлого, — меня так и тянуло помечтать, но я боролся с этим желанием, как и с невыносимой грустью, какую прошлое вызывало во мне. Вот здесь стоит диван, на который Дэнди Гау уложил меня, когда я вернулся домой после драки с моим школьным приятелем Гэвином Блейром. Вон там, на каминной доске, лежит старое деревянное перо, которым он переписывал юридические документы. На этом подоконнике я усиленно и тщетно зубрил, готовясь к экзаменам на стипендию Маршалла. Вот за этим самым столом мне сказали, что я не могу поступать в университет изучать медицину. А я все-таки поступил. О да, я всегда упрямо шел своим собственным одиноким путем, му-

Всякий раз, как я оставался один в доме — в старом молчаливом доме, наполненном воспоминаниями прошлого, — меня так и тянуло помечтать, но я боролся с этим желанием, как и с невыносимой грустью, какую прошлое вызывало во мне. Вот здесь стоит диван, на который Дэнди Гау уложил меня, когда я вернулся домой после драки с моим школьным приятелем Гэвином Блейром. Вон там, на каминной доске, лежит старое деревянное перо, которым он переписывал юридические документы. На этом подоконнике я усиленно и тщетно зубрил, готовясь к экзаменам на стипендию Маршалла. Вот за этим самым столом мне сказали, что я не могу поступать в университет изучать медицину. А я всё-таки поступил. О да, я всегда упрямо шел своим собственным одиноким путем, мучительным и извилистым, который приводил меня к тому месту, откуда я начал странствие.

Я быстро взял себя в руки и, взглянув на небо, решил совершить небольшую прогулку. В передней, вспомнив про свою остриженную голову, я поглубже надвинул шапку, сунул ключ под коврик у двери — на случай, если старушка вернется раньше меня, — и отправился на прогулку.

Хотя воздух был прохладный и бодрящий, шел я отнюдь не живо, а еле передвигая ноги и, поднимаясь в гору к Драмбакской деревушке, раза два вынужден был даже остановиться. Это была все та же тихая маленькая деревушка, притулившаяся у покатога склона поросших вереском холмов, через которую протекала речка с двумя каменными мостами. Ребятишки катали обручи неподалеку от кузницы, и их тонкие, звенящие голоса весело нарушали царившее вокруг безмолвие. Посреди деревни я присел на лужайке под большой сосной, которая стояла тут, должно быть, лет сто. Из трещин в серовато-сизой коре просочилась смола и застыла маленькими ручейками. Я отскоблил кусочек ногтем и, растерев в ладонях сероватое вещество, вдохнул свежий терпкий запах. У меня было такое ощущение, точно силы снова вернулись ко мне и жизнь еще что-то сулит мне в будущем.

Однако, обойдя вокруг Барлон-Толла, я почувствовал, что прогулку пора заканчивать. Я с удовольствием вернулся домой, сел в свое кресло, надел домашние туфли и протянул ноги к огню. Возле меня на столике лежала сложенная утренняя газета «Геральд», которую я всегда охотно читал: она была моим главным развлечением в дни выздоровления. Я взял газету и положил к себе на колени; в это время я услышал, как входная дверь открылась и снова закрылась. В передней раздались шаги, затем началась какая-то возня на кухне. Вскоре старушка вошла в гостиную. Мы посмотрели друг на друга. Я улыбнулся.

— Ну что, купила курицу?

— Даже две, — ответила она. — Я пригласила к ужину Мак-Келлара.

— Значит, у нас будет вроде как бы пир.

— Угу. — Она степенно кивнула. — Доктор Галбрейт тоже придёт.

— Вот оно что.

И, прежде чем я успел возразить, она переменяла тему разговора:

— Тебе пора пить горячее молоко. И не надо так близко ставить туфли к огню. Как раз подметки прожжешь.

Она отвернулась и вышла, а я, покорившись, начал размышлять.

Я уже некоторое время чувствовал, к чему идет дело, а сейчас сразу понял, что решительный момент наступил. Доктор Галбрейт старел. Его практика, охватывавшая не только Ливенфорд, но и окрестности Уинтона, стала ему не по силам. Пришла пора подумать о компаньоне, и, к моему величайшему огорчению, он наемкнул, что не прочь был бы взять меня.

Да, западню эту долго и терпеливо готовили, и руки, расставлявшие силки, были добрые, дружеские руки. Однако, увы, несмотря на данное мной обещание, я всячески старался избежать своей участи. Меня глубоко трогало, что этот упрямый Мак-Келлар готов был ссудить меня деньгами, чтобы я мог купить половину практики, а тысяча фунтов — сумма весьма немалая для шотландского адвоката. Нравился мне и старик доктор с его огрубевшим на свежем воздухе лицом, с седой козлиной бородкой и слегка ироническим изгибом губ; когда-то он был резок и раздражителен, но с годами, как видно, стал гораздо мягче. Подремывая у огня, я пытался представить себе, как я еду в форде по проселочным дорогам, подпрыгивая на высохших колеях летом и пробираясь по снегу зимой, как посещаю далекие фермы, заходя со своим черным саквояжем и в уютные усадьбы и в выбеленные известкой лачуги, одиноко стоящие среди вересковых зарослей. Но сердце мое во всем этом не участвовало. Слишком хорошо я себя знал, чтобы понимать, что все во мне восстает против такой перспективы. Не годился я для роли практикующего врача и по опыту прошлого понимал, что буду просто влачить жалкое существование без всякого интереса к работе, без честолюбивых замыслов, безвестный, ко всему безразличный, как человек, потерпевший в жизни крушение.

Подавив вздох, я взял газету и, пытаясь отвлечься от своих мыслей, начал ее просматривать. Я лишь пробежал страницы глазами, читая только то, что почему-либо интересовало меня. Особых новостей не было. Я уже собирался перейти к передовой статье, как вдруг увидел одну заметку на последней странице. Заметка была совсем маленькая, в три строчки, но я мучительно вздрогнул, прочитав ее, а потом долгое время сидел неподвижно.

Под заголовком «Отплытие судов» было самое обычное объявление:

«Пассажирский пароход „Альгоа“, принадлежащий компании „Клан“, отплыл сегодня из Уинтона в Лагос и на Золотой Берег. На нем выехала группа специалистов, направляющихся на работу в Кумаси».

Я перечел объявление несколько раз, как ребенок, заучивающий текст наизусть, словно не был уверен, правильно ли я его понял, и по мере того, как я читал, в теплой комнате становилось все холоднее, а прилив бодрости, который я почувствовал сегодня днем под сосной, сразу исчез. Значит, и с этим все кончено... Кончено навсегда. С тех пор как я узнал, что Джин должна ехать на этом пароходе, я боялся услышать об его отплытии. Вот теперь и пароход ушел. Когда пароход отчаливает от берега и медленно направляется к горизонту, в этом есть что-то

безвозвратное, ощущение чего-то отрубленного раз и навсегда... Одинокий маяк обыскивает пустынное море, трепетный луч гаснет. И она не пришла, даже не написала мне на прощание. Это жгло меня больше всего, мучило и терзало — ведь я так любил ее.

Долго — возможно, час, а впрочем, не знаю — я смотрел на огонь. Погруженный в грустные, мучительные думы, я все же слышал, как кто-то приехал, шаги в прихожей, голоса. Но я не шевельнулся. Был ли то Мак-Келлар или доктор, сейчас я не мог обменяться с ним дружеским рукопожатием и выслушивать тактичные изъяснения сочувствия, без которых оба они, конечно, не обойдутся.

Пока я сидел так, молчаливый и неподвижный, дверь позади меня почти беззвучно отворилась. Я ждал, что вот сейчас раздастся зычный голос, и даже не потрудился обернуться, но постепенно ощущение, что кто-то стоит у меня за спиной, стоит совсем тихо, заставило меня повернуть голову. Затем я медленно поднял безучастный взгляд.

Сначала я решил, что снова заболел. Должно быть, у меня опять галлюцинации и передо мной одно из тех видений, которые являлись мне в бреду и так долго мучили. Потом в одну секунду я все понял: я увидел, что это она, и догадался, почему она пришла.

Я забыл, что уходящие суда часто пережидают ночь в устье, чтобы подобрать отставших пассажиров и дожидаться благоприятного прилива. Значит, она пришла все-таки попрощаться со мной.

Глухие удары моего бедного сердца отдавались гулом у меня в ушах, глаза застилал туман, сквозь который я молча смотрел на нее. А она так же молча смотрела на меня. Хотя она все еще была очень худенькой и запавшие щеки были совсем бледны, в ее карих глазах, на этом чистом лбу и блестящих волосах болезнь не оставила ни малейшего следа. Я невольно сравнил свое состояние с ее безмятежным спокойствием. Я сидел пришибленный, понурый, истощенный, а она шла своим путем, твердо и целеустремленно, вполне оправившаяся после болезни. Даже платье на ней было новое — темно-серое, отделанное шелком более светлого тона и купленное, должно быть, специально для путешествия. Я заметил также — и сердце у меня сжалось от боли, — что на шее у нее зеленые бусы, которые я подарил ей.

Я медленно выпрямился в своем кресле. Я видел, как она приоткрыла губы, намереваясь заговорить со мной. И приготовился встретить удар.

— Как поживаете, Роберт?

— Отлично. Присаживайтесь, пожалуйста.

— Благодарю вас. — Она говорила тихим голосом, но вполне владела собой.

Она села напротив меня, прямая, сложив на коленях затянутые в перчатки руки и глядя мне прямо в глаза. Точно гипсовая статуэтка, подумал я, задетый за живое ее самообладанием, которого у меня не было. Я стиснул зубы, чтобы не выдать свою слабость и свои чувства.

— Вы уже совсем поправились, — сказал я.

— Да, мне повезло.

— А за время путешествия по морю и вовсе окрепнете.

Она как будто не заметила моего выпада. Я болезненно воспринял ее молчание. В голове у меня снова зашумело. Я хлопнул ладонью по лежавшей у меня на коленях газете.

— Я только что прочитал, что вы уезжаете. Как мило с вашей стороны, что вы зашли ко мне! Как поживает Малкольм? Он уже на пароходе?

— Да, Роберт, он на пароходе.

Колочка мягко, без всякого злого умысла, была повернута в мою сторону и теперь вонзилась мне в сердце. Я постарался не морщиться от боли. Джин была в перчатках, и потому я не видел кольца на ее руке. Но раз Малкольм едет с ней, значит они уже обвенчаны.

— Ну... — я попытался изобразить небрежную улыбку, но мои бледные губы растянула болезненная гримаса. — Мне, очевидно, надо поздравить вас. Он славный малый. Надеюсь, путешествие ваше будет приятным.

Она откликнулась не сразу, но через некоторое время с самым серьезным видом спросила:

— А как ваши дела, Роберт?

— У меня все в порядке. Есть возможность приобрести недурную практику здесь, в Ливенфорде.

— Нет!

Это единственное слово, произнесенное с необычайным пылом, заставило меня вздрогнуть.

— Что значит «нет»? Все уже решено.

— Нет, — повторила она. — Вы не должны этого делать.

Короткая, напряженная пауза. Джин была уже теперь не так спокойна, и глаза ее вдруг стали бездонными.

— Роберт, — взволнованно сказала она. — Ты не можешь, ты не должен растрчивать себя на какую-то практику в деревне. О, я не хочу ничего сказать дурного о деревенских врачах, но они — это не ты. Ты пережил горькое разочарование, страшный удар, но ведь это же не конец. Будешь снова дерзать, сделаешь более интересную, более значительную работу. Не можешь же ты вот так зарыть свой талант в землю. Ты должен, ты должен продолжать начатое!

— Где? — с горечью спросил я. — Снова на каких-нибудь задворках, в каком-нибудь сумасшедшем доме?

В величайшем волнении она наклонилась ко мне.

— Ты обиделся на профессора Чэллиса, правда? Он сделал ошибку, послав тебя в «Истершоуз». Но он старый человек, и просто у него не было никакой возможности найти для тебя что-то более подходящее. — У нее перехватило горло от волнения. — Ну, а теперь у него такая возможность есть. Скажи, Роберт, хотел бы ты читать лекции по бактериологии в Лозаннском университете?

Я смотрел на нее, едва дыша, не смея шевельнуться, а она торопливо продолжала:

— Профессор Чэллис получил письмо из Лозанны с просьбой рекомендовать им кого-нибудь получше, какого-нибудь молодого человека, который помог бы наладить работу в лаборатории. Он послал туда полный отчет о твоих исследованиях. Вчера он показал мне ответ. Если ты согласен, место за тобой.

Я прикрыл глаза рукой, словно заслоняя их от слишком яркого света. Начать все сначала, вдали от ограничений этой скованной условностями страны, в Лозанне, чудесном швейцарском городке на берегу сверкающих вод озера Леман... Но нет, нет... я уже давно перестал верить в себя... не мог я взяться за такое дело.

— Я не могу, — промямлил я. — Я не гожусь для этого.

Она сжала губы. Под маской сухой официальности я вдруг почувствовал внезапно вспыхнувшую в ней решимость. Она глубоко вздохнула.

— Ты должен, Роберт. Все твое будущее ставится на карту. Ты не можешь признать, что ты побежден.

Я молчал и невидящим взглядом смотрел на пол.

— Я побежден, — сказал я глухо. — Я дал им слово. Они придут сегодня вечером сюда. Легко бороться с врагами. Но бороться с друзьями... с их добротой... И потом, я обещал... я не могу спорить... я не могу больше бороться.

— Я помогу тебе.

В немом изумлении я поднял на нее глаза.

— Ты?... Ты будешь уже далеко.

Она очень побледнела, и с минуту губы ее так дрожали, что она не могла слова выговорить. Она сидела и смотрела на свои крепко стиснутые руки.

— Я не уезжаю.

— А Малкольм? — воскликнул я.

— «Альгоа» отчалила сегодня в шесть часов утра. Малкольм отплыл на ней.

Наступила мертвая тишина. Потрясенный, не в силах поверить услышанному, я словно окаменел. Но, прежде чем я успел раскрыть рот, она снова заговорила, как бы через силу выдавливая из себя слова:

— Когда я была больна, Роберт... да и потом... я словно бы увидела то, чего до сих пор не замечала. — Она чуть не разрыдалась, но усилием воли заставила себя продолжать: — Я всегда признавала свой долг по отношению к родным, по отношению ко всем, с кем работала, но я не понимала своего долга по отношению к тебе... а поскольку я люблю тебя больше всего на свете, то и мой долг по отношению к тебе должен преобладать над всем остальным. Если бы у тебя все прошло успешно, если бы ты не свалился, я, возможно, этого никогда бы не поняла, а сейчас... понимаю.

Она помолчала, с трудом преодолевая волнение и глядя на меня каким-то необычайно напряженным взглядом, словно ее душила и жгла необходимость поделиться со мной теми сложными и еще не вполне сформировавшимися мыслями, которые в последнее время нахлынули на нее. Чувства с такою силой завладели ею, что слезы покатались по ее щекам. И слова полились неудержимым потоком:

— Все время, пока я лежала там в каком-то полусне, я думала, почему я отказалась выйти за тебя замуж... я ведь любила тебя... и заболела-то я из-за того, что любила тебя и не была осторожна, работая в палатах... но эту любовь заслоняли гордость, и страх, и предубеждение против твоей религии, о которой я ведь, собственно, ничего и не знаю. Бог дал тебе родиться католиком, а мне — протестанткой. Но разве это значит, что он ненавидел одного из нас и любил другого... хотел, чтобы один жил во мраке лжи, а другой — при свете истины? Если это так, то христианство не имеет никакого смысла. Ах, Роберт, ты терпимее относился к моей вере, чем я к твоей. И мне стало так стыдно, что я дала себе слово: если поправлюсь, приду к тебе и попрошу у тебя прощения.

Теперь она перестала сдерживаться и разрыдалась, а я сидел, белый как полотно, не в силах двинуться с места, не в силах разжать застывшие губы. Она прошептала:

— Роберт, дорогой Роберт, ты, наверное, считаешь меня самым трудным... самым непоследовательным человеком на свете. Но события иногда оказывают на нас совершенно необъяснимое давление. Да, дорогой мой, я уехала из Блейрхилла, я уехала от родителей, бросила все — навсегда. И если ты еще не раздумал, я выйду за тебя замуж, когда и где ты пожелаешь... Мы поедем в Лозанну... будем вместе работать... будем добры и внимательны друг к другу...

В следующую минуту я уже держал ее в объятиях, ее сердце билось у моей груди; она хотела что-то сказать, но рыдания душили ее. Губы у меня шевелились, однако я не мог издать ни звука. В сердце росла и ширилась неумемная радость — казалось, она сейчас разорвет мне грудь.

Словно откуда-то издалека, из другого мира, до меня донесся звук открывающейся входной двери, и по шуму голосов и топоту ног я понял, что прибыли Мак-Келлар и доктор Галбрейт, а потом я услышал приглушенный шепот старушки, встретившей их в прихожей.

Теперь это не имело никакого значения. Я уже был не один, тьма сменилась сиянием дня, жизнь начиналась сначала. Теперь мы вместе будем прокладывать путь в неизвестное. Да, в эту таинственную минуту, объединившую наши сердца, все казалось возможным и не было места для мысли о поражении, а счастье представлялось вечным.

Кронин А.

К 83 Юные годы ; Путь Шеннона : романы / Арчибальд Кронин ; пер. с англ. Т. Кудрявцевой. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2020. – 704 с. – (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-18686-6

Романная дилогия шотландского писателя Арчибальда Кронина «Юные годы» (1944) и «Путь Шеннона» (1948) во многом автобиографична. Ранняя смерть родителей вынуждает шестилетнего Роберта Шеннона искать приют в доме родственников, которые начинают соперничать друг с другом за влияние на мальчика. Трудности взросления, конфликты со сверстниками, первая дружба и первое предательство, бедность, принадлежность к католическому религиозному меньшинству и, как следствие, косые взгляды окружающих – все это доведется испытать Роберту в его детские и отроческие годы. Однако, целеустремленный и упорный, он находит в себе силы сохранить верность своим увлечениям и честолюбивым мечтам, вырваться из тесного для него провинциального мирка, осознать свое научное призвание и сделать первые шаги в профессии. Во втором романе дилогии Роберт – молодой амбициозный врач-инфекционист, недавно вернувшийся с войны, работающий в научно-исследовательском институте и стоящий на пороге этапного открытия в области бактериологии, – сталкивается с завистью коллег и бюрократическими интригами и, не умея идти на компромиссы, теряет место и вынужденно становится практикующим врачом, параллельно продолжая свои изыскания. Ему также приходится пройти испытание любовью к красивой и умной Джин Лоу, чье благополучное и обеспеченное будущее, расписанное наперед ее родителями, после встречи с Робертом уже не может быть прежним...

УДК 821.111

ББК 84(4Вел)-44

Литературно-художественное издание

АРЧИБАЛЬД КРОНИН

ЮНЫЕ ГОДЫ

•
ПУТЬ ШЕННОНА

Ответственный редактор Сергей Антонов
Художественный редактор Вадим Пожидаев-мл.
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Елены Долгиной
Корректоры Светлана Федорова, Наталья Бобкова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 10.09.2020. Формат издания 75 × 100^{1/32}.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 31,02. Заказ № 5430/20.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».

170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



A-AKB-27319-01-R

Романная дилогия шотландского писателя Арчибальда Кронина «Юные годы» (1944) и «Путь Шеннона» (1948) во многом автобиографична. Ранняя смерть родителей вынуждает шестилетнего Роберта Шеннона искать приют в доме родственников. Трудности взросления, конфликты со сверстниками, первая дружба и первое предательство, бедность, принадлежность к католическому религиозному меньшинству и, как следствие, косые взгляды окружающих – все это придется испытать Роберту в его детские и отроческие годы. Однако, целеустремленный и упорный, он находит в себе силы сохранить верность своим увлечениям и мечтам, осознать свое научное призвание и сделать первые шаги в профессии. Во втором романе дилогии Роберт – молодой амбициозный врач-инфекционист, недавно вернувшийся с войны, работающий в научно-исследовательском институте и стоящий на пороге этапного открытия в области бактериологии, – сталкивается с завистью коллег и бюрократическими интригами и вынужденно становится практикующим медиком, параллельно продолжая свои изыскания. Ему также приходится пройти испытание любовью к красивой и умной Джин Лоу, чье благополучное и обеспеченное будущее, расписанное наперед ее родителями, после встречи с Робертом уже не может быть прежним...

ISBN 978-5-389-18686-6

01



9 785389 186866



Cover Art

© Diomedia.com / National
Railway Museum London UK

www.azbooka.ru